

КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА

Анатолий Безуглов В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Юрий Кларов ПОКУШЕНИЕ



# КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА

Анатолий Безуглов  
Юрий Кларов



# В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ



# ПОКУШЕНИЕ





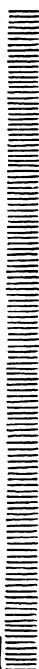
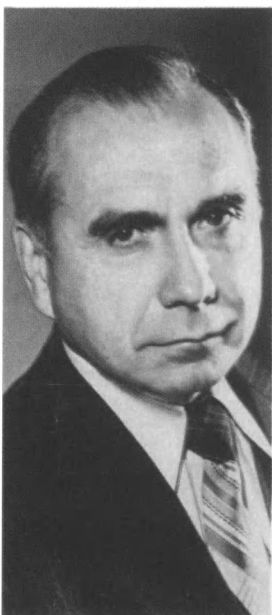
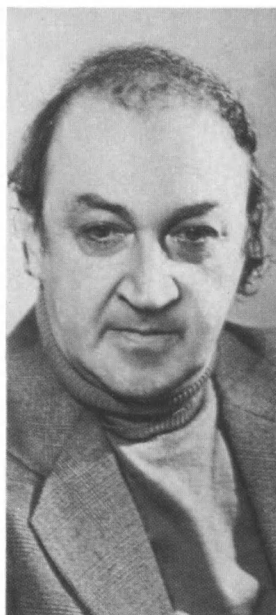
БИБЛИОТЕКА

ИЗБРАННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ

О СОВЕТСКОЙ

МИЛИЦИИ



1012/2000

1012/2000



Анатолий Безуглов  
Юрий Кларов

КОНЕЦ  
ХИТРОВА РЫНКА  
В ПОЛОСЕ  
ОТЧУЖДЕНИЯ  
ПОКУШЕНИЕ



Московский рабочий • 1988

Р2  
Б39



Издание «Библиотека избранных произведений  
о советской милиции»  
осуществляется в течение 1987—1990 гг.,  
посвящено 70-летию советской милиции.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**В. Н. ШАШКОВ**

**А. П. КУЛЕШОВ**

**Б. П. МИХАЙЛОВ**

**В. И. БУРЛАКА**

**Э. А. ХРУЦКИЙ**

**Безуглов А. А., Кларов Ю. М.**

**Б39**      **Конец Хитрова рынка: Повести. роман.— М.: Моск. рабочий, 1988.— 559 с.— (Библиотека избранных произведений о советской милиции).**

В трилогию входят повести «Конец Хитрова рынка», «В полосе отчуждения» и роман «Покушение». В них рассказывается о работниках уголовного розыска в первые годы Советской власти. Авторам удалось передать характер изображаемой эпохи, ее атмосферу, своеобразие быта, а главное — раскрыть революционный героизм молодежи.

**Б**  $\frac{4702010201-058}{M172(03)-88}$  172—88

**Р2**

**ISBN 5—239—00009—3 © Оформление издательства «Московский рабочий», 1988 г.**

# КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА



Я верю в призвание поэта, инженера, музыканта, агронома. Но в словах «прирожденный солдат» или «сыщик» мне всегда чудится фальшь. Может быть, я ошибаюсь, но ведь солдат по призванию должен любить убивать, а работник уголовного розыска — копаться в социальной грязи, отбросах, получать удовольствие от общения с людьми с искалеченной психикой и извращенными взглядами на жизнь. И вот сейчас, сидя за письменным столом, я невольно перебираю в памяти всех, с кем мне приходилось работать бок о бок в 1918—1919 годах. Кто из них был сыщиком по призванию? Виктор Сухоруков? Нет, он мечтал стать механиком и даже тогда находил время для учебников по математике и физике. Груздь? Сения Булаев? Даже знаменитый Савельев, проработавший около двадцати пяти лет в сыскальной полиции, тяготел к специальности, которая не имела ничего общего с его повседневными обязанностями. Часами он возился с коллекцией насекомых. В его квартире ширмой был отгорожен специальный угол, где хранились коробки, банки и ящики с пауками, бабочками, жуками. Савельев мечтал о том времени, когда, выйдя на пенсию, он наконец сможет без всяких помех сесть за монографию о жизни скорпионов, которая должна была обессмертить в науке его имя...

Но все мы оказались сотрудниками Московской уголовно-розыскальной милиции и добросовестно выполняли свой долг, потому что так было нужно. В то время токари становились директорами банков, вчерашние мастеровые возглавляли заводы, а солдаты командовали армиями...

Октябрьскую революцию я встретил гимназистом выпускного класса Шелапутинской гимназии. Я готовился к поступлению на филологический факультет, но филологом я не стал, а гимназию так и не окончил.

В тот день первым должен был быть урок французского языка. Но неожиданно вместо мосье Боруа в дверях появилась тощая фигура директора гимназии Шведова.

Класс неохотно встал.

— Садитесь, господа, садитесь! — махнул рукой Шведов и с обычной кислой улыбкой, за которую его прозвали Лимоном, стал вглядываться в настороженные лица гимназистов. По тому, как Лимон вертит в руках взятый со стола кусочек мела, видно было, что он волнуется.

— Господа! — торжественно начал он. — По поручению педаго-

гического совета я уполномочен сделать вам важное сообщение...

— Раз поручили, валий! — снисходительно поощрил чей-то голос.

Шведов сделал вид, что ничего не слышал: после Февральской революции дисциплина в гимназии, особенно в старших классах, основательно распаталась. Гимназисты как само собой разумеющееся предлагали преподавателям закурить. Замок карцера, которым теперь не пользовались, заржавел, а самой гимназией фактически правил совет учащихся, вмешивавшийся во все без исключения дела.

— Господа! — повторил Шведов. — Вы надежда отечества...

— Ого! — искренне восхитился тот же голос.

Но на него зашикали.

— Вы новое поколение русской интеллигенции, которая имеет вековые традиции служения своему народу. И я не сомневаюсь, что вы меня поймете. Произошла трагедия. Мы с вами переживаем трудное время, когда грубо попираются принципы гуманности и свободы.

Германские агенты, щедро финансируемые императором Вильгельмом, не только сеют в умах смуту, но и пытаются навязать многострадальному русскому народу кровавую диктатуру.

По классу прошел гул. Называть большевиков германскими агентами не стоило. В эти сказки никто уже не верил. Шведов почувствовал свою ошибку. Но менять стиль речи уже было поздно.

— Сейчас, в эту минуту, — продолжал он, — когда я беседую с вами, вожди русской демократии томятся в большевистских застенках, исторические залы Зимнего дворца подвергаются разграблению, фронт деморализован, скоро враг будет здесь, в центре России. И я понимаю чувства поэта-патриота, который пишет:

С Россией кончено. На последях  
Ее мы прогалдели, проболтали,  
Пролузгали, пропили, проплевали,  
Замызгали на грязных площадях...

В классе зашумели. Поднялся председатель совета гимназии Никольский, спокойный, медлительный.

— Господин Шведов, — официально обратился он к директору, — нам ваши политические взгляды известны, и они нас не интересуют. Насколько мы вас поняли, вы собирались сделать нам сообщение?

— Вы меня правильно поняли, — сухо подтвердил Шведов, — но я хотел предварительно объяснить вам мотивы, которыми руководствовался педагогический совет, решивший не сотрудничать с большевиками, узурпировавшими государственную власть. По призыву Всероссийского учительского союза преподаватели нашей гимназии с сегодняшнего дня объявили забастовку протеста.

— Меня удивляет... — начал было Никольский, но его прервал Васька Мухин, здоровенный детина, уже второй год отбывавший повинность в восьмом классе.

— Тоже испугал! — пробасил он, поглядывая маленькими смешливыми глазками на директора. — По мне хоть всю жизнь ба-стуйте!

— Ура! Да здравствует вечная забастовка! — неожиданно заорал его сосед, и весь класс задрожал от хохота.

Ошеломленного директора проводили криком и улюлюканьем. Кто, поддывая, отбивал кулаками на парте «Цыпленка жареного, цыпленка пареного, который тоже хочет жить», кто хрюкал, а кто от избытка восторга просто стучал ногами по полу.

В дверях показалось испуганное лицо классного надзирателя и сразу же исчезло.

Так эта новость была встречена почти во всех классах. Последние месяцы жизнь гимназии все равно шла кувырком. Преподаватели опаздывали на уроки и ничего не задавали на дом. Старшеклассникам было не до занятий: они непрерывно бегали с одного митинга на другой или до хрипоты спорили в различных кружках и клубах, недостатка в которых не было. Союзы, группы, общества и объединения возникали как грибы после дождя. Существовали «Союз учащейся молодежи», «Общество нанимателей комнат, углов и коек», «Группа обывателей Хамовнического района», «Союз домовладельцев», «Союз киновладельцев», «Объединение дворников и домашней прислуги».

Наша гимназия тоже не отставала. Помимо совета гимназии у нас был совет учащихся старших классов, совет учащихся младших классов и многочисленные «политические фракции»: большевиков, кадетов, эсеров, анархистов и, наконец, монархистов, в которую входили только двое — франтоватый Николай Пилецкий и его друг Разумовский, дегенеративный парень с красной физиономией, усыпанной угрями.

Каждая фракция требовала себе мест в гимназических советах. Иногда накал политических страстей доходил до потасовок, во время которых больше всего, разумеется, доставалось самой малочисленной фракции — монархистам. Пилецкий и Разумовский постоянно ходили с синяками и перед самой забастовкой преподавателей смалодушничили — подали заявление о приеме в фракцию кадетов. Особенно терроризировал педагогов совет гимназии, который предъявлял им самые жесткие требования. Одним из них было — ставить в балльниках двойки и единицы только с санкции совета. Членов советов к доске не вызывали: преподаватели прекрасно понимали, что заниматься наукой у них просто нет времени.

Какая уж тут учеба!

Но все-таки, когда мы с Никольским вышли в переулок, мы не думали, что навсегда покидаем стены гимназии.

Никольского больше всего возмущало, что педагогический совет принял свое решение без консультации с советом гимназии.

— Им это дело так не пройдет, — говорил он, размахивая офицерской полевой сумкой, приобретенной на толкучке (большинство старшеклассников в знак всеобщей свободы ходило в гимназию не с ранцами, а с портфелями или полевыми сумками). — Мы созовем общее собрание фракций. Думают, что мы до них не доберемся? Ошибаются!

Но ошибался Никольский: фракции больше никогда не собирались, а в гимназии вскоре расположился ревком. Из бывших своих преподавателей я потом встретил только Лимона. Когда мы в двадцатом году вылавливали спекулянтов на Смоленском рынке, я заметил за одним из ларьков притаившуюся сухопарую фигуру в залащенных солдатских штанах.

— А ну, выходи!

Человек нерешительно выглянул, и внезапно на его худом грязном лице промелькнуло подобие знакомой улыбки. Это был Лимон.

— Ничего не поделаешь, надо жить! — развел он руками и, зажав сверток под мышкой, воровски шмыгнул в проходной двор.

Многие из моих гимназических товарищей, спасаясь от голода, уехали на юг, кое-кто вместе с родителями бежал за границу. Члены фракции монархистов — Пилецкий и Разумовский, как мне потом рассказывали, перебрались к генералу Корнилову.

## II

В семнадцать лет, когда голова переполнена грандиозными замыслами, а руки сами ищут себе работы, сидеть без дела трудно. Между тем я совершенно не знал, куда себя девать. С закрытием гимназии как-то оборвались все ниточки, которые меня связывали с товарищами по классу. Раньше, казалось, водой не разольешь. Но кончилась гимназическая жизнь, и у каждого оказались свои заботы, дела. Никольский устроился где-то делопроизводителем, Мухин отправился к отцу в Саратов. Гимназическое содружество рассыпалось как картонный домик, и иногда я даже сомневался, а было ли оно вообще когда-нибудь.

Жил я тогда в Мыльниковом переулке в большой неуютной квартире, совершенно один. Отец, уважаемый в районе врач, умер три месяца назад, а старшая сестра Вера, выйдя замуж, уехала в Ростов, препоручив меня своей приятельнице Нине Георгиевне, женщине лет сорока, толстой, расплывшейся, с большими добрыми глазами, которая, добросовестно выполняя взятые на себя обязанности, бывала у меня не реже двух раз в неделю. Эти визиты были до предела нудными.

Я ничего не имел против Нины Георгиевны, но все-таки к ее приходу всегда старался улизнуть на улицу. И часами бродил по городу, который выглядел каким-то непривычным, помолодевшим. А потом, когда ноги начинали гудеть от усталости и рот наполнялся голодной слюной, я возвращался к себе, ел, листал первую попавшуюся на глаза книгу и снова уходил, для чего-то тщательно запирая входную дверь. Меня завораживала гулкая жизнь улиц, ее лихорадочный ритм.

Во время недавних боев Москва пострадала не сильно, во всяком случае меньше, чем этого можно было ожидать. Но так как самые ожесточенные схватки были в центре, то разрушение сразу же бросалось в глаза. Был разбит снарядом один из куполов храма Василия Блаженного, Спасская башня, пробита крыша «Метрополя». Еще неделю назад Тверская была завалена бревнами, досками и усыпана битым стеклом. Теперь ее расчистили. Об октябрьских событиях напоминали только следы пуль на стенах домов да торчащие в окнах вместо выбитых стекол полосатые перины. Весело дребезжал переполненный трамвай. Красногвардейские патрули зябко прятали руки в рукава ватников, пальто и шинелей. По-разбойничьи посвистывал ветер. Несмотря на холод, улицы были многолюдны.

В тот день мне почему-то особенно не хотелось возвращаться домой. И, побродив вдоволь по Тверской, я свернул на Скобелевскую площадь. Здесь митинговали. Прилично одетый господин, вскарабкавшись на постамент, что-то громко говорил, оживленно жестикулируя, стараясь перекрыть разношерстную толпу. Тут же красноносая толстуха в ватнике бойко продавала жареные семечки, одновременно кокетничая с одноруким солдатом. Гонялись друг за другом оборванные мальчишки с красными бантами на картузах. Не обращая ни на что внимания, крутил ручку шарманки горбатый старичок.

Красные, черные, белые, зеленые буквы извещали: «Казино «Рома», Тверская, 35, против Филиппова. Исключительный боевик. Сенсационная картина «Николай II». Народная трагедия в 5 частях. В фойе — концерт Гала. Бесперывные увеселения от 7 до 11 часов вечера», «Ханжонков. Жемчужина сезона. Боевик. «Сказка любви дорогой. Молчи, грусть, молчи!» С участием королей экрана: Веры Холодной, Максимова, Полонского и Рунича».

Колесил я недолго и, сжав в кармане рубль, отправился в казино «Рома». «Сенсационную картину «Николай II» посмотреть стоило.

То были первые годы киноискусства. Но Великий немой уже успел завоевать всеобщее признание. И мы добросовестно ходили на все новые картины с броскими названиями: «Любовь поругана, задущена, разбита», «Слякоть бульварная», «Лестница дьявола».



Обычно картины демонстрировались под аккомпанемент рояля, который стоял за сценой. Но были и попытки озвучить хотя бы некоторые события, происходящие на экране. В качестве курьеза одна из московских газет приводила объявление провинциального электротеатра: «Новость звуковых эффектов! Все звуки, как-то: шум ветра, железной дороги, поломка мебели, лесная сирена, удар по щеке — получаются нажатием кнопки. Голос петуха, лай собаки и шум народа заказываются особо».

В фойе театра, несмотря на предупреждающие надписи, было сильно накурено. Респектабельные котелки соседствовали с голубоватыми студенческими фуражками, солдатские папахи — с дамскими шляпками. После первого звонка я прошел в зал. Сзади меня приглушенно спорили парни в кепках, низко надвинутых на глаза. Некоторых из них я видел у нас в гимназии, они приходили на заседание секции анархистов, кажется, из группы «Ураган».

Одна за другой лампочки в зале начали гаснуть. Пианист заиграл марш. На экране показался царь, рядом с ним шли какие-то дамы.

И вдруг свет снова вспыхнул. На авансцене стоял плечистый человек в ватнике. Он зычно выкрикнул:

— Граждане и товарищи! Попрошу приготовить документы. Проверка.

Публика недовольно зашумела.

— Ищут кого-то,— догадалась пышная дама в ротонде.— О господи!

К выходу, работая локтями, пробирались анархисты. Один из них сильно толкнул меня.

— Поосторожней нельзя?

Он даже не обернулся.

— Не видишь, что ли? Пропускай! — крикнул анархист с выпущенным из-под кепки пшеничным чубом молоденькому красногвардейцу.

— Предъявите документы.

— Какие еще документы? — огрызнулся тот.

— Документы! — строже повторил красногвардеец, преграждая проход винтовкой.

— Ты что, гад, измываться вздумал?! Прочь! — заорал чубатый, бешено выкатив глаза.— Прочь, говорю!

Засунув руку в оттопыривающийся карман, он прямо пошел на красногвардейца. Жест чубатого не остался незамеченным. Дама в ротонде взвизгнула. Публика шарахнулась в сторону. Кто-то крикнул:

— У него оружие!

В ту же секунду парень в кожанке, вынырнувший из-за спины красногвардейца, вырвал руку чубатого из кармана и резко вывернул ее за спину.

— Хорошенько общитесь. По-моему, он...

Я не удержался и крикнул:

— Виктор! Сухоруков!

Парень в кожанке обернулся, махнул мне рукой.

Виктор учился в нашей гимназии. Но, когда его отца мобилизовали в армию, ушел на завод. Ко мне он относился покровительственно, и не только потому, что был старше. Он считал меня папенькиным сыном, который еще не знает почем фунт лиха. Узнав, что Виктор член Союза рабочей молодежи «III Интернационал», я его пригласил как-то на заседание большевистской фракции гимназии.

— Фракция? — изумился он. — А от родителей не нагорит? — И снисходительно добавил: — Ладно, приду. У вас когда начало?

Помню, мы тогда спорили о роли Учредительного собрания, и Никольский все время пытался втянуть в спор Виктора, но тот отделивался только шуточками. Я понимал, что он нас считает просто мальчишками, играющими от нечего делать в революцию, и мне было здорово обидно. Поэтому, когда Никольский сказал, что Сухоруков не теоретик, а практик и звать его на заседание фракции не стоило, я сразу же согласился.

Отец, узнав про мой неудачный опыт, как я выражался, смьчки интеллигенции и рабочего класса, долго хохотал.

— Значит, практик, говоришь? — сказал он, все еще улыбаясь, потом его лицо посерьезнело. — А может быть, ты больше прав, чем думаешь. В России привыкли слишком много говорить красивых слов. А Виктор человек действия. Он знает, чего хочет, и знает, как этого добиться.

Эти слова отца словно подтверждались сейчас уверенными, решительными действиями Виктора.

Чубатого обыскали.

— Он самый, — сказал пожилой красногвардеец, бегло просматривая содержимое бумажника задержанного, и обернулся к анархистам, которые громко ругались, но, понимая, что сила не на их стороне, в происходящее не вмешивались. — Что ж вы, товарищи, уголовную шпану покрываете?

— Мы птицы вольные, к нам летят все, кому среди вас тесно! — буркнул кто-то из анархистов, и они, не оборачиваясь, начали спускаться по лестнице.

— Граждане! — крикнул человек в ватнике. — Попрошу без паники. Кого нужно, мы нашли. Это, ежели хотите знать, крупный и зловердный бандит, грабивший трудовой народ. Так что попрошу граждан и товарищей спокойненько занимать свои места.

«Граждане и товарищи» начали шумно рассаживаться.

— Я только взглянула, сразу же поняла, что это бандит, — радостно говорила дама в ротонде своему спутнику, чем-то похожему

на Дон-Кихота.— Вы, Николай Иванович, на всякий случай бумажник проверьте: он за вами сидел.

Когда бандита, подталкивая в спину, вывели, я подошел к Сухорукову.

— Ну как фракция? Заседает?

— Иди к черту. Ты же знаешь, забастовка.

— Верно, не учел. Послушай, здесь мы не поговорим, некогда. Заходи лучше ко мне завтра к концу дня. Я теперь в уголовном розыске работаю.

— Полицейским заделался?

— Именно. А что, не нравится? — Он дернул меня за надорванный козырек фуражки (в гимназии надорванный козырек считался шиком) и уже на ходу бросил: — До завтра.

### III

Найти Сухорукова оказалось не так-то просто. В кабинете дежурного уголовного розыска томилось несколько человек. Дежурный, молодой человек с черными подбритыми усами и бачками, устало морщил низкий лоб.

— Минуточку, мадам, минуточку,— слезливым голосом уговаривал он шумливую, напористую бабу в белом шерстяном платке.— Не надо волноваться. Давайте разберемся. Ничего страшного не произошло — рядовой, ординарный грабеж. У нас ежедневно регистрируются сотни подобных происшествий.

Но на женщину это утешительное сообщение никакого впечатления не произвело.

— А по мне хоть тыщи происшествий! — кричала она в лицо дежурному, который мученически морщился.— Вы мне лучше скажите, господин хороший, кто мою шубу носит? Кто мои сиротские деньги по кабакам пропивает?! Ага, молчите? Почему мазурики по сей день не арестованы?

— Потому что их пока не нашли,— с подкупающей откровенностью объяснил дежурный.

— Не нашли, стало быть? — задергала головой баба.— А чего же я вам за вашего кобеля — Треф, что ли? — пятьдесят целковых отвалила? «Найдем, отыщем, будьте спокойны»,— передразнила она кого-то.— Черта лысого нашли! Платила я за сыскную собаку?

— Да, за использование сыскной собаки-ищейки вы платили,— согласился дежурный.

— А толку? Это как понимать? Там мазурики облегчают, тут — полицейские. Это кто же разрешил трудовой народ с двух концов грабить? Свобода сейчас или не свобода?

Отделавшись кое-как от надредливой посетительницы, дежур-

ный пригладил напomaженные бачки и выдал любезную улыбку.

— Прощу, господа. Кто следующий?

С дивана поднялся благообразный старик в вицмундире.

— Присаживайтесь. Чем могу быть полезен? Кража?

— Убийство,— глухо сказал старик и закашлялся.— Дочь убили.

— Да, да, такое несчастье! А где это произошло, в Хамовниках или в Марьиной роще?

— В «Эрмитаже».

— В «Эрмитаже» на этой неделе у нас зарегистрировано два убийства. Простите, как ваша фамилия? — Дежурный начал быстро перелистывать толстую книгу, лежащую перед ним на столе.

Я вышел в коридор. По лестнице спускался красногвардеец.

— Где можно найти товарища Сухорукова?

— Да я не из тутошних,— ответил он.— Вы в дежурку зайдите, там скажут.

Но в дежурную комнату возвращаться мне не хотелось. Я ткнулся в первую попавшуюся дверь, и меня оглушил пулеметный стрекот машинок.

— Господин гимназист, сюда нельзя,— обернулся сидевший спиной к двери писарь с выложенным на лбу локоном.— Посетителей принимают внизу.

— Мне нужен Сухоруков.

— Сухоруков? — писарь выпятил нижнюю губу.— А где он числится? Есть у нас, к примеру, статистический отдел, счетный стол приводов, хозяйственная часть, отдел розыска... Много чего есть.— Он торжествующе посмотрел на меня, получая видимое удовольствие от сложности структуры учреждения, в котором он работает.

Обойдя еще несколько комнат и уже потеряв всякую надежду разыскать Виктора, я носом к носу столкнулся с ним в коридоре.

— Пошли ко мне.

Кабинет Сухорукова оказался небольшой комнаткой, вернее частью комнаты, перегороденной деревянной стенкой.

— Ну, что собираешься делать?

С таким же успехом этот вопрос я мог задать сам себе. Действительно, что я собираюсь делать?

— Еще не знаю. Наверно, в Ростов к Вере уеду.

— Хороший город. Солнечный.— В голосе Виктора мне почудилась ирония.— Это что, вся ваша «большевистская фракция» решила на юг смотаться, подальше от греха? Очень благоразумные мальчики.

— Ну это ты брось.

— А что? Может быть, попробуем?

Виктор скинул куртку и засучил рукава рубашки. В гимназии у нас было повальное увлечение французской борьбой. Я считался чемпионом класса. Но с Сухоруковым мне еще бороться не приходилось. Я втянул голову в плечи, расставил ноги и...

— Алле гоп!

В следующую секунду я беспомощно забарахтался в руках Виктора. Прием назывался двойным нельсоном. Я напряг бицепсы, пытаюсь разорвать кольцо рук, но безуспешно. Шершавые ладони, сплетенные вместе, все сильнее и сильнее нажимали сзади на шею.

— Сдаешься?

— Сдаюсь, сдаюсь, дубина ты стоеросовая! — взвыл я.

— То-то,— ликовал Виктор за моей спиной.— А ругаться вслух побежденным не положено, они только про себя ругаются. Прости пощады, презренный!

Для просьбы о пощаде существовала освященная многими поколениями гимназистов формула, и я неохотно забубнил:

— О могущественнейший из могущественнейших (брось, Витька!), о сильнейший из сильнейших, о справедливейший из справедливейших, о умнейший из умнейших (послушай, ты мне шею свернешь!); признаю тебя победителем в честном бою и обязуюсь свято, не жалея живота своего, выполнять все, что ты прикажешь или просто скажешь. А если не исполню, то пусть мне устроят темную или наплюют на самую маковку, и пусть я, клятвопреступник, сделаюсь классным надзирателем за грехи мои. Все. Пусти!

Мой мучитель отпустил меня, и мы, красные, распаренные, уселись друг против друга.

— Вот так, папенькин сынок, жидковат ты, брат, жидковат,— усмехнулся Виктор.

— Ну ты небось тоже как самовар пыхтишь.

Мы закурили. Виктор, с блаженством затягиваясь папироской, искоса поглядывал на меня и улыбался. Чувствовалось, что эта разминка, напоминавшая о гимназических годах, доставила ему немалое удовольствие. Глаза его подобрели, и в манере держаться появилось что-то мальчишеское и немножко наивное. Потом, погасив папиросу о край стола, он спросил:

— Отрезали?

— Отрезали.

Это означало, что дань старому отдана и предстоит серьезный разговор.

— Возьми листок бумаги и ручку.

Еще не понимая, чего он хочет, я пододвинул к себе стопку бумаги.

— Пиши: «Начальнику уголовно-розыскного подотдела административного отдела Московского Совета от гражданина Белецкого

Александра Семеновича. Прощение. Прошу зачислить меня на одно из вакантных мест при вверенной Вам милиции».

Я отложил в сторону ручку.

— Ну, знаешь, ты сегодня что-то слишком весело настроен. Шутки шутками, но...

— А я не шучу,— сказал Виктор.

Несколько секунд я изумленно смотрел на серьезное, густо поперченное веснушками лицо приятеля.

— Нет, ты серьезно?

— Вполне. Нам нужны люди. А парень ты честный, член «большевистской фракции»,— губы Виктора задрожали в сдерживаемой улыбке.— Знаю я тебя не первый год, и отец у тебя был хорошим стариком.

— Но ведь я ни черта не понимаю в...— я чуть было не сказал «в полицейском деле», но вовремя спохватился.— Я ведь ничего не понимаю в этом деле.

— Научись. Главное — желание. Не боги горшки обжигают.

Кем я только не мечтал быть в раннем детстве! И трубочистом, и водолазом, и кондуктором. Но даже тогда мне не приходило в голову, что я могу стать сыщиком. Во втором и третьем классе, правда, как и все мои сверстники, я зачитывался похождениями Шерлока Холмса и Рокамболя, и вдруг совершенно, казалось, забытое и давно похороненное где-то в дальнем уголке сознания вновь ожило и обернулось реальностью.

— Ну как? Едешь в Ростов или остаешься? — спросил Виктор, наблюдавший за выражением моего лица.

— Какой уж тут Ростов! — махнул я рукой.— Что еще нужно?

Тут же я заполнил и анкету. Впрочем, слово «анкета» в обиход тогда еще не вошло. При царе существовал «формулярный список», а Временное правительство ввело «опросный лист», которым и пользовались пока во всех учреждениях. Он был составлен по лучшим образцам западной демократии, но с учетом русских особенностей. Поэтому в нем на всякий случай стояли помимо других и такие щекотливые вопросы, как сословие и вероисповедание, но зато в скобках указывалось: «Заполняется по желанию». Опросный лист заканчивался знаменательной фразой: «Правильность показанных в настоящем опросном листе сведений о моей личности подтверждаю честным словом». Вот она, новая, демократическая Россия!

Затем мы вместе с Виктором пошли к начальнику отдела личного состава Груздю. Он оказался матросом. Груздь восседал за громоздким двухтумбовым столом, на котором рядом с письменным прибором из розового мрамора возвышались буханка ржаного хлеба и вместительная жестяная кружка с чаем. На сейфах валялись в художественном беспорядке шинель, бушлат, бомбы, рваная тельняшка и пара сапог. Носок одного из них был грозно разинут, и в его

темной пасти поблескивали зубами сказочного дракона гвозди. Увидев Виктора, матрос отложил толстый карандаш, которым, как я успел заметить, рисовал на бумаге, покрывающей стол, чертиков, и грузно встал.

— Здоров! Закурить есть? — спросил он Виктора и брезгливо поморщился, когда тот достал пачку папирос. — Нет, я только махру признаю... Красота? — кивнул Груздь на стену, где из массивной позолоченной рамы кокетливо смотрела жеманная красавица в наглухо закрытом черном платье. — Одежду я сам дорисовал, — похвастался он, — а то она почти что голая была. — И пояснил: — Буржуазия, она приличиев не соблюдает... Из буржуев? — На этот раз вопрос был адресован мне.

— Нет, — ответил за меня Виктор. — Вот его опросный лист.

— Давай, давай.

Вода по строчкам пожелтевшим от махорки пальцем. Груздь внимательно прочел анкету и, видимо, остался доволен.

— То, что ты интеллигент, это, конечно, арифметический минус, — сказал он. — Но это от тебя не зависит. Если бы мой батя был не крестьянином, а инженером, я бы тоже стал интеллигентом. Роковая игра случая! То, что ты одинок, в смысле холост, это, конечно, арифметический плюс и очень положительный фактор. Ухлопают бандиты, и никто горячих слез лить не будет. А то тут одного вот такого же молоденького вчера на Сухаревке подстрелили, так сюда вся его родня сбежалась. То-то крику было!

— Ну, ну, брось запугивать, — усмехнулся Виктор. — Тебя послушать, можно подумать, что у нас каждую неделю по десять сотрудников убивают!

— А почему маленько и не поугагать? — На толстых щеках Груздя появились смешливые ямочки. — Не куличи печем — революционный порядок наводим! Надо рассуждать диалектически, пусть знает, на что идет. А то потом захочет на попятную, а поздно будет! — и, обернувшись к своему подчиненному, который молча сидел, с любопытством прислушиваясь к разговору, сказал: — Чего уши развесил? Оформляй приказом.

На следующий день я уже приступил к «исполнению обязанностей агента третьего разряда».

#### IV

Узнав о том, что я начал работать в уголовном розыске, Нина Георгиевна только вздохнула. Но этот короткий горестный вздох выражал многое. Ее грустные большие глаза как бы говорили: «Бедная Верочка, сколько надежд, и вот, пожалуйста... Не учитель, не врач, а полицейский. Пропащее поколение... А время страшное: и хлеб никуда не годится, и продуктов все меньше, и дороговизна растет.

Революция! Да разве я имею что-нибудь против революции? Хотите революцию — пожалуйста, но ведь все нужно делать как-то культурно, основательно...»

Зато жильцы дома отнеслись к этой новости иначе. Я стал популярной личностью. Даже председатель домкома, тонкий, как жердь, инженер Глушенко, и тот зашел ко мне как-то посоветоваться о графике дежурств. А дворник Абдулла теперь здоровался первым и называл меня не «господин гимназист», а Александр Семенович. Если бы я сказал, что меня это совершенно не трогало, я бы солгал. Трогало. Еще как трогало! Более того, я проникся исключительным уважением к собственной персоне, и, дело прошлое, в моем ломающемся голосе появился металл. По улицам я теперь шел, поднимая воротник шинели и бросая на прохожих пронзительные взгляды. Вид у меня, наверно, был донельзя комичный. Правда, период «вживания» в образ Шерлока Холмса продолжался сравнительно недолго, тем более что работа давала для этого мало пищи. Никто не предлагал мне раскрывать загадочных преступлений, обезоруживать опасных преступников и участвовать в погоне за бандитами. На мою беду, кто-то пришел к выводу, что у меня красивый почерк, и теперь меня заставляли переписывать протоколы, акты, заключения, а в свободное время я помогал старому сотруднику розыска Савельеву приводить в порядок картотеку дактилоскопических карточек.

У Савельева было совсем непримечательное лицо с нездоровой, желтоватой кожей, которая обвисала складками наподобие брылей бульдога, серые, водянистые глаза. Иногда он, казалось, совсем отключался от всего, что происходило в комнате, и, подперев щеку рукой, не мигая смотрел куда-то в окно. Вялый, флегматичный, всегда скучный, он явно не соответствовал образу интеллектуального сыщика, который создало мое мальчишеское воображение. Между тем Савельев был далеко не заурядной личностью и считался одним из немногих крупных специалистов сыскного дела в России. Он великолепно знал уголовный мир и обладал феноменальной памятью, о которой рассказывали чудеса. Стоило ему якобы мельком увидеть человека, и он мог через десять — пятнадцать лет безошибочно сказать, где, когда и при каких обстоятельствах он его встречал.

К Савельеву приходили советоваться и агенты, и субинспектора, и инспектора. Он был своего рода справочным бюро. Частенько у него бывал и Горев, инспектор Рогожско-Симоновского района. Насколько Савельев был незаметен, настолько Горев обращал на себя внимание. Это был сдержанный человек средних лет, с красивым надменным лицом, обрамленным аккуратно подстриженной курчавой бородкой. В те годы многие «бывшие» пытались подладиться под новых хозяев страны. Они не брились, ходили в грубых солдатских гимнастерках с засаленными воротниками и к месту и не к



месту щеголяли отборным матом, а некоторые из них надели и кожаные куртки. Такие куртки были лучшим свидетельством политических взглядов, недаром, когда человек надевал кожаную куртку, о нем говорили: «Окомиссарился». Горев был не таким. Он везде и всюду подчеркивал свое дворянское происхождение и в разговоре между прочим любил ввернуть: «Мы, дворяне». Одевался он тщательно, белье его всегда отличалось белизной, а в галстук поблескивал бриллиант булавки. Он со снисходительной иронией относился ко всем этим фабричным и мастеровым, которые почему-то решили, что они сами смогут управиться с многочисленными и сложными делами великой России, а пока суд да дело драпают от немцев и не в состоянии навести самый примитивный порядок в стране. Свое презрение к «новым» он подчеркивал иронической вежливостью, которая иной раз ранила сильнее откровенной грубости.

— Очередной представитель революционного пролетариата? — спросил как-то Горев Савельев и кивнул в мою сторону.

— Гимназист, — вяло обронил Савельев.

— Позвольте поинтересоваться, из какого класса выгнали? По математике срезались или по русской словесности?

Я почувствовал, что еще слово, и я сорвусь. Видимо, поняв это, в разговор вмешался Савельев.

— Сейчас же гимназии закрывают. Учителя забастовку объявили. Вот он и поступил к нам. Паренек старательный, грамотный.

— Даже корову через «ять» не пишет? Трогательно. — Горев присел и, растягивая слова, сказал: — Вчера мне один из «товарищей» протокол осмотра места происшествия представил. Уникальнейший документ. Если не ошибаюсь, так сформулировано: «Обнаружен труп мужчины средних лет с множественными поранениями. Одна рана величиной в гривенник, другая в пятиалтынный, а всего ран на рубль двадцать...» Феноменально? Я ему посоветовал немножко грамотой заняться. Оскорбился. «В такой, — говорит, — исторически острый момент я не имею полного права всякой ерундистикой заниматься. Уничтожим всех буржуев, тогда, — говорит, — и грамоте обучусь». Так и сказал. Очень энергичный молодой человек и с пролетарским правосознанием. Ну а пока указаний насчет буржуев нету, он потихоньку уничтожает, так сказать, приметы буржуазного быта. Между прочим, вчера наблюдал, как старинную мебель из особняка Морозова тащил. Дров, видите ли, в Москве не хватает, топить нечем.

Слова Горева раздражали, но в то же время в них было что-то такое, что заставило меня промолчать. За язвительностью Горева чувствовался надлом, горечь человека, который внезапно почувствовал себя за бортом жизни. В Горева было что-то и от Нины Георгиевны, старой акушерки, которая была не против революции, но хотела, чтобы все делалось «культурно, основательно»...

Когда я заговорил о Гореве с Виктором, который последнее время часто у меня ночевал, он усмехнулся.

— Все в психологические тонкости играешь? Надрывы? Надломы? Роль русского интеллигента в революции? Дурак твой Петр Петрович, вот и все!

— Почему «мой»?

— Мой, твой — не все ли равно? Суть не в этом. Дурак он, вот в чем суть! Недоучки, видите ли, с бандитизмом борются, образования им не хватает. Стульев ему жалко. «Ах, ах, гибнет великая Россия!» А кто этот стул сделал? Он, что ли? Да он и рубанка никогда в руках не держал, клею столярного не нюхал, верстаком только на картинке любовался! Всю его старинную мебель крепостные делали, а потом ее фабричные мастерили. А после революции, когда они ее для себя производить будут, хуже сделают, что ли?

— Так по-твоему получается, что сейчас все нужно жечь и разрушать?

Виктор досадливо поморщился.

— А еще обиделся, что я Горева твоим назвал. Тоже мне, член «большевистской фракции»! Разве я об этом говорю? Анархисты кричат о всеобщем разрушении: «Круши города! Ломай железные дороги!» Мы же к этому не призываем. Я о другом. Когда налетает ураган, он не только гнилые деревья ломает, он порой и здоровые с корнем выворачивает. Вот что я хочу сказать. Понял?

Виктор немного успокоился и говорил со мной, как нянька с бестолковым ребенком, который не понимает или не хочет из упрямства понять самых обычных вещей.

— Вот я летом гостил у дяди в деревне, — продолжал он, — так они там усадьбу барскую сожгли. А в усадьбе той библиотека на сорок тысяч томов — старинные рукописи, и не на бумаге, а на коже... Как она называется?

— Пергамент.

— Вот, он самый. Ну, я их, конечно, пытался сагитировать, чтоб они хоть библиотеку не жгли. Объясняю им, что она и свободному народу пригодится. Куда там! Чуть мне самому голову не свернули. А книги облили керосином и сожгли. Варварство? Варварство. Только дядя мне потом и говорит: «Ты не думай, что я книг не люблю. Я к грамоте склонен и детей всяким наукам обучить стараюсь. А эти книги все одно жечь буду. Потому как от них запах барский, а мужик этого запаха теперича никак перенести не может». Вспомнил я все, что они претерпели от помещика, и подумал, что по-своему они, может быть, и правы. А Горев этого не понимает и не хочет понять...

Виктор успокоился так же внезапно, как и вспыхнул. Присев у печурки, которую я приспособил с наступлением холодов недалеко от наружной стены на листе жести, он спросил:

- Не надоело еще бумаготворчеством заниматься?
  - Надоело.
  - Мы завтра вечером на Хитровку едем. Новая банда появилась — Кошельков, Сережка Барин, еще человек двадцать. А ниточка, конечно, на Хитровку. Надо пощупать. Хочешь?
- Об этом Виктор мог бы меня и не спрашивать...

## V

Хитров рынок издавна был пристанищем всех уголовных элементов города, которые ютились здесь в многочисленных ночлежках. Приюты чуть ли не официально делились на разряды. В высших обитали фальшивомонетчики, налетчики, медвежатники, крупные домушники; в средних находили все, что им требовалось, ширмачи, поедушники, голубятники, а ночлежки низшего разряда заполнялись преимущественно нищими, портяночниками и мелкой шпаной.

В домах Румянцева, Ярошенко и Кулакова имелись и отдельные комнаты — «нумера», которые предоставлялись почетным гостям. Здесь находили себе приют международные взломщики сейфов типа Вагновского и Рыдлевского, расстрелянных в 1919 году, известные бандиты, как, например, Павел Морозов, Котов и Мишка Чума, фальшивомонетчики и крупные авантюристы.

На Хитровом рынке большими партиями скупали краденое, нюхали кокаин, ночи напролет играли в штосс, железку, ремешок, пили смирновку и ханжу. Здесь же разрабатывались планы наиболее крупных дел.

Хитрованцы не без юмора называли рынок «вольным городом Хивой», и это название довольно точно отражало его положение. Полиция сюда заглядывала редко, и рынок жил по своим собственным законам. Когда в 1914 году Горев представил начальнику сыскной полиции проект ликвидации рынка, тот улыбнулся и с сожалением сказал:

— Идеалист вы, Петр Петрович. Неисправимый идеалист.

Ликвидации Хитровки добивался не только Горев. Но рынок, как неприступная крепость, выдерживал все штурмы. Формально его существование оправдывали тем, что он является поставщиком рабочей силы. Действительно, артели рабочих, приезжавших в Москву на заработки, первым делом шли на Хитровку, где их уже поджидали подрядчики. Но соль была не в этом. Просто Румянцев, Ярошенко и Кулаков, которым дома на Хитровке приносили сказочные доходы, всеми силами противились уничтожению рынка, используя для этого свои связи в городской думе и в канцелярии генерал-губернатора. Да и сами обитатели Хивы хорошо знали, как надо поддерживать хорошие отношения с сильными мира сего.

Особенно забурлила жизнь на Хитровке после Февральской

революции, когда Временное правительство объявило всеобщую амнистию. В цветасто написанном указе сообщалось, что амнистия должна способствовать «напряжению всех творческих сил народа», а амнистированные уголовники призывались к защите родины и отечества, для «утверждения законности в новом строе». Только из московских тюрем было выпущено более трех тысяч опасных преступников. Они не имели ни денег, ни одежды, их трудоустройством никто не интересовался. И амнистированные вместо «утверждения законности в новом строе» занялись своим привычным ремеслом. За первую половину 1917 года число опасных преступлений в Москве увеличилось в 4 раза, к июню в городе уже действовало более 30 крупных банд. На Хитров рынок потянулись «обратники» — налетчики и домушники, ширмачи и мокрятники. Трактиры «Каторга», «Сибирь», «Пересыльный» буквально ломились от народа. Тут и там мелькали раскрашенные физиономии хитровских «принцесс», вертялые фигуры «деловых ребят», разгоряченные азартом и самогоном лица шулеров. Теперь обыватель боялся проходить мимо Хитровки не только вечером или, не дай бог, ночью, но и днем. Здесь могли раздеть, ограбить, избить, а то и попросту придушить где-нибудь во дворе ветхого дома. Частыми посетителями Хитровки стали анархисты. В ночлежках можно было встретить и бравого матроса в широченных клешах с нашитыми перламутровыми пуговичками, и истеричного гимназиста, на пояске которого необычным ожерельем болтались бомбы. Анархисты кричали о трагической судьбе людей социального дна, об их талантливости и уме, не ограниченных никакими социальными предрассудками, о том, что именно они, хитрованцы, призваны сыграть немалую роль в мировой революции. Красивые, громкие слова падали на благодатную почву. Индивидуалисты по натуре, хитрованцы тяготели к анархистской вольнице. При разоружении анархистских групп нам потом нередко встречались рыцари уголовного мира. Одно время на Хитровке был даже создан «Анархистский союз молодежи». Основным его лозунгом было: «Резать буржуев до полного торжества всемирной революции!» Правда, союз просуществовал недолго, если не ошибаюсь, месяца два-три. Некоторые его члены были арестованы МЧК и уголовным розыском, а большинство разбежались.

Сразу же после Октябрьской революции Советская власть вплотную занялась Хитровкой. Здесь изъяли значительную часть спиртных напитков, арестовали многих скупщиков краденого — барыг, закрыли официальные игорные притоны. На Хитров рынок были направлены рабочие агитаторы, которые призывали жителей Хивы кончать со старой жизнью, обещая им помощь. Все это, разумеется, не могло не дать результатов, но Хитровка по-прежнему оставалась центром преступного мира Москвы, да и, пожалуй, всей России.

За время своей недолгой работы в розыске я уже достаточно наслушался различных историй, связанных с жизнью Хитровки. Слова «Хитров рынок» часто мелькали в приказах, их произносили на совещаниях и заседаниях. Большинство ЧП, как их называл Груздь, также были связаны с Хитровкой. То атаман рынка Разумовский убил двух милиционеров, то знаменитый Мишка Рябой хотел вырезать семью Горева, то к нам поступали сведения, что после ограбления в Петрограде здания сената все ценности какими-то неведомыми путями были переправлены на Хитровку и золотую статую Екатерины II стоимостью в 500 тысяч рублей и ларец Петра Великого видели у содержателя чайной Кузнецова. А дня три назад с Хитровки привезли трупы агента I разряда Тульке и матроса Павлова из боевой дружины. У обоих к груди были прибиты гвоздями дощечки с надписью: «Легавым собачья смерть». Убийц так и не нашли...

Для меня предстоящая операция на Хитровке была, по существу, первым серьезным испытанием. И я сильно волновался. Но больше всего я боялся, что это волнение может кто-либо заметить. Поэтому в тот день я держался подчеркнуто весело, напуская на себя этакую бесшабашность: дескать, жизнь — копейка, а судьба — индейка. Смеялся я по всякому поводу и без повода. Правда, насколько этот смех выглядел естественным, судить не берусь. Видимо, не очень, потому что Арцыгов, командир конвойного взвода, маленький, верткий, поросший иссиня-черной щетиной, который никогда на меня не обращал внимания, вдруг подозрительно спросил:

— Ты чего, гимназист, веселишься? Не к добру. Тульке тоже веселился, когда на Хитровку посылали. Видал, какое решето за место человека привезли?

Арцыгова я не любил, но в то же время им восхищался. Однажды он со сломанной правой рукой и с наганом в левой привел трех налетчиков. В другой раз провел ночь, лежа между трупами в морге, чтобы вскрыть аферу с медикаментами. А то как-то на спор, выпив стакан спирта, посмеиваясь, прошелся от балкона до балкона по карнизу седьмого этажа дома Ефремова.

Арцыгов красочно описывал, как выглядел труп Тульке, и я понимал, что делает он это специально, но все-таки чувствовал себя неважно.

— Вот так и разделали парня,— заключил Арцыгов и, с любопытством смотря на меня неподвижными навывкате черными глазами, спросил:

— Боязно небось в Хиву-то, а?

— А чего бояться? — бодро, даже слишком бодро ответил я.— Семи смертям не бывать, а одной не миновать!

— Что верно, то верно,— согласился Арцыгов и кивнул на мои фетровые бурки.— Махнемся? Даю валенки и башлык.

Я отрицательно покачал головой.

— Зря, башлык верблюжей шерсти, — выпятил нижнюю губу Арцыгов. — Но дело хозяйское. А если на Хитровке кокнут, в наследство оставишь? — спросил он серьезно и, как мне показалось, даже с надеждой.

Заставив себя засмеяться, я весело ответил:

— Ну, если кокнут, можешь все забрать.

Любопытно, что после разговора с Арцыговым мое нервное возбуждение как-то улеглось. Я уже мог заниматься своими обычными делами, а их оказалось немало. Кроме того, дежурный не справлялся с регистрацией происшествий, и мне пришлось взять это на себя. Происшествий было много — мелкие и крупные кражи, налеты, убийства. Потом привели человек двадцать мешочников.

Этими мешочниками были забиты все камеры предварительного заключения. Ражые дядьки круглые сутки валялись на нарах, били вшей и ругали Советскую власть. Время от времени кто-нибудь из них начинал долдонить в двери камеры кулаками, требуя начальства, или затягивал песню. Репертуар был ограниченный, мне запомнилась только одна песня на мотив «Вышли мы все из народа».

«Вышли мы все из вагона, — вразнобой орали певцы, — картошку отбрали у нас. Вот вам союз и свобода, вот вам Советская власть!»

Новую партию мешочников надо было предварительно опросить и зарегистрировать. Оказалось, что это не так-то просто, особенно пришлось помучиться с одним задержанным — толстым, с неряшливой, клочковатой бородой.

— Как ваша фамилия? — спрашивал я.

— Чего?

— Фамилия, говорю, как?

— Мое фамилие?

— Да.

— А для че тебе мое фамилие?

— Зарегистрировать надо.

— А-а-а.

— Ну, так как фамилия?

— Чего?

— Фамилия, говорю, как?

— А для че тебе мое фамилие?

И все начиналось сначала, как в сказке про белого бычка, которую когда-то Вера любила мне рассказывать. Я настолько закрутился, что когда в дежурку заглянул Савельев и спросил: «Вы готовы?» — я посмотрел на него недоумевающими глазами.

— Мы же скоро едем.

— Ах да, действительно.

Дежурный было возмутился, что он и так зашивается, а у него

еще помощника отбирают, но Савельев даже не посмотрел в его сторону. Пропуская меня вперед, он сказал:

— Удивляюсь вашему спокойствию. Когда я участвовал в своей первой операции, я не был столь хладнокровен. Волновался весьма...

— Видимо, дело в характере,— без излишней скромности объяснил я.

— Видимо.

Во дворе нас уже ждали щегольские узкие сани, в которых сидели Горев и Виктор.

— Все? — спросил, поворачиваясь всем телом, кучер.

— Все,— ответил Савельев.— С богом!

## VI

Мы остановились недалеко от Орловской больницы. Горев поднес к губам свисток и два раза негромко свистнул. Ему точно так же ответили, и из-за дома вынырнул невысокий человек в романовском полушубке. Это был Арцыгов.

— Ну как? — коротко спросил Горев.

— Все в порядке, Петр Петрович. Гнездышко со всех сторон оцеплено.

— Ну что ж, хорошо, если, конечно, птички не улетели.

— Вы со мной будете или внутрь пойдете? — спросил Арцыгов, растирая замерзшие пальцы.

— С вами. А вы, Сухоруков?

— Я тоже в оцеплении останусь.

— А мы с молодым человеком отправимся пить чай к Аннушке,— сказал Савельев и вытер указательным пальцем слезящиеся на ветру глаза.

У входа в трехэтажный дом стояли два красногвардейца, вдоль стены маячили в сумерках еще несколько фигур с винтовками.

Савельев взял меня за локоть, и мы вошли в подъезд. Сразу же потянуло спертым, вонючим воздухом. Лестница не была освещена, я то и дело спотыкался на стертых ступеньках. На площадке между первым и вторым этажом наткнулись на спящего оборванца, который даже не шевельнулся.

Мы вошли в громадную квадратную комнату. Большинство ночлежников спало. С трехъярусных нар свешивались ноги в сапогах, лаптях и опорках. Посреди ночлежки, под висячей керосиновой лампой, прямо на грязном полу играли в карты. Слышались азартные выкрики игроков:

— Семитко око!

— Имею пятак.

— Угол от пятака...

Где-то в углу хриплый не то женский, не то мужской голос выво-

дил: « Не пондравился ей моей жизни конец и с немилым пошла мне назло под венец...»

Савельев поманил пальцем рыжего парня в суконной чуйке и опойковых сапогах с высокими кожаными калошами, который, видимо, следил здесь за порядком.

— Эй, ты, Семен, кажется?..

— Так точно, Федор'Алексеевич! — с готовностью откликнулся тот и по-солдатски щелкнул каблуками.— Что прикажете?

— Севостьянова у себя?

— Так точно.

— Проводи нас.

Парень засуетился.

— Уж и рада вам будет Анна Кузьминична. Вчерась как раз меня спрашивали: « Чего, дескать, Федор Алексеевич про нас совершенно забыли? Уж не обидела ли я их ненароком...»

— Ладно языком молоть,— оборвал его Савельев.— Или, может, время выгадываешь?

— А чего мне выгадывать? — честно выкатил глаза парень.— Сами сегодня убедитесь, что зазря столько людей к дому пригнали. Нам скрывать нечего, а вам завсегда рады!

В сопровождении парня мы прошли в дальний угол ночлежки, занавешенный ситцем, и рыжий забарабанил кулаком в дверь.

— Кто там? — послышался старческий, дребезжащий голос.

— Открой, Иваныч! Гостей привел.

— Полуношники! — недовольно заскулил голос.— Сичас отопру.

Загремел запор, и меня ослепил яркий свет.

— Ого! Электричество провела! — сказал Савельев.

— А как же, нешто мы хуже других! — откликнулся мелодичный женский голос.— Заходите, заходите!

О Севостьяновой мне как-то рассказывал Виктор. Она снимала несколько ночлежек и « нумеров » в Сухом овраге. Пожалуй, во всей России не было ни одного крупного преступника, который бы хоть раз не побывал в этих « нумерах », где можно было получить все, начиная от шампанского « Клико » и кончая полным набором новейших заграничных инструментов для взлома сейфов. Поговаривали, что Севостьянова не только скупает краденое и укрывает преступников, но и участвует в разработке планов ограблений. Но уличить ее не могли.

Савельев, любивший всегда проводить параллель между людьми и насекомыми, на мой вопрос о Севостьяновой ответил:

— Вы знаете про богомола? Если самка богомола голодна, то она даже во время спаривания иногда начинает, между прочим, жевать голову своего возлюбленного, а затем и его грудь. Таким образом, вскоре весь он оказывается в ее желудке... Так вот, я не за-



видую тому, кто подвернется Аннушке под руку, когда она голодна...

Естественно, что после всего этого я ожидал увидеть нечто из ряда вон выходящее, но знакомство с Севостьяновой меня несколько разочаровало. В ее облике не было ничего бросающегося в глаза — обыкновенная мешаночка из Замоскворечья. Миловидное простое лицо, в мочках ушей дешевые изумрудные серьги, на плечах оренбургский платок. Держалась она просто и свободно; как старая хорошая знакомая, расспрашивала Савельева про семью, ужасалась дороговизной.

— Если так дальше продолжаться будет, Федор Алексеевич, — говорила она, — то хоть ложись и помирай. Никаких возможностей больше нет. Мои-то захребетники вовсе платить перестали. Свобода, говорят, долой эксплуататоров. Если бы не мои молодцы, то не знаю, как бы с ним и справилась...

Савельев молча ее слушал и посмеивался. Потом Севостьянова вышла в другую комнату и вернулась с подносом, на котором стоял графинчик с узким горлышком и две коньячные рюмки.

— Не побрезгуйте, Федор Алексеевич, откушайте!

Меня Севостьянова просто не замечала.

— Коньячок не ко времени, — отрицательно мотнул подбородком Савельев, — а самоварчик поставь.

Чай пил он вкусно, истово, время от времени вытирая большим платком лоснящееся лицо.

— Хорошо! Недаром покойный отец, царство ему небесное, говаривал, что настоящий чай должен быть, как поцелуй красавицы: крепким, горячим и сладким.

Постороннему могло показаться, что происходит все это не на Хитровке, в доме Румянцева, а где-то на окраине Москвы, в обывательской квартирке. Пришел к молодой хозяйке пожилой человек, друг семьи, а может быть, крестный. Скучно зато ей со словоохотливым стариком, но виду не покажешь: обидится. Вот и старается показать, что ей интересно. Старичок бывает редко, можно и потерпеть.

Эта иллюзия была нарушена только один раз, когда Савельев внезапно спросил:

— Сколько ты опиума, Аннушка, купила?

В углах рта Севостьяновой легли резкие складки, отчего лицо сразу же стало злым.

— Бог с вами, Федор Алексеевич! Какой опиум?

— А тот самый, что Горбов и Григорьев на складе «Кавказа и Меркурия» реквизировали.

— Ах, этот! — протянула Севостьянова. — Самую малость — фунтиков двадцать. Налить еще чашку?

— Налей, голубушка, налей, — охотно согласился Савельев. — А свою покупочку завтра с утра к нам завези.

— Чего там везти, Федор Алексеевич!

— Не спорь, голубушка. Договорились? Вот и хорошо. А заодно прихватишь золотишко, которое тебе Водопроводчик вчера приволок. И скажи ему, чтобы, пока не поздно, уезжал из Москвы. Распустился.

Когда в комнату ввели первую партию задержанных, Савельев неохотно отодвинулся от столика.

— Так и не дали чаю попить! — сказал он Виктору и протяжно зевнул, похлопывая согнутой ладошкой по рту. — Ну-с, кто здесь из старых знакомых?

— Кажись, я, Федор Алексеевич, — подобострастно скосоротился оборванец с глубоко запавшими глазами.

— Хиромант? Володя?

— Он самый, Федор Алексеевич, — с видимым удовольствием подтвердил оборванец. — Только прибыл в Хиву, даже приодеться не успел — пожалуйста бриться.

— Ай-йй-йй, — ужаснулся Савельев. — Откуда же ты, милый?

— Из Сольвычегодска прихрюл, Федор Алексеевич. Как стеклышко, чист. Истинный бог, не вру! Век свободы не видать!

— Ну, ну. Не пойман — не вор. Отпустят. А вот тебя, голубчика, придется взять, — обернулся он к чисто одетому подростку. — Шутка ли, двенадцать краж! Сидоров с ног сбился, тебя разыскивая.

— Бог вам судья, Федор Алексеевич, но только на сухую берете!

— Это ты будешь своей бабушке рассказывать! — обиделся Савельев. — Твою манеру резать карманы я знаю.

Так перед столом Савельева прошло человек пятнадцать — двадцать, большинство из которых тут же было отпущено.

— Из-за такой мелкоты не стоило и ездить! — скучно сказал он, когда ввели очередную партию, и вдруг шлепнул рукой по столу. — Ну, господин Сухоруков, вы, видно, в рубашке родились! Прошу любить и жаловать — Иван Лесли, по кличке Красивый. Вместе с Кошельковым участвовал в ограблении валютчиков на Большой Дмитровке и артельщика на Мясницкой. Так, Ваня?

Тот, к кому он обращался, был действительно красив — высокий, стройный, синеглазый, с вьющейся шевелюрой. Лесли был братом невесты Кошелькова, Ольги. К банде он примкнул недавно под влиянием Кошелькова. Виктору действительно повезло: показания Лесли могли навести на след всей банды.

Всего было отобрано пять человек: три карманника, домушник, подозревавшийся в крупной квартирной краже, и Красивый.

Когда красногвардейцы увели задержанных, мне показалось, что из-за двери, ведущей в соседнюю комнату, донесся какой-то странный звук.

— Кто у вас там?

— Мальчишка один, хворает.

Я заглянул в смежную комнату, обставленную намного бедней, чем та, в которой мы сидели, и никого не увидел.

— Где же он?

— Да вон там, в углу, — нетерпеливо сказала Севостьянова и отдернула ситцевый полог.

На маленьком диванчике под лоскутным одеялом кто-то лежал. Я приподнял край одеяла и увидел пышущее жаром лицо мальчика. Глаза его были полузакрыты. Дышал он порывисто, хрипло.

Тузик!

Да, ошибки быть не могло, он!

## VII

Мой отец был человек увлекающийся, от него можно было ожидать всего. Поэтому, когда он в один прекрасный день привел в дом беспризорника с Хитровки и заявил, что тот теперь будет у нас жить, никто не удивился. Вера, которая тогда вместе с Ниной Георгиевной готовилась к выпускным экзаменам на акушерских курсах, отодвинула конспекты и, громко стуча каблуками, прошла в столовую.

— Вот этот? — спросила она, брезгливо взглянув на жалкого оборвыша, стоявшего посреди комнаты.

— Да-с, — громко ответил отец, у которого всегда появлялся задор, когда он чувствовал себя неуверенно. — Вас это не устраивает?

— Нет, ничего, — спокойно сказала Вера, — курносенький.

— Какой есть, других не было.

Вера смерила отца взглядом, и папа сразу же потерялся. Он засуетился и робко сказал:

— Ты, Верочка, не сердись. Я понимаю, экзамены, хлопоты по хозяйству, беспокойства, но...

— Ладно, — прервала его Вера, — не надорвусь. Хотя, как ты, видимо, знаешь, я против индивидуальной благотворительности, которая только развращает людей: и тех, кто благодетельствует, — Вера вложила в это слово столько иронии, что оно прозвучало, как оскорбление, — и тех, кого облагодетельствовали. Впрочем, об этом мы поговорим позднее. Я догадывалась, что твое участие в комиссии по оздоровлению Хитрова рынка так просто не кончится. Скажи хоть, как его зовут?

— Тузиком, — потупился отец.

— И то хорошо, по крайней мере не Шарик и не Полкан. Нина! — позвала она подругу. — Тут Семен Иванович сделал нам сюрприз, так не мешало бы его отмыть...

— Кого отмыть? — переспросила Нина Георгиевна.

— Папин сюрприз отмыть. Ты мне поможешь?

Так в нашей квартире появился новый член семьи, беспокойное «дита улицы», как его называла Вера.

Тузик держался весьма независимо. Отца он любил, Веру боялся, меня не замечал, а нашу прислугу, пухленькую Любашу, ненавидел. До сих пор не могу понять природу этой ненависти. Любаша была совершенно безобидной девушкой, которая, как говорится, даже мухи не могла обидеть. Но Тузик ее доводил до слез. Как-то Любаша не выдержала и заявила Вере, что больше оставаться в доме она не может. Или она, или Тузик.

— Позови его сюда,— сказала Вера.

Любаша отправилась на кухню, которая была излюбленным местом юного гражданина Хитровки, но его там не оказалось. Тузика ждали до вечера — напрасно. Не появился он и на следующий день. Отец было хотел обратиться в полицию. Но Вера строго сказала:

— Хватит, найди себе другое развлечение. Больше мучиться с мальчишкой я не собираюсь.

— Железное у тебя сердце, Вера! — вздохнул папа. — И в кого ты только?

— В себя,— отрезала Вера. — Я всегда тебе говорила, что ты несколько переоцениваешь законы наследственности. И вообще ты большой ребенок.

И вот через год с лишним я опять увидел Тузика здесь, на Хитровке, в притоне Севостьяновой.

— Ты чего застрял? — крикнул Виктор.

— Да тут, мальчишка...

— Какой мальчишка?

— Ну помнишь, я тебе рассказывал.... Тузик. Отец его с Хитровки тогда привел.

Виктор подошел ко мне и наклонился над диванчиком.

— Испанка. Надо бы в больницу... Давно его прихватило? — спросил он у Севостьяновой.

— Третий день пошел. Ничего, отлежится.

— Какое там отлежится! Как пить дать, помрет.

— А помрет, значит, так надо. Богу видней,— безучастно ответила Севостьянова и предложила Савельеву еще чашку чаю. Но тот отказался.

— Ну так что, отнесем в больницу? — неуверенно спросил Виктор.

Виктор попросил у Севостьяновой второе одеяло и начал тщательно закутывать Тузика.

— Охота вам возиться...— сказала Севостьянова и осеклась: на улице застучали выстрелы.

Кто-то дико и страшно закричал. Опять выстрелы. Один за другим. Мы с Виктором безотчетно кинулись к выходу.

— Куда? Сейчас же назад! — крикнул Савельев.

С быстротой, которой трудно было от него ожидать, он подскочил к выключателю, погасил свет и линком ноги распахнул дверь в ночную лежку, где слабо светила керосиновая лампа.

— Храбрость показывать нечего, — ворчливо сказал он, запыхавшись, — а то всех, как кроликов, перестреляют. Это вам не роман о похождениях Рокамболя, а Хитровка. А ты, Аннушка, подальше от греха уйди-ка в ту комнату...

Он прижался спиной к стене у входной двери, и я слышал, как коротко щелкнул взведенный курок. Мы с Виктором встали по другую сторону двери.

— Спусти предохранитель, — почему-то шепотом сказал мне Виктор.

— А где он? — также шепотом спросил я.

Держа в руке только утром полученный браунинг, я больше всего опасался, что могу всадить пулю в самого себя: Груздь не объяснил его устройства, а спросить у него я постеснялся.

Виктор молча взял браунинг и, что-то сделав с ним, вложил мне его обратно в руку.

Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и началась. В ночлежке что-то передвигали, ругались, но к двери никто близко не подходил.

— Пошли? — спросил Виктор.

— Успеете.

Томительно тянулись минуты. Потом послышались торопливые шаги, и в освещенном квадрате дверного проема появилась фигура Горева.

— Не стреляйте. Это я. Где тут выключатель? — Он зацарапал ногтями по стене.

— Сейчас.

Савельев зажег свет. Горев тяжело опустился на стул. Шуба на нем была распахнута, лицо бледное, веко правого глаза подергивалось.

— В чем дело? — спросил Савельев.

— Арцыгов... Лесли застрелил...

— Побег?

— Какой побег! Для развлечения...

Виктор неторопливо начал засовывать маузер в кобуру. Он никак не мог попасть в коробку. Бессмысленными глазами оглянулся по сторонам и так, зажав маузер в руке, двинулся к двери.

— Сухоруков! — окликнул его Савельев. — У вас не найдется закурить?

— Что? — непонимающе посмотрел на него Виктор.

— Закурить, спрашиваю, не найдется?

— Закурить?

Рукой, в которой был маузер, Виктор начал похлопывать себя по карману. Затем положил маузер на стол и достал кисет.

— Но вы же не курите? — растерянно спросил он.

— Правильно,— подтвердил Савельев.— А теперь спрячьте оружие и пошли.

Мы прошли через притихшую ночлежку и спустились по лестнице. Красногвардейцы оттаскивали труп к одинокому столбу фонаря, который слабо светил сквозь густую кисею падающего снега.

С разных концов площади стекались к фонарю группами и поодиночке оборванные люди.

Солдат в ушанке угрожающе клацал затвором и тонко кричал: — Куда?! Стрелять будем!

— Где Арцыгов? — спросил у него Виктор.

— А я знаю? — зло огрызнулся тот и снова закричал: — Куда? Куда?!

Откуда-то неожиданно вынырнул Арцыгов, разгоряченный, в лихо заломленной на затылок мерлушковой папахе.

— Поторапливайся, ребята, поторапливайся! — Увидев нас, он весело оскалил зубы и подмигнул: — Смыться хотел!

— Не лгите,— устало сказал Горев.— Я все видел. Вы просто самовольно дали приказ о расстреле.

Щеку Арцыгова дернула судорога.

— А если и так, что тогда? Все равно бы его шлепнули, не здесь, так там. Теперь не старый режим: с подонками церемониться некогда. Революция!

— Ты, сволочь, на революцию не ссылайся! Революция не такими и не для таких делалась! — Виктор схватил Арцыгова за борта полушубка.

Тот вырвался, выхватил наган.

— Осади, шкет!

Вмешался Горев:

— Хватит. Разговор продолжим завтра. Обо всем этом как ответственный за операцию я доложу начальнику уголовного розыска.

— Хоть самому всевышнему! — оскалился Арцыгов и крикнул красногвардейцам, прислушивавшимся к разговору: — Грузи на сани! А по тем, кто подойдет ближе, чем на десять шагов, стрелять без предупреждения.

— Свобода...— вздохнул Горев и начал непослушными пальцами застегивать шубу.

### VIII

Тузика в Орловской больнице не приняли. Старый фельдшер с прокуренными седыми усами только разводил руками.

— Можете расстреливать, товарищи, а мест нет. Куда я его положу? В морг, что ли?

Фельдшер не врал. Больница была переполнена. Люди лежали не только в палатах и коридорах, но и на полу приемного покоя, в кабинете главного врача, вестибюле. Больные бредили, стонали, рвали ногтями грудь, всхлипывали.

Поругавшись для порядка, Виктор наконец сказал:

— Тогда хоть посмотрите его, лекарство какое дайте или что...

— Вот это можно,— обрадовался фельдшер.— Это я с превеликим удовольствием.

Он пощупал у мальчика пульс, поставил градусник и положил на столик пакетик с порошками. Потом на минуту задумался и достал из шкафчика бутылку с микстурой.

— Так что у него?

— Может, испанка, а может, иная напасть. Разве угадаешь?

— Как же вы лекарства даете, не зная от чего? — вспыхнул Виктор.

Фельдшер удивленно посмотрел на него водянистыми старческими глазами.

— То есть?

— «То есть, то есть»,— передразнил Виктор.— А если его эти порошки в могилу сведут?

Фельдшер обиделся.

— Вы меня, молодой человек, не учите-с, не доросли. Да-с,— брызгая слюной и топорща усы, говорил он.— Вы еще, извините за выражение, пеленки у своей матушки мочили, когда я людские страдания облегчал-с. Одному богу известно, кто чем болен, а лекарства между тем всегда выписывают. Такой порядок. Да-с. И если я эти лекарства даю, значит, знаю, что они безопасны и никому никогда вреда не приносили...

— А пользу?

Фельдшер, видимо, потеряв от возмущения дар речи, свирепо за сопел и повернулся к нам спиной.

— Оставь его,— сказал я, чувствуя, что Виктор с минуты на минуту может вспылить.— Пошли.

Извозчика мы не нашли, пришлось Тузика нести на руках. Виктор его держал за плечи, я — за ноги. У Покровских ворот нас остановил патруль.

Ругаясь сквозь зубы, Виктор передал мне Тузика и достал удостоверение.

— Служба,— смущенно сказал пожилой красногвардеец, возвращая удостоверение.— Что с мальчонкой? Сыпняк?

— Нет, кажется, испанка.

— Подсобить?

Только тут я почувствовал, как устал за эту ночь. Руки у меня

онемели, колени дрожали, спина стала совсем мокрой от пота.

— Пожалуйста, папаша,— поспешно сказал я, опасаясь, что Виктор откажется.— Здесь уже рядом. Парнишка не тяжелый, только мы его закутали, чтоб не простыл...

— Тяжесть не велика, грыжу не заработаю...

Красногвардеец передал винтовку своему напарнику, в последний раз жадно затянулся сигаркой, выплюнул ее в снег.

— Давайте! Один управлюсь.

Когда мы уже входили в подъезд моего дома, он, будто невзначай, спросил:

— Это ваши на Хитровке стреляли?

— Нет,— быстро ответил Виктор.

— А я думал, ваши... Когда на санях убитого везли, почудилось мне, что Сенька Худяков в охране, с нашей фабрики парень, в розыске теперь... Значит, не вы?

— Нет.

— Может, анархисты шалили?

— Может быть. Не видели.

— Да, дела... А Сеньку Худякова знаешь?

— Не припомню, народу у нас много.

— Про то слышал,— подтвердил словоохотливый красногвардеец.— Учреждение сурьезное. И то сказать, жулья не впроворот. Так и шныряют, так и шныряют. Всяка вошь из щели вылезит, чтоб свою долю кровушки получить. Дежуришь ночью — только и слышишь: «Караул, грабят!» Не знаешь, в какую сторону и кидаться. Намедни барышню раздели. Что гады сделали — сережки у ей в ушах были, так вместе с мясом вырвали. Сидит голая в сугробе да скулит, как кутенок, а кровь так и хлещет...

— Ну, пришли, спасибо,— с видимым облегчением сказал Виктор, когда мы остановились у моей двери.

В Москве проходило уплотнение, и ко мне вселили семью доктора Тушнова. Опасаясь воров, доктор врезал в дверь несколько новых замков, которые можно было открыть — и то не всегда успешно — только изнутри, зная секрет сложной механики.

Я позвонил — молчание. Еще раз.

— Так мы всю ночь под дверью стоим,— раздраженно сказал Виктор.— Ты не миндальничай, стучи кулаком! Разоспались!

Я последовал его совету, но к двери по-прежнему никто не подходил.

— Сильны спать! — почти с восхищением сказал второй красногвардеец, который молчал всю дорогу.— Ну и буржуи! Запросто всю революцию проспят. Продерут глаза — ан уже коммунизм!

— Не спят они, просто отпереть бояться. Дай-кась я! — сказал разговорчивый красногвардеец. Он опустил Тузика на лестничную площадку и грохнул в дверь прикладом.



— Эй, вы, открывайте!

— У меня оружие, я буду отстреливаться,— слышался из-за двери дрожащий голос доктора.

— Я тебе стрельну! — рывкнул красногвардеец.

— Я брал призы за меткость,— таким же бесцветным голосом прошелестел доктор.

С перепугу доктор действительно мог выстрелить.

— Борис Николаевич,— вмешался я, стараясь говорить как можно спокойнее и убедительнее,— пожалуйста, не волнуйтесь. Никто на вас не собирается нападать. Это же я и Сухоруков, тот Сухоруков, который в нашем дворе живет. Мы пришли ночевать. Вы узнаете мой голос, правда?

— Голос можно изменить.

— Но кому это нужно?

— Грабителям,— последовал обоснованный ответ.

Дипломатические переговоры через дверь продолжались минут десять. Наконец доктор, не снимая цепочки, приоткрыл дверь и только убедившись, что мы именно те, за кого себя выдаем, впустил нас в прихожую.

В моей комнате, загроможденной мебелью, было холодно и сыро: дома я бывал редко и топил свою «пчелку» от случая к случаю.

Мы уложили Тузика на большую двухспальную кровать карельской березы, разжав плотно стиснутые зубы, влили в рот немного микстуры. Тузик дернулся, перевернулся на бок, что-то забормотал.

Виктору я постелил на диване, себе на кушетке. Вместе растопили печурку. Я смертельно устал, голова была тяжелой, мутной. Передо мной стояло желтое, с заострившимся носом лицо Лесли, оскаленный в застывшей полуулыбке рот, и я видел кружащиеся снежинки, которые падали на его щеки и не таяли. А глаза у Лесли были открыты, и снежинки, попадая на них, тоже не таяли. Интересно, сколько Лесли было лет? Наверное, не больше двадцати пяти. И недаром его прозвали Красивым. Действительно, красивый, очень красивый. Наверно, не одной гимназистке голову вскружил... Хотя при чем тут гимназистки? Ведь он не учился в гимназии. А может быть, учился? Что за ерунда в голову лезет?..

Я приподнялся на локте и закурил.

— Не спишь? — спросил Виктор.

— Не спится.

— Мне тоже. Все об этом деле думаю. Сволочь все-таки Арцыгов. Ему что вошь, что человек. Раз — и нету. За что он его убил?

— Ну, бандит все-таки...

— А бандит не человек? Я позавчера одного налетчика допрашивал... «Что,— говорит,— думаешь, я налетчиком родился? Я,— говорит,— может, поэтом родился. Я,— говорит,— может, почище Пушкина стихи складываю». Ну, насчет Пушкина он вгорячах при-

врал, а стихи действительно здорово написаны. Там мне одна строка запомнилась: «Необычное обычно только в сказках и стихах...» Здорово?

— Ничего.

— Не ничего, а здорово. Хорошие стихи, лиричные. А вот на тебе, налетчик... Мать у него проститутка, отец барыга. С девяти лет воровать посылали, не кормили. А он на ворованные деньги Пушкина, Лермонтова, Кольцова покупал... А мать его, думаешь, от хорошей жизни на панель пошла? Сложно все это, Сашка!

— Ну, так все оправдать можно.

— Да я не оправдываю, объясняю. Вот его возьми, для примера,— Виктор кивнул в сторону Тузика,— и бандит из него может выйти, и профессор. Скажешь, нет? Жизнь почище какого скульптора лепит. Для того ее и переделываем, революция для всех, и для них, хитрованцев, тоже...

— Значит, по-твоему, бандитов и уничтожать не нужно?

— Почему не нужно, нужно. Есть такие, которых уже не переделаешь, озверели, ожесточились, уж слишком крови нанюхались. Только нам в бандитов не следует превращаться... А то вот я одного из комендантского взвода знал. Весельчак вроде Арцыгова. Рубаха парень... Так что он, зараза, делал: вел человека на расстрел, а сам шуточки шутил, в усики посмеивался. Одной рукой за плечи обнимает, а другой потихоньку наган достает, чтобы в затылок пулю вогнать. Это, объяснял, я из-за доброты делаю, чтобы расстреливаемый до последней секунды не знал, что я его кончать веду... Кокнули этого весельчака, свои же ребята кокнули. Не человек — садист... Таких нам пуще открытых врагов опасаться надо. Они идею пачкают, как девку своими грязными руками лапают.

Затихнув, я смотрел, как Сухоруков сорвался с дивана и в одном нижнем белье завертелся по комнате. Потом он немного успокоился и, тяжело дыша, уселся у печки, закурил... Огонек сигарки то вспыхивал яркой звездочкой, то почти затухал. Мы молчали.

— Вот так, член «большевистской фракции»,— сказал Виктор.— Так и живем. То с бандитами сражаемся, то с арцыговыми...— И неожиданно спросил: — Ты как себе коммунизм представляешь?

В теории я чувствовал себя достаточно подкованным: ведь как-никак читал Маркса, Энгельса, Каутского, Струве и даже законспектировал первый том «Капитала».

Я начал говорить об отмирании государства, о ликвидации частной собственности.

— Не то,— прервал меня Виктор.— Ты говоришь: не будет эксплуатации, не будет частной собственности, не будет армии. Сплошные «не». Это я тоже понимаю. А вот что вместо этих «не» будет?

— Ну, сейчас трудно об этом говорить...

— А что тут говорить? Об этом не говорить, мечтать, что ли, надо,— Виктор улыбнулся.— Ко мне недавно Груздь приходил, просил кальку достать. На кой черт тебе калька, спрашиваю. Мнется. То да се. Наконец признался. Оказывается, он с одним архитектором на квартире живет. Глун... Глан... Не помню фамилии. Да, собственно говоря, это и неважно. Молодой парень, вроде тебя. Так он, этот архитектор, над городами будущего работает. Города из голубого камня. Дома голубые, дороги голубые, улицы голубые... Как небо.

— Ерунда, фантазия...

— Фантазия? Может быть, но не ерунда. А фантазировать и мечтать надо, иначе жить нельзя. Только вот не думал, что Груздь на это способен. Оказывается, способен. Калька-то, оказалось, для того архитектора нужна. Боится, говорит, что запоздает, в срок свою работу не кончит. А без кальки и керосина много не начертишь: он по ночам работает. Мы, говорит Груздь, с ним по этому вопросу в Совнарком неделю назад заявление отправили: так, дескать, и так, учитывая, что на носу мировая революция и поэтому остро необходимо создать единый всемирный стиль архитектуры эпохи коммунизма, просим содействовать в снабжении товарища Глана, который разрабатывает таковой, керосином и калькой. Что касается оплаты, то товарищ Глан, учитывая остроту международного момента, от нее отказывается и передает все свои чертежи республике безвозмездно... Да, очень Груздь этим делом заинтересован. А голубые города — это здорово. Может, действительно при коммунизме города будут голубые, а?

Я пожал плечами.

— Эх ты, теоретик! Ну давай спать, что ли...

Виктор щелчком пальцев подбросил самокрутку. Взлетев, она описала крутую дугу и упала где-то посреди комнаты. Огонек рассыпался по полу огненными брызгами. И мне на мгновение показалось, что это из тьмы ночи засверкали освещенные электричеством окна городов будущего. Кто его знает, может, они действительно будут голубыми? И еще я подумал, что сейчас где-то на другом конце Москвы склонилась над ватманом голова безвестного архитектора, который глубоко убежден, что ему очень нужно торопиться...

А за окном тревожным, беспокойным сном спала Москва — холодная, голодная, разрушенная. Вдоль пустынных улиц из глубокого снега выглядывали лысые головы каменных тумб, которые стояли здесь еще пятьдесят лет назад; метались в бреду сыпнотифозные. спозаранку выстраивались угрюмые, молчаливые очереди за хлебом, а в гулких комнатах роскошных особняков бывшие аристократы и бывшие либералы раскладывали пасьянсы, пытаясь угадать точную дату падения Советской власти...

Я сидел в кабинете Виктора, когда вошел Горев.

— Прошу ознакомиться, господин Сухоруков,— сказал он и положил на стол поверх протокола допроса свою докладную об убийстве на Хитровке.

— Вернулась от начальника?

— Да, довольно быстро, не правда ли? Как любит говорить Сергей Арнольдович, без старорежимного бюрократизма и волокиты.

Наискось докладной мелким, с завитушками почерком начальника уголовного розыска была написана длинная и витиеватая резолюция: «Поступок Арцыгова достоин осуждения, поскольку противоречит основным принципам создаваемой в классовых боях революционной законности и нарушает общие правовые положения. Но в интересах объективности необходимо учесть и иные характерные моменты — пролетарское происхождение провинившегося и его беззаветную преданность революции, а также то, что убитый являлся деклассированным элементом, затрудняющим поступательный ход истории. Учитывая вышеизложенное, ограничиться в рамках целесообразности разъяснительными мероприятиями...»

— Чуть какая-то.

— Думаете? — Горев усмехнулся.— Напрасно, господин Сухоруков. Просто Сергей Арнольдович ставит точку над «i»: раз человек пролетарского происхождения, он имеет право убивать, а раз другой — «деклассированный элемент», следовательно, его нужно убивать. Что же касается законов, то они, если не ошибаюсь, «сметены революционным ураганом». Как в вашей песне поется: «Мы старый мир разрушим до основания»?.. Так, кажется?

— Да, только вы продолжение забыли: «...А затем...»

— Нет, помню. Но боюсь, что «затем» уже поздно будет. Во всей бывшей Российской империи останутся только трупы да стаи волков.

Когда Виктор сильно волновался, он бледнел. Вот и сейчас я видел, как кровь отлила от его щек, а глаза сузились. В такие минуты он мог наделать черт те что. Поэтому, когда он сказал, что пойдет к Миловскому, я решил идти вместе с ним.

Начальник уголовного розыска Сергей Арнольдович Миловский был в недалеком прошлом присяжным поверенным и, видимо, неплохим адвокатом. Во всяком случае, его фамилия в свое время частенько мелькала в газетах в разделе судебной хроники. Мужчина он был, что называется, видный. Густые волнистые волосы с проседью, «волевой» подбородок, под упругими дугами бровей — великолепные глаза трагика. Короче говоря, на присяжных он должен был производить сильное впечатление. Но в уголовном розыске

его не то чтобы не уважали, а как-то не принимали всерьез. Когда мы зашли в кабинет Миловского, он просматривал какие-то бумаги.

— Вам некогда, Сергей Арнольдович? — спросил я.

Зная характер Виктора, я больше всего хотел сейчас избежать этого неприятного разговора.

Но Миловский, положив на бумаги пресс-папье, сказал:

— Писанина подождет. Для сотрудников у меня в сутки выделено ровно... — он сделал короткую эффектную паузу, — двадцать четыре часа.

— Я относительно Арцыгова, — хмуро сказал Виктор.

Миловский слегка приподнял правую бровь. Все его лицо выражало недоумение.

— Арцыгова? — повторил он хорошо поставленным голосом. — Слушаю, товарищ Сухоруков.

— Я читал вашу резолюцию на докладной Горева и не согласен с ней. Арцыгову не место в уголовном розыске.

— Вот как?

— Таких нужно гнать в три шеи.

Миловский внимательно посмотрел на Виктора. Теперь лицо его выражало скорбь. Он покачал головой.

— Не ваши слова, товарищ Сухоруков, не ваши... И это печально, что вы, рабочий парень, повторяете мысли Горева, осколка прошлого режима.

— При чем тут Горев? — грубо сказал Виктор. — Просто я считаю, что в розыске не место бандитам, что должна существовать какая-то законность...

— Какая-то законность? Нет, товарищ Сухоруков, не какая-то, а революционная. Законность, созданная в огне революции, совсем не напоминает слюнявые разглагольствования небезызвестного Кони. Я, разумеется, не оправдываю Арцыгова, но я его понимаю. А вот вас я не могу понять. Революция — это вихрь, ураган. Втиснуть ее в заплесневелые рамки правовых норм и обветшалых догм нельзя. Она богатырь. А попробуйте на богатыря надеть одежду подростка — затрещит по швам. Нельзя к новому применять старые мерки. Исходя из чисто формальной классической логики, переговоры с немцами, например, могут вестись только в одном аспекте: мир или война. — И добавил по-латыни: — Терциум нон датур. Но мы отбрасываем формальную логику и заменяем ее революционной: ни мира, ни войны. Воевать мы не можем, а идти на грабительский мир с империалистами не имеем права, ибо это будет предательством по отношению к мировому пролетариату.

Миловский вышел из-за стола и говорил, уже обращаясь не к Виктору, а к воображаемой аудитории. Его отработанные жесты покоряли своей силой и выразительностью. Точно так же он выступал на многочисленных совещаниях, призывая сотрудников розыска

«раз и навсегда покончить с гнусным наследием проклятого прошлого».

Мне речи Миловского в то время нравились. И хотя я не совсем понимал, какое отношение имеет случай на Хитровке к переговорам с немцами и почему Миловский понимает Арцыгова и не понимает Сухорукова, тем не менее я был почти зачарован и немало удивился, когда Виктор прервал начальника в самом патетическом месте:

— Так вы не собираетесь пересмотреть свое решение?

— Я не могу идти против своей совести...

— А говорит он все-таки здорово,— сказал я Виктору, когда мы вышли в коридор.

— Болтуны всегда здорово говорят,— ответил Виктор.— На то они и болтуны.

Я было вступился за Миловского, но Сухоруков отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи.

— Хватит, достаточно.

На следующий день Виктор отправился в административный отдел Совдепа. Но здесь было не до него. В высоких комнатах дымили самокрутками, толкались, громко переговаривались люди в солдатских шинелях. Чаще других можно было услышать слова: «Петроград», «Нарва», «мир», «германцы», «наступление».

Мирные переговоры были сорваны. Почти не встречая сопротивления армии и малочисленных, разрозненных отрядов красногвардейцев, австро-германские войска железной лавиной обрушились на республику.

21 февраля Совнарком издал декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Декрет кончался словами: «Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество!»

В Москве спешно формировались полки, батальоны и отряды, которые сразу же отправлялись на фронт. Бывшие солдаты обучали новичков приемам штыкового боя, учили стрелять, бросать гранаты. В помещении Александровского и Алексеевского военных училищ открылись курсы по подготовке командиров Красной Армии, а в Крутицких казармах — десятидневные курсы пулеметного, подрывного и артиллерийского дела.

На заводах, фабриках и в учреждениях шла запись добровольцев. Подали заявление об отправке на фронт и мы с Виктором. Но из этого ничего не получилось. Военный комиссар района, седоусый, с редким колючим бобриком коротко остриженных волос, немногословно сказал:

— Вы, хлопцы, горячки не порите. Занимайтесь лучше своими отечественными бандитами, а с германскими мы и без вас справимся.

Приблизительно то же самое нам сказали и в Союзе рабочей молодежи «III Интернационал». Пришлось примириться.

А на Петроград каждый день шли все новые и новые эшелоны. Гремела медь оркестров. На перронах толпились женщины и дети, провожающие близких. Обыватели жадно ловили слухи о продвижении германских войск, о разногласиях в ЦК большевиков, о «блиском и на этот раз уже верном падении Советской власти». Шмыгая носами, с кривенькими усмешечками читали плакаты: «Революция в опасности! Наступает последний решительный час! Смерть или победа!»

Доктор Тушнов, обычно мрачный и вялый, теперь оживился. Открывая мне как-то дверь, к которой успел за последнее время приделать еще несколько дополнительных цепочек, он доверительно сказал:

— Ходил на свою квартиру. Семьи трех «товарищей» там теперь поселили. Комнаты загадили основательно. Но я уже договорился с малярами. Обещали дня за четыре все в ажур привести...

— Надеетесь вернуться?

— Не надеюсь, молодой человек, а уверен. Да-с, без варягов святой Руси не существовать.

Но наступление немцев было остановлено. Третьего марта советская делегация подписала мирный договор.

— Как видишь, логика революции иногда совпадает с обычной логикой, — не удержался Виктор, протягивая мне газету с сообщением о заключении договора. — А условия тяжелые. Но ничего, придет время, расквитаемся... Вчера с одним солдатом говорил — в Одессе в госпитале лежал. Бурлит Украина. И в Германии беспокойно... Еще месяц, еще два, и революция там будет. Увидишь. Да, с германскими бандитами справились, а вот с отечественными дело похуже...

Действительно, бандитские группы росли как грибы после дождя. Шайки Якова Кошелькова, Собана, Гришки-адвоката, Козули, Невроцкого, Мишки Рябого, Мартазина, Ваньки Хохла, Водопроводчика терроризировали население Москвы. Почти все они были самым тесным образом связаны с Хитровым рынком, а многие из них поддерживали контакт и с анархистами, которые к тому времени захватили в Москве 25 особняков. Дом анархистов на Малой Дмитровке стал своего рода штабом целого ряда руководителей бандитских групп. Дело дошло до того, что в конце февраля Московский Совет принял специальное постановление, в котором говорилось, что «под видом анархистов выступают громилы и грабители, которые производят хищения и пьянствуют».

По далеко не полным данным, за первый квартал 1918 года в городе было совершено 1876 преступлений. Эта цифра говорила сама за себя. Хвастать, как говорится, было нечем.

Советская власть все более прочно обосновывалась в городе, занимая одну ключевую позицию за другой. Зайдя в любое учреждение, теперь можно было увидеть рядом со строгими, глухими шуртками демократические косоворотки.

Старое причудливо переплеталось с новым. В газетах печатались объявления о национализации по требованию рабочих фабрик и заводов и о «...новоизобретенной машинке «Глория» для оттачивания ножей «жиллет», сообщения о положении на Украине и об организации «артели безработных помещиков», о захвате «немедленными социалистами» особняка на Первой Мещанской и о том, что бывший царь Николай II в Тобольске систематически занимается зарядкой и по собственной инициативе сам счищает снег и рубит дрова.

Все менялось. Менялось на глазах. Неизменным оставалось только наше учреждение. Порой казалось, что новая власть в круговороте событий просто о нем забыла. Все так же на многочисленных совещаниях произносил часовые речи Миловский, клеймя позором мировой империализм и призывая сотрудников добиться стопроцентной раскрываемости преступлений. Точно так же, как и десять лет назад, ровно в восемь открывал дверь своего кабинета Горев и ровно в час закрывал, отправляясь на обед.

Нельзя сказать, что люди, занимавшие многочисленные комнаты уголовно-розыскной милиции, ничего не делали. Задерживались преступники, допрашивались пострадавшие, инспектора и агенты выезжали на место происшествий. Но это была не та работа, которая требовалась в то бурное время.

За прошедшие несколько недель я уже немного освоился со своим новым положением. Теперь мне уже не льстило, как раньше, внимание жильцов дома, исчез металл в голосе, я уже не поднимал воротника пальто и не смотрел исподлобья на всех встречаемых. Вообще, кажется, я стал взрослей. Миловский зачислил меня в группу, которая занималась расследованием квартирных краж, кстати говоря, самых многочисленных в то время.

— Я считаю, что Сухоруков оказывает на вас плохое влияние, — объяснил он свое решение. — Поработайте у Ерохина.

Почему Миловский увидел в Ерохине образцового воспитателя, не знаю. В восемнадцать лет легко делают себе кумира из личности, явно для этого не подходящей. Но Ерохин был настолько не похож на идеального героя, что уже при первом знакомстве ничего, кроме гадливого чувства, у меня не вызвал. Суетливый, низколобий, прыщавый, постоянно облизывающий острым язычком толстые губы, он был антипатичен и, кажется сам это понимая, тщательно следил за своей внешностью. Волосы он смазывал брил-



лиантином, ногти полировал замшей и всегда носил с собой маленькое зеркальце, которое вынимал при каждом удобном случае.

Ерохин был владельцем единственной в уголовном розыске немецкой овчарки по кличке Треф. Треф ленью и чистоплотностью очень походил на своего хозяина. Уговорить его в непогоду выйти на улицу был сущим мучением, а в ограбленной квартире он интересовался абсолютно всем, кроме следов преступника. Но Ерохин относился к его слабостям снисходительно: за пользование ищейкой была установлена такса пятьдесят рублей, и хотя деньги падали в цене, количество краж стремительно увеличивалось, так что гонорар Ерохина был сравнительно стабilen. Самодовольство хозяина передавалось псу. Треф ходил с высоко поднятой головой и, беря след, словно делал личное одолжение обокраденному. Его красивые наглые глаза так и говорили: «Только попрошу без назойливости. Сами понимаете, пятьдесят рублей не такие деньги, чтобы из кожи лезть».

Потеряв след — а с Трефом это случалось частенько, — пес лениво вякал, зевал и преспокойно усаживался у ног хозяина. А когда клиент начинал волноваться, вмешивался Ерохин. «Постыдился бы, — говорил он осуждающе. — Старый мир гибнет, а вы за побитый молю салоп держитесь. Пошли, Треф!»

Иногда все-таки украденное находили, и тогда гордости моего шефа не было предела.

— Революция начисто смела родословную аристократов, но никто не уничтожит родословную собак, — глубокомысленно морщил он лоб. — У собак родословная — это все: нюх, красота, понятливость, благородство. Я предков Трефа до пятого колена знаю — чистойшей воды аристократы! — И в порыве любви к своему помощнику Ерохин просил: — Дай, дружище, лапу!

Треф смотрел на шефа и нехотя протягивал лапу. Честное слово, в этом жесте действительно было что-то благородное!

Учиться у такого специалиста, как Ерохин, было нечему. Я пробовал читать книги, на которых стояли штампы сыскного отделения департамента полиции, орлы на обложках и надпись: «Для внутрислужебного употребления».

Но большая часть сведений, сообщавшихся в них, касалась преступлений, никем в те годы не совершаемых: «Расследование дел о подлогах векселей...», «Мошенничество путем объявления себя банкротом...», «Убийство с целью завладения наследством...».

А мне приходилось отыскивать следы украденного комода, который — как наверняка знали и я и потерпевший — уже горел в чьей-нибудь буржуйке; утешать женщину, оплакивающую пропавшее пальто, — его сняли с вешалки в передней; определять, кто из соседей мог бы стащить и продать редкую по своей ценности в те времена вещь — водопроводный кран.

Как-то в переулке у Пречистенки, куда я прибыл по вызову, маленькая худенькая старушка объяснила мне, что украден самовар.

Я составил подробный протокол осмотра места происшествия, говорил с соседями. А старушка все ходила за мной и вспоминала, как с этим самоваром она ездила с покойным мужем по воскресеньям на Воробьевы горы и там они всей семьей пили чай прямо на травке.

Надоела она мне весьма основательно. В конце концов я не выдержал и заговорил словами своего шефа:

— Постыдились бы о самоваре голосить! Люди на фронте жизнь отдают.

— Не твой...— ехидно выдохнула старушка.— Не твой, так тебе и дела нет. А был бы твой, небось пол-улицы в участок поволок бы.

Я разозлился и, на свою беду, вспомнил папиного любимца — пузатый тульский самовар с толстыми медными медалями вокруг трубы, который пылился в чулане.

— Не нужно лишних разговоров, гражданка. Если желаете, можете взять мой самовар. Не жалко.

Так и было сделано.

Старушка придирчиво осмотрела подарок со всех сторон, и он ей понравился. Меня это вполне устраивало, и я даже помог ей довезти самовар до дому. Мы расстались довольные друг другом: она приобрела самовар, а я избавился от кляузного и неинтересного дела.

К сожалению, кто-то надоумил старушку, что о моем благородном поведении необходимо довести до сведения начальства, и она недолго думая отправилась в розыск. И вот на очередном совещании Миловский, который, как никто другой, умел совмещать несовместимое, проанализировав международную обстановку и положение дел в розыске, вдруг заговорил обо мне и злосчастном самоваре.

— Многим этот поступок может показаться странным,— говорил он.— Но я вижу в нем прообраз будущих отношений между людьми. Мне не нужен самовар — тебе нужен. Возьми! Белецкий формально не выполнил служебное задание, но сделал он это во имя высшей цели — доброты и любви к ближнему.

Признаться, меня покорило утверждение начальника, что все сделано из любви к этой мерзкой старушонке. Но все-таки приятно, когда тебя хвалят. И я никак не думал, что стану мишенью для насмешек. А это, увы, произошло. Теперь, здороваясь со мной, Груздь обязательно добавлял:

— Слышал? На Мещанской шубу украли. У тебя, случаем, лишней нет?

От Груздя не отставал Арцыгов. Даже флегматичный, ни на что

не обращающий внимание Савельев и тот, встречаясь со мной, не мог удержаться от улыбки.

— Не понимаю, что они смешного нашли? — жаловался я Виктору.

— А ты еще много чего не понимаешь, птенец желторотый.

— Но что плохого, если я отдал самовар, который мне не нужен?

— А то, что тебя послали к ней на расследование. Это ты хоть понимаешь? Добряк нашелся! Что о тебе теперь народ говорить будет?

— Уверен, что ничего плохого.

— Ошибаешься. Ну и власть, скажут, прислали мальчонку ворованное отыскать, а он, сердешный, ничего-то не знает, ничего не понимает. Попотел-пототел да и говорит: «Бери уж, мамаша, мой самовар».

Спорить с Виктором было бесполезно. И уж как-то само собой оказалось, что история с самоваром начала казаться мне глупой, а сам я последним дураком.

Но вскоре иные события заставили меня совсем забыть о ней.

11 марта мы узнали о переезде из Петрограда в Москву правительства. Члены СНК разместились в гостинице «Националь», возле которой теперь стояло несколько потрепанных автомашин. А в первых числах апреля на стенах домов и театральных тумбах забелели листки бумаги — обращение ВЧК к населению Москвы: «...Лицам, занимающимся грабежами, убийствами, захватами, налетами и прочими тому подобными совершенно нетерпимыми преступными деяниями, предлагается в 24 часа покинуть город Москву или совершенно отрешиться от своей преступной деятельности, зная впредь, что через 24 часа после опубликования этого заявления все застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреливаться».

ВЧК призывала трудовое население Москвы к активному содействию всем мероприятиям Чрезвычайной комиссии.

Вскоре отрядами ВЧК и латышскими стрелками кремлевской охраны была разгромлена анархистская «Черная гвардия».

— Ну, — потирал руки Виктор, — кажется, теперь по-настоящему взялись и за отечественных бандитов.

## XI

Как-то вечером Ерохин затащил меня в небольшое кафе у Покровских ворот. Тогда еще с продовольствием в Москве было сравнительно терпимо. Так называемый «классовый паек» ввели, если не ошибаюсь, к концу 1918 года, в августе или сентябре. А продажа спиртных напитков уже была запрещена. Но Ерохин пошептался с юрким официантом, и тот поставил на наш столик маленький самовар.

— Крепкий чаек! — подмигнул Ерохин и, перегнувшись через столик, шепотом сказал: — Смирновка, настоящая.

Я удовлетворенно кивнул головой, хотя водки мне пробовать не приходилось. За всю свою предыдущую жизнь я выпил всего две или три рюмки вина на свадьбе Веры, но не хотелось показывать своей неопытности.

— Ну, поехали,— приподнял стопку Ерохин.— За что выпьем? Папаша жив? Нет? Вот мой тоже скончался, царство ему небесное. Понимал покойный толк в водочке и яствах. Мы, говорил, Митя, только последний обед и последнюю рюмку с собой уносим. Хороший был старик, мудрый. А вот мамаша не то, суетливая старушонка. У тебя? кто в живых? Сестра? В Ростове, говоришь? Эх, Ростов, Ростов! Дамочки там, скажу тебе, пальчики оближешь! Как Николай Алексеевич Некрасов высказывался? «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Но теперь, конечно, не то. Война, революция. Каледины там всякие, корниловы... А теперь как там? Кубано-черноморская республика, что ли? Ну, давай, давай, за сестру и ее муженька. Чтобы все там у них в порядке было.

Я выпил стопку залпом.

— Молодец, ох молодец! — восхитился Ерохин.— Только закусывай. Закуска — мечта. Под такую закуску не только самоварчик — Черное море выпить можно. Не бывал на Черном-то море? А я бывал. И на песочке лежал, и на солнышке грелся. Кое-что в своей жизни я все-таки видел. А вам, молодым, не повезло. Невеселое время. Как говорится, красивой жизни не жди, свою бы некрасивую сохранить. Так-то. А ты чего не пьешь? Захмелел?

— С чего?

В ту минуту мне действительно казалось, что водка на меня совершенно не подействовала. Мне было просто весело, тепло и уютно. Мне нравилось все: доброжелательный, услужливый официант, плакатик на стене: «Здесь на чай не берут», фикус в углу, разноголосый шум сидящих за столиками, папиросный дым, маленькая певица в длинном серебристом платье, похожая на русалку, и мой собеседник. Видимо, я все-таки напрасно так относился к Ерохину. Подумаешь, некрасивый. Разве человек обязательно должен быть красивым? Паганини, например, был просто уродливым, а Паганини — гений, и Бальзак — гений, и Толстой — гений. И у Толстого была большая борода. Большая и широкая. Интересно, почему Ерохин не носит бороду?

— Митя, ты чего бороду не носишь?

— Что? Бороду? Чу-дак! — Ерохин засмеялся.— Придумал тоже, бороду! На кой ляд мне борода?

«Действительно, зачем ему борода? — поразился я.— Чего это вдруг мне в голову пришло? Нет, кажется, я все-таки пьян. Больше

пить нельзя. Хватит. Больше ты не выпьешь ни одной стопки,— убеждал я сам себя,— ни одной. Понял?»

— Ты чего на певичу пилишься? Нравится? — допытывался Ерохин, упершись грудью в край стола.— Хороша девица? Хочешь познакомлю?

— Зачем?

— Ха-ха-ха! Ну, право слово, чужак! Не знает, зачем с девицами знакомятся! Не бойсь, научу! С Ерохиным не пропадешь. Думаешь, дурак Ерохин? Нет, Ерохин не дурак. Ерохин придуривается. Ерохин знает, что с дураков спрос меньше. Ерохин жить хочет! Понимаешь, жить! Дурак Горев, что лбом паровоз остановить пытается. Дурак Савельев. Сколько лет он в полиции? А что имеет? Кукиш с маслом да коллекцию тараканов. Не-ет, жить надо уметь. Война, революция — это все проходит. Побьют красные белых, белые красных, похоронят друг друга, а умные останутся. И жить будут, и водочку пить будут, и баб любить будут! Осознал?

— Подожди, подожди.

Со мной творилось что-то странное. Я слышал слова Ерохина, но смысл их как-то ускользал от меня, мысли терялись, растворялись в разгоряченной алкоголем голове.

— Подожди, подожди,— бормотал я, пытаюсь сосредоточиться и взять себя в руки,— что-то непонятно...

Ерохин поддел вилкой несколько маринованных маслят, засунул их в рот, проглотил. Провел по толстым губам остреньким язычком и пригладил без того гладкие, блестящие от бриллиантина волосы.

— А непонятно тебе, потому что ты еще сосунок, молочко на губах. Хлопаешь ушами да веришь всему, что тебе Миловский и Сухоруков говорят. А толк из тебя будет. Ты уж мне поверь, я в людях разбираюсь. Вот из-за истории с самоваром над тобой твои дружки смеялись, а я — нет. Потому что понимаю: широкая натура у парня. На, бери, не жалко. Так и нужно. Но и свою выгоду забывать не следует. Отдал сотню — заработал тыщу. Понял? А на нашем деле только дурак не озолотится. У нас при Николае начальником сыскной Маршалк был. Три доходных дома имел, свой выезд, подвал всяких иноземных вин. Понял?

— Подожди, подожди,— повторял я с пьяной настойчивостью.— Давай разберемся.

— А мы и разбираемся. Сам живешь и другим давай. Верно?

— Верно.— подтвердил я, еще не понимая, куда Ерохин клонит.

— Вот, к примеру, то дело в гостинице «Гренада»... Ну, помнишь, актерку в номере обворовали? Ну, там кулон, сережки... Помнишь? Ты это дело швейцару клеишь...

— То есть как это «клею»? — Я почувствовал, что трезвею.— Я никому никаких дел не клею. Против него три показания...

— Два показания, три показания...— перебил меня Ерохин.—

Что мы, на уроке арифметики, что ли? Ты же умный парень. При чем тут показания? Старика-то жалко? Две дочки у него, бедняги, на выданье, сам голышом ходит... По-человечески-то жалко его?

— Ну, на бедного он не похож. Валюты у него будь здоров!

— Да пойми, дурья голова, зачем тебе его сажать? Выслужаться, что ли, хочешь?

Я молчал. Конферансье, перекрывая гул голосов, объявил:

— Выступает известный еврейский комик-аристократ Павел Самарин!

На эстраду вышел полный мужчина во фраке и летней шляпе из кокосовой мочалки — «Здравствуйте-прощайте». Поклонился, потер руки.

— С разрешения достопочтенной публики я прочту маленький, совсем маленький, — он показал руками, какой именно маленький, — отрывок из популярной революционной пьесы «Ванька на престоле».

— Давай лучше «Центрофлирт»! — закричал кто-то из зала. «Интересно, певица еще будет выступать?»

— Выпьем? — предложил Ерохин и положил свою руку с выхоленными ногтями на мою.

Ладонь у него была потная, горячая. Я выдернул руку и брезгливо вытер ее салфеткой. Но он не обиделся.

— Выпьем?

— Нет, пить я не буду.

Ерохин выпил сам. Поморщился, словно у него болели зубы.

— Тяжелый ты человек, Саша, и неумный человек. Думал, умный, а ты дурак, как есть дурак. Знаешь, сколько он дает? Десять тысяч. Да на эти деньги... Половина твоя, идет? Ну, три четверти?

Я встал.

— Сколько с меня за выпивку?

— Благородный? Взятки не берешь? — Физиономия Ерохина побагровела, на низеньком лбу поблескивал пот. Он теперь походил на разъяренного хоряка. — Перед Советской властью не выслужись. Дворянин небось? Ничего, недолго ждать: всех в ставку к Духонину отправят, к стеночке рядочком поставят. И тебя, и Горева, и Савельева... Всех, всех! Пролетарское происхождение не выслужишь, за столом трудовых мозолей не натрешь!

Я начал пробираться к выходу, обходя тесно поставленные столики. У гардеробной меня нагнал Ерохин, схватил за локоть, жарко зашептал в ухо:

— Обиделся, чужак? Ишь какой обидчивый. Раз-два, и обиделся. Шутки, что ли, не понимаешь?

— Хороши шуточки!

— А что, и пошутить нельзя? Контрреволюция? Ведь я тебя, чудака, испытывал. Миловский просил, ей-богу. Испытай, говорит,

Белецкого. Узнай, чем дышит... Вот я и испытал. Не веришь? Хочешь, побожусь? Не хочешь? А что хочешь? Ты дружбу Ерохина не теряй, пригодится...

Я с трудом вырвался из его цепких рук и вышел из кафе. Было холодно, но уже пахло весной. На скамейках бульвара, как и несколько лет назад, сидели парочки. Мне почему-то вспомнилось, что вот на такой скамейке под многолетним тополем частенько проводили свои вечера и мы с Надей — моей первой любовью. На спинке скамейки я еще вырезал тогда наши инициалы. Нади теперь в Москве нет, уехала вместе с родителями куда-то на юг, а может быть, за границу, кто знает? Но если бы она и была здесь, это бы все равно ничего не изменило, потому что Наде последнее время нравился Пашка Нирулин из реального училища, и она ему еще подарила пенковую трубку. «Настоящая английская», — хвастался Пашка. Он вообще был хвастун. Тоже, наверно, уехал. А Вера пишет, что в Ростове беспокойно и ожидаются события. Но Нина Георгиевна все-таки отправилась к ней. В голове копошились отрывистые, несерьезные мысли. Меня сильно покачивало. Незаметно я прошел свой переулочек и оказался у Мясницких ворот, для чего-то остановился у чайного магазина. Видимо, стоял я там долго, потому что сторож, лохматый старик с берданкой, не выдержал и крикнул: — Чего вылупися? А ну проходи!

Я опять вернулся на бульвар. Меня подташнивало, но чувствовал себя я значительно лучше. По лестнице своего дома я уже поднимался довольно твердо, по крайней мере мне так казалось. Но, открывая дверь, доктор Тушнов подозрительно на меня посмотрел и, не обращая ко мне лично, а куда-то в пространство, сказал:

— При алкогольном опьянении лучше всего помогает нашатырный спирт.

Последней моей мыслью, когда я засыпал, было, что Тушнов растрезвонит завтра о происшедшем по всему дому.

## XII

Проснулся я раньше обычного. Во рту было мерзко, к голове словно кто-то привязал кирпич: я никак не мог оторвать ее от подушки. Умываясь, я все вспоминал вчерашний вечер, гадкий, сумбурный. Обидней всего было, что Ерохин со своим предложением обратился не к кому-нибудь, а ко мне. Неужто я произвожу такое впечатление? Или он просто решил, что с мальчишкой легче договориться? Ну и дрянь! Я, говорит, не дурак, а умный. А вот Горев и Савельев дураки. Белые похоронят красных, а красные белых, а потом он и вылезет из щели и будет жить в свое удовольствие. Да, накопил он на таких делах, наверно, порядочно. Я вспомнил, что краденое Ерохин почему-то всегда обнаруживал не у воров, а уже

у барыг. Ну, конечно, Виктор еще говорил, что это подозрительно. Наверное, получает мзду с воров да еще с клиентов. Клиентам-то главное вернуть обратно свои вещи, а у кого они окажутся, у воров или перекупщиков, им все равно. А ворам лишь бы продать. Вот он и мухлюет. А я тоже хорош: нашел с кем пить. Работник уголовного розыска, который пьет подпольную водку! И вообще, зачем мне пить? «Сегодня же доложу обо всем Миловскому, обязательно», — твердо решил я, выходя из дому.

Ерохин обычно приходил на работу с опозданием. Но сегодня он уже сидел за столом и одним пальцем перепечатывал на машинке протокол осмотра места происшествия.

— Опаздываешь?

Я молча кивнул на часы: было без двадцати восемь.

— А-а,— протянул он и, не поворачивая ко мне головы, спросил: — Побежишь капать?

— Не капать, а докладывать о происшедшем.

— До-кла-дывать? — пропел издевательски Ерохин. — Ишь какой, из молодых да ранний. Докладывать! Ну, и докладывай. Только учти: веры мне побольше, чем тебе. Скажу: мальчишка мне предлагал взятку, а я отказался, вот он и полез в амбицию, решил провокацией заняться. Ну, тебя и того... за решеточку. Понял? «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно...» Сейчас как в приговорах пишут? «Определить в место заключения до полного торжества мировой революции». Вот и посидишь до полного торжества. А торжество, видать, не скоро будет...

Какая все-таки гадина! Какая гадина!

— О мировой революции хоть бы помолчали.

— А чего мне о ней молчать? — продолжал издеваться Ерохин. — Все говорят, а я молчать буду? Я, дорогой, полноправный гражданин республики, беспартийный большевик, так сказать...

Ударил я его, не замахиваясь, снизу, как бил во время драк с реалистами.

Ерохин замолчал, посмотрел на меня недоумевающими слезящимися глазами. Из носа его вяло побежала на подбородок струйка крови. Он достал платок, прижал его к носу, запрокинул голову и только тогда почти удовлетворенным тоном сказал:

— Драться? Я тебе покажу драться. Ты у меня, гнида, узнаешь, как честных работников избивать. Сейчас же иду к Миловскому. Понял?

Он встал и, не отнимая носового платка от носа, вышел из кабинета.

— Иди куда хочешь! — крикнул я вслед.

Но он уже меня, видимо, не слышал. Я схватил графин, выпил подряд два стакана застоявшейся, тепловатой воды и для чего-то



повторил: «Иди куда хочешь!» Потом я свернул самокрутку и закурил.

Что-то теперь будет? Я знал, что Миловский не выносил ссор между сотрудниками, а всего ему объяснять не будешь. Да и не поверит он. Это Ерохин правильно сказал, что веры ему больше. Зачем мне надо было его бить? Ведь он специально меня провоцировал...

Скрипнула дверь. В комнату заглянул делопроизводитель Кудрин, тихий паренек, почему-то носивший полное полевое снаряжение офицера-артиллериста.

— Начальник кличет.

Я шагал по коридору впереди Кудрина. Я понимал, что уж теперь ничего не поделаешь. Все. Свидетелей у меня нет, а у Ерохина свидетель — окровавленный нос. Без стука — Миловский считал эту церемонию антидемократической — я распахнул дверь кабинета и переступил порог.

— Стучать нужно! — остановил меня резкий голос.

Я поднял глаза. За столом Миловского сидел плечистый и, видимо, высокий человек в черной кожанке и недружелюбно глядел на меня хмурыми, слегка косящими глазами. Я нерешительно остановился у двери.

— Сергея Арнольдовича нет? — неожиданно для самого себя робко спросил я.

— Он здесь больше не работает, — коротко объяснил человек в кожанке, по-прежнему разглядывая меня своим холодным, оценивающим взглядом.

Только тут я увидел Ерохина, сидящего на краешке стула у стола.

— Чего ждете? — повернулся к нему новый хозяин кабинета. — Разговор закончен.

Ерохин подскочил как подброшенный пружиной.

— Товарищ Медведев!

— Ну?

Ерохин скомкал носовой платок, сунул его в карман брюк и вытянулся, словно на смотру.

— Осмелюсь доложить, что увольнять меня никак нельзя.

— Это еще почему?

— Розыск останется без единственной служебной собаки, товарищ Медведев!

— Не останется. Собаку реквизируем.

— Невозможно, товарищ Медведев, она никого, кроме меня, слушать не станет! Она...

— Вся Россия слушается, — без улыбки сказал новый начальник, — как-нибудь и с собакой управимся. Что еще?

Ерохин открыл рот, потом снова его закрыл. В таком жалком состоянии своего шефа я еще ни разу не видел.

— Разрешите идти, товарищ Медведев?

— Идите.

Ерохин неслышно вышел из кабинета. На столе лежал его разобранный пистолет. Медведев постучал длинными сильными пальцами по стволу пистолета, подбросил его на ладони и буркнул:

— Больше ржавчины, чем стали. Вот так и все ваше учреждение...

Позже я узнал, что, когда Ерохин влетел в кабинет к новому начальнику с жалобой на меня, тот первым делом попросил его показать оружие и, увидев, в каком оно состоянии, тут же распорядился о его увольнении.

— Ноги не устали? Садитесь.

Я сел на тот самый стул, на котором несколько минут назад сидел Ерохин. Сел так же, как и он, на краешек. Потом это мне показалось унижительным, я передвинулся, облокотился на спинку и даже положил ногу на ногу. Медведев молча наблюдал эти манипуляции, и под его упорным взглядом я чувствовал себя очень неуютно.

— Анархист? — резко спросил он.

— Нет, беспартийный.

— С какого работаете в розыске?

— С декабря прошлого года.

— Все время у Ерохина?

— Нет, вначале у Савельева.

— В операциях по ликвидации бандитских групп участвовали?

— Нет.

Вопросы следовали один за другим. И ответы на них невольно свидетельствовали о моей ничтожности. Разве я мог объяснить Медведеву, что я не отлынивал от настоящих дел, а просто меня к ним не подпускали.

— Ваше оружие.

Я достал пистолет и положил его на стол рядом с револьвером Ерохина.

— Удостоверение.

Медведев просмотрел удостоверение и спрятал его в ящик.

— Все.

— Что все? — не понял я.

Этот вопрос, наверно, прозвучал глупо, потому что Медведев ухмыльнулся и, прищурившись, пояснил:

— «Все» означает, что вы свободны, драться будете на фронте.

Вот и закончилась моя недолгая работа в уголовном розыске. Да, «все» означает, что я свободен: свободен от дежурства, от участия в патрулировании, в облавах, в засадах, от совместной работы с Савельевым, с Виктором, Горевым. Впрочем, может быть, это и к лучшему? В конце концов, какой я к черту сыщик?! А вот на

фронте дело другое. Там не надо разыскивать чей-то самовар или шубу...

Придя домой, я сел за длинное письмо Вере. Не жалея красок, я расписывал ей, какое я ничтожество, но пусть она не думает, что я потерянный человек; на фронте я смогу доказать, на что я способен. Письмо получилось длинное и несвязное. И как раз, когда я думал, отправлять его или не отправлять, ко мне вошел Виктор.

— Пошли.

— Куда?

— В розыск, разумеется. Медведев вызывает.

— Не пойду.

— То есть как не пойдешь?

— Не пойду, и все.

— Ну, знаешь...—Виктор развел руками.

— Я никому не позволю над собой издеваться,— сказал я дрожащим голосом.

— Истерику ты мне прекрати.— Виктор начинал злиться.— Обиделся, видите ли. Оскорбили мальчика. Ты что, считаешь, что он должен был тебя по головке гладить? Сначала пьянствовал с Ерохиным, потом драку с ним затеял, а теперь нюни распустил. Ты действительно не понимаешь, что натворил? А ну, быстро одевайся. Только морду ополосни.

Честно говоря, я ждал, что Медведев встретит меня по-другому. Но разговор был ненамного приятней первого.

— За вас ручается Сухоруков. Сухорукову я верю. Мне пришлось с ним встречаться во время моей работы в ВЧК.— Он помолчал, словно взвешивая слова.— Но учтите, за его спиной вам спрятаться не удастся...

Я довольно резко заявил, что ни за чьей спиной прятаться не собираюсь, что я могу полностью отвечать за свои поступки.

— И будете за них отвечать,— сказал Медведев,— полной мерой. А теперь возьмите свое имущество.— Он показал глазами на пистолет и удостоверение.— В следующий раз увольнять не стану. Передам в трибунал.

### ХIII

В дежурку вошел Арцыгов, ладный, веселый; скоморошничая, приложил два пальца к папахе.

— Осмелюсь доложить, начальство приказало свистать всех наверх. Совещание.

— Вольно,— махнул рукой Груздь.

Скаля зубы, Арцыгов подмигнул мне.

— Новое начальство — старые речи. Карты прихватил, гимназист? В терц перекинемся. Часа три для начала проговорит.

Но в тот вечер в карты мы не перекинулись. Речь нового начальника, если ее можно назвать речью, продолжалась всего десять минут.

Медведев оглядел комнату, заполненную сотрудниками, и не спеша достал из кармана тужурки газету.

— Мне говорили, что не все работники розыска следят за газетами, поэтому я прочту одно маленькое объявление. Вот оно: «Во время эвакуации Народного комиссариата по иностранным делам из расхищенных в вагонах вещей и документов считать недействительными два фельдшерских свидетельства от Военно-автомобильной школы и одно — запасной автомобильной роты на имя Сергея Павловича Озерова и Петра Николаевича Николаева и другие удостоверения указанных лиц. Просьба к расхитителям, — Медведев на этих словах сделал ударение, — прислать таковые: Москва, Воздвиженка, Ваганьковский, 8, Озерову. Будет выплачено соответствующее вознаграждение». Это исчерпывающая оценка работы уголовной милиции, которая, по существу, является не работой, а саботажем. Да, контрреволюционным саботажем, который наносит неизмеримый ущерб Советской власти. И с ним будет покончено. Как известно, уровень раскрываемости преступлений в бывшем сыском отделении составлял 45 процентов. Сейчас он равен 15 процентам. Будет он не менее 50 процентов. Кто не в состоянии этого добиться, пусть подаст заявление об уходе.

Второе. В ВЧК поступают сведения о взяточничестве в уголовном розыске и о злоупотреблениях служебным положением. Людям, нарушающим основные принципы революционной законности, не место в наших рядах. Все имеющиеся сведения будут мною тщательно проверены, и на головы виновных упадет карающий меч революционного возмездия. Об организационной перестройке вы узнаете завтра из моего приказа, а новые требования усвоите во время практической работы.

Когда, ошеломленные и растерянные, мы выходили из комнаты, меня взял за плечо Груздь.

— Слыхал? Это тебе не Миловский. Факт. Если рассуждать диалектически, настоящий балтиец.

— Моряк? — заинтересовался Виктор.

— С крейсера «Рюрик». Кремень мужик. Он в нашем хлеву наведет порядочек...

У Груздя была привычка всех людей, которыми он восхищался, превращать в бывших матросов. То он убеждал меня, что Ленин пять лет служил во флоте, то с пеной у рта доказывал, что Свердлов был гальванером на броненосце, а Луначарский — бывший гардемарин. Поэтому к подобным сообщениям я всегда относился критически, но на этот раз он оказался прав. Медведев был человеком тяжелой судьбы. Перед призывом в армию он работал вальцов-

щиком на судостроительном заводе. Во флот тогда мастеровых брать избегали: боялись революционной заразы, но атлетическая фигура и бравый вид прельстили какого-то военного чиновника, и Медведев после прохождения подготовки на берегу попал гальванером на броненосный крейсер «Рюрик».

На крейсере процветало рукоприкладство. У матросов систематически производили обыски. Во время одного из таких обысков боцман нашел в сундучке Медведева пачку прокламаций. В ответ на удар по щеке Александр Максимович, вспыльчивый по натуре, избил боцмана до потери сознания. Каторгу он отбывал в Либаве на «Грозящем». Когда грянула революция, взбунтовавшиеся «политики» растерзали командира плавучей каторги. Многотысячный флот забурлил. И вот Медведев работает в комендатуре Петроградского военно-революционного комитета. Комендант — человек в солдатской шинели и кожаной фуражке, с трудно произносимой нерусской фамилией: Дзержинский. Медведев участвовал в штурме Зимнего дворца, служил в ВЧК, теперь партия его направила на работу в уголовный розыск.

Да, новый начальник, член партии с 1904 года, во всем был полной противоположностью Миловскому.

Вместе с Медведевым в уголовный розыск из ВЧК перешло еще несколько человек, среди них пожилой рассудительный Мартынов, служивший до революции вагоновожатым в Уваровском трамвайном парке, и питерский рабочий смешливый Сеня Булаев.

В розыске были созданы боевая дружина, особая группа для борьбы с бандитизмом и летучий отряд, который должен был пресекать карманные кражи.

Начальником особой группы Медведев назначил Мартынова. В группу вошли Груздь, Сеня Булаев, Горев, Савельев, Виктор и еще человек десять — пятнадцать. А через неделю по ходатайству Сухорукова туда включили и меня.

— Эх, парень, парень,— качал лысой головой Мартынов (у начальника группы на голове не было ни одного волоса. Зато Мартынов отпустил себе большую бороду, как он выражался, для равновесия).— Ну что с тобой делать? Нет, обижайся не обижайся, а я буду просить Александра Максимовича о твоём отчислении.

И, не вступись Груздь, Мартынов так бы и поступил.

Если наша группа состояла из работников розыска, то боевая дружина, по существу, была воинской частью, насчитывавшей в своих рядах восемьдесят бойцов. Она находилась на казарменном положении и помимо винтовок была вооружена еще двумя станковыми пулеметами. Правда, через месяц пулеметы отобрали и передали маршевой роте, которая отправлялась на фронт.

Начались горячие дни. Вместе с ВЧК и красногвардейцами мы провели крупную операцию в районе Верхней и Нижней Масловки,

ликвидировали крупную шайку, занимавшуюся контрабандной торговлей наркотиками, уничтожили бандитскую группу Водопроводчика в Марьиной роще. Но Медведев не был удовлетворен первыми результатами. Он хотел большего и исподволь подготавливал операцию на Хитровке, которую вполне обоснованно считал центром бандитизма в Москве.

Одновременно он занялся чисткой аппарата. Приказом по уголовному розыску пять бывших полицейских были отстранены от работы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению во взяточничестве. Вскоре пронесся слух, что их вина подтвердилась и по постановлению ВЧК они расстреляны. К Медведеву поступило двенадцать заявлений от старых работников с просьбой об увольнении. Кое-кто из подавших заявление чувствовал за собой грешки, но большинство поступило так из чувства солидарности. Однако все двенадцать были уволены, никого из них Медведев не уговаривал остаться на работе.

Приказы об увольнении следовали один за другим.

— С кем прикажете работать? — пожимал плечами Горев. — С мальчишками? С представителями доблестного про-ле-тариата? Ну, понимаю, выгнать Ерохина, Корсунского, но лишиться таких сотрудников, как Иванов и Грузинский? Бессмыслица, преступление, наконец.

Так думал и говорил не только Горев. Мне действия Медведева тоже казались ошибкой. И только потом я понял, насколько он был прав. Действительно, у подавляющего большинства тех, кто остался, не было опыта, но зато у них было то, чего не хватало старым работникам, — энтузиазм. Перед Медведевым было два пути: штопать прогнившее или выбросить его на свалку, заменив новым. Он выбрал второй путь, более рискованный, но зато и более действенный, обновив аппарат розыска почти на три четверти. Развернувшиеся вскоре после этого события подтвердили правильность его решения.

#### XIV

Двор уголовного розыска напоминал большую конюшню. Еще с Трубной слышалось ржание лошадей и ругань извозчиков. Теперь давалась разнарядка, и у МУРа круглосуточно дежурило двадцать экипажей, на которых сотрудники выезжали на операции. Вначале лихачи пытались сопротивляться. Кто ссылался на болезнь лошади, кто просто не приезжал. Но после того как Груздь провел с ними «митинг», все стало на свои места. Речь матроса была кратка, но содержательна.

— Кем вы были до революции?! — патетически спрашивал Груздь у лихачей. — Лакеями самодержавия. Кого вы возили?

Князей, баронов, проституток, офицеров и прочие язвы на теле трудового народа. Если рассуждать диалектически, революция вас раскрепостила, освободила от эксплуатации. Поэтому вы и должны ей служить верой и правдой. А кто будет саботировать, будем стрелять как тайных агентов буржуазии и заклятых врагов рабочего класса. Вопросы будут?

Неизвестно, что оказало большее влияние, речь или сама грозная внешность свирепого матроса, увешанного бомбами, но больше ни одного случая отлынивания не было.

Ночью я участвовал в облаве на Сухаревке. При Миловском сотрудники, принимавшие участие в ночных операциях, могли вляться во вторую половину дня, теперь же каждый должен был быть на своем рабочем месте к восьми утра. Сейчас было только половина восьмого, но в большой комнате, примыкавшей к дежурке, собралось человек десять. Здесь сидели Арцыгов, Груздь, ребята из боевой дружины. Все они плотным кольцом окружили Сеню Булаева, который со вкусом что-то рассказывал. Сеня не говорил, он играл. Голос, мимика и жесты у него были такими, что мог бы позавидовать и профессиональный актер. Я протолкался поближе к рассказчику.

— А, гимназист! — повернулся ко мне Арцыгов. — Небось тоже любишь цирк?

— А кто его не любит? — развел картинно руками Сеня. — Все любят... Значит, было это на второй день после приезда из Питера. Ну ладно, приходим, суем мандаты — нас в директорскую ложу.

— С Сеней не пропадешь! — подмигнул Арцыгов, скаля белоснежные зубы.

— А ты думаешь! Ну, вначале все как положено: собачки прыгают, лев по бревну, как мы по улице, ходит, гимнасты под самым куполом всякие сногшибательные фокусы показывают. А потом выходит клоун и начинает жарить куплеты. Что ни куплет, то Советскую власть кроет. Терпел я, терпел, а потом немоготу стало. Для чего, думаю, революцию делали, свою рабоче-крестьянскую кровь проливали?! Говорю Гофману: «Иосиф, давай его возьмем». Он мне на ухо: «Хорошо. Сразу же после представления пойдем за кулисы». — «Нет, — говорю, — сейчас!» Он меня уговаривать, а я — ни в какую. Не могу терпеть больше подобного безобразия. Вынимаю браунинг и — на арену, Иосиф, натурально, за мной...

— Врешь! — хохотнул кто-то из слушателей.

— Спросишь у Гофмана, — отмахнулся Сеня.

— А он в Москве?

— Нет, в Оренбурге.

Когда смех утих, Сеня выхватил у молоденького красноармейца только что закуренную сигарку и как ни в чем не бывало продолжал:

— Подскакиваю я, значит, к этому клоуну и говорю: «Предъявите документы!» Публика в ладоши бьет, какая-то дамочка даже «браво» кричит. Восторг неописуемый! Откуда, думаю, такая сознательность? А потом дошло: за «рыжих» нас приняли. Но тут, натурально, не до публики. Клоун сначала растерялся, глазами захопал, а потом смекнул, в чем дело, и колесом за кулисы, драпанул, значит. Мы за ним. Гофману кто-то подножку подставил — он падает и в потолок бабахает. А я жму дальше. Гляжу, клоун на клетку со львом прыгает. «Слазь,— говорю,— стервец, стрелять буду!» Молчит и не слазит. Я смотрю на него, он на меня, а лев на нас обоих. Что тут будешь делать? «Э,— думаю,— где наша не пропадала! Отдам свою молодую, цветущую жизнь во славу революции». Зажимаю браунинг в зубах и начинаю карабкаться на клетку. Гляжу, лев тоже контрреволюцию поддерживает: рычит и хвостом себя по бокам хлещет.

— Ой, не могу,— застонал, захлебываясь смехом, рыжий парнишка из дружины.— Уморил!

— Смешно подлецу,— снисходительно кивнул в его сторону Сеня.— А мне тогда, братцы, не до смеха было. Сами посудите, лев хоть и царь зверей, а животное все-таки неразумное, ему ситуации не разъяснишь: откусит полноги, а потом привлекай его к ответственности! Но на клетку вскарабкался я все-таки благополучно. Стою на четвереньках, оглядываюсь,— Сеня присел и завертел головой,— а клоуна нет: успел уже на другую клетку перескочить и рожи мне оттуда строит...

Дослушать окончание походов Сени Булаева мне не удалось. Ко мне подошел Виктор и потянул за рукав.

— Пошли, Медведев вызывает.

— Зачем?

— Зайдешь — узнаешь.

В кабинете Медведева было сильно накурено. Махорочный дым щипал глаза. «Всю ночь они, что ли, здесь просидели?» — подумал я, вглядываясь в лица сидящих.

— Продолжайте, Петр Петрович,— бросил Мартынов, когда дверь за нами закрылась.

— Я, собственно говоря, уже кончил,— каким-то лающим голосом ответил Горев.— Мое мнение можно сформулировать в нескольких словах: если господин Медведев желает кончить жизнь самоубийством, то для этого совсем необязательно отправляться на Хитровку. Он может прекраснейшим образом пустить себе пулю в лоб, не покидая этого кабинета.

— Зачем же так, господин Горев? — как будто обиженно сказал Мартынов.— Дело, конечно, рискованное, но не такое уж безнадежное, а вы сразу заупокойную тянете...

Медведев постучал ладонью по столу.



— Внимание, товарищи! Мы не на митинге. Дискуссию открывать не будем. Просто Горева, видимо, неправильно информировали. Вопрос с операцией решен, план ее разработан, так что спорить по этому поводу ни к чему.

— Тогда покорнейше прошу прощения,— наклонил голову Горев.

— Ну, ну, зачем же такое смирение? — добродушно усмехнулся Медведев.— Все равно не поверим. Но ближе к делу. Надежная агентура у вас на Хитровке есть?

— Что вы понимаете под словом «надежная»?

— Видимо, то же самое, что и вы. Нужны две явки. Сможете их обеспечить?

— Только такие, где бы в спину нож не всадили,— вставил Мартынов.

— Думаю, что смогу.

— Думаете или сможете? Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

— Смогу.

— Вот и хорошо. Инструктаж Сухорукова и Белецкого возьмете на себя. Ознакомьте их с планом операции.

Из кабинета Медведева мы вышли вместе с Горевым.

— Что за операция?

— Не терпится? — усмехнулся Горев.— Сейчас узнаете. Прощу.— Он открыл дверь комнаты и пропустил нас вперед.— Должен подойти еще Федор Алексеевич, но, я думаю, мы можем начать и без него. Присаживайтесь.

Мы с Виктором уселись на маленький потертый диванчик, стоящий у стены напротив письменного стола.

— Ну так вот, молодые люди, то, чем нам сейчас предстоит заниматься, уравнение со многими неизвестными. Надеюсь, господин Белецкий, вы еще не забыли математику и представляете себе, что это такое? Впрочем, свою точку зрения на эту весьма рискованную затею я уже высказал господину Медведеву, он ее не разделяет. Так что больше говорить по этому вопросу я не собираюсь, в конце концов, это не входит в мои функции. Я исполнитель. Несколько дней назад из Московской чрезвычайной комиссии нам сообщили, что они располагают агентурными данными о том, что на Хитровке готовится нападение на правление Московско-Курской железной дороги. К агентурным данным со стороны я отношусь критически; чаще всего это плоды фантазии того или иного сотрудника, который должен объяснить начальству, куда уходят отпущенные деньги. Ерохин, когда с него требовали отчета, тоже ссылаясь на агентуру... Поэтому мною было проверено сообщение МЧК. И оно подтвердилось. Действительно, готовится ограбление, и, видимо, в нем примет участие вся головка Хивы:

так называемый атаман Хитровки Разумовский, Мишка Рябой и прочие сливки местного общества. В связи с этим я предложил усилить охрану правления, направить туда наших людей и провести ряд целевых облав на Хитровке, но господин Медведев со мной не согласился, он выдвинул свой план: ввести в бандитскую группу под видом уголовного работника розыска.

— Здорово,— сказал Виктор.

Горев иронически на него посмотрел.

— Вы так считаете, потому что слишком мало знаете Хитровку. Наша работа не терпит дилетантов. Здесь одной смелости мало. Вы помните, как погиб Тульке?

— Один погиб, другой останется в живых,— упрямо сказал Виктор.

— Дай бог, дай бог. Мне бы вашу уверенность.

— Кто же пойдет на Хитровку?

— Медведев.

— Шутите? — спросил Виктор.

— Я лично не шучу, что же касается господина Медведева, то можете у него поинтересоваться.

— Дела...— протянул Виктор.

Меня тоже ошеломило сообщение Горева. Так вот почему он тогда говорил о самоубийстве!

Довольный произведенным эффектом, Горев немного помолчал, словно давая нам возможность самим убедиться в абсурдности затеваемого, и уже другим тоном сказал:

— Медведев должен войти в шайку под видом петроградского налетчика Сашки Косого. Его на Хитровке не знают или, во всяком случае, не должны знать. Наша непосредственная задача обеспечить, насколько это возможно, охрану Медведева и поддерживать с ним связь...

Скрипнула дверь, и в комнату вошел Савельев.

— Относительно сегодняшнего разговора?

— Да,— кивнул Горев.

— Любопытное дельце, любопытное. Только уж больно рискованное! Придется потрудиться, ох как придется! Миловский бы на такое никогда в жизни не пошел — не на тех дрожжах замешан...

Горев сердито на него посмотрел и вдруг улыбнулся.

— Зажегся?

— Зажегся,— чуть смущенно признался Савельев.

С его приходом все как-то оживилось. Мы приступили к обсуждению деталей предстоящей операции. Она поистине была уравнением со многими неизвестными. Просидели у Горева мы часа три.

Я слышал, что при уголовном розыске числится гример, он же костюмер, Леонид Исаакович. Но мне он казался чем-то вроде несуществующего персонажа из прочитанного когда-то в детстве. Поэтому, когда Горев предложил мне загримироваться и переодеться, я растерялся. Петр Петрович это заметил.

— Напоминает игру в казаки-разбойники? — спросил он и объяснил: — Самое идеальное было бы направить на Хитровку людей, которые там еще ни разу не были. Но к сожалению, в Хиве совершенно не знают только Медведева.

— Но я же там был всего один раз...

— Поэтому вас и направляют. Но один раз — это тоже много. Правда, с Севостьяновой вы, по замыслу, встречаться не должны. Но кто может дать гарантию, что такая встреча не произойдет? А Леонид Исаакович — мастер своего дела.

Гример помещался в клетушке, больше напоминающей чулан. Здесь пахло клеем, пылью, пудрой и еще чем-то паленым. Леонид Исаакович, щуплый, подвижный человек лет сорока, встретил меня радушно.

— Присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь. Кого же из вас сделать? Князя, шулера, коммерсанта, гвардейского офицера? Хотя да, князей и гвардейских офицеров уже нету. Остались только бывшие дворяне и военспецы. «Бывшие» грустно звучит, не правда ли? Бывший человек — сегодняшняя болячка. любил говорить мой старший брат. Очень умный человек был, но всегда делал не то, что требовалось. Когда нужно было кормить семью, он молился богу, а когда нужно было молиться богу, чтобы прекратились еврейские погромы, он начал печатать революционные листовки... И даже умер не вовремя — 25 октября 1917 года, когда только нужно было начинать жить...

Леонид Исаакович действительно был мастером своего дела. Когда через пятнадцать минут я стал перед зеркалом, я себя не узнал. На меня смотрела испитая физиономия типичного золоторотца, как часто называли тогда босяков.

— Ну, так как вы себе нравитесь в таком виде? — поинтересовался Леонид Исаакович, довольный делом своих рук. — А теперь разрешите вам предложить соответственный смокинг и штiblеты.

Он вытащил из шкафа опорки, залатанные штаны, засаленную куртку с оборванными пуговицами и помог мне все это натянуть на себя.

— Вот теперь вас и мама не узнает. Хотя нет, мама все-таки узнает, на то она и мама. Мой старший брат говорил, что мама даже в мерзавце узнает своего сына, она не может только разглядеть в своем сыне мерзавца. Очень метко сказано, не правда ли?

Итак, с этой минуты я уже не бывший гимназист, не агент третьего разряда Московской уголовно-розыскной милиции и даже не Александр Белецкий, а новый житель вольного города Хивы, племянник почетного гражданина одного города Николая Яковлевича Баташова, уклоняющийся от призыва в Красную Армию и сегодня приехавший в Москву из Тулы. Такова была вкратце «легенда», которой снабдил меня Савельев. Она подтверждалась паспортной книжкой, адресованным мне в Тулу письмом любимого дядюшки и серебряным портсигаром с трогательной надписью: «Котику в день его ангела от родителей».

Вручив мне все эти доказательства того, что я именно тот, за кого себя выдаю, Савельев сказал:

— Напоследок советую вам также запомнить пять заповедей, которых я всегда придерживаюсь. Первая — никогда не считать, что вы имеете дело с людьми глупее вас. Вторая — свято, но не слепо придерживаться полученной инструкции. Третья — всегда и везде быть готовым к неожиданностям. Четвертая — не думать, что храбрость может заменить ум, а смелость — находчивость. И последняя — уметь все замечать и запоминать.

В зиму восемнадцатого года пострадали многие дома. Не хватало дров, поэтому жильцы ломали деревянные балкончики, отдирали плинтусы, рубили ставни. Но особенно досталось Хитровке. После Октябрьской революции большинство нанимателей квартир отсюда сбежало, и хитрованцы, предоставленные сами себе, растащили все, что можно. Обитатели многочисленных ночлежек ломали нары, выворачивали доски пола, ворошили деревянные крыши. А большой навес посередине площади исчез еще в декабре. Рынок выглядел так, словно здесь только вчера прошли орды Чингисхана. Относительно сохранилась только Кулаковка: Утюг и Сухой овраг, расположенные между площадью и Свиныйским переулком.

Хитровка никогда не отличалась чистотой, а теперь, когда подтаял снег и покатались вниз с прилегающих переулков многочисленные грязные ручейки, она походила на громадную выгребную яму.

Рынок по-прежнему был многолюден: что-то клеили, сшивали и латали местные сапожники и портные, канючили покрытые всевозможными болячками нищие. У зловонных куч с отбросами копались ребятишки. Может быть, среди них был и Тузик. Когда мы его принесли с Виктором от Севостьяновой, он пролежал у меня недолго и, немного окрепнув, ушел. Неужто опять к Севостьяновой?

Мне нужно было найти Баташова, одного из немногих наших агентов на Хитровке. Миловский вообще выступал против агентуры, считая ее «наследием проклятого прошлого». «Агент — это предатель, — говорил он. — Агент предает своих товарищей. Полиция, создавая агентуру, тем самым растлевала людей, лишая их чести,

совести, товарищества, культивируя психологию индивидуализма, корыстолюбия. Мы должны навсегда избавиться от подобных методов». Теоретически все это было очень благородно и красиво, а фактически дело дошло до того, что уголовный розыск не имел представления о происходящем.

«Новые установки мне ясны. Все ясно, кроме двух маленьких моментов,— говорил Горев,— чем я должен здесь заниматься и за что получать зарплату».

Баташов в недавнем прошлом считался наиболее удачливым «стрелком по письмам», как называли профессиональных нищих, специализирующихся на письменных просьбах о помощи. От своих собратьев по ремеслу он отличался оригинальностью стиля и недюжинным знанием человеческой натуры. Он не перечислял своих несчастий, не жаловался на судьбу, не благословлял заранее благодетеля.

«Милостивый государь! — писал он, например, купцу первой гильдии, известному богачу «с чудникой» Палкину.— Хотя я и знаю, что Вы подлец, каких мало, но иного выхода у меня нет. Мне позарез нужны деньги, минимум пять рублей. Указанная скромная сумма мне требуется не на хлеб, без которого по Вашей милости и по милости Вам подобных я уже научился обходиться, а на водку.

В ожидании денег неуважающий Вас, в прошлом такой же мерзавец, как и Вы, а в настоящем житель вольного города Хивы Николай Баташов».

Видимо, ядовитые, наглые строки приятно щекотали заплывшие жиром мозги и нервы. Во всяком случае, резкое письмо Баташова к Палкину не осталось без ответа. Рассказывали, что Палкин даже коллекционировал образчики его писем. Деньги у Баташова не переводились. Но революция подорвала его благосостояние: богатые люди исчезли. Тогда он сам пришел в уголовный розыск и предложил свои услуги: «Готов служить верой и правдой. Не за страх, а за совесть не говорю, ибо последней не имею».

Так ли все это было или не совсем так, судить не берусь. За время работы в уголовном розыске мне пришлось услышать много затейливых историй. Мне рассказывали о поминальнике Сашки Семинариста, куда знаменитый бандит заносил фамилии убиенных, чтобы затем на досуге помолиться за спасение их душ, о поездке Анны Севостьяновой в Париж под видом русской графини, у которой якобы был роман с гвардейским офицером. А в 1927 году налетчик Васька Коршун на допросе «признался» мне, что он побочный сын Николая II, и представил в доказательство своих слов связку писем на розовой бумаге... Но, как я потом достоверно узнал, Сашке Семинаристу некогда было заниматься поминальником, Севостьянова никогда не покидала Москвы, а Николай II не принимал участия в появлении на свет в деревне Малицы в семье мельника Оглохо-

мова седьмого по счету сына Васьки. В чем в чем, а в этом самодержец вся Руси не повинен. Просто люди дна, пытаюсь разукрасить свою грязную, бедную событиями и интересами жизнь, создавали по образцам сочинителей бульварных романов «завлекательные истории», обставляя сцену своего незавидного бытия пышной декорацией выдуманных событий и фактов.

В действительности все было проще, грязней и омерзительней. Впрочем, то, что относится к Баташову, выглядело довольно правдоподобно, с такими, как он, я встречался и позднее.

Судя по манере держаться, разговаривать, Баташов знал лучшие времена. Вряд ли он был отпрыском голландского короля или царского министра Витте, но в прошлом, до того как спиться и оказаться на Хитровке, он, видимо, занимал какое-то место под солнцем и, наверно, получил соответствующее образование. Что же касается его писем, то и в них можно поверить: купечество любило выдумывать себе причуды, которые считались своего рода показателем благосостояния и находились в прямой зависимости от размеров нажитого капитала. Если какой-нибудь купчишка заявлял о себе разбитым зеркалом в ресторане, то Солодовников, например, или Хлудов могли позволить себе что-нибудь пошкарней. Знай наших!

Я подошел к трехэтажному дому, расположенному сразу же за Утюгом, и, кое-как перебравшись через огромную лужу, на которой островками возвышались холмики ржавых жестянок и еще какой-то дряни, остановился у косо висящей на одной петле двери. Здесь я был зимой вместе с Сухоруковым, Савельевым, Горевым. Вон и фонарь, возле которого лежал труп Лесли. Да, Арцыгов отделался ничем. А сейчас что же, дело прошлое...

Я начал подниматься по ступенькам. Главное — не встретиться с Севостьяновой или Тузиком. Правда, узнать меня, по утверждению Леонида Исааковича, могла бы только мать родная, но осторожность прежде всего. До ночлежки я добрался благополучно.

— Где Николай Яковлевич? — спросил я у первого попавшегося мне оборванца.

— А ты кто такой? А, племяш! Ну давай, сейчас покажу.

Он провел меня в закуток между двумя рядами трехъярусных нар и, нагнувшись, крикнул:

— Вылезь, Яковлевич!

Под нарами послышалось недовольное ворчание и сухой кашель, будто кто-то отщелкивал костяшками на счетах.

— Слышь, родственник приехал!

Показалась неряшливая седая голова, осыпанная перхотью, блеснуло пенсне. Истощенное узкое лицо, горбатый нос в склеротических жилках, на худой шее сдвинутая набок «бабочка». Да, мой новоявленный дядя ни красотой, ни чистоплотностью не отличался.

Ко всему прочему, он еще, кажется, был пьян. Оборванец не уходил, а с соседних нар на меня с любопытством — или мне это только казалось — смотрело несколько пар глаз. Во всяком случае мешкать было нельзя.

— Дядя Коля! — сказал я ненатуральным голосом. — Это я, Костя.

Баташов уставился на меня воспаленными глазами, и, кажется, в них мелькнула искорка разума.

— Костя? Приехал!

Он схватил мою голову и прижал ее к своей груди, дохнув на меня винным перегаром. Так играют встречу родственников в плохих провинциальных театрах. Но оборванец не был избалован талантливим исполнением. Судя по всему, он был удовлетворен и, «сделав мне ручкой», отправился по своим делам. Исчезли головы любопытных и с соседних нар.

Итак, худо ли, хорошо ли, но встреча любящих родственников состоялась.

## XVI

От Баташова требовалось немного. Он должен был представить меня хозяину ночлежки в качестве своего племянника и поместить рядом с собой на нарах, которые находились как раз против двери, ведущей в притон Севостьяновой. Надо признать, что, хотя Баташов был сильно пьян, со своими обязанностями он справился сносно.

Хозяин ночлежки, кудлатый, в суконном картузе, внимательно меня осмотрел и потребовал «пачпорт». Мой паспорт произвел на него благоприятное впечатление.

— Это хорошо, что пачпорт имеешь, — сказал он, — а то всякая сволота тут шныряет. Держи ухо востро! Деньги есть? Ежели есть, лучше мне на сохранность отдай, чтобы честь по чести. Шпаны набилось. Одно беспокойство Николаю Яковлевичу, — посочувствовал он Баташову. — Даже штоф распить не с кем... Худые времена! Надолго?

Я пожал плечами.

— За место все одно вперед уплати, — решил он. — Теперь никому верить нельзя.

Я уплатил вперед и отправился на Солянку звонить в уголовный розыск, что начало положено.

Вечерело, слабо светились окна домов. В нашей ночлежке зажгли три керосиновые лампы. Возле одной из них расположились, поджав под себя ноги, портные, их было человек восемь — десять, у другой — картежники. Большинство ночлежников уже укладывалось на ночь, среди них были и женщины с детьми. Постукивая

клюкой, прошел благообразный слепец с седой бородой, впереди него бежала собачонка. В дальний, неосвещенный угол комнаты, перегиваясь, направилась шумная компания беспризорников.

— Ну-с, в объятия к Морфею? — спросил Баташов.

Я молча полез на нары. Здесь пахло заносенной одеждой, потом, сивухой. Устроившиеся рядом подростки били вшей. Молилась богу старуха в черном платке, плакал ребенок. Где-то под нами переговаривались, видимо, муж с женой.

— Да не жила я с ним, — убеждал высокий женский голос.

— Врешь, стерва, жила.

Баташов вскоре уснул. Спал он с открытым ртом, похрапывая, дергаясь. Горела только одна лампа, вокруг которой мелькали призрачные тени людей. Через несколько человек от нас надрывно кашлял Женька-наборщик, длинный, узкогрудый, с желтым, как воск, лицом, на котором темными ямами чернели запавшие глаза. Женька, в прошлом типографский рабочий, умирал от туберкулеза. Когда хозяин ночлежки показывал мне место на нарах, Женька попросил закурить.

— Тебе же вредно, — сказал хозяин.

— Мне теперь ничего не вредно, — ответил Женька, скручивая козью ножку. — Мне жизни осталось самую малость. Еще недельку-другую протяну и копыта отброшу. Для чахоточных весна самое время с жизнью счеты сводить. — И, заглядывая мне в глаза, спросил: — Веришь, золоторотец, что Женька лучшим наборщиком в типографии Сартакова был? Не веришь? Восемь лет хозяин в пример всем ставил, а начала жрать чахотка, выгнал, кровосос. «Иди, — говорит, — думаешь, не знал, что прокламации под тихую печатаешь? Знал, но терпел, пока нужен был. А теперь иди, Женька, не работник ты. Иди, подыхай, на революцию свою уже с неба смотреть будешь...» Ошибся хозяин: с земли я ее увидел, с земли... А его, гада, вчера же вперед ногами вынесли. Только кровушку он всю мою уже выпил. Пузатый был, что боров, вот такой. — Женька показал, каким толстым был его хозяин, и закашлялся. Харкнул кровавым сгустком, растер его ногой и, сгорбившись, заковылял к своим нарам.

Сколько здесь вот таких Женек, растоптанных хозяйским сапогом и выброшенных за ненадобностью на свалку жизни — Хитров рынок?!

Но ничего, придет и для них светлое время. Придет, в этом я не сомневался.

Задремал я уже под утро. Разбудила меня какая-то возня.

— Пусти, родненький! Не убивай, родненький! Люди добрые, помогите! — пронзительно кричала молодая женщина, которую таскал за волосы и тыкал лицом в пол озверевший мужчина в толстовке.



К нему подбежали, схватили за руки. Женщина вырвалась и, окровавленная, в разорванном платье, выскочила из ночлежки.

— Пятирублевку затырить хотела, а? Пятирублевку, а? — хлопал себя по бедрам мужчина в толстовке. — Да я ей паскудную голову оторву!

— Ну, ну, развоевался! — свесился с нар Женька-наборщик. — Как бы тебе не оторвали!

— А ты, покойник, молчи! — огрызнулся мужчина. — Одной ногой на том свете, а туда же!

За Женьку вступились. Началась ругань.

Баташова рядом со мной не было, пришел он через час, растрепанный, навеселе.

— Гут морген! Как спалось? Какие сны? — игриво спросил он, взобравшись на нары.

Кашляя и сморкаясь, Баташов стал рассказывать хитровские новости. Среди них была одна весьма неприятная: на рынке опять появился Невроцкий.

— Вы не путаете? — насторожился я.

Но Николай Яковлевич был в этом уверен.

— Баташов никогда не путает, молодой человек. Этого быка в золотых очках, которые идут ему, как корове седло, я еще с 1912 года знаю, когда он здесь куролесил с Сашкой Семинаристом. Я видел его ровно час назад в чайной Кузнецова.

Появление Невроцкого могло сорвать всю операцию. Невроцкий, или, как его почему-то прозвали в преступном мире, Князь Серебряный, вернувшись в конце прошлого года с каторги, праздновал свое возвращение на Хитровке. Он был заядлым картежником и в одну из пьяных ночей проигрался в пух и прах. Срочно нужны были деньги. С двумя револьверами в руках явился в Устинские бани, убил кассиршу и с помощью дружков забрал все белье моющихся, которые остались в чем мать родила.

Дерзкое ограбление проходило среди белого дня. Группа сотрудников уголовного розыска во главе с Груздем, который никак не мог усидеть в своем кабинете, задержала его в трактире, но по пути в розыск Невроцкому удалось соскочить с пролетки и скрыться. Его сообщник Глухой показал на допросе, что Невроцкий в тот же день уехал куда-то на юг. Действительно, больше о нем никто ничего не слышал, и вот он снова здесь.

Безусловно, Невроцкий запомнил Груздя и сразу же его при встрече опознает, а это приведет к провалу всей операции: ведь на Хитровке Груздь — это дружок Сашки Косого... Что же делать? Звонить Мартынову, чтобы тот срочно организовал облаву? Но время не терпит, да и слишком мало шансов, что Невроцкого, который знает на Хитровке все ходы и выходы, удастся найти. Предупредить Груздя или Медведева?

Но где их найдешь? Может, заглянуть в чайную Кузнецова, где должен быть Виктор, возможно, он знает?

Я встал и увидел, как дверь в ночлежку широко распахнулась. Вошли Груздь, Медведев и еще двое. Одного из них, приземистого, с крупными рябинами на приплюснутом, широком лице, я узнал по описаниям — это был Мишка Рябой.

Груздь подошел к группе играющих в карты и незаметно мне подмигнул. Я ему ответил тем же и, сделав условный знак, прошел в закуток, где нас никто не смог бы увидеть. Все решалось само собой. Но в следующую секунду я почувствовал за своей спиной чье-то тяжелое дыхание. На человеке, стоявшем за мной, были золотые очки. Он пристально смотрел на подходившего Груздя. Невроцкий! Груздь его тоже узнал. И тут Груздь сделал единственное, что он мог сделать, чтобы не провалить Медведева.

— Держи Сашку Косого и Невроцкого! — дико закричал он, приседая и выхватывая наган.

У входа я заметил Сению Булаева с громадным смит-вессоном в руке.

Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой. Пронзительно заверещал милицейский свисток, суматоха, давка. Я видел, как Медведев швырнул табуретку в висячую керосиновую лампу. В темноте лихорадочно захлопали выстрелы. Затем все стихло, только монотонно падали капли, видимо, вытекал керосин из разбитой лампы. Я сорвал с окошка тряпку. В ночлежке посветлело. «О господи, о господи», — бормотала какая-то женщина, сидя на полу и часто крестясь. Ее насмешливо утешал басистый мужской голос: «Не вой, маруха, что отстрелили пол-уха, судьба не муха, ликуй, что не полбрюха».

Медведева, Груздя, Невроцкого, Сени Булаева и Мишки Рябого в ночлежке не было. Значит, видимо, никто из них не пострадал. Я вышел на волю. Хитров рынок жил своей обычной жизнью. К выстрелам здесь привыкли. Мимо меня прошел Сенья Булаев, не поворачивая головы, сказал:

— Все в порядке.

Так спутался план операции, тщательно разработанный до мельчайших деталей на ночном совещании у Александра Максимова. Жизнь внесла свои коррективы.

Новая обстановка, в которой теперь приходилось работать, имела, как выражался Груздь, свои «арифметические плюсы и арифметические минусы».

После всего случившегося Медведев был у уголовников вне подозрения. Но система связи с ним нарушилась: Груздь вынужден был покинуть Хитровку. Сению Булаева Мартынов тоже снял с рынка, так как его могли заметить во время перестрелки.

Только в эти дни я понял по-настоящему, что такое напряженная

работа. Теперь на Хитровке остались лишь Медведев, Сухоруков и я. Мы с Виктором должны были наладить информацию, постоянно поддерживать двустороннюю связь между Медведевым и уголовным розыском и принимать все меры к охране Александра Максимовича. Последнее было особенно трудно, так как Сашка Косой частенько находился в таких местах, куда ход нам, «обычным золоторотцам», был заказан. Поэтому пришлось более широко использовать Баташова. Между тем Николай Яковлевич, напуганный происшедшим, начисто отказался принимать какое-либо участие в операции. Пока удалось его уломать, намучились немало. А события развивались стремительно...

В чайной теперь часто бывали Разумовский, Невроцкий, Мишка Рябой и налетчик Лягушка (его мы безуспешно разыскивали после нескольких налетов, среди которых было и ограбление бывшего универсального магазина фирмы «Мюр и Мерилиз» на Петровке).

Через Баташова Медведев передал, что пришла «ксива» и Разумовский ждет приезда «деловых ребят» из Питера.

Узнав об этом, Горев начал настаивать на необходимости «кончать маскарад и попытаться взять бандитов в чайной». Но Мартынов только качал головой.

— Вы понимаете, что приезд уголовников из Петрограда — это смерть Медведева?

— Понимаю. Но приказания нарушить не могу. Савельев звонил в Петроград, и там обещали их перехватить.

— А если кто-нибудь из них все-таки проскочит?

— «Если» не будет.

На всякий случай решено было усилить наблюдение за чайной Кузнецова. Вскоре я и Виктор туда перебрались, поместившись в каморке. Мы уже знали, что Медведев вместе с Невроцким, Разумовским, Мишкой Рябым и Лягушкой вошли в дело.

Наступила жаркая пора, нервы были напряжены до предела. Неужто в Петрограде не смогут арестовать гастролеров? Но во время одного из докладов Мартынов мне сказал:

— Передай, что все в порядке. Гостей на Хитровке не будет.

Стало известно, что руководят налетом Мишка Рябой и Невроцкий. Невроцкий считал, что самое важное — бесшумно уничтожить охрану правления железной дороги. Здание хорошо охранялось. У подъезда круглосуточно стояли два вахтера, а в дежурной комнате находились шесть сменщиков. Нападение на охрану с улицы неизбежно должно было привести к перестрелке, а следовательно, к неудаче. В течение трех дней дом тщательно обследовался, заходила туда под видом просительницы и Севостьянова. Наконец обнаружили винтовую лестницу на чердак. Двери чердака были заколочены, но открыть их не представляло особой сложности, тем более что на крышу вела пожарная лестница. Мишка Рябой уже дважды лазил

на чердак и убедился, что вход полностью безопасен. Группа в шестнадцать человек должна была пробраться через чердак в здание и бесшумно вырезать охрану сначала в комнате, а потом и у подъезда. После этого Невроцкий подавал знак «стремщику», караулившему на улице, и тот вызывал грузовики, которые до этого должны были стоять за углом.

Единственным нерешенным моментом оставалось место сбора перед налетом. Мишка Рябой предлагал собраться на Хитровке в Сухом Овраге, но против этого выступили Невроцкий и Севостьянова: Хитров рынок находился под наблюдением уголовного розыска. Этим обстоятельством и воспользовался Медведев. Он сказал, что год назад, когда он «работал» в Москве, он пользовался для аналогичных целей квартирой в доме Афремова. Квартира эта имела черный ход, через который можно было пройти, минуя глаза любопытных.

Дом, о котором шла речь, пользовался тогда широкой известностью. Выстроенный богатым купцом Афремовым, он был одним из первых восьмизэтажных домов в Москве. Жильцы его, как правило, не знали друг друга и не обращали внимания на появление новых лиц. Дом имел еще и то преимущество, что находился недалеко от правления дороги.

Поэтому мысль Сашки Косого понравилась. На следующий день Севостьянова поехала в Орликов переулок. Она внимательно осмотрела квартиру и одобрила выбор.

В налете должны были участвовать двадцать три человека. Некоторые из них друг друга не знали. Сбор был назначен между десятью и половиной двенадцатого. На всякий случай приходиться решили поодиночке. Керосиновая лампа с оранжевым абажуром, выставленная на подоконник второго окна справа, означала, что все спокойно.

К вечеру в квартире, «хозяином» которой был один из работников розыска, собралось двенадцать сотрудников и красноармейцев из боевой дружины. Первым взяли Мишку Рябого.

— Фартовый ты парень! — восхищенно говорил Рябой Сашке, поднимаясь вместе с ним по лестнице. — Только прихрюп, а тебе все: и дружки, и бабы, и кругляки. Сколько я тебя знаю? Мизер. А люблю.

Его красное рябое лицо и затуманенные кокаином глаза выражали преданность.

— Ты мне скажи, что желаешь? Все отдам!

Медведев крепко стиснул своими железными пальцами кисть его правой руки.

Мишка рванулся, но его ударили сзади по затылку и сбили с ног.

— Затыкайте рот, связывайте и живо в третью комнату, —

распорядился Медведев.— Остальных брать в прихожей. Только без шума.

На протяжении часа было задержано пятнадцать человек. Все делалось настолько молниеносно, что никто не успел не только оказать сопротивления, но даже крикнуть. Всех их связывали и складывали в глубине квартиры, где они находились под охраной Сени Булаева и Груздя.

Словоохотливый Сеня Булаев не мог удержаться от маленькой нравоучительной беседы. Вернее, это была не столько беседа, сколько лекция, так как у всех собеседников были заткнуты рты. Сеня уже успел довольно убедительно, к вящему удовольствию Груздя, вскрыть социальные корни бандитизма и обосновать необходимость его уничтожения, когда на лестнице гулко прокатился выстрел. Кое-кто из лежащих бандитов зашевелился и приподнял голову.

— Урок политграмоты прерывается! — объявил Сеня. Его благодушное лицо сразу же стало жестким и настороженным.— Шевелиться не рекомендую. В случае чего перестреляем всех!

Стрелял Невроцкий. Осторожный и хитрый, Князь Серебряный дважды прошелся вокруг дома, пытаясь заглянуть за плотно затянутые шторы, потоптался у входа, присматриваясь, нет ли чего подозрительного, и, наконец, медленно начал подниматься по ступенькам. На лестничной площадке второго этажа он остановился и прислушался: видимо, какой-то шорох показался ему подозрительным. Шло время, а он стоял. Каждую секунду могли подойти остальные участники ограбления. Сотрудник, притаившийся в передней, не выдержал: он быстро распахнул дверь и кинулся на Невроцкого. Тот выстрелил и с удивительной для его лет быстротой помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки.

Но улизнуть ему на этот раз не удалось: в подъезде его уже ожидали Сухоруков и двое красноармейцев.

Встревоженные выстрелом, обыватели зашевелились. В окнах замелькал свет. Кто-то даже загремел дверной цепочкой.

— Успокой. Чтобы через секунду все спали,— приказал Медведев Мартынову.

Внушения Мартынова действовали: вскоре весь дом замер и снова погрузился в темноту.

Остальные участники ограбления, в том числе Разумовский и Лягушка, были взяты без всякого шума.

Так закончилась эта операция, о которой потом долго вспоминали сотрудники розыска. Почти вся преступная верхушка «вольного города Хивы» была арестована.

«Хитровское дело» не только создало новому начальнику непрекаемый авторитет, но и заставило нас поверить в свои силы. В последующие две недели были ликвидированы банды Адвоката, Мартазина, Сынка.

Зловещей была весна 1918 года. Свирипствовал брюшной тиф, вспыхнула эпидемия холеры. Когда стоял снег, мимо свалок нечистот можно было пройти, только зажимая нос. Вода в Москве-реке была густой и черной, как деготь. На мелких волнах качались раздувшиеся трупы собак и кошек, обломки бревен. Кругом грязь, запустение. Даже солнце казалось каким-то тусклым, запыленным. И самое страшное — угроза голода. Люди недоедали. Обвисли щеки Груздя, еще больше вытянулось узкое лицо Виктора, чаще рассказывал о петроградских трактирах Сеня Булаев.

В мае я впервые увидел на улице человека, умершего от голода. Это был старик с грязно-седой бородой, в нижнем белье: верхнюю одежду с него успели снять мазурики. Рот умершего был широко открыт, в одной руке он сжимал голову воблы, другая была подогнута под живот. Недалеко от трупа стояло несколько взъерошенных, тощих собак с поджатыми хвостами. Прохожие поспешно проходили мимо. Собаки скалили зубы и все плотней сжимали кольцо вокруг трупа...

От Тузика я узнал о смерти Женки-наборщика.

— В аккурат двадцать седьмого мая преставился, — сообщил он. — Думал, от чахотки помрет, а помер с голодухи. Да и Баташов Николай Яковлевич — не знал случаем такого? — на ладан дышит...

Голод приближался неотвратимо. Болезни и голод. В газетах по соседству с фронтовыми сводками замелькали сообщения: «Организуется лига борьбы с заразными заболеваниями», «В Москву сегодня прибыло столько-то вагонов с хлебом», «Продотрядовцы с завода Михельсона сообщают...», «Крестьяне шлют хлеб своим братьям...».

— Ну как, займемся огородничеством? — подмигнул мне Сеня Булаев, который в самых трагических ситуациях сохранял способность шутить.

Он протянул мне объявление, явно предназначавшееся на куриво. «Граждане! — писалось в нем. — Мы недоедаем. В двери наших домов стучится голод. Пощады от него не будет никому. Защита от голода и его последствий в наших руках. Перед нами массы пустующих земель. В грозные голодные годы преступно оставлять неиспользованной даже одну пядь земли. Все пустыри и заброшенные земли должны быть разработаны и заняты овощами. Уделяя огородничеству не более двух часов в день, взрослый мужчина или одна взрослая женщина смогут возделать до 300 квадратных саженей огорода.

Центральная огородная комиссия».

Энтузиасты из центральной огородной комиссии все подсчитали,

все предусмотрели, забыв только одно: для того чтобы возделывать огороды, надо было иметь что сажать...

— Ну так как, займемся? — повторил свой вопрос Сеня. — Посидел двое суток в засаде, вернулся — картошечку посадил. Пострелял малость в бандитов — огурчиками занялся... — И неожиданно спросил: — Жрать небось хочешь?

— Не особенно.

— Интеллигент паршивый! — выругался Сеня и достал из ящика стола полбуханки ситного хлеба. — Мать из деревни прислала, шамай... Ну, чего глядишь? Шамай, говорят.

— Ну что ты, — смутился я.

— Тяжелый вы народ, интеллигенты, церемонии любите! — Он разломил хлеб на две части, присолил и протянул один кусок мне. — Давай, давай.

Таким был Сеня Булаев, парень, которого я раньше в глубине души считал легкомысленным эгоистом, ничего не замечающим вокруг себя. Жизнь заставила меня изменить оценку и Груздя и Медведева. Черствый и резкий на первый взгляд, Медведев неожиданно оказался исключительно душевным человеком, к которому тянулись сотрудники, чтобы поделиться своими бедами и горестями. А бед в то время было немало: у одного семья оказалась на оккупированной территории, у другого сын лежал при смерти, и требовалось раздобыть хорошего врача... И всегда, когда мог, Медведев помогал. Ведь именно он добился освобождения Горева и Корпса, когда они были арестованы как бывшие офицеры. Но душевность Медведева не бросалась в глаза, а я замечал только то, что было на поверхности. Оно и воспринималось мной как характерное, определяющее.

Боевая дружина уголовного розыска почти в полном составе была отправлена на фронт на подавление чехословацкого мятежа. Работы прибавилось. Больше всего доставалось особой группе. Я никогда раньше не думал, что сон может стать такой недостижимой мечтой. Какое счастье снять тяжелые, набившие ноги сапоги, размотать портянки, пошевелить голыми пальцами и уснуть...

В довершение ко всему Медведев издал приказ, обязывающий всех сотрудников, свободных в дни занятий от облав и других «служебных мероприятий», посещать кружок политграмоты. Арцыгов, который пропустил первое занятие, был посажен на сутки под арест. Александр Максимович шутить не любил.

Руководитель кружка приходил к нам раз в неделю, по воскресеньям. Это был краснощекий, белокурый студент в лихо заломленной фуражке. Держал он себя с нами запанибрата, глухо хлопал по спине, рассказывал анекдоты. У студента была длинная, трудно выговариваемая польская фамилия, начинавшаяся с буквы «ч». Ее никто не мог запомнить, и с легкой руки Сени Булаева его называли просто товарищем Ч.

Хорошо помню первое занятие, которое товарищ Ч посвятил шутливой исповеди Карла Маркса.

— Самый главным достоинством в людях,— говорил он,— Маркс считал простоту. А на вопрос, какое достоинство он больше всего ценит в женщине, великий философ ответил: «Слабость».

— Не согласен! — крикнул с места Груздь.

— С чем не согласен? — поразился товарищ Ч.

— С товарищем Марксом не согласен,— заявил Груздь.— Может, для жен интеллигентов это и подходит, а для наших — никак. Посуди сам. Детей она должна рожать? Должна. По домашнему хозяйству должна управляться? Должна. А слабая будет, какой с нее толк? Нет, не согласен с товарищем Марксом.

Товарищ Ч не совсем удачно начал было говорить о положении женщин при капитализме и коммунизме, о том, что исповедь Маркса носит шутливый характер, что подобные высказывания нельзя понимать так прямолинейно, но Груздь упрямо повторял:

— Говори что хочешь, а у меня с товарищем Марксом по этому вопросу коренные разногласия.

Голова товарища Ч с легкостью вмещала в себя самые разнообразные знания, он был, что называется, «ходячей энциклопедией». Но объяснял плохо, перескакивая с одной мысли на другую, совершенно забывая про уровень аудитории. Особенно раздражали многочисленные иностранные слова, которыми он обильно уснащал свою речь. Но Груздю, кажется, именно это больше всего и нравилось. В то время как кое-кто пытался по возможности незаметно вздремнуть, Груздь был весь внимание. Он даже завел себе специальный словарик непонятных слов. Как-то этот словарь попал мне в руки. На первой странице значилось: «Атеизм — религия — опиум для народа. Гегемон — то есть мы. Дуализм — и вашим и нашим. Идеализм — поповщина. Материализм — то, что нужно. Империалисты — спекулянты, буржуи и прочая сволочь».

— Что есть государство? — любил экзаменовать Груздь Сеню Булаева.— Не знаешь? А между тем раз плюнуть. Государство есть орудие принуждения. А кто есть у нас господствующий класс?

— Отстань, Христа ради! — просил Сеня.

— Нет, не отстану. Кто есть господствующий класс?

— Матросня? — подмигивал Арцыгов.

— Врешь. По своей политической безграмотности ни бельмеса не понимаешь,— невозмутимо парировал Груздь.— Матросы, солдаты и казаки не класс. Если рассуждать диалектически, то господствующий класс есть пролетариат, то есть рабочие и крестьяне — одним словом, гегемоны. Ясно?

Сеня подтверждал, что ему все ясно. Но избавиться от Груздя было не так-то просто.

— А если ясно, то растолкуй мне, что такое гегемон?



— А что тут растолковывать? Каждому шкету понятно, гегемон он гегемон и есть,— хитрил Сеня.

— Не знаешь,— торжествовал Груздь.— Блох давил, когда товарищ Ч марксистскую концепцию давал. А гегемоны между тем те, кто властвует. А кто властвует? Мы с тобой.

— На пару, значит, властвуете? — вставлял Арцыгов.

— А то как же? Не будем же тебя, недоумка, третьим в компанию брать,— отвечал Груздь.

Экзамен по политграмоте обычно заканчивался тем, что, выйдя из терпения, Сеня делал зверское лицо и кричал:

— Готской программой клянусь, на братоубийство меня толкаешь! Не заставляй грех на душу брать.

Груздь спокойно переживал, когда смолкнет взрыв хохота, а потом заключал:

— Дурак он дураком и останется, даже если по исторической случайности в класс гегемонов попадет.

Груздь любил, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним.

## XVIII

Война, голод, разруха, неустроенность, бандитизм... А жизнь продолжалась. Люди рождались и умирали, женились и расходились. И каким бы ни было лето 1918 года, а в московских скверах по-прежнему ночи напролет сидели влюбленные пары, а в Сокольниках заливались соловьи. И Сеня Булаев не только ловил бандитов, рассказывал смешные истории и показывал фокусы, но и ухаживал за машинисткой Нюсей из Наркомата почт и телеграфов, с которой ходил в школу танцев с красивым и непонятным названием «Гартунг». И ухаживал он за ней так, как ухаживали за девушками до него и после него. Правда, иногда вместе с букетом цветов он вручал ей кусок сала или воблу. И Нюся не делала различий между цветами и воблой, потому что она все-таки была девушкой 1918 года, голодного года. О чем они, уединившись, говорили, не знаю, но мне почему-то казалось, что они не обсуждали фронтовых сводок, во всяком случае сообщения с фронта были не главной темой их бесед. Не знаю также, была ли Нюся красивой, скорее всего нет, но нам она казалась красивой. И, подшучивая над Сеней, мы в глубине души все-таки ему завидовали. Я даже предлагал Виктору сходить как-нибудь для смеха в «Гартунг». Он, кажется, не возражал, но мы туда так и не выбрались, хотя бывали во многих местах, посещение которых не входило в наши прямые обязанности.

Видимо, тогда, как и теперь, в сутках было ровно двадцать четыре часа. Но мы за эти двадцать четыре часа успевали все: допросить бандита и побеседовать с агентом с Грачевки, заштопать продраный китель и задержать валютчика, разобрать на оперативном сове-

щании последнюю операцию и принять самое активное участие в общественном суде над Евгением Онегиным. Кстати, общественные литературные суды стали к тому времени повальным увлечением. На молодежных сборищах особенно доставалось Печорину, о котором Груздь говорил, что именно для таких типов революционный пролетариат отливает свинцовые пули на заводах. Мне, честно говоря, Печорин нравился, но я не рисковал, даже будучи официальным защитником, его оправдывать, а только робко просил суд учесть смягчающие его тяжелую вину обстоятельства. И только Нюся, устремив мечтательно глаза куда-то поверх наших голов, упрямо говорила: «А все-таки он был хороший». И хотя это звучало неубедительно, Сеня Булаев как-то смущенно замолкал и, обращаясь к нам, говорил:

— А фокус с медалью знаете?

Мы знали этот фокус и возмущались беспринципностью Сени, но делали вид, что ничего не понимаем.

Пример уголовного розыска Леонид Исаакович относился к нашим увлечениям скептически.

— Прежде чем стать вином, виноград бродит,— говорил он и спрашивал: — Как вы считаете, чехи, немцы, американцы, денкинцы, дутовцы — не слишком ли это много для народа, который сделал революцию и только хочет, чтобы его оставили в покое? Мой старший брат говорил, что бог всегда выполняет просьбы людей, он только путает иногда адреса и дает счастье не тому, кто его об этом просил. Боюсь, чтобы и сейчас он не перепутал адрес...

— Не перепутает, Леонид Исаакович,— обычно отвечал Виктор,— а перепутает, так мы его подправим...

— Да, старик устал от порядков на земле,— кивал головой пример.— Ему нужны помощники, а то он может все перепутать, ведь его просят миллионы людей, и все о разном. Мой сосед, например, купец Блатин уговаривает всевышнего покончить с большевиками. Так и молится: «Уничтожь, господи, большевиков, порождение сатаны. А если не можешь этого, господи, то помоги мне бежать за границу».

— Заграница его не спасет,— смеялся Виктор.— Мировая революция и до заграницы дотянется. Скоро рабочий класс везде подымется.

В то, что мировая революция — дело ближайших месяцев, а может быть, и дней, верили многие. И когда приходилось особенно трудно, обычно кто-нибудь говорил: «Недолго мучиться. Вот грянет мировая...»

Я хорошо помню митинги на заводах, фабриках и на улицах, когда телеграф принес весть о революции в Германии. Это сообщение было воспринято как начало долгожданной мировой революции. Люди обнимали друг друга, поздравляли, некоторые плакали от радости...

Жить у меня Тузик наотрез отказался, но заходил часто. Иногда забегал на несколько минут, а порой оставался на два-три дня. Соседи относились к нему настороженно. Жена доктора, толстая неряшливая женщина с выпученными глазами, демонстративно закрывала на всякий замок свой шкафчик на кухне и просила мужа: «Бобочка, ты посиди здесь на всякий случай, пока этот босяк не уйдет...»

Меня это раздражало, но сам «босяк» не обращал на эти меры предосторожности никакого внимания и, хитро мне подмигивая, спрашивал: «Опять эта корова всю ночь ложки пересчитывала?» Впервые Груздь увидел его у меня вскоре после выздоровления.

— Здорово, шкет!

— Здорово, матрос! — в тон ему ответил беспризорник.

— Шустрый! — поразился Груздь и поинтересовался: — Ты откуда такой?

— С Хитровки.

— Житель вольного города Хивы? Ясно. А кличут как?

— Тузиком.

— Гм, какая-то кличка собачья. У нас на корабле кобель Тузик был. Выдумает же буржуазия такое: Тузиком человека прозвать. Ты же крещеный?

— Все может быть, — согласился Тузик.

— Ну, родители-то как нарекли?

— Тимофеем.

— Тимоша, значит? Вот это другой коленкор. Ой, Тимоша-Тимофей, хочешь жни, а хочешь сей! Ну, Тимофей Иванович, на голове стоять умеешь?

Груздь снял пояс с двумя маузерами и, побряхтывая, стал на голову. Лицо его налилось краской, с подошв сапожищ на пол посыпались комки земли.

— Силен, бродяга! — с уважением сказал Тузик. — А на одной руке стойку сделать можешь?

— Запросто.

Груздь сделал стойку на одной руке.

— А колесом перекувыркнуться сможешь?

Груздь сделал колесо.

— Силен, — снова сказал Тузик и с этого момента проникся к Груздю уважением, которое уже ничто не могло поколебать.

Когда Груздь доставал кисет, Тузик тотчас же чиркал зажигалкой. Когда Груздю что-нибудь было нужно, Тузик сломя голову кидался выполнять его поручение.

Оказалось, что у этого смешливого, независимого беспризорника душа романтика, жадная до всего необычного и красивого. Тузик мог часами слушать рассказы Груздя про далекие тропические страны, где курчавые черные люди ходят почти совсем

голыми по раскаленному золотому песку и грузят на большие пароходы ящики с кофе и бананами, про раскидистые пальмы, колючие кактусы и экзотические деревья со звучным названием баобаб.

На вопросы Тузик был неистощим.

— А там революция тоже будет?

— Сам посуди,— обстоятельно объяснял Груздь,— пролетариат там есть? Есть. Мировая буржуазия есть? Есть. Эксплуатация есть? Есть. Материализм есть? Есть. Тогда об чем речь? А революция в России для них арифметический плюс, потому что вроде примера. Увидят, как мы распрекрасно живем без буржуев, и сами так же распрекрасно жить захотят...

— Ну уж распрекрасно,— говорил Тузик,— жрать-то нечего.

— Тебе бы все жрать... А ты рассуждай диалектически: почему нечего жрать? Потому что разруха. Вот покончим с буржуазией и с ее прихвостнями — всякими спекулянтами и бандитами и возьмемся за ликвидацию разрухи. Уяснил?

Авторитет учителя был непререкаем. Только раз в душу Тузика закралось сомнение, когда Груздь заявил, что после мировой революции ни одного сыпнотифозного не останется: ни в Англии, ни в Бразилии, ни в России.

— В Англии может быть, а в России навряд.

— Это почему?

— А потому что сыпняк от вшей,— со знанием дела объяснил Тузик.

— Вот их и не будет!

Тузик подмигнул мне и неудержимо расхохотался.

— Загибай! — А когда Груздь разгорячился, примиряюще сказал: — Я же не говорю, что их миллионы будут, но тысячи полторы останется...

Зато насчет ликвидации преступных элементов у Тузика не было никаких сомнений.

— Вот это точно,— говорил он.— Медведев все может. Как он Князя Серебряного и Мишку Рябого к ногтю! Его у нас во как боятся!

Медведев для Тузика был легендарной личностью, которая воплощала революцию. Правда, узнав от Груздя, что Медведев не умеет делать стойку на голове, он немного разочаровался, но, поразмыслив, сказал:

— Это ничего, ликвидируем преступный элемент, и после мировой революции запросто научится.

Тузик впитывал в себя все, как губка. Он охотно слушал рассуждения Груздя про гегемона революции и про жизнь во флоте, мнение Груздя о бесклассовом обществе и о роли интеллигенции в революции.

— У шкета классовое самосознание на самом что ни на есть недостижимом уровне, — восхищался Груздь. — Его бы грамоте научить — всех за пояс заткнет, даже товарища Ч. Тот башкой мировые закономерности усваивает, а этот сердцем.

И Груздь раздобыл где-то затрепанный букварь. Читать Тузик научился скоро, но дальше дело почему-то не пошло.

## ХІХ

С Мартыновым, которого Сеня прозвал Бородой, мне приходилось сталкиваться сравнительно мало, в основном на оперативках, так как я обычно имел дело с Горевым, который «шефствовал» над Хитровкой, и Савельевым. На меня он производил впечатление человека смелого, добросовестного, но, как говорится, не хватающего звезд с неба. Видимо, этому способствовала еще и молчаливость Мартынова, о которой в розыске ходили анекдоты. Мартынов предпочитал отмалчиваться и на работе, и на политзанятиях. Но две-три операции, которые провел Мартынов, заставили меня взглянуть на него по-иному. Мартынову в отличие от Савельева не хватало знания преступного мира и воображения, которое я до сих пор считаю одним из немаловажных достоинств оперативного работника, но эти недостатки восполнялись трезвым мужицким умом, знанием человеческой психологии, жизненным опытом. Разработанные им операции напоминали грубо, но крепко сделанную мебель. Такой мебелью не будешь хвастаться: нет легкости, изящества, плавности линий, но она тебя и не подведет. Нравилась мне и его манера допрашивать людей. Мартынов никогда не сердился, не выходил из себя. И ему, как правило, удавалось установить контакт с допрашиваемым. Никогда не забуду, сколько я и Виктор промучились с неким налетчиком по кличке Пан. Дело было ясным, как у нас тогда выражались, «цветным». Мы располагали доказательствами, изобличающими Пана в ограблении. Но Пан ни в чем не признавался, более того, он просто над нами издевался. Мы с ним провозились дня три, и тогда Мартынов, зайдя в кабинет Виктора, сказал ему:

— Иди проветрись, а мы тут потолкуем.

Через полтора часа Пан подписал протокол допроса, в котором полностью признавал свою вину. «Как вы этого добились, Мефодий Николаевич?» — приставал я к Мартынову. «Да я не добивался, — объяснял он. — Как-то само, что ли, получилось. Из крестьян он... Об урожае поговорили... То да се... Он и раскис. Неплохой парень, может, еще толк с него будет... о марухе своей все печалится. Ты распорядись, чтобы писульку ей разрешили передать. Я обещал».

К сотрудникам группы он относился по-товарищески, но каким-

то чутьем всегда чувствовал грань, через которую нельзя переходить, чтобы не перестать быть для нас начальником. Относился он к нам ровно, выделяя только Горева и Арцыгова. К Гореву отношение у него было настороженное, недоверчивое, будто он все время ожидал, что Петр Петрович обязательно подложит свинью, хотя тот и работал добросовестно. Зато Арцыговым он откровенно восхищался, спасая его от всяческих мелких неприятностей, которые постоянно грозили тому из-за его необузданного характера. Впрочем, Мартынов так же тщательно оберегал и других «своих ребят». Когда Медведев хотел кого-либо из нас вне очереди назначить дежурным, прикомандировать временно к МЧК или послать в объединенное патрулирование, Мартынов обязательно отправлялся к нему для объяснения. Заходил мрачнее тучи, садился.

— Что у тебя, Мефодий Николаевич?

— Да вот, уходить обратно в ЧК хочу...

— Чего так?

— Не уважают меня здесь...

— Кто же тебя не уважает?

— Ты сам, Александр Максимович, не уважаешь. Через голову действуешь, человека без спросу берешь...

Обычно этот разговор заканчивался тем, что Медведев говорил:

— Знаешь, как это называется? Шан-таж. А меня шантажом не проймешь. Понял?

— Понял, Александр Максимович. Значит, обойдешься без моего человека? Ну спасибо тебе.

Медведев только махнет рукой и засмеется.

Но, отстаивая своих сотрудников перед Медведевым и вообще «посторонними», Мартынов никому из нас не давал спуска. Он умел и унижить человека, и пристыдить. Поэтому, когда он сообщил о совещании группы, на котором должны были подводиться итоги работы за первое полугодие, многие нервничали. Сам факт созыва такого совещания уже не предвещал ничего хорошего: с чего вдруг совещание? Собрались мы в кабинете у Мартынова. На этот раз в сборе были все.

— Ну давай, Федор Алексеевич, докладывай,— предложил Мартынов Савельеву, который перебирал у себя на коленях листки бумаги.

Савельев, еще более обрюзгший за последние месяцы, нехотя встал, откашлялся и, не отрывая глаз от бумаги, начал говорить. Он перечислял фамилии и клички бандитов, которые были нами задержаны, вкратце упоминал о наиболее крупных преступлениях, совершенных ими. Гришка Разумовский, Рябой, Водопроводчик, Невроцкий, Адвокат, Мартазин, Сынок, Пантюшка Слепой, Кальве, Сабан, Никольский... Фамилии мелькали одна за другой. Да, пора-

ботали мы здорово. Когда Савельев закончил, Мартынов, собрав в кулак свою роскошную бороду, спросил:

— Как, нравится?

Мне очень хотелось выразить свои чувства, но что-то в голосе Мартынова настораживало, и я предпочел промолчать.

— Нравится? — повторил вопрос Мартынов.

Встал Груздь. Он всегда действовал напролом, без учета обстановки.

— Чего зря говорить? Если рассуждать диалектически, доклад что надо. Поработали здорово.

— Ну раз так здорово поработали, — уцепился Мартынов, — то я думаю, что к докладу еще несколько строк допечатать надо.

— Это какие же строки, Мефодий?

— Ну как какие? «В связи с распрекрасной работой бандитизм в столице республики заодно со всеми корнями ликвидирован. Прошу сотрудников наградить, а группу распустить по домам за ненадобностью». Вот это допечатать — и ажур.

— Это ты зря, хватил лишку...

— Так оно по докладу получается. А наемдни ко мне вдова сотрудника МЧК Ведерникова приходила. «Не нашли, — говорит, — убийцу моего мужа?» — «Нет, — говорю, — не нашли». Не знал я тогда, что мы так распрекрасно работаем...

— Короваева и Ведерникова банда Кошелькова убила, — встал Сеня Булаев.

— Кошельков? — сделал непонимающее лицо Мартынов. — Какого Кошелькова? Что-то я его в списке не приметил... Может, пропустил? Сделай милость, дай списочек свой, Федор Алексеевич.

— Ни к чему, Мефодий Николаевич, — сказал Виктор. — Что сделали, то сделали, а чего не сделали, того не сделали.

— Вот это уже другой коленкор. Я к тому и говорю, что оркестр вызывать рано, — хлопнул ладонью по столу Мартынов. — Докладная-то к начальству пойдет. Чего ей сделается? Чего добились, того у нас не отнимут, а с хвастовством подожди. Одна гречневая каша сама себя хвалит. Короваева и Ведерникова Кошельков пострелял? Пострелял. Нападение на Сытинскую типографию совершил? Совершил. Правление Виндаво-Рыбинской дороги ограбил? Ограбил. А Федор Алексеевич победную реляцию читает. Дескать, вот какие мы молодцы!

Таких длинных речей Мартынов еще никогда не произносил и, по-моему, сам был немного поражен своей тирадой.

Открылась дверь, и вошел Медведев. Мы все встали.

— Садитесь, товарищи, продолжайте.

— Да у нас-то, почитай, все. Обговорили, — сказал Мартынов.

Посмотрев на начальника особой группы, Александр Максимович, видно, понял, в чем дело.

— Все распекашь?

Мартынов сделал недоуменное лицо, борода его и то выгнулась вопросительным знаком.

— Распекать? За что распекать? Ребята один к одному. Если б везде такие были, дела бы как по маслу шли...

Груздь хмыкнул. Мартынов бросил на него свирепый взгляд и уже не так горячо закончил:

— Ругать их не за что. Процент раскрываемости пятьдесят три. Где у тебя еще такой? То-то же.

— Ну если доволен, хорошо,— сказал Александр Максимович, и мне показалось, что в его глазах мелькнула смешинка.— А раз закончил, идем ко мне, поговорим.

Последнее время распространились кражи «на плевок». Они не отличались хитроумием, но почти воегда проходили успешно. Кассир, допустим, приходил в банк за деньгами, пересчитывал пачки и опускал их в свой саквояж. В этот момент стоящий рядом с ним прилично одетый гражданин говорил в ужасе: «Боже мой! Где вы так испачкали спину?!» Кассир оборачивался и убеждался, что спина действительно страшно испачкана. Он начинал чиститься с помощью прилично одетого гражданина, потом благодарил его, брал саквояж и отправлялся на работу. Там он внезапно обнаруживал, что в саквояже не деньги, а бумага: вместо его саквояжа ему подсунули другой, точно такой же...

Несколько дней я занимался одной из таких краж. Сегодня мне предстояло допросить двадцать три человека.

Со словом «допрос» у непосвященных обычно связано представление о психологической дуэли между следователем и преступником. У одной моей знакомой девушки, за которой я ухаживал в двадцатом году только потому, что она была похожа на Ньюсю, при этом слове уважительно округлялись глаза. Но допрос допросу рознь, а кроме того, каждый, даже самый интересный допрос связан с весьма неприятной вещью — оформлением. Следователь должен аккуратно записывать каждое слово допрашиваемого, следить за каллиграфией, чтобы написанное им легко можно было прочесть, зачеркнув фразу, он должен оговорить это в конце страницы, и так далее и тому подобное. Для допроса очевидцев не нужно было особого умственного напряжения, но записать все эти показания, отсеяв то, что не имело абсолютно никакого отношения к делу, требовало немалых трудов.

Когда я заканчивал допрос последнего свидетеля, служащего банка, ко мне зашли Виктор и Арцыгов.

— Ночевать здесь собрался? — спросил Виктор, кивнув на висевшие на стене часы.— Уже одиннадцать.

Арцыгов сел к столу и начал лениво перелистывать протоколы.



Ему-то писать не приходилось, Мартынов начисто избавил его от писанины.

В последнее время неприязнь Сухорукова к Арцыгову сгладилась, хотя на смену ей и не пришло дружелюбие. Просто Виктор стал как-то более терпеливым. Соответственно изменилось к Арцыгову и мое отношение. Теперь после работы мы иногда играли в шахматы. В шахматы Арцыгов играл так же азартно, как и в карты: очертя голову кидался в авантюры, затевал рискованные комбинации. И в жизни, и в игре он был любителем острых ощущений. Виктор же играл спокойно, осторожно, иногда подолгу задумываясь над тем или иным ходом.

— Корову, что ли, проигрываешь? — торопил его горячий Арцыгов.

Особенно возмущал Арцыгова отказ Виктора играть на деньги.

— Не могу я без интереса. Потому проигрываю, — злился Арцыгов, скаля белоснежные зубы. — Что за игра без интереса, а? Давай с интересом! Почему у тебя кровь рыба?

Виктор посмеивался:

— Сначала играть научись, а потом уже об интересе думай.

Закончив с протоколом допроса, я с облегчением потянулся.

— Вот, до одиннадцати пропотел, а Мартынов говорит: плохо работаем. Чего его Кошельков задел? Ведь Кошельковым МЧК занимается.

— Заниматься занимается, а толку? — прищурил глаза Арцыгов над шахматной доской. — На Брестской кроме Короваева и Ведерникова трех самокатчиков порешил. Хотели рыбку половить, а сами на крючок угораздили. Смелый черт, горячий! Его голыми руками не возьмешь. Раз десять из тюрьмы бежал. И отец его по мокрому делу ходил, до революции казнили...

— Ничего, придет время — возьмем, — сказал Виктор, передвигая ладью.

— Возьмешь, говоришь? Многие пытались, да только крылышки себе жгли. Уж не ты ли брать собираешься?

— А хотя бы я...

— Храбрый мальчик, храбрый.

Арцыгов партию проиграл. Предложил сыграть еще, но Виктор отказался: завтра рано вставать. Надо выспаться. Прощаясь с нами, он сказал:

— А Кошельковым я займусь по-настоящему.

— Гляди, чтоб он тобой только не занялся, — усмехнулся Арцыгов. — Не хочу, чтобы тебя кокнули, пока я тебя в шахматы не оставил...

— Ну, тогда мне лет до семидесяти жить...

Когда я предложил привлечь к какой-то операции Сухорукова, Мартынов сказал, что он выполняет специальное задание и отвлекать его по мелочам не нужно. Что это было за специальное задание, я не знал, но догадывался: видимо, Виктор занимался бандой Кошелькова. Между тем фамилия Кошелькова все чаще мелькала в оперативных сводках: налеты, ограбления, убийства. Кошельков и его неразлучный дружок Сережка Барин для своих преступлений широко использовали отобранные у убитых чекистов документы. Именно с помощью этих документов банда ограбила афинерный завод, забрав золото в слитках, платиновую проволоку и деньги. Тогда Кошелькова чуть было не задержали матросы из отряда ВЧК, но он, отстреливаясь, ушел. Самым сложным было нащупать, где же скрывается Кошельков, с кем он поддерживает связи, через кого сбывает награбленное, то есть найти ниточку, которая привела бы к удачливому и дерзкому главарю банды.

В уголовном розыске Виктор не появлялся. Тузик говорил, что видел его как-то на Хитровке.

Впервые с Виктором мы увиделись после совещания, которое проводил Мартынов, только 6 июля, в тот самый день, когда неожиданно вспыхнул мятеж левых эсеров.

Эту новость принес запыхавшийся Сеня Булаев, который, ничего не подозревая, отправился на Поварскую арестовывать валютчиков.

— Братцы! — закричал он, вбегая в дежурку. — Германский посол Мирбах убит! Сейчас у театра оперного был, там всю фракцию левых эсеров заарестовали вместе с Марией Спиридоновой. Из окон головы повысовывали и орут: «Большевики узурпаторы!»

— Да подожди, кто посла-то убил?

— Левые эсеры и убили.

— Зачем?

Сеня пожал плечами:

— А я откуда знаю? Что я тебе, эсер, что ли? У них и спрашивай.

Вошел, как всегда, спокойный и сдержанный Медведев.

— Тихо, товарищи. Отряд Попова при ВЧК отказался подчиняться Советской власти. Начальник отряда скрывает убийцу посла Мирбаха, которого эсеры убили с целью спровоцировать войну с Германией. Попов арестовал Дзержинского, Лациса и Смидовича. Мятежники сосредоточились в Трехсвятительском переулке, штаб Попова — в особняке Морозова. Сейчас я связался с районным Совдепом. Нам поручено патрулировать в районе Сретенских ворот.

Еще с Трубной мы услышали ружейные выстрелы, которые заглупались сильными громовыми ударами.

— По Кремлю кроют артиллерией,— сказал Груздь.— Революционеры, мать их за ногу!

— А отряд Попова наполовину из матросни,— вставил Арцыгов, который никогда не упускал случая подковырнуть Груздя.

— Какие ж это матросы? Салаги из Черноморья,— презрительно ответил Груздь.— Одни клеши для видимости.

У Сретенских ворот к нам присоединилась вооруженная группа делегатов съезда.

— А вот Сухоруков! — сказал Груздь.

Действительно, Виктор бежал по Сретенке, махая рукой.

— Хорошо, что встретил вас. К Покровке идете?

— Нет, пока не приказано,— сказал Груздь.— Но без нас все одно не обойдется...

Однако без нас обошлось. Всю ночь мы находились в районе Сретенских ворот, прислушивались к одиночным выстрелам. К утру выстрелы участились. Это против мятежников были двинуты войска, расположенные на Красной, Страстной и Арбатской площадях. К двум часам мятеж уже был ликвидирован.

— Зря всю ночь заместо телеграфных столбов простояли,— смеялся Арцыгов.— Пострелять и то не пришлось...

— Еще постреляешь,— пообещал Мартынов.— Чего-чего, а стрельбы на наш с тобой век хватит. Вот только как бы германцы войну из-за своего посла не затеяли. Им только повод дай. И чего с этими эсэрами нянчились?

Мы с Виктором немного отстали. Он шел в расстегнутой косоворотке, обнажавшей его мускулистую шею, прикусив зубами сорванную веточку тополя, подтянутый, веселый.

— Ну, что нового в розыске?

— Что нового? Все то же. Расскажи, как у тебя. За Кошельковым охотился?

— Ишь какой умный! — поразился Виктор.— Догадался-таки?

— Да уж весь свой хилый умишко напряг.

— Ну-ну, не обижайся. Чего ты таким обидчивым стал? Понимаешь, какое дело, успехи не ахти, но кое-что нащупал. Помнишь, я тогда после операции на Хитровке возражал против ареста Севостьяновой? Еще говорил, что она нам пригодится? Ну вот, Аннушка и пригодилась. Оказывается, Кошельков у нее бывает. Как часто, не знаю, но бывает.

— И это все, что ты узнал?

— А что, мало? — засмеялся Виктор.

— Не много.

— Еще кое-что добыл. Вот, смотри.— Виктор показал мне

клочок бумаги: «Смотался в Вязьму, буду в Хиве в следующем месяце. Сообщи Ольге». Подписи под запиской не было.— Эта писулька на столе у Севостьяновой лежала.

— А почему ты решил, что Кошельков писал?

— Проверял. Савельев говорит: почерк Кошелькова. Федор Алексеевич не ошибется.

— А кто такая Ольга?

— Как кто? — поразился Виктор.— Невеста Кошелькова. Ты разве не знаешь?

— А почему я должен близких и дальних родственников всех бандитов знать?

— Потому что ты работаешь в уголовном розыске,— нраво-учительно ответил Виктор.

Когда он так говорил, я всегда злился. Но любопытство было на этот раз сильнее, чем самолюбие. И хотя мне хотелось сказать Виктору, что ему еще рано брать на себя роль наставника и я прекрасно знаю без него, что я должен, а чего не должен, я промолчал.

— Понимаешь,— продолжал Виктор,— я советовался с Савельевым. Видимо, действовать надо будет в нескольких направлениях; но прежде всего установить постоянные наблюдения за притоном Севостьяновой и за ней самой. Кстати, тебе твой старый приятель привет передавал...

— Кто?

— Баташов.

— Жив еще?

— Жив. Отощал только, пришлось подкормить.

— Свой паек дал?

— Свой паек... Ну, дело не в этом. Думаю, надо мне в Вязьму вместе с Савельевым поехать. Можно его там застукать...

— Нос Арцыгова здорово утрешь.

— При чем тут Арцыгов? Что я, для Арцыгова стараюсь? Дурак ты, Сашка!

— Уж какой есть.

Но Виктор не обратил внимания на мою реплику.

— Тебя послушать, так мы работаем или для Арцыгова, или для Медведева, или еще для кого-то. Мы для Советской власти работаем и перед ней отвечаем.

— Ну прямо, как на занятиях по политтрамоте. Почище товарища Ч все выкладываешь!

У Виктора зло сузились глаза, но вдруг он расхохотался.

— Пацан, честное слово, пацан!

Он обернулся ко мне, засучил рукава косоворотки.

— Ну как, может, попробуем еще разок?

Я испугался.

— Иди к черту! Мартынов увидит — обратно в гимназию отправит, скажет: дети не нужны. Пусты, ну что ты!

Но я уже барахтался на траве бульвара. Сухоруков сидел на мне верхом, крепко держа мои руки.

— Священной формулы не забыл?

— Витя, — взмолился я, — неудобно, увидят...

— Пусть смотрят! Пусть видят! — весело орал Сухоруков.

Когда мы встали и начали отряхиваться, я заметил, что с соседней скамейки на нас внимательно смотрят двое мальчишек с ранцами за плечами.

— Вы гимназисты? — спросил один из них с интересом.

— Точно, — подтвердил Виктор.

— А маузер вам в гимназии выдали?

— Разумеется, совет гимназии, чтобы учителей пугать... Двойку поставят — сразу оружие достаешь: смерть или пятерка. Очень здорово помогает. Теперь только круглые пятерки имеем.

— Врете... — неуверенно сказал мальчишка.

— Врут, — поддержал другой, — никакие они не гимназисты. — Он скорчил рожицу, шикарно сплюнул через выбитый передний зуб и солидно сказал: — Пошли, Петька! Им-то что, а нам еще к перекламеновке готовиться.

— Эй, орлы! — окликнул Виктор. — Закурить не найдется?

— Это можно, — сказал мальчишка с выбитым зубом. Он солидно, не торопясь, достал из кармана кисет, отсыпал на протянутый кусочек газеты махорки и спросил, кивнув на маузер, который явно не давал ему покоя: — Двенадцатизарядный?

— Пятьдесят пуль, и все отравленные индейским ядом, — доверительно сообщил Виктор. — У меня тут один знакомый вождь краснокожих на Лубянке сапожничает, в Россию за петушиными перьями приехал, говорит, в Америке с перьями худо стало: по приказу президента всех кур и петухов перерезали, так он ядом расстарался, на Сухаревке торгует...

— Вот трепач! — с восхищением сказал мальчишка и прыснул в кулак. — Ну и трепач!

— Факт, — скромно сказал Виктор, раскуривая самокрутку. — Ну, адью, коллеги! Советую только курево в кармане не держать, конфликт с мамашей назреть может.

## XXI

Сухоруков хотел ехать в Вязьму, но Мартынов почему-то заупрямился.

— Мефодий Николаевич! Ведь мне это сподручней, — убеждал его Виктор. — Я Кошельковым и Сережкой Бариним еще когда занимался!

— Нет, не поедешь.

— Почему? Все-таки я раскопал эту штуку.

— Все одно не поедешь. Везде хочешь успеть — нигде не успеешь. Организуй лучше все, как положено, на Хитровке. Нащупаем или нет Кошелькова в Вязьме — бабушка надвое сказала. А на Хитровке — дело верное.

Мартынов командировал в Вязьму Савельева и Горева, к которым затем присоединился Арцыгов.

Против включения в оперативную группу Арцыгова Савельев возражал.

— Горяч больно, — доказывал он Мартынову, — на такое люди потоньше да поспокойней нужны. Дельце-то деликатное. И с Петром Петровичем он не в ладах. Только мешать друг другу будут.

Может, Мартынов и согласился бы с Савельевым, если бы не упоминание о Гореве, которого он терпел только в силу необходимости.

— А я их целоваться не прошу, — резко ответил он. — Им вместе не детей крестить, а работать.

— Все-таки, — начал было Савельев, но Борода его перебил:

— Приказ читали?

— Какой?

— О моем смещении с должности начальника особой группы. Нет такого приказа? Значит, и разговор будем кончать. Поедут те, кого я пошлю.

Около двух недель никаких сообщений от оперативной группы мы не получали. Мартынов несколько раз пытался связаться с Вязьмой по телефону, но безрезультатно. Наконец в розыск поступила телеграмма: «Бандит Кузнецов, по прозвищу Кошельков, арестован. Будет днями конвоирован Москву Вяземской ЧК. Точка. При задержании преступника Савельев ранен. Точка. Находится излечении больнице. Точка. Горев. Точка».

Мартынов огласил телеграмму на оперативке. Казалось, с Кошельковым покончено, но радость была преждевременной... Позднее я узнал все подробности вяземской истории.

Оперативная группа, прибыв в Вязьму, первое время никак не могла напасть на след Кошелькова. Бандит словно сквозь землю провалился. Горев даже высказывал предположение, что Кошельков в Москве, а его записка предназначалась только для отвода глаз. Наконец Савельеву удалось восстановить старые агентурные связи, и он узнал, что Кошельков действительно в Вязьме. Через некоторое время выяснилось даже, с кем он встречался. Это была бывшая «хитровская принцесса» Натка Сибирячка, старая знакомая Савельева, которая покинула Хитровку в 1915 году. По сведениям, полученным Савельевым, Кошельков должен был быть у Натки вечером в субботу. К его встрече подготовились,

но он не пришел. Не появился он и на следующий день, и в понедельник. Создалось впечатление, что бандит или почувствовал что-то неладное, или уехал из Вязьмы. Решено было арестовать Натку. Но это ничего не дало.

— Только и знаете, что людей понапрасну тревожить! Вам бы только и сажать безвинных! — кричала Натка истощенным голосом, когда ее вели по улицам.— До революции душу выматывали, теперь мотаете! Бога на вас нет, легаши проклятые!

На допросе Натка все начисто отрицала. Кошелькова она, дескать, действительно знает, но никаких отношений с ним не поддерживала и не поддерживает. И чего ей только жить не дают спокойно! Кому она мешает? Что от нее, несчастной, хотят? Она такого беззакония не потерпит и будет писать жалобу самому Дзержинскому.

Пришлось Натку выпустить. А на следующий день был убит купец Бондарев и его приживалка Кислюкова. В квартире ничего тронут не было. Только на кухне, под мусорным ведром, сорвано две половицы, под которыми зиял провал, там находился тайник, до него-то и добирались убийцы.

— Работа Кошелькова, его почерк,— заключил Савельев, тотчас приехавший на место происшествия.— Для того и Вязьму навестил, а наводчицей была Натка.

Действительно, дальнейшее расследование показало, что Натка часто бывала у Кислюковой, засиживаясь допоздна, гадала ей на картах. При вторичном обыске у нее обнаружили несколько золотых вещей, которые опознала дальняя родственница Бондарева, жившая во дворе во флигеле. Она же описала мужчину, который на рассвете выходил из дома Бондарева с узелком в руках. Приметы неизвестного полностью совпадали с приметами Кошелькова.

Под тяжестью улик Натка во всем призналась. Узнав от Кислюковой, что старик хранит золото, она хотела «дать это дело» своему дружку Беспалому, но того как раз арестовали. Тогда она послала «ксиву» Кошелькову, который вскоре и приехал в Вязьму. Разрабатывая план ограбления, Кошельков бывал у нее ежедневно. Но потом он сказал, что за ним из Москвы прихрюли легае: «Думают взять у тебя, только меня один корешок упредил. Не дамся». После этого разговора Кошелькова она больше не видела, а золотые вещи, долю в деле, ей передал барыга по кличке Шелудивый.

К тому времени Горев установил круглосуточное наблюдение за вокзалом. Сделано это было просто на всякий случай, потому что каждому было ясно, что Кошельков туда не сунется, по крайней мере в ближайшие дни.

И вдруг совершенно неожиданно Савельев наткнулся на бан-

дита в трактире Кухмистрова, который был расположен на центральной улице города. Кошельков спокойно сидел за столиком и о чем-то разговаривал с опилочником Ахмедом.

Увидев Савельева, он дважды выстрелил.

Одна пуля оцарапала Савельеву плечо, вторая застряла в левом легком. Савельев упал, а Кошельков, выбив плечом оконную раму, выскочил на улицу. Он бы наверняка ушел, если бы не наткнулся на группу красноармейцев, которые как раз проходили мимо трактира и обратили внимание на выстрелы. На него навалились, обезоружили, скрутили руки и доставили в ЧК.

Через два дня Кошелькова в сопровождении Арцыгова (Горев остался возле раненого) и конвоя Вяземской ЧК отправили в Москву. Два молоденьких красноармейца, опасаясь побега, не спускали с него глаз. Но Кошельков вел себя настолько спокойно, что решили даже развязать ему руки. В Москву прибыли без всяких происшествий. На перроне к Арцыгову подошла молодая женщина, закутанная в серый платок, и попросила разрешения передать заключенному буханку хлеба: «В тюрьме-то небось не сладко!»

— Ну что ж, давай, коли такая сердобольная,— согласился Арцыгов.— Дорога в рай длинная, на сытый желудок сподручней добираться.

Но Кошельков в рай не собирался...

В переданной буханке находился браунинг.

Один из красноармейцев был убит наповал, а другой умер, не приходя в сознание. Арцыгова Кошельков сбил с ног ударом в подбородок.

Так закончилась вяземская операция, за которую Арцыгов две недели находился под арестом, а Мартынов получил выговор в приказе.

Арцыгов, отсидев положенное, ходил мрачнее тучи. Он и раньше не отличался осторожностью и зачастую во время операций шел на ненужный риск, а теперь с ним просто творилось что-то невообразимое. При разоружении шайки фальшивомонетчиков в Марьиной роще его спасла чистая случайность. Ребята под тем или иным предлогом старались избежать участия в тех операциях, которыми он руководил: и себя и других угробит. Дело дошло до того, что Мартынов как-то ему сказал:

— Ты эти штуки брось, аника-воин. Это не храбрость, а дурость. Железного креста не заработаешь, а деревянный запросто. Официально предупреждаю: не прекратишь своих фокусов — с работы к чертовой матери выгоню.

Арцыгов огрызнулся, но это предупреждение на него, кажется, подействовало.

Мне его было жаль, хотя я и не питал к нему особых симпатий.



В конце концов, от подобных случайностей никто не гарантирован. Такое могло случиться и с Виктором, и с Сеней Булаевым, и с Горевым.

Виктор опять пропадал на Хитровке, и теперь мы с Арцыговым часто играли в шахматы.

— Да плюнь ты на эту историю! — сказал я ему в один из таких вечеров.

Арцыгов поднял глаза от шахматной доски, посмотрел на меня, словно увидел впервые, прищурился.

— Жалеешь?

— Чего мне тебя жалеть...

Арцыгов зло усмехнулся.

— Жалеешь, — утвердительно сказал он. — Все вы жалостливые: и ты, и Сухоруков, и эта гнида Горев. А во мне так жалости не осталось, всю жалость жизнь каленым железом выжгла. Начисто. Видал? — Он показал два искривленных пальца на левой руке. — Память об исправительном рукавишниковском приюте. Пацаном был, когда меня там исправляли. Исправили. Ленька только мне малость пальцы изувечил. Шустрый паренек, веселый... Все забавлялся с нами, с мелкотой... Жратву отбирал. Сам шамал, а у нас отбирал, смеялся: хочешь шамать — давай сыграем. Очень веселую игру выдумал. Насыпет кашу горкой на полу. Мы — в круг, а он посредине, с палкой. «Кто ловкий? — кричит. — Кто жрать хочет? Налетай!» Боязно, а в брюхе бурчит с голодухи. Протянешь руку, а он по пальцам палкой. Когда горсть каши ухватишь, а когда благим матом взревешь. Только я ловкий был, не мог Ленька меня палкой достать. Очень обидно ему было: кашу я сожру, а удовольствия ему никакого. Вот разок и сжульничал: свои же правила нарушил: вместо палки каблуком мне на пальцы наступил...

Лежал я тогда ночью в постельке под казенным одеялом и все Леньке казнь придумывал пострашней... Мечтал я большим человеком стать: купцом или губернатором, чтобы много денег иметь и все что ни на есть продовольствие в Российской империи скупить. Пришел бы ко мне тогда Ленька, а я ему — кукиш. Хочешь жрать — клади на стол руку. За каждый кусок по пальцу. Плачет он слезами горячими, а я сижу себе в кресле сафьяновом, да золотой цепочкой играю, да на часы золотые с репетиром гляжу, а кругом золото так и сверкает, — Арцыгов коротко хохотнул. Губы его подергивались. — Глупым пацаном, без соображения был. Малолеток, одним словом. А Леньку долго помнил...

Арцыгов замолчал, задумался. Молчал и я. Что я мог сказать этому человеку, жизнь которого совершенно не была похожа на мою?

— Вот так, гимназист. Нет во мне жалости. Я вроде полу-

шубка, от крови и слез задубевшего. Меня не жалели, и я жалеть не научился. Ну как, сыграем?

— Что-то не хочется.

— Как знаешь,— равнодушно сказал Арцыгов, сгребая шахматные фигуры. Он как-то погас, обмяк.— Как знаешь. А Кошельков, что ж, мы еще с ним встретимся.

Но с Кошельковым в первую очередь пришлось встретиться мне.

## XXII

Очередное занятие по политграмоте не состоялось. Вечер был свободен, и я отправился домой. Груздь дежурил по розыску, а Виктор был на Хитровке, поэтому гостей я не ждал. Но гость все-таки появился — это был Тузик.

— Здорово, Сашка! — крикнул он, влетая в комнату.— А где Груздь?

— Дежурит.

— А-а.

На лице Тузика мелькнуло разочарование, и меня это кольнуло: я ревновал его к Груздю. Ревновал сильно, как потом никогда не ревновал ни одну девушку.

— Ничего, проживешь один вечер и без Груздя. Книжку прочел?

— Прочел.

Тузик положил на стол томик Андерсена. Щедро растапливая отцовской библиотекой буржуйку, я все-таки почему-то пощадил книги детства. На нижней полке шкафа, как солдаты в строю, по-прежнему стояли зачитанные томики братьев Grimm и Андерсена, Фенимора Купера и Майна Рида. Ими-то я и снабжал Тузика, продолжая просветительскую деятельность Груздя.

— Понравилась?

— Не особенно,— зевнул Тузик.— Если рассуждать диалектически, то ерунда на постном масле... Чего лыбишься? Точно тебе говорю: ерунда. Опять же, вот эта «Принцесса на горошине». Будь она трижды принцесса — все равно бы дрыхла без задних ног. Меня не обштопаешь. Я-то знаю!

— Есть хочешь?

— Вот это арифметический плюс,— оживился Тузик.

«Арифметический плюс и арифметический минус», Тузик пересыпал свою речь излюбленными выражениями Груздя. Это меня раздражало, но я не показывал вида.

Я достал из шкафа аккуратно завернутые в холстину полбуханки настоящего ржаного хлеба и кусок сала. Все это бесценное богатство я выменял на Сухаревке на старый отцовский костюм. Тузик жадно набросился на еду, и мои трехдневные запасы были мгновенно уничтожены.

— Мировецкое сало,— сказал Тузик, облизывая пальцы.— Буржуйская шамовка. Здорово живешь!

— Вот и переходил бы ко мне. Чего на Хитровке болтаться?

— Не, нельзя.

— Почему?

— Убьют...

В его голосе была такая убежденность, что я вздрогнул. И тогда я впервые задумался: что я в конце концов знал о жизни этого мальчишки? Только то, что он сирота, живет на Хитровке у Севостьяновой, которая приютила его то ли из жалости, то ли из каких-то своих соображений, что... Нет, пожалуй, я больше ничего не знал. А знать нужно было, хотя бы для того, чтобы помочь ему выбраться с Хитровки, расстаться с уголовным миром. «Надо будет с Груздем и Виктором посоветоваться»,— подумал я и спросил:

— Кто же тебя убьет?

— Паханы убьют.

— Какие паханы?

— Всякие,— неопределенно ответил Тузик.— Анна Кузьминична и так говорит, что я проданся.

— Чудак, ты же с нами все время будешь. Они и подойти к тебе побоятся!

Тузик упрямо мотал головой. Я так и не смог больше ничего от него добиться.

Часов в девять вечера мы начали укладываться спать. Собственно говоря, было не девять, а семь, но с начала лета действовало новое постановление Совета Народных Комиссаров. В целях экономии осветительных материалов предлагалось перевести часовую стрелку на летнее время по всей России на два часа вперед. Путаницы после его издания было вначале много, но потом ничего, привыкли.

Уснул я сразу. Проснулся от того, что Тузик тряс меня за плечо.

— Саша! Саша!

— Что такое?

— Не слышишь, что ли? В дверь-то как стучат...

Я присел на кровати. Кто-то изо всех сил грохотал, видимо, ногами в парадную дверь. В передней шептались доктор и его супруга.

— Что происходит? — крикнул я.

— Л-ломится кто-то,— заикаясь, ответил доктор.

— Кто?

— Понятия не имею.

— Почему же вы не спросите?

Я натянул брюки и пошел к дверям.

— Кто там?

— Из ЧК, открывайте!

По голосу я узнал председателя домового комитета инженера Глущенко. Путаюсь в многочисленных запорах, замках и цепочках, я начал отпираться.

— Живей, живей! — подгоняли меня из-за двери.

В переднюю вошли трое: Глущенко — в очках и форменной шинели внакидку, — перепоясанный ремнями бритый мужчина в кожанке и высокий, сутулый человек с очень густыми бровями.

— Кто такой? — резко спросил парень в куртке, кивнув в мою сторону.

Тон парня мне не понравился.

— А вы сами кто такой?

— Гражданин Белецкий у нас в уголовном розыске работает, — сказал доктор, дыша мне в затылок. — А вот ваши документики?!

Никогда не думал, что у него может быть такой ласковый и противный голос. Я обернулся и крикнул:

— Вас никто не спрашивает, гражданин Тушнов. Проходите, товарищи.

— Идем! — весело откликнулся бритоголовый и взял меня за плечо. — Понятым будешь.

Начался обыск.

Ночной визит меня не удивил. После того как Москва была объявлена на военном положении, обыски стали обычным делом. МЧК искала бывших офицеров, скрывающихся от регистрации, оружие, припрятанные спекулянтами запасы продовольствия, валюту.

Многие, у кого нечиста была совесть, вскакивали по ночам и чутко вслушивались в ночные шорохи: не подошел ли кто к дверям? не стучат ли?

Доктор Тушнов и его супруга не относились к людям, вызывающим симпатию. Тогда мы делили всех на пять точно разграниченных категорий: свои, сочувствующие, обыватели, враги, сочувствующие врагам.

Доктора я сразу же и безоговорочно отнес к последним. Встрепанный, суетливый, в засаленном халате, из-под которого болтались завязки кальсон, Тушнов, встречая меня на кухне или в коридоре, неизменно спрашивал: «Слыхали новость? Нет? Опять «товарищи» отличились!» — И, захлебываясь от истерического восторга, рассказывал очередную антисоветскую побасенку.

Каждый слух о кулацких выступлениях или успехах белых доставлял доктору какое-то болезненное удовольствие. В больнице он проводил не больше трех-четырех часов в день, а остальное время бессмысленно бродил по квартире или чистил на кухне кастрюли, мясорубки, салатницы, серебряные бокалы и прочий инвентарь, которым давно никто не пользовался.

Мадам же Тушнова целыми днями лежала на тахте с романом Дюма в руках или что-то на что-то обменивала на Сухаревке, которая стала центром притяжения всех спекулянтов города.

Но, несмотря на мою неприязнь к соседям, мне все-таки очень неприятно было присутствовать при обыске. В самом слове «обыск» было что-то постыдное, в равной степени унижающее обыскиваемых и тех, кто обыскивал. За годы службы мне приходилось принимать участие в десятках, а может быть, и в сотнях обысков. Но всегда я испытывал все то же чувство неловкости.

Во время обыска доктор, сгорбившись, сидел на стуле и молчал, а его супруга беспрестанно всхлипывала и, театрально всплескивая пухлыми руками, спрашивала, ни к кому в отдельности не обращаясь: «Что же это такое, а? Что же это такое, а?»

Она вызывала жалость и какое-то гадливое чувство.

После обыска, который длился около часа, чекисты составили опись изъятых ценностей, а их, к моему удивлению, оказалось немало, и старший, обращаясь к Тушнову, сказал:

— Вы, доктор, особо не волнуйтесь. Думаю, все это по недоразумению и вам золотишко возвратят. Так что зайдите ко мне послезавтра в МЧК. К тому времени выяснится.

Доктор восторженно вскрикнул.

— Спасибо, товарищ дорогой, спасибо. А не скажете номер вашего кабинета?

— Тридцать седьмой.

— Весьма благодарен, весьма,— забормотал доктор, запахивая халат.

Председатель домкома подписал протокол обыска и, зябко ежась, спросил у Тушнова:

— У вас случайно нет аспирина, Борис Семенович?

— Откуда же ему быть, милейший? — сказал доктор и даже протянул для чего-то руку ладонью вперед, как нищий на паперти.— Откуда?

Я знал, что Тушнов врет, что еще вчера он откуда-то принес несколько пакетов аспирина, который мадам Тушнова будет обменивать на Сухаревке, но уличить его во лжи не хотелось: в этой ситуации Глущенко обращаться с просьбой к доктору не следовало. Он, видимо, и сам это понял: извинился за беспокойство и ушел домой.

Чекисты прошли ко мне в комнату.

— Еще в одну квартиру надо успеть,— сказал бритый.— Ну, покурим перед дорогой, что ли? Э-э! Зажигалку забыл! — похлопал он себя по карману.— Дурная голова!

Я достал из ящика письменного стола зажигалку-пистолет. Виктор сделал мне точную копию своей.

— Хороша вещь! — тоном знатока сказал бровастый. — Сам сделал?

— Приятель.

— Ювелир?

— Нет. Наш сотрудник. Сухоруков.

— Виктор, что ли?

— Да. А вы его знаете?

— Как же. Только не знал, что он мастер на такие штуки.

Надо будет, Сережа, попросить, чтобы он нам тоже такие сделал. Ни Хитровке он еще долго собирается сидеть?

— Не знаю.

— Зря только время тратит. Кошелев не дурак, к Аннушке не пойдет теперь...

Оказывается, чекисты были в курсе всех наших дел. Меня это расположило к бровастому, и я неожиданно для себя предложил:

— Зажигалку возьмите, мне Виктор другую сделает.

— Спасибо, — сразу же согласился бровастый. — Только баш на баш: ты мне зажигалку презентуешь, а я тебе перстенок.

— Что вы!

— Нет, нет, не отказывайся, обидишь, — и, сразу же переменив тему, спросил: — Как Савельев, помер?

— Нет, жив. Врачи говорят, поправится.

Бровастый засмеялся.

— Живучий мужик! Собаку в своем деле съел, а здесь все-таки промашку дал. Упустил Кошелева, а?

— Не он упустил, Арцыгов.

— Вот как? Ну теперь долго искать будете...

— Ничего, отыщем и возьмем.

— Вот это молодец, — засмеялся бровастый. — С такими ребятами Медведев не то что Кошелева, а Сашку Семинариста с того света возьмет!

Поговорив еще о Кошелеве, чекисты распрощались и ушли. И тут только я вспомнил о Тузике. Во время обыска я его не видел. Ушел, что ли? У Тузика была привычка уходить, не попрощавшись, неожиданно. Но было уже слишком поздно. Куда его понесло?

За книжным шкафом что-то зашевелилось, и показалась взлохмаченная голова Тузика.

— Ушли?

— Да. А ты чего там делаешь?

Тузик молчал. Лицо его было бледным.

— Испугался? — допытывался я. — Это же чекисты были, к Тушновым с обыском приходили.

Тузик вылез из-за шкафа, поежился и, все еще дрожа, сказал:

— Это Кошельков был... и Сережка Барин...

Серебряный перстень упал и покатился по полу.

Бежать, немедленно бежать следом! Но куда? Почему я не спросил документы? Из неприязни к доктору. А каждый человек, который мог причинить зло моему соседу, вызывал во мне симпатию.

Вспоминая сейчас об этом случае, я думаю, что, пожалуй, самым трудным для меня было научиться отделять работу от симпатий и антипатий.

Уже много лет спустя я чуть не упустил матерого бандита из-за того, что женщина, сообщившая о его местопребывании, вызвала во мне чувство острой неприязни. И, наоборот, был случай, когда, безоговорочно поверив молодому, обаятельному парню, заинтересованному в том, чтобы направить моих работников по ложному следу, я арестовал невинного человека, и только суд вернул ему доброе имя.

Конечно, с годами становишься опытнее. Учишься ловить фальшивые нотки в показаниях, чувствовать искренность и неискренность тона. Но старая поговорка «тон создает музыку» к нашей работе неприменима. Музыку в розыске создают только факты.

### XXIII

Вспоминая сейчас о своем знакомстве с Кошельковым, я улыбаюсь, но в те дни мне было не до смеха.

Тушнов не давал мне покоя.

— Извините, Александр Семенович,— говорил он, останавливая меня в коридоре,— но я был в МЧК и не нашел вашего приятеля. Если вас не затруднит, наведите, пожалуйста, справки. Мне сказали, что ордер на обыск моей квартиры вообще не выдавался... Неразбериха какая-то!

Что я ему мог ответить? Что то были не чекисты, а бандиты и я им помогал грабить?

Докладывая о происшедшем Мартынову, я ожидал всего: выговора, отчисления из уголовного розыска. Но Мефодий Николаевич выслушал меня молча.

— Что стоишь? — спросил он, когда я закончил свою исповедь.

— Но...

— Что «но»? Хвалить не за что, а ругать не к чему. От ругани дураки не умнеют. Это уж от бога.

Пожалуй, никто бы не смог больней ударить по моему самолюбию. Из кабинета Мартынова я выскочил в таком состоянии, как будто меня высекли на самой многолюдной улице. А ведь

Мартынов наверняка расскажет обо всем Медведеву. Как я ему буду смотреть в глаза?

Я мечтал о новой встрече с Кошельковым и Сережкой Баринном, строил фантастические планы того, как я их задержу и доставлю в уголовный розыск. А пока я с ужасом думал о предстоящей беседе с Александром Максимовичем. К счастью, последние дни его в розыске почти не было: он все время находился в МЧК. Но всему приходит конец...

После ранения Савельев в вяземской больнице пролежал недолго, недели через две его перевезли в Москву. Медведев, высоко ценивший старого, опытного работника, довольно часто навещал его и однажды он взял с собой меня... «Вот оно, от судьбы не уйдешь».

При уголовном розыске в то время была только одна машина, старенький «даймлер». Сколько ему было лет, никто не знал. Сеня Булаев вполне серьезно утверждал, что наш старик был создан богом вместе с Адамом и Евой. Именно на этой машине Адам круглосуточно катал Еву по раю. Но Еве надоела тряская езда, и яблоко она съела не из любопытства, а чтобы избавиться от «даймлера». Первая женщина по своей наивности рассчитывала, что всевышний в наказание заберет автомобиль, но оставит их в раю. А он поступил как раз наоборот: отправил их вместе с автомобилем на землю, а на прощанье сказал: «Зарабатывайте отныне хлеб свой в поте лица своего, а по земной поверхности передвигайтесь только на этой керосинке».

— Бог не дурак, он знал, что к чему,— обычно заключал Сеня свое повествование.

Сенина трактовка происхождения нашего «даймлера» пользовалась успехом. И даже Медведев, интересуясь машиной, теперь говорил:

— Как адамовская керосинка? Скоро из ремонта выйдет?

С «даймлером» случались всегда самые необычайные происшествия: то внезапно отказывали тормоза, и машина на полном ходу врезалась в каменную тумбу, то что-то нарушалось в системе управления, и «даймлер» начинал делать заячьи петли, то шофер, к своему ужасу, вдруг замечал, что одно из колес почему-то мчится впереди машины.

Если ко всему этому добавить, что бензин отсутствовал и машина работала на дрянном керосине, то легко можно понять, почему сотрудники предпочитали извозчиков.

Но в тот день все дежурные лихачи были в разъезде, а своей лошади уголовный розыск не имел еще с мая, когда перед праздниками наш ленивый, добродушный мерин Пашка по указанию Медведева был зарезан и пущен на колбасу. Эту колбасу как величайший деликатес наш управделами вручал каждому под



расписку, а семейным выдавалась двойная порция... До сих пор об этой колбасе у меня остались самые приятные воспоминания. Мне кажется, что никогда такой вкусной колбасы я потом не ел.

Медведев сел рядом с шофером, бывшим солдатом автомобильной роты Васей Кусковым, единственным человеком, который отзывался о «даймлере» с нежностью, а я, сжимая в руках бутылку постного масла для раненого, устроился на заднем сиденье. Рассказал Мартынов Медведеву о визите Кошелькова или нет? По лицу Александра Максимовича трудно было что-либо определить.

После нескольких неудачных попыток «даймлер» затрясся, захихал, и мы, окутавшись густым облаком бледно-голубого дыма, стремительно сорвались с места. «Даймлер» проделывал чудеса акробатики: скакал на колдобинах, подпрыгивал, словно хотел оторваться от брэнной земли. Опасаясь разбить бутылку, я основательно ободрал себе локти и колени. Но, когда выехали на Тверскую, «даймлер» немного присмирел.

Стояла золотая осень. На мостовой желтели опавшие листья. Но листьев еще много и на деревьях. Кое-где белели одинокие каменные тумбы. Не так давно они были густо заклеены объявлениями биржи труда, обязательными постановлениями Комиссариата продовольствия, информацией о завозе продуктов в Москву, оповещениями Сибирского торгового дома Михайлова о холодильниках для сбережения меховых вещей от моли... А теперь на них ни одного клочка бумаги. С бумагой в республике плохо. Навстречу нам попала группа хорошо одетых людей, которых конвоировали два красноармейца. Один из красноармейцев махнул нам рукой. Много таких групп встречал я в тот месяц в Москве. Заложники... То были первые дни красного террора.

Убийство Володарского, Урицкого, покушение на Владимира Ильича... Враги пытались обезглавить революцию, потопить ее в крови, запугать террором. Но просчитались...

1 сентября «Известия» опубликовали обращение бойцов 1-го московского продовольственного отряда: «Создадим твердое кольцо для охраны наших представителей и подавления контрреволюционных восстаний. Требуем от Совета Народных Комиссаров решительных мер по отношению к контрреволюционерам».

По заводам и фабрикам прокатилась волна митингов. «Хватит нянчиться с контрреволюцией! — требовали ораторы. — Ответить на белый террор красным террором!»

Газеты жирным шрифтом печатали решения ВЦИК: «Предписывается всем Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников...»

У нас ВЧК арестовала Горева и заведующего питомником служебных собак Корпса, но через несколько дней по настоянию Медведева выпустила...

Мы подъехали к маленькому двухэтажному домику, верхний этаж которого снимала семья Савельева. «Даймлер» забренчал и остановился.

Встретила нас жена Савельева, Софья Михайловна, хлопотливая, многословная.

— Милости просим, милости просим,— приговаривала она, пропуская нас вперед.— Федор Алексеевич будут очень рады.

О своем супруге она всегда говорила в третьем лице, обращаясь к нему только по имени-отчеству и на «вы».

Я передал ей бутылку с маслом, и она рассыпалась в благодарностях:

— Благослови вас бог! Профессор сказал: жиры, жиры и жиры. А где их взять в наше время? И хлеба-то не хватает. Забыли вкус пшеничного. Сын спрашивает: а что такое пшеничный хлеб?

— Ничего не поделаешь. У всех так,— сказал Медведев.

— Я знаю, но легче от этого не становится. Вы не подумайте, я не жалуюсь,— вдруг почему-то испугалась она.— Но понимаете, дети и вот Федор Алексеевич болеют...

— Что врачи говорят?

— Ну что говорят? Слабые они очень, им бы на пенсию...

— С пенсией подождет. На пенсию мы уже с ним на пару пойдем. Этак лет через тридцать...

— Вы все шутите, Александр Максимыч. Ишь вы какой богатырь, Илья Муромец да и только, а Федор Алексеевич слабенький, болезненный, в чем лишь душа держится...

Пройдя через гостиную, увешанную многочисленными пожелтевшими фотографиями, среди которых почетное место занимал фотопортрет хозяина дома в полицейском мундире при погонах и орденах, мы вошли в маленькую комнатку. Мебели здесь почти не было: трельяж с мутными от времени зеркалами и кровать. На столике, придвинутом к кровати,— застекленные коробки с бабочками, склянки с лекарствами и исписанные листы бумаги — монография, над которой Савельев трудился несколько лет.

Воздух в комнате был тяжелый, спертый.

Савельев, подпираемый со всех сторон подушками и подушечками, полусидел в постели и что-то объяснял сыну, девятилетнему мальчику с такими же ласковыми, как у матери, глазами.

— Окно бы открыли,— сказал Медведев.— Дышать нечем.

— Да я ей говорил,— безнадежно махнул рукой Савельев.— Сквозняка боится.

Он похлопал сына по руке.

— Иди к мамаше, Николай.

Мальчик неохотно поднялся.

Савельев сипло вздохнул, закашлялся. В комнату неслышно проскользнула Софья Михайловна, наклонилась над ним.

— Федор Алексеевич, вы бы водички испили...

— Какая там вода!.. Вода, вода,— сказал он, отдышавшись.— Только и знает, что водой поит, а водки не дает. Горев у меня сейчас. Медицинский спирт раздобыл где-то. Дай, говорю, хоть на донышке. Не дает...

— А где Горев? — спросил Медведев.

— Во дворе Петр Петрович. Не забывает. Честный человек. Зря его ВЧК арестовала...

— Арестовали — выпустили. А одной честности в наше время мало. Честный... И Деникин честный, и Корнилов был честным.

— Охо-хо,— вздохнул Савельев,— кровавое время.

— Крови хватает,— согласился Медведев.— И ручейками, и речками течет...

В комнату заглянула Софья Михайловна.

— Фельдшер пришел перевязку делать...

Мы вышли в гостиную. Медведев держался со мной так, будто ему ничего не известно. А может, действительно Мартынов ему ничего не говорил? Ведь Мартынов не любит выносить сор из избы...

## XXIV

Мы уже около часа провели у Савельева, когда вошел Горев. Никогда не думал, что человек может так сильно измениться за короткий срок. Темные мешки под воспаленными глазами, подергивающиеся углы рта, неряшливые клочья давно не подстригавшейся бороды, грязный воротничок белой сорочки...

Может, его так сломил арест?

Держался Горев тоже не так, как раньше. Не было прежней надменности, он почти не иронизировал и вообще был какой-то усталый, затравленный. К разговору он не прислушивался и смотрел на собеседников отсутствующими глазами. Заговорил только один раз, вне связи с общей беседой.

— Моего старого друга на днях взяли. Сын его тоже офицер, в военном комиссариате. Спрашиваю: «Что собираешься предпринять?» — «Ничего,— отвечает.— Получил, к чему стремился».

Наступило неловкое молчание. Медведев, как мне показалось, с любопытством в упор смотрел на Горева.

— Возмущаетесь?

— Да-с.

— Может быть, и зря. Революция ведь она родственных уз

не признает. Порой превращает во врагов и отца с сыном, и дочь и мать.

— Чтобы так поступать, надо слишком верить в свою правоту.

— Иначе и нельзя. Боец должен верить в то, за что сражается.

— А если он все-таки не верит?

Медведев приподнял свои массивные, квадратные плечи.

— Какой же он к черту боец, если не верит? Такой превратится во врага или сбежит с поля боя. Сейчас идет война за Россию. Если с нами, то верить нам, если с ними, то верить им.

— Но ведь есть люди, которые не могут решить, к кому присоединиться.

— Есть. Но выбор им сделать придется. И не завтра, а сегодня. Кто этого не сделает, окажется в положении зерна между двумя жерновами. Раздавят...

— Может, чаю попьем? — вмешался Савельев, которого тяготил этот разговор. — У Софьи Михайловны сохранилась пачка настоящего китайского...

Ни Медведев, ни Горев больше не вернулись к этой теме. За чаем говорили о здоровье Ленина, положении на фронте, потом, как обычно, разговор перекинулся на служебные дела.

— Спекулянты заели, — говорил Медведев. — Просто в блокаду Москву взяли.

Действительно, каждую неделю на Сухаревке проводились облавы, сопровождавшиеся истошными бабьими криками и визгом. Но рынок существовал по-прежнему, шумный, гомонящий, бесстыжий. У розовой Сухаревской башни вздымался к небу дым от тысяч самокруток, толкалась неугомонная разношерстная толпа — купеческие поддевки, картузы, мундиры со споротыми погонами, котелки, солдатские шинели, армяки, лапти.

По карточкам давали только четверть фунта серого, наполовину с опилками хлеба, а на Сухаревке легко можно было выменять белую как снег муку, толстые розовые ломти сала, свежее сливочное масло.

— Надо бы на Сухаревке специальную группу создать, — сказал Савельев, отхлебывая чай из блюдца. — Что облавы? Пропололи, а они, как бурьян, вновь лезут. Может, пока туда из особой группы людей перебросить?

— Нет, ослаблять борьбу с бандитизмом нельзя. На Малой Дмитровке опять вооруженный налет. Мартынов совсем извелся.

Савельев расстегнул на груди нижнюю рубашку, обнажив толстый слой бинтов.

— Кстати, как мой старый знакомый Кошельков поживает? Я обжегся чаем.

— Неплохо поживает, — прищурился Медведев, — за наше здоровье молятся.

— Обидно, у меня ведь с ним личные счеты...

— Не только у вас, Федор Алексеевич. Еще кое у кого...

Мне показалось, что Медведев искоса посмотрел на меня. Неужто знает?

На прощанье Савельев предложил посмотреть коллекции бабочек. Это было соблазнительно, но Медведев отказался, поэтому отказался и я.

Провожала нас Софья Михайловна.

— А вы, Петр Петрович, не пойдете? — обернулся Медведев к Гореву.

— Как прикажете.

— Здесь приказываю не я, а Федор Алексеевич.

— Тогда я еще немного останусь.

— Что же, пожелаю вам всего доброго. А над моими словами подумайте. Только времени для раздумий маловато...

Автомашину окружили десяток замурзанных ребятишек. Кускова нигде поблизости не было.

— Где шофер?

— Там, видите, ноги торчат? — бойко ответила смуглая девочка с толстой косой.

Действительно, из-под машины виднелись ноги в обмотках.

— Опять мотор барахлит?

— Так точно! — жизнерадостно донеслось из-под машины.

— Починишь — прокати немного ребятишек. А мы пешком пойдем.

Медведев шел по улице крупным быстрым шагом, я еле поспевал за ним.

На город опускались сумерки. Ветер доносил лесной запах прелых листьев.

— Грибов-то сейчас в лесу — страсть! — вздохнул Медведев, раздувая ноздри. — Самое время... — И неожиданно спросил: — Ну, что не поделишься своими впечатлениями от визита Кошелькова?

Меня обдало жаром.

— Александр Максимович, я все сделаю, чтобы искупить кровью свою вину!

Медведев усмехнулся.

— Зачем же кровью? Будем надеяться, что обойдется без крови.

— Да я...

— Ну, ну, хватит, — сказал он, положив мне руку на плечо. — Я тебе верю. Надеюсь, что не ошибся.

Когда мы подходили к Трубной, Медведев задумчиво сказал:

— Все думаю о Гореве. Жаль его, в трех соснах заплутался...

Виктор критически меня осмотрел и сказал:

— Ничего, ничего.

В этот вечер мы с ним отправлялись на свидание. Собственно говоря, свидание Нюсе назначил Сеня Булаев, но его срочно вызвали по какому-то делу в МЧК, и он попросил нас сказать об этом Нюсе, с которой должен был встретиться на Дворцовой площади.

На улице было холодно, как часто бывает в первые дни зимы. Снег еще не появился, и все было черным: дома, заборы, деревья. Лишь на месте недавних луж поблескивали голубоватые проледи. Воздух морозный, пьянящий. Хотелось смеяться, дурачиться.

Когда мы подошли к площади, Нюси еще не было.

— Может, не придет?

— Чудак,— снисходительно сказал Виктор.— Когда ты видел, чтобы девушки приходили на свидание вовремя? Они рассуждают так: приходить вовремя — значит себя не уважать. Понял? Нездаром в романах пишут: «Ноги его стыли, а сердце пламенело...»

Ноги у меня действительно стыли, и весьма основательно. Я начал выбивать чечетку.

— Давай, давай! — поощрял Виктор.— Что, как кляча, ногами перебираешь? Огонька не вижу, давай огонек!

— Ай да молодец!

Я обернулся: Нюся. Закутанная в платок, она казалась еще меньше ростом, чем обычно.

— Здравствуйте, ребята, а где Сеня?

Виктор лихо щелкнул каблуками:

— Семен Иванович изволили передать, что в связи с избытком дел не имеет возможности осчастливить вас своим появлением.— И уже серьезно добавил: — Сеньку вызвали...

— Ну вот, опять работа,— недовольно надула губы Нюся.— А мы с ним в синемаграф собирались... Я еще у мамы отпрашивалась...

Не знаю, что Нюсю больше расстроило, отсутствие Сени или то, что она сегодня не попадет в синемаграф, но в глазах ее была глубокая скорбь.

Видимо, Виктору ее стало жалко.

— Знаешь что,— сказал он,— а если мы сейчас втроем в «электричку» пойдем? Хочешь?

— А Сеня не обидится?

— Чего ему обижаться? — горячо, даже слишком горячо сказал я.— Ведь мы его друзья!

Мне этот аргумент тогда показался убедительным, более того, я, кажется, всерьез верил, что развлечь Нюсю наш дружеский

долг. Вообще так получилось, что мы отправились в электротئاتр только ради Сени. А когда билетов в кассе не оказалось, Виктор уже как само собой разумеющееся предложил посидеть немного в «Червонном валете», небольшом литературном кафе. Таких кафе в 1918—1919 годах в Москве было много — «Бом», «Кафе футуристов», «Кафе имажинистов», «Сопатка» (кафе СОПО — Союза поэтов), «Стойло Пегаса». Каждое из них старалось щегольнуть своей эксцентричностью. В одном — оранжевые стены, украшенные непонятными изображениями, и выписанные аршинными буквами стихи Бурлюка: «Мне нравится беременный мужчина». В другом — полотнище со стихотворением Есенина: «Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган».

Здесь читали стихи, спорили, курили, пили желудевый кофе с сахарином, устраивали различные диспуты. Публика в «Червонном валете» была самая разнообразная: окололитературная молодежь, непризнанные «великие» художники, бывшие присяжные поверенные, артисты, участники различных литературных кружков, кокаиинисты, искусствоведы, шулера, театральные критики, налетчики и зубные врачи.

Мы забились в дальний угол. Виктор и Нюся сели на диванчик, а я на стул.

За соседним столиком спорили об импрессионизме.

— Искусство благонамеренных, — недовольно говорил кто-то. — Дега, Сезанн, Мане, Ренуар — все это дешевые французские духи. Их назначение — заглушить ароматы разложения общества.

— Даже Редон? — ужасался юноша в пенсне.

— А что такое Редон? Ха, Редон! Пиявка на жирный затылок ваш Редон. Бездарность.

За другим столиком подслеповатый мужчина убеждал шепотом пышнотелую даму:

— Держитесь за доллары, единственная стоящая валюта. Только доллары, я вам желаю добра...

А чуть поодаль махал руками толстяк с багровым лицом:

— Нет и еще раз нет! Вы меня не убедите! Спиридонова — это символ революции, ее кровавое знамя!

Виктор подмигнул мне.

— И этот о крови разглагольствует. Из эсеров, что ли?

Нюся была Сениной девушкой, поэтому мы с Виктором старались как можно больше говорить о Сене. Если бы Сеня здесь незримо присутствовал, он бы поразился несметному числу своих добродетелей, о которых мы сообщали, перебивая друг друга. Он бы узнал, что Булаев — самый смелый и честный человек в уголовном розыске, что его уму и находчивости завидует сам Савельев, что лучшего товарища трудно себе представить, а его неиссякаемая веселость вдохновляет нас на подвиги...

Что греха таить, о подвигах упоминалось частенько, и прежде всего мной. Мне очень хотелось выглядеть в глазах Нюси если не героем, то, во всяком случае, незаурядной личностью, совсем не похожей на служащих Наркомата почт и телеграфов, которые только и знают, что марать бумагу. Но на первый план я выдвигал все-таки Сеню: дружба прежде всего. Однако чем больше мы говорили о Булаеве, тем скучнее становилась Нюся. Это было настолько явно, что у меня мелькнуло подозрение: не повторяем ли мы уже то, что ей неоднократно рассказывал о себе Сеня? Но я тотчас отогнал от себя эту недостойную мысль. Чтобы Сеня хвастал? Нет, ни в коем случае. «А почему бы и нет? — ехидно спрашивал внутренний голос. — Что он, лучше тебя, что ли? Тоже, наверно, не прочь похвастаться». Но вдруг Нюся улыбнулась, и глаза ее заблестели: за соседний столик присел худощавый молодой человек с длинным унылым носом.

— Саша Бакман, — объяснила Нюся, залившись краской. — Со мной работает. Так на скрипке играет, что даже Мациевский восхищается.

Кто такой Мациевский, мы не имели представления. Но зато мы теперь знали, что Нюсю не интересует смелость и находчивость Сени, что ее не покоришь нашими подвигами, а Саша с унылым носом, тот самый Саша, который в своей жизни не задержал даже самого мелкого карманника, ей намного интересней, чем сам Савельев. Что поделаешь, Нюся жила в том отдаленном от нас невидимой стеной мире, где звучала музыка Шопена, а людей ценили не за смелость и находчивость, а за какие-то другие неизвестные нам качества. Я немножко завидовал Саше, который никогда не увидит Хитровки, убитого Арцыговым Лесли, грязного дна жизни. И в то же время я его слегка за это презирал, как презирают слабого те, кто выполняет за него тяжелую и грязную работу, от которой зависит его благополучие, покой и сама жизнь.

Виктор понимающе на меня посмотрел и перевел взгляд на Нюсю.

— Пригласим его сюда.

— Зачем?

— Пусть посидит.

Саша оказался милым, добродушным парнем. Узнав, что мы из уголовного розыска, он сразу же проникся к нам уважением. Но его почтительность нам не льстила. Чего было перед ним рисоваться? После нескольких маловразумительных ответов на свои вопросы он, видимо почувствовав наше нежелание говорить о работе, начал рассказывать о музыкальном вечере, на котором недавно побывал. Он говорил и смущенно поглядывал на нас. Судя по всему, он не был уверен, что нам интересно. Но Виктор поощрительно кивал головой. Нам действительно было интересно. И,



может быть, именно тогда я впервые понял, почему Савельев увлекается энтомологией, а Виктор читает техническую литературу. Почти у каждого человека есть увлечения, обычно не связанные с его профессией, но чаще всего я их замечал у работников уголовного розыска. Я уверен, что это закономерно: человек, профессией которого является борьба со злом, который очищает своими руками гниль и слизь жизни, повседневно сталкиваясь с тем, что принято называть оборотной стороной медали, особенно тянется ко всему чистому и прекрасному, видя в нем обоснование своей деятельности — то, во имя чего он вынужден копаться в грязи. Пародисты любят подсмеиваться над тем, что в произведениях из жизни работников милиции герои обычно увлекаются театром и музыкой, живописью и скульптурой. А между тем это естественно, иначе их жизнь была бы слишком тяжелой. И не зря Конан Дойль снабдил Шерлока Холмса скрипкой...

Я хорошо помню вечер в «Червонном валете», наш жаркий спор о Шопене и Вагнере, Бахе и Чайковском. В тот вечер к моим многочисленным увлечениям прибавилось еще одно — музыка. Тогда, зимой 1919 года, я заинтересовался Листом, который впоследствии стал моим любимым композитором. И я до сих пор благодарен Нюсе и Саше, что они открыли мне новый солнечный мир — мир звуков.

Саше предстояло ночное дежурство, и мы провожали Нюсю домой вдвоем. И опять говорили о Сене, о том, как жаль, что он сейчас не с нами. Нюся молчала, она думала о чем-то своем, что, наверное, не имело никакого отношения ни к нам, ни к борьбе на внутреннем фронте, ни к нашему другу...

Махнув рукой в варежке, она исчезла в парадном, а мы еще долго стояли у дома, где жила девушка, которую не интересовали кражи и налеты, засады и перестрелки, которая не подозревала, что где-то сейчас готовится к очередному преступлению знаменитый бандит Яков Кошельков, тот самый Кошельков, на поимку которого через две недели будут брошены все силы уголовного розыска. Мы шли по пустынным улицам, в лицо нам бил снежной крупой холодный ветер, а с неба светили звезды.

## XXVI

Это произошло вечером ровно через две недели после посещения нами «Червонного валета». И это событие сразу же отодвинуло на десятый план и музыку, и Сенину неудачную любовь, и наши увлечения литературными диспутами...

В уголовном розыске по ночам всегда дежурила специальная группа — ответственный дежурный, инспектор, субинспектор, два агента и несколько красноармейцев из боевой дружины. Ответ-

ственным дежурным был в тот вечер Мартынов, но он не спал уже две ночи и поэтому, устроившись в прилегающей к дежурке комнате, наказал будить себя только в случае чрезвычайного происшествия. Заменял его Сухоруков, который числился инспектором. Помимо него дежурили я и Сеня Булаев.

На днях наш новый завхоз раздобыл грузовик великолепных сухих дров, и стоящая посредине комнаты буржуйка румянилась своими чугунными боками. Было не только тепло, но даже непривычно жарко. Сеня снял валенки и забрался на диван с ногами, а Виктор отстегнул ремни и стащил с себя гимнастерку.

— Вот так бы всю ночь без происшествий! — мечтательно сказал Сеня.

И не успел он договорить последних слов, как зазвонил телефон.

Виктор снял трубку.

— Ответственный дежурный по уголовному розыску инспектор Сухоруков слушает, — сказал он. — Что?.. Не слышу, громче!.. Да, да...

Я увидел, как обращенная ко мне щека Виктора побелела, и понял, что произошло что-то страшное.

Виктор повесил трубку на рычаг и встал.

— Ты что, Витя?

— Час назад бандиты напали на Ленина.

— Жив?

— Не знаю...

— Почему не спросил?

— Побоялся... — совсем по-детски признался Виктор.

Сеня подскочил к телефону, схватился за трубку.

— Барышня! — закричал он. — Соедините меня с дежурным по МЧК! Откуда я знаю, какой номер?! Да некогда мне смотреть... Посмотрите у себя! Соединяете? Давайте, жду! Паснов? Что с Владимиром Ильичем? Я не о том. Ранен? Нет? Ладно, будем ждать... Жив! — крикнул Сеня, оборачиваясь к нам. — Ни одной царапины!

Он расстегнул куртку и вытер рукавом покрывшееся испариной лицо.

Через несколько минут в дежурку уже входил Медведев.

— Ограбление совершила банда Кوشелькова, — сказал он, не раздеваясь. — Приметы полностью совпадают. Видимо, там еще были Сережка Барин и Ефимыч. Сухоруков!

Виктор вытянулся.

— Вот приметы машины. Немедленно сообщите о них по районам, а после этого отправляйтесь под арест: в таком виде дежурство не несут.

— Слушаюсь.

— То же относится и к вам, Булаев.

Медведев отдал несколько распоряжений и кивнул мне:

— Поехали!

Во дворе нас ждал лимузин. В него с трудом втиснулись Медведев, я и три красноармейца.

Вон как обернулась моя оплошность! Ведь если бы я тогда задержал Кошелькова, ничего бы не было. Ничего! А теперь... Страшно было подумать, что жизнь Ленина висела на волоске.

Ленин... Впервые я его увидел на первомайской демонстрации в 1918 году. Мы были вдвоем: Виктор, Груздь и я.

Холодное пасмурное утро. Стройные ряды латышских стрелков, отряд из бывших военнопленных. Обнажив головы, проходят красноармейцы мимо могил павших за революцию к Спасским воротам, а оттуда к Ходынке. Над Красной площадью — одинокий аэроплан, белыми птицами кружат сбрасываемые с него листовки. Рядом с трибуной — автомобиль турецкого посланника; посланник не потрудился выйти из автомашины. К чему?

Но вот на площадь широким потоком хлынули люди. Красные знамена, транспаранты, лозунги: «Даешь мировую!», «Да здравствует власть Советов!», «Мир хижинам — война дворцам!». Суровые, истощенные лица улыбаются. Отцы и матери высоко поднимают на руках детей.

«Ле-нин! Ле-нин!» — гремит над площадью. И кажется, что этот крик многотысячной толпы пугает турецкого посланника, он быстро, по-птичьи начинает вертеть шеей. И вот уже его глаза обращены туда же, куда устремлены тысячи глаз демонстрантов, — он смотрит, не отрываясь, на Ленина... «Да здравствует всемирная Советская республика! Смерть капиталистам!» Молодой звонкий голос уверенно запекает: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Песню подхватывают. И грозно несется, вздымаясь к небу, знакомая мелодия: «Мы наш, мы новый мир построим; кто был ничем, тот станет всем».

«А я думал, что Ильич ростом повыше», — говорит Виктор.

«Мал золотник, да дорог, — отзывается Груздь. — Видал, какой лобастый?! Голова! Милены книг там вместились. — И тут же с беспокойством добавил: — Зазря только он в пиджачке... Так и простыть немудрено!»

О том, что он видел Ленина, Груздь потом часто рассказывал Тузику. «Такой человечиче раз в тысячу лет рождается, никак не чаще, — говорил он. — Все насквозь видит: где революционная ситуация, а где империалисты хотят подгадить. Ильич — это Ильич, нам, пролетариату, без него никак нельзя. Понял?» — «Понял», — подтверждал Тузик. «То-то же! Накрепко запомни, что Ленин обо всех нас в общем и о тебе в частности, если рассуждать диалек-

тически, сердцем изболевся и на последний бой с мировой буржуазией пролетариат ведет. Вождь, одним словом!»

Я вспомнил, как после одного из таких разговоров Тузик попросил у меня книжку про Ленина, но у меня ее не оказалось. Не знаю, была ли тогда вообще такая книжка. А сегодня Ленин мог погибнуть от руки бандита, того самого бандита, которого упустил Александр Белецкий.

Я нащупал в кармане рукоятку браунинга. Да, Яков Кошельков, у нас с тобой личные счета. И если сейчас мы встретимся, то ты уже от меня не уйдешь.

## XXVII

Москва была разбита на десять участков, для каждого из них выделили патрульную машину. Часть машин принадлежала ВЧК, остальные были взяты в различных учреждениях.

Ехали мы почти вслепую: зима была снежная, выюжная. Ветер швырял в ветровое стекло пригоршни снега, фигуру человека можно было различить не дальше, чем за пять метров. Кругом только сугробы снега. На Петровке мы влетели в какую-то яму. Пришлось выйти из машины и вытаскивать ее. Один из красноармейцев рассек при толчке бровь. Ругаясь, он приложил ко лбу пригоршню снега, который сразу же стал розовым.

У гостиницы «Националь», первого дома Советов, нас остановил милицкий патруль.

— Какие-нибудь новые сведения поступали?

— Никак нет, товарищ начальник.

Мне очень хотелось расспросить Александра Максимовича о подробностях нападения на Ленина. Но Медведев молчал, а я не решался заговорить первый. Только намного позднее я узнал, как все произошло.

Владимир Ильич вместе со своей сестрой Марией Ильиничной поехал в одну из лесных школ в Сокольниках, где находилась Надежда Константиновна Крупская. Их сопровождал только один охранник, Чебанов. За рулем сидел любимец Ленина Степан Казимирович Гиль. Недалеко от Каланчевской площади их окликнули. Не обращая внимания, Гиль продолжал ехать. Но когда стали подъезжать к Калининскому заводу, на середину дороги выскочило несколько человек с револьверами в руках.

— Стой!

Гиль не снижал скорости.

— Стой, стрелять будем!

Ленин, решив, что это милицкий патруль, наклонился к Гилю.

— Остановитесь, Степан Казимирович.

Гиль затормозил. В ту же секунду неизвестные плотным кольцом окружили машину.

Ленин приоткрыл дверцу, спокойно спросил:

— В чем дело, товарищи? Вот пропуск.

— Молчать! — резко крикнул высокий и сутулый, с маузером в руке, и, держа дуло оружия на уровне груди Ленина, распорядился:

— Обыскать!

— Какое право вы имеете обыскивать? — возмутилась Мария Ильинична. — Предъявите ваши мандаты!

— Уголовным мандатов не надо, у них на все права есть, — усмехнулся сутулый.

Сопротивляться уже было поздно. Теперь малейшая попытка к сопротивлению могла кончиться трагически — смертью Ильича.

Бандиты забрали документы и оружие, влезли в автомобиль. Кто-то из них передернул затвор винтовки.

— Брось, ни к чему...

Взревел мотор, и машина мгновенно исчезла в пелене снега.

Нападение произошло недалеко от здания районного Совдепа, откуда Ленин и позвонил в ВЧК Петерсу. Никто из бандитов не знал, что ограбленный — Председатель Совета Народных Комиссаров. Это обстоятельство и спасло Владимиру Ильичу жизнь...

За неделю до нападения на Ленина по приказанию Медведева была арестована невеста Кошетькова Ольга.

Кошетьков был озлоблен до предела. Поступали агентурные сведения, что он даже подбивал своих дружков к нападению на уголовный розыск.

В дальнейшем один из бандитов, некий Клинкин, по прозвищу Ефимыч, шофер Кошетькова, на допросе показал, что после ограбления Кошетьков начал в машине просматривать отобранные документы. Вдруг слышу, говорил Клинкин, орет:

— Останови машину! Гони назад!

— Почему? — спрашиваю.

— Да потому, — отвечает, — что то был сам Ленин... — Он был как в лихорадке. — Кто на нас подумает? На политических подумают... Дело-то какое, раз в сто лет так пофартит... Еще и переворот может быть, тогда награду получим.

— Зря остановил, — с сожалением протянул Сережка Барин. — Ведь я их уже на мушку взял!

— Откуда знать-то? — огрызнулся Кошетьков и забарабанил рукояткой маузера по спине Клинкина. — Не спи, Ефимыч!

Тот развернул машину.

— Быстрее, быстрее! — подгонял Кошетьков. — Газуй, фрайер! Заваленная снегом дорога была пустыня...

Сережка Барин и Кошетьков выскочили из машины.

Проваливаясь по колено в глубокий снег, выбрались в переулок. Кошельков заглянул в раскрытые ворота одноэтажного домика, в окнах которого сквозь морозные узоры слабо мерцал огонек.

— Может, сюда завернули?

— Нет, не видишь разве, какой сугроб у крыльца намело?

Побродив минут десять по безлюдному переулку, ругаясь, вернулись к машине.

Обо всем этом не знали тогда ни Медведев, ни я.

На Якиманке нас опять остановили. Милицейский патруль сообщил, что в Сокольниках убито два милиционера, а у Мясницких ворот один милиционер ранен. Машина с бандитами не задержана.

— Раненого допрашивали? Что он показал?

— Говорит, стреляли неизвестные с легкой машины. Подъехала машина, кто-то свистнул в милицейский свисток. Ну, он, натурально, подошел, а те стрелять... В трех местах пораненный...

Это, конечно, работа Кошелькова: после ареста Ольги он хвалился, что всех милиционеров в Москве перестреляет. Для этого и машину раздобывал.

Я до боли в глазах вглядывался в белую мглу, чувствуя, как от напряжения по щекам катятся слезы. Внезапно мне показалось, что впереди в свете фар мелькнуло что-то темное и расплывчатое. Машина? Нет... А может быть, все-таки машина? Точно, машина.

— Александр Максимович, автомобиль.

— Вижу,— почти не разжимая губ, сказал Медведев.— Приготовьтесь.

Сидящий рядом со мной красноармеец, держа в одной руке винтовку, вылез на подножку. Его примеру последовал другой. В машину ворвались ветер и снег. Я не вижу, но чувствую, как Медведев достает из кобуры наган.

— Заезжай сбоку,— наклонился он к шоферу,— слева, жми его к домам.

Но когда мы почти настигаем мчащуюся впереди нас машину, шофер опознает ее.

— Из МЧК,— говорит он и сворачивает направо.

Минут через десять возле Крымского моста мы наталкиваемся на машину Владимира Ильича. Она стоит у обочины дороги, в ней никого нет, дверцы распахнуты, горящие фары освещают два трупa, лежащих недалеко от передних колес. Я обращаю внимание на пулевые отверстия в ветровом стекле, от них лучами разбегаются в разные стороны трещинки. На спинке переднего сиденья заледеневшие следы крови: кто-то из бандитов ранен. Подхожу к убитым — это молоденький красноармеец и милиционер в островерхой шапке с красной матерчатой звездой. Красноармеец сжимает мертвыми руками винтовку. Стрелял, видимо, он, милиционер нагана достать не успел.

— Ишь как держит! — говорит один из красноармейцев, приехавших с нами, пытаясь разжать пальцы убитого. — И после смерти свое оружие отдавать не хочет!

— Не надо! — машет рукой Медведев. — Оставь...

Он медленно стаскивает с головы ушанку. Мы следуем его примеру. Несколько минут стоим молча. Потом Медведев проводит ладонью по покрытым снегом волосам, надевает шапку.

— Проверь, машина может своим ходом пойти? — обращается он к шоферу и приказывает красноармейцам перенести убитых в машину.

— Александр Максимович, может, поищем? Не могли они далеко уйти, тем более ранен у них кто-то.

— Попытаемся.

Подъехал грузовик с красноармейцами. Разбившись на небольшие группки по два-три человека, мы тщательно прочесали все близлежащие улицы и переулки. Безрезультатно.

## XXVIII

Через несколько дней после нападения на Ленина в «Известиях» были опубликованы обращение Московского Совета к населению и приказ начальника Московского окружного комиссариата по военным делам.

«В городе за последние годы участились случаи разбойных нападений, — писалось в обращении. — С обнаглевшими бандами начата решительная борьба, в которой население должно содействовать органам Советской власти.

Бандитизм, нарушающий нормальное течение жизни Москвы, будет твердой рукой искоренен как явление, дезорганизующее и играющее на руку контрреволюции. О всех случаях нападения немедленно звонить по телефону 1-34-90, 1-20-82 и 3-92-64. Обо всех подозрительных лицах сообщать в Московскую Чрезвычайную комиссию, Лубянка, д. 14».

«...Всем военным властям и учреждениям народной милиции, — грозно заканчивался приказ, — в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления, виновных в производстве грабежа и насилий».

Этим двум документам предшествовало совещание ВЧК, МЧК, Московского уголовного розыска и административного отдела Московского Совета, созванное заместителем председателя ВЧК Петерсом по поручению Дзержинского. От нас на совещании присутствовали Медведев, Мартынов и Савельев.

— Сам факт созыва такого совещания, — говорил Медведев на ночной оперативке, — свидетельствует о том, что мы не справляемся

с порученным делом. Сейчас к борьбе с бандитизмом привлекаются части военного гарнизона, ВЧК и широкие слои населения. Но это не значит, что с нас в какой-то степени снимается ответственность за ликвидацию бандитских групп. Более того, созданная на совещании комиссия по борьбе с бандитизмом совершенно справедливо считает, что Московский уголовный розыск должен стать штабом борьбы с бандитизмом. В наше распоряжение переданы дополнительные средства, транспорт, оружие. Дело за нами. Сегодня утром ко мне приходила делегация с завода Гужона. Рабочие, возмущенные нападением на вождя мировой революции, хотят нам помочь. Мы благодарны им и воспользуемся их помощью. Как вам известно из приказа, мы будем проверять гостиницы и частные квартиры, в которых могут найти приют преступники. К этим проверкам необходимо привлекать рабочих. В отличие от царской полиции мы работаем для народа, а следовательно, всегда найдем у него поддержку, надо научиться ею пользоваться.

После оперативки мы расходились мрачные, злые. Каждый понимал, какая на него ложится ответственность.

— Медведев еще либеральничает, — говорил Виктор. — Другой бы на его месте всех разогнал к чертовой бабушке. Что такое комиссия по борьбе с бандитизмом? Недоверие к нам. Вот что она такое. И обоснованное недоверие.

Я было заикнулся о своей вине, но Виктор досадливо поморщился.

— Хватит себя бить кулаком в грудь. Надоело. Все мы виноваты. Прошляпили. Теперь пора не каяться, а работать.

Я никогда не подозревал, что в Москве столько гостиниц: «Люкс», «Гренада», «Догмара», «Бельгия», «Астория», «Утеха», «Брюссель», «Лондон», «Гамбург» и даже «Приют ловеласа», который содержал какой-то обрусевший француз.

Каждую гостиницу в зависимости от ее размера обследовала группа, состоявшая из одного сотрудника уголовного розыска и восьми — пятнадцати вооруженных рабочих. Проверки большей частью проводились ночью. Мы перекрывали все выходы, знакомились с книгой регистрации, а затем начиналось путешествие по номерам. Гостиницы оказались государством в государстве. Кого только там не было! Актеры провинциальных театров, валютчики, представители богемы, мелкие и крупные спекулянты, бывшие камер-юнкеры, сутенеры, культуртрегеры с иностранными паспортами, вызывавшими серьезные сомнения в их подлинности, архиреволюционные эсеры, поспешно сжигавшие компрометирующие документы, томные дамы с напудренными носиками, в платьях из портьер и с фальшивыми бриллиантами, которые вдруг оказывались настоящими...

Проверки обычно проходили бесшумно, если не считать истерик



излишне впечатлительных дам и горячих протестов постояльцев, не совсем уверенных в безупречности своей биографии. Но было и несколько случаев вооруженного сопротивления. В «Приюте ловеласа» мне чуть не прострелил голову маленький, поросший, как обезьяна, бурым мехом гражданин, который по паспорту числился, если не ошибаюсь, бароном Гревсом, подданным Перу. На допросе барон заговорил почему-то с одесским акцентом. После этого его угрозы нотой протеста правительства Перу ни на кого уже не произвели впечатления. А еще через полчаса он мирно беседовал с Савельевым и стыдливо шмыгал носом, когда тот укоризненно ему говорил:

— И не стыдно Одессу позорить? Ведь теперь вся Пересыпь смеяться будет. Где твоя фантазия? Перу! Ты хоть знаешь, где Перу находится?

— В Китае? — с надеждой спрашивал «барон Гревс».

— Ах, Леня, Леня, чтобы взламывать сейфы, географии не требуется, но чтобы подделывать паспорта, нужно с ней познакомиться, по крайней мере в пределах гимназического курса.

В результате обследования гостиниц было задержано свыше двухсот человек, среди них 65 крупных рецидивистов. Их допросы дали нам многое. По предложению Петерса сообщение об этом было направлено в газету «Известия». Опубликовали его в середине февраля. С точностью установлено, писала газета, что «арестованные в курсе всех дел по совершенным за последнее время разбойным нападениям и хорошо знают всех участвовавших в последних бандитских выступлениях. Большинство совершенных преступлений благодаря удачному задержанию указанных выше 65 человек можно считать в данный момент уже раскрытыми, личности бандитов, принимавших участие в этих преступлениях, точно установлены, обнаружены также квартиры, служившие местом сборищ бандитов и их совещаний перед совершением того или иного разбойного набега».

Такая оценка проведенной работы не могла не радовать.

— Видал, Мефодий? — гордо потрясал Груздь газетой перед носом Мартынова. — Центральная пресса оценивает. Так черным по белому и написано. — Он поднял вверх заскорузлый палец: — «Благодаря удачному задержанию указанных выше 65 человек...»

Но Мартынов не разделял восторга матроса: Кошельков со своей бандой по-прежнему был на свободе. Правда, нам удалось взять нескольких уголовников, близких к его шайке. Среди них — Гришку Кобылью Голову, Заводного и Лешку Картавого, но о Кошелькове они ничего не знали.

Для проверки показаний Лешки Картавого о связях Барина я был направлен в Петроград.

На вокзале, как всегда, былолюдно. Поданный поезд со всех сторон облепила орущая толпа. Но Груздь, успевший познакомиться с красноармейцами, ехавшими через Москву на побывку в Петроград, мигнул ребятам, и они втянули меня за руки в выбитое окно вагона. В купе оказалось человек восемь, так что устроились мы почти с комфортом.

Поезд медленно тащился мимо лесов, словно окутанных ватой, заснеженных равнин, полуразрушенных, покосившихся дач, потонувших в белом безмолвии, деревенок с кудряшками черного дыма из низеньких труб.

Красноармейцы, аппетитно похрапывая, спали по очереди на полках, пили морковный чай с постным сахаром, резались в карты. На третьи сутки показались предместья Петрограда. Темные дощатые домишки, пакгаузы с сорванными дверями, снежная слякоть пустынных перронов, облупившиеся пристанционные здания.

Вокзал походил на московские. Такой же шумный, гомонящий, спящие вповалку люди, красноармейцы с винтовками, «бывшие» в потертых шубах, мешочники, громко плачущие дети. Если петроградцы и отличались от москвичей, то только тем, что в их глазах было чуть больше голодного блеска, а втянутые щеки чуть больше запали. Да, голод сюда пришел раньше, чем в Москву, здесь еще больше ценили хлеб...

Посреди площади Восстания вместо бронзовой статуи императора высился дощатый куб, лохматый от обрывков плакатов. Громады черных, угрюмых домов, бесконечно длинный Невский.

На Дворцовой площади — отлитые из гипса, припорошенные снегом памятники великим революционным деятелям, выполненные в футуристической манере. Голова Перовской — в виде куба с приделанными треугольниками носа, губ и подбородка. Наискось площади — серая лента красноармейцев, над передними рядами плакат: «Смерть Деникину! Да здравствует мировая революция!» Тут и там группы вооруженных рабочих с красными повязками на рукавах. Покосившиеся фонарные столбы, у распределительных пунктов угрюмые очереди. И опять отряды четко отбивающих шаг красноармейцев — даешь мировую революцию!

В Петроградском уголовном розыске встретили меня хорошо. Начальник розыска, старый большевик, бывший путиловский рабочий, выделил мне в помощь троих человек, так что с заданием удалось справиться за сутки. И на следующую ночь я уже выехал обратно в Москву, куда я так рвался, чтобы принять участие в поимке Кошелькова.

На этот раз я ехал с матросами из особого отряда, который направлялся на Восточный фронт. Бренчали гитары, надрывалась гармоника, а в коридоре молодой моряк с узенькой полоской подбритых усов читал популярные в те годы стихи:

Я не в разнеженной природе  
Среди расцветшей красоты —  
Под дымным небом на заводе  
Ковал железные цветы.  
Их не ласкало солнце юга,  
И не баюкал лунный свет —  
Вагранок огненная выюга  
Звонящий обожгла букет...

У чтеца были чистые голубые глаза и припухлые детские губы, а бушлат его стягивали крест-накрест пулеметные ленты. Наверно, ему было не больше девятнадцати-двадцати лет. Громко пыхтел паровоз, оставляя за собой веер красных искр.

## XXIX

— Вам письмо, гражданин Белецкий! — сказала жена доктора, когда я забежал вечером переодеться. (После визита Кошелькова Тушновы разговаривали со мной сугубо официально.)

«Наверно, от сестры», — подумал я, взяв серый конверт. Но мадам Тушнова, кривя губы, объяснила:

— От вашего приятеля, босяка с Хитровки.

— Спасибо, — поблагодарил я, направляясь к себе.

Но жена доктора меня окликнула:

— Минуточку, гражданин Белецкий!

— Да?

Хотя в цветастом капоте, с торчащими из-под ночного чепца бумажными папильотками, трудно было изобразить богиню мщения, мадам Тушнова воплощала Немезиду.

— Видимо, гражданин Белецкий, — холодно отчеканила она, — вы считаете, что ваш друг, который явился под видом агента ЧК, не полностью обчистил квартиру, и решили приспособить к этому революционному делу своего малолетнего — как это в вашей среде говорят? — кореша? Так я вас предупреждаю, что муж уже написал куда следует о ваших неблагоприятных поступках. Да, написал, и не делайте, пожалуйста, зверской физиономии: вы меня не запугаете! Стыдитесь! — внезапно взвизгнула она и подняла для чего-то вверх указательный палец, на котором матово блеснул перстень.

Ее выпуклые глаза так выкатились, что, казалось, еще секунда — они выпадут из орбит и со звоном покатятся по паркету. Но она тут же успокоилась и продолжала уже своим прежним замороженным голосом:

— Муж не только написал, но лично был на приеме у весьма высокопоставленного лица, имя которого вам знать совершенно необязательно. И тот заверил, что примет соответствующие меры. Вам это, надеюсь, понятно? Самые решительные меры пресечения!

— Все?

— Нет, не все. После всего происшедшего мы со своей стороны решили принять меры, гарантирующие нашу безопасность. С нас достаточно налетов! Поэтому я вас предупреждаю, чтобы вы не смели являться позже шести часов вечера. После шести можете ночевать на Хитровке! В бандитском логове! В притоне! Но не смейте ломиться в квартиру к честным людям! Никто двери вам после шести часов открывать не будет!

— Только попробуйте!

— Да, никто двери вам открывать не будет, хоть стреляйте!

— А вот начну стрелять, тогда посмотрим! — пообещал я. Эффект от сказанного превзошел всякие ожидания: мадам Тушнова побелела, и ее щеки приобрели цвет бумажных папилюток. Наступила тишина. В прихожую заглянул доктор.

— То есть как стрелять? — проямлил он.

— Очень просто.

— В кого?!

— В дверь, из браунинга, — с холодным бешенством сказал я.

— Выродок! Бандит! Хулиган! — взвизгнула мадам Тушнова, скрываясь в своей комнате.

Из-за двери до меня донеслись громкие рыдания и истерические выкрики:

— Бобочка! Этот негодяй нас убьет! Бобочка, беги в ЧК!

Я понимал, что моя выходка смахивает на хулиганство. Но сдержаться себя я уже не мог: один вид этих обывателей вызывал раздражение, а тут еще грязь, которую она вылила на меня и Тузика, а главное — упоминание о Кошелькове, о моей оплошности, за которую я себя казнил день и ночь...

С чего это Тузик решил затеять со мной переписку?

Мне показалось это забавным. Со времени нападения на Ленина мальчишка ко мне не заходил. Правда, я его как-то видел мельком в угловом розыске, в приемной Медведева. Но поговорить было некогда. Кстати, как он оказался в приемной? Что ему потребовалось от Медведева? Совсем от рук отбился. Надо будет поговорить о нем с Груздем. Если уж тот взял над ним шефство, то пусть по-настоящему займется мальчишкой, а то болтается он неизвестно где, дружит неизвестно с кем. Недаром говорят, что у семи нянек дитя без глазу. Если пойдет со своими хитровскими приятелями по скользкой дорожке, то уже что-либо предпринимать будет поздно. И почему у человека должно быть так много забот?

Надорвав конверт, я достал тщательно сложенную записку. На пористой серой бумаге, видимо оберточной, химическим карандашом было нацарапано: «Саша! Есть об чем поговорить. Очин важно!!! Приходи в «Стойло Пигаса». Тимофей».

Что у Тузика за «очин важные дела»? В конце концов, мог бы и подождать меня здесь.

«Стойло Пегаса» находилось на Тверской, а в моем распоряжении было всего полчаса: Мартынов сразу же после моего возвращения из Петрограда включил меня в группу, которой была поручена ночная операция. На допросе невеста Кошелькова Ольга, худенькая истеричная девушка, между прочим показала, что Кошельков несколько раз бывал на даче у родственников Клинка (Ефимыча). Один раз она ездила туда вместе с ним и запомнила расположение дачи. Про эту дачу слыхала и Севостьянова, которая утверждала, что Кошельков часто хранил там награбленное. Поэтому дача на всякий случай была взята под наблюдение, разумеется негласное. Сотрудники, которым это поручили, ежедневно информировали Мартынова, что ничего подозрительного они не замечали. Мартынов уже хотел было снять оттуда людей, когда Конек, задержанный в подпольном карточном притоне, сказал, что Кошельков намеревался скрыться из Москвы и договорился встретиться с Клинкиным на какой-то даче, куда он свозил награбленное. Что это за дача и где она находится, Конек не знал, но об этом теперь было нетрудно догадаться. Таким образом, представлялась реальная возможность захватить сразу же двух бандитов. Да, Тузика сегодня повидать не удастся. Придется ему отложить свое «очин важное дело» до следующего раза.

### XXX

Мартынов отличался исключительной пунктуальностью: если он назначил выезд на десять часов ноль-ноль минут, то он состоялся именно в это время — ни на минуту позже, ни на минуту раньше. Об этой черте его характера знали все. Во дворе уголовного розыска уже стоял грузовик, возле которого толпились люди. Мартынов вместе с Медведевым стояли в стороне и о чем-то разговаривали. Мартынов был в длинной, почти до пят, шубе и круглой меховой шапке. Его широкая черная борода совершенно заиндевела.

— Забирайся, хлопцы! — зычно крикнул он.

В кузов один за другим с шутками начали залезать рабочие и сотрудники розыска.

— Хватайся! — протянул мне руку Виктор.

Я сделал вид, что не заметил ее, и, взявшись за обледенелый борт, лихо вскочил в кузов.

Мартынов открыл было дверцу кабины, но потом почему-то раздумал, махнул рукой в квадратной варежке и, побряхтывая, полез тоже в кузов.

— В тесноте, да не в обиде, а? — сказал он, втискиваясь на узкую дощатую скамью между мной и Виктором. Выпуская из рта клубы морозного пара, постучал по крышке кабины шоферу.

— Трогай!

В машине уместилось человек тридцать. Все сидели, тесно прижавшись друг к другу: было холодно. Мороз прихватывал основательно. Особенно это почувствовалось, когда выехали за город. Скрываясь от ветра, я так согнулся, что касался подбородком колен.

— Что скрючился?! — закричал на ухо Мартынов. — Тебе бы вагоновожатым поработать: каждый божий день на холоде восемь часов, а кто и все шестнадцать, две смены трубит — на двадцать восемь рублей в месяц не проживешь с семьей. Две смены в графике у нас крестом отмечали. Вот мы промеж себя и шутили, что зарабатываем крест на Ваганьковском...

Не доезжая версты две до дачи, недалеко от линии Балтийской железной дороги, мы вылезли из машины. Мартынов отозвал в сторону одного из оперативных сотрудников и, показав ему на чертеже расположение дачи, что-то сказал. Тот кивнул головой и с группой рабочих направился по дороге куда-то влево, видимо в обход. Остальные, за исключением двоих, оставшихся в машине, по одному и по двое пошли к даче по разным сторонам узкой улочки. Моим напарником был Мартынов. Впереди нас на этой же стороне, метрах в десяти — пятнадцати, маячила спина Виктора. Несколько раз мы сворачивали, и я подумал, что один я бы ни по какому плану этой проклятой дачи никогда не нашел. Внезапно Виктор исчез, словно сквозь землю провалился.

— Пришли, — сказал Мартынов и мотнул подбородком в сторону одноэтажного домика за низкой изгородью.

Домик находился в глубине двора. Его окружали заснеженные деревья.

— Подожди, — остановил меня Мартынов, когда я начал искать на ощупь щеколду калитки.

Некоторое время мы молча стояли, прислонившись к калитке. Потом кто-то дважды свистнул. Только тут я заметил Виктора: он стоял во дворе, почти слившись со стволом старого развесистого дерева. После свистка он поднял руку, махнул рукой и другой сотрудник, стоявший по другую сторону тропинки. Его я тоже только сейчас увидел. Вся дача была окружена...

По узкой дорожке, протоптанной в глубоком снегу, мы прошли через оцепление к крыльцу. Я полез было на крыльцо, но Мартынов остановил меня: не лезь поперек бабки в пекло!

Став сбоку от двери, он постучал. Дверь тотчас открылась, будто нас уже ждали. На пороге стоял старик в ватнике, маленький, длинноносый, шуплый.

Не говоря ни слова, он пропустил нас в сени. Здесь было темно. Мартынов зажег зажигалку, и мы через кухню прошли в небольшую комнату, где над овальным столиком висела керосиновая лампа под цветным стеклянным абажуром. За столиком сидела старуха и раскладывала пасьянс.

— Вечер добрый, бабушка! — весело сказал Мартынов. — Как желанья, сбудутся?

Не поворачивая склоненной под картами головы, старуха ворчливо сказала:

— Наследили, ноги лень вытереть...

— Чего там, — вступился старик, — гости издалеча... Ты бы чесанки дала, измерзлись...

— Вот и дай.

Мартынов скинул шубу и шапку.

— Шурка не приходил?

— Запаздывает чтой-то... А вы от него?

— Нет, папаша, из уголовного розыска.

— Вон оно что!

— Не тех гостей ждали?

— А нам все едино, — не поворачивая головы в нашу сторону, ответила старуха. — Мы люди маленькие.

— Маленькие-то маленькие, а бандитскую добычу храните.

— Это как же храним? — забеспокоился старик. — Слышишь, Надежда Федоровна, что товарищи сказывают, храним будто. Мы, дорогие граждане-товарищи, ничего не храним и не таим. Храним! Чего там хранить? Привезет Шурка: «Пусть полежит у тебя, тещушка!» Пусть полежит — не корова, корма не требует. А что и откуда, нам знать не дано, честно или не честно добыто, нам не ведомо. Положил, и лежит. А что положил, и глядеть не будем, не любопытно нам.

— А нам любопытно, — прервал Мартынов расхажившего старика.

Бандиты свезли на дачу многое: меховые ротонды, мерлушковые пальто, бобровые воротники. В наволочке хранились романовские золотые и серебряные деньги, серьги, кольца, золотые безделушки. Отдельно лежали сложенные в аккуратные пачки царские сторублевки и керенки.

— Хоть магазин открывай, — ухмыльнулся Мартынов, небрежно толкая ногой развязанные тюки. — Нелюбопытный все-таки ты, папаша!

Ефимыча привели через час. Руки у него были связаны. С рассеченной губы лениво скатывалась на грудь алая струйка крови, в густых курчавых волосах — снег, франтоватый романовский полушубок разорван в нескольких местах.

Я с любопытством разглядывал шофера Кошелькова. Ему было лет тридцать пять — сорок. Тяжелая, отвисшая челюсть, угловатое лицо с нечистой кожей.

— У калитки взял.

— Один был?

— Один.

Мартынов встал.

— Когда Кошельков будет?

— Сначала руки прикажи развязать,— попросил Клинкин,— ремни режут.

— Только чтоб тихо,— предупредил Мартынов,— не буйствовать.

— Чего ж буйствовать, когда вся хибара окружена,— рассудительно ответил Клинкин, отирая о плечо кровь с подбородка.— Видать, отгулял...

— Отгулял, Ефимыч,— согласился Мартынов.— Ваше дело такое: сегодня гуляешь, а завтра — в расход. Бандитское дело, одним словом. Так когда Яков будет?

— Не придет Яков Павлович. Завсегда так: большая рыба сети рвет, а малая в ячейках застревает.

— Ты философию не разводи! — прикрикнул Виктор.— Где Кошельков?

— Много у вас начальства,— прищурился Клинкин.— И он начальство, и ты начальство. Стакан самогона выпить позволите?

Старик, шаркая ногами, принес бутыл и миску квашеной капусты с ледком. Ефимыч выпил, закусил, смочил в самогоне край вафельного полотенца и тщательно стер кровь с лица и с полущубка.

— Вот теперь и побалакать можно. Говорил мне, дураку, Яков Павлович, не сегодня-завтра легавые засаду на даче поставят, не суйся туда, Ефимыч, пропади пропадом барахло это. Не послушался, думал, успею...

Мартынов и Виктор переглянулись.

— Откуда Кошельков узнал про засаду?

— Упредили его.

— Кто?

— А я знаю кто? Из ваших кто-то...

— Врешь!

— А чего мне врать?

На даче мы пробыли до утра. Кошельков так и не появился... Когда уводили Ефимыча, он в пояс поклонился старикам.

— Простите, коли в чем виноват!

— Бог простит,— ответила старуха, а старик подошел к нему и вкрадчиво сказал:

— Поминанье, Шура, закажем, не беспокойся. А полущубочек оставил бы, а? Тебе он теперь ни к чему, а нам со старухой какая ни на есть, а прибыль...

— Я тебе дам полущубочек, живоглот! — взорвался Виктор.— Еще кальсоны с него стащи! Не знаешь, что ли, какой мороз?!

— А ты не ори, не ори,— зашипела старуха,— тоже жалостливый! Дело-то наше семейное, ну и не встревай в него.



— Люди,— плюнул Виктор,— хуже зверья!

— Оно, конечно, темные мы,— подобострастно согласился старик,— никаких понятий,— и выжидательно посмотрел на Клинка.

Тот молча скинул с себя полушубок, на мгновение задумался и начал расстегивать черную на меху кожаную куртку.

Когда подходили к машине, губы у него посинели от холода, а нос заострился, как у покойника.

Виктор бросил ему шубу.

— Надень! — А на вопросительный взгляд Мартынова объяснил: — Из тюков, которые на даче нашли... Приедем в розыск — отберу.— И, словно оправдываясь, добавил: — Бандит-то он бандит, а человек все-таки...

Мартынов промолчал.

### XXXI

Кто сообщает Кошелекову о всех готовящихся операциях уголовного розыска?

Догадок было много, однако каждый хранил свою про себя.

Допросом задержанных по делу Кошелекова занималось пять-шесть следователей. От них протоколы допросов поступали к Медведеву, который делал пометки с указанием, что необходимо дополнительно выяснить, а затем возвращал их следователю или передавал оперативному сотруднику для разработки очередной операции. Мы с Виктором как раз занимались таким протоколом, когда в кабинет вошел Груздь.

— Корпите?

— Угу.

— А я пришел прощаться, в армию еду.

Мы с Виктором одновременно повернулись в его сторону.

— Зачислили?

— Пока нет, но...

— Подожди, подожди,— сказал Виктор,— Александр Максимович тебя отпустил?

Груздь насупилсь, и от этого его круглое широкое лицо поразительно стало походить на лицо несправедливо обиженного ребенка.

— Если рассуждать диалектически,— скучно сказал он,— каждый гражданин молодой республики имеет полное революционное право с винтовкой в руках проливать свою алую кровь на полях сражений.

Когда Груздь говорил словами из лозунгов и плакатов, это означало, что его что-то гложет. Поэтому Виктор отложил в сторону листки протокола и мягко сказал:

— Ты диалектику пока оставь, а лучше скажи, что приключилось?

— Ничего.

— А если по правде, как на исповеди?

— Я неверующий, — вздохнул Груздь и добавил: — Религия — опиум для народа.

— Ясно, — кивнул Виктор. — Ну так что произошло?

Груздь помолчал.

— «Что случилось? Что случилось?» Спор у меня с Александром Максимовичем вышел. Доверчивая он душа...

— Ну и?..

— Ну и хочет меня турнуть...

Груздь, как всегда, сгущал краски. Нагоняй от Александра Максимовича он получил основательный, но никто его из уголовного розыска выгонять не собирался.

А произошло следующее. Накануне он и Горев получили задание арестовать на Божедомке одного перекупщика, который, по агентурным данным, был связан с Кошельковым. Выехали они вместе, но у цирка Груздь остановил извозчика и, тронув Горева за плечо, предложил: «Слазь». «Что?» — не понял Горев. «Слазь, — говорю. — Меня Кошелькову не положишь».

— Так и сказал?! — ахнул Виктор, когда Груздь неохотно поведал эту историю.

— А что? Чего мне со всяким контрреволюционным гадом церемониться? Он нас Кошелькову продает, а я ему в глазки заглядывать буду?

— С чего ты взял?

— Своим революционным нутром чувствую. Он, больше некому.

— Какие у тебя доказательства?

— Чудак человек, — удивился Груздь, — если б доказательства, я бы его прямо на мушку — и никаких разговоров.

Происшествие стало достоянием всего уголовного розыска. Горев недолюбливали за барственность, ироническую манеру разговора с товарищами, за надменность. Ни для кого не было секретом и то, как он относится или по крайней мере относился к Советской власти. Все это, вместе взятое, не могло не создавать вокруг него атмосферы недоброжелательности. Гореву, правда, никто ничего в глаза не говорил, но за его спиной шушукались, и он это чувствовал. В те дни Горев держался еще более официально, чем обычно. Был он спокоен, сдержан, и только по темным теням под красивыми миндалевидными глазами да по судороге, которая время от времени дергала плотно сжатые губы, чувствовалось, как тяжело он переживает происходящее.

Но все это — шушуканье, намеки — прекратилось довольно скоро.

На очередном оперативном совещании особой группы выступил Медведев. Подводя итоги работы по розыску участников нападения на Ленина, он между прочим сказал, обращаясь к Гореву: «Считаю своим долгом извиниться перед вами, Петр Петрович, за поведение Груздя. Мы верим в вашу честность». И этих двух фраз было достаточно, чтобы пресечь все разговоры.

— Нельзя было тебе так с бухты-барахты ляпать,— убеждал Груздя Виктор, когда мы возвращались домой после совещания.— Ну, дворянин, белая кость. А разве мало дворян революции жизни свои поотдавали? Возьми Пестеля, Рылеева, Муравьева... А нынешние военспецы?

— А что военспецы? Через одного все предатели, потому и драпаем от белой сволочи. Если рассуждать диалектически, их всех бы надо в ставку Духонина отправить,— упрямо бубнил Груздь.

— Может, управляющего делами СНК Бонч-Бруевича тоже в ставку Духонина отправить надо?

— Я ему про Ерему, а он про Фому... При чем тут Бонч-Бруевич?

— А при том, что он дворянин.

— Хо!

— Вот тебе и «хо». И не один он, много дворян интересам рабочего класса служит. А в белых армиях разве мало рабочих и крестьян?

— Так их же обманули!

— Но факт остается фактом, есть и сражаются со своими братьями по классу. Ты знаешь, что в грамматике, к примеру, нет почти ни одного правила без исключения? Прилагательные с суффиксами «ан», «ян» пишутся с одним «н», и тут же тебе исключения: «оловянный, деревянный и стеклянный» — с двумя...

— Скажи, пожалуйста,— поразился Груздь, которого всегда восхищали чужие знания в любой незнакомой ему области.— В гимназии учили?

— В гимназии,— отмахивался Виктор.— Да не в том суть, где учили. Я это тебе к тому привел, что исключения всегда бывают, и в грамматике, и в политике. Купцы, капиталисты, фабриканты против нас?

— Научный факт.

— Вот. А Савва Морозов большевиков деньгами снабжал, помогал им революцию делать, свой класс свергать...

— Это он с жиру бесился,— подмигнул Груздь.— У нас в деревне тоже один купчишка был, Тоболев. Как свинья, жирный, зимой снега у него не допросишься, а надрызгается и обязательно орет: «Долой самодержавие!» Проспится — к нему околоточный. «Дормидонт Савватеевич, опять изволили-с в пьяном виде крамольные

речи супротив государя императора говорить». — «К свержению призывал?» — «Так точно-с». — «Августейшую фамилию поносил?» — «Было-с». — «Весь мир голодных и рабов» выкрикивал?» — «Не без того-с». — «Тогда, значитца, не менее дюжины бутылок употребил. На красненькую, шеколдыкни за мое здоровье».

Виктор прыснул, не удержался от смеха и я.

— Ну разве можно с тобой серьезно разговаривать?

— С умом все можно, — нравоучительно сказал Груздь, — а без ума ничего нельзя. Неспроста во флоте говорят, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан. А ты мне заместо рыбки все таракана наровишь подсунуть да еще из него стерляжью уху хотишь сварить. Про революционное чутье слыхал? Вот у Тузика, он же Тимофей, можешь поучиться. Насквозь революционный пацан и уже до коммунизма дозрел, а ты еще не дозрел, если не понимаешь, что такое революционное чутье...

Груздя переспорить было невозможно. Разговор перешел на Тузика. Груздь его случайно встретил на прошлой неделе в «Стоиле Пегаса».

— Махаю ему рукой, а он будто не замечает, — сокрушался матрос, — к дверям пробирается. Выскочил я на улицу, а его и след простыл. Может, обиделся за что? А пацан замечательный, когда-нибудь большим человеком будет: профессором каких-нибудь наук или дантистом.

Распрощались мы у Сретенских ворот. Пожимая нам руки, Груздь сказал:

— А то, что Горев, голову заложить могу!

Но закладывать голову ему не стоило: информатором бандитов оказался человек, на которого до этого не падало и тени подозрения...

Через несколько дней один из бандитов, Козуля, на допросе у Виктора показал, что Сережка Барин хвастался ему, будто у Кошелькова в уголовном розыске есть свой человек и ему-де ничего не страшно, что Кошельков и он, Сережка, всегда выйдут сухими из воды.

«Мне было любопытно, кто же этот делега, но Сережка на мои вопросы не отвечал, а однажды пригрозил даже отправить на луну, если я не отстану, — собственноручно писал в протоколе Козуля. — В октябре или ноябре прошлого года я, Кошельков и кум Севостьяновой Жеребцов играли в штосс у Курочкина, который из-за своей малоидейности на второй год революции по-прежнему содержит мельницу<sup>1</sup> на Тверской. Около часу ночи в комнату зашел Сережка и сказал Якову, чтобы он вышел. Но Кошелькову здорово везло в карты, и он выругал Сережку матом, а выйти отказался. Тогда Сережка подмигнул ему и говорит, что с ним желает погово-

---

<sup>1</sup> Мельница — тайный карточный притон.

рить тот самый парень, которого он знает. «Чернуха?» — спросил Кошельков и сразу же вышел, даже не положил в карман выигрыш. Среди московских блатных уголовных лиц под воровской кличкой Чернуха никого нет. Потому-то я и решил, что Чернуха и есть тот самый делега из милицейских. А мне было любопытно его поглядеть, поэтому я будто бы пошел по нужде, а сам через щель в двери нужника видел, как из соседней комнаты вышел чернявый гражданин в кожаной куртке, а за ним Кошельков и Сережка Барин. Чернявый гражданин тотчас ушел вместе с Сережкой, а Кошельков вернулся в комнату, где шла игра. Думаю, что того чернявого гражданина в интересах истины смогу опознать».

### XXXII

Мне как-то пришлось наблюдать за работой художника. Он рисовал карандашом. Хаотическое нагромождение волнообразных и прямых линий, точки, совсем темные и совершенно светлые места. И вдруг в какой-то неуловимый момент этот хаос штрихов превратился в лицо человека. И, глядя на него, я невольно удивлялся: как же я раньше не понимал, что художник рисует? Ведь было ясно с самого начала, что эти волнистые линии — спутанные волосы, лоб, сжатые штрихи бровей, глаза, нос, линии рта, подбородка. Всё это уже было нарисовано несколько минут назад, но не воспринималось как единое целое. Лица еще не было, оно пока существовало только в воображении художника. Но вот несколько быстрых движений руки, и лицо возникло уже на бумаге — своеобразное, неповторимое в своей индивидуальности. Изображенный рукой мастера, человек жил. Я мог себе теперь представить его прошлое, настоящее, безошибочно определить характер, наклонности, те цели, которые он ставил перед собой в жизни, его привычки, даже домыслить, над чем он сейчас думает, глядя на меня с плотного листа бумаги... И это чудо совершили несколько, а может, даже один штрих, маленький штрих, связавший все в единое целое, осветивший под определенным углом кажущийся хаос различных черточек...

И, думая сейчас об Арцыгове, я прежде всего вспоминаю не убийство Лесли, не совместные операции, не его общепризнанную храбрость и бесшабашность, а то, как он полулежал в неудобной позе во дворе уголовного розыска и скручивал изуверченными пальцами козью ножку, тоску и безнадежность в глазах, усмешку человека, который понял никчемность своей детской мечты и то, что его короткая жизнь прожита напрасно...

Мы с Арцыговым играли в шахматы в моем кабинете. Первую партию он свел вничью, используя вечный шах. Во второй ему удалось сгруппировать на моем правом фланге довольно внушительные силы, и он начал развивать атаку. Я как раз продумывал

комбинацию, которая должна была разрушить все каверзные планы противника, когда в комнату вошел Мартынов.

— Здорово, Мефодий! — крикнул Арцыгов. — Глянь, как его разделяваю.

Мартынов не ответил на приветствие.

— Ты мне нужен.

Сказал он это тихо, спокойно, но, видимо, в его тоне было что-то такое, что насторожило Арцыгова. Арцыгов поднял глаза, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

— Ну? — Мартынов положил руку на его плечо.

Арцыгов встал, бросил мне:

— Шахмат не трожь, гимназист, доиграем.

Они вышли. Впереди Арцыгов, сзади Мартынов.

Я вновь склонился над доской и вдруг услышал шум, звон разбиваемого стекла. Еще не понимая, в чем дело, я стремительно выскочил из комнаты в коридор и увидел Мартынова у окна с выбитыми стеклами.

— Что произошло?

— В окно выпрыгнул Чернуха, бежать хотел...

Чернуха... Откуда мне знакома эта кличка? Ну, конечно, так Козуля называл пособника Кошелькова в уголовном розыске. Значит...

Перескакивая через ступеньки, я сбежал с лестницы.

Арцыгов лежал на боку, приподнявшись на локте, одна нога была неестественно вывернута в сторону, видимо, он сломал ее при прыжке. Лицо напряжено, рот перекошен, зло поблескивают глаза. Вокруг него несколько сотрудников. Один из них пытался его приподнять.

— Машину и носилки, — сказал Мартынов.

— В больницу повезем?

— Да, в тюремную.

Спросивший, широкоплечий молодой парень, недавно принятый на работу в розыск, в растерянности приоткрыл рот.

— Чего стоишь, твою мать?! — побагровел Мартынов. — Живо за машиной!

Парня как ветром сдуло. Мартынов присел на корточки, заглянул в лицо лежавшему.

— Пушку сам отцепишь или помочь? — Он постучал пальцем по кобуре нагана Арцыгова.

Тот хохотнул, попробовал сесть, но вновь упал на локоть.

— Сними, несподручно.

Мартынов осторожно, чтобы не причинить боль, отстегнул пояс с привешенной к нему кобурой, повертел ее в руках и передал одному из бойцов. Арцыгов насмешливо наблюдал за ним черными цыганскими глазами.

— Не сопливсья, Мефодий, на том свете все свои грехи замолю. Как в песне поется: «И пить будем, и гулять будем, а смерть придет, умирать будем»? Хорошая песня, а?

— Не скоморошничай,— глухо сказал Мартынов.— Где доля в добыче?

— На квартире, в голландской печке, в ящичке...

Арцыгов застонал, закусил нижнюю губу.

— Нога болит?

— Нет, душа... Дай закурить.

Мартынов оторвал клочок газеты, насыпал махорки.

— Свернешь?

— Сверну.

Арцыгов начал сооружать козью ножку. А я не отрываясь смотрел, как он приминает изувеченными с детства пальцами крошки махорки. В глазах его была тоска. О чем он в ту минуту думал? О Леньке, топтавшем его руку, когда она тянулась за кашей в сиротском приюте? О своей постыдной жизни? О Кошелькове? О бандитском золоте, так и не давшем ему власти? О позорной смерти? О товарищах, которых он предал?

Подъехал «даймлер». Кусков и Мартынов положили Арцыгова на заднее сиденье. Арцыгов вяло махнул рукой стоявшим неподалеку сотрудникам уголовного розыска.

— Прощайте, хлопцы!

Ему никто не ответил. Люди угрюмо молчали, провожая глазами отъезжавшую машину.

Я пошел к себе, заглянув по пути в дежурку. Здесь, как всегда, было шумно, накурено, обсуждалось происшедшее.

— Понимаешь,— громко говорил широкоплечий парень, тот самый, которого выругал Мартынов,— сиганул он на ноги, да только неловко, что ли, вскочил было, да свалился мешком. Я — к нему. Думал, понимаешь, сорвался человек, мало ли что бывает...

— «Мало ли что бывает», — передразнил его боец в треухе.— Арцыгова не знаешь — жох, такого отчаянного во всей Москве не найдешь. И ловкий был, ох ловкий! И вот на тебе, на деньги бандитские польстился... Чего ему эти деньги дались? Когда их только, проклятые, уничтожат...

— Ха, уничтожат!

— А что? Уничтожат. Наш комиссар так и говорил: при коммунизме сортиры из золота делать будем. Понял? Сортиры...

— Ну уж. Сортиры...

— Точно, комиссар наш — парень башковитый. Что сказал — сургучом припечатал. А по мне и сейчас деньги — тьфу, дерьмо одно!

— А как его уличили?

— А совещание утреннее помнишь? Говорят, Козуля за ширмой

под охраной сидел и оглядывал всех. На Арцыгова и указал. Тот, говорит, и есть Чернуха. Так и накрыли. Теперь хана Кошелькову... Мартынова только жаль: верил Арцыгову, как брату родному, а тот ему в душу нагадил...

Я поднялся на второй этаж. Здесь гулял ветер. Двое красноармейцев пытались закрыть разбитое окно фанерным щитом, но он никак не влезал в раму. На полу валялись осколки. Я прошел к себе в комнату. На шахматной доске точно так же стояли точечные фигурки.

Да, Арцыгову доиграть не удалось, но он бы все равно проиграл. Я еще раз проверил задуманную мной комбинацию. В любом варианте мат через четыре хода...

Зашел Виктор, посмотрел на шахматную доску.

— Забавляешься?

— Забавляюсь...

— А знаешь, что Чернуха — это Арцыгов? Только сейчас его увезли, бежать пытался...

— Знаю. Эту партию я играл с ним.

— Так-так,— растерянно сказал Виктор, вертя в пальцах белую ладью.— Вот никогда бы на него не подумал... Ведь так получается, что расстрел на Хитровке он устроил, чтобы спасти Кошелькова: боялся, что Лесли его выдаст. И побег Кошелькову, когда того в Вязьме взяли, он организовал, и операцию в Немчиновке сорвал... Много он навредил, год нас за нос водил.

— Вреда много, это верно. Только за нос он сам себя водил...

— Что-то непонятно...

Я рассказал Виктору про сиротский приют, про Леньку, про искалеченные пальцы.

— М-да, история... Мало мы все-таки знаем друг друга. Но мне его, Саша, не жалко, нет. Могу тебе повторить, что уже говорил: собственными руками мог бы его убить.

Виктор смахнул фигуры с доски, сложил их в коробку.

В комнату заглянул Груздь.

— Горева не видели?

— Нет, а что?

— Ничего, просто мне нужен товарищ Горев.

— Слыхал? — усмехнулся Виктор, когда Груздь ушел.— Горева товарищем стал называть. Это что-нибудь да значит! Кстати, Горев сегодня так к Медведеву обратился: «Товарищ Медведев».

— Можно привыкнуть!

— Нет, тут дело не в привычке: просто Петр Петрович начинает понимать, на чьей стороне правда. Что ж, давно пора уяснить, что революция — это не только поломанные стулья и сожженные усадьбы...



Все участники нападения на Ленина, за исключением Кошелькова и Барина, уже были арестованы. Но эти двое по-прежнему оставались на свободе. Им везло. Тем не менее круг сужался. Это понимали работники уголовного розыска и сами бандиты. После разоблачения Арцыгова Кошельков стал нервничать, это чувствовалось по его поведению. В его налетах не было прежней дерзости, расчетливой уверенности, на смену им пришла почти болезненная подозрительность, мнительность.

«Психует Яков,— говорил на допросе один из его сообщников.— Намедни чуток Сережку не порешил. «Ты,— говорит,— гад, сыскарям заложить меня хочишь. Все вы,— говорит,— сыскарям мою голову принести заместо подарка желаете, только я ее еще чуток поношу. Я не Чернуха, меня голыми руками не возьмешь...» Оченно за Чернуху и Ольгу сердцем болеет... На розыск напасть грозитя. Только ребята этого не желают, боятся...»

Больше всего мы опасались, что Кошельков уедет из Москвы. Это было бы самым естественным в его положении. Но он по-прежнему оставался в городе. Это мы знали точно. Кошельков словно играл в прятки со смертью. Но играл уже без прежней изобретательности и находчивости, только оттягивая время, а может быть, и на что-то надеясь... Человек всегда на что-то надеется...

А круг сужался. И наконец наступил день, которого мы так долго ждали.

Сеня Булаев, Груздь, Савельев и я сидели на какой-то промасленной, вонючей ветоши в маленьком сыром сарайчике. За зиму хозяева разобрали его почти наполовину, использовав на дрова все доски, которые еще не совсем сгнили. Сквозь широкие проемы в трухлявой крыше чернело небо, скупо присыпанное белесыми звездами. Курить Мартынов запретил, но мы все-таки курили. Отползали по одному к задней стенке сарая и, накрывшись с головой, курили, с трудом удерживая в онемевших пальцах плохо скрученные сигарки. Иногда Савельев, который только оправился после ранения, тихо кашлял в плотно прижатый ко рту платок, и тогда Груздь укоризненно качал головой. Мы находились в этом проклятом сарайчике уже восемь часов. Было два часа ночи.

Слева, в домике с облезшими зелеными ставнями, притаились Мартынов, Горев и Сухоруков. Напротив, на другой стороне переуллка, в нижнем этаже двухэтажного особнячка бандитов ждали еще четверо сотрудников во главе с Медведевым. Откуда Медведев узнал, что Кошельков и Сережка Барин будут сегодня ночью в этом домике с зелеными ставнями, мы не знали. «По агентурным сведениям»,— сказал Медведев. Но ведь с агентурой работают Мартынов, Савельев и Горев. Медведев непосредственно с агентами

розыска связи никогда не имел. Кто ему мог дать эти сведения?

Под утро ветошь покрылась толстым слоем инея. Савельев кашлял все чаще и чаще. Я засунул окоченевшие руки под рубашку и сразу же почувствовал, как все тело покрылось гусиной кожей. Ноги занемели, и мне казалось, что я не смогу встать. Сеня Булаев, навалив на себя тряпье, свернулся клубком. Сипло дышал Савельев, поджав под себя ноги и нахохлившись, как большая черная птица.

Вдруг предраассветную тишину разорвал дикий протяжный крик:

— А-яу-у-у!

Мы мгновенно вскочили, но Груздь сделал рукой успокаивающий жест. Сквозь широкую щель между досками я увидел, как откуда-то сверху во двор прыгнул кот. На мусорном ящике грязно-белая кошка дугой выгнула спину. Вновь звучит призывное:

— Я-ау-у!

Чувствую, как кто-то до боли сжал кисть моей руки. Это Груздь. Мускулы его круглого лица напряжены.

По двору осторожно идут двое. Впереди Сережка Барин, за ним на расстоянии нескольких шагов — Яков Кошельков.

— Я-ау-у!

Кошельков хватается за маузер. Ага, значит, тоже нервы пошаливают!

— Брысь! — машет рукой Сережка Барин.

Но черный кот неподвижен, только вздрагивает кончик вытянутого в прямую линию хвоста.

— Я-ау-у! — тянет он, не спуская своих горящих круглых глаз с подруги. — Я-ау-у-у!

Чувствую за своей спиной сиплое дыхание Савельева, рядом с ним Сеня, в его полусогнутой руке поблескивает никелем браунинг. «У Арцыгова на сапоги выменял», — почему-то мелькнуло у меня в голове.

Сережка подошел к крайнему от нас окну, легонько три раза постучал в ставню. Немножко подождал и еще два раза. Потом закурил папироску. Видимо, ждет ответного сигнала. А что, если сигнала не будет? Нет, Медведев все знает и все предусмотрел. До нас едва слышно доносится стук. Раз-два, раз-два. Это кто-то внутри домика стучит по оконной раме. Так, все в порядке. «Пошли», — кивает Сережка Кошелькову. Но тот не торопится. Не снимая руки с коробки маузера, он озирается по сторонам. Неужто заподозрил что-то неладное?

Сережка поднимается на крыльцо. Бренчит снимаемая цепочка, щелкают отпираемые запоры. Кошельков не двигается с места.

Стоит как изваяние — длинный, сутулый, широко расставив ноги в высоких хромовых сапогах.

Дверь приоткрылась. Барин взялся рукой за дверную скобу, подался вперед и тут же отскочил.

— Шухер!

Мы выскочили из сарая. С крыльца домика скатывается Сухо-руков, за ним Мартынов и Горев.

Вижу, как Сережка в упор стреляет в Мартынова. Одновременно кто-то стреляет в него. Сережка падает под ноги бегущим, о него спотыкается Горев и тоже падает. Кошелев, согнувшись, бежит к воротам, делая заячьи петли.

— Стой!

Кошелев не оборачивается. В него не стреляют, хотят взять живым.

— Стой, гад! — кричит Груздь, топая сапожищами.

Внезапно бандит остановился: он увидел у ворот группу работников розыска.

— Бросай оружие!

Кошелев отпрыгнул в сторону и, вертя маузером, начал стрелять. Он вертелся на одном месте, как волчок, по-звериному оскалив зубы.

— Рр-ах! Рр-ах! Рр-ах! — зачастили выстрелы.

Вытянув перед собой руку с браунингом, я нажал на спусковой крючок. Выстрелов не услышал, только почувствовал, что браунинг задергался в моей ладони, как живой. Кошелев начал медленно оседать. Потом попытался подняться и упал на спину, с его головы слетела круглая шапка и покатилась по земле. Я не мог оторвать глаз от этой катящейся, как колесо, шапки.

Первыми к Кошелеву подбежали Мартынов и Груздь, потом не спеша подошел Медведев. У Мартынова правая щека была залита кровью: пуля Сережки Барина содрала у виска кожу и подпалавила волосы. Кроме него ранены еще двое, один из них, шестнадцатилетний паренек, только вчера принятый на работу в розыск, тяжело. Он полусидит на верхней ступеньке крыльца, прижимая руки к животу, и тихо стонет, по лицу катятся слезы. Над ним склонился Горев. Возле Кошелева — человек шесть. До меня, как сквозь сон, доносится:

— Живой!

— Какое там живой, на ладан дышит!

— Шесть пуль...

— Почему не обыскиваете?

— В крови он весь...

— Ничего, не замараешься!

Савельев, держа в одной руке револьвер, другой мелко крестится. Это смешно, но никто не улыбается. Мы с Виктором подходим к

Сережке Барину. Он убит наповал: пуля, выбив передний зуб, вошла в рот и вышла через затылок. Рядом с ним валяется наган.

Наконец появился врач, маленький, толстый, с заспанными глазами. Он осмотрел раненого в живот паренька и приказал отправить его в больницу, затем сделал перевязку Мартынову, взглянул на Кошелькова и подошел к нам. Не сгибаясь, брезгливо бросил взгляд на труп Сережки Барина.

— Ну-с, этому медицинская помощь не понадобится. Бандит?

— Да.

— Что и говорить, рожа разбойничья.

— Кошельков выживет?

— Это тот? — Врач через плечо, не поворачиваясь ткнул пальцем в сторону Кошелькова, над которым стоял фотограф с треножником. — Удивляюсь, что до сих пор жив: кровавое решето. Закурить не найдется?

Виктор достал кисет.

— Махорочка? Один мой коллега считает, что для здоровья она полезней. Знаете, конечно, профессора Гераскина?

Я ответил, что профессора Гераскина мы, к сожалению, не знаем.

— Большой оригинал-с! Про него рассказывали, что он...

— Белецкий, Сухоруков! — крикнул Мартынов.

Надо было перенести Кошелькова в пролетку. Он оказался неожиданно тяжелым. Мы вчетвером еле его подняли. На губах раненого пузырилась кровавая пена, он сипло дышал. Голова откинута, на изогнутой шее — острым бугром кадык. После того как Кошелькова положили на солому, Виктор подложил ему под голову свернутый ватник и начал рукавом стирать с губ кровавую пену.

— Не старайтесь, молодой человек, — усмехнулся врач, — он уже больше чем наполовину в лучшем мире. Так и умрет, не приходя в сознание. Хорошо еще, если живым довезете. Плюньте!

— Иди ты, знаешь куда?!

Врач пожал плечами.

Вот и кончено с Яковом Кошельковым. Банда ликвидирована... И мне вспомнились слова Мартынова, когда он беседовал на даче с Клинкиным: «Ваше дело такое — сегодня гуляешь, а завтра — в расход. Бандитское дело, одним словом». Кошелькову в этом отношении повезло: он не расстрелян, а убит в перестрелке. Его приятелей ждет худшая участь... А впрочем, разница невелика...

— Саша! Ты чего подарки разбрасываешь?

Виктор протянул мне зажигалку в форме маленького пистолета, ту самую, которую я отдал Кошелькову. Она, видимо, выпала из кармана умирающего, когда мы его укладывали в пролетку.

— Спасибо.

Кучер старательно объезжал большую лужу, похожую своими

очертаниями на отставленный в сторону большой палец руки. Пролетка сильно накренилась.

— Эй, дядя, поосторожней! — крикнул Виктор, упираясь руками в навалившееся на него горячее тело Кошелькова. — Вывернись!

Воспользовавшись тем, что он отвернулся, я размахнулся и бросил зажигалку в самую середину лужи...

Не доезжая нескольких кварталов до розыска, врач попросил остановиться.

— Счастливо, — сказал Виктор. — Если что не так, извините. Но не люблю, когда об умирающих так говорят.

— Это делает вам, разумеется, честь, — иронично отозвался доктор. — Только в следующий раз я бы рекомендовал более тщательно подбирать слова и не тыкать.

— Чудак человек! — фыркнул Виктор, когда пролетка тронулась. — Как же я его к чертовой матери на «вы» посылать буду?

#### XXXIV

Отвезя Кошелькова в уголовный розыск, я отправился за ордером, который завхоз выписал накануне. Я давно мечтал по-настоящему одеть Тузика, по-прежнему ходившего оборванцем. На складе мне выдали совершенно новый картуз с лакированным козырьком, хромовые сапоги, малиновые галифе, кожаную куртку и несколько косовороток. Косоворотки в ордере не числились, кладовщик их дал по доброте душевной или, как он выразился, «не по списку, а по доброте».

Разложив все это бесценное имущество у себя на кровати, я начал прикидывать, подойдет ли оно Тузику. Неожиданно вошел Виктор.

— Как Кошельков?

— Умер. А это что?

— Для Тузика... Галифе не великоваты?

Виктор взял в руки галифе, повертел их, помял и бросил на кровать.

— Подойдут?

Он промолчал.

— Ты чего?

Сухоруков стоял у окна и смотрел во двор.

— Виктор!

— Нет больше Тузика, Саша. Задушили его... за Кошелькова.

Я для чего-то сложил по выутюженным складкам галифе, завернул их вместе с курткой и сапогами в бумагу. Косоворотки остались лежать на кровати... Видимо, их тоже надо положить. Я вновь развернул сверток, положил косоворотки, запаковал, аккуратно

но перетянул крест-накрест шпагатом. Все это теперь уже ни к чему. Нет Тузика. Он больше никогда не придет в эту комнату, не будет читать этих книг, слушать рассказы Груздя, спорить со мной о сказках Андерсена...

— Зачем нужно было Медведеву привлекать его к операции?

— Он сам пришел, Саша.

— Сам, сам... Что он понимал?! Ребенок...

— Он все понимал, Саша.

Виктор подошел ко мне, обнял.

— Не надо, Саша.

Так меня обнимала в день смерти отца Вера и так же говорила: «Не надо, Саша». А почему, собственно, не надо? Почему человек должен сдерживать слезы, если ему хочется плакать? И я плакал. И слезы скатывались по моим щекам. И мне не было стыдно.

Только после смерти Тузика я узнал о той роли, которую он сыграл в ликвидации банды Кошелькова.

Тузик родился и вырос на Хитровке. Его приютила Севостьянова вместе с другим беспризорником, Сережкой Черным: Анне Кузьминичне нужны были мальчишки для выполнения различных деликатных поручений.

Тузик боялся Севостьяновой, но еще больше он боялся Кошелькова, который ни во что ставил человеческую жизнь. В 1918 году Кошельков на его глазах убил Сережку Черного: мальчишка слишком много наболтал на допросе.

— Не будешь держать язык за зубами, и с тобой так будет,— нравоучительно сказал он, встретившись с расширившимися от ужаса глазами Тузика.

Дружба Тузика со мной, Виктором, а затем и с Груздем насторожила Севостьянову. Но вскоре она убедилась, что Тузик не «продавал» Хитровку уголовному розыску. Севостьянова несколько успокоилась. Правда, она теперь опасалась давать Тузику ответственные поручения, но по-прежнему не сомневалась, что он будет молчать.

Тузик хорошо знал неписанные законы Хитровки, карающие измену смертью. Он держал язык за зубами, держал до тех пор, пока банда Кошелькова не напала на Ленина... Трудно было решиться, но он понимал, что иначе поступить нельзя.

И тогда он написал мне: «Саша! Есть об чем поговорить. Очин важно!!!» А когда я не пришел в «Стойло Пегаса», он отправился к Медведеву.

О доме в Даевом переулке на Хитровке знали немногие, а о том, что двадцать первого апреля там будет Кошельков и Барин,— только Тузик, потому что именно ему поручил Кошельков проверить, нет ли за домом наблюдения. Севостьянова была арестована,

и некому было предупредить Кошелькова, что Тузику доверять больше нельзя...

Обо всем этом мне рассказал Виктор. А потом мы молчали. И в этом молчании было больше чувств и мыслей, чем в словах. Мы молча говорили о Тузике и Кошелькове, об Арцыгове и Мартынове, о Нюсе, о нашем будущем, о Медведеве. Мы вспоминали и мечтали. И все время я чувствовал на своем плече руку друга, ощущал ее теплоту и суровую нежность. А затем мы пошли к Леониду Исааковичу. Там мы застали Сеню Булаева, Нюсю и Груздя. Матрос принес спирт. И мы его пили. Пили все: Леонид Исаакович, Виктор, я и Нюся. Сеня пытался было острить, но никто не улыбнулся. У всех были серьезные лица — это были поминки по Тузику.

Когда мы расходились, Леонид Исаакович пошел меня провожать. Худой и долговязый, в котелке, с тростью, он шел, смотря себе под ноги и старательно обходя лужи. В воздухе чувствовался аромат весны. На деревьях набухали почки. У Мясницких ворот Леонид Исаакович остановился.

— Пожалуй, я пойду домой, Саша.

— Проводить?

— Нет, не беспокойтесь. Кому я нужен? Ни золота, ни бриллиантов. Я хотел бы только сказать вам одну вещь, Саша. Вы не возражаете? — Он поднял на меня свои бледно-голубые глаза, и его куцые брови приподнялись. — Это, наверно, совсем ни к чему, но мне очень хочется сказать. Я не всегда был одинок, Саша. У меня был сын. Может быть, и не вундеркинд, но сын, которого я могу пожелать каждому своему другу. И в пятнадцатом году мой сын хотел бежать на фронт. Я его отговорил. Я ему сказал: «Война — дело мужчин, а не детей, Изя». И он меня послушал. А в семнадцатом, когда из Кремля выбивали юнкеров, я ему так не говорил. И мой сын взял винтовку и ушел. Он погиб во время перестрелки. И теперь я совсем одинок. И когда я умру, никто не прочтет надо мной молитву. Но я знаю, что сделал честно, не повторив тех слов. В 1917 году это были бы лживые слова. Революция — дело и детей, и женщин, потому что она для всех, кто недоедал. Мне тяжело, Саша, но зато я не обманул своего мальчика, и я знаю, что перед смертью он думал: да, мой отец честный человек. И еще я знаю, что о моем Изе будут вспоминать тысячи мальчиков, русских и евреев, украинцев и башкир, мальчиков, которым уже не придется воевать. Это будут счастливые мальчики, они не будут плакать, а будут только смеяться. Это очень хорошо, Саша, всю жизнь смеяться. Смеяться утром, днем, вечером. Мой брат говорил, Саша, морщины должны быть только следами бывших улыбок. А может быть, это не он говорил? Но все равно это хорошо сказано. А теперь спокойной ночи, Саша. Пусть у вас все ночи будут спокойными...

Он резко повернулся и зашагал по улице, выставив, как слепой, перед собой трость, нескладный, в сдвинутом набок стареньком котелке.

### XXXV

Утром меня вызвали к Медведеву печатать докладную в МЧК. Машинистка заболела, а Горев и Савельев, которые справлялись с этим делом не хуже ее, находились на задании. И я печатал под диктовку Александра Максимовича: «...при осмотре убитых обнаружено несколько бомб, два маузера, один наган и браунинг Ленина, а также документы МЧК и дневник Кошелькова, в котором он клянется «мстить до последней капли крови» своим преследователям, особенно за арест своей невесты Ольги Федоровой. В том же дневнике выражено сожаление, что не удалось убить т. Ленина. Браунинг мною переслан председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому для вручения Владимиру Ильичу.

Направляю Вам дневник Кошелькова, карточки убитых бандитов и деньги в сумме шестьдесят три тысячи рублей, найденные у Кошелькова при осмотре в заднем кармане, через который прошла пуля...»

Медведев диктовал долго, обдумывая каждое слово. А я с нетерпением ждал, когда он закончит: мне необходимо было с ним поговорить. Только к старости, и то не всегда, человек осваивает великое искусство делиться своими переживаниями с самим собой. А мне тогда не было и девятнадцати. События этих дней вызвали у меня целый вихрь противоречивых мыслей и чувств, которые мог привести в стройную систему только один человек — Медведев.

Но разговор, которого я ждал, не состоялся. Александр Максимович только спросил:

- Тузика когда хоронят?
- Завтра.
- Где?
- Не Немецком кладбище.

И все. Больше в тот день Медведев со мной не говорил.

Мне было горько и обидно. Я обвинял Александра Максимовича во всех смертных грехах, среди которых не последнее место занимала черствость. Только позднее, когда я стал старше, я понял, что Медведев просто не видел здесь никаких сложностей. Медведев был бойцом, а боец, идущий в атаку, не оборачивается, если увидит, что его товарища сразила пуля. Он весь устремлен вперед. Для Медведева все события, связанные с делом Кошелькова, безвозвратно отошли в прошлое. Ему просто некогда и ни к чему было к ним возвращаться. Впереди его, солдата революции, ждало много неотложных дел, еще не осуществленных замыслов, которыми и



были заняты все его мысли, а банда Кошелькова уже ликвидирована. Ее нет, а вместе с ней исчезли и все события, которые были связаны с этим словом «ликвидирована».

Хоронили Тузика на Немецком кладбище. Стоял погожий весенний день. Ночью прошел сильный дождь, и на мостовой кое-где поблескивали еще не высохшие под лучами солнца лужи. Гроб, реквизированный в какой-то конторе похоронных принадлежностей, был непомерно большим, и щуплое, маленькое тело едва виднелось среди красных лент. Мертвым Тузик выглядел взрослее, ему теперь можно было дать лет семнадцать — девятнадцать. В похоронах участвовала почти вся особая группа: Сеня Булаев, Горев, Савельев, Мартынов... Пришел и Леонид Исаакович, торжественный, в своем неизменном котелке.

Помню плотно сжатые губы Медведева, искаженное судорогой боли лицо Груздя, опущенные глаза Виктора. Почти дословно помню краткую речь Александра Максимовича:

— Это смерть за революцию, за очищение республики от скверны бандитизма, за коммунизм. Тузик не увидит то, за что он боролся, но зато это увидят миллионы его сверстников. Я уверен, они будут жить при коммунизме...

Гроб опускали в яму я и Сеня Булаев. После того как могилу забросали сырыми глинистыми комьями, Груздь старательно прикрепит дощечку, на которой чернильным карандашом печатными буквами было выведено: «Тимофей по прозвищу Тузик (отчество и фамилия неизвестны). Героически погиб в борьбе на внутреннем фронте 21 апреля 1919 года».

Много лет спустя я пытался найти эту могилу среди зеленеющих холмиков, на которых нет ни мраморных плит, ни памятников, ни надгробий, но это оказалось невозможным. Установить фамилию Тузика также не удалось: иначе, как Тузик, его никто не называл.

Дело Клинкина, Арцыгова, Конька, Алешки Картавого, Козули, Севостьяновой и других разбирал трибунал. Все участники банды были приговорены к «высшей мере социальной защиты». Приговор поручили исполнять работникам уголовного розыска.

Бандитов расстреливали рано утром недалеко от здания уголовного розыска, у каменной стены, отделявшей Центральный рынок от Петровского бульвара.

Их выводили группами. Две группы. И два раза взмахивал маузером Медведев, произнося одни и те же слова: «Именем революции...»

Много лет прошло с тех памятных дней. За эти годы я много пережил и перевидал. Я видел на улицах трупы людей, умерших

от голода, руины, мечущихся в бреду сыпнотифозных, опустевшие фабрики и заводы. Видел, как на голых местах возникали новые города и фабрики, как обескровленная Россия ценой огромных мук и лишений превращалась в великое государство. Но я не могу забыть тех дней, когда закончилась моя юность и на смену ей пришла зрелость.

Вскоре после описанных мною событий Груздь и Виктор Сухоруков уехали на фронт. Груздю не суждено было вернуться обратно. Он погиб в первом же бою. А Виктор в 1922 году снова вернулся на работу в уголовный розыск. Вместе с ним, Сеней Булаевым и Савельевым мы вылавливали валютчиков и мошенников, налетчиков и убийц, ликвидировали многочисленные банды. В годы нэпа нам пришлось немало потрудиться. Но об этом — в следующей книге, которую я обязательно напишу.



*Эксперимент  
1918 года*

В ПОЛОСЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ



# I

Человек в старости быстро забывает то, что с ним произошло вчера и сегодня, но хорошо — лучше, чем когда бы то ни было, — помнит далекие годы молодости. В этом — мудрость природы. Уходящие могут без помех осмыслить свою жизнь и передать эстафету новому поколению. Ведь прошлое всегда было той дорогой, которая вела в будущее.

Перелистывая свои записи периода нэпа, я вновь вижу Москву и Петроград тех далеких и близких лет, когда революция, чтобы взять разбег, отступила назад. Нэп издевательски подмигивал огнями реклам, кривлялся разноцветными буквами афиш: «Ресторан «Крыша», «Европейская школа танцев «Гартунг», «Сад-ресторан «Привал нерыдайцев»...

Толстые стекла зеркальных витрин, визитки, смокинги, обнаженные плечи дам, роскошные автомобили...

«На рельсах нэпа — в социализм!» Нет, не каждый мог принять этот лозунг. И пустивший себе пулю в лоб в начале двадцать второго года бывший чоновец <sup>1</sup> Володя Семенов в своей предсмертной записке писал: «Всё понимаю, все осознаю, но примириться с этим не могу. Простите».

А ведь мало было примириться с неизбежностью нэпа, нужно было еще найти в нем свое место. Партия требовала сменить винтовку на конторские счета, пулемет — на канцелярский стул, а лихую шашку — на бухгалтерские документы. Бесстрашный комэск <sup>2</sup>, ныне старший приказчик государственного магазина, постигал премудрости безубыточной торговли, а партиец с эмигрантским стажем упорно изучал правила составления баланса.

Трудно было перестраивать психологию людей, сложившуюся в эпоху военного коммунизма, когда все было предельно простым и ясным. Душа человеческая — тонкий механизм. Чуть что не так — скрипнули колесики и завертелись на холостом ходу. Тут уж и самый искусный мастер руками разведет — куда там, не починишь!

Очереди безработных у биржи труда и ядовитые заметки в газетах о совбурах <sup>3</sup>, по которым «давно тоскует Нарымский край», кружки по ликвидации неграмотности и очередной бум на черном

---

<sup>1</sup> ЧОН — части особого назначения, которые комплектовались из коммунистов и комсомольцев.

<sup>2</sup> Комэск — командир эскадрона.

<sup>3</sup> Совбур — советский буржуй. Слово «совбур» появилось в годы нэпа.

рынке, пьяные оргии нэпманов и выступление в Большом советском театре пролеткультовцев (коллективная декламация; в заключение — живая картина «Апофеоз труда»).

В центре города расклеены объявления. Ячейки РКСМ Прохоровской мануфактуры, Русско-Американского завода и фабрики Бостанжогло решили ежедневно работать полчаса сверхурочно в пользу голодающих. А в Лубянской проезде, в окне церквушки — икона с надписью: «Светлее солнца возсиял с венцом нетленным благочестивейший император Николай Александрович, самодержец, убоготивший державу Российскую своей любовью чистой, духом и смирением».

И так же пестры и противоречивы, как сам нэп, совмещавший несовместимое, были уголовные дела, которыми занимались сотрудники розыска. Патологический убийца Петров-Комаров, который «с молитвой в душе» отправил в лучший мир 29 человек; десятилетний мальчишка-беспризорник, укравший корзинку с «боярскими булочками»; завалившийся на крупной афере нэпман, хулиган из рабочей слободы, содержатели притонов, контрабандисты, растратчики.

В камерах предварительного заключения уголовного розыска можно было встретить самых разнообразных типов, начиная от потомственного карманника и кончая бывшей светской дамой, пытавшейся продать обыкновенное стеклышко, выдавая его за изумруд. И репортер вечерней газеты Вал. Индустриальный, умевший превращать в детективный роман описание любой кражи, сидел у нас почти круглосуточно. То он беседовал с солидным медвежатником, то с простоволосой бабой, у которой риквизировали самогонный аппарат, то с вертлявым налетчиком, который знакомил его с новинкой блатной лирики: «Как вампир, ён в крови умывался. Но ничем не доволен был ён. Наконец на угрозыск нарвался и предстал пред народным судом...»

Начало нэпа застало меня в Петрограде. Я был туда откомандирован из Москвы Центроязыком с весьма лестной формулировкой: «В целях укрепления кадров петроградской милиции». Почему именно мной решили «укреплять» аппарат петроградского управления, одного из лучших в республике, для меня до сих пор загадка. Может быть, на кого-то в отделе личного состава произвела впечатление запись в моем послужном списке об участии в ликвидации банд на Хитровом рынке и группы Кошелькова, совершившей в 1918 году нападение на машину Ленина. Но как бы то ни было, несмотря на мое отчаянное сопротивление и возражения начальника Московского уголовного розыска Медведева, я был переведен в Петроград.

Не знаю, принес ли я большую пользу Петрозыску, но мне лично работа в Петрограде дала многое. Я основательно пополнил

свой криминалистический багаж и получил достаточно полное представление о тактических приемах допроса.

Тогда в Петроградском уголовном розыске, в отличие от Московского, практиковалась специализация сотрудников. Все оперативные работники, начиная от агентов третьего разряда и кончая инспекторами, были разделены на пять бригад. Одна из них расследовала только кражи, другая — всевозможные мошенничества и аферы, третья была грозой самогонщиков. Меня зачислили субинспектором в бригаду № 1. Эта бригада, самая многочисленная, занималась раскрытием убийств, бандитских и разбойных нападений. Ее ядро составляли наиболее квалифицированные сотрудники управления.

Моим непосредственным начальником был старейший работник розыска Василий Иванович Скворцов, которого в городе прозвали «красный Пинкертон». Помимо глубоких знаний и незаурядных способностей, он обладал еще и тем, что следователи обычно называют интуицией, — качество, которое не всегда приобретается вместе с опытом. Василий Иванович был и неплохим воспитателем. Во всяком случае, он очень быстро отучил меня от привычки делать скоропалительные выводы. После работы в бригаде Скворцова меня иногда на оперативных совещаниях упрекали в «перестраховке», но никогда не ставили в вину опрометчивость.

Работа у Скворцова была хорошей школой. И прослушанные мною впоследствии лекции по криминалистике не могли идти ни в какое сравнение с теми предметными уроками, которые я получил от руководителя бригады. «Агент уголовного розыска всегда должен учиться, — любил говорить Скворцов. — А если ему показалось, что он уже все знает, значит, пора менять профессию». И все годы работы в розыске я учился, и мне даже сейчас не кажется, что я знаю все...

В петроградском управлении работали чудесные ребята. Со многими из них я сдружился. Полюбил я и Петроград. И все же, когда мне представилась возможность вернуться в Москву, я ни минуты не задумывался. И не только потому, что в Москве прошла моя юность, что там жили близкие мне люди — сестра Вера и Виктор Сухоруков, с которым меня связывала долголетняя дружба. Как истинный москвич, я не представлял себе жизни вне Москвы, вне ее бульваров, вне ее разногласного шума, в котором всегда ощущался стремительный ритм жизни.

Москву называли «большой деревней», «проходным двором», «центральной вокзалом». И приезжий, поругивающий Москву, всегда найдет у москвича поддержку. Но попробуйте тому же москвичу предложить расстаться со своим городом. Он на вас посмотрит такими глазами, что вы сразу же поймете — ничего более нелепого придумать вы не могли.

В поезде я вновь и вновь перебирал воспоминания, связанные с Москвой. Смерть отца, зачисление в уголовный розыск, облава на Хитровке, первое знакомство с Медведевым, гибель Тузика, маленького беспризорника с Хитрова рынка, отдавшего свою жизнь за революцию... Лица, события, обрывки разговоров...

Задремал я уже утром. Но проснулся бодрым. Наскоро умылся и вышел в коридор. Поезд подъезжал к Москве. Усатый хромо́й проводник, переругиваясь с пассажирами, поспешно собирал постели.

— Не суетитесь, граждане! Все успеете. Не лезьте друг другу на головы, граждане!

— Хам! — возмущался мой сосед по купе, инженер, командированный в Москву каким-то трестом с очень длинным и непонятным названием. — Небось в старое время так бы не посмел. А теперь все терпим!

На перроне Николаевского<sup>1</sup> вокзала, таком же вылизанном, как и перед войной, меня встретил Виктор Сухоруков. Я его не сразу узнал. И не мудрено. Он мало напоминал того Виктора, с которым я столкнулся в конце семнадцатого года в электротeatре Ханжонкова, где он арестовывал Сережку Барина. Вместо кожаной куртки и маузера в деревянной коробке — шикарный реглан, на голове небрежно сдвинутая набок клетчатая модная кепка-«комсомолка», галстук, воротник сорочки перехвачен запонкой, победно сверкают черные, как антрацит, калоши. Чисто выбрит, аккуратно подстриженные усы — не слишком пижонские, но и не стариковские. Типичный преуспевающий нэпман — владелец универсального магазина или снабженческой конторы. Разве только глаза вызывают сомнение — зоркие глаза, холодные. У совбуров они другие — ласковые и располагающие. Ведь глаза тоже капитал. С такими глазами, как у Виктора, кредит «под воздух» не получишь, бронзовыми векселями не отделаешься. Не те глаза!

Виктор заметил мое удивление, усмехнулся:

— Хорош? Ничего не поделаешь. Обслуживаю нэп во всех его проявлениях...

Я знал, что он теперь правая рука Медведева, начальник секретной части, единственного отдела розыска, сотрудники которого в силу служебной необходимости старались не отставать от нэпманской моды. Но странно было видеть Сухорукова совсем непохожим на того Витьку, каким его рисовало воображение. В этой одежде он казался чужим. Кожанка ему шла все-таки больше. И усы... На черта ему эти нэпманские усы?

— Налюбовался? — спросил Виктор. — Теперь можно и об-

---

<sup>1</sup> Николаевский вокзал — прежнее название Ленинградского вокзала.

няться. А ты возмужал.— Он обнял меня и, насмешливо взглянув в глаза, прижал к себе чуть сильнее, чем полагалось бы при дружеской встрече.— Ну как, набрался силенок на петроградских харчах? — Я почувствовал, что начинаю задыхаться.— Слаб, слаб... Не в коня корм. Не забыл еще, как в гимназии просили о пощаде?

— Помню. Только отпусти...

О могущественнейший из могущественнейших, о сильнейший из сильнейших, о справедливейший из справедливейших! Признаю тебя победителем в честном бою и обязуюсь свято, не жалея живота своего, выполнять все, что ты мне прикажешь или скажешь,— продекламировал я.— А если не исполню, то пусть мне устроят темную или наплюют на самую маковку, и пусть я, клятвопреступник, сделаюсь классным надзирателем за грехи мои... Точно?

— Точно,— подтвердил Виктор и добавил: — А хорошо, что ты в Москву вернулся...

Не обращая внимания на суетливых мешочников, подозрительных молодых людей с перстнями на пальцах, очкастых интеллигентов и худосочных барышень — всю ту разношерстную толпу, которая выплеснулась из вагонов, мы, энергично работая локтями, пробрались к выходу.

Вот наконец и прифокзальная площадь, крикливая, гомонящая, заставленная лотками, киосками, лавками, запруженная экипажами, бешено звенящими трамваями и прокатными автомобилями, за рулем которых сидели спортивного вида люди в кожаных высоких перчатках и очках-консервах.

Да, Москва — это не чинный Петроград!

К нам подошел высокий парень с кусочками синего неба в глазах и с вьющейся золотой шевелюрой.

— Это и есть твой Белецкий? — спросил он у Виктора и протянул мне руку: — Будем знакомы, гладиолус. Про Илью Фреймана слышал? Не слышал? Тогда еще услышишь.

Он ловко перехватил у Виктора мой чемоданчик, подобрал его, поймал и, почесав переносицу, убежденно сказал:

— Ни золота, ни валюты. Вывод: частный магазин в Москве открывать не собираешься. Верно?

— Абсолютно.

— То-то же. Фреймана не обманешь. Насквозь вижу. Ну как, на лихаче поедем или на трамвае? Предупреждаю — у меня целый.

— Ты у Веры остановишься? — спросил Виктор.

— Конечно.

— Тогда обойдется без лихача. Здесь рядом.

— Значит, трамваем? — Фрейман щелкнул пальцами и лихо



пропел: — «Синячище во все тело, на всем боке ссадина, на трамвае я висела, словно виноградина».

Виктор, посмеиваясь в усы, сказал:

— Раньше в розыске был один трепач — Булаев. Теперь два. Все по Марксу: расширенное воспроизводство...

— Ты меня обижаешь, гладиолус,— сказал Илюша.— Признаться, что Фрейман все-таки вне конкуренции.

— Не спору.

Илюша удовлетворенно тряхнул шевелюрой, и мы направились к трамвайной остановке, где народ с руганью и шутками брал штурмом жалобно поскрипывающий трамвай.

## II

Трамвай дернулся, остановился.

— Чистые пруды, граждане!

Людской поток вытолкнул меня на переднюю площадку. Я попытался ухватиться за поручни, но — куда там! — почти кубарем скатился на булыжную мостовую. Вслед за мной вылезли помятые и распаренные Виктор и Фрейман.

— Жив?

— Наполовину.

Дребезжащий звонок — и шумный трамвайный мир пронесся мимо, оставив нетронутой вековую тишь Чистых прудов.

Безмятежная синь неба. Вдоль рельсов, по которым будто никогда и не ходили трамваи,— сугробы жухлых листьев. Показываются, растопылив пальцы ветвей, молоденькие деревца за штакетником. На скамьях бульвара — матери с закутанными детьми.

— Саша, Саша! Ты куда?

Я невольно вздрагиваю и улыбаюсь: нет, это не меня.

Улыбается и Виктор.

— Такой Москва снилась?

— Такой.

От трамвайной остановки до Мыльниково переулочка ровно две минуты хода. Когда-то я пробегал это расстояние за одну минуту. Здесь все до мелочей памятно. В этом двухэтажном домике с голубыми карнизами жил мой одноклассник, бессменный председатель совета гимназии и нашей «большевистской фракции» всегда спокойный и медлительный Петя Симоненко, а в соседнем дворе была столярная мастерская, в ней Виктор мастерил по вечерам самокат, который стал предметом зависти всех соседских мальчишек. А вот и здание гимназии. Теперь тут какое-то учреждение: парты из классов вытащили и поставили вместо них канцелярские столы. Уютный, окруженный палисадником домик купца

третьей гильдии Пивоварова, а за ним высокая, небрежно оштукатуренная стена нашего дома.

Ноги сами бегут по лестнице. На лестничной площадке второго этажа я останавливаюсь и деловито начинаю отдира́ть прикрепленные кнопками плакат санпросвета: «Пролетарий! Сифилис — враг революции!» Виктор и Фрейман смотрят на меня как на сумасшедшего. Но я не обращаю на них никакого внимания. Наконец плакат снят. Ага, вот она! На стене под слоем краски еще можно разобрать вырезанную перочинным ножиком (шесть лезвий, отвертка и ножицы) надпись: «Саша Б.+Лена П.=любовь». Мы хохочем и взбегаем на третий этаж.

Веры дома, конечно, нет. Она любит своего брата, но не могла, разумеется, «пожертвовать общественным ради личного». Дверь открыл (предварительно выяснив кто, откуда и зачем) наш сосед доктор Тушнов, еще более располневший, с обрюзгшим лицом, густо разрисованным склеротическими жилками. Мой приезд его, видимо, не обрадовал. Он так и не забыл той дурацкой истории, когда я, приняв бандитов за сотрудников МЧК, помогал им производить у Тушновых «обыск» и «изымать драгоценности».

— Прибыли в родные палестины? — кисло сказал он и подозрительно посмотрел на Фреймана, одетого в куцую солдатскую шинель. — Этот гражданин тоже с вами жить здесь будет?

Узнав, что Фрейман претендовать на жилплощадь не собирается, он немного успокоился и почти доброжелательно сообщил:

— Вера Семеновна на кухне обед оставила. Но учтите: только на одну персону...

Фрейман вскоре ушел, оставив меня наедине с Виктором и «обедом на одну персону».

— У тебя мало что изменилось, — сказал Виктор, с любопытством оглядывая комнату. — А я был здесь последний раз в конце девятнадцатого... Та же кровать, та же кушетка, та же пыль...

— Что же ты хочешь? И тогда женской руки не было, и теперь нет.

— Вера не в счет? — улыбнулся Виктор. — Бабьего в ней мало, это верно. Мужик в юбке. Но тут не поймешь, что хуже, что лучше. Я к себе домой на цыпочках вхожу, чтобы грязь не нанести. Тоже не сахар. Жена попалась чистюля из чистюль: половички кругом, на полу соринки не найдешь, кастрюли так надраит — что тебе зеркало...

— Давно женат?

— Два года. Сразу после демобилизации расписался. Уже сыну год. Как видишь, зря время не терял...

— В общем, все сбилось?

— Не-ет, Саша, — пальцем покрутил Виктор перед моим но-

сом.— Ты меня на слове не лови. У меня к жизни счет большой. Я еще многое от нее получить хочу.

— Все жадничаешь? — поддразнил я.

— Жадничаю,— подтвердил Виктор.— Здорово жадничаю. На рабфак хочу. Инженером хочу стать. Хочу такое открытие в науке сделать, чтобы мое имя после мировой революции во всех, какие ни есть, странах знали. Вот чего хочу. И это еще не все. Хочу и внуков своих увидеть, и правнуков, посмотреть, в каких они городах жить будут, послушать разговоры их, поглядеть на дела их...

— Сто лет жизни хватит?

— Давай сто, если больше жалко,— хохотнул Виктор и спросил: — Пишешь в газеты?

— Времени нет.

— Как это нет? Ты, Саша, в будущее смотри. Работник уголовного розыска не профессия, а нэп — дело временное. Мне Савельев как-то про червяков таких рассказывал — планарий. Если этой пакости есть не давать, она сама себя жрать начинает. Так сейчас и нэпманы. Я на этом деле сижу, знаю. А кончится нэп — преступному миру крышка. Куда ты тогда без специальности подашься? А ведь у тебя способности к литературе... Хочешь, с одним парнем-газетчиком сведу? Есть у нас тут такой Валентин Индустриальный. Он тебя быстро натаскает.

Виктор посмотрел на стенные часы и заторопился:

— Ну, это разговор долгий. Отложим до следующего раза, а то мне пора, опаздываю.

Мне хотелось дожидаться Веры. Но она позвонила, что «зашивается с работой» и будет дома только вечером. Сколько я ее помнил, она всегда «зашивалась». Это у нее было такой же укоренившейся привычкой, как и тяга к нравоучениям.

Сидеть одному в квартире не хотелось. Я извлек из саквояжа свое более чем скромное имущество, побрился и отправился в розыск.

Виктор говорил, что Медведев будет сегодня целый день на совещании в административном отделе. Но, видимо, совещание отменили. Во всяком случае, секретарша Медведева сказала, что Александр Максимович у себя, но вряд ли сможет меня принять. Слово «принять» прозвучало внушительно. И где только эта курносая пигалица его подцепила!

Изменились времена. Раньше у Медведева не было секретарши, и никому не приходило в голову, что она когда-нибудь понадобится. И приемной тоже не было. В восемнадцатом году здесь обычно ночевали ребята из боевой дружины, и в том углу, где теперь стоит стол, навалом лежали шинели, матросские бушлаты и стеганки.

Пигалица села за старенький «Ундервуд». Печатала она вроде меня: медленно, тщательно прицеливаясь пальцами в клавиши

машинки. В общем, не печатание, а стрельба по движущейся мишени.

— Может быть, все-таки скажете обо мне Александру Максимовичу?

Пигалица не успела ответить. Дверь из коридора с треском распахнулась, и в комнату влетел Сеня Булаев. Увидев меня, он опешил, но тут же заорал:

— Сашка, ты откуда? Из Питера? Молодчага, нечего там киснуть! Ну, дай тебя пощупать! — Он схватил меня за плечи, завертел, как куклу. — Какой парень, Шурочка, а? Хоть в гвардию правофланговым! Смотри не влюбись!

Когда Булаеву надоело меня вертеть, он толкнул меня в кресло, а сам сел верхом на стул.

— Ну, гроза петроградских налетчиков, какую тобой дырку Максимыч затыкать собирается? В секретной части служить будешь, у Сухорукова? — Я пожал плечами. — Все ясно, — догадался Сеня. — Шурочка не пускает? Сейчас устроим...

Пигалица, с любопытством прислушивавшаяся к разговору, робко сказала:

— Да не примет он его...

Но на Сеню это не произвело никакого впечатления.

— Шура, быстро! Ты что, русского языка не понимаешь? Шура!

— Ох уж этот Булаев! — вздохнула секретарша и отправилась к Медведеву.

Когда дверь за ней закрылась, Сеня сказал:

— Видал? А ты, Сашка, до сих пор не научился с женщинами разговаривать. В тебе этой интеллигентской стеснительности пруд пруди. «Ах, простите, пожалуйста, ах, извините, пожалуйста», — передразнил он. — Все это мелкобуржуазная гниль. А с женщинами как надо? Смирно! Руки по швам! Кру-угом, шагом арш! Иди к Медведеву. Вон Шурочка вышла. А вечером на торжественном заседании встретимся.

— Пройдите, товарищ Белецкий, — сказала секретарша, — товарищ Медведев ждет вас.

Я знал сдержанность Медведева, его сухость. И все же я ожидал, что встреча будет иной: слишком многое нас связывало. Но, как известно, ожидания не всегда сбываются...

Медведев сидел за большим письменным столом в глубине комнаты. Окна были зашторены, на столе горела лампа. Александр Максимович любил работать по ночам и поэтому даже день пытался превратить в ночь. Увидев меня, он встал, легким, без малейших усилий, движением руки отодвинул в сторону массивное кресло. Большой, в хорошо пригнанной гимнастерке, на широкой груди — два ордена Красного Знамени. Он был совсем прежним

Медведевым. Может быть, действительно годы над ним не властны? Нет, властны... Не было тогда в его волосах вот этой белой пряди, не было и гусиных лапок у темных, слегка косящих глаз, морщины на переносице. И походка изменилась, стала более тяжелой, грузной. Постарели вы, Александр Максимович, здорово постарели!

— Здравствуй, Белецкий, садись.

Моя рука совсем потерялась в его широкой ладони.

— Ну, рассказывай, как жил.

Я начал рассказывать. Медведев не терпел многословия, поэтому я старался говорить сжато. Он внимательно слушал, опершись локтями о стол. Иногда задавал вопросы, короткие, точно сформулированные. Никогда не думал, что человеческую жизнь за несколько лет, со всеми ее событиями и треволнениями, можно изложить в десятке фраз. Оказалось, можно...

— Почему не попросил у меня рекомендацию, когда заявление в партию подавал? — спросил Медведев.

Я пожал плечами.

— Боялся, что не дам?

— Нет, не поэтому.

— А почему?

— Как-то в голову не пришло. Да и зачем? Мне кажется, что человека надо оценивать не по вчерашним, а по сегодняшним делам.

— Вот как! — сказал Медведев, и по его тону трудно было понять, одобряет он высказанную мною мысль или порицает.

— Принят сразу после партчистки?

— Через три месяца.

— Это многого стоит, больше любой характеристики. Рад за тебя. Ведь, если говорить откровенно, раньше я тебя считал... Как бы это выразиться?.. — Он шевельнул пальцами, будто пытаясь схватить ускользающее слово. — Случайным человеком в нашем деле, мальчиком возле революции, что ли... В восемнадцатом много таких мальчиков было. Бренчали шпорами и в кожаных куртках ходили... В революцию играли... Веселая была игра, хоть и кровавая... А в двадцать первом стреляться начали: гибнет революция. А кто и собственную лавочку открыл. Чего стесняться, когда все в тартары летит? Живи в свое удовольствие...

— В восемнадцатом я и был таким мальчиком, Александр Максимович...

— Был?

— Был.

Медведев посмотрел мне в глаза. Я выдержал его взгляд.

— Это хорошо, что ты в партию именно сейчас вступил, — неожиданно сказал он. — Значит, тверд в своей вере. Время сейчас трудное, запутанное. Раньше что? Здесь ты — там враг. А теперь порой человек врага в самом себе обнаруживает... А с таким врагом

трудней бороться, его из нагана не уложишь... Ну да хватит об этом,— оборвал он сам себя.— Давай лучше прикинем, чем тебе заняться у нас.

— А вы разве уже не прикинули, Александр Максимович? Медведев впервые за все время нашей беседы улыбнулся.

— Чувствую, что ты у Скворцова неплохую школу прошел. Прикинул, конечно. На нас висят девять нераскрытых убийств. Решено создать специальную группу для их расследования. Руководить ею будет следователь Фрейман. Я тебя с ним познакомлю.

— Мы уже знакомы.

— Тем лучше. Парень он толковый, университет окончил, грамотный, с хваткой, а главное — честный. Но у него совершенно нет опыта милицмейской работы. Как ты смотришь на то, чтобы взять на себя все оперативные разработки? Людей вы с Фрейманом будете подбирать по своему усмотрению. Такая работа тебя устраивает?

— Конечно.

— Тогда с понедельника начинай. Приказ я оформлю сегодня. Если есть желание, зайди сейчас в секретную часть к Сухорукову. Он тебя познакомит с оперативными материалами.

Медведев встал.

— Да, чуть не забыл. Среди дел, которые вам передадут, особое внимание обрати на убийство неизвестного в полосе отчуждения железной дороги. В раскрытии этого убийства заинтересованы не только мы, но и ОГПУ. В случае необходимости сотрудники ОГПУ окажут вам помощь. На вечере сегодня у нас будешь?

— Обязательно.

— Тогда с тобой не прощаюсь, Александр...— он сделал паузу и, улынувшись, добавил: — Семенович.

Спросив у пугалицы, где находится секретная часть, я направился к Виктору. В кабинете, за столом он выглядел еще внушительней, чем на вокзале. О том, что я побывал у Медведева, Виктор уже знал.

— Что он тебе предложил? — спросил он, как только я переступил порог.

Я вкратце пересказал содержание разговора. Виктор поморщился. Чувствовалось, что он недоволен.

— Поспешил, Александр Максимович, поспешил,— сказал он.— Ни к чему это.

— Считаешь, что мы с Фрейманом не сработаемся?

— Наоборот, боюсь, что сработаетесь,— загадочно ответил Виктор.— Тебе бы в секретную часть замом или субинспектором района, но не к Илюше. Говорил Медведеву, но он всегда по-своему поступает.

— А что ты против Фреймана имеешь?

— Ничего. И работник хороший, и товарищ что надо. Но...

— Что «но»?

— Ветерок у него в голове. Ну, одна голова с ветерком куда ни шло, а вот когда две подберутся... Сквозняк, Саша, получится!

— Вон как! А я не знал, что ты такого мнения о моей голове.

— Ну-ну, не петушись,— подмигнул Виктор.— Я же не сказал, что ветер, а так, ветерок. И до чего ты все-таки обидчивый! Интеллигент, одним словом. Садись, потолкуем. Работа вам предстоит тяжелая, а без секретной части и шага не ступите, так что дружбу давай не портить и на правду не обижаться. А что сделано, то сделано, чего уж там говорить!

### III

Здание, занимаемое Московским уголовным розыском, не было приспособлено для торжеств. И недавно оборудованный актовый зал, несмотря на свое громкое название, был явно маловат. Сюда можно было втиснуть человек сто пятьдесят — двести, но никак не пятьсот. И, протискиваясь среди плотно сидящих в проходе людей, Сеня Булаев ругал завхоза, совдеп и свою судьбу.

— Кажется, в первом ряду есть места,— сказал я, заглядывая через головы сидящих.

— Какой дурак на глаза лезет! — удивился Сеня.— Опытный вояка всегда путь к отступлению обеспечивает. А с первого ряда легко не смотаешься...

Сеня остановился и хлопнул по плечу сидящего с краю бритого толстяка в коверкотовой гимнастерке со значком «Добролета» на груди.

— Чего тебе? — недовольно обернулся тот.

— Еще спрашивает! — сказал Сеня.— По всему управлению его разыскивают, а он и в ус не дует! Жена телефон оборвала. Раз десять уже звонила: подайте моего Филиппенку, и кончено.

Толстяк неохотно поднялся.

— Пойду позвоню. Беда с этими бабами, ни минуты покоя!

— Тебе, Филиппенко, в ликбез сходить надо,— посоветовал Сеня, усаживаясь на освободившийся стул.— Какие теперь бабы? Теперь баб нет. Ликвидированы. Теперь только вполне равноправные товарищи жены остались. Уяснил?

Толстяк хотел было огрызнуться, но только махнул рукой.

— Соврал небось насчет жены? — спросил я.

— А тебя что, совесть заедает? Ему, если хочешь знать, это вроде моциона. Мне один доктор говорил: жирным первое лекарство — пробежка. Каждая верста — год жизни. Сто верст — сто лет. Пусть побегают...

Медведев объявил вечер, посвященный годовщине рабоче-крестьянской милиции, открытым и поздравил всех сотрудников с праздником. «Москва,— сказал он,— всегда была красной проле-

тарской кузницей кадров. Рад сообщить вам, что подготовленные в Московском уголовно-розыском подотделе работники проявили себя с самой положительной стороны в тех городах, куда их направили. Рад вам сообщить и другое. Как раз в эти дни занял свое почетное место среди аэропланов Красной Армии самолет «Красный милиционер». Пожелаем летчикам, которые на нем летают, зорко нести в небе милицейскую службу. Пусть этот аэроплан будет грозой для всех империалистических бандитов, если они посягнут на колыбель мировой революции!»

Зал всплеснулся аплодисментами. На авансцену, перед скрещенными знаменами, вышел красивый парень в милицейской форме. Переждав аплодисменты, он картинно поднял руку и прочел:

На ниве великой борьбы зародилась  
Под звуки ликующих струн Октября,  
Милиция красная,  
Сила бесстрашная,  
Ты Армии Красной сестра.  
Свой путь расчищая руками с мозолями,  
Под солнцем пылающей жизни весны  
В рабоче-крестьянской  
Семье пролетарской  
Несешь боевые посты...

Конец этого стихотворения я забыл. Помню только, что поэт называл милицию оком пролетарской власти, а уголовный розыск сравнивал со сторожевой цепью.

Сеня Булаев, который не любил излишней торжественности, наклонившись к моему уху, на всякий случай сказал:

— Сережка Петров, делопроизводитель... В угрозыске без году неделя...

Стихи понравились. Сережке Петрову долго и громко хлопали. Наш сосед, парень с восторженными глазами, говорил, растирая покрасневшие ладони:

— Это тебе не Пушкин или там Лермонтов — настоящие стихи.

Медведев предоставил слово для доклада заместителю начальника Центророзыска Пискунову.

Пискунова, бывшего комиссара дивизии, я знал еще по Петрограду, куда он приезжал вместе с сотрудниками бригады «Мобиль»<sup>1</sup> для обобщения опыта раскрытия убийств. Мне тогда пришлось работать с ним месяца полтора. Работник он был дельный, но оратор плохой. Ему не хватало пафоса и того ораторского накала, который превращает кипение души в пар слов. И все же его слушали напряженно. В этом внимании было не только уважение к его заслугам. Пискунов говорил о том, что имело самое непосредственное отноше-

---

<sup>1</sup> Бригада, созданная при Центророзыске для расследования бандитских нападений и убийств.



ние к каждому из нас. Собравшихся волновал и налет на советское торгпредство в Берлине, и отставка Мильерана, и возобновление дипломатических отношений с Китаем, и забастовка 600 тысяч рабочих в Руре, и указание итальянского министра просвещения Муссолини об изъятии из библиотек «Капитала», и то, почему Форд снял свою кандидатуру в президенты США, и то, что переговоры советской делегации с Макдональдом о перевозке праха Карла Маркса в Москву кончились безуспешно.

Пискунов говорил о мировой буржуазии, имеющей в лице нэпманов своих агентов у нас, о «бескровной, но жестокой борьбе с частником», который захватил ряд ключевых позиций в торговле и «протягивает свои хищные щупальца к промышленности». И каждый хочешь не хочешь, а должен был понять, что даже владелец булочной, расположенной напротив МУРа, не просто частник, а полномочный представитель мировой буржуазии. Что из того, что он ни разу не пил чай с Макдональдом, не приглашал его на пульку и, возможно, даже не подозревал о его существовании? Их связывала ненависть к Советской власти, желание забрать и вручить капиталистам национализированные фабрики и заводы, сесть на шею трудовому народу России. И до чего же изворотлива эта мировая буржуазия, змеей вьется — все ищет, куда бы ужалить!

— Надо заставить нашего врага — совбура служить делу социализма. Пусть он сам копает себе могилу, — говорил Пискунов, — и мы можем многое тут сделать. Особо важно усилить контроль милицейских масс за рынком, где бушует мелкобуржуазная стихия. Государственный налоговый аппарат, — слово «аппарат» Пискунов произнес так трескуче, будто хлестнул пулеметной очередью, — недостаточно надзирает за местами выработки и хранения подакцизных товаров, и спекулянты торгуют необандероленными папиросами, восковыми свечами, чаем, сахарином и даже спиртом. Это лишает республику соответствующих доходов, ведет к торговой анархии, способствует обогащению спекулянтов и в конечном итоге укрепляет экономические и политические позиции частника. Равнодушно взирая на это — значит способствовать контрреволюции. А чтобы хорошо бороться с эксцессами нэпа, надо постоянно повышать свою политическую, правовую и профессиональную грамотность.

Пискунов рассказал о решении ЦАУ НКВД<sup>1</sup> провести в республиканском масштабе единовременную аттестацию командного и административного состава милиции, о новых льготах для сотрудников милиции (бесплатное обучение детей в школах 1-й и 2-й ступени и преимущественное предоставление губкомхозами квартир в муниципализированных зданиях), о «месячнике красного мили-

<sup>1</sup> Центральное административное управление Народного комиссариата внутренних дел.

ционера» в Москве. Потом он, как и положено всем докладчикам, обратился к недостаткам.

— Московский уголовный розыск на хорошем счету. Но и у вас хватает недостатков. Имеются нераскрытые опасные преступления, в том числе и убийства. Настольный реестр дознаний ведется небрежно, нет точных сведений о движении дел, а постановления об аресте иногда выписываются без санкции начальника.

Видимо, одно из важнейших качеств настоящего оратора — умение чувствовать настроение аудитории. Пискунов этим качеством не обладал. Напряжение первых минут спало. Его уже слушали невнимательно, вполуха. Люди устали. Нетерпеливо поскрипывали стулья, в задних рядах шепотом переговаривались.

— Ты досиди, а я маленько передохну, — сказал Сеня. — Опять же о наших недостатках я лучше его знаю. Медведев мне уже два выговора вкатил, третий собирается...

После доклада, когда был объявлен перерыв (ожидалось еще выступление художественной самодеятельности), Булаев отыскал меня в коридоре, где я рассматривал висевший на стене праздничный номер стенгазеты «Революционное око».

— Название я придумал. Здорово? — сказал он, любуясь хорошим красных букв и нарисованным с анатомической точностью гигантским глазом. — Вчера у нас были из губотдела профсоюзов — рыдали от восторга!

— Уверен, что от восторга?

Но Сеня не обратил внимания на шпильку.

— Пошли к Савельеву. У него ребята собрались.

#### IV

Кабинет одного из патриархов Московского уголовного розыска и крупнейшего специалиста сыского дела — Федора Алексеевича Савельева находился в самом конце коридора.

В небольшом, насквозь прокуренном кабинете Савельева за выдвинутым на середину двухтумбовым письменным столом сидел Виктор Сухоруков. Фрейман взгромоздился на стол. Сам хозяин кабинета, непривычно нарядный, в тщательно выглаженной гимнастерке с девственно белым подворотничком, расположился на черном клеенчатом диванчике, знакомом мне еще по 1919 году. Его обычно скучные рыбы глаза, запятанные в мешочках дряблой кожи, влажно поблескивали. Савельев блаженствовал. Всем своим видом он напоминал старого, многоопытного кота, который, вытянувшись на крыше, не без юмора наблюдает за суетящимися рядом бойкими воробышками. Ах, молодость, молодость! До чего же она самонадеянна и легкомысленна! Вот этот, желторотый, с куцым хвостом, возле самой морды мельтешит, глупый! Цап-царап —

даже чирикнуть не успеет. Но кот сыт и стар, а солнышко так ласково греет... Ленился кот. К чему лишние движения? Чирикайте, короткохвостые, чирикайте, пока чирикается!

Мне даже показалось, что Савельев по-кошачьи шевельнул усами. Для полного сходства ему не хватало только хвоста, такого пушистого, длинного.

Увидев меня, он собрал в трубочку губы и, смотря в потолок, лениво проговорил:

— Белецкий Александр Семенович. Родился 17 февраля 1900 года по старому стилю, в семье врача. В своем прошении о зачислении в уголовный розыск допустил две синтаксические ошибки. Трудностей для оперативного отождествления не представляет.

Это был старый фокус. Мне не раз приходилось присутствовать в качестве зрителя на подобных представлениях, которые пользовались неизменным успехом. Но объектом для демонстрации я оказался впервые. Было такое ощущение, будто меня раздевают и деловито осматривают при всем честном народе. А Савельев, строго следуя разработанным им правилам игры, подробно перечислял мельчайшие факты моей биографии. Потом, так же глядя в потолок, он перешел к словесному портрету.

— Голова круглая, средней величины, обычно склонена к правому плечу; затылок плоский, видимо, в результате перенесенного в детстве рахита (и тут не ошибся!). Лицо овальное, с расширением вверх. Нижняя челюсть узкая, выступает вперед. Лоб тоже узкий, высокий, выпуклый, с небольшими лобными буграми, надбровные дуги выражены слабо. Нос высокий, узкий, переносье неглубокое, спинка носа прямая, основание горизонтальное, крылья носа хорошо очерчены. Линия смыкания губ выпуклая, углы рта горизонтальные. Зубы крупные, ровные, с желтизной...

— Улыбнись! — приказал Сеня, заглядывая мне в лицо, и подтвердил: — Как в аптеке. Тебе бы, Федор Алексеевич, в цирке выступать!

— Да, — сказал Фрейман, — любопытно, весьма любопытно.

Он, кажется, впервые присутствовал при этой удивительной демонстрации памяти и наблюдательности. Разумеется, любопытно! Но как бы он чувствовал себя на моем месте?! Может, ему хочется заменить меня?

Виктор хотел что-то сказать, но Илюша предостерегающе поднял вверх указательный палец.

— Ша, не мешай артисту!

— Подбородок узкий, анфас — закругленный, в профиль — выступающий, с поперечной бороздой, — продолжал Савельев, не обращая на нас внимания. — Уши прилегающие. Правая ушная раковина небольшая, узкая, овальная... Походка быстрая, порывистая, ступает на пятку. Ступни ставит носками наружу, кривит

каблуки, сбивает их вовнутрь. Устойчивые привычки: жует мундштук папиросы, затем отрывает зубами и выплевывает кончик мундштука, папиросы не докуривает. Задумываясь, закусывает нижнюю губу, в связи с чем она в трещинах, особенно в холодное время года; смазывает ее вазелином. Пальцы, как правило, в чернильных пятнах, особенно указательный и средний на правой руке, ноготь указательного почти всегда окрашен чернилами...

Я невольно посмотрел на свои пальцы.

— Особые приметы? — спросил Сухоруков, включаясь в игру.

— За мочкой правого уха небольшой дугообразный рубец. Сломан зуб... Кстати, коронку поставил?

— Поставил.

Сухоруков спросил, какой зуб.

— Левый верхний резец, — не задумываясь, ответил Савельев. — На локте правой руки серое родимое пятно звездчатой формы. Видимо, в детстве была сломана левая ключица, остался костный шрам в виде небольшого бугорка... Достаточно?

— Вполне, — сказал я. — С меня, во всяком случае.

— Земля стоит на трех китах, а уголовный розыск? — риторически спросил Сухоруков.

— На Федоре Алексеевиче, — подсказал Сеня.

— Аминь!

Довольный произведенным впечатлением, Савельев тряхнул брылями щек и подмигнул:

— Вон оно как, петроградец! Садись, пиво пить будем. — Побряхтывая, он передвинулся на диванчике, освобождая мне место. — А на меня, старика, не обижайся: твои дружки упросили. Они просили, с них и спрашивай, — скаламбурил он.

— Любопытно, весьма любопытно, — повторил Фрейман.

— А чего любопытного? — ухмыльнулся Савельев. — Я вот в свои пацаньи годы все Иваном Разумневичем восхищался. Он в Нижнем на ярмарках такие штучки проделывал — ахнешь! Нос шилом протыкал, уши. Чистый папуас. Потом его перед империалистической в Москве встретил. Разговорились. Ничего мужчина, только за воротник часто закладывал. Спился, в общем. То да се. Спрашиваю: «Как же ты боли не боялся?» А он и отвечает: «Человек себя ко всему приучить может. Было бы время для учения». Я теперь, мил-друг Илюша, вроде профессора, который только взглянет на тебя и тут же диагноз выкладывает: двенадцатиперстная кишка пошаливает или там почка никак своего законного места найти не может. Опыт, мил-друг, опыт. В жизни все по пчелиным законам строится. Умные твари. У них в сотах такой порядок — позавидуешь! Первые три дня после рождения пчелка в уборщицах служит — ячейки чистит да опыта набирается. На большее пока не способна — глупа. Потом ее приемщицей назначают, сторожем —

все учится. Ну а к концу жизни только тем и занимается, что нектар собирает. Вот я сейчас как раз в том самом возрасте. Подожди малость, придет и твое время нектар собирать...

— И долго ждать?

— Нет, лет двадцать пять — тридцать, не более.

Илюша тряхнул шевелюрой, громко засмеялся:

— В общем, без лысины не обойтись?

— Само собой, — серьезно сказал Савельев. — Лысина больше, чем орден, о заслугах и опыте свидетельствует. С лысым я всегда уважительно разговариваю. У каждого человека, что в летах, есть чему поучиться.

Сеня Булаев достал из-под стола дюжину зеленых бутылок днепроторговского пива, грудку черных сухариков, густо присыпанных солью, и кулек с вареными раками. Фрейман вытащил за клешню крупного рака, залюбовался:

— Красавец! Что же ты, гладиолус, не захватил заодно водки?

Сеня возмутился:

— Ты провокатор, Фрейман! Ты понимаешь, о чем говоришь? Я, как сознательный сотрудник рабоче-крестьянской милиции...

— Сегодня можно, — прервал его Виктор.

— Ну, если начальство разрешает...

Среди бутылок пива мгновенно заняла свое место бутылка русской горькой, «приготовленная лучшим в России водочным мастером В. А. Ломакиным, при участии инженера-консультанта Госспирта В. В. Штритера». Та самая, которую реклама призывала требовать во всех магазинах.

— Надо по мере сил государственную торговлю поддерживать, — сказал Сеня, вываливая на стол раков. Он аккуратно разлил по стаканам водку.

Мы выпили за годовщину, за то, чтобы Савельев прожил до ста, а потом еще столько же.

Сухоруков скинул пиджак, развязал галстук и тотчас же стал тем самым Виктором, которого я всегда вспоминал в Петрограде.

— За нашего нового работника! — предложил Сеня.

— И за то, чтобы не каждый день его пальцы были выпачканы в чернилах, — добавил Фрейман.

Мы чокнулись.

Потом молча курили.

— Леонид Исаакович в таких случаях говорил: «Если пятеро друзей собрались вместе и молчат, значит, им о многом хочется поговорить», — сказал Виктор, и на его лице мелькнуло то детское выражение, которое я всегда так любил.

— Кто это Леонид Исаакович? — спросил Фрейман.

— Наш гример. Ты его уже не застал.

Я вопросительно посмотрел на Виктора.

— Умер,— сказал он.— Два года назад, весной. С легкими у него чего-то было. На Немецком кладбище похоронили, там же, где и Тузика. Знал, что умирает. Перед самой смертью говорил: «Кажется, делаю самую большую ошибку в своей жизни. Зато последнюю. Как вы думаете, это утешительно?» Большое дело — красиво умереть. Да, шутил... А Горев ушел на пенсию, к родственникам в Рязань уехал. Так и был до последнего дня инспектором Рогожско-Симоновского района. А сейчас огородничеством увлекся. Какой-то новый сорт капусты выводит...

— Да, Петр Петрович теперь в огороде копается,— подтвердил Савельев. Он выплеснул в свой стакан остатки водки из бутылки, выпил, сморщился, понюхал для чего-то раковую клешню. Помотал лобастой лысой головой.

— Охо-хо, летят годы, как курьерский. Маши не маши флажком — лишь колесики постукивают. Был молодым, был пожилым, а теперь что? Старость накрывает... По себе не замечаешь, а по другим видно. Тебя, к примеру, Саша, я ведь пацаном помню. Кутенком был, когда дактилоскопические карточки у меня здесь составлял. Даже мозолька на верхней губе. А теперь, гляди, скоро папашей станешь. И осанка появилась, и бреешься через день, и басишь как положено. Про Виктора и Сенью уже не говорю — сесть начали...

— Невеселые, видно, пчелиные законы? — сказал Фрейман.

— А в законах вообще мало веселого, Илюшенька. Ничего не поделаешь. Кто рысцей, кто галопом, а все к могильному холмику. К старости не шубой — воспоминаниями греются... Вот я и вспоминаю прежнее время. Хороший у нас народ был... Вчера Мефодия Мартынова встретил, идет себе, бородой колышет. Трестом заправляет. Портфель пуда на полтора, очки. Важный такой. Даже не поверишь, что в сыскной работал. Спрашиваю: «Ты Мартынов или не Мартынов?» — «Мартынов»,— говорит. «Так зачем тебе портфель? Бросай, пока не поздно. Помнишь, как Клинкина на даче брали?» Руками машет: «Чего прошлое ворошить? Что было, то быльем поросло». Тоже теперь в своем огороде копается... А Груздя не встречу... Провожал их на фронт двоих — его да Виктора. А встречать одного Виктора пришлось... При тебе погиб? — спросил он Сухорукова.

— При мне. Вместе в цепи шли, когда из хутора деникинцев вышибали. Он еще на ботинок жаловался — жал ему. Новые ботинки были, английские, с пленного снял. Потом замолчал. Гляжу — уже лежит, ноги поджал. Наповал...

— Да, не прожил морячок положенного, поторопился с ним господь...— Савельев отвалился на спинку диванчика, почмокал губами.— Жох парень был. И сердце доброе. Как он этого пацана Тузика пестовал? Не каждая мать так за сынком ходит...

Разговор перекинулся на воспоминания, трогательные и слегка приукрашенные. Недавнее прошлое, очищенное от крови, от шелухи быта и неприятных, а порой и страшных подробностей, выглядело привлекательным и прекрасным. Разве сравнить то время с нынешним? И дела были интересней, и бандиты солидней («Возьми, к примеру, Мишку Рябого или атамана Хитровки Разумовского. Уж если они брались за дело, так мозги вывернешь, пока до сути докопаешься. А сегодняшние? Шпана, а не налетчики, мразь одна, только и знают, что из шпалера палить...»).

Фрейман, который не мог принять участие в этом разговоре (в розыске он работал всего года полтора), тоскливо поглядывал на дверь: сидеть ему было скучно, а уйти неудобно. Я подсел к нему. Рассказал о беседе с Медведевым. Оказывается, о моем назначении он не знал. Эта новость его обрадовала.

— А знаешь, гладиолус, старик неплохо придумал.

— Кстати, что за дело, о котором говорил Медведев?

— Ты имеешь в виду убийство в полосе отчуждения железной дороги? — спросил Илюша. — Мутное дело.

— Кто убит?

— Неизвестно. Труп не опознан: лицо — сплошное кровавое месиво. Вся загвоздка в письме. В кармане пиджака, за подкладкой, нашли. Оно и разожгло страсти. Наши всполошились, в ГПУ заинтересовались...

— А от кого письмо?

— Видимо, писал сам убитый, причем незадолго до смерти. На указательном пальце у него — красное чернильное пятнышко, и письмо написано красными чернилами. А само письмо было вложено в неиспользованный конверт с наклеенными марками.

— Адрес на конверте был?

— Нет.

— А какие предполагают мотивы убийства?

— Всё предполагают. Но пока ничего определенного. Домысел на домисле. Столько версий, что на сотню дел хватило бы. А под каждой только песочек. Тем и занимаемся, что у гадалок хлеб отбиваем. ГПУ дело не берет: ясности требует. А попробуй добиться этой ясности! Сплошной туман. Следствие проведено поверхностно, фотографии сделаны плохо, труп вскрывал какой-то полуграмотный фельдшер... В общем, с этим делом мы с тобой еще намучаемся.

— А что за письмо?

— Если хочешь, могу показать. Оно у меня в сейфе. Любопытное письмишко.

— Пошли к тебе.

Кабинет Фреймана находился через две комнаты от кабинета Савельева. Илюша достал из сейфа серый плотный конверт, вытряхнул на стол два сложенных листика бумаги, сел на стул, запустил в волосы тонкие, длинные пальцы.

— Как думаешь, марсиане тоже сейчас годовщину рабоче-крестьянской милиции справляют?

— Вряд ли.

— Ты такой же скептик, как Савельев,— вздохнул Илюша.— Скучно с вами: ни капли воображения.— И неожиданно предложил: — Махнем в пампасы?

— Верхом на палочке?

— Нет, на аэроплане «Красный милиционер». Представляешь зрелище? В центре два талантливых работника Московского уголовного розыска, а кругом на сотни миль одни ананасы!

— В пампасах ананасы не растут.

— А ты откуда знаешь? Ведь не был там. Настоящий оперативник должен все собственноручно проверять. Ну ладно, не хочешь в пампасы, тогда читай письмо,— великодушно разрешил он.

Письмо, написанное красными чернилами, сильно пострадало от крови. С большим трудом можно было разобрать только отдельные строчки. «...Не знаю, на чем Вы основывались,— писал безымянный отправитель безымянному адресату,— но Вы ошибаетесь. Впрочем, я не испытываю никакого желания разбираться в Ваших заблуждениях и вспоминать свои. У меня сейчас нет прошлого, и я не заинтересован в его воскрешении. Что же касается..... В жизни, как известно, трагическое нередко переплетается со смешным..... Для меня символизируют две надписи: *Belsatzar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht*<sup>1</sup> и «Убедительно просят оставлять стул таким чистым, каким его занимают». Вы ожидали иного? Извините..... Что же касается.....»

После нескольких совершенно размытых строчек перечислялись какие-то иконы:

«...Образ Федоровской божией матери в деревянном футляре, написанный на дереве, задняя стенка футляра обита малиновым бархатом, на венце звезда с бриллиантами; деревянная икона Сергия Радонежского; две иконы Симеона Верхотурского; деревянная икона Благовещения пресвятой богородицы; два маленьких тельных медальона-образка в серебряной оправе с ушками, один из них — Нерукотворный спас, другой — Николай-чудотворец...»

Потом список книг:

«Великое в малом» и «Антихрист» Сергея Нилуса; «Лестница Иоанна игумена Синайской горы» в сафьяновом красном переплете с монограммой; «Письма о христианской школе»; «Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского»; «Акафист богородице»; «Молитвослов» в синем коленкорovém переплете; «Двенадцать евангелий»; «Сборник служб, молитв и песнопений»...

<sup>1</sup> «В эту самую ночь Вальтасар был убит своими рабами» (нем. Из стихотворения Генриха Гейне «Вальтасар»).



Перечень совершенно неожиданно заканчивался «Рассказами для выздоравливающих» Аркадия Аверченко и «Правилами игры на балалайке».

— Ну как? — спросил Илюша, который все время, пока я читал, внимательно наблюдал за выражением моего лица — видимо, ожидал какой-то реакции.

Я пожал плечами.

— Обе надписи, которые приведены в письме, были сделаны в доме Ипатьева, — сказал Фрейман, подчеркивая каждое слово.

Это мне ничего не говорило.

— В доме какого Ипатьева?

— В том доме в Екатеринбурге, где расстрелян Николай II.

— А если без шуток?

— Вполне серьезно. Понимаешь, — сказал он, — строчка из Гейне написана после расстрела царя одним бывшим военнопленным из комендантского взвода Екатеринбургской ЧК. Это точно. Надпись была сделана на южной стене угловой комнаты нижнего этажа дома Ипатьева. Там приводили в исполнение приговор Уралсовета, когда выяснилось, что фронт долго не продержится. Вот фотография, сделанная тогда же фотографом ЧК: — Илюша положил передо мной снимок, на котором был изображен участок выщербленной оштукатуренной стены с карандашной надписью на немецком языке. — Я допрашивал рабочего с фабрики братьев Злоказовых. Он был тогда во внутренней охране. Эту надпись он хорошо помнит.

— А вторая надпись тоже была в доме Ипатьева?

— Да. На втором этаже, в уборной. Это тоже факт. Сделана фиолетовыми чернилами на листке линованной бумаги. Висела над унитазом. Мне об этом рассказал тот же рабочий.

Я ожидал чего угодно, только не того, что убийство неизвестного каким-то образом соприкасается с судьбой бывшего царя. Теперь мне был понятен интерес к этому «мутному», по выражению Илюши, делу.

— Ты обратил внимание на список икон и книг?

— Конечно.

— Это почти исчерпывающий перечень книжек и икон, которые царская семья привезла в Екатеринбург из Тобольска. Иконы и религиозная литература в основном собственность царицы, а Аверченко зачитывался бывший император всея Руси...

— «Правила игры на балалайке» тоже его?

— Нет, это единственная книга наследника Алексея. Николай, видимо, считал, что для будущего повелителя России в первую очередь необходимо научиться играть на балалайке. У него были свои взгляды на науку управления...

— Кем же, по-твоему, был убитый?

— Ты сотый человек, который задает мне этот вопрос,— устало сказал Илюша.— С тем же успехом можешь обратиться с ним к игумену Синайской горы или к Симеону Верхотурскому. Не хочешь в пампасы? Тогда давай пойдем спать. Засиделись.

Он собрал со стола бумаги, положил их в сейф, закрыл дверцу сейфа и дважды повернул ключ. В коридоре о чем-то разговаривали Савельев и Виктор Сухоруков. Снизу, из актового зала, доносились победные звуки «Варшавянки». Только сейчас я почувствовал, как устал за сегодняшний день. Илюша прав: давно пора спать. Вера уже, наверно, заждалась меня.

## V

Судебная статистика — наука, которую я никак не могу отнести к точным, хотя она и приходится дальней родственницей математике,— свидетельствует, что в годы нэпа самым распространенным преступлением было винокурение. Некий экономист утверждал, что этим прибыльным делом занималось почти 8 процентов крестьянских дворов, в которых имелось свыше миллиона самогонных аппаратов. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, по вечерам на улицах частенько можно было услышать залихватское:

Сами, сами комиссары,  
Сами все профессоры,  
Сами гоним самогонку  
По всей Рэ Сэ Фэ Сэ Ры.

И все же такие дела в Московском уголовном розыске составляли всего 15—16 процентов. Зато расследованием афер занималась добрая половина сотрудников. Среди аферистов попадались просто жулики, жулики-предприниматели, жулики-фантазеры и жулики-обоснователи, которые оправдывали свои действия чуть ли не общественными интересами. Помню, как, перепутав впопыхах лозунг «Коммунисты, учитесь торговать!» с призывом заняться любой коммерческой деятельностью, председатель Ленинградской комиссии Помгола (помощи голодающим), человек по натуре честный и бескорыстный, открыл низкопробный ресторан «Веселый ад», вскоре превратившийся в филиал черной биржи, а руководители ВТОПАДа (Всероссийское товарищество образовательно-производственных ассоциаций допризывников), чтобы не отстать от помголовцев, кинулись в рискованные финансовые авантюры. Не брезгуя чисто мошенническими трюками, они спекулировали маслом, колесной мазью, мануфактурой, часами. На допросе один из них так обосновал свою деятельность:

— Клин вышибается клином. Нэпманским аферам мы обязаны противопоставить свои, рабоче-крестьянские...

Представитель Грузинского курупра (курортного управления)

по распространению боржоми в Москве Небадзе (его резиденция находилась почему-то в помещении Малого театра) разработал грандиозный проект постоянного снабжения боржоми всего Американского континента. Он даже отправил для начала несколько вагонов с боржоми Форду и переписывался с курупром об организации боржомных киосков с грузинками-продавицами во всех крупных городах Америки. Планы Небадзе, разумеется, не осуществились. Но под них ловкий авантюрист получил во Внешторгбанке кредит в 200 тысяч рублей. После этого коммерческая фантастика уступила место суровой криминалистической реальности — распространителя боржоми удалось разыскать только через полгода.

Такие небадзе выплывали на поверхность мутного нэпманского моря сотнями.

Переход к нэпу ознаменовался и ростом бандитизма. Свыше ста убийств в различных городах республики совершила банда «ткачей» под руководством Мишки Культияного. Много хлопот доставили банды Панаретова, Глобы, Чугуна, Ваньки Гатчинского, Володьки Гужбана, «Девятка смерти», «Черная маска», «Банда лесного дьявола» и другие группы, о которых теперь помнят только экскурсоводы криминалистических музеев Москвы и Ленинграда. Особенно участились бандитские налеты и убийства после голода 1921—1922 годов.

Но если с аферистами и налетчиками Московский уголовный розыск справлялся сравнительно успешно, то с расследованием так называемых «тихих убийств» дело обстояло плохо. Тут мало было знаний преступного мира и более или менее ясного представления об оперативной работе. Зачастую убийцы не были связаны с профессиональными уголовниками. Это осложняло их разоблачение. И не случайно так долго оставался на свободе печально известный Петров-Комаров: агенты розыска просто не представляли себе, где и как искать таинственного убийцу, о котором в преступном мире ничего не знали...

Не было ни одной оперативки, на которой Медведев не говорил бы о низком уровне раскрываемости убийств.

— А кто виноват? Я, что ли? — обычно жаловался после совещаний Сеня Булаев, которому почему-то особенно не везло с этими делами. — На уровне каменного века работаем. В Германии как? На каждого полицейского по три собаки-ищейки. Какую прикажете: длинношерстную, короткошерстную или иглошерстную? Доберман-пинчера? Пожалуйста. Немецкую овчарку? Будьте любезны. Эрдельтерьера? С дорогой душой. А какие собаки! Профессора, а не собаки! Разве только на лапу не берут и по-французски не тявкают. А у нас? Смехота. Единый на все управление кобель — помесь рязанского пса с калужской кошкой — и тот не за преступником, а за жареной колбасой следит. Да убийца даже из гонора никаких

следов такому паразиту не оставит... Опять же в Германии психотехника. Знаешь, что такое? Нет? И я не знаю. Пороскопия, веноскопия... Наука! Все книжки великого Бертильона, как «Отче наш», знают!

— Зато у них и преступники другие,— посмеивался Сухорук.— Они все эти премудрости получше полицейских освоили. Читал про воздушный бандитизм в Американских Штатах? Грабили пассажиров самолетов в воздухе, а потом — из окошка на парашютах. Специальную воздушную полицию создали — десять эскадрилий... Наш уголовник перед западным — дитя бесхитростное: зарезал, забрал два с полтиной, выпил на радостях и уснул в обнимку с жертвой... Я бы на твоём месте русскому преступнику свечку поставил. Только благодаря его бесхитростности тебя и держат в угрозыске...

Сеня начинал кипятиться, и разгорался спор. Один из тех споров, когда противники не пытаются убедить друг друга, а стремятся высказаться.

Криминалистической техникой мы действительно не были богаты. Не хватало фотоаппаратов, а имеющиеся аппараты и принадлежности к ним были низкого качества. Проблемой являлись дактилоскопические пленки и даже цветные порошки для проявления бесцветных отпечатков пальцев. И все же основным, пожалуй, было другое: неумение и чрезмерная загруженность делами. В первые годы после революции агентам розыска в основном приходилось заниматься борьбой с бандитизмом. Облавы, патрулирование, засады, перестрелки, погони... Мужественный человек почти всегда становился хорошим оперативником. Не шарахается от пуль, не трясется за свою шкуру, ловок, находчив? Значит, подойдет для работы в розыске. А для расследования бытовых убийств нужны были иные качества. Такие дела требовали вдумчивости, углубленной работы, умения анализировать и обобщать факты, а главное — терпения. И боевые ребята, которые побывали в сотнях стычек с бандгруппами, мгновенно складывали оружие перед невидимым противником. Хорошо, если дело было «цветным» — абсолютно ясным, тогда его с грехом пополам доводили до логического конца. Но если преступник, по выражению Виктора, не уснул в обнимку со своей жертвой и не было прямых улик, оперативник нередко старался спихнуть это дело в разряд безнадежных или передать его Савельеву.

В этом я убедился, познакомившись с переданными нашей группе делами. Среди убийств попадались настолько элементарные, что оставалось лишь удивляться, как они оказались в числе нераскрытых. Но были и сложные, запутанные, и среди них наиболее трудоемким оказалось убийство неизвестного в полосе отчуждения железной дороги.

Труп убитого обнаружили в овраге, недалеко от дачного поселка, в восьмидесяти саженях от полотна железной дороги. Это был стройный, русоволосый мужчина лет сорока — сорока пяти, в дорогом пальто с шалевым воротником. Лицо разможено. Неподалеку валялся окровавленный булыжник. Никаких документов при убитом не оказалось (письмо за подкладкой пиджака нашли совершенно случайно, когда сдавали одежду в кладовую вещественных доказательств), не было и особых примет, которые могли бы помочь опознанию. На спине убитого зияла глубокая колотая рана, на шее виднелись ссадины полудунной формы, было сломано три ребра и вывихнута нога.

Фельдшер, производивший вскрытие, отметил в акте характерные для удушения признаки, но подчеркнул, что рана в спине тоже была смертельной. Что же касается перелома ребер, вывиха ноги, обезображивания лица и многочисленных ссадин — все эти повреждения, по его мнению, носили посмертный характер. В отличие от Илюши, я не относился с излишним скептицизмом к познаниям фельдшера, тем более, что его выводы подтверждались целым рядом других обстоятельств.

На железнодорожной насыпи агент второго разряда Мотылев, который руководил оперативной группой, выехавшей на место происшествия, обратил внимание на характерный след скольжения тяжелого предмета по гравию. Возле куста под насыпью он заканчивался несколькими кровавыми пятнами неопределенной формы. Там один из оперативников нашел связку ключей. От куста до оврага шли хорошо заметные следы волочения. То, что труп оттаскивали от насыпи к оврагу, подтверждалось и тем, что на задниках ботинок убитого имелись надрывы с набившимися в них землей и гравием, а пальто на спине было сильно запачкано глиной и порвано.

В протоколе осмотра места происшествия упоминалось о двух однотипных дорожках следов ног. Одна из них тянулась вдоль железнодорожной линии со стороны станции к тому месту, где вначале лежал труп, а другая вела от овражка к пристанционному скверику. Учитывая все это, можно было предположить, что неизвестный был убит в поезде, когда тот приближался к станции. Преступник, подойдя сзади, схватил жертву за горло левой рукой (ссадины находились на правой стороне шеи), начал душить и одновременно правой рукой нанес удар ножом. Затем труп был выброшен из вагона. Сойдя на станции, убийца разыскал труп, оттащил его в овраг, подальше от посторонних глаз, обыскал (пальто и пиджак были расстегнуты, карманы вывернуты) и разможил лицо камнем.

Мотылев привез с собой ищейку. Она взяла след и повела к станции, затем свернула к скверику, пролезла через отверстие в

ограде, обошла клумбу и вывела на перрон. Здесь след был потерян. Больше никаких попыток задержать преступника Мотылев не предпринимал. Он не опросил работников станции, местных жителей, пассажиров вечерних поездов (были основания предполагать, что преступление совершено вечером), не составил схемы дорожек следов. Он даже не потрудился подробно описать их в протоколе осмотра места происшествия. А когда я расспрашивал его о длине шагов, угле разворота стоп и ширине постановки ног, он только пожимал плечами.

Неопознанные трупы обычно фотографируют в пяти положениях. Причем отдельно фиксируются положение убитого, повреждения, следы крови, лицо и ушная раковина, снимок которой нередко помогает провести опознание. Оперативники же ограничились обзорными фотографиями. Единственное, что Мотылев догадался сделать,— это отметить в протоколе красное чернильное пятно на указательном пальце правой руки убитого, дактилоскопировать труп и снять слепки со следов ног предполагаемого убийцы. Но раствор гипса был слишком жидкий, а дно следа, перед тем как залить его гипсом, не смазали маслом, и поэтому слепки оказались совершенно непригодными для идентификации<sup>1</sup>. Только на подошве одного из них можно было различить букву А. Как мы впоследствии выяснили, такие ботинки выпускала фирма «Анемир» (Абрам Немировский).

Вторичный выезд на место происшествия ничего не дал: прошла полоса дождей, и если раньше можно было разыскать какие-то улики, то теперь даже Шерлок Холмс и тот опустил бы руки. Фрейман и следователь дорожно-транспортного отдела ГПУ два дня проторчали на станции. Они допросили около пятидесяти человек. Илюша облазил каждый кустик, каждую ямку, но ничего, кроме разбитых очков, которые могли принадлежать кому угодно, не привез. Эксгумация трупа, проведенная по его указанию, тоже ничем не порадовала. Скучный багаж следствия пополнился лишь детальным описанием трупа и серией добротных фотографий.

Прежде всего требовалось установить личность погибшего. Но сделать это было не так-то просто.

Судя по одежде, рукам, не привыкшим к физической работе, выработанности почерка, грамотности и особенности лексики (если письмо, разумеется, было написано им), убитый относился к зажиточным слоям населения и был достаточно культурным человеком. Стремление убийцы сделать неузнаваемым лицо жертвы давало возможность предположить, что неизвестный, скорей всего, москвич и убийца знал его раньше. Это были более или менее

---

<sup>1</sup> Идентификация — отождествление, в данном случае возможность установить, кому принадлежит след.

обоснованные предположения, а все остальное относилось к области догадок, абсолютно все, в том числе и мотивы преступления (как будто ограбление, и в то же время на пальце погибшего оставлено платиновое кольцо).

«Туалет» трупа провести не удалось: слишком сильно пострадали мягкие ткани лица и даже кости. Никаких заявлений об исчезновении людей в милицию не поступало. Содержание обнаруженного письма тоже было плохим ориентиром. После взятия Екатеринбурга белыми судебный следователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Наметкин и член суда Сергеев, которым было поручено расследование обстоятельств расстрела Николая II (в дальнейшем Колчак назначил для этого судебного следователя по особо важным делам Омского суда Соколова), превратили дом Ипатьева в своеобразную белогвардейскую Мекку. Сюда приходили на поклон, а порой из любопытства, русские и чешские офицеры со своими женами и любовницами, монархисты всех мастей и оттенков, делегации сибирского купечества, иностранные представители при штабе верховного правителя. Сотни и сотни людей! Вполне возможно, что убитый был одним из них. Что это давало следствию? Ровным счетом ничего. И все же найденное письмо сыграло решающую роль в опознании.

Помогла случайность. Но стоит ли противопоставлять случайность закономерности? Мне приходилось встречаться с людьми, буквально предрасположенными к различного рода «случайностям». Случайность и неизбежность тесно связаны друг с другом. Их взаимоотношения мне всегда напоминали соседок по коммунальной квартире: порой поспорят, порой и поссорятся, а отношения все-таки поддерживают — как-никак кухня общая...

## VI

Вся жизнь Веры, по крайней мере до замужества, была посвящена моему воспитанию. Мне доставалось за лень, безалаберность, легкомыслие, разбросанность, смешливость. Но особенно ее возмущала моя склонность к беспорядочному чтению. Читал я действительно много и бессистемно — все, что попадалось под руку, а под руку мне попадались самые разнообразные книги.

— Чем так читать, лучше вообще не читать, — строго говорила Вера, извлекая из-под моей подушки «Записки палача» или переписанные от руки стихи Баркова. — Объясни, зачем тебе этот пошляк Барков? Зачем тебе книжонки по спиритизму, хиромантии, хирогномии, физиогномистике? Ты можешь мне объяснить?

Объяснить я, разумеется, не мог. И тем не менее в дальнейшем мне не раз приходилось пользоваться кладовой своей памяти. Пригодилась даже физиогномистика. В начале тридцатых годов она

помогла мне установить контакт с одним из обвиняемых в крупном хищении. Физиогномистика была его коньком. Мы поговорили с ним об этой «науке избранных», после чего он проникся ко мне симпатией и начал давать показания... Видимо, следователю и агенту уголовного розыска трудно заранее предположить, какие знания и когда могут им пригодиться...

И вот, вторично читая найденное письмо, я обратил внимание на особенности почерка: сильно вытянутые в длину буквы и сдвоенные в нескольких местах штрихи. Мне помнилось, что я о таких отклонениях где-то читал. Но что и где? Я позвонил Злобинскому, ученику известного в то время графолога Зуева-Инсарова. Графология тогда еще не была объявлена лженаукой, и криминалисты нередко прибегали к ее услугам.

— Вытянутые в длину буквы и сдвоенные штрихи? — переспросил Злобинский. — Заочно сказать не могу. Перешлите мне письмо.

По целому ряду соображений я не хотел знакомить с содержанием этого документа никого из посторонних. От услуг Злобинского пришлось отказаться.

Где же я читал об этих проклятых штрихах?

Позвонила Вера, ядовито сказала:

— Если ты собираешься ночевать на работе — привезу подушку и одеяло.

Я уверил ее, что ночевать на работе не собираюсь и скоро буду дома.

— Тогда заезжай по пути на Покровку и получи у Гринблата мои очки. Ты обещал еще неделю назад...

Гринблат, старейший московский окулист, маленький, моложавый, с умными, веселыми глазами, провел меня в свой кабинет, увешанный таблицами разнокалиберных букв, и указал рукой на кресло.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Несколько минут вам придется подождать: мы уже заканчиваем.

В кресле напротив меня сидел худосочный мужчина с приплюснутым, как у боксера, носом.

— Пугаться не стоит, — ласково, как ребенку, говорил ему Гринблат, — но своими глазами вам нужно заняться всерьез. Воленс воленс<sup>1</sup>, как говорится. С астигматизмом шутки плохи...

Гринблат говорил ему что-то еще, но я уже ничего не слышал.

Когда пациент ушел, окулист вопросительно посмотрел на меня.

— Чем могу быть полезен?

— Хочу получить у вас маленькую консультацию. Что такое астигматизм?

---

<sup>1</sup> Хочешь не хочешь (лат.).



Гринблат не удивился. Могло показаться, что он даже ожидал от меня чего-либо в этом роде.

— Астигматизм... Вы о физике имеете представление?

— В общих чертах.

— Астигматизм — болезнь глаз. Ведь наши глаза — это оптические системы. Астигматизм — один из недостатков оптики: деформация сферической волны... Как бы вам популярней объяснить? Если у человека роговица глаза или хрусталик неправильной формы, то в глазе вместо одного главного фокуса образуется несколько. Это вам о чем-нибудь говорит?

— Как астигматизм сказывается на зрении?

— Ну, астигматизм в 0,5—0,6 диоптрии практически безобиден. а в более тяжелой форме — вещь не из приятных. Все воспринимается искаженно, вместо точки, например, вы видите кружок или линию... Слабость зрения, повышенная утомляемость, головные боли...

— На почерке астигматизм как-нибудь сказывается?

— Разумеется. Астигматика всегда можно узнать по почерку. Вот полюбуйтесь, — он продемонстрировал мне чек, выписанный только что ушедшим пациентом. — Видите, как он пишет? Так пишут все астигматики...

Точно такие же сдвоенные штрихи букв, как и в письме неизвестного, только сами буквы вытянуты не в длину, а в ширину.

— Распространенное заболевание?

— Нет, за последние месяцы этот господин был первым больным, который обратился ко мне по поводу астигматизма. Близорукость, дальновзоркость, конъюнктивиты, травмы, катаракта — вот хлеб офтальмолога.

Я поблагодарил Гринблата за консультацию и спросил, сколько я ему должен. Врач от гонорара отказался.

— У меня слабость к тайнам, — улыбнулся он, — а вы так таинственно расспрашивали меня, что требовать дополнительную компенсацию было бы несправедливо. Вы случайно не налетчик? Нет? Жаль. Я давно мечтал познакомиться с налетчиком. Среди моих знакомых нет ни одного налетчика. Обидно.

Я утешил Гринблата, что подобное знакомство не исключено в будущем, и отправился обратно в уголовный розыск, совершенно забыв про Верино поручение.

Полученные мною сведения давали не так уж много, но они были тем кончиком ниточки, взявшись за который можно было попытаться распутать весь клубок. Фрейман это прекрасно понимал. Когда я рассказал ему о беседе с Гринблатом, он заметно оживился.

— Если убитый действительно автор этого письма, то тебе, гладиолус, надо ставить памятник. Как говоришь? Астигматизм? Язык

сломаеть! Это они специально такое название придумали, чтоб следствие запутать...

Опрос окулистов Москвы занял бы у нас не меньше недели. Но уже на следующий день один из наиболее расторопных оперативников нашей группы — Кемберовский позвонил мне из городской глазной больницы имени В. А. и А. А. Алексеевых (ныне Институт глазных болезней имени Гельмгольца), где он проверял карточки больных астигматизмом. Кемберовский сказал, что среди больных числится некий Богоявленский, содержатель антикварного магазина на Малой Дмитровке. По словам лечащего врача, Богоявленский, обычно отличавшийся исключительной пунктуальностью, пропустил важную консультацию у профессора Бесараба и уже больше месяца не появляется в больнице, где ему подбирали стекла для очков.

Я приказал Кемберовскому немедленно подъехать в антикварный магазин и навести там соответствующие справки.

Через час снова звонок.

— Товарищ субинспектор, говорит агент третьего разряда Кемберовский. Разрешите доложить?

— Докладывайте.

— Мною установлено, что убитый — Богоявленский. Приказчик сказал, что хозяин месяц назад уехал и больше не появлялся.

— Одежду, которая была на Богоявленском, он описал?

— Так точно, описал. Полностью совпадает. Сказал, что хозяин носил платиновое кольцо, был высокий и волосы имел русые... Он, товарищ субинспектор! У меня на эти дела нюх...

— Хорошо. Никуда не отлучайтесь до прибытия оперативной группы. Чтобы все служащие Богоявленского были на месте.

— Да их всех только двое — приказчик да уборщица. Магази́нчик маленький, лавка вроде...

— Ждите оперативную группу. Самостоятельно никаких действий не предпринимайте. Ясно?

— Так точно.

Кемберовский, попавший в угрозыск после демобилизации из армии, где прослужил три года, чем-то напоминал неистребимого оловянного солдатика. Трудно было даже представить, что у него дом, семья, дети и что он знает какие-либо слова, кроме «так точно», «разрешите доложить», «будет исполнено». Его четкие, резкие движения настолько походили на движения механической игрушки, что у меня при виде его всегда появлялось детское желание взять отвертку и поближе познакомиться с хитрым устройством этого странного механизма. Но, как известно, недостатки человека — только продолжение его достоинств, и Кемберовский обладал многими важными для оперативника данными, прежде всего исполнительностью. Я мог быть уверен, что все мои указания будут выпол-

нены в точности, а это было весьма существенно: излишняя инициатива не всегда похвальное качество.

Сразу же после разговора с агентом я зашел к Фрейману.

— Нюх, говоришь? — усмехнулся Илюша. — Есть две вещи, которые мне всегда не нравились: собаки без обоняния и оперативники с нюхом...

Словом «нюх» у нас действительно злоупотребляли, особенно часто им пользовались, когда не могли отыскать доказательств. Но какие были у Фреймана основания сомневаться в сведениях, сообщенных агентом?

— Слышал про любимую поговорку Груздзя? — спросил я.

— Нет.

— Моряк без триппера, что баржа без шкипера...

Фрейман засмеялся.

— Неплохо. Но ты это к чему?

— К тому, что у каждого свои убеждения...

— А ты, гладиолус, начинаешь кусаться, — с уважением сказал Илюша, засовывая в карман завернутый в газетную бумагу бутерброд с колбасой. — Мне это нравится: очень люблю зубастых. Поедешь со мной?

Мне очень хотелось поехать, но меня ждали вызванные на допрос люди.

— Отправляйся один. Вечером расскажешь.

— Если будет что.

— Будет, — сам не зная почему, уверенно сказал я.

## VII

После окончания гражданской войны Москва некоторое время напоминала большой антикварный магазин. Рынки города были заполнены старинными вещами. Тарелки и блюда с меткой Екатерины II, бюсты царей, известных и не особенно известных генералов, ветхие дамские зонтики с резными ручками, портреты на кости и металле, серебряные блюда XIV века, ларцы с заржавевшими секретными замками, фарфор с завода Попова.

На промышленно-показательной выставке ВСНХ еженедельно проходили аукционы.

— Фарфоровая фигурка саксонской работы! — бойко выкрикивал разбитной аукционист, зорко оглядывая зал. — «Девочка-пастушка» с небольшим дефектом. Цена 50 копеек. Прошу обратить внимание на изящество линий! Итак, 50 копеек. Кто больше? 50 копеек — раз! 50 копеек — два! Третий раз 50 копеек... Нет желающих?

Чашки старинные, фарфоровые, саксонские, без ручек, остальное в порядке. Бывшая собственность бывшей графини Берг (была

ли такая графиня, не знал никто, в том числе и сам аукционист, но упоминание титула, как правило, возбуждало любопытство: графья пользовались!).

Демонстрирую герб. Цена — 2 рубля 50 копеек. Кто больше? Два шестьдесят — слева, два восемьдесят — направо, три рубля — в пятом ряду прямо... Ваша цена, слева в первом ряду...

На аукционы чаще всего забредали случайные люди, те, которые могли раскошелиться на два, в крайнем случае, на три рубля, чтобы украсить свою жилкооповскую комнату «девочкой с дефектом» или побитыми молью рогами оленя. Нэпманы предпочитали антикварные магазины, где иногда можно было приобрести действительно уникальные вещи. Они не жалели «совзнаков», которые не котировались даже на Ревельской бирже. Они жаждали «красивой жизни» и надежного помещения своих капиталов.

Торговля старинными художественными вещами и редкими книгами процветала на Сухаревском рынке, который тянулся от розовой Сухаревской башни до Красных ворот, на Рождественке, Малой Лубянке, в Большом Кисельном переулке.

Роскошные, поставленные на широкую ногу магазины перемежались магазинчиками, лавками. У каждого антиквара был свой покупатель. К Мазингу на Арбат, где дешевле чем за «червячок»<sup>1</sup> вещь и не купишь, ходили, например, крупные заезжие торговцы с тросточками, в модных регланах и фетровых шляпах. У букиниста Шмакова клиентура помельче — коммерсанты средней руки, спецы, коммивояжеры, дантисты. Лавочники, торговцы в розницу, приказчики чаще всего толкались у продавца фарфора Булкина или старьевщика с Малой Лубянки Комаровского.

Обороты антикваров росли со сказочной быстротой. Эта торговля считалась чуть ли не самым прибыльным делом после торговли мануфактурой. Но, судя по всему, Богоявленский не был модным антикваром, хотя его магазинчик и находился на бойком месте, недалеко от шумной и многолюдной Страстной площади.

Магазин помещался в полуподвале большого дома с лепными украшениями и затейливыми балкончиками. Соседнее помещение занимала «единственная в Москве» лавка Л. Глика: «Избавиться может всякий от пота — была бы охота. Уничтожайте бородавки, крыс, тараканов и прочих паразитов продуктами Глика. Полный успех гарантируем для всех!»

Рядом с красочной рекламой предприимчивого Глика, объявившего беспощадную войну всем паразитам, скромная вывеска «Антиквариат. Н. А. Богоявленский» совершенно терялась. Не привлекала внимания и витрина. За тусклым стеклом, залепанным грязью, с трудом можно было разглядеть трех уродливых китайских божков

<sup>1</sup> «Червячок» — червонец (жаргон).

на инкрустированном перламутровом колченогом столике и лениво покачивающуюся пудовую люстру с хрустальными подвесками. Сюда забредет разве только любопытный. Солидному покупателю здесь делать нечего.

Мотылев, который поехал вместе с Фрейманом, кивнул на листок картона с надписью: «Магазин закрыт на материально-финансовый учет».

— Кемберовский постарался.

Внутри магазинчик тоже ничем не отличался: скромные обои с цветочками, облупившаяся краска... На полках — чучела птиц, пепельницы, табакерки, сервизы. Все это тусклое, неброское, покрытое пылью.

Кемберовский сидел у входа на табуретке и курил. При виде Фреймана и Мотылева он загасил о подошву сапога самокрутку и доложил, что все указания субинспектора Белецкого полностью выполнены.

— Разрешите идти?

— Конечно.

Из-за прилавка вышел высокий костистый старик в темной поддевке — приказчик Богоявленского.

— Тоже из сыскной будете?

— Сыскная, папаша, еще в семнадцатом упразднена, теперь уголовный розыск, — нравоучительно сказал Мотылев, преисполненный важностью порученного ему дела.

— Ну, это нам без разницы. Что розыск, что сыскная полиция, абы нас не тревожили.

После того как Фрейман сверил образцы почерка и фотокарточки, он уже не сомневался, что убит именно Богоявленский. Тем не менее он не торопился с формальностями.

— Помешали торговле?

— Какая там торговля! — сказал приказчик. — Слезы одни. С утра статуэтку саксонскую только и продал. Не идет к нам покупатель...

— А у Глика, мы проходили, народу невпроворот...

— Ну какое сравнение? Глику зимой снег дай — он тебе из него звонкую монету выбьет. Коммерсант. Торговля — дело такое, к ней вкус иметь надо...

— А хозяин ваш разве не коммерсант?

— Одно название. Нету у него вкуса к торговле. Не то, чтоб заговорить покупателя, товар лицом ему показать, а и не выйдет к нему со своих апартаментов. Уж на что булочник Филиппов богачом был, империалистом по-вашему, а и тот понимал: ублажишь покупателя на копейку — рубль заработаешь. Улыбка много не стоит; а тоже капитал наращивает. Улыбнулся хозяин, шаркнул ножкой, раскланялся — гостю и приятно, и за ценой не постоит,

и еще, глядишь, заглянет. Вон оно как! В каждом ремесле свои секреты потаенные...

— Это верно. А Николай Алексеевич надолго уехал?

— Кто его знает? Сказал: уезжаю. А куда, зачем, надолго ль — не доложил. Вот ждем его уже, почитай, месяц... А что с ним? — спохватился словоохотливый приказчик. — Прощтрафился перед властью или как?

— Да нет, не прощтрафился...

Старик с облегчением вздохнул. Чувствовалось, что эта мысль его тревожила.

— А чего же вы к нам пожаловали? — спросил он.

— Не обо всем можно говорить, папаша,— вставил Мотылев.

— Да я и не любопытствую. Сыскное дело до нас отношения не имеет. Я только за Николая Алексеевича опасался. Хороший он человек, уважительный, на чужое добро не зарится да и своим не очень дорожит.

Расчувствовавшись, старик протянул Фрейману и Мотылеву табакерочку с нюхательным табаком.

— Одолжайтесь. Я, признаться, дыма не уважаю. От него дух тяжелый в комнате. А понюшка очищает, после понюшки дышится легче. Не желаете? Зря. Хорош табачок, с сосновым маслом да с розовой водичкой... Рецепт-то свой, проверенный.

Фрейман умел располагать к себе людей, а Семен Семенович — так звали старика — любил поговорить. Поэтому уже через полчаса Илюша узнал почти все, что его интересовало. До революции Семен Семенович служил старшим приказчиком в булочной. Когда начался голод, уехал к родне в деревню. В 1922 году вернулся. Работы было мало для молодых, не то что для стариков. Хорошо, на бирже труда оказалась свояченица: то туда сунет, то сюда. Так и перебивался на временной работе, пока в магазин Богоявленского не устроился. О хозяине приказчик отзывался хорошо:

— Чудак, конечно, что в торговое дело полез, не по нему это дело, а человек справедливый, обходительный: сколько у него служу, а чтобы хоть единожды дурное слово услышал. Смирный такой... Жаль только, что к хлыстовству склонность имеет...

— С чего вы это взяли, Семен Семенович?

— Не знал бы — не говорил, греха на душу не возьму. Образок на его половине видел с дарственной от Гришки Распутина, а уж тот хлыст чистой воды был, не зазя его владыка Гермоген да Илиодор анафеме предали. Да и дамочка к нему одна заходила, вроде юродивой, все Гришку поминала. Николай Алексеевич ей говорит, что, дескать, ты, госпожа Лохтина, при служащем моем язык распускаешь, а она ему этак быстро-быстро залопотала на языке каком-то иноземном: французском, что ль, а может, и английском. Я-то только церковнославянскому обучен.

— Ну, Локтину Веру Ивановну я знаю,— сказал Илюша, умышленно искажая названную приказчиком фамилию.— Вздорная баба, маникюршей в пассаже работает...

— Не Локтина, а Лохтина. Ольга Владимировна Лохтина,— сказал Семен Семенович.— И вовсе не маникюрша. Я за свой век в людях научился разбираться. Хотя вид у той дамочки и зачуханный, а сразу видать: было времечко — с серебряного, а то и с золотого блюда едала. Дворянских кровей дамочка, вот что я вам скажу!

Лохтина... Эту фамилию Фрейман хорошо помнил. Об Ольге Владимировне Лохтиной — одной из самых ревностных и самых эксцентричных поклонниц Распутина — в начале 1917 года писали многие падкие до сенсаций газеты. Приводились какие-то дурацкие телеграммы, которые она слала царю, ее высказывания о Гермогене, о религиозном обновлении, началом которого явилась Февральская революция. Неужто та самая Лохтина? По высказываниям приказчика получалось, что та самая...

— Часто она навещала Николая Алексеевича?

— Да раз пять, пожалуй, была. Николай Алексеевич ей из кассы деньги давал. Жалел ее очень, праведницей называл. «Смирению,— говорит,— Семен Семенович, у нее и покойные цари учились. Не каждый,— говорит,— бархатные одежды на рубище сменил...» Заботился о ней. Нынешним летом хотел меня даже к ней на квартиру послать, проведать, только она сама пожаловала...

— Так что избавились от лишних хлопот?

— Ну какие хлопоты? Она не так чтобы уж далеко комнату снимает, где-то в роще Марьиной.

— А о чем эта Лохтина обычно разговаривала с Николаем Алексеевичем?

— Разве упомнишь? Да я и не прислушивался особо. Говорят себе — ну и пусть говорят. Мое дело сторона. Да и то сказать, языку Лохтина чесала, а Николай Алексеевич все больше молчал и улыбался. Только раз, помню, она его из всякого терпения вывела. Осерчал он очень и говорит: «Я, говорит, шантажа не боюсь, и Таманскому меня не запугать». А Лохтина ему что-то быстро-быстро на иноземном языке залопотала, видать, уговаривала, что ли. Только Николая Алексеевича не уговоришь. Сидит белый как стенка и все свое повторяет: дескать, раз так решил, значит, так оно и будет. Ну а Лохтина, само собой, в слезы, что он поперек ей действует...

— А кто этот Таманский, тоже антиквар?

— Вот чего не знаю, того не знаю. Не слыхал я про такого антиквара. Только того Таманского они нет-нет, а поминали в разговоре... Таманского да еще Соловьева Бориса... Не любит их Николай Алексеевич, иначе как фармазонами не называет.

Таманский и Соловьев... Кто они? Какое отношение имели эти люди к Богоявленскому? Что их связывало? Почему Таманский

шантажировал антиквара и что было поводом для шантажа? Ответить на эти вопросы старик не мог. А может быть, просто не хотел? Нет, наверно, все-таки не мог...

— Скучно живет Николай Алексеевич?

— Оно конечно, какое уж там веселое! Ни в театр, ни в ресторацию, ни в кинематограф... Все дома да дома. Разве когда съездит на день-два. Уж не знаю к кому. Спрашивать стесняюсь, а сам не говорит. Вот только сей раз чего-то задержался...

— Зато, наверное, друзья навещают?

— И этого нет. Ну, дамочка наведывается. На масленицу пару раз господин седоватый заходил из бывших. А так все один да один... Пелагея наша, уж на что баба темная, крестьянская, а и то удивляется. И лицом, говорит, вышел, и статью, и нравом, и капитал есть, а живет монах монахом. Вроде какого святого...

Мотылев относился к мирной беседе Фреймана с приказчиком явно неодобрительно: уж слишком она была не похожа на привычный разговор следователя с подозреваемым. «Мудрует» Фрейман!

— Чем же он, папаша, у вас занимается? — не выдержал он. — Торговать не торгует, развлекаться не развлекается... Чудно что-то! Деньжат у хозяина много было?

Старик пропустил вопрос Мотылева мимо ушей.

— Чудно говорите? Это вы верно заметили.

— Уж куда верней! — ухмыльнулся Мотылев, приподняв куцые брови над изюминками глаз. Он подмигнул Фрейману. — Чудеса в решете! Слушаю тебя, папаша, и вроде в театре сижу!

Старик насупился: этот нагловатый парень ему с самого начала не понравился. И чего ему от него надо? То ли дело этот рыжий: аккуратный такой, обходительный, даже не поверишь, что из сыскай.

— Вот ваш сотоварищ, — сказал он, обращаясь к Фрейману, словно Мотылева здесь и не было, — сомнение высказал. Оно, может, и сомнительно, а только так оно и есть. Мне Николай Алексеевич тоже очень удивительным человеком кажется. Я ведь много всяких людишек перевидел. И купцов знавал, и коммерсантов, а вот такого впервой встретил. Ведь человек — он человек и есть. У каждого своя человеческая сущность, своя линия в жизненном пути. Один копейку выбивает, другой горькую пьет, третий к женскому полу слабость имеет, а тот чудит, к примеру, среди людей себя выпятить хочет: вот я какой, ни на кого не похожий. Это тоже бывает. А вот к Николаю Алексеевичу я все присматриваюсь да присматриваюсь, а линии его жизни угледеть не могу. И чудить не чудит, и пить не пьет, и делом не горит. Иной раз по неделям его не видишь и не слышишь. Постучишься к нему в дверь: «Кассу изволите принять?» — «В следующий раз, Семен Семенович». Мне что? В следующий так в следующий. Мое дело телячье...



Старик так говорил, как будто в чем-то оправдывался. Несколько слов, сказанных Мотылевым, нарушили ту дружелюбность, которую тщательно создавал Фрейман. Теперь приказчику казалось, что его в чем-то пытаются запутать, уличить в неизвестном ему преступлении. Он уже не сорил щедро словами, осторожничал, тщательно обдумывал ответ. Произошло то, чего больше всего опасается опытный следователь, — нарушение контакта. Несколько раз сказанными к месту шутками Фрейман разбил ледок недоверия, но полностью восстановить прежнюю атмосферу уже не мог. Проклиная в душе Мотылева, Илюша осторожно направлял разговор в нужное русло. Его интересовали привычки Богоявленского, образ жизни, который вел странный хозяин антикварного магазина.

— Кстати, Семен Семенович, — как будто между прочим сказал он, — где вы держите письмо, которое пришло Николаю Алексеевичу?

— А здесь, в конторке...

Этот вопрос был пробным камнем: ни о каком письме Фрейман, разумеется, ничего не знал. Но приказчик был слишком далек от методики допросов, и вездесущность уголовного розыска его поразила.

— Ишь ты, и о письме уже знаете, — с уважением сказал он, роясь в бюро. — Не зря, вить, в старые времена говорили, что сыщик и под землей все видит.

Мотылев расценил это почему-то как признание его собственных заслуг и самодовольно сказал:

— На том и стоим, папаша.

Он все более входил во вкус порученного ему дела и жаждал показать Фрейману, что неудачный осмотр места происшествия — чистая случайность и что таких оперативников, как он, Мотылев, надо еще поискать. Он достал из кармана гимнастерки какую-то бумажку, повертел ее перед глазами и внушительно сказал:

— С нами, папаша, темнить не надо. У нас все, как гречские орехи, колются: раз — и на две половинки! Вон как!

Старик посмотрел на него непонимающими глазами:

— Это вы к чему речи такие?

— А к тому, что тень на плетень наводить не следует, к тому, что правда — мать, а вранье — мачеха.

— А я, господин хороший, никогда не вру, — сухо сказал старик.

— Вот и хорошо, папаша. Не врать — главное. Рабоче-крестьянский суд всегда чистосердечное признание учитывает!

Когда старик отошел к прилавку, Мотылев притянул к себе Фреймана и горячо зашептал ему в ухо:

— Илюша, будь другом, дай мне его на пять минут. Ну только на пять минут! Чего тебе стоит? На твоих глазах расколю... Твоих мудрований он все равно не поймет. С ним по-простому, по-рабоче-

крестьянскому надо: сколько сребреников получил, иуда, за смерть своего хозяина? Расколется, как пить дать расколется. Точно тебе говорю! Он наводчик, больше некому. Я за ним во время нашего разговора наблюдал: то бледнеет, то краснеет. Нервничает, гад старый!

— А ты, между прочим, тоже то краснел, то бледнел,— сказал Фрейман.— Может, ты с ним в паре работал, а? Рабоче-крестьянский суд ведь учитывает чистосердечное признание...

— Чего с тобой говорить? — обиделся Мотылев.— Тебе все шуточки да шуточки.

— Это потому, что, когда мама меня носила, она ни одного представления в цирке не пропускала,— объяснил Фрейман и ласково добавил: — А если ты еще раз, гладиолус, помешаешь мне работать — выгоню к чертовой матери.

Не обращая внимания на осуждающий взгляд приказчика, Фрейман вскрыл письмо, адресованное Богоявленскому. «Милостивый государь Николай Алексеевич! Испытываю немалое неудобство перед Вами за свою чрезмерную назойливость. Тем не менее не могу не воспользоваться вашей благорасположенностью ко мне и к делу, коему я посвятил остаток своей жизни, и не напомнить о своей просьбе. К моему глубочайшему сожалению, до сего времени я не получил от Вас надлежащих ответов на свои вопросы, а без Вашей бесценной помощи труд мой не представляется возможным закончить, ибо, как Вам известно, в последней странице истории российского самодержавия слишком много пробелов. Понимаю, что Вы не смогли тотчас откликнуться на мою просьбу в силу каких-либо весьма существенных обстоятельств личного характера. И все же осмеливаюсь Вас побеспокоить еще раз. У всех у нас имеются свои неотложнейшие дела, но и у всех нас, истинно русских людей, есть и великий долг перед памятью невинно убиенного государя императора Николая Александровича, испившего до дна горькую чашу в Екатеринбурге, долг коий мы обязаны сполна оплатить по мере сил наших. Руководствуясь оными соображениями, я и посчитал себя вправе напомнить Вам о Вашем обещании.

Преданный вам *С. Стрельницкий*.

Р. S. Вашу книжечку дневника перешлю Вам с первой же оказией. Ожидаю следующие».

Судя по штампу на конверте, письмо было из Петрограда. Обратного адреса Стрельницкий не написал.

— Николай Алексеевич часто получал письма?

Приказчик развел руками:

— Чего не знаю, того не знаю. Ящик почтовый на той двери, что со двора на половину хозяина ведет. И ключик от ящика у него, и доставал он почту всегда сам...

— Как же это письмо к вам попало?

— А потому что заказное. Хозяина не было, вот почтальон мне и принес под расписку.

Сидевший на стуле Мотылев покрутил головой, но «взяться» за старика все-таки не решился: пусть Фрейман сам расхлебывает эту кашу.

Илюша подробно расспросил приказчика о внешности человека, который заходил к Богдавленскому на масленицу, побеседовал с Пелагеей, а затем попросил проводить на хозяйскую половину.

— Николай Алексеевич не любит, чтоб к нему без спроса ходили,— нерешительно сказал приказчик.— Да и ключей у меня нет от его квартиры, увез он их с собой...

— О ключах, папаша, можешь не беспокоиться,— сказал Мотылев и потряс связкой ключей, найденных им на месте убийства.— Хозяйские?

— Хозяйские,— подтвердил старик, перебирая связку.— Николай Алексеевич дал?

— Да вроде того...

По указанию Фреймана были приглашены понятые. Мотылев открыл дверь, ведущую в коридор на хозяйскую половину. Приказчик включил свет. Он шел впереди, за ним Мотылев. Вдруг Илюша услышал, как старик вскрикнул.

— Что там такое?

— Зря ключи брали,— откликнулся Мотылев.

— Дверь отперта?

— Взломана. Здесь, оказывается, до нас побывали...

Фрейман тихо свистнул. Легонько отодвинув старика, он прошел вперед. Да, ключи не понадобятся: с дверью расправились поварварски.

— Хороша работка, а? — Мотылев длинно выругался.

Присев на корточки, Фрейман осмотрел дверь, замок и прошел в квартиру, состоявшую из двух больших комнат, выходивших окнами во двор. Одна, видимо, служила спальней, другая — кабинетом. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что здесь долго и тщательно что-то искали. Ковер, которым был устлан пол кабинета, скомкан, дверца маленького сейфа распахнута, ящики письменного стола карельской березы выдвинуты. Кругом валялись книги, счета, облигации строительного займа общества «Рабочее жилищное строительство», выброшенная из шкафа мужская одежда.

— Здорово пошуровали! — почти с восхищением сказал Мотылев, оглядывая комнаты.— Что же ты, папаша, так плохо хозяйское добро бережешь? Под носом обчистили...

Подавленный увиденным, старик молчал, прислонившись плечом к косяку двери.

— У кого, кроме вас, были ключи от двери из магазина в коридор? — спросил Фрейман.

— Только у хозяина.

— Вы кому-нибудь свои ключи после отъезда Богоявленского давали?

— Нет.

— А где вы их храните?

Приказчик вытащил из-за пазухи шнурок с нателным серебряным крестиком — рядом с крестиком на шнурке болтались три ключа.

— Вот этот от магазина, этот от конторки, а вот этот от двери на хозяйскую половину...

— В магазине что-нибудь украдено?

— Нет.

Вы в этом уверены?

— А как же?

— Пройти сюда можно только через магазин?

— Нет, через двор тоже. Николай Алексеевич всегда ходом через двор пользовались...

Фрейман в сопровождении приказчика прошел по коридору к двери, выходящей во двор. Она тоже оказалась взломанной...

— И тут и там отжим,— сказал Мотылев, рассматривая следы на переднем бруске обвязки двери и на дверной коробке вокруг массивного врезного замка.— А над сейфом шведским ключом поработали... Вы, папаша, покуда в магазин идите. Потом мы вас позovem.

Приказчик вышел.

— «Цветное» дело, а? Симуляция ограбления. Я это сразу понял!

— Ясновидец,— буркнул Фрейман, для которого все это тоже оказалось сюрпризом.— Пошли в комнаты.

Фрейман начал осмотр кабинета. Одновременно он диктовал Мотылеву протокол осмотра: «...Входная дверь из коридора в квартиру гражданина Богоявленского деревянная, одностворчатая, с двумя филенками, открывается в сторону коридора... Замок врезной, прикреплен четырьмя шурупами... На раме двери, ниже замка, обнаружены два вдавленных следа прямоугольной формы. На поверхности ригеля замка ясно видны царапины, расположенные параллельно продольной оси ригеля и по отношению друг к другу...»

Мотылев дописал очередную фразу.

— Давай дальше. Ну чего ты?

Ответа не последовало. Он поднял глаза от протокола. Его напарник держал в руках какой-то предмет. Это был всего-навсего маленький спрессованный кусочек засохшей глины. Обычный,

ничем не примечательный ошметок грязи, но на нем отпечаталась часть подошвы ботинка с буквой А. Ботинки фирмы «Анемир»... Такие ботинки были на убийце Богоявленского.

— Давай диктуй.

Фрейман осторожно положил кусочек глины на лакированную поверхность столика и сказал:

— Перекур. Кажется, теперь мы имеем на это право.

— Перекур так перекур,— охотно согласился Мотылев. Он подбросил вверх папироску, поймал ее зубами и закурил.— Старика сейчас будем брать?

— Нет, позднее.

— Когда?

— Тогда, гладиолус, когда тебя назначат начальником Московского уголовного розыска,— ласково сказал Фрейман и подмигнул висящей на стене иконе, в нижней части которой крупным корявым почерком было написано: «День ангела! Не убоимся страха. Смело говори истину. Бог научит. Григорий».

## VIII

В то самое время, когда Фрейман сражался с Мотылевым в магазине Богоявленского, мне тоже пришлось принять сражение, которое без помощи Илюши я бы, наверное, проиграл.

Вездесущего репортера вечерней газеты Валентина Куцего, подписывавшегося Вал. Индустриальный, в уголовном розыске знали все. Ходил он в солдатских ботинках, толстовке и суконных штанах, совершенно обтрепанных по низу. Бахрома на штанинах была не просто бахромой, свидетельствующей лишь о том, что новые штаны пока непозволительная роскошь для молодого гражданина еще более молодой республики. Бахрома была символом. Она символизировала: а) непримиримость к мещанству и буржуазным приличиям, б) международную пролетарскую солидарность: если пролетарий в Танганьике вообще ходит без штанов, то пролетарий в Москве, с учетом климатической зоны, ходит в обтрепанных штанах, в) чувство хозяина страны: раз мы хозяева, то можем носить и такие штаны.

Вал. Индустриальный относился к великой когорте ниспровергателей. Он не признавал личной собственности, любви, спорта, поэзии, родственных отношений, обычая здороваться и прощаться, права наследования и такого предрассудка, как чистить по утрам зубы. Кроме того, он был убежден, что собственная комната — первый признак перерождения. Поэтому он ночевал где придется: у ребят в общежитии, в редакции, в моем кабинете, в коридоре биржи труда, а то и в свободной камере арестного дома.

Даже для того времени взгляды Вал. Индустриального отлича-

лись некоторой крайностью, а его характер был малопривлекателен для постоянного общения.

Тем не менее у него было бесчисленное количество друзей, а те, кому приходилось с ним сталкиваться, воспринимали его как неизбежное, а порой даже приятное зло, вносящее определенную остроту в привычную пресность будней. Ему прощалось все: бесцеремонность, категоричность суждений, привычка брать без спросу деньги («Взял я у тебя из стола червонец. В получку занесу. Валентин».) и множество других вещей.

Появлялся Валентин внезапно и, как правило, в самую неподходящую минуту. И, ожидая Фреймана, который вот-вот должен был приехать из антикварного магазина, я совсем не удивился, когда дверь со вздохом распахнулась (Вал. Индустриальный из принципа никогда не стучал) и в кабинет деловой походкой чрезвычайно занятого человека вошел Валентин. Не обращая внимания на меня и человека, с которым я беседовал, он прошел прямо к дивану, сел и начал расшнуровывать ботинки.

Допрашиваемый хмыкнул и с интересом начал наблюдать за происходящим.

— Решил переночевать у тебя.

Сообщил он мне об этом просто, мимоходом, как о деле, давно уже решенном.

— Переночевать?

— Ну да. Думал расположиться у Сухорукова, но он домой уехал и ключ с собой забрал. Вот и решил к тебе...

— Очень приятно. Надеюсь, мы тебе не помешаем? — ядовито спросил я, предчувствуя, что ни поработать, ни побеседовать с Илюшей мне уже толком не удастся.

— Нет, ничего, — успокоил меня Вал. Индустриальный, который обладал завидной способностью не замечать иронии. — Можете продолжать. Я спать еще не хочу. Надо кое-какие записи посмотреть...

— Может, все-таки пойдешь к Булаеву? Кабинет свободен... Открыть тебе?

— Нет, не надо. У него северная сторона и окна не заклеены, — обстоятельно объяснил Валентин, — а я где-то чих подхватил... Слышишь? — он пошмыгал носом.

Валентин выложил из карманов на стул блокноты и, прикрыв ноги моей шенелью, растянулся на диване. Все это он проделал с таким безмятежным видом, как будто в комнате никого, кроме него, не было.

Допрашивать человека в присутствии третьего всегда затруднительно, но вести допрос, когда этот третий — Валентин, было невозможно. Я отпустил свидетеля. Но улизнуть мне не удалось. Вал. Индустриальному требовалась моя помощь. Он собирался

писать статью о социально-криминологическом и психиатрическом исследовании личности преступника. Я посоветовал ему съездить на Арбат в криминологическую клинику (была и такая!), но оказалось, что он уже там побывал и объяснения специалистов его не устраивают.

— Так что ты от меня хочешь?

— Классового осмысливания, — торжественно сказал Валентин и уселся с ногами на диване.

— Ну, это не для меня.

Лучше бы я промолчал!

— Вот, вот! — обрадованно закричал Индустриальный, злорадно шмыгая носом и приподнимая брови, которые мгновенно приняли боевую треугольную форму. — Пра-а-актик! — ехидно пропел он. — Хватать и не пущать, да? — Он внушительно покачал перед моим носом пальцем. — Нет, так дело не пойдет.

Валентин жаждал спора, и он мне этот спор навязал.

— Давай рассуждать конкретно, — говорил он. — Что такое преступность? Социальное явление. Так? Так. А чтобы бороться с социальным явлением, надо бороться с его корнями. Так? Так. А как ты сможешь с ними бороться, если не хочешь их изучать?

— Подожди, — оборонялся я, — у нас задачи более узкие. Нам поручено определенное дело. Уголовный розыск должен...

Но чем должен заниматься уголовный розыск, сказать мне не удалось.

— Нет, это ты подожди, — перебил меня Валентин. — Если на то пошло, уголовный розыск вообще выдуманное учреждение.

— То есть как выдуманное?

— А так. Выдуманное. На месте Политбюро я бы его ликвидировал.

— А что бы ты сделал на месте Политбюро с уголовниками? — заинтересовался я.

— Лечил бы их...

— Касторкой, каплями датского короля?

— Провокация не метод спора.

— А все же?

Вал. Индустриальный высморкался и со свойственной ему непосредственностью вытер нос полкой моей шинели.

— Тебе известно, что у 80 процентов преступников Москвы наследственное отягощение?

— Какое отягощение?

— А такое: их родители — алкоголики, сифилитики и больные туберкулезом. Известны тебе эти факты? Неизвестны. А такие факты нужно изучать и классово их осмысливать.

— Ну-ну.

— Что «ну-ну»? Вот Ляски проводил обследование мошенни-

ков. Знаешь, что оказалось? В 37 случаях из 100 осужденные за мошенничество зачаты родителями в пожилом возрасте. Факт? Факт. Осмысли его. Тогда ты и поймешь, как нужно бороться с мошенничеством.

— А ты что предлагаешь? Запретить женщинам после тридцати лет рожать или направлять их младенцев сразу же в исправдом?

Валентин побагровел и спустил ноги с дивана: он готовился к сокрушительному удару, который должен был стереть меня в порошок. Но нанести этот удар он не успел. В комнату вошел Фрейман. Илюше не потребовалось много времени, чтобы правильно оценить ситуацию. Мельком взглянув на раскрасневшегося Валентина, он сказал:

— Белецкий, быстро! Срочный выезд на место происшествия. Собирайся.

Валентин насторожился: спорщик мгновенно уступил место репортеру.

— А что за происшествие? — спросил он.

— Ничего для тебя интересного — обычная классово-однородная драка.

— Не врешь?

— Спи спокойно, гладиолус, — прочувствованно сказал Илюша, — даже на заметку не потянет. Только отдай Белецкому шинель. Тебя согреет твое горячее сердце. Давай, полноценное дитя юных родителей!

Я набросил шинель и вышел вместе с Фрейманом в коридор.

— Умучил тебя?

— Не говори.

— А я только сейчас освободился.

— Хоть с толком поработал?

— Черт его знает, сам еще не разберусь. В голове такой туман, как будто всю ночь с Вал. Индустриальным проспорил. Может, разговор до завтра отложим?

— А за что, спрашивается, я муки принимал?

— Тоже верно.

Мы прошли к Фрейману. Илюша подробно рассказал о посещении магазина Богоявленского.

— Значит, нюх Кемберовского все-таки не подвел?

— Не подвел, — согласился Илюша. — Убит Богоявленский. И убил его тот самый человек, который потом побывал у него на квартире.

— Это уже кое-что.

— Кое-что, но не так уж много.

По мнению Фреймана, отпечаток подошвы был малопригоден для идентификации. Следов пальцев рук он нигде не обнаружил.

— Судя по всему, профессионал? — спросил я.



— Наверняка. В этом мы с Мотылевым не расходимся. И отжим дверей, и взлом сейфа сделаны чисто, правда, грубовато, топорно, но со знанием дела: чувствуется, что не впервой. Надо будет потрясти медвежатников.

— За этим дело не станет. Завтра же поговорю с Савельевым. Ты квартиру опечатал?

— Опечатал.

Я просмотрел протоколы допросов и осмотра места происшествия и, уточнив некоторые детали, спросил:

— А почему ты отвергаешь версию Мотылева? Дуракам иногда тоже приходят в голову неглупые мысли. Старик вполне мог быть наводчиком. Мне в Петрограде пришлось столкнуться с похожим делом. Месяца два по малинам лазили, а оказалось зря: вор свой, домашний. Симпатичные старички — народ опасный. Что, если он в паре работал? Риск на одного — добыча на двоих...

— Вряд ли.

— Почему?

Фрейман не торопился с ответом.

— Нюх?

— Нет, не нюх. — Он улыбнулся. — Напрасно стараешься. Ни с ищейками, ни с оперативниками я не конкурирую. У меня, гладиолус, нюха нет.

— А что есть?

— Логика. Слышал про такую науку?

— Мельком.

— Ну так вот, я начисто отбрасываю свои личные впечатления, отзывы о старике как об исключительно честном человеке, его поведение на допросе — все это я отбрасываю. Пожалуйста. Пусть приказчик жулик из жуликов, пусть он жаждал ограбить Богоявленского и дал дело некому уголовнику. Хорошо. Но почему он тогда не объяснил исполнителю, где лежат деньги и ценности? Ведь это элементарно! Посуди сам. Касса магазина совершенно не тронута — все сходится до копейки, ни одна вещь из магазина не исчезла... Как ты это объяснишь?

— Кто-то помешал, не успел забраться в магазин. Просто.

— Нет, не просто. Открыть дверь из коридора в магазин было намного легче, чем взламывать дверь в квартиру Богоявленского: там замок не на шурупах, а на соплях держится. А взломщик начал почему-то с квартиры... Богоявленский своему приказчику во всем доверял. Как я выяснил, старик хорошо знал, что хозяин держит деньги не в сейфе, а в бюро. И что же? Сейф взломан, а бюро нет. Дальше. Какого черта приказчику нужно было лезть в мокрое дело? Он мог ободрать хозяина, как липку, и без убийства. Логично?

— Логично-то логично. Но ведь курс логики на факультете слушал все-таки ты, а не приказчик...

— Тоже верно,— рассмеялся Фрейман,— поэтому Мотылев и производит сейчас у него обыск на квартире.

— А не маловато?

— Не возражаю против дальнейшего наблюдения. Удовлетворен?

— Вполне.

— Дополнений нет?

— Нет.

— Тогда у меня есть. Тебе ничего не кажется странным в действиях преступника?

— Не побывав на месте, трудно о чем-либо судить.

— У меня нет уверенности, что это был обычный грабеж. Мне что-то раньше не встречались бескорыстные грабители...

— Но у тебя написано, что исчезли золотые часы, папиросница, портмоне крокодиловой кожи, еще кое-какие вещицы...

— Верно. Но все это мелочи по сравнению с тем, чем он мог при желании поживиться... Не забывай, что в квартире работал не новичок, и работал длительное время. Кстати, вспомни, убив Богоявленского, он не потрудился снять с его пальца платиновое кольцо. Любопытный фактик?

— Пожалуй.

— Когда я осматривал квартиру, у меня создалось впечатление, что здесь производился обыск, тщательный обыск. И взломщик искал не деньги. Чтобы обнаружить деньги, большого труда не требовалось. Он искал что-то другое, а золотые вещи прихватил так, по привычке, что ли, или чтобы создать видимость грабежа...

— Но что он мог разыскивать?

— Приказчик показал на допросе, что Богоявленский вел какие-то записи, хранил письма. Стрельницкий пишет ему, что перешлет с okazji книжечку дневника и ожидает следующие книжечки. Я никаких записей не обнаружил...

— Они где находились?

— Старик говорит, что, кажется, в сейфе. Там Богоявленский держал свои документы.

— А как ты расцениваешь шантаж Богоявленского Таманским?

— Никак. И Таманский, и Борис Соловьев пока лишь одни фамилии... Посмотрим, что скажут Лохтина, Стрельницкий и этот седоватый господин. Три человека — три ниточки... Но как тебе нравятся знакомства скромного антиквара, который получал подарки от Распутина, дружил с Лохтиной и информировал Стрельницкого о последних днях Николая II?

— Тебе не кажется, что самое время передавать дело ГПУ?

— Нет,— покачал головой Илюша.

— Загорелся?

— Так же, как и ты, гладиолус. Я тебе при первом нашем зна-

комстве говорил: Фреймана не обманешь, я тебя насквозь вижу. Но ты до сих пор увливаешься от двух существенных вопросов...

— Каких?

— Почему марсиане не справляют день рабоче-крестьянской милиции и что растёт в пампасах...

## IX

Вопреки ехидному прогнозу Сухорукова относительно «сквознячка» дела группы шли неплохо. Даже скупой на похвалу Медведев и тот на одной из оперативок сослался на положительный опыт совместной работы Фреймана и Белецкого. Но Виктор, так мне по крайней мере казалось, обратился к нам настороженно, считая, что за нами нужен глаз да глаз. Кажется, благодаря ему группу и решили заслушать на совещании.

Об этом совещании я узнал совершенно случайно от Сени Булаева.

Свой рабочий день Сеня обычно начинал с обхода кабинетов. Ему нужна была раскачка. Прежде всего он, конечно, заглядывал в приемную Медведева, к Шурочке.

— Первой красавице столичного уголовного розыска — привет! — жизнерадостно выкрикивал он.

Поболтав минут пять с секретаршей, он навещал Савельева.

— Как печень, Федор Алексеевич? Функционирует?

А затем, обойдя еще два-три кабинета, появлялся у меня. Не забыл он обо мне и на этот раз.

— Работаешь?

— Работаю.

— Это хорошо, — одобрил Сеня. — Пошли вечером в Политехнический? Суд над бациллой Коха. Семашко выступит... Идем?

— Некогда.

— Эх, Сашка, Сашка! Сгоришь на работе, и пепла не останется, — вздохнул Сеня.

— А ты меня не жалей.

— Да разве мне тебя, дурака, жалко? Я вдаль нацеливаюсь, в перспективу. Нагрянет, к примеру, мировая. Что тогда будет? Придет, опять же к примеру, в МУР негритянский пролетарий и скажет: «Где тут герой-сыщик нэпманского исторического отрезка А. Белецкий?» Что ему парттройка ответит? Нет Белецкого! И зальется горячими слезами негритянский пролетарий, и начнет рвать своей пролетарской рукой свои кучерявые пролетарские волосы. «Зазря, — скажет, — в Москву я через десять морей да океанов добирался. Нет, — скажет, — больше скромного Сашки-героя, лег заместо кирпичика в монолитный фундамент социализма!» Жалко мне пролетария негритянского, Сашка!

— Ты дашь, наконец, работать?

— А кто тебе мешает? — удивился Сеня. — Работай. Только все одно на совещание позовут.

— На какое совещание?

— О волостной милиции. А заодно и группу вашу слушать будут, чтобы еще не собираться. Для Медведева, сам знаешь, совещание — нож острый...

Это я знал не хуже Сени. Медведев всегда считал всяческие совещания наследием прошлого и если вынужден был созвать совещание, то пытался решить все вопросы скопом. Его любимой присказкой было: день поговорили — год поработали.

Я выводил Булаева и зашел к Фрейману. Илюша разбирал только что полученные из ГПУ документы, касающиеся Лохтиной.

— К свиданию с генеральшей готовишься?

— Как в воду смотришь.

— А вдруг оно не состоится?

— Неужто подведешь, гладиолус? — удивился Фрейман, который после случая с письмом и астигматизмом, кажется, всерьез уверовал в мои оперативные способности.

— Знаешь, что тебе придется сегодня на совещании отчитываться?

Я думал, что новость произведет на Фреймана впечатление, но он отнесся к ней безразлично. Чувствовалось, что его голова целиком занята делом Богоявленского.

— Мы, гладиолус, народ тертый, нас не испугаешь.

— Все-таки подготовься, мало ли какие сведения потребуются...

Илюша похлопал себя ладонью по лбу.

— Все уже давно в этой папке. Ты лучше скажи, когда Лохтину откапашь? Любопытную справочку из ГПУ прислали. Я ее тебе к вечеру передам. Роман, а не справка. Наша-то генеральша, оказывается, и с царями, и с Гришей Распутиным запросто переписывалась. Только Григорий Ефимович с ней особо не церемонился. Он ей в письмах всю правду-матку резал. Вот послушай: «А, бессовестная, а, бесстыдница, а, проклятая, стерва. Ты чего там живешь подле Серьги-отступника? Ему, дьяволу, анехтема, анехтема, анехтема! А ты, подлюка, там живешь. Я тебе морду всю в кровь разобью. Да! Григорий. Да!»

Слог-то каков? Цицерон! Это Гриша ее чехвостил, когда она к его врагу Илиодору в гости поехала...

Фрейман был в великолепном настроении и, как всегда, спокоен, а я, признаться, нервничал. Одно дело отчитываться Медведеву, который хорошо знает условия работы, и совершенно иное — людям, имеющим о твоей работе только общее представление.

Совещание началось с утра, но нас с Фрейманом пригласили к концу рабочего дня, когда кабинет Медведева уже наполнил большую курительную комнату.

В совещании участвовало человек двадцать. Из работников уголовного розыска помимо Медведева присутствовали Сухоруков, Савельев, начальник активной части и несколько инспекторов, закрепленных за районами.

Медведев сидел за столом, подперев подбородок ладонью и слегка повернув свою массивную голову в сторону выступающего — высоколобого плотного человека в косоворотке, которого я как-то мельком видел в ЦАУ.

Когда мы вошли, Медведев сделал жест рукой, который мог означать только одно: «Тихо».

На цыпочках мы пробрались к Сухорукову, рядом с которым стояло несколько свободных стульев.

На прошлой неделе парттройка поручила Виктору выступить на некоторых профсоюзных собраниях, которые проходили на предприятиях района.

— Ну, как рабочие относятся к разрешению работать часть недели на себя? — спросил я шепотом.

— Да, в общем, неплохо, — ответил Виктор. — Только санитары жалуются. А что нам, говорят, делать? Пять дней за больными ухаживать, а на шестой трупами торговать?!

Фрейман улыбнулся, но, встретившись с тяжелым взглядом Медведева, придал своему лицу сосредоточенное выражение.

— Если в Красной Армии лозунгом дня объявлена ставка на основной армейский кадр — на отделенного командира, — говорил высоколобый, — то в милиции — ставка на волостного милиционера. Мы должны создать твердый классовый, преданный Советской власти кадр волостной милиции, наладить связь волостного милицейского аппарата с волисполкомами, сельсоветами и сельскими исполнителями, постоянно повышать квалификацию волмилиционеров при помощи губрезервов, губшкол, школ Наркомпроса. И очень хорошо, что в Московском уголовном розыске правильно понимают важность этой задачи и выделили для волмилиции опытных работников, правда, не так уж много... — Он перечислил несколько фамилий, среди которых была и фамилия Сени Булаева.

— Вот так, Илюшенька, — сказал Виктор, — после перевода Сени на тебя двойная нагрузка ложится... Теперь должен за двоих личный состав розыска развлекать.

Когда высоколобый закончил, Медведев предоставил слово Сухорукову для сообщения о расследовании убийств. Виктор доложил о проценте раскрываемости преступлений в МУРе, о криминалистической подготовке сотрудников, их техническом осна-

шении, в меру пожаловался на объективные трудности и чрезмерную загруженность оперативных работников, не забыв прозрачно намекнуть, что руководство МУРа рассчитывает на помощь ЦАУ НКВД и административного отдела Московского совдепа.

— Что же касается расследования нераскрытых убийств, то нами создана специальная группа,— сказал он в заключение.— О ее работе расскажут ее руководители — товарищи Белецкий и Фрейман.

— Пожалуй, достаточно одного,— сказал Медведев.— Давай, Белецкий, докладывай.

Я толкнул локтем в бок Фреймана. Он встал.

— Если разрешите, я доложу.

— Не возражаю,— кивнул Медведев.

Илюша говорил спокойно, толково. Со стороны могло показаться, что он уже давно готовился к выступлению. Его не перебивали. Чувствовалось, что участники совещания успели уже достаточно устать.

— Будут вопросы к товарищу Фрейману? — спросил Медведев.

— Сколько дел было передано группе при ее комплектации?

— Девять.

— А сколько из них уже раскрыто?

— Семь.

— Только с помощью сотрудников группы?

— Нет, по трем делам нам помогала секретная часть. Остальные раскрыли сами.

— Совсем неплохо,— сказал высоколобый в косоворотке.— А оставшиеся безнадежны?

— Надеюсь, что нет.

— Надеетесь или уверены?

— Точнее будет: считаю.

— Ишь ты, какую формулировочку подобрал — «считаю», — добродушно рассмеялся высоколобый. — А ты, товарищ Медведев, все на людей скупись, всего восемь человек дал в волемилицию. С твоими кадрами горы своротить можно...

— Вот я и не хочу, чтобы вы их у меня все растаскали. Вам ведь только волю дай,— усмехнулся Медведев.

Как я и ожидал, больше всего донимал Фреймана вопросом представитель ГПУ Никольский, сухощавый человек в пенсне и с короткой, клинышком, бородкой. По делу Богоявленского он интересовался даже деталями.

— В какой стадии расследование этого дела?

Фрейман ответил.

— Обыск на квартире приказчика что-либо дал?

— Обнаружен золотой брелок убитого, но свидетели утверждают, что он подарен.

— А насколько достоверны свидетельские показания?

— Пока судить трудно, проверяем.

— Другие улики против приказчика есть?

— Нет.

— Местожителство Лохтиной и Стрельницкого установили?

— Пока нет.

— Почему розыск Стрельницкого вы поручили петроградцам?

Вы понимаете, какая на вас ляжет ответственность, если Стрельницкий скроется?

— Понимаю. Но мы вполне доверяем петроградцам и не боимся ответственности.

— Храбрость, как говорится, берет города, но отдает губернии,— пошутил Никольский.— Что вы доверяете своим коллегам — это, конечно, хорошо, но я бы на вашем месте все-таки послал в Петроград своего сотрудника. Подумайте над этим. И последний вопрос: ваше мнение о мотивах убийства?

Фрейман немного замаялся.

— Скорей всего грабеж. Похищены золотые вещи и деньги.

Виктор искося посмотрел на меня. Его взгляд был достаточно красноречив. И, повинаясь этому взгляду, я встал.

— Разрешите дополнить?

— У вас другое мнение о мотивах? — повернулся ко мне Никольский.

— Мне кажется, что судить о мотивах пока преждевременно. Грабеж, разумеется, не исключен, но вполне возможны и другие мотивы.— И я подробно рассказал о тех сомнениях, которые вызывает эта версия.

— Таким образом, убийство могло быть совершено и по политическим соображениям?

— Да.

— Как же решим с этим делом? — спросил Медведев.— Передать вам?

Никольский посмотрел на Фреймана, потом на меня. Мне показалось, что в глазах его мелькнула смешинка.

— Думаю, что это было бы преждевременно,— сказал он, выдержав паузу.— Окончательной ясности еще нет, товарищи работают добросовестно... Зачем их лишать дела, которым они так увлеклись? Увлеченность надо поощрять. Я попрошу только об одном: чтобы Сухоруков, с которым мы поддерживаем постоянный контакт, взял это дело под свой контроль, а то товарищи Белецкий и Фрейман из-за своей занятости иногда забывают нас информировать о ходе расследования...

— Этим, гладиолус, мы тебе обязаны,— горестно вздохнул Илюша, когда мы выходили из кабинета Медведева.

— Не ему, а мне,— поправил его Сухоруков.— Надо же воспитывать молодые кадры! — И уже деловым голосом добавил: — Завтра в 15.00 жду вас со всеми материалами по делу Бого-  
явленского у себя. Договорились?

Нельзя сказать, чтобы Илью обрадовал контроль Сухорукова за расследованием. Но Фрейман относился к числу тех людей, которые всегда довольны, потому что утешают себя тем, что могло быть и хуже.

— Во всяком случае, дело осталось за нами, а это — главное,— сказал он.— Но кто тебя за язык дергал?

— Боюсь сквозняков...

— Загадками говоришь, гладиолус.

К нам подошел Вал. Индустриальный.

— Совещание кончилось?

— Заканчивается.

— Это хорошо,— сказал он.— Тогда я подожду. Слушай, Белецкий, я поговорю с Медведевым. Это у меня займет не больше часа, а потом зайду к тебе.

— Буду счастлив,— коротко ответил я и ровно через полчаса, получив у Фреймана материалы из ГПУ и положив их к себе в сейф, отправился домой, благополучно избежав встречи с Валентином.

Совость моя была чиста: я считал, что имею полное право немного отдохнуть от него. В конце концов, меня не так уж сильно беспокоило, почему мошенники рождаются преимущественно у пожилых родителей. К тому же я был в том возрасте, когда помимо работы существует еще и личная жизнь, которую Вал. Индустриальный яростно и безуспешно отрицал, доказывая, что у комсомольца, а тем более у коммуниста все должно быть общественным. Впрочем, я с ним не спорил, мне не хотелось тратить на споры те немногие свободные вечера, которые я мог провести со своей девушкой.

Но вечер, посвященный личной жизни, пришлось отменить. Когда я пришел домой, Вера сообщила, что мне звонила такая-то и просила передать, что у нее сегодня заседание ревизионной комиссии.

— Чего ты расстраиваешься? — с ядовитой доброжелательностью сказала Вера.— Может, у нее действительно заседание.

Сама Вера собиралась к подруге.

— Хочешь пойти со мной? — предложила она.— Очень культурная женщина. Умная, начитанная... Не хочешь? Ну конечно, для тебя главное — смазливая мордочка. Ум в женщине тебя не интересует...— Вера посмотрела на меня, ожидая возражений, но я не возражал. Это ее обескуражило, и она уныло сказала: — Котлеты стоят в кухне на столе, в сковородке с деревян-



ной ручкой. Запомни: с деревянной, а то Тушнов жаловался, что третьего дня ты съел их котлеты. Мадам их на сливочном масле жарила... Не перепутаешь?

— Нет.

— Только смотри поешь. Я специально проверю. Да будет тебе известно, что даже Ромео не забывал ужинать,— не удержалась она на прощание.

Последнее замечание было излишним: неудачи и разочарования на моем аппетите не сказывались. Я добросовестно съел все шесть котлет и запил их молоком.

В комнате было холодно и неуютно. За стеной мадам Тушнова напевала какой-то до зубной боли грустный романс. Я оделся и пошел в розыск, где в любое время дня и ночи было достаточнолюдно. Надо сказать, что это объяснялось не только обилием работы, но и хорошим бильярдом, вывезенным из какого-то особняка нашим предприимчивым завхозом. На бильярде играли преимущественно по вечерам, а некоторые любители проводили вокруг него и ночи...

Сквозь заиндевевшие, ярко освещенные окна красного уголка были видны тени играющих. Я поднялся на второй этаж, но внезапно раздумал и отправился в свой кабинет. Здесь я достал из сейфа папку документов, переданных мне Фрейманом. Среди них были две обширные справки Центрального архива и ГПУ о жене действительного статского советника Ольге Владимировне Лохтиной, копии писем к Лохтиной любимой фрейлины царицы Вырубовой, Распутина и самой царицы.

Но не успел я прочитать первой страницы, как зазвонил телефон. Звонил Виктор.

— Ты куда пропал? Битый час тебя разыскиваю: дома нет, на работе нет... Приезжай ко мне. Жена такие блины напекла — пальчики оближешь. Сеня и Илюша не нахвалятся.

— А что ты с ними двумя делаешь?

— Как что? Кормлю блинами и утешаю... Одного тем утешаю, что в волости начальства над ним не будет, а другого тем, что он такое хорошее начальство, как я, приобрел... Дialeктика! Давай подъезжай, Савельев тоже будет. Приедешь?

— Нет, работать буду,— сказал я, сам удивляясь своей твердости.

— Правильно, гладиолус, не поддавайся на провокации! — послышался в трубке веселый голос Фреймана.— Покажи Сухокову, как работать надо!

Потом опять голос Виктора:

— Приедешь?

— В следующий раз...

— Ну, как знаешь.

Я задернул шторы и включил настольную лампу. В кабинете сразу стало уютно. Вечерняя работа имеет свои преимущества: тишина, никто не мешает, не заходит.

Что же, давайте знакомиться, гражданка Лохтина!

## Х

Я с интересом перелистывал документы, которые вводили меня в маленький мир придворных интриг, давно перегоревших страстей и страстишек, несбывшихся надежд и наивных упований. Краткие и сухие письма царя, истерические и многословные — императрицы. И в каждом из них упоминался бог. Бог, который должен был помочь справиться с внешними, а особенно с внутренними врагами: с социалистами, с Думой, с голодом, со строптивыми рабочими, с великим князем Николаем Николаевичем, который рвался к престолу, стремясь заменить на нем своего неудачливого племянника, с озлобленными и уставшими от кровавой бойни солдатами...

Николай II возлагал на бога большие надежды. И не случайно, когда в 1912 году военный министр испрашивал высочайшего соизволения «на признание невозможным обеспечить в настоящее время церковными причтами те части, которые их по штатам не имеют», царь решительно начертал на его докладной строгую и довольно вразумительную резолюцию: «Военное ведомство должно потребовать кредиты на удовлетворение важнейшей нужды в войсках. Упадок веры,— назидательно заключил он,— грозит началом нравственного разложения человека.— И на всякий случай добавил: — Особенно русского».

Поэтому церкви, не в меньшей степени, чем жандармскому корпусу, отводилась ведущая роль в укреплении гибнущего самодержавия и искоренении революционной заразы.

Николай II и царица, подавая пример народу, всячески подчеркивали свою религиозность. Не отставали от них и придворные. Известный авантюрист князь Андронников, называвший себя адъютантом господина бога, даже взятки министрам и то давал иконами...

Желанными гостями в царском дворце были не только «святой старец» — всесильный Распутин, но и епископы Феофан, Варнава, Гермоген, иеромонах Илиодор и десятки юродивых типа блаженненького Мити, привезенного во дворец из Козельска. Среди них, судя по справке ГПУ, Лохтина занимала далеко не последнее место и пользовалась одно время покровительством царицы, письма к которой она обычно подписывала: «Юродивая Христа ради» или «Ольга-дура».

Обе справки о Лохтиной, которые я изучил в тот вечер, были очень насыщенными, но в массе биографических деталей терялось главное — психологическая характеристика, то, что мне требовалось для подготовки к допросу. Что же касается биографии Лохтиной, то ее можно было бы изложить в нескольких десятках фраз.

Лохтина принадлежала к высшему обществу и была глубоко религиозным человеком. В дальнейшем под влиянием Распутина эта религиозность превратилась в фанатизм. Видимо, Лохтина, так же как и Распутин, имела какое-то отношение к секте хлыстов. Во всяком случае, она считала, что гибнущую в неверии и раздорах Россию явится спасти сам бог в образе смиренного неказистого мужичка. Распутина она считала сошедшим на землю Саваофом, его друга, неистового проповедника и убежденного черносотенца Илиодора, — сыном божьим, а себя — богородицей. Между новоявленным «Саваофом» и «богородицей» были достаточно близкие отношения. Тем не менее после скандальной ссоры Распутина с Илиодором и епископом Гермогеном, которая закончилась избиением Распутина, Лохтина приняла сторону Илиодора. И когда в конце 1912 года синод лишил Илиодора сана и он уехал к своим родителям на Дон, Лохтина последовала за ним. Вот тогда-то Распутин и написал ей письмо, слог которого так восхитил Илюшу. После побега Илиодора за границу в 1914 году Лохтина вновь пыталась наладить отношения с Распутиным и кружком Вырубовой. Частично ей это удалось.

Меня, конечно, больше всего интересовали местопребывание и деятельность «богородицы» с конца 1917 до середины 1918 года. Но как раз об этом сведения оказались более чем скромными.

«После высылки царской семьи из Петрограда в Тобольск, — значилось в справке, — Лохтина также покинула Петроград. Но куда она поехала, достоверно установить не удалось. Имеются предположения, что она жила некоторое время на родине Распутина в селе Покровском, а затем переехала в Тюмень...»

Таким образом, кроме предположений, составитель справки ничего предложить нам не мог. Но различных предположений и так хватало...

Когда я спрятал в сейф папку, было двенадцать часов ночи. Сообщив Вере по телефону, что я домой не поеду, а переночую здесь, я отправился в красный уголок, где игра была в полном разгаре. Магом бильярдного шара у нас считался Мотылев. Когда он, снисходя к просьбам своих почитателей, соглашался сыграть партию-другую, бильярдный стол сразу же окружали любители. Вот и сейчас за каждым движением склонив-

шегося над зеленым полем Мотылева восторженно следило несколько пар глаз.

— «Лопатой и киркой — в лоб жилищному кризису!» — пропел Мотылев популярный лозунг и взмахнул кием. Шар медленно, словно нехотя покатился по сукну, застыл в нерешительности на какую-то долю секунды перед лузой и мягко упал в сетку.

— От борта в лузу по крупному оптовику!

Шар влетел в лузу со стремительностью пушечного ядра.

— Внимание, граждане! По этому своячку давно ардом платят. Сейчас мы его туда и доставим.

Новый шар!

Расправившись со своим противником и заставив его трижды пропеть петухом под бильярдом, Мотылев небрежно бросил кий одному из почитателей:

— На сегодня хватит.— Заметив меня, он сказал: — Тебе, Белецкий, из Петрограда звонили.

— Кто?

— Кажется, Носицын. Просил передать, что они отыскиали этого... Ну, как его?

— Стрельницкого?

— Во-во. Фрейман с приказчиком еще долго мудровать собирается? Я бы его уже давно от трех бортов в лузу... Сегодня, поверишь, троих расколол. Одного за другим. И без всяких там психологий. Савельев и тот удивился. Даже руку жал...

— Насчет Савельева-то небось приврал?

— Истинная правда! — сказал Мотылев.

— Истинная?

— Ну, почти что истинная... Хочешь сыграть? — великодушно предложил он.

— Нет, сегодня играть не буду, — отказался я.

Тем не менее несколько партий я все-таки сыграл и добрался до своего дивана уже около четырех часов ночи. Уснул я мгновенно.

Я всегда завидовал людям, которым снятся сны. Они получают от жизни двойное удовольствие: у них заполнены впечатлениями не только дни, но и ночи. А мне обычно сны не снятся. Но в ту ночь, вернее в то утро, судьба щедро вознаградила меня. Чего только мне не снилось! Мне снились Лохтина, Илиодор, Мотылев, императрица, Распутин и Николай II.

Больше всего мне понравился Илиодор, чем-то смахивающий на Сеню Булаева. Мы с ним пили крепкий чай и дружно распевали частушки: «Я гуляю, как собака, только без ошейника. Кого бьют, кого колотят? Все меня, мошенника...» Голос у него был сиплый, пропойный, а во рту блестели золотые коронки. Потом Илиодор хлопал меня широченной ручищей по спине и кричал: «Саша! Друг!

Всем ты хорош. Одно скажи: почему не любишь оперетту, а? Почему? Сотрудник уголовного розыска обязан любить оперетту! Смотри, Медведеву пожалеюсь...» Я почему-то ужасно этого боялся и уговаривал Илиодора не докладывать о моей слабости Медведеву. Чайной ложечки у него не было, и он размешивал сахар в стакане наперсным крестом, все время приговаривая: «Мы, работники уголовного розыска, ко всему привычны...» Затем Мотылев привел на допрос Лохтину. Она плакала, размазывая руками по грязному лицу слезы, и просила меня благословить ее. Я не возражал, но у меня не было креста, а попросить крест у Илиодора я стеснялся. Мотылев, стоявший за моей спиной, все время шептал мне в ухо: «Давай ее от борта в лузу...» Я взял кий и стал его натирать мелом. Вдруг я увидел у Лохтиной нож. Но тут Илиодор щелкнул ее пальцем по лбу, и она вылетела в окно, как резиновый шарик. Потом откуда-то из-под бильярда появился Николай II, которого я сразу же узнал по золотой, лихо сдвинутой набок короне. Он снял корону, и в ней оказались шахматы. Мне достались белые, и я начал разыгрывать ферзевый гамбит. Николай играл плохо, но ему все время подсказывали Мотылев и царица. Из-за их подсказок я на двенадцатом ходу потерял слона. Это уж было слишком. Я рассердился и смахнул с доски фигуры, которые с грохотом посыпались на пол и тотчас превратились в бильярдные шары. Илиодор одобрительно крикнул, а Николай схватился обеими руками за голову. «Товарищ Белецкий,— укоризненно сказал он.— Товарищ Белецкий!»

— Товарищ Белецкий!

Я открыл глаза и, ничего не соображая, уставился на склонившегося надо мной Кемберовского. Кемберовский, как всегда, был свеж, чисто выбрит и подтянут. Его лицо храброго оловянного солдата выражало недоумение и исполнительность. Это меня окончательно убедило, что Кемберовский был не из сновидений, а из действительности. До чего же мне не везло: можно сказать, первый раз в жизни приснился сон, так его обязательно должны прервать на самом интересном месте! Но что поделаешь, у каждого из нас есть свой Кемберовский, который неизменно возвращает нас к реальной действительности...

— Разрешите доложить, товарищ Белецкий?

Я поднялся и привычным движением начал натягивать сапоги.

— Докладывайте.

Кемберовский принял было стойку «смирно», но потом, сообразив, что обстановка для этого малоподходящая, а полупроснувшийся субинспектор ничем не отличается от других людей, находящихся в том же состоянии, стал вольно.

— Сегодня утром Лохтину накололи...

— «Накололи»?

Кемберовский покраснел и встал «смирно».

— Виноват, товарищ субинспектор. Сегодня утром мною установлено местожительство свидетельницы Лохтиной, которая проходит по делу Богоявленского.

— Ясно. Садитесь.

Кемберовский понял, что официальная часть закончена, и сел на диван.

— А вы крепенько вздремнули, — улыбаясь, сказал он. — Никак вас добудиться не мог. И разговаривали во сне. Все какого-то Николая поминали. Наверно, родственником вам приходится?

— Да, — сказал я, — только дальним: по Адаму... Кстати, сколько сейчас времени?

— Половина одиннадцатого.

— А где Лохтина? Вы ее сюда привезли?

— Никак нет. Такого распоряжения не было.

— Знаю, но не сбежит?

— Что вы, товарищ Белецкий! Не тот возраст: не то что бегать, а и передвигаться, извините за выражение, ей трудно. Не сомневайтесь: я там на всякий возможный случай приказчика оставил.

Приказчика, конечно, оставлять не следовало, но мне не хотелось понапрасну портить настроение этому исполнительному парню. В конце концов что сделано, то сделано...

— Распорядитесь насчет лошади. Через пять минут я сойду вниз.

Действительно, ровно через пять минут я уже сидел в санях рядом с застывшим, как на параде, Кемберовским. Кучер Силыч чмокнул губами, взмахнул кнутовищем, и наша серая лошадка с тощим задом так припустила по накатанному снегу, будто впереди ее ждали овсяные реки с пшеничными берегами.

Время от времени сани на поворотах заносило, и плечо Кемберовского на миг прижималось к моему.

Кемберовский поспешно отстранялся и неизменно говорил:

— Виноват, товарищ субинспектор!

Здорово его обтесали в армии! Неужто он такой же и дома?

— Товарищ Кемберовский, вам снятся когда-нибудь сны?

Он повернул ко мне лицо, и я впервые увидел в его глазах недоумение.

— Как?

— Сны вам снятся?

— Никак нет, товарищ субинспектор! В младенчестве снились, а теперь нет.

— А что вам снилось?

— Да всякое, бывало, привидится... Чепуха, конечно...

— А за девицами вы ухаживали?

Он засмеялся и ничего не ответил: вопрос о девицах никакого отношения к службе не имел.

## XI

Лохтину Кемберовский обнаружил в одном из домишек, которые, будто мухи, облепили со всех сторон грязный и разухабистый Марьинский рынок. Она снимала там небольшую комнатку. Прежде, по словам Кемберовского, комнатка эта считалась нежилой, и хозяева стали сдавать ее недавно, в голодные годы, когда в Москву хлынули голодающие с Поволжья. «Потому ее и не пропи-сали,— объяснил он,— чтобы шума не было. Боялись, приде-рутся...»

Операция по розыску Лохтиной была организована довольно примитивно. По моему приказанию Кемберовский в сопровождении приказчика убитого, того самого Семена Семеновича, которого Мотылев хотел «расколоть», в течение восьми дней ходил по лабиринту переулков Марьиной рощи (адреса приказчик не помнил), опрашивая старожилов и мороча голову участковым надзирателям. «Сто двадцать семь домов обошли, прежде чем на старуху наткнулись»,— не без гордости говорил Кемберовский.

Мороз был небольшой, но встречный ветер бил прямо в лицо. Я поднял воротник шинели и поглубже нахлобучил ушанку. Силыч свернул на Шереметьевскую, и сани запрыгали по ухабам, кренясь то в одну, то в другую сторону.

— Эх ты, роща Марьиная — горе Дарьино! — крикнул Силыч, растопырив локти.

Он, как и все кучера, относился к Марьиной роще крайне неодоб-рительно. В Марьиной роще с ветерком не прокатиться — это тебе не Тверская: кругом колдобины да закоулки. Не езда — мученье. Одним словом, роща Марьиная — горе Дарьино! Но квас и гречне-вики здесь делать умели. Бойкие на язык марьинские бабы изго-товляли такой квас, который шибал в голову почище сорокаградус-ной смирновки. И продавали его, как и водку, штофами. А греч-невики-грешники? Во всей Москве таких не найдешь!

Увидев разносчика гречневиков, сиротливо стоявшего у столо-вой анархо-универсалистов (Внимание! Есть пиво...), я крикнул Силычу, чтоб он попридержал лошадь: с гречневиками едетс я веселей...

О «чудесах» Марьиной рощи я слышал еще в гимназии. Пьяница и красной Мишка Юханов, который, по слухам, был связан со шпаной из Марьиной рощи, считался в гимназии звездой первой величины. Перед ним заискивал даже силач Бурундук. «В Марьиной роще как? — таинственно говорил Мишка.— Там русской словес-ностью не балуются. Там чики-брики в горло нож». И мы, мелкая

гимназическая сошка, преисполненные уважения к неведомой темной жизни Марьиной рощи, наперебой предлагали Мишке закурить, а он презрительно морщил нос и, наслаждаясь могуществом, гордо шевелил своими вислыми ушами.

Не оставил своим вниманием Марьину рощу и Вал. Индустриальный, считавший себя знатоком московских окраин. В одной из своих заметок он писал: «Революционный ураган пронесся над крышами одноэтажных домиков Марьиной рощи, не коснувшись столетнего заплесневелого быта воров и убийц. Марьиная роща по-прежнему осталась столицей московского дна. Здесь вы встретите курильщиков и продавцов опиума, самогонщиков, шулеров, фальшивомонетчиков, а на Шереметьевской, возле кинотеатра «Ампир», вы можете в сумерках столкнуться с известными всей Москве бандитами, и тогда вам глянет в лицо черный зрачок семизарядного пистолета...»

Мишку Юханова выгнали из шестого класса, и никакие «чики-брики» ему не помогли. Вместе с его славой померкла в наших глазах и слава Марьиной рощи. И, читая опус Индустриального, я уже улыбался. «Черный зрачок семизарядного пистолета» мы ему не забыли, и Виктор Сухоруков с самым серьезным видом уговаривал его сходить вместе с ним «в сумерки» в знаменитый «Ампир»...

Не знаю чем еще кроме своей богатой фантазии пользовался, готовя эту заметку, Валентин. Но мне лично ни продавцы, ни курильщики опиума в Марьиной роще не попадались. И «столицей московского дна» ее в уголовном розыске тоже никто не считал. Скорей уж такой столицей была Хитровка. Но все-таки Марьиная роща местом была преме́рзким, хотя она и мало чем отличалась от Хамовников, Грачевки или Смоленского рынка.

Мы остановились неподалеку от высоких деревянных ворот Марьинского рынка, рядом с кирпичным домиком, откуда доносилась барабанная дробь «Ундервуда». Там находился комитет торговцев рынка. На ступенях домика расположилась волоокая красавица цыганка с целым выводком босоногих цыганят. Не поднимая глаз от сосавшего ее грудь младенца, она лениво предложила: «Давай погадаю, дорогой!» Тихо всхрапывали, переступая ногами, лошади с надетыми на головы торбами с овсом, где-то вдалеке надрылся баян, тщётно пытаясь заглушить ругань торговков. Пахло дымом, конской мочой и нечистотами.

На ближайших к нам розвальнях, лежа на сене, играли в стуколку: «Туз виной... Хлоп хрестовый... Дама бубенная...»

Кемберовский уверенно провел меня через заваленный обледелым мусором проходной двор и остановился у крыльца почерневшего от старости двухэтажного домика. Шуршало задубевшее от холода белье, развешанное на веревке,— латанные подштанники,



потерявшие свой натуральный цвет юбки, рубахи, старый корсет...

— Вон ее окошко, на втором этаже,— сказал Кемберовский, задирая вверх голову.

— Второе от края?

— Так точно, второе от края.

Опасаясь опираться на ветхие перила, переплетенные для прочности ржавой проволокой, мы поднялись по разбегающимся вкривь и вкось ступенькам на второй этаж. Кемберовский дернул за шнурок звонка. Звонки не работали. Он несколько раз стукнул в дверь кулаком.

— Ну чего долдоните? — послышался за дверью урезонивающий женский голос.— Отворю уж...

Не снимая цепочки, женщина приоткрыла дверь. Остросулая, молодая, в небрежно повязанной красной косынке, какие обычно носили работницы. В руке у нее была мокрая тряпка. Видно, собиралась мыть пол.

— Чего вам?

— Из уголовного розыска,— строго сказал Кемберовский.

Она с любопытством взглянула на нас, спрятала за спину тряпку.

— Когда так, проходите...

Скинув цепочку и отступив на шаг, крикнула:

— Ольга Владимировна, гости к вам пожаловали, самоварчик ставьте!.. Вон та дверь,— указала она свободной рукой и спросила с любопытством: — Заарестуете старуху?

Я, конечно, не ожидал, что Лохтина окажется седовласой, но стройной дамой в элегантном платье, с изящной бриллиантовой ривьерой и в туфлях с изумрудными пряжками, одной из тех графинь, княгинь или баронесс, изображениями которых изобиловали бульварные романы из жизни высшего общества. Я уже давно знал, что подобные романы писали люди, имевшие приблизительно такое же представление о светском обществе, как и я. Что же касается графинь и княгинь, то бывших светских и полусветских дам в побитых молю шубах с буфами и в остроносых башмаках с искривленными каблуками я уже к тому времени достаточно повидал на барахолках Москвы. Особенно часто их можно было встретить на толкучке на углу Петровки, возле Театральной.

Жалкие, иззябшие, с красными от мороза руками, они торговали чулками из шелка и фильдеперса, бюстгальтерами, кружевными панталонами и духами, название которых звучало затихающим аккордом ушедшей жизни,— «Лориган», «Цикломен», «Коти»...

Когда покупателей было мало, они грели руки, разминали заочневшие ноги, вполголоса переговаривались:

— Пардон, княгиня, но здесь, кажется, становится небезопасно...

— Побойтесь бога, милая! Мильтоны нас еще ни разу не накрывали!

— Только подумать, этот пеньюар Серж мне выписал из Лиона... Обратите внимание на воздушность линий...

Трудно было узнать в них некогда рафинированных, избалованных жизнью и вниманием дам. Трудно, но возможно... Былое проскальзывало в жестах, осанке, в манере держаться и даже в одежде. Их нельзя было спутать ни с вульгарными толстомясыми нэпманшами в платьях цвета морской волны и в надвинутых на подбритые брови шляпках, ни с пишбарышнями в длинных полотняных юбках, кургуzych жакетиках и туфлях на низких каблуках.

Но Лохтина!

Встретившись где-либо с этой опустившейся старухой в домо-танной широкой юбке и тяжелых солдатских сапогах, с неряшливо выбившимися из-под чепца седыми засаленными волосами, я бы принял ее за профессиональную нищую. Для полного сходства не хватало только гноящихся язв и протянутой за подаванием руки... Неужто эта старуха была принята как своя в придворных кругах, переписывалась когда-то с царицей, Вырубовой, которая называла ее «святой матерью Ольгой», имела в Петербурге свой дом, выезд?.. Да Лохтина ли это?

Я испытывал то же чувство разочарования, что и однажды в детстве. В первом классе гимназии я долго мечтал заполучить английский спиннинг. В моем представлении эта волшебная рыболовецкая снасть была чем-то средним между скатертью-самобранкой и феерическим сочетанием никеля, лака, настоящего бамбука и пробки. И отец купил мне ко дню рождения настоящий английский спиннинг. И этим он убил мою мечту: спиннинг оказался обычным удилищем с катушкой... Я вяло поблагодарил и поставил спиннинг в угол детской. Больше я к нему не прикасался...

Но теперь детской у меня не было, а я уже давно вышел из гимназического возраста...

Старуха сидела к нам боком, на сундучке, покрытом таким же ветхим, как и она, ковриком. Рядом с ней сидел приказчик Богоявленского.

— Здравствуйте, Ольга Владимировна,— сказал я.

Лохтина вздрогнула, но голову в нашу сторону не повернула и ничего не ответила. Она чем-то была занята, и только сейчас я разглядел, чем именно: Лохтина ела... Перед ней на тарелке лежала кучка ирисок. Она их сразу по несколько штук засовывала в рот липкими руками и жадно, громко чавкая, жевала беззубым ртом, прижимая губы пальцами. Она торопилась доестъ эти ириски. Но их было трудно прожевать. Это раздражало Лохтину и, кажется, даже пугало. Коричневая жижа скапливалась в уголках рта и струйками

скатывалась на выступающий вперед перемазанный подбородок, капли падали на колени...

Ко мне подошел приказчик Богоявленского. Он был смущен.

— Ольга Владимировна сладкого захотели... Я и купил полфунтика конфет,— сказал он, словно оправдываясь.— Они уже заканчивают...

Лохтина действительно заканчивала. Она дожевала последнюю горсть ирисок, облизнула языком кончики пальцев и впервые посмотрела на нас. В ее глазах ничего не мелькнуло. Приказчик протянул ей свой носовой платок. Она вытерла рот, подбородок, помяла платок в руках и попыталась стереть пятна с юбки.

— Выстираем, Ольга Владимировна. Теплой водичкой. Моя старуха мигом постирушку сделает,— утешал ее приказчик.

— Стирать, надо стирать,— закивала головой Лохтина.

Она зевнула, перекрестила рот и вновь посмотрела на нас. На этот раз внимательно, оценивающе. Лицо ее подобралось, под дряблой сухой кожей напряглись мускулы, глаза стали осмысленными, злыми. Я почти физически ощущал, как в мое лицо впиваются буравчики ее зрачков. Это уже была другая Лохтина, ничем не напоминающая несчастенькую нищенку. Передо мной была гордая и озлобленная старуха, которую революция лишила всего и которая лютой ненавистью ненавидела тех, в ком эта революция сейчас для нее воплощалась. Пальцы Лохтиной судорожно сгибались и разгибались. У нее были сильные руки и корявые пальцы с обломанными ногтями. Плохо будет тому, в чье горло вцепятся эти пальцы... Я передернул плечами. Что-то похожее испытывал и Кемберовский, которого никак нельзя было упрекнуть в излишней впечатлительности.

— Это к вам граждане сыщики из сыскай,— сказал, наклоняясь к Лохтиной, приказчик, взявший на себя обязанности посредника.— Ищут того, кто убил Николая Алексеевича...

— Надеюсь, что вы нам поможете, Ольга Владимировна,— сказал я, безуспешно пытаясь найти правильный тон.

— В чем?

— Насколько мне известно, убитый к вам хорошо относился...

— Что из того? На все воля божия,— глухо сказала Лохтина.

— И на убийство тоже?

— И на убийство,— спокойно подтвердила она,— и на кару злодея, прервавшего жизнь человеческую...

— Вот вы и помогите нам «во славу божью» покарать преступника.

— Только бог карает, и только бог прощает,— сказала Лохтина, и может, я ошибся, но мне показалось, что она усмехнулась.

Допрашивать свидетельницу в такой обстановке было бессмысленно. Я решил взять ее в розыск.

Лохтина безропотно поднялась, оделась, но в передней внезапно упала на колени и, запрокинув вверх пожелтевшее лицо с горящими глазами, быстро запричитала: «Не в ярости твоей, господи, обличай меня! И не во гневе твоём, господи, наказывай меня! Помилуй меня, господи, ибо я немощна!»

— Ольга Владимировна! Ольга Владимировна! — суетился возле нее приказчик. — Не надо, Ольга Владимировна!

Но Лохтина не замечала его. Голос ее упал до шепота, на губах пузырилась слюна... Прикрыв глаза веками, она исступленно шептала: «Обратись, господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей. Ибо в смерти нет памятования о тебе... Во гробе кто будет славить тебя? Утомлена я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих...»

Это уже была третья Лохтина — Лохтина-кликуша. Наверно, такой она была, когда навещала сосланного Илиодора или приезжала в село Покровское к Распутину.

Вытирая покрывшийся испариной лоб, Кемберовский сказал: — Психичка ненормальная!

Взмахнув руками, словно собираясь взлететь, Лохтина вытянулась на полу, прижавшись лицом к доскам, широко раскинув ноги в солдатских сапогах с подковками. Ее била крупная дрожь. Она что-то бормотала, но разобрать слов уже было нельзя.

— Припадочная, — безразлично сказала женщина, открывавшая нам дверь. — Не трожьте покуда. Пусть перебесится...

Она отжала тряпку и начала мыть пол в передней, не обращая внимания на лежащую старуху.

## XII

Фрейман любил говорить, что самый лучший начальник — это тот, который не руководит и тем самым не мешает работать. Поэтому к Сухорукову у него не было никаких претензий. Виктор не пытался давать указаний, не вмешивался в ход расследования, не дергал и во время моих споров с Фрейманом предпочитал отмалчиваться, не претендуя на роль арбитра. Но сам факт контроля Сухорукова оказывал достаточно большое влияние, подтягивал, заставлял более критически относиться к своей работе. Виктор располагал достаточно большим опытом, и с этим нельзя было не считаться. Если он не высказывал своего мнения, то мы стремились его узнать. Он превратился для нас в своего рода зеркало, в котором отражались все наши удачи и промахи. Его ироническая усмешка означала, что мы сплеховали, а одобрительный кивок головы расценивался как благодарность в приказе.

И, разработав план допроса Лохтиной, Фрейман первым делом

отправился к Сухорукову. Илюша считал — и не без оснований, — что Лохтина может стать основной свидетельницей по делу об убийстве Богоявленского, и трудился над составлением плана допроса не за страх, а за совесть. Этот документ, если не ошибаюсь, включал в себя около шестидесяти вопросов. В нем было все для того, чтобы загадочное убийство перестало быть загадочным.

Илюша был доволен: план допроса был построен по всем канонам классической криминалистики.

— Ну как? — спросил он, когда Сухоруков внимательно прочел исписанные с двух сторон листы бумаги. — Здорово?

— Здорово, — согласился Виктор.

Интонация, с какой было сказано это слово, настораживала.

— Недоработки?

— Только одна, — сказал Виктор, и его губы дрогнули в сдерживаемой улыбке.

— Какая?

— Ты слышал старую историю про рыбака и заика? Был такой заика, который, вроде тебя, планы любил разрабатывать... Не слышал?

— Нет.

— Поучительная история. Гулял, понимаешь, этот заика по лужку-бережку и увидел рыбака с удочкой. Подойду, думаю, к нему сейчас и скажу: «Рыбак, рыбак, как рыбка ловится?» Если он мне ответит «хорошо», я ему скажу: «Бог в помощь!» А если скажет, что плохо, я ему скажу: «На одном конце крючок, а на другом — дурачок...» Как подумал, так и сделал. Подходит, значит, к рыбаку и говорит: «Рыбак, рыбак, к-как рыбка л-ловится?» А тот и отвечает: «Пошел ты, — говорит, — к чертовой матери!» Вот тебе и план!

Илюша вздохнул, почесал переносицу.

— Тяжелый ты человек, гладиолус!

— Тяжелый, — подтвердил Виктор. — Но ведь Лохтина-то не легче. Можешь мне поверить, старушку эту ты надолго запомнишь.

Опасения Виктора оправдались. Лохтина оказалась твердым орешком.

Мне встречались следователи более талантливые, чем Илюша, но среди них не было более терпеливых. Проработав с Фрейманом несколько лет, я ни разу не слышал, чтобы он повысил во время допроса голос. Он всегда был ровен, спокоен, выдержан. И это спокойствие обычно передавалось человеку, с которым он беседовал. Обвиняемый, а тем более свидетель не воспринимали его как врага, и допросы напоминали разговор двух людей, занятых общим для них делом — выяснением истины.

Фрейман философски относился к истерическим вспышкам допрашиваемых, к их подчас оскорбительным выходкам, умел во-

время разрядить атмосферу, если требовалось пошутить, проявить благожелательность.

В какой-то степени эти его качества сказались и при допросах Лохтиной, которая относилась к нему если не с симпатией, то, во всяком случае, более терпимо, чем к другим сотрудникам уголовного розыска — «слугам антихриста». И когда ее допрашивал Савельев, она заявила, что будет давать показания только «господину с немецкой фамилией». И все же Илюше немного удалось добиться.

Лохтина умело уходила от ответа на вопросы, которые ей почему-то не нравились. Впрочем, о Богоявленском она рассказывала довольно охотно.

По ее словам, отец Богоявленского был из старообрядцев.

Известный в Омске купец, ворочавший миллионами, он после неожиданной женитьбы на родственнице министра двора перебрался в Петербург, где приобрел прочное положение в промышленно-финансовых кругах. С помощью влиятельной родни он был принят и при дворе. Личный друг Александра III генерал-адъютант Черевин представил его императору. Видимо, тому Богоявленский понравился. Александр III, сам обладавший недюжинной физической силой, вообще любил крупных, сильных людей. Он благоволил к сибиряку до такой степени, что распорядился включить его сына в список участников кругосветного путешествия, которое совершил в компании товарищей по Преображенскому и гусарскому полкам на броненосце «Память Азова» наследник российского престола Николай.

Это путешествие не затянулось. Поездки на верблюдах, охоты на слонов и крокодилов и беспорядные пьянки завершились в Японии весьма неприятным инцидентом: японский полицейский ранил бующего императора в голову... По указанию главного распорядителя путешествия, престарелого князя Барятинского, броненосец «Память Азова» отплыл к родным берегам.

По возвращении в Россию Николай Романов вернулся к полковым пьянкам, а Николай Богоявленский — к занятиям в Пажеском корпусе.

В отличие от отца, у молодого Богоявленского не было практической жилки. Он интересовался не столько коммерцией, сколько искусством, был склонен к мистике. Одно время увлекался масонством, затем сменил его на теософию.

Учение о связи с надфизическим миром и о познании бога с помощью сокровенных психических сил, дремлющих в человеке, одобренное мудростью йогов и ошеломляющими трюками факиров, произвело на него настолько сильное впечатление, что он решил посетить Индию, где находились центр теософических обществ и специальная школа. В штаб-квартире теософов Николай и познакомился с недавним семинаристом Борисом Соловьевым.

После смерти отца Николай Богоявленский вернулся в Петербург. Полученное наследство даже после уплаты многочисленных долгов покойного составило значительную сумму, которая дала ему возможность не только безбедно существовать, но и заняться коллекционированием произведений изящных искусств. По словам Лохтиной, Николай Богоявленский никогда не был ревностным поклонником Распутина, но, учитывая его близость к царской семье, относился к нему с «должным уважением». И когда Борис Соловьев по поручению Распутина приехал в станицу Мариинскую, где жил после отбытия наказания опальный Илиодор, Богоявленский его сопровождал. В станице Мариинской Лохтина и познакомилась с Богоявленским. В дальнейшем она встречалась с ним три или четыре раза в Царском Селе на квартире у Вырубовой. Это было уже во время войны в 1915 году. А в 1917 году? Нет, в 1917 году они не виделись. Где находился и чем занимался Богоявленский с 1917 по 1920 год? На этот вопрос она тоже не может ответить. Она с ним совершенно случайно встретилась в Москве только в прошлом году, когда он уже был хозяином маленького антикварного магазина. Богоявленский несколько раз помогал ей деньгами. Он всегда был щедрым человеком. С кем он последние годы встречался, она не знает: Николай Алексеевич не считал нужным ее посвящать в это, а она не любопытна. У нее создалось впечатление, что Николай Алексеевич вел исключительно замкнутый образ жизни и ни с кем не поддерживал отношений.

Борис Соловьев? Этого человека она достаточно хорошо знала и, если господина следователя он интересует, расскажет о нем.

Отец Соловьева, казначей синода, был другом Григория Ефимовича. Поэтому Вырубова и Григорий Ефимович покровительствовали Борису, хотя он и оказался недостойным этого высокого покровительства. Когда началась Февральская революция, Борис одним из первых привел свою роту к зданию Временного думского комитета. За это его назначили обер-офицером для поручений и адъютантом председателя военной комиссии Временного комитета Государственной думы. Его дальнейшая судьба? В конце 1917 года она видела Бориса в Тюмени и в селе Покровском, где он тогда жил со своей женой Матреной, старшей дочерью Григория Ефимовича. Почему он покинул Петроград, когда ему предстояла такая блестящая карьера? Исчерпывающе ответить на этот вопрос она затрудняется. В 1919 году в Екатеринбурге один из врачей, работавших во время германской войны в лазарете великих княжон Марии и Анастасии, рассказывал ей, что Вырубова якобы поручила Соловьеву организовать побег царской семьи из Тобольска. Но он, обманывая царицу и Вырубову, использовал предоставленные ему полномочия только для личного обогащения. Врач даже утверждал, что Соловьев присвоил часть царских драгоценностей. Во

всяком случае, говорили, что он продал за 50 тысяч рублей любовнице атамана Семенова бриллиантовый кулон, принадлежавший императрице, и Соловьева разыскивала колчаковская контрразведка. Позднее Лохтина слышала, что Соловьев был арестован колчаковцами во Владивостоке и то ли бежал из тюрьмы в Японию, то ли был расстрелян. Судьба Соловьева Лохтину не интересовала: он всегда был бесчестным человеком, без убеждений и принципов. Жаль только, что с ним связала свою жизнь несчастная Матрена, о которой так печалился Григорий Ефимович...

Когда Фрейман поинтересовался, в какой связи упоминалась фамилия Соловьева в ее разговоре с Богоявленским, Лохтина сказала, что Николай Алексеевич вообще любил вспоминать старое время, а с Соловьевым его многое связывало — ведь они вместе находились в Индии, и Соловьев его представлял Распутину и Вырубовой. Вполне возможно, что Богоявленский дурно отзывался о Борисе. Он очень болезненно воспринял его измену монархии, считал его службу в военной комиссии Временного думского комитета позорной для офицера.

Таманский? Ей ничего не известно о Таманском. Эту фамилию она слышит впервые. Не верите? Дело ваше. Она никого и ни в чем не собирается убеждать...

Я и Виктор несколько раз присутствовали на допросах. Они производили странное впечатление, оставляя какой-то неприятный осадок. Материал, которым располагал Фрейман по убийству Богоявленского, был настолько скуден, что оперировать им было крайне трудно. И Лохтина прекрасно понимала это. Фрейман уже не вспоминал о своем обширном плане. Теперь он стремился получить какой-то минимум необходимых сведений. Но и это оказалось далеко не простой задачей. Лохтина лавировала, рассказывала о вещах, не имеющих никакого отношения к делу, засыпала следователя сотнями совершенно ненужных ему фамилий и фактов, а когда, несмотря на увертки, положение ее становилось безвыходным, впадала в транс, взывала к богу, кликушествовала или устраивала истерики. И тогда Фрейману приходилось прерывать допрос и срочно вызывать врача, хотя, по мнению Сухорукова, в медицинской помощи нуждалась не столько Лохтина, сколько Илюша, которого старуха успела основательно вымотать. Мне даже казалось, что Фрейман за эти дни осунулся. Савельев посмеивался. «Не расстраивайся понапрасну, Илюшенька,— говорил он.— Покойному Николаю Александровичу Романову от нее тоже доставалось. Она ему раз из Одессы такую телеграмму закатила, что он, бедолага, к Распутину жаловаться побежал».

Лохтина утверждала, что ни о каких записях Богоявленского она не знала, что беседа о каком-то шантаже — фантазия приказчика или недоразумение. Фрейман провел несколько очных ставок



между Лохтиной и приказчиком убитого. Но они ничего не дали. Приказчик держался неуверенно.

Он, конечно, подтверждает свои показания, он человек честный и никогда в своей жизни не лгал и лгать не собирается, это вам каждый скажет, кого ни спросите. Но ручаться за то, что он все запомнил и правильно понял, он, разумеется, не может. Как-никак ему уже не двадцать, а за семьдесят, годы берут свое: и память не та, и слух... Да и не касался его тот разговор. Может, что и перепутал, бог его знает! Во всяком разе, Ольге Владимировне лучше знать, о чем она с хозяином речь вела. Их дела — их и разговоры. А его дело известное: занимай покупателя и не суй нос, куда не просят. Вот оно как, уважаемый гражданин начальник!

Опирается на такие показания, конечно, было нельзя. От очных ставок пришлось отказаться. Уже после первого допроса Лохтиной я понял, что добиться от нее чего-либо существенного не удастся. Мы все были уверены, что Лохтина много знает, но не сомневались и в другом, что она ни с кем не собирается делиться известными ей сведениями. Она явно не хотела, чтобы мы вмешивались в личные отношения всевышнего с убийцей, считая, что бог и без нас разберется: покарать его или помиловать, а Богоявленского все равно не вернешь. Ничего не поделаешь, такова воля бога...

Не дожидаясь окончания допросов Лохтиной, я выехал в Петроград...

### XIII

Поезд прибыл рано утром. Трамваи еще не ходили. Поэтому извозчикам было раздолье: запрашивай, сколько совесть позволит. Выругают, конечно, а возьмут: с чемоданами да с баулами по слякоти далеко не утопаешь... И лихачи, и отощавшие на жидких харчах ваньки, ухмыляясь в бороду, восседали на козлах, как чугунные изваяния, — гордые и непреклонные. Они не торговались. Они ждали.

У меня чемодана не было. Не было и денег на извозчика. Поэтому я чувствовал себя легко и независимо. Съев в буфете второго класса боярскую булочку и запив ее холодным, как на всех вокзалах, чаем, я, поеживаясь от сырости, вышел на площадь.

Петрогуброзыск начинал работу в половине девятого. Поэтому я мог не спеша пройтись по Невскому, поглазеть на редких еще прохожих, на зеркальные стекла витрин, за которыми высились кокетливо разрисованные кремами и цукатами торты, копченые и вареные колбасы, переливающиеся перламутром нежно-розовые окорока и разнокалиберные бутылки с причудливыми наклейками. В широкой, размахнувшейся на полдома витрине универсального магазина «Райя и К<sup>0</sup>» стояли, застыв в полупоклоне и вытянув

вперед руки, словно приглашая танцевать, манекены в белоснежных манишках и модных брюках.

Зева я крестясь, поднимали железные шторы служащие магазинов; покрхтывая, сгребали мокрый снег плечистые, как на подбор, дворники с бляхами. Аккуратно подстелив дерюжку, пристроился в подворотне одноногий нищий; пробежала, толкнув меня плечом, курсистка в очках; прошел, постукивая тростью, эппман. Город пробуждался от сна. Зевал, почесывался, умывался...

На углу Невского и улицы Желябова я остановился. Здесь «герой лиговской панели» Ленька Пантелеев застрелил двух наших ребят.

Леньку знал весь Петроград. После того как его убили во время перестрелки на Можайской, мы его выставили в морге на всеобщее обозрение. Приходите, смотрите — вот он, бандюга, о котором ходят легенды. Нет больше Пантелеева, остался только его труп. Смотрите! И люди приходили, смотрели. Сотни людей навестили морг. А трупы наших ребят мы не выставляли. И в последний путь их провожали лишь друзья...

И я вновь иду вдоль Невского, широкого, прямого. В Москве таких улиц нет. Москва, как кружевница, плетет себе хитрые узоры переулочков да закоулочков, площадей да проездов, плетет да подмигивает: ну-ка разберись, коли грамотный.

А вот и Дворцовая площадь. Здесь в 1922 году у арки Главного штаба проходил первый милицейский парад. А милицейскую службу в этот день несли красноармейцы. Даже оперативным дежурным по уголовному розыску и то был красноармеец. Тогда же на Дворцовой площади мы приняли присягу: «Я, сын трудового народа... обязуюсь стоять на страже революционной законности и порядка и защищать интересы рабочих и крестьян, беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения своих начальников, поставленных властью рабоче-крестьянского правительства... быть честным, трезвым, исполнительным и вежливым; в случае опасности, угрожающей Советской власти, прийти на помощь Красной Армии...»

Голоса тысяч людей слились в один голос, который заполнял собой Дворцовую площадь: «Я, сын трудового народа... обязуюсь стоять на страже революционной законности и порядка...»

Потом был митинг. Начальник губернской милиции прочитал приказ. «...Быть постоянно на посту завоеваний Октябрьской революции — вот одна из наших неотложных задач... Все, что добыто морем крови и жизнями многих тысяч лучших сынов трудовой России,— все это отдается под охрану красному милиционеру...»

Затем начался церемониальный марш. Колонны людей, призванных охранять завоевания революции, четко отбивая шаг, идут по Невскому проспекту, вдоль которого толпы рабочих. Кругом флаги,

транспаранты. У Литейного громадное полотнище: «Путиловцы приветствуют красную милицию!»

А вечером на Дворцовой площади пылает гигантский костер, сложенный в форме пятиконечной звезды.

— Граждане петроградцы! — волнуясь, говорит парень в щеголеватой шинели. — Этот костер — костер революции. И сейчас на ваших глазах мы сожжем на нем чучело городского. Это будет означать, что старое никогда не вернется! Это будет означать, что полиции больше нет! Пусть от полиции останется один пепел!

И в костер летит, разбрызгивая искры, чучело городского. К нему жадно тянутся языки пламени. И вот его уже больше нет. Лежит на тлеющих головнях одна только обгорелая шашка...

Гремят оркестры, взлетают в черное небо зеленые, красные и оранжевые ракеты...

Я взглянул на часы — только восемь часов. Еще тридцать минут до начала рабочего дня.

— Белецкий!

Ко мне шел, почти бежал подгоняемый ветром плотный человек в раздутой колоколом шинели. Это был Чашин — эксперт-инструктор Петрогуброзыска по научной части.

Он сунул мне свою твердую, как сосулька, руку. Жмурясь от ветра, сказал:

— В командировку? С поезда? Как дела? Порядок?

Чашина интересовали только его работа и его музей. Ко всем сотрудникам розыска он относился чисто потребительски: тот может достать интересные экспонаты, а тот — помочь организовать броскую экспозицию. В этом я сейчас был для него бесполезен. Значит, радость от встречи объясняется тем, что он хочет чем-то похвастаться перед свежим человеком или выпытать что-то о МУРе.

И точно.

— Верно, что Савельев в МУРе научно-технический музей организовал? — настороженно спросил Чашин.

— Нет, только собирается.

— А-а,— удовлетворенно протянул он, теряя ко мне добрую половину интереса.— А у меня почти все готово. Хочешь, покажу?

— Ладно. Только я сначала загляну к Скворцову.

Чашин пожевал губы. Я почувствовал, что он удивлен.

— К Скворцову?

— Ну да.

Он достал из кармана шинели большой клетчатый платок, высморкался, потер ладонями багровые щеки.

— Не работает у нас больше Скворцов... Понял?

Я почувствовал в груди знакомый холодок. И, уже зная, что произошло, безразлично спросил:

— Куда же он девался?

— Убит, — сказал Чашин. — При исполнении служебных обязанностей. Третьего дня хоронили. С салютом, с речами — как положено. Гроб по первому разряду: глазированный, с красным бархатом и золотыми кистями. А оркестр пожарная охрана дала...

На площади стало людно. Торопились совслужащие, весело переговаривались пишбарышни. Толстая торговка в завязанном сзади узлом платке, из-под которого торчал влажный и розовый нос, выкрикивала: «Горячие пирожки с мясом! Кому горячие пирожки с мясом? Хватай, поспевай, только успевай!»

— Хочешь пирожков? — спросил Чашин.

Я не ответил.

— Умер он сразу?

— Кто, Скворцов? Почти что. Одна пуля в шею, артерию задела, другая — в живот. Ну, сам понимаешь...

Чашин еще раз гулко высморкался, пожаловался на насморк: «Перья жженные нюхал, керосин в нос лил... Теща собачье сало притащила. стакан спирта выпил — все едино!»

— Ну, Белецкий, чего закручинился? Первая бригада — она и есть первая бригада. Там так: сегодня жив, а завтра — жил... Служба такая...

— Ну у тебя-то служба спокойная.

Чашин не обиделся.

— Спокойная. Я ничего и не говорю. В своей постели помру. Мое дело криминалистика — трасология, дактилоскопия, баллистика... Тоже нужно. Разве нет?

Сегодня жив, а завтра — жил... Эту присказку я частенько слышал от Скворцова. Но присказка присказкой, а человек человеком...

— Я стенд подготовил, — сказал Чашин. — Так и называется: «Инспектор первой бригады товарищ Скворцов». Для истории... Хочешь посмотреть?

— Хочу.

В вестибюле уголовного розыска меня остановил дежурный. Я показал свое удостоверение. Он придирчиво осмотрел его и довольно разрешил:

— Проходите.

Чашин рассмеялся.

— Небось не думал, что так быстро забудут?

— Не думал, — признался я.

Мы прошли в большую комнату, отведенную под криминалистический музей. Здесь у стен навалом лежали самогонные аппараты различных конструкций, воровские инструменты: «рвотки», «балерины», «шапоры», «гусиные лапки», «гитары», еще не разобранные ящики из кладовой вещественных доказательств. На столах альбомы с фотографиями и описаниями «подвигов» извест-

ных петроградских налетчиков, аферистов, козлятников, конокрадов, медвежатников, два тома Ферри, словарь «блатной музыки», браунинг Ленки Пантелеева с просверленным стволом, топор, которым Лунц зарубил семью доктора Басакова... На одном из стендов надпись: «Милиционер! Ты борешься не с проститутками, а с проституцией!»

Рядом стенд, посвященный шайке Чугуна. Эта шайка совершила двадцать семь убийств и около ста ограблений. Когда я Чугуна допрашивал, он пытался выпрыгнуть в окно. В следующий раз его ко мне привели уже в наручниках... Более зверской физиономии я не встречал, а на фотографии он выглядел солидно, благообразно — преуспевающий нэпман, да и только!

А вон Келлер. Этот был точно таким, как и в жизни. Надвинутый на глаза лоб, из-под которого едва видны запавшие подслеповатые глаза с воспаленными веками, безгубый рот, ото лба к макушке — аккуратный, словно прочерченный рейсфедером, длинный прямой пробор, тщательно и даже кокетливо вывязанный галстук в мелкий горошек... А лицо недовольное, обиженное.

С таким же обиженным лицом он сидел на канаве, когда мы производили у него обыск, простукивая стены в поисках тайника, а Сворцов, который, несмотря ни на какие доказательства, не мог до конца поверить, что член партии совершил преступление, безуспешно пытался сгладить неприятное впечатление от нашего посещения. Василий Иванович, кажется, был обескуражен не меньше Келлера, когда мы начали вываливать на стол серебряные ризы, венчики с икон, фарфоровые уники. Стоимость всех этих вещей эксперт определил в тридцать тысяч золотых рублей. Все это Келлер наворовал за год работы в Эрмитаже.

— Низкая зарплата, тяжелые бытовые условия, молодая жена, — монотонно перечислял он на допросе причины преступления.

— Но ведь вы партиец! — недоумевал Сворцов.

— Партиец такой же человек, как и другие.

— То есть как? — поразился Василий Иванович.

— Я говорю, — раздраженно повторил Келлер, — что партиец точно такой же человек, как и другие. Вы что, на ухо туговаты?

Сворцов побагровел, и я увидел, как он вцепился пальцами в край стола.

Таким я его еще не видел. Я ждал крика, может быть, даже выстрела. Но Василий Иванович только сказал шепотом:

— Клади.

Келлер заморгал своими подслеповатыми глазками. Он был перепуган.

— Что вы от меня хотите?

— Клади партбилет.

— Вы не имеете права... Я буду жаловаться...

— Клади, гад!

Пальцы Скворцова поползли по поясу и остановились у кобуры. Это заметил не только я, но и Келлер. Он выхватил из бокового кармана пиджака партбилет и поспешно швырнул его на стол.

Василий Иванович долго не мог успокоиться.

— Таких надо стрелять! — говорил он, когда Келлера увели. — Только стрелять...

— Почему? Обычный вор...

— Нет, Саша, не обычный. Он хуже бандита. Ленька Пантелеев убивает людей, а такие, как этот, — Советскую власть. Он души калечит. Разве дело в серебре? Плевать на серебро! Ты глубже копай. Ведь не скажут: «Келлер-вор». Точно тебе говорю: не скажут. «Партиец-вор» — вот как скажут. Понимаешь? Партиец-вор... А кое-кто скажет и похуже: «Партийцы-воры»...

— Ну уж...

— Скажут, я знаю... Убивать таких надо, Саша, как вшей, убивать. Иначе они нас убьют, веру в революцию убьют. А без веры ничего не будет, Саша: ни мировой революции, ни коммунизма...

В его рассуждениях было что-то схожее с тем, что мне говорил как-то в 1918 году Виктор Сухоруков, говорил другими словами, но с той же болью и страстностью. Может быть, именно тогда я впервые увидел в Скворцове не только своего начальника, старшего товарища по работе, но и человека, дружбой которого я потом всегда гордился.

Медведев, Сухоруков, Груздь, Скворцов — люди совершенно разные по характеру и темпераменту. Но у всех у них было нечто общее, та наивная и мудрая чистота, к которой не пристает и не может пристать никакая грязь. Фрейман назвал эту чистоту стерильностью души. Более точного определения я подыскать не смог...

— Белецкий! — окликнул меня Чашин. — Специально для тебя.

— Что?

— Снимки с места убийства Скворцова. Можешь взять на память.

— Нет, не хочу.

Я не хотел видеть Василия Ивановича мертвым. В моей памяти он остался живым. До сих пор для меня живы и Медведев и Сухоруков, и Тузик, и Леонид Исаакович, и Груздь, и Сеня Булаев, и Савельев... Дружья человека умирают только вместе с ним...

#### XIV

После гибели Скворцова обязанности инспектора первой бригады Петрогуброзыска исполнял Носицын, высокий, широкоплечий, с цыганским лицом и лихим прищуром горячих, как уголья, глаз. При мне он числился агентом первого разряда.

Превратиться из обычного агента в руководителя прославленной бригады что-нибудь да значило, особенно для тщеславного Носицына. И он наслаждался своей значительностью, властью, тем, что он сейчас хозяин этого большого кабинета и сидит за тем самым столом, за которым сидел известный на всю республику Скворцов. Без особой к тому нужды он доставал из сейфа и клал обратно толстые папки с грифом «секретно», хмурил, будто припоминая что-то важное, свои густые брови и точно так же, как Василий Иванович, разговаривая с сотрудниками, постукивал согнутыми пальцами руки по краю стола.

Но, подражая во всем Скворцову, он все-таки чувствовал, что до Василия Ивановича ему пока далеко и что стены кабинета Скворцова не обладают волшебной силой. Поэтому с ребятами из бригады он по-прежнему держался запанибрата. Но в этом панибратстве проскальзывали новые нотки: вам, дескать, не хуже меня известно, что Носицына больше нет, что прежний Женька Носицын превратился в ответственного работника Петрогуброзыска. Однако новый Носицын не загордился. Он, несмотря на свое высокое положение, все-таки свой парень и с простым народом разговаривает по-простому, на равных.

Передо мной ему разыгрывать спектакль было ни к чему, и он, походя смахнув с себя маску преемника Скворцова, стал на какое-то время прежним Женькой, неглупым тщеславным парнем. Он, как испокон веков принято на Руси, хлопнул меня тяжелой рукой по спине, с хозяйским радушием усадил в кресло и начал расспрашивать про московские новости. В отличие от МУРа, Петрогуброзыску пришлось передать волостной милиции около ста работников.

— Не с кем стало работать,— жаловался Женька.— Камсу набрали, пацанов...

Самому Носицыну было двадцать лет. Когда я ему напомнил об этом, он самодовольно улыбнулся и, играя горячими глазами, сказал:

— Зелень по цвету определяют, не по паспорту...

Это уже был почти афоризм. Носицын мог быть доволен: он считал, что каждый мало-мальски ответственный работник должен уметь говорить афоризмами. Небось поговорку Скворцова «сегодня жив, а завтра — жил» все повторяют!

Я напомнил ему о цели своего приезда.

— Стрельницкий? — переспросил Носицын.— Как же, как же, помню. Только ты зря в Петроград приехал. Могли без тебя его допросить. Я бы лично,— слово «лично» он подчеркнул,— его допросил.

Он вызвал рыжего паренька из новых и приказал немедленно доставить Стрельницкого в розыск.

— Будешь с ним у меня в кабинете работать. Я все равно на операцию уезжаю.

Он хлопнул меня по спине, одернул пиджак, под которым бугрился засунутый за ремень наган — так обычно, отправляясь на операцию, носил оружие Скворцов, — и, высоко неся красивую голову, вышел из кабинета, большой, ладный, самоуверенный, по мнению Скворцова, слишком самоуверенный.

Василий Иванович недолюбливал Носицына. Он вообще насто-роженно относился к людям властным, убежденным в своем неотъемлемом праве руководить другими. «Власть должна быть тяжким бременем, а не забавой, — говорил он. — Будь на то моя воля, я бы к ней подпускал только тех, кто от нее обеими руками отпихивается. А если человек к власти как к лакомству тянется, его — на поводок. Знаешь, какой порядок на водочных заводах был? На работу только непьющих брали. А ведь власть хуже вина пьянит, и привыкают к ней побыстрей. С алкоголиками от власти я встречался, знаю. За один глоток власти человека задавят. А Носицын такой... Его от запаха власти в дрожь бросает...»

Эти слова Скворцова я понял много позднее.

Стрельницкого доставили через час. Видимо, кабинет Скворцова действительно обладал какой-то магической силой, иначе трудно было объяснить то исключительное почтение, которое проявил ко мне агент, доставивший свидетеля.

— Я вам пока не понадоблюсь? — вежливо спросил он, застыв у двери.

Я даже смутился.

— Нет, можете быть свободны.

Он неслышно исчез, словно растворился в воздухе.

С минуту мы со Стрельническим молча смотрели друг на друга. Толстый, неуклюжий, с оплывшим нездоровым лицом, он стоял посреди кабинета, наклонив голову и держа руки за спиной. Так держат руки люди, побывавшие в тюрьмах. Тюремные привычки устойчивы, некоторые из них остаются на всю жизнь... Интересно, долго ли он сидел? Молчание затянулось. Я предложил Стрельническому стул.

Он сел, сгорбившись, опершись руками на колени, выставив вперед покрытую коричневыми пятнами лысую голову. Он не знал, зачем его привезли, но, видимо, приготовился к самому худшему. Одет он был странно. На нем был засаленный сюртук, один из тех сюртуков, которые я видел только на актерах, игравших чиновников, узкие брюки со штрипками, из-под которых виднелись носки, лаковые потрескавшиеся штиблеты. Не человек, а манекен из лавки старьевщика.

— Вы здесь разделись?



Мой вопрос его испугал. Он быстро вскинул на меня свои выпуклые водянистые глаза, облизнул ссохшиеся губы.

— Да, а что?

— Просто вижу, что вы без верхней одежды.

Стрельницкий вновь опустил глаза. Он внимательно разглядывал, как капли стаявшего снега скатываются со штиблет на пол, образуя лужицы.

— Наследил я вам...

— Ничего. Как ваше имя и отчество?

— Стрельницкий Семен Митрофанович.

— Год рождения?

— Тысяча восемьсот пятьдесят второй.

— Социальное происхождение?

— Дворянин, сын землевладельца.

— Чем занимались до революции?

— Служил.

— Где и кем?

— Помощником командира железнодорожного батальона его императорского величества. В 1912 году вышел в отставку и проживал вместе с семьей в своем имении в Калужской губернии до ноября 1917 года, а потом снова переехал в Петербург.

На вопросы Стрельницкий отвечал быстро, привычно. Когда я спросил, кем он теперь является, Стрельницкий ответил:

— Бывшим человеком.

— Чем занимались после революции?

— В основном голодал,— не без юмора сказал он.— Потом, как положено, сидел...

— За что?

— В суде сказали, что за спекуляцию: менял оставшиеся вещицы на хлеб...

— А чем занимаетесь сейчас?

— Служу в управлении дороги.

— И пишете историю гибели Николая II?

Стрельницкий попросил закурить. Я протянул ему через стол портсигар. Он вытащил из портсигара папиросу, долго разминал ее в пухлых пальцах, потом неумело прикурил, поперхнулся дымом и натужно закашлялся. Откашлявшись, тихо сказал:

— Казните. Мне и так и этак жить недолго. Пора господу отчет о своей жизни представлять. Безропотно смерть приму. Только одно скажу: в белогвардейцы мне записываться поздно и никаких компротетантных знакомств у меня нет...

Мне потребовалось много усилий убедить его, что труд, над которым он работает, имеет только косвенное отношение к теме нашей беседы и что речь идет о расследовании убийства. Он мне не верил, считая, что разговор об убийстве — ловушка, силоч, рас-

ставленный следователем. Пришлось показать постановление о возбуждении уголовного дела.

Стрельницкий немного успокоился, обмяк.

— Значит, господин Богоявленский убит? — растерянно сказал он, приходя в себя. — И вы занимаетесь розыском?

— Абсолютно верно.

— Убит, — повторил он. — Жаль, жаль... Лично не имел чести его знать, а скорблю. — Он перекрестился. — Призвал, значит, господь. Что поделаешь, все там будем, все, как один, соберемся у престола всевышнего...

Стрельницкий заявил, что он не был знаком ни с Богоявленским, ни с Лохтиной.

— Много наслышан был, а чести не имел...

— А с Таманским вы давно виделись? — спросил я, используя излюбленный прием Фреймана.

— Как вы сказали? Таманский? Такого не знаю. Он где служил? Таманский... нет, не слышал про такого...

— Вы переписывались с Богоявленским?

— Да, я состоял с покойным в переписке, — охотно подтвердил Стрельницкий.

— Знакомы не были, а в переписке состояли?

— Так.

Стрельницкий промакнул пальцами слезящиеся глаза, пригладил встрепанную бородку.

— Случай, — сказал он, поблескивая голым черепом, на котором играли блики скупого петроградского солнца. — Раньше бы я сказал: перст божий, теперь говорю: случай. Племянник мне о нем рассказывал... Но вас действительно интересует только убийство?

— Только убийство, — заверил я.

И Стрельницкий, не дожидаясь вопросов, начал рассказывать:

— Есть у меня племянник, сын сестры моей покойной жены, Игорь... Игорь Владимирович Азанчевский-Азанчев. Про отца его вы, верно, слышали, генерал-губернатором был, а Игорь в гвардии, в Преображенском полку государю служил. А теперь он, как и я, бывший. С семнадцатого я его не видал и не слышал, а в прошлом году он объявился: на несколько дней из Москвы в Петроград прибыл, по делам службы. Гостиницы дороги. Остановился у меня. И для него удобство, и для меня, старика, радость. Я теперь один как перст: жена от голода померла, царствие ей небесное, а дочери в Париже... Я этого от властей не скрываю. Еще в семнадцатом году вместе с мужьями и детьми за границу уехали. Так и посчитали: за границей несладко, а в своей стране и того хуже... Я это не в обиду вам, а так, к слову... Всякая власть от бога. Значит, Игорь у меня остановился. Я, как положено, о его приезде в жакт сообщил, гражданину дворянину... Все по закону. Никаких нарушений не было.

И говорили мы с ним больше о семейных делах. Рассказал я ему о своих досугах. Прочитал он мои наброски и сказал, что есть человек, который поможет мне оказать может. Кто такой? Николай Алексеевич Богоявленский. Игорь с ним в Севастополе в двадцатом году познакомился, когда у барона Врангеля служил...

— Что же вам Азанчеев рассказал о Богоявленском?

— Говорил, что он пытался спасти государя. Был в 1918 году в Тобольске и Екатеринбурге. Игорь мне и адрес Богоявленского оставил.

— А откуда он знал адрес?

— Да пришлось ему как-то ларец слоновой кости продавать. Пошел в антикварный. Глядит, а антиквар-то знакомый...

— Таким образом, вы обратились к Богоявленскому по совету племянника?

— Да, по совету. Так он мне и сказал: напиши, говорит, ему, дядя, он тебе в твоём благородном труде поможет. Я и написал...

— Богоявленский вам ответил?

— Ответил и тетрадь дневниковую прислал...

— Где она?

— У меня на квартире. Хотел ему по минованию надобности вернуть, да все оказии не было, а обычным путем не решался. Не в обиду будь вам сказано, почтовое ведомство после революции ненадежным стало: отправишь письмо в Тверь, а оно в Тамбов угодит...

— Вы Богоявленскому один раз писали?

— Нет. Только на второе свое письмо ответа я не получил. Напоминание ему написал, да он, видно, уже мертвым был...

Я положил на стол письмо, которое приказчик отдал Фрейману, когда тот был в магазине Богоявленского.

— Узнаете?

— Да. К мертвому пришло?

— К мертвому.

Он перекрестился. Попросил еще папиросу. Закурил.

— Что вы просили сообщить вам во втором письме?

— Я спрашивал, какие иконы и книги государь привез с собой в Екатеринбург и что на Николая Алексеевича произвело наиболее сильное впечатление в доме Ипатьева...

Я вспомнил бесконечный список икон, над которым мы с Фрейманом напрасно ломали голову. Еще там были «Правила игры на балалайке» — собственность царевича Алексея, сочинения Аверченко и религиозная литература.

Я достал из портфеля, подаренного мне на день рождения Верой, копию найденного у убитого письма.

— Здесь, кажется, ответы на все ваши вопросы...

Стрельницкий осторожно взял своими пухлыми желтыми пальцами листок, склонил над ним лысую голову.

— Да, пожалуй. Только пропуски имеются...

— Было залито кровью, не разобрали...

Он поспешно положил листок на стол. Посмотрел на пальцы, будто опасаясь, не замазаны ли они кровью. Потом покачал тяжелой головой, вздохнул:

— Изверги, ох изверги!

— О каких ваших и своих заблуждениях мог писать Богоявленский? — спросил я.

Стрельницкий потер под столом руки, словно стирая следы крови. Задумался.

— Что вам сказать? Чужая душа потемки. Может быть, он подразумевал высказанную мною в письме уверенность, что он был и остался монархистом? Игорь мне говорил, что Богоявленский все себя теребил, растравлял. Не было спокойствия в его душе. Как говаривали в старину, укатали сивку крутые горки... Вот видите, пишет: «У меня сейчас нет прошлого, и я не заинтересован в его воскрешении». Без прошлого жить, конечно, легче, зато умирать тяжелей...

— Азанчевский-Азанчев проживает сейчас в Москве?

— В Москве.

— Адрес помните?

Прежде чем ответить на вопрос, Стрельницкий спросил:

— Вы его тоже допрашивать будете?

— Конечно. Надеюсь, его показания помогут разыскать убийцу.

— Дай-то бог. А адрес его такой: Староконюшенный, значит, переулок, дом 7, квартира 15.

— Кстати, как выглядит ваш племянник?

— Я, признаться, не мастер описывать. Человек как человек. Когда-то был брюнетом, теперь стал седым. Тюрьма да гражданская война выбелили. Вы не думайте,— почти просительно сказал Стрельницкий,— он за свою службу у белых сполна получил. Так что старые грехи ему не в зачет.

Старик опасался, что его показания могут сказаться на судьбе племянника. Я его успокоил. «Был брюнетом, теперь стал седым...» Не тот ли это седоватый господин, о котором говорил на допросе приказчик убитого?

Я попросил Стрельницкого подождать в коридоре, а сам отправился к начальнику Петрогуброзыска. С его помощью мне удалось связаться по прямому проводу с Москвой. Я сообщил результаты допроса Стрельницкого, адрес Азанчевского-Азанчеева и сказал, что завтра буду в Москве и привезу с собой дневник Богоявленского.

Стрельницкого я нашел на том же самом месте, где оставил его час назад.

- Ну, поехали к вам. Нас уже машина ждет.
- Обыскивать будете?
- Зачем? Думаю, вы мне и так дневник убитого отдадите.
- Дневник? Да, конечно...

Он тяжело встал, руки его опять оказались за спиной. Сгорбившись, он пошел к стоящей у подъезда машине, в которой уже сидел рыженький агент.

Когда мы приехали к Стрельницкому, он достал из старинного платяного шкафа, из-под груды каких-то тряпок, аккуратно завернутую в бумагу толстую тетрадь, исписанную уже знакомым мне почерком астигматика.

— Вот, пожалуйста...

Он проводил меня до самой двери. На лестничной площадке мы остановились. Он мялся.

— Меня действительно не арестуют? — наконец спросил он.

— Конечно, нет.

— А Игоря?

— Если он не причастен к убийству, то тоже нет.

— Я вам верю, — торжественно сказал Стрельницкий. — Правда, вы не дворянин, но я вам верю. Мне жить недолго, но я не хотел бы умирать в тюрьме. — Он поднял на меня свои водянистые глаза, в которых были слезы. — Я вам верю, — еще раз повторил он.

Итак, теперь мы располагали дневником Богоявленского.

Какую роль он сыграет в расследовании этого дела?

## XV

Дневник Богоявленского был своеобразной исторической хроникой и, видимо, с этой точки зрения представлял бы известный интерес для читателей. Но, чтобы не перегружать свое повествование, я приведу лишь те записи, которые имеют прямое или косвенное отношение к описываемым мною событиям.

**Петроград, 1917 года, марта 9 дня**

Как только императорский поезд подошел к перрону, на платформу соскочил командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Не оглядываясь, он кинулся к выходу. Его примеру последовали другие свитские. Придворные напоминали крыс, бегущих с тонущего корабля. Николай Александрович был потрясен происходящим. К нему подошел новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Корнилов.

— Государь, на меня возложена прискорбная обязанность арестовать вас...

— Куда прикажете отправляться? В Петропавловскую крепость?

— Что вы, Николай Александрович! — поспешно сказал начальник царскосельского караула полковник Кобылинский. — Ваша семья ждет вас в Александровском дворце...

Николай Александрович молча прошел мимо выстроившихся вдоль дебаркадера солдат запасных гвардейских полков, которыми командовал какой-то прапорщик, и так же молча направился к зданию вокзала.

Домой я попал только вечером. Чувствовал себя разбитым и опустошенным. Начинался приступ мигрени. Меня ожидал Думанский. Он рассматривал висевшего в гостиной Дега. Высказав о картине несколько тривиальных замечаний и, как обычно, процитировав Сократа, он спросил, не соглашусь ли я продать своего Пизано. Я, разумеется, отказался, рассчитывая, что он тут же уберется. Но Думанский пробыл еще с полчаса.

Будто мимоходом упомянул о Кривошеине<sup>1</sup>. Я понял, что Думанского интересует, поддерживаю ли я с ним связь. Если это так, то узнать ему ничего не удалось. Уже прощаясь, он сказал, что я, видимо, не совсем правильно расцениваю поведение Бориса Соловьева, который весьма переживает нашу размолвку.

Я промолчал.

Этот протез Лохтиной никогда не внушал мне доверия. Для него нет ничего святого, кроме денег. А человек без святыни скоту подобен.

**Петроград, 1917 года, марта 15 дня**

Новая беда: Александровский дворец отгорожен от внешнего мира. Оказывается, висельники<sup>2</sup> вели тайные переговоры с англичанами об отправке царской семьи в Лондон. Предполагалось, что семья будет тайно вывезена министром юстиции Керенским в Архангельск, куда будет послан английский крейсер. Но в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов как-то об этом узнали и ударили в набат. На экстренное заседание исполкома вызвали Керенского. Он был настолько перепуган, что даже забыл воткнуть в карман сюртука свой красный платочек, с которым никогда не расставался, выступая в Государственной думе. В Царское во главе

---

<sup>1</sup> А. В. Кривошеин — гофмейстер, член Государственного совета, монархист. В правительстве, сформированном бароном Врангелем, занимал пост премьер-министра.

<sup>2</sup> Висельники — так монархисты называли членов Временного правительства.

отряда пулеметчиков и семеновцев отправился доверенный эмиссар Совета Мстиславский<sup>1</sup>.

Убедившись, что августейшая семья на месте, Мстиславский сменил все караулы. Комнаты, где находились члены семьи, были оцеплены тройным кольцом постов, а все двери, ведущие наружу, закрыты на замки и засовы.

Кривошеин был очень взволнован случившимся. Повинуясь неясному для меня чувству, я, возвращаясь от него, приказал лихачу остановиться у дома, где в бельэтаже снимает квартиру Думанский. Думанский был чрезвычайно любезен. Во время пустого, ни к чему не обязывающего разговора он внезапно спросил:

— Так вы принимаете наше предложение?

— Какое?

— Объединить усилия для освобождения царской семьи, — без обиняков ответил он.

Думанский продемонстрировал мне записку Анны Александровны. Никаких сомнений, что он представляет Вырубову, не оставалось.

— Но вы никогда не были монархистом...

— Зато всегда был финансистом, — ответил он.

— Вы верите в реставрацию монархии?

— Безусловно. Я всегда верил в нелепости и на дерби обычно ставил на темную лошадку...

Он рисовался своим цинизмом, будируя меня.

— История Руси всегда напоминала детский волчок, — говорил он, — крутится, вертится, а все вокруг одной оси — царя. Даже Емелька Пугачев это понимал и выдавал себя за Петра III... А нынешняя прекраснодушная братия воспарила. Профессор истории Милюков забыл про историю. Парадокс! Милюкову-то уж следовало бы знать, что в России испокон веков на все смотрят снизу вверх, а при такой диспозиции даже царские ягодицы и то двойным солнцем кажутся... В России могут быть лишь Пугачевы, а Робеспьеры рождаются во Франции...

Кривошеин с интересом выслушал пересказ моей беседы с Думанским. Рассуждения этого парвеню его позабавили. Он никогда не был чужд цинизма.

Кривошеин полагал, что официальное положение Бориса Соловьева, адъютанта председателя военной комиссии Временного думского комитета полковника Энгельгардта, даст возможность наладить постоянную связь с августейшими узниками. Но разговор

---

<sup>1</sup> С. Д. Мстиславский — революционер-подпольщик, после Октябрьской революции член ВЦИК второго и четвертого созывов, комиссар партизанских формирований и отрядов при Высшем военном совете, в дальнейшем литератор.

с Борисом меня разочаровал. Борис ссылался на строгости режима и происки большевиков, влияние которых значительно возросло, жаловался на отсутствие денег. По его словам, он и князь Андронников заняты формированием офицерского отряда, преданного до последней капли крови его императорскому величеству, а Думанский ведет переговоры с руководителями «Союза тяжелой кавалерии». Я предложил десять тысяч рублей. Борис взял чек и сказал, что на ближайшие дни их, возможно, хватит. Ушел я поздно. Он проводил меня до самого дома. Мы поцеловались. Хочется ему верить.

**Петроград, 1917 года, мая 7 дня**

Обстановка после апрельских событий все более осложняется. Возле Таврического дворца — рабочие и солдатские демонстрации. Они требуют суда над императором. Разоблачительные интервью наперебой дают все, начиная с великого князя Николая Николаевича и кончая стрелком 35-го запасного Сибирского батальона Дмитрием Распутиным... Последний не считал даже нужным пощадить память отца. Он заявил, будто всегда знал, что «папашу убьют, и еще нам на всю жизнь проклятие останется...». «В его святость я никогда не верил,— сказал он.— Просто он был умный и хитрый. Какой он святой, если так здорово пил и с матерью по бабьему делу скандалил?» Газетная кампания — только прелюдия к трагедии, которая может разыгаться со дня на день. Над головой государя занесен меч.

**Петроград, 1917 года, июля 21 дня**

Я считал, что переезд царской семьи в Ливадию уже решен. Но сегодня Кривошеин встретил меня неожиданным вопросом, как я смотрю на перевод семьи в Тобольск. Я пожал плечами.

— Почему именно в Тобольск?

Александр Васильевич тонко улыбнулся:

— Ливадия слишком на виду. Некогда Коковцев говаривал, что политика в России кончается в 100 верстах от столицы и в 30 от губернских городов. Он был плохим премьером, но достаточно наблюдательным человеком. Так вот, Тобольск как раз находится за чертой политических страстей... Учтите другие его преимущества: настроения оренбургских казаков и зажиточного крестьянства, назначение в Тобольск епископа Гермогена... Кстати, епископ Гермоген сейчас в Петербурге. Он остановился в Ярославском подворье...



**Петроград, 1917 года, июля 22 дня**

Сегодня был у Гермогена. Владыка принял меня с кротостью, как подобает служителю церкви.

Когда я спросил, сможет ли государь рассчитывать на благоволение служителей святой церкви в Тобольске, Гермоген, не задумываясь, ответил:

— Православная церковь выпестовала самодержавие и не откажется от него, а епископ Гермоген всегда был и останется всеподданным богомольцем его императорского величества.

**Петроград, 1917 года, августа 2 дня**

Царская семья отправлена в Тобольск в сопровождении двух правительственных комиссаров. Начальником конвоя назначен все тот же полковник Кобылинский.

Накануне отъезда в Александровский дворец приехали Керенский и великий князь Михаил Александрович. Керенский не удержался, разумеется, от речи. В море разведенного им пустословия некоторые фразы обратили на себя внимание. «Помните,— сказал он солдатам,— лежащего не бьют. Держите себя вежливо, а не хамами. Не забывайте, что это бывший император. Ни он, ни семья ни в чем не должны испытывать лишений». Это не мешало ему в письменной инструкции указать, чтобы государь и государыня «воздерживались употреблять горячие закуски» и вели скромный образ жизни.

Господину премьеру-министру не мешало бы поучиться скромности у государя. При желании в императорской гардеробной он мог бы увидеть шаровары государя с заплатой, на коих имеется метка: «Изготовлены 4 августа 1900 года. Возобновлены 8 октября 1916 года»...

**Петроград, 1917 года, сентября 1 дня**

Седьмого августа Борис обвенчался с Матреной Распутиной. Тогда же он должен был выехать в Покровское, но уезжает он лишь завтра. Встретились мы на квартире его товарища по полку. Он был пьян. Я спросил, где Матрена Григорьевна. Борис неохотно ответил, что Мара — он почему-то называет ее только так — четвертого дня отбыла в Тюмень вместе с Лохтиной. И вдруг взорвался: «Какого черта вы мне навязали эту бабу?! Ни рожки, ни кожи. Что я с ней делать буду?!» Сбивчиво рассказывал о своих планах освобождения государя. Как я и предполагал, заговорил о деньгах. Потом спросил: «Где переданная тебе царская коллекция икон?» Я ответил, что она хранится в достаточно надежном

месте. Борис предложил заложить это собрание Думанскому, а деньги использовать для организации восстания воинских частей в Тобольске. Я отказался, заявив, что, если для освобождения государя потребуются дополнительные суммы, я заложу и иконы, и принадлежащие мне полотна, но только не Думанскому. Дал ему две тысячи — все, что при мне было. Он не постеснялся тщательно пересчитать банковые билеты, разве только не рассматривал их на свет. Пересчитав, сказал: «А относительно картин все-таки подумай... Думанский обещает сто пятьдесят тысяч отвратить...»

Кривошеин прав: Борис работает в паре с Думанским. Уважаемому Владимиру Брониславовичу не терпится превратить святое дело в выгодную финансовую операцию. Иуда продал Христа за тридцать сребренников. Думанский взял бы дешевле...

**Петроград, 1917 года, октября 10 дня**

Прибыли из Тюмени прапорщик Гаман и полковник Барановский.

В Тобольске Гаман установил отношения с молодежной монархической организацией «Двуглавый орел».

— Я уверен, что еще в этом году государь император вновь взойдет на престол своих предков,— сказал Гаман.

Его старший товарищ высказался более сдержанно. Тем не менее Барановский тоже говорил, что для освобождения государя потребуется лишь небольшая группа дисциплинированных боевых офицеров.

Барановский предлагал с помощью Кобылинского похитить царскую семью прямо из церкви Благовещения, где она еженедельно присутствовала на литургии. Семью предполагалось доставить в Троицк или другое место, где расквартированы верные монархии части оренбургских казаков.

Кривошеина этот план заинтересовал.

Было решено отправить человека для переговоров с Дутовым в Оренбург и кого-нибудь из группы в Тобольск. Полковник Барановский остался у Кривошеина, а Гамана я повез к себе на квартиру. Мы с ним проговорили всю ночь. Он мне рассказывал о себе, о Тобольске, откуда он родом, о жизни августейшей семьи.

Условия в Тобольске, по его словам, более сносные, чем в Царском Селе. Правда, охрана построила вокруг дома, где содержится августейшая семья, высокий забор, а посты расположены не только снаружи, но и внутри. Зато придворные имеют право беспрепятственного входа и выхода, а время прогулок никем не регламентируется. Государь свободно переписывается с родствен-

никами, получает газеты, русские и иностранные журналы, пользуется губернаторской библиотекой.

Николай Александрович установил твердый распорядок дня. В восемь часов сорок пять минут — чай, который он и его любимца, великая княжна Ольга Николаевна, пьют в его кабинете, а остальные члены семьи — в столовой. Затем Николай Александрович разбирает корреспонденцию, читает, пишет дневник и выходит во двор, где гуляет и колет дрова. В час дня — легкий завтрак и снова прогулка. Дети тоже гуляют, катаются на качелях, строят площадку над оранжереей. В пять часов — чай, а в восемь — обед, на котором помимо членов семьи присутствуют князь Долгоруков, генерал-адъютант Татищев, личные фрейлины государыни, гофлектриса Шнейдер, лейб-медик Боткин, воспитатель наследника Жильяр и преподаватель английского языка Гиббс. После чая в 11 часов вечера все расходятся по своим комнатам.

Развлечения сводятся к городкам, картам, рукоделию, которым особенно увлекается Татьяна Николаевна. Порой государь заходит в караульное помещение, где играет с солдатами в шашки. Изредка ставятся домашние пьесы на английском и французском языках. Пьет Николай Александрович мало, и только за обедом. По настоянию Александры Федоровны иногда по вечерам он читает вслух...

#### Тюмень, 1917 года, ноября 23 дня

Тюмень, Тобольск, Покровское, опять Тобольск и опять Тюмень. И бесконечные встречи. Встречи с Гермогеном, Борисом, Кобылинским, Думанским, тягостный разговор с Лохтиной. Первый удар по иллюзиям — знакомство с организацией «Двуглавый орел». Такой организации нет. Она создана воображением Гамана. Руководителей «организации» — мальчиков в возрасте от десяти до шестнадцати лет — я застал за обсуждением формы будущего собственного его императорского величества конвоя... Младший брат Гамана весь вечер допытывался у меня, что лучше — кивера или каски. Он лично отстаивал кивера и показывал мне эскизы одежды, над которыми трудится уже вторую неделю...

Мираж — организация «Двуглавый орел», мираж — офицерский отряд Соловьева, мираж — монархисты в Тобольске... Дутов своих людей не прислал, видимо выжидает дальнейшего развития событий. Единственный, на кого, кажется, можно опереться, — полковник Кобылинский. Но он мало что может сделать: солдаты охраны отказываются повиноваться. Они избрали солдатский комитет и послали в Петроград к большевикам делегатов.

### **Тобольск, 1918 года, января 5 дня**

Поведение Гермогена становится безрассудным. 6 декабря дьякон провозгласил в церкви многолетие царствующему дому, именую при этом полными титулами государя, государыню, наследника и великих княжон. Дьякон Евдокимов и священник Васильев были посажены под домашний арест и только через два дня, по настоянию Гермогена, освобождены для епитимьи<sup>1</sup> в монастыре. Августейшей семье запрещено посещать церковь, и план, предусматривающий похищение семьи из храма, отпал сам собой.

В довершение ко всему из Петрограда вернулись делегаты охраны с циркуляром большевистского комиссара имуществ республики. Августейшая семья переводится на солдатский паек. Николаю Александровичу запрещено иметь оружие и носить погоны.

### **Тобольск, 1918 года, февраля 27 дня**

Германские войска развивают стремительное наступление. Ходят слухи, что захвачены Псков, Ревель, Нарва, Юрьев и фронт теперь под Петроградом. Власть большевиков висит на волоске. Кобылинский считает, что немцы должны принять участие в судьбе августейших узников, хотя бы потому, что Александра Федоровна и великие княжны — принцессы немецкой крови.

### **Тобольск, 1918 года, марта 29 дня**

Перечитал предыдущую запись. Вновь мираж... Немцы подписали с большевиками мирный договор. Судя по происходящему, в Омск просочились какие-то слухи о готовящейся попытке освобождения государя, и большевиками предприняты ответные меры. В Тобольск из Омска послан комиссар. Этот угрюмый латыш каждый вечер проверяет посты. Вслед за ним прибыл из Омска красногвардейский отряд. Арестованы Татищев, Гендрикова и Шнейдер — все те, с кем мы поддерживали постоянную связь.

### **Тобольск, 1918 года, апреля 22 дня**

Тобольск с каждым днем большевизируется: омский отряд, екатеринбургский, а сегодня — большой конный отряд московского комиссара Яковлева<sup>2</sup>. В подобной ситуации трудно что-либо пред-

---

<sup>1</sup> Епитимья — церковное наказание (посты, длительные молитвы).

<sup>2</sup> В. В. Яковлев — особоуполномоченный ВЦИК на перевоз Романовых в Екатеринбург.

принять. На совещании у Гермогена к единому решению не пришли. Все растеряны.

**Тобольск, 1918 года, апреля 23 дня**

Сегодня утром встретился с камер-лакеем государыни Волковым. Он утверждает, что Яковлев прибыл со специальными полномочиями доставить семью в Екатеринбург и ему подчинены все большевистские воинские части в Тобольске. По самым оптимистическим расчетам, мы сможем выделить для нападения не больше пятидесяти человек. Пятьдесят человек против восьми пулеметов и шестисот красногвардейцев, не считая большевизированных солдат гарнизона и охраны. Единственная надежда на ледоход. Старожилы говорят, что река должна вскрыться со дня на день.

**Тобольск, 1918 года, апреля 24 дня**

Пишу ночью. Только что от меня ушел Кобылинский. Говорил он намеками, но в то же время достаточно определенно. Несколько раз повторил: «Василий Васильевич Яковлев не тот человек, за которого его принимают в Москве и Тобольске». С его слов, Яковлев (фамилия, кажется, ненастоящая) был когда-то морским офицером. После того как в Скатуddене он совершил политическое преступление и военный суд приговорил его к смертной казни, Яковлев написал на высочайшее имя, и смертную казнь заменили каторжными работами. Потом он бежал, был в Америке, а затем в Германии и Швейцарии.

— Знаете,— сказал Кобылинский,— на некоторых революционеров заграничный воздух действует благотворно...

Когда я заговорил о Екатеринбурге, он сказал:

— А почему обязательно Екатеринбург? По тем или иным причинам поезд с государем и государыней может направиться в другой город, с более здоровым климатом, ну, скажем, в Уфу... Правда, пока там тоже большевики, но в наше время нет ничего неизбежного. На днях в Челябинске состоялось совещание делегатов чехословацкого корпуса с представителями англо-французского командования и центрального штаба сибирских боевых дружин... Николай Александрович уже дал согласие на отъезд. С ним поедут Александра Федоровна, Мария Николаевна, Долгорукова и доктор Боткин. Наследник пока останется здесь.

— Но какие гарантии того, что... произойдет ошибка в маршруте?

— Мое честное слово...

— И слово большевистского комиссара Яковлева?

— Да, Яковлева, но не большевистского комиссара, а офицера и дворянина,— твердо сказал Кобылинский.

**Тобольск, 1918 года, апреля 26 дня**

Сегодня в 4 часа утра к губернаторскому дому подали кошевы<sup>1</sup> и крытый тарантас для Александры Федоровны и Марии Николаевны. Улица заполнилась конными красногвардейцами.

Было холодно, и во дворе разожгли костры. Государь, стоя на крыльце, зябко потирал руки. Он был в легкой шинели без погон и в фуражке. К нему подошел Яковлев, поднося ладонь к папахе, спросил:

— Что вы берете с собой теплого?

Когда государь сказал, что ничего, Яковлев распорядился положить в кошеву шубу и плащ.

— Иначе можно простудиться, Николай Александрович,— сказал он,— дорога долгая...

Потом Яковлев поинтересовался, как «маленький» провел ночь (Алексей Николаевич болен). Так же предупредителен он был с Александрой Федоровной и Марией Николаевной. В путь тронулись в шесть часов утра. Впереди — сорок верховых с пулеметами, а за ними в окружении всадников цепочка подвод. На первой — Николай Александрович с Яковлевым, затем тарантас с Александрой Федоровной и Марией Николаевной, кошевы с приближенными, с вещами и опять красногвардейцы на лошадях. Николай Александрович широко перекрестил сгрудившихся у ворот великих княжон. Анастасия Николаевна заплакала...

Когда конный поезд скрылся из виду, к нам подошел Гаман. Не приветствуя Кобылинского, он сказал:

— Пятьдесят офицеров вполне бы справились со всей этой сволочью!

— Возможно, прапорщик,— согласился Кобылинский.— Но еще более вероятно, что при первых же выстрелах Николай Александрович был бы убит охраной.

**Тобольск, 1918 года, апреля 28 дня**

Кобылинский получил от Яковлева телеграмму: «Едем благополучно. Христос с вами. Как здоровье маленького?»

**Тобольск, 1918 года, мая 3 дня**

Как обычно, зашел Кобылинский. По его расчетам, семья должна была уже быть в Уфе. Он ждал телеграмму от своего человека.

<sup>1</sup> Кошева — подвода (местное название).

И телеграмма пришла... Ее принес вестовой. Всего три слова: «Прибыли Екатеринбург Крючкин...»

**Екатеринбург, 1918 года, мая 29 дня**

Наконец мы в Екатеринбурге. Царская семья находится в особняке Ипатьева, который окружен двойным забором и называется большевиками «домом особого назначения». Охрану несут рабочие с фабрики братьев Злоказовых. Днями должен прибыть Думанский. Ожидают приезда высланных из Вятки великих князей Сергея Михайловича, Игоря Константиновича, Ивана Константиновича и князя Палея. Беседовали с нашими людьми. Все обстоит лучше, чем ожидали. Многие из слушателей Академии генерального штаба не считают нужным скрывать своих монархических убеждений, некоторые из них уже предлагали Кривошеину свои услуги. Гаман, как обычно, полон идеями, деятелен и горяч. О недалеком прошлом предпочитает не вспоминать.

— Поверьте мне,— сказал он после вечера, проведенного в одном из офицерских кружков,— перевод в Екатеринбург государя — перст божий. Триста лет назад в Ипатьевском монастыре первый Романов согласился принять русскую корону, а теперь утерянная корона велением небесного промысла будет возвращена его потомку в ипатьевском доме. Ипатьевский монастырь и ипатьевский дом — такое совпадение не может быть случайностью...

На груди Гаман вытатуировал себе корону, а под ней цифру 1918. Да поможет нам бог!

**Екатеринбург, 1918 года, июля 1 дня**

**П и с ь м о, переданное государю**

«С божьей помощью и с Вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. Необходимо расклеить одно из Ваших окон, чтобы Вы могли его открыть. Я прошу точно указать мне окно. В случае, если маленький царевич не может идти, дело сильно осложнится, но мы и это взвесили, и я не считаю это непреодолимым препятствием. Напишите точно, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из вас. Нельзя ли было бы на 1 или 2 часа на это время усыпить «маленького» каким-нибудь наркотиком? Пусть решит это доктор, только надо вам точно предвидеть время. Мы доставим все нужное. Будьте спокойны. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем Вам в этом торжественное обещание перед лицом бога, истории, перед собственной совестью».

## Письмо от государя

«Второе окно от угла, выходящее на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна 7-е и 8-е около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно так же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощником. Внутренняя охрана состоит из 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами.

Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход ночью два раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами бряцает оружием. На балконе стоит один пулемет, а над балконом другой, на случай тревоги. Напротив наших окон, на той стороне улицы, помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ № 9 находятся у коменданта, который с нами обращается хорошо. Во всяком случае, известите нас, когда представится возможность. Ответьте, можем ли мы взять с собой наших людей. Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Если наши люди останутся, то можно ли быть уверенным, что с ними ничего не случится?»

Копии остальных писем к государю и от государя днями будут мне переданы. Эти документы помогут новому Нестору написать заключительную главу истории восстановления самодержавия в истрадавшей России.

**Екатеринбург, 1918 года, июля 2 дня**

Освобождение государя должно было состояться 15 июля, но, по сообщению офицера связи, благополучно перешедшего вчера линию фронта, Екатеринбург будет взят не позже 12 июля. Это все меняет. Большевики, не имея возможности эвакуировать царскую семью, могут пойти на крайние меры. Поэтому решено до минимума сократить срок подготовки и похитить царскую семью в ночь с 9 на 10 июля. Все детали предстоящего нападения на охрану «дома особого назначения» окончательно разработаны и доведены до исполнителей.

**Екатеринбург, 1918 года, июля 8 дня**

Над Россией опустилась ночь. Господь не остановил руку дьявола. Нет больше помазанника божьего. Свершилось самое страшное.

В ночь с 3 на 4 (с 16 на 17 июля по новому стилю) по решению Уралсовета его императорское величество государь император



всея Руси Николай Александрович Романов казнен. Всевышний отказался от нас.

Екатеринбург, 1918 года, июля 10 дня

Большевики покидают город, но у забора вокруг дома Ипатьева по-прежнему стоят часовые.

Днем был Думанский. Глядя в окно на отходящие обозы красных, сказал:

— Разделяю ваше горе. Но... Король умер. Да здравствует король! Мы потеряли царя, зато приобрели мученика. Это приобретение с лихвой компенсирует потерю.

Я указал ему на дверь. Думанский, кажется, даже не обиделся. Уходя, сказал:

— Борьба за Российскую империю только начинается. А будет империя — будет и царь. Главное — корона, а уж голову для нее мы отыщем, умную голову. О новом императоре никто не скажет, что самодержавие у нас неограниченное, зато самодержец ограниченный... Кровь бедного Ники пролита не зря: она скоро всю Россию зальет, за нее не одна тысяча мужиков и мастеровых своей кровью расплатится. Изучайте русскую историю, Николай Алексеевич.

## XVI

Раньше я видел фотографии трупа Богоявленского. Дневник превратил его в живого человека. Но живой Богоявленский по-прежнему оставался для меня загадкой. Мне были понятны циничный Думанский, Борис Соловьев, Гермоген — такие мне встречались. Но Богоявленский... Трудно было понять чувства, которые он испытывал к царю, к тому самому Николаю II, который после Ходынки, когда через Москву тянулись телеги с трупами задавленных, развлекался тем, что стрелял ворон в саду, а перед ответственными совещаниями не забывал подержать образок в руках и несколько раз расчесать волосы гребенкой Распутина...

При жизни отца в нашем доме бывали люди самых различных убеждений: эсдеки, кадеты, эсеры. Не было только монархистов. Обычно терпимый к инакомыслящим, отец относился к ним с какой-то брезгливостью, считая верноподданничество позором для русской интеллигенции. С той же подчеркнутой брезгливостью относился он к Николаю II. Бывший земский врач, возлагавший на земства большие надежды в «деле возрождения России», отец до конца своей жизни не мог забыть Николаю слов, сказанных им в 1895 году на приеме депутатий от дворянства, земств, городов и казачьих войск. «Мне известно,— заявил тогда новый

царь,— что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель...»

С того времени отец иначе не называл царя, как державным тупицей, привив нам с Верой с детства ироническое отношение к нему. Имя царя в нашем доме упоминалось только в связи с какими-либо политическими скандалами или анекдотами, до которых отец был великий охотник. Собирал он их повсюду. Хорошо помню, как он весь подобрался, когда во время воскресной поездки на Воробьевы горы расположившийся недалеко от нас на траве оборванец с озорными глазами и густой гривой нечесаных волос, видно поп-расстрига, поднимая шкалик, проговорил скороговорочкой: «Помяни, господи, царя Николашу, жену его Сашу, наследника Алешу косолопного, всех его деточек — косматых девочек, Гришу Распутяшу и всю поповскую братию нашу!»

«Вот оно, отношение к помазаннику божьему,— сказал мне отец.— Очень характерно!»

И когда впоследствии один из гостей заговорил как-то о том, что в русском народе еще жива вера в Николая II, он сказал: «Бросьте, батенька! Можете у моего сына проконсультироваться. Он в позапрошлом воскресенье получил на Воробьевых горах достаточно полное представление об этой вере. О святынях прибауточек не сочиняют...» И потом еще долго, садясь за стол, он вспоминал: «Как этот лохматый говорил? Помяни, господи, царя Николашу и жену его Сашу?..»

По мнению отца, на всю Россию едва ли набралось бы больше ста тысяч искренних и убежденных монархистов. Я, конечно, понимал, что монархические идеи во время гражданской войны были популярны в стане белогвардейцев, но мне всегда казалось, что колчаковские, корниловские и деникинские офицеры прибегают к ним с той же целью, что и к спирту или кокаину. Уж слишком скомпрометировало себя самодержавие даже в глазах тех, кто враждебно относился к Советской власти. А сам Николай II ничем не был похож на того царя, о котором мечтали, идя навстречу своей гибели с винтовками наперевес, марковцы и дроздовцы... Трудно было предположить, что иступленная мечта о возврате к старому, к абсолютной монархии может для кого-либо воплотиться в образе маленького ординарного полковника, который в 1890 году с глубоким и нескрываемым удовлетворением гимназиста-второгодника записал в своем дневнике: «Закончил свое образование окончательно и навсегда...»

Дневник Богоявленского над многим заставлял задуматься. Но само собой понятно, что меня в первую очередь интересовало, можно ли будет его использовать в раскрытии убийства. Должен признаться, что его значение в этом смысле мне было тогда неясно и я еще не представлял, какое место он займет в цепи улик. Но что-то мне подсказывало, что этот документ пока невидимыми для меня нитями связан с трагедией, которая произошла в пригородном поезде. Во всяком случае, основываясь на нем, уже можно было выдвигать более или менее правдоподобные версии.

Перед отъездом из Петрограда побриться я не успел, а по неписаным, но строго соблюдаемым законам в МУР надлежало являться только чисто выбритым. С минуту поколебавшись, я все-таки решил, не заезжая домой, прямо с вокзала отправиться в розыск. Фреймана на месте не оказалось. Кемберовский с выскобленными до синевы щеками — живой для меня укор — доложил, что Фрейман будет через полтора часа и перед уходом просил, чтобы я оставил привезенные из Петрограда документы в его сейфе.

— Если желаете побриться, товарищ субинспектор, то у меня есть бритва...

По старой солдатской привычке Кемберовский всегда носил с собой нитки, иголку, бритву — все, что может потребоваться в походе и на отдыхе.

— Похабная морда?

— Не по форме, — деликатно сказал он.

Пока я брился, неловко приспособив на подоконнике маленькое зеркальце, Кемберовский молчал. И только когда моя физиономия приобрела подобающий для моей должности и учреждения, в котором я служил, вид, он сказал:

— Сегодня ночью у нас ЧП было: обыск в подсобном помещении лавки Совкомхоза...

— В какой лавке?

— Совкомхоза... Там, где раньше Богоявленский жил...

— А кто и зачем обыскивал? — не понял я.

— Не могу знать, товарищ субинспектор.

— Значит, обыск не мы производили?

— Никак нет, посторонние. Личности установить не удалось. Хулиганский погром учинили: половицы в комнатах отодрали и стены попортили. Нанесен убыток на восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки...

Надо было, конечно, оставить на квартире покойного засаду. Но разве можно все предусмотреть? На всякий случай я спросил:

— Улики обнаружили?

— Никак нет.

— Ишейка была?

— Так точно. Только она ничего не унюхала. Покрутилась, покрутилась, и все... Керосин там разлит был, а собаки керосину не любят, он им в нос шибает...

— Ясно. По крайней мере, насчет собак и керосина... Передайте Фрейману, что я буду у Сухорукова.

Виктора я застал за неожиданным занятием: он сидел за столом, держа в руках громадную розовую куклу, и кончиком карандаша пытался открыть ей глаза. Он до такой степени был погружен в свою работу, что не сразу заметил мое присутствие.

— А, Саша,— сказал он, поспешно засовывая куклу в ящик стола,— заходи.

Так как я уже зашел, то его любезное приглашение несколько запоздало. Он внимательно посмотрел на меня, видимо пытаясь понять, заметил я куклу или нет, и на всякий случай сказал:

— Вот, куклой занимаюсь... Любопытная механика...

— Сыну купил?

— Сыну, хотя он у меня куклами уже не интересуется. Ему коня и саблю подавай.

Он придвинул стул к письменному столу, предложил мне папиросу и сам закурил. Он еще ничего не сказал, но я уже понял: беседа друзей окончена. Теперь в кабинете нет ни Виктора, ни Саши, здесь присутствуют начальник секретной части уголовного розыска Сухоруков и прибывший из командировки сотрудник. Это Виктору хорошо удавалось, он всегда умел без видимого нажима показать, что дружба дружбой, а служба службой и что для шуток и для дел у него в кабинете имеются отдельные ящики...

— Слушаю тебя.

Я рассказал про допрос Стрельницкого, про содержание дневника. Сухоруков слушал молча, но когда я упомянул фамилию Яковлева, он сказал, что встречался с ним на Восточном фронте.

— В девятнадцатом вместе с группой военспецов к белым перебежал... Пулеметчик у нас был неопытный, неправильно прицел взял. Все ушли. Только одного наш особист из маузера успел срезать. Кажется. Мячик его настоящая фамилия, а Яковлев — подпольная кличка...

Я спросил, действительно ли Яковлев пытался увезти царя и царицу в Уфу.

— Насчет Уфы не знаю,— сказал Виктор,— а то, что у него в Екатеринбург ехать желания не было,— это точно. Потом, когда в особом отделе спохватились и начали людей опрашивать, один паренек, бывший его адъютант, про всю эту петрушку рассказывал...

По словам Виктора, когда Яковлев прибыл ночью в Тюмень, его уже дожидался специальный поезд. Он поместил в вагон царскую семью, расставил часовых, а сам отправился на телеграф,

якобы для того, чтобы связаться по прямому проводу с центром. Вернувшись, он сказал, что получены новые инструкции: необходимо доставить бывшего царя и бывшую царицу не в Екатеринбург, а в Москву. «Поэтому поезд,— сказал он,— поедет через Омск — Челябинск — Самару». Это сообщение было воспринято с недоверием, и один из екатеринбургских рабочих телеграфировал об изменении маршрута в Екатеринбург. Там срочно было созвано заседание президиума Уралсовета, и Яковлева объявили вне закона. Одновременно были разосланы телеграммы с требованием задержать его поезд. Из Омска на станцию Куломзино был выслан красногвардейский заградительный отряд с пушками и пулеметами. Узнав об этом, Яковлев остановил поезд на станции Люблинская, отцепил паровоз и на нем отправился в Омск на переговоры. Но в Омске отказались вступать с ним в какое-либо соглашение и пригрозили расстрелом. Тогда Яковлев распорядился ехать в Екатеринбург.

— И там никто не потребовал с него ответа?! — поразился я.

— Нет, почему же... Даже арестовали, но потом выпустили. Он сказал, что опасался нападений в дороге, ну и решил обходным путем... Может, поверили, а может, просто рукой махнули... Время, сам знаешь, какое было...

В отличие от меня, Виктор не заинтересовался ни монархизмом Богоявленского, ни его преданностью Николаю II, ни попытками освобождения царской семьи. К дневнику он подходил только с одной точки зрения — как его можно использовать для расследования.

— Что у тебя за манера по каждому поводу психологические финтифлюшки лепить? — недовольно говорил он. — Что Индустриальный, что ты. Лепите, лепите... Психология Богоявленского!.. На кой она тебе? Что она тебе даст? Ты, Саша, не воевал, а фронт неплохо уму-разуму учит. Там все финтифлюшки побоку, там, что в бане,— голые все, без одежд красивых...

— И без психологии?

— Почему? С психологией. Только она там простая, без выкрутасов, тоже нагишом. По одну сторону мы, по другую — белые. Или ты убьешь, или тебя убьют. Твоя победа — твоя правда по земле ходит, он победил — его правда победила. А почему он в тебя целится — по дурасти своей или по уму,— это не рассусоливали, разве что на отдыхе, когда вшей били...

— Но сейчас-то мы не на фронте...

— На фронте, Саша. И здесь фронт, и за кордоном. И Врангель жив, и Кутенов, и Деникин, и Керенский, и бывший великий князь Николай Николаевич пролезть в императоры надежды не растерял... У всех у них, наверно, психология. Но мне до нее дела нет. Я одно вижу — держат они палец на спусковом крючке. И-я свой палец с этого крючка не спускаю. Понял?

— Понять-то понял, но все у тебя слишком просто...

Виктор усмехнулся:

— Не все плохо, что просто.

— А все-таки, что ты думаешь о Богоявленском?

— О его монархизме?

— Хотя бы.

— Среда, воспитание, традиции. Ну еще привычная точка зрения, о которой Думанский высказался, — на всю эту мишуру снизу вверх смотреть. Когда так глядишь, да еще на расстоянии, и Николай за наместника бога на земле сойдет: одна корона видна блестящая... Здорово этот блеск слепит! От него слепли люди и поумней Богоявленского. А идеалы... У них свои, у нас свои. Идеалы, как говорил наш гример Леонид Исаакович, точно так же, как и платье, каждый по своему вкусу, а главное — по росту подбирает.

— В общем, в лилипуты Богоявленского определяешь?

— Не в великаны же...

Выходя из кабинета Сухорукова, я столкнулся в коридоре с Фрейманом.

— Доложился?

— Доложился.

— Ну и как? Молчит, конечно, аки сфинкс? А я тебя заждался. Идем ко мне, поговорим.

— Дневник и протокол допроса прочел?

— Не та формулировка, гладиолус: не прочел, а проглотил. Ну как Петроград? Была хоть иллюминация в честь твоего приезда? Нет? И это называется петроградское гостеприимство!

Илья, как обычно, шутил, привычно сорил словами, улыбался, но глаза его оставались серьезными, даже немножко грустными. Вне всякой связи с предыдущей фразой он вдруг спросил:

— Ты внимательно прочел дневник?

— Разумеется.

— Тебе не кажется, что Думанский и Таманский, о котором говорил приказчик, одно и то же лицо?

— Таманский и Думанский? Возможно... Фамилии созвучные. Приказчик, конечно, мог недослышать. Если Богоявленский и Лохтина говорили при встрече о шантаже Думанского, это зацепка, причем основательная зацепка. Хочешь допросить по этому вопросу Лохтину?

— Сейчас послал за ней Кемберовского.

Илья прошелся по кабинету, влез на подоконник, открыл форточку.

— Весной пахнет... Чего не куришь? Кури...

Я закурил. На столе Фреймана лежал дневник Богоявленского,

из него торчали язычки бумажных закладок. Илюша искоса посмотрел на меня.

— Ну ладно, выкладывай,— сказал я.

Он сделал удивленные глаза:

— Что выкладывать?

— То самое.

Фрейман усмехнулся, почесал переносицу и сказал:

— А знаешь, мы, кажется, неплохо изучили друг друга. Дневник действительно натолкнул меня на одну идею...

— Какую?

— Гениальную, конечно...

— А если конкретней?

— Давай немного пофантазируем,— предложил Илья.— Ты, конечно, помнишь, что Лохтина начисто отрицала свои встречи с Богоявленским в конце семнадцатого и в начале восемнадцатого?

— Разумеется.

— А из дневника видно, что они не только встречались, но и вместе участвовали в попытках освободить царскую семью. Почему Лохтина лгала?

— Видимо, не хотела компрометировать себя и Богоявленского.

— Не убедительно. Своих монархических взглядов она на допросах не скрывала, более того, разглашала о жестокостях большевиков-безбожников и хвалила белогвардейцев. Терять ей нечего, а вся история с царской семьей — дело прошлое. Поэтому для нее более естественным было бы, скорей, афиширование своего участия в деятельности кружка Вырубовой или Кривошеина. А что касается Богоявленского, то ему уже ничего повредить не может...

— А как ты объясняешь этот факт?

— Минутку, не торопись. Ответь мне сначала на следующий вопрос: как ты считаешь, Лохтина знает убийцу Богоявленского или, на худой конец, подозревает кого-либо в его убийстве?

— Думаю, что да. Когда я ей сказал, что рассчитываю на ее помощь в розыске преступника, она ответила, что на все воля божья, в том числе и на убийство... Потом ее поведение на допросах...

— Абсолютно верно,— сказал Илюша.— А теперь перебрось небольшой мостик от первого факта ко второму...

— Ты считаешь, что Лохтина отрицала свои встречи с Богоявленским в 1918 году и свое участие в попытках освободить Николая II только для того, чтобы не навести нас на след убийцы?

— Точнее будет сказать: не считаю, а предполагаю. Мне кажется, что убийца — кто-то из их друзей того времени... Кстати, могу биться с тобой об заклад, что сейчас Лохтина заявит, будто она впервые слышит фамилию Думанского...

В этом, как я через полчаса смог убедиться, Фрейман оказался

прав: Лохтина призналась в своем знакомстве с Думанским только после того, как Илюша процитировал ей дневник Богоявленского. После этого у Лохтиной началась истерика, и допрос пришлось прервать.

Азанчевского Фрейман, дожидаясь моего приезда, еще не допрашивал. Племянник Стрельницкого должен был приехать в МУР завтра утром. Фрейман ничего мне не говорил о предстоящем допросе, но я и без того понимал, какие большие надежды он на него возлагает.

## XVII

Бывший офицер Преображенского гвардейского полка, первопоходник <sup>1</sup> Корнилова, а ныне служащий московского представительства Рязанпатоки Азанчевский-Азанчеев оказался сухопарым, хорошо одетым мужчиной, седина которого только подчеркивала молодость лица. Штатский костюм сидел на нем так же ловко и щеголевато, как, видимо, некогда военный мундир. На допросе он держался свободно, я бы даже сказал, с непринужденностью светского человека, получившего возможность час-другой провести в приятном для него обществе. Всем своим поведением он давал понять, что скрывать ему нечего и он готов оказать любую услугу этому милому молодому человеку, который сидит за столом следователя. Говорил он охотно, образно, с некоторым кокетством опытного рассказчика, избалованного вниманием слушателей. И рассказывал он не о себе, а о том прежнем Азанчевском, с которым его, нынешнего Азанчевского, ничто не связывало.

Да, Азанчевский-Азанчеев хорошо знал Богоявленского. Хотя виделись они нечасто, их отношения можно было бы назвать приятельскими. Во всяком случае, Азанчевский-Азанчеев всегда симпатизировал этому обходительному человеку и льстил себя надеждой, что Николай Алексеевич отвечает ему тем же. И ему, конечно, запомнилась их первая встреча в Одессе... Нет, не в Севастополе, а именно в Одессе, дядя ошибся. Их представили друг другу в январе двадцатого года, когда он, Азанчевский, после легкой контузии получил отпуск и прибыл в этот чудесный город, с которым у него были связаны воспоминания детства...

Но Одесса в канун разгрома Добровольческой армии мало чем напоминала довоенную. Не была она даже той Одессой, что год назад, когда по Дерибасовской фланировали, поглядывая на сверкающих бриллиантами и улыбками дам, галантные французские офицеры, а в шумном, всегда переполненном ресторане клуба

---

<sup>1</sup> Первоходниками белогвардейцы называли офицеров — участников «ледового похода» Добровольческой армии под командованием генерала Корнилова.



«Меридионал» рекой лилось шампанское и звенели поднимаемые за благодарных союзников бокалы...

Шампанское давно было выпито, бриллианты заложены, а благодарные союзники, выстрелив на прощание из орудий своих броненосцев, тихо отплыли к родным берегам. С того времени Одессе многое довелось перевидеть. Когда Азанчевский-Азанчеев туда приехал, город был похож на гигантский лазарет: тысячи больных тифом офицеров и солдат Добровольческой армии, повозки с ранеными. Не хватало помещений, и под госпитали занимались гостиницы, особняки, дачи. Исподволь начиналась эвакуация военных складов, штабов, канцелярий. Грязь, запустение. И все же для офицера, прибывшего сюда с фронта, этот город был землей обетованной: здесь не рвала барабанные перепонки пушечная канонада, у Фанкони по-прежнему подавали приличное вино, а женщины — не те, конечно, женщины, что в былые времена, но все-таки женщины — с достаточной благосклонностью относились к защитникам «великой и неделимой», если в их карманах похрустывали новенькие, еще пахнущие краской «колокольчики»<sup>1</sup>.

С помощью приятеля, работающего в военной комендатуре, Азанчевский-Азанчеев получил в Лондонской гостинице большой холодный номер и зажил там обычной жизнью отпускника. В кафе этой гостиницы он и познакомился с Богоявленским.

По указанию Никольского допрос Азанчевского стенографировался. Копия стенограммы у меня сохранилась. А поскольку показания этого свидетеля сыграли существенную роль в раскрытии преступления, я приведу наиболее важные из сделанных записей.

«А з а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в. Тогда многие офицеры Добровольческой армии, несмотря на официальные сообщения советских газет, верили в то, что царская семья или, по крайней мере, некоторые ее члены были спасены. И, как всегда бывает в таких случаях, находились даже очевидцы, которые «собственными глазами» видели то великую княжну Марию Николаевну, то царицу... Особенно много говорили о побеге из Екатеринбурга великой княжны Анастасии, которой удалось якобы пробраться через всю Совдепию в одежде нищенки в Архангельск, где ее посадили на английский миноносец и вывезли в Лондон. Зашла об этом речь и в нашей компании...

Ф р е й м а н. С кем вы были в кафе?

А з а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в. С полковником Барановским и капитаном второго ранга Мидлером.

Ф р е й м а н. Продолжайте, пожалуйста.

---

<sup>1</sup> «Колокольчиками» называли выпущенные Деникиным кредитные билеты, на которых был изображен Царь-колокол.

**Аз а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в.** Я знал, что Барановский по заданию то ли Пуришкевича, то ли Кривошеина был в Тобольске, когда там находилась царская семья, и будто бы даже лично беседовал с бывшим императором. Естественно, я поинтересовался его отношением к этим слухам. Барановский не верил в их достоверность. «Впрочем,— сказал он,— я могу вам предоставить возможность поговорить с Богоявленским»,— и он указал нам на элегантно одетого штатского, который сидел с дамой в дальнем углу кафе. «Вы можете его пригласить к нашему столу?» — спросил я Барановского. «Разумеется»,— ответил он.

**Ф р е й м а н.** Богоявленский удовлетворил ваше любопытство?

**Аз а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в.** Да, исчерпывающе. Мы говорили с ним в кафе, а затем поднялись ко мне в номер. Разговор с ним не оставил места для иллюзий. Богоявленский сказал, что история с чудесным спасением Анастасии — только красивая легенда. В Екатеринбурге Богоявленский был хорошо знаком с судебным следователем по особо важным делам Омского окружного суда Соколовым, которому адмирал Колчак поручил расследование обстоятельств, связанных с исчезновением царской семьи. Соколову удалось установить не только сам факт расстрела, но и детали происшедшего. Оказывается, он допрашивал нескольких рабочих, охранявших дом Ипатьева, в том числе рабочего Медведева, принимавшего участие в расстреле. Кроме того, в районе Ганиной Ямы, недалеко от урочища Четырех Братьев, верстах в восьми от Екатеринбурга, Соколов обнаружил вещественные доказательства, которые не оставляли уже никаких сомнений. Если не ошибаюсь, он отыскал там обгоревшую пряжку от пояса Николая II и памятный серебряный значок уланского полка, подаренный царице генералом Орловым. С этим значком она никогда не расставалась и носила его на браслете. Соколов нашел там и несколько топазов от ожерелья, подаренного в свое время Анастасии Распутиным...

Богоявленский говорил мне, что Президиум ВЦИК предполагал вынести вопрос об открытом суде над царем на V Всероссийский съезд Советов, но положение на фронте неожиданно осложнилось, и Уралсовет, учитывая тревожную обстановку в городе, принял решение о расстреле.

Рассказывая обо всем этом, Николай Алексеевич сильно волновался. Мне казалось, что его переживания усугубляются еще и тем, что он считал себя в какой-то степени ответственным за случившееся...

**Ф р е й м а н.** Что вы этим хотите сказать?

**Аз а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в.** Как впоследствии выяснилось, в Екатеринбургскую ЧК поступили сведения о готовящемся похищении Николая II. По мнению Николая Алексеевича, это оказало решающее влияние на членов Уралсовета, когда они обсуждали

судьбу царской семьи. А Николай Алексеевич принимал участие в подготовке этого похищения.

Фрейман. Богоявленский участвовал в нескольких таких попытках, и не только в Екатеринбурге, но и в Тобольске?

Азанчевский - Азанчев. Да.

Фрейман. Чем он объяснял неудачи?

Азанчевский - Азанчев. Враждой, которую испытывал народ к царскому режиму. И в Тобольске и в Екатеринбурге он беседовал с простыми людьми и был потрясен их отношением к Николаю II, к самодержавию и даже к православной церкви. «В душе народа я не увидел ни царя, ни бога,— говорил он.— А самое ужасное, что их нет и в душе монархистов...»

Фрейман. Он имел в виду членов монархической организации, в которой состоял?

Азанчевский - Азанчев. В первую очередь — их. Но он был невысокого мнения и о генералах Деникина, и о самом Деникине. Он считал, что Добровольческая армия не разящее копьё бога, а войско, в котором каждый сражается за свои личные интересы: один мстит за гибель близких, другой — за сожженную усадьбу, третий пытается вернуть утраченные блага. «Может быть, дело большевиков — дело антихриста,— говорил он,— но дело Добровольческой армии тоже не дело бога». Он предвидел гибель Добровольческой армии...

Фрейман. В двадцатом году уже нетрудно было быть пророком.

Азанчевский - Азанчев. Да, Одесса означала смертельную болезнь, а Севастополь — агонию...

Фрейман. Как Богоявленский характеризовал Соловьева, Лохтину и других членов монархической организации, стремившейся освободить царя?

Азанчевский - Азанчев. У Николая Алексеевича была своя философическая теория. Он всех людей делил на две группы: «люди-вещи» и «люди-руки». «Люди-вещи» — это пассивные исполнители, которыми руководят «люди-руки». Он считал, что обвинять их в чем-либо так же смешно, как обвинять, допустим, в убийстве пулю или саблю...

Фрейман. Соловьева и Лохтину он относил, разумеется, к «людям-вещам»?

Азанчевский - Азанчев. Да.

Фрейман. Какие же «люди-руки» их передвигали?

Азанчевский - Азанчев. Кривошеин, Илиодор, Распутин...

Фрейман. И?

Азанчевский - Азанчев. Он мне называл фамилию одного человека, который, по его мнению, сыграл роковую роль

во всей этой тобольской истории, но я не помню его фамилию...

Фрейман. Кем был этот человек?

Азанчевский - Азанчев. Кажется, финансистом, банкиром, что-то в этом роде...

Фрейман. Михальский, Концевовский, Вальковский, Думанский, Вишневецкий?..

Азанчевский - Азанчев. Как вы сказали? Думанский? Да, Думанский. Фамилия этого человека была Думанский. Он мне говорил о Думанском.

Фрейман. Вы не ошибаетесь?

Азанчевский - Азанчев. Нет, не ошибаюсь. Николай Алексеевич достаточно часто о нем вспоминал. Думанского знал и князь Палей. Полковник Барановский был в 1918 году на каком-то интимном вечере у князя в Екатеринбурге, на котором присутствовал и Думанский. Князь тогда говорил Барановскому, что при виде Думанского он всегда вспоминает высказывание французского посла Палеолога о Мансевиче-Мануйлове<sup>1</sup>: и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник, а в общем — милейший человек...

Фрейман. Где сейчас находится полковник Барановский?

Азанчевский - Азанчев. Там, где мы все будем. Погиб под Курман-Кемельчи во время атаки красной конницы...

Фрейман. Вы сказали, что, по мнению Богоявленского, Таманский...

Азанчевский - Азанчев. Вы хотите сказать, Думанский?

Фрейман. Виноват, оговорился. Итак, по мнению Богоявленского, Думанский сыграл в Тобольске «роковую роль». Как это надо понимать?

Азанчевский - Азанчев. В характере Николая Алексеевича была черта, которая особенно мне imponировала: он не любил циников, считая, что цинизм все убивает вокруг себя, подобно ядовитому газу. Он считал, что крушение самодержавия началось с проникновения цинизма в души тех, кто призван был его охранять. Сам Думанский, как говорил Николай Алексеевич, никогда не был монархистом, и рассматривал освобождение царя как очередную финансовую аферу. Он даже не скрывал этого. По мнению Николая Алексеевича, именно под влиянием Думанского Борис Соловьев и вводил в заблуждение Александру Федоровну, уверяя ее, что он все подготовил для освобождения царской семьи.

Фрейман. Но зачем понадобилась Думанскому и Соловьеву двойная игра?

---

<sup>1</sup> И. Ф. Мансевич-Мануйлов — агент полиции за границей, сотрудник газет «Новое время» и «Вечернее время», был тесно связан с Распутиным и Вырубовой.

Азанчевский - Азанчеев. Николай Алексеевич говорил, что для Думанского цель жизни всегда сводилась к деньгам, а Вырубова довольно щедро снабжала деньгами своего представителя в Тюмени. Кроме того, значительными средствами в Тобольске располагала одно время и царская семья. Александра Федоровна передала Соловьеву много драгоценностей. При аресте во Владивостоке у Соловьева нашли несколько бриллиантов и два кредитных письма в Русско-Азиатский банк...

Фрейман. Кем был арестован Соловьев?

Азанчевский - Азанчеев. Колчаковской контрразведкой, и после ареста он был доставлен в Омск, где его допрашивал Соколов.

Фрейман. А потом?

Азанчевский - Азанчеев. Расстрелян, конечно...

Фрейман. А Думанский?

Азанчевский - Азанчеев. Вышел сухим из воды.

Фрейман. Какова его дальнейшая судьба?

Азанчевский - Азанчеев. Не знаю. По-моему, после того как Николай Алексеевич перебрался на территорию, занятую Добровольческой армией, он потерял следы этого человека.

Фрейман. Вы знакомы с Ольгой Владимировной Лохтиной?

Азанчевский - Азанчеев. Нет, но Николай Алексеевич говорил мне о ней.

Фрейман. Если не ошибаюсь, он ее относил к «людям-вещам»?

Азанчевский - Азанчеев. Совершенно верно. Ее перемещали с клеточки на клеточку и Распутин и Илиодор.

Фрейман. А затем и Думанский?

Азанчевский - Азанчеев. Да, наверно. Николай Алексеевич говорил, что Думанскому удалось полностью подчинить ее себе, и она не ведала, что творила. Он ее как будто уверил даже, что является представителем Илиодора в России и тот говорит его устами, а ведь Лохтина принимала Илиодора за божьего сына...

Фрейман. Вы знали прапорщика Гамана?

Азанчевский - Азанчеев. Нет.

Фрейман. А что вам о нем говорил Богоявленский?

Азанчевский - Азанчеев. Не помню, чтобы он когда-либо упоминал эту фамилию.

Фрейман. Вы долго тогда пробыли в Одессе?

Азанчевский - Азанчеев. Всего пять или шесть дней.

Фрейман. И все эти дни вы провели с Богоявленским?

Азанчевский - Азанчеев. Нет, только один вечер. В следующий раз мы с ним встретились лишь через несколько месяцев...

Эта встреча состоялась в Севастополе. Если в Одессе Азанчевский-Азанчеев только познакомился с Богоявленским, то в Сева-

стополе он сошелся с ним достаточно близко. К тому времени он был отозван с фронта и по указанию лично знавшего его генерала Слащева прикомандирован к оперативному отделу штаба барона Врангеля.

Новый главнокомандующий, сменивший на этом посту Деникина, всеми силами пытался привести в образцовое состояние деморализованные и сильно потрепанные части. Чтобы подчеркнуть «историческую миссию» Добровольческой армии — последнего оплота старой России, он переименовал ее в Русскую. Но это мало что изменило: в успех нового похода на Москву никто уже не верил. Почти все понимали, что белое движение доживает последние дни. «Птенцы гнезда Петрова», как не без ехидства называли штабных генералов Петра Врангеля, занимались через подставных лиц поставками в армию, спекулировали прибывающим от союзников обмундированием и подсиживали друг друга. Офицеры многочисленных штабных учреждений Севастополя, от всего уставшие и во всем разуверившиеся, ночи напролет дулись в винт, устраивали дикие оргии, а по вечерам, на «брехаловках», когда черное южное небо покрывалось крупной пылью звезд, с тоскливой завистью говорили о Европе. Какая уж там белая идея! Какой уж там генерал, въезжающий на белом коне в Москву!

Определение Азанчевского-Азанчеева было точным. Если Одесса знаменовала смертельную болезнь белого движения, то Севастополь — его агонию.

Армия разлагалась заживо. И от дикого лихорадочного веселья офицерских пьянок, и от похоронно-чопорных банкетов у председателя совета министров Кривошеина, и от фривольных песенок шансонеток из кафе «Bon appétit» несло тлением.

— Николай Алексеевич был крайне впечатлительным человеком, — говорил Азанчевский-Азанчеев, — и он болезненно воспринимал происходящее. Как-то на приеме у Кривошеина он мне сказал, что счастлив тем, что император мертв и не может увидеть, до чего докатилось белое движение в России. Помню, тогда на меня это высказывание произвело гнетущее впечатление.

В Севастополе, как и позднее в Москве, Богоявленский вел замкнутый образ жизни. Он сторонился штабных офицеров, правительственных чиновников, петроградских знакомых. У Кривошеина он бывал, но в их отношениях чувствовался холодок. Участия в разговорах о судьбе царской фамилии он избегал. Одно время Богоявленский собирался уехать за границу и оформил французский паспорт, но так и не уехал. Вторично зашел разговор об отъезде, когда начался «великий драп» (так белые называли свое паническое отступление после того, как красные перешли Сиваш).

Однако вернемся к стенограмме допроса.

«А з а н ч е в с к и й - А з а н ч е е в. Мы должны были отплыть

с ним на одном пароходе. Но Николай Алексеевич остался в Севастополе.

Фрейман. Почему?

Азанчевский - Азанчев. Исчерпывающе ответить на этот вопрос я затрудняюсь. Для меня тогда его поступок был полной неожиданностью. Но, как я потом понял, в его решении была своя логика. Впрочем, это уже из области покаянных размышлений бывшего эмигранта... Когда я заехал за Богоявленским, он был в халате, а все вещи в его квартире стояли на тех же местах, что и накануне. Ни чемоданов, ни кофров. По всему было видно, что он не собирается никуда уезжать. Это меня тем более поразило, что вечером он говорил об отъезде как о чем-то само собой разумеющемся. Для долгих разговоров времени не было: пароход отплывал через полтора часа, а на улице меня ждал денщик с извозчиком. Но я все же спросил Николая Алексеевича, чем объясняется его новое решение. Он мне ответил, что вчера он слушал свой разум, а сегодня сердце. Потом он что-то говорил о своих картинах, о том, что он не может их бросить на произвол судьбы... Не знаю, может быть, у него были какие-то другие соображения, которыми он не считал нужным со мной поделиться. Но он твердо решил остаться. Мы попрощались, я думал, что навсегда. Тогда я не знал, что через несколько месяцев вернусь из Константинополя обратно домой...

Фрейман. Вы упомянули о каких-то картинах Богоявленского. Он был коллекционером?

Азанчевский - Азанчев. Николай Алексеевич был большим ценителем изящных искусств. В его собрании были полотна великих мастеров, старинные иконы...

Фрейман. И в конце двадцатого года он высказывал беспокойство за их судьбу?

Азанчевский - Азанчев. Так он мне, по крайней мере, говорил.

Фрейман. Следовательно, он был уверен, что их не национализировали?

Азанчевский - Азанчев. Да. Вскоре после Февральской революции он перевез наиболее ценные картины в Москву.

Фрейман. Вы их видели в магазине Богоявленского в Москве?

Азанчевский - Азанчев. Нет. Они хранились где-то под Москвой.

Фрейман. Где именно?

Азанчевский - Азанчев. Не знаю. Николай Алексеевич не называл мне места, а я не интересовался.

Фрейман. Почему он не хотел держать их у себя?

Азанчевский - Азанчев. Затрудняюсь вам ответить. Видимо, опасался каких-либо неожиданностей. Должен сказать, что в Москве он произвел на меня несколько странное впечатление.

Он стал каким-то недоверчивым, подозрительным, издерганным... Когда мы беседовали с ним в его кабинете, он несколько раз на цыпочках подходил к двери и внезапно ее распахивал. Сейчас мне кажется, что он предчувствовал свою скорую смерть...

**Фрейдман.** Может быть, для этого предчувствия у него были какие-то основания?

**Азанчевский - Азанчев.** Не знаю. Но он мне говорил, что доверяет только одному человеку — своему приказчику.

**Фрейдман.** Вы знали о том, что у Богоявленского бывает Лохтина?

**Азанчевский - Азанчев.** Конечно, Николай Алексеевич говорил мне, что она в Москве и он ее материально поддерживает.

**Фрейдман.** С кем кроме Лохтиной Богоявленский встречался в Москве?

**Азанчевский - Азанчев.** Не могу сказать. У меня лично сложилось впечатление, что он избегает людей. Последнее время он переживал душевный кризис. Богоявленский был одним из тех, кто должен обязательно во что-то верить, а в монархию он больше верить не мог. Монархические идеалы были для него растоптаны в Тобольске, Екатеринбурге, Одессе и Севастополе. Он отплыл от одного берега и не пристал к другому. Мне когда-то пришлось испытать то же самое. Я слишком хорошо представляю себе это состояние...

Так выглядел допрос Азанчевского-Азанчева, который вместе с показаниями Лохтиной, приказчика убитого и дневником Богоявленского лег в основу версии, выдвинутой Фрейманом по делу об убийстве в полосе отчуждения железной дороги. На следующий день Фрейман докладывал свои соображения по этому делу Медведеву и представителю ГПУ Никольскому.

## XVIII

Следователей принято называть людьми фактов. Это заблуждение. Конечно, следователь имеет дело с фактами, но он не может ими ограничиться. Он не только разыскивает, собирает и группирует улики, но и фантазирует. Без воображения нет следователя.

Чтобы раскрыть преступление, необходимо восстановить всю картину происшедшего. Но следователь не очевидец, а свидетельские показания, вещественные и письменные доказательства — только осколки того, что произошло. И тут на помощь приходит воображение. Следователь представляет себе, как все случилось. Утверждение «так было» предшествует предположению «так могло быть». Отталкиваясь от фактов, следователь создает версию или несколько версий, которые проверяются новыми уликами. Иногда



версии выдерживают это испытание, иногда нет, и тогда их отбрасывают, заменяют новыми, более достоверными. Следственная версия — сплав фактов с фантазией. Таким сплавом была и версия, выдвинутая по делу об убийстве Богоявленского. Правда, фантазии в этом сплаве было больше, чем фактов, но Илюша считал, что этот недостаток компенсируется логикой. И, докладывая Медведеву и Никольскому о наших предварительных выводах, он все время подчеркивал обоснованность предположений.

Илья умел говорить, и в его изложении все выглядело само собой разумеющимся. Слушая его, я как-то забывал про наши споры, про то, как мы мучились, пытаюсь объяснить тот или иной факт. Все было настолько понятно, что оставалось лишь удивляться, почему мы так долго возмись с делом Богоявленского...

Но Медведев не удивлялся: он достаточно хорошо знал по собственному опыту, что зачистую скрывается за внешней простотой. В его докладной председателю МЧК Манцеву, которую я печатал под его диктовку в 1919 году, ликвидация банды Якова Кошелькова тоже выглядела элементарно просто: получили сведения, проверили их, организовали засаду... Вот и все. Чего проще? По-моему, в эту кажущуюся простоту не верил и Никольский, который сидел в углу кабинета за маленьким столиком и, поблескивая стеклами пенсне, делал какие-то пометки на листе бумаги.

Фрейман говорил, что уже сами обстоятельства преступления наталкивали на мысль, что убийца хорошо знал Богоявленского. Об этом свидетельствовали попытки сделать неузнаваемым его лицо, уничтожить все, что могло помочь установить личность убитого, и самое главное — обыск, который учинил преступник на квартире убитого. О нем Илья говорил очень подробно. Он зачитывал отдельные места из протокола осмотра, демонстрировал фотографии, приводил показания приказчика. Обыск был важным звеном в цепи улик, и Фрейман всячески это подчеркивал. Убийца хорошо знал расположение комнат, искал он не везде, а в строго определенных местах, имел он достаточно полное представление и о порядках, установленных в магазине. Весьма показательно, что приказчик узнал об обыске только после приезда работников уголовного розыска.

Таким образом, убийца не посторонний. Он был знаком с Богоявленским и, скорей всего, бывал у него дома, а самому преступлению предшествовала определенная подготовка: убийца или следил за Богоявленским, или заранее знал, что тот отправится за город.

Итак, убийца — знакомый убитого. Но, как известно, Богоявленский вел исключительно замкнутый образ жизни. Он не бывал ни в ресторанах, ни в театрах, чуждался людей и не заводил знакомства, предпочитая вести все свои дела через приказчика, единственного человека, которому он доверял. Проверка приказчи-

ка — а мы ее провели достаточно тщательно — показала, что он не имел никакого отношения к случившемуся. Следовательно, оставалось предположить, что убийца — один из тех, с кем Богоявленский был связан до революции или в первые ее годы.

Обосновав этот вывод, Илюша, незаметно для себя, перешел на скороговорку. Он считал, что самое спорное уже позади, а под гору санки и сами покатаются. Но он плохо знал Медведева. Александр Максимович не терпел неряшливости в аргументации. Кому-кому, а уж мне это было хорошо известно. Я обратил внимание, что Медведев приподнял брови. Это было плохим признаком. Но Илюша ничего не замечал.

— Мотивы убийства, — говорил он, — достаточно ясны. Обычный грабёж? Маловероятно. Как видно из материалов дела, убийца даже не пытался проникнуть в кассу магазина, не пытался взломать бюро, где Богоявленский хранил деньги. Остается предположить, что он искал что-то другое. Мы считаем, что он пытался найти дневник и письма...

— Уж больно ты торопишься с выводами, — недовольно сказал Медведев, а Никольский спросил:

— Кажется, раньше вы придерживались другой точки зрения?

Так Фрейман оказался под перекрестным обстрелом, в том положении, которое Савельев с мрачноватым юмором называл длинными прыжками на коротких иголках, а Виктор Сухоруков — вечным шахом.

— Прежде всего, — сказал Медведев, — ответь мне на такой вопрос: какие у вас основания считать, что Богоявленский вел дневник и после расстрела царя? Можешь ответить?

— Могу.

— И не торопись: мы не на пожаре. Будем разбираться как положено, без горячки. Договорились?

Вопрос был не из самых трудных, и Илюша исчерпывающе на него ответил:

— То, что Богоявленский постоянно вел дневник, подтвердили Стрельницкий, приказчик убитого и Азанчевский-Азанчеев. На это есть косвенное указание и в обнаруженном письме. Там перечисляются книги и иконы, привезенные царской семьей в Екатеринбург. В тетради, изъятой у Стрельницкого, эти книги и иконы не фигурируют. Трудно даже представить, чтобы Богоявленский держал все это в памяти...

Кажется, Медведев был удовлетворен объяснением.

— А зачем убийце или убийцам понадобились документы Богоявленского? — спросил Никольский.

— Во-первых, в дневнике содержались компрометирующие их факты, а во-вторых, там могли быть сведения о месте хранения картин.

— Так «во-первых» или «во-вторых»?

— Я лично склоняюсь к тому, что преступников интересовали картины.

— Почему?

— В конце концов вся эта чехарда вокруг царя в Tobольске и Екатеринбургe — дело прошлое, и вряд ли те, о ком писал Богоявленский, настолько опасались ответственности, чтобы пойти на убийство. Кроме того, Богоявленский по своему характеру и мировоззрению не представлял для них с этой точки зрения реальной опасности. Он никогда бы не использовал известных ему сведений во вред прежним друзьям. И ни к чему ему это было...

— На чем основывается подобная характеристика Богоявленского?

— Дневник и свидетельские показания.

— Свидетели в своем мнении об антикваре единодушны?

— Да.

— Итак, картины?

— Совершенно верно.

— А вы уверены, что картины существовали в действительности, а не являются вымыслом того же Азанчевского-Азанчеева? — спросил Никольский, делая пометку на листе бумаги. — Ведь не исключено, что Азанчевский каким-то образом причастен к происшедшему. Он мог быть заинтересован ввести следствие в заблуждение, наконец он мог просто ошибиться. Не мне напоминать вам о подобных случаях. Почему вы безоговорочно верите Азанчевскому-Азанчееву?

— Я ему безоговорочно не верю. Но его показания в этой части подтверждаются другими материалами дела.

— А именно?

— Упоминание о картинах имеется в дневнике Богоявленского. О том, что он увлекался коллекционированием изящных искусств, говорила и Лохтина.

— Это все, чем вы располагаете?

— Нет. После допроса Азанчевского-Азанчеева Белецкий наводил справки у профессора Рахтенберга и искусствоведа Гридина.

Медведев повернулся ко мне и кивнул головой:

— Давай, Белецкий, докладывай. Не все же Фрейману отдуваться. В паре работали, в паре и отчитывайтесь...

Я встал и рассказал о своей беседе с Рахтенбергом и Гридиным. Они сообщили мне, что до революции фамилия Богоявленского была хорошо известна собирателям картин и искусствоведам. По их утверждению, коллекция Богоявленского после революции национализирована не была, во всяком случае, наиболее ценные полотна из его собрания не числятся ни в одном из государственных музеев.

— Какие конкретно картины имеются в виду? — полюбопытствовал Никольский, который, кажется, решил во всем сомневаться. Я перечислил картины: Пизано «Бичевание Христа», Корреджо «Святое семейство», Рембрандт «Христос».

— Кроме того, — сказал я, — если у Богоявленского сохранилась царская коллекция, о которой он пишет в дневнике, то в ней помимо ценных икон старинного письма имеется, кажется, и подарок Думы...

— Какой еще подарок? — спросил Медведев.

— Старинный плат, подаренный Государственной думой Николаю II по случаю трехсотлетия дома Романовых. Его Рахтенберг уже год разыскивает...

— Такой уникал?

— Да.

— А что он из себя представляет?

— Старинный плат из белого холста длиной в двадцать четыре аршина, — сказал я, слово в слово повторяя описание Рахтенберга. — На нем изображена встреча первого Романова с отцом. Шелком вышиты процессии бояр и боярынь, крестьяне с хлебом и солью, рынды с оружием, Филарет, выходящий из колымаги, и упавший перед ним ниц Михаил. А над всем этим, как положено, троица и ангелы, трубящие славу, ну а вдали Москва, Кремль, церкви...

Медведев усмехнулся и, обращаясь к Никольскому, сказал:

— Эрудит, а?

— Эрудит, — согласился тот. — Придется тебя, Белецкий, к нам пригласить лекцию по искусству читать... Не откажешься, если пригласим?

— Надо подумать, — отшутился я.

Никольский скинул с носа пенсне, замигал близорукими глазами и улыбнулся. От улыбки его лицо сразу же помолодело.

— Слышал? На глазах от похвал человек портится. Только ты его назвал эрудитом, а он уже нос задирает! Кстати, этот подарок Государственной думы царю, по-моему, Родзянко вручал, да?

— Родзянко, в Казанском соборе.

— Постой, Михаил Константинович, — сказал Медведев, — да ведь ты, говорят, был в Казанском соборе в день открытия романовских торжеств, листовки там распространял?

— Точно, — подтвердил Никольский, который всегда был не прочь вспомнить свои студенческие годы, когда он был руководителем одного из социал-демократических кружков. — Меня туда вместе с Сережей Гурским послали, он тогда на Путиловском работал.

— Так что в самом избранном обществе побывали?

— Не говори, за всю свою жизнь столько орденов, аксельбантов и эполет не видел, в глазах рябило. Государя императора удостои-

лись чести лицедреть, литургию и молебны патриарха Антиохийского прослушали, выступление Родзянки. До сих пор его прочувствованную речь помню: «Великий государь, обширны царственные труды и заботы ваши о благе народа и неустанно ваше о нем попечение,— глухим басом проговорил Никольский, подражая Родзянке.— И народные избранники, члены Государственной думы, одушевленные монаршим доверием, безгранично счастливы лично повергнуть перед вашим императорским величеством всеподданнейшие поздравления по случаю высокознаменательного праздника Русского государства...» Очень трогательная речь была. Не только дамы, но и сенаторы к своим светлым очам платочки прижимали. Ну а нам рыдать некогда было, мы свое дело делали: листовки где только можно рассовывали. Гурский одну из них ухитрился даже к спине обер-церемониймейстера барона Корфа приклеить. То-то смеху было...

— Благополучно высочили?

— Благополучно. Когда выходили, жандарм нам даже честь отдал.

Никольский предался воспоминаниям. Он вспомнил знаменитый диалог в соборе Родзянки и Распутина («Ты зачем здесь?» — спросил тогда у Распутина Родзянко. «А тебе какое дело?» — «Если ты будешь со мной говорить на «ты», я тебя отсюда за бороду выведу!»), о том, какой поднялся переполох, когда кто-то заметил на спине Корфа листовку эсдеков...

Илюша незаметно подмигнул мне. Он считал, что длинные прыжки на коротких иголках закончились. Частично он оказался прав: обстановка разрядилась и град вопросов уменьшился. Но, когда Илья заговорил о возможном убийце, Никольский вновь насторожился, а брови Медведева поползли вверх.

Фрейман делал упор на то, что Лохтина на первых допросах умолчала о своих встречах с Богоявленским в 1918 году и о своем участии в попытках освободить Николая II.

— Если учесть,— говорил он,— что Лохтина подозревает, кто совершил преступление, а возможно, и знает убийцу, это умалчивание можно рассматривать как косвенную улику, лишний раз подтверждающую, что Богоявленского убил кто-то из их общих друзей того времени.

Этот довод был не из самых сильных. Илюша, кажется, и сам это понял, но уже было поздно: вновь посыпались вопросы. Затем Никольский сказал:

— Ваше утверждение, что Богоявленского убил кто-то из его бывших друзей, мы уже слышали. Но «кто-то» звучит слишком неопределенно. Вы подозреваете какое-либо конкретное лицо или нет?

— Подозреваем.

- Кого?
- Думанского.
- Так, так...

Никольский переглянулся с Медведевым.

— Азанчевский-Азанчеев показал, со слов покойного антиквара, что Думанский был циником, который рассматривал освобождение Николая II как «очередную финансовую аферу», — продолжал Фрейман. — Такая же характеристика Думанского содержится и в дневнике Богоявленского, и в отзыве о нем князя Палей. Думанский стремился только к обогащению и считал, что цель оправдывает средства. Из дневника Богоявленского видно, что Думанский не только знал о коллекции Богоявленского, но и проявлял к ней повышенный интерес. Он пытался, в частности, приобрести у Богоявленского полотно Пизано. Он интересовался и переданной Богоявленскому царской коллекцией икон. Борис Соловьев, который, так же как и Лохтина, находился под влиянием Думанского и, по утверждению Кривошеина, «работал с ним в паре», уговаривал Богоявленского заложить иконы Думанскому за сто пятьдесят тысяч рублей...

— То есть вы хотите сказать, что Думанский мог совершить преступление?

— Да.

— Но между «мог» и «совершил» достаточно большая дистанция...

— Совершенно верно, — согласился Илюша. — Вот я сейчас и попытаюсь сократить эту дистанцию. Лохтина во время допроса ни разу не упомянула фамилию Думанского. Более того, когда к нам в руки попал дневник Богоявленского, из которого мы узнали о тесных отношениях между ними, она заявила, что фамилию Думанского слышит впервые. Таким образом Лохтина всячески старалась, чтобы мы не узнали о самом факте существования Думанского. Почему? Дальше, я уже обращал ваше внимание на то, что Лохтина знает о преступлении намного больше, чем считает нужным нам говорить. Но ведь она хорошо относилась к покойному, который ей помогал деньгами, проявлял о ней заботу. Казалось бы, она должна всеми силами помогать нам отыскать убийцу. Но она этого не делает, более того, она делает все возможное, чтобы помешать расследованию. Почему? Из-за религиозных убеждений? Чепуха. Как известно, в необходимых случаях «служители бога» прекраснейшим образом прибегают к помощи закона, религия не отрицает земного правосудия. Да и если на то пошло, бог карает лжецов. Тем не менее Лохтина лжет, умалчивает, пытается запутать следствие, ввести его в заблуждение... Ее поведение можно объяснить только одним — стремлением во что бы то ни стало выгородить Думанского, которого она считает полномочным представителем «божьего

сына» Илиодора. Богоявленский причислял Лохтину к «людям-вещам», к тем которых передвигают «люди-руки», такие, как Илиодор, Распутин, Думанский. Он говорил Азанчевскому-Азанчеву, что Думанскому удалось полностью подчинить ее себе и она не ведала, что творила. Характерно, что Лохтина, когда она была вынуждена признаться в своем знакомстве с Думанским — правда, она утверждает, что после девятнадцатого года его не видела, — называла его ни больше ни меньше, как перстом божьим. Поведение Лохтиной на допросах — важная улика против Думанского...

— Но это все психология. А психология — палка о двух концах, — сказал Никольский. — Чем вы еще располагаете?

— Показаниями приказчика убитого.

— А что говорит старик? — спросил Медведев.

— На первом же допросе приказчик заявил... Минутку! — Илюша достал из палки блокнот и прочел: — «Во время одного из посещений Лохтиной Богоявленского она уговаривала его что-то сделать (что именно, я не расслышал). В ответ на ее просьбы побледневший Богоявленский сказал: «Я шантажа не боюсь, и Таманского меня не запугать». Затем Лохтина ему что-то говорила на иностранном языке, видимо уговаривала, но Богоявленский заявил, что он своего решения не изменит. После этого Лохтина расплакалась». Как выяснилось, Таманского среди знакомых Богоявленского не было. Наиболее вероятно, что приказчик не расслышал фамилию и Богоявленский называл фамилию Думанского. Это тем более вероятно, что Богоявленский неоднократно упоминал эту фамилию вместе с фамилией Бориса Соловьева. «Он их обоих не любил и иначе как фармазонами не называл», — прочитал Фрейман следующую выдержку из показаний приказчика.

— Любопытные показания, — задумчиво сказал Медведев. — Но в дальнейшем он, кажется, от них отказался?

— Нет, он не менял показаний. Просто их нельзя было использовать в полную меру, потому что на очной ставке с Лохтиной он держался недостаточно уверенно.

— Боюсь, что, если бы он держался и более уверенно, от его показаний было бы мало пользы, — сказал Никольский. — А впрочем, давайте вместе поищем Таманского. Да, да, именно Таманского. Может быть, он все-таки существует и вы просто несколько поспешили с выводами.

Это заявление Никольского было настолько неожиданным, что я был ошеломлен не меньше Илюши.

— Вы считаете, что подозрения в отношении Думанского совершенно необоснованны? — спросил я у Никольского, нарушая субординацию.

— Нет, почему же? — усмехнулся он. — Фрейман в меру своих

сил и возможностей достаточно убедительно их обосновал. Даже жаль, что от них придется отказаться...

— Но почему?

— По той простой причине, что Думанского не существует.

— То есть как не существует?

Никольский выдержал эффектную паузу и сказал:

— По постановлению ЧК в восемнадцатом году Владимир Брониславович Думанский расстрелян за контрреволюционную деятельность.

## XIX

Заявление Никольского не поколебало выдвинутой нами версии. Думанский как таковой не был в ней основным звеном. В силе оставались и предполагаемые мотивы убийства, и утверждение, что преступник — старый знакомый антиквара. Но ошибка была настолько грубой, что клала пятно на всю работу группы. Сеня Булаев наверняка сделал бы из нашего ляпсуса анекдот. И Илюша на следующий день выглядел достаточно мрачно. Настроение было испорчено и у меня. А мне ведь предстояло еще встретиться с Никольским для того, чтобы обсудить с ним, как не допустить вывоза за границу картин Богоявленского, если они действительно похищены (возможность реализации их внутри страны почти полностью исключалась). В кабинете Никольского я себя чувствовал в положении карася, которого медленно поджаривают на сковородке. Но Никольский, видимо, считал, что мы уже свое получили, и ни словом не обмолвился о вчерашнем. В угрозыск я приехал во второй половине дня. Меня ждал Вал. Индустриальный. По его лицу нетрудно было догадаться о сюрпризе, не имеющем, правда, никакого отношения к делу Богоявленского, зато прямое — ко мне.

— Опубликовали? — спросил я.

Вместо ответа Валентин протянул мне газету с заметкой, отмеченной красным карандашом. Заголовок у нее был интригующий: «Барышню» нужно искоренить».

«На телефонной станции «барышня» умерла, осталась жить гражданка, товарищ, — сообщал читателям некто А. Бескомпромиссный. — Но «барышню» похоронили только на телефонной станции. А в других местах она преспокойно здравствует, и не только «барышня», но даже «мадам».

А. Бескомпромиссный предлагал начисто искоренить этот педжиток. И не только потому, что слово «мадам» в настоящее время — нелепость, так как обозначает повелительницу, владелицу, но и потому, что оно, как и слово «господин» пущено в ход дворянством и буржуазией, чтобы отличить себя от угнетенных классов.

«В Московском уголовном розыске запрещено служащим отве-



чать, когда к ним обращаются с такими позорными для чести свободных советских граждан словами», — писал автор заметки и заканчивал ее призывом: «Электрифицировать нужно не только избы, но и души (конечно, не в религиозном смысле этого слова). Необходимо во всех советских учреждениях вывесить соответствующие объявления, а ячейки и месткомы должны провести предварительную агитационную подготовку, воспользовавшись ближайшими общими собраниями. Причем эту меру надо провести вне зависимости от того, считает ли тот или иной отдельный служащий лично для себя оскорбительным «господин» и «барышня» или нет. Дело это не личное, а общественное».

Никогда еще печатное слово не производило на меня такого сильного впечатления. Заметка, правда, ничем не отличалась от сотен других. Но ведь А. Бескомпромиссным был не кто иной, как я, а сама заметка была моим первым выступлением в печати...

«Барышню» я написал по настоянию Сухорукова, который считал, что этот вопрос имеет сугубо принципиальное значение, и хотел, чтобы я обязательно попробовал свои силы в журналистике. Он же передал мою заметку Вал. Индустриальному. Валентин сдал ее в редакцию и придумал для меня зубодробительный псевдоним. Заметка имела успех, и мое авторское самолюбие было польщено. Виктор даже находил ее не только образцом злободневности, но и бесспорным свидетельством моих литературных способностей. Вал. Индустриальный, считавший себя метром («Рабочий класс Москвы знает и ценит Индустриального!»), придерживался иной точки зрения. Он утверждал, что мой стиль отдает Чеховым, а то и того хуже — Толстым, а самой заметке не хватает политической заостренности и после мировой революции она будет рассматриваться как типичный образец литературы переходного периода, когда некоторые авторы пытались влить наше индустриальное вино в пушкинский стакан и никак не могли выбраться из засасывающего болота толстовщины. Но оба они сходились на том, что Московский уголовный розыск приобрел наконец своего летописца и этот факт необходимо отметить. Против последнего не возражал и Илюша.

Но в связи с моей командировкой наши планы пришлось изменить. Медведев почему-то решил включить меня в смешанную бригаду ГПУ и Центроязыка, которой было поручено подготовить некоторые материалы по борьбе со спекуляцией контрабандными товарами.

Первые годы нэпа, когда царил товарный голод, были вообще весьма благоприятны для различного рода спекулянтов. Но наибольшим злом была все-таки торговля контрабандными товарами. Спекулянты и контрабандисты были тесно связаны между собой. Некоторые перекупщики содержали контрабандистов на положении

своих служащих, выплачивая им твердую ежемесячную зарплату. Контрабанда, подрывавшая государственную монополию на внешнюю торговлю (она ежегодно составляла не меньше 80—90 миллионов рублей, то есть почти 10 процентов экспорта и импорта республики), всячески поддерживалась нашими соседями. Вдоль всей западной границы от Нарвы до Румынии рядом с пограничными кордонами наши «доброжелательные» соседи организовали транзитные ларьки и конторы для обмена пушнины, каракуля и драгоценных камней на мануфактуру, галантерею и кокаин. А в Трапезунде, Эрзеруме и Тавризе для удобства контрабандистов были построены даже склады товаров.

В ГПУ считали, что для ликвидации контрабанды нужно не только улучшить работу таможен и пограничных постов, но и перекрыть каналы, по которым контрабандные товары поступают к спекулянтам, уничтожить подпольные спекулянтские тресты. Поэтому в смешанную бригаду и вошла целая группа сотрудников розыска. Командировка обещала быть интересной, и в другое время я бы за нее, наверно, ухватился. Но сейчас, когда на мне тяжелой гирей висело дело Богоявленского, она никак не входила в мои расчеты.

Как водится, о предстоящей поездке в Одессу я узнал позже всех, накануне отъезда. Я тут же кинулся к Медведеву.

Александр Максимович выслушал мои возражения и сказал:

— Что тебе, тезка, надо? Сочувствия? Сочувствую. Отрываться от начатых дел неприятно. Сам в твоём положении. Вот уже скоро месяц, как занимаюсь не розыском, а ликвидацией детской беспризорности, только оперативные сводки и успеваю просматривать. Так что сочувствую тебе. А если ты хочешь отмены приказа — извини, не отменю.

— Почему?

— Потому что нецелесообразно. Слышал такое слово — нецелесообразность? Так вот, целесообразно, чтобы партиец Медведев занялся сейчас детской беспризорностью, а партиец Белецкий — борьбой со спекуляцией.

— Александр Максимович, но мне раньше не приходилось заниматься подобного рода делами...

— Тем более целесообразно: опыт приобретешь.

Я пытался сослаться на свою специализацию, на то, что борьба со спекуляцией не имеет ко мне никакого отношения. Но Медведев был неумолим.

— Как это не имеет отношения? — говорил он. — Самое прямое. Ты, тезка, запомни, все, что имеет отношение к Советской власти, имеет отношение и к нам с тобой. И политика, и ликбез, и промышленность. Мы солдаты партии, а солдат сам себе фронта не выбирает, он дерется там, куда его пошлют. Сегодня мы в розыске службу

проходим, завтра — в торговле, а послезавтра нас, может, в деревню отправят коммуноу организовывать. Так?

— Так-то так. Но согласие все-таки спросят?

— А зачем? Мы на все согласие заранее дали, еще когда заявление о приеме в партию подписывали.

Медведев был более словоохотлив, чем обычно, но это совершенно не значило, что с ним стало легче спорить. Он вообще крайне редко менял свои решения, а в данном случае для этого не было особых оснований. В конце концов, мой отъезд не настолько уж отражался на работе, как это я пытался изобразить.

Каждый сотрудник группы достаточно хорошо знал свои обязанности, чтобы не нуждаться в постоянной опеке. Другое дело, что мне хотелось участвовать в расследовании убийства Богоявленского, но уезжал я всего дней на десять, а до финиша там было еще далеко.

С делами о спекуляции контрабандными товарами я действительно не сталкивался. Поэтому перед отъездом я целый день просидел в секретной части, знакомясь с ориентировочными письмами по этому вопросу ГПУ и Центро розыска, изучая оперативные сводки и информацию по наиболее крупным делам.

— Твои функции в бригаде строго ограничены, и ты их не расширяй, — напутствовал меня Виктор. — Будешь за все хвататься — ничего не сделаешь. Понял?

— Понял.

— Тогда слушай, чего мы от тебя хотим. Мы сейчас располагаем сведениями о трех подпольных спекулянтских трестах в Москве. Нам известно, кто ими руководит, через каких спекулянтов-оптовиков и кому именно сбываются товары и, наконец, примерный объем товарооборота. Но мы не знаем, от кого и как поступает в Москву контрабанда. Если ты это, хотя бы в общих чертах, выяснишь, то будем считать, что ты со своим заданием справился. А дело Богоявленского от тебя не убежит. Ту кашу, которая заварилась, вам с Фрейманом еще долго расхлебывать придется...

— Думаешь?

— Шатко там все, Саша!

— Не все.

— Все, — упрямо повторил Виктор. — Где гарантия, что вы ошиблись только с Думанским? Нет такой гарантии. Факты таковы, что их можно толковать по-всякому, как кому вздумается. Да так оно и получается: Фрейман считает одно, Никольский — другое, Савельев — третье...

Упоминание о Савельеве насторожило меня. Савельев в состав нашей группы не входил и был совершенно не в курсе дела Богоявленского. Неужто Медведев решил его привлечь к расследованию? Неужто считает, что мы не справимся?

— А при чем тут Савельев?

— Да вот заинтересовался старик...— неопределенно ответил Виктор и тут же перевел разговор на мою командировку. Вызвать на откровенность его так и не удалось. Но и сказанного было вполне достаточно, чтобы сделать некоторые выводы: Медведев решил привлечь Савельева к расследованию. Видимо, ему отводилась роль своего рода эксперта. Не слишком ли много у нас появилось контролеров: Сухоруков, Никольский, а теперь еще и Савельев! Но обижаться на недоверие было бы глупо, а еще глупей высказывать эту обиду. И все же разговор с Виктором оставил неприятный осадок. Он это понял и, прощаясь со мной, пожал мне руку сильнее, чем обычно. Это означало, что унывать мне не стоит и что он, Виктор, был и остается моим другом, на которого я во всем могу положиться. Но в этом я и так никогда не сомневался.

Командировка оказалась напряженной, требующей полной отдачи сил и энергии. Ограничиться выяснением связей контрабандистов с московскими подпольными трестами, конечно, не удалось. Но все же, вопреки моим опасениям, командировка не затянулась. Руководитель бригады Забелин, один из ответственных сотрудников ГПУ, сумел так организовать работу, что уже к первым числам апреля бригада почти закончила сбор необходимых материалов. К этому времени Забелину потребовалось направить в Москву для доклада человека. Я воспользовался удобным случаем и попросил командировать меня. Забелин не возражал: делать мне в Одессе действительно было больше нечего.

— Девушка? — спросил он, передавая необходимые для доклада документы.

— Интересное дело, — ответил я.

В Москве весна уже была в полном разгаре. Бесчисленными желтыми пятнами подрагивало в лужах весеннее солнце, влажно поблескивали крыши домов, пускали бумажные кораблики вырвавшиеся на волю мальчишки, а веселые краснощекие бабы, беззлобно переругиваясь, пытались всучить прохожим тощие букетики хрупких подснежников. Еще недавно мрачные, словно нищие в лохмотьях, театральные тумбы пестрели яркими красками афиш: «Театр импровизаций «Семперантэ», «Гастроли театра «Балаганчик», «Труппа мастерской коммунистической драматургии в помещении 3-го театра РСФСР». А на потемневшем от сырости и покосившемся за зиму заборе висело объявление о торгах в «Аквариуме» на сдачу в аренду кегельбана, бильярдной гардероба и шашлычной. Тут же красовалась и реклама Москвошвея. Она сообщала модницам, что попытка «офутуризировать» покрой и ввести «самобытные цветы» не увенчалась успехом, что в этом сезоне по-прежнему будут модны женские платья без всяких пufов, бантов, кружевных сборок и многочисленных застежек. Об этом наглядно

свидетельствовала полногрудая упитанная дама в платье с высоким воротником и узким, спадающим к ногам треном. Дама улыбалась. И всем без слов было понятно, что она так счастлива только потому, что сшила себе платье в Москвошвее, единственном ателье мод, которое может превратить московскую нэпманшу в парижскую аристократку.

Звонко покрикивали лихачи, обдавая прохожих фонтанами брызг, судачили на еще не покрашенных скамейках скверов пожилые матроны. Четко печатая шаг, прошел отряд рабочих ребят с винтовками. Лица у ребят были серьезные, пожалуй, даже слишком серьезные, а кепки чем-то неуловимо напоминали островерхие буденовки.

Раз-два-три,  
Мы большевики!  
Мы банкиров в морду, в морду —  
Возьмем на штыки.

Юркий торговец папиросами вразнос на всякий случай вжался в подворотню: правда, банкиром он никогда не был, но кто его знает, осторожность не повредит...

Купив в привокзальной лавочке для Веры «одесский сувенир» (отрез ситца), я поехал на трамвае домой. Вера была очень довольна подарком.

— В Москве материи с такой оригинальной расцветкой днем с огнем не найдешь, — говорила она, стоя у зеркала с отрезом в руках. — За версту узнаешь одесскую работу. Ты только обрати внимание, с каким вкусом подобраны цвета!

Я ее, разумеется, не разубеждал.

Побрившись и пообедав, я позвонил Фрейману.

— А я думал, что ты приедешь через неделю, — сказал Илюша. Голос его звучал приглушенно, видимо, у него в кабинете был кто-то из посторонних.

— Тебе неудобно разговаривать?

— Не разговаривать, а жить, гладиолус.

— Неприятности?

Илюша промямлил что-то нечленораздельное.

— Дело Богоявленского? — спросил я.

— Оно, проклятое, — подтвердил Фрейман. — Но разговор не для телефона. Приедешь — поговорим. Контрабандистов всех выловил?

— Почти, — сказал я. — Только троих оставил: двух для развода, а одного для тебя, чтобы ты мог свои способности проявить.

— Ты скоро будешь?

— Через полчаса. Никуда не уходи.

— Договорились, — сказал Илюша и повесил трубку.

— Что-нибудь случилось? — спросила Вера.

— Нет, ничего.

Ох, недаром мне так не хотелось ехать в командировку!

## XX

Как впоследствии выяснилось, Медведев не поручал Савельеву принять участие в расследовании убийства Богоявленского. Федор Алексеевич сделал это по своей инициативе. И случай, на который потом ссылался Савельев, был ни при чем. Какой уж там случай! Просто в старом, опытным криминалисте, который рисовался своей флегматичностью и безразличием, скрывался любопытный мальчишка, задорный и энергичный, переполненный неистраченными силами и неосуществленными идеями. Савельев стеснялся этого прыткого юноши и всячески ущемлял его. Но мальчишка был не из тех, кому легко зажать рот и спутать руки. Он любил быть в центре всех событий. И, если его что-либо интересовывало, он всегда оказывался в первых рядах, и не зрителей, а самых активных участников происходящего. А убийство в полосе отчуждения железной дороги, сильно отличавшееся от дел, которыми мы обычно занимались, не могло, разумеется, оставить его безучастным. Савельев-скептик вынужден был уступить место Савельеву-энтузиасту. И Федор Алексеевич исподволь, не привлекая внимания, стал потихоньку работать над делом Богоявленского. Медведев, конечно, об этом знал, но делал вид, что ему ничего не известно: пусть старик покопается, авось что-либо и выкопает.

И Савельев «выкопал»...

Через несколько дней после моего отъезда он позвонил Фрейману и попросил его зайти.

— Совсем забыл старика, Илюшенька,— посетовал он.— А вот старик тебя не забыл, помнит про тебя старик.

Когда Фрейман вошел в его кабинет, Савельев поднялся из-за стола. Это было высшим знаком благорасположения. Обычно он так себя не утруждал.

— Садись, Илюшенька. Садись, милый.

Как положено, разговор начался со здоровья. Савельев пожаловался на печень (ноет, как дитя малое), на сердце (а какое здоровое было!), позавидовал пенсионерам, которые, по его мнению, только и делают, что занимаются коллекционированием жуков и бабочек, а затем вскользь спросил, как движется дело Богоявленского. Илюша рассказал ему о нашей версии.

— Толково, толково,— одобрительно кивал головой Савельев.

А когда Илья закончил, тем же благодушным тоном сказал:

— В чем, в чем, а в воображении тебе не откажешь. Молодец!

— В излишке воображения?

Савельев засмеялся:

— Вот за что я тебя люблю, Илюшенька, так это за догадливость. С полслова все понимаешь. Будет из тебя толк, помни мое слово, будет!

— А пока?

— Все мы молоды были...

— Сомневаетесь в нашей версии?

— Если начистоту, сомневаюсь. Поддался ты своему воображению. Оно, конечно, соблазнительно — дело красивое, с завихрениями. Такое дело не всякому следователю за всю его жизнь улыбнется. Тут тебе и Екатеринбург, и государь император, и заговоры, и князья великие, и картины бесценные... Все есть. В роман господина Лажечникова просится. Ну а вы с Белецким люди молодые, увлекающиеся... Вот и замахали крыльями лебедиными. Молодые, они любят дали небесные да страны неизвестные.

— Значит, считаете, что воображение подвело?

— Не только, ум тоже.

— А это как понимать?

— Как понимать? — повторил Савельев. — Да так и понимай. Вот слушал я тебя, когда ты свои соображения выкладывал, и, право слово, удовольствие получал. Красиво у тебя все получалось, не придерешься: каждому фактику свое законное место отведено, гладко, умно, но... как бы тебе сказать? Немного чересчур умно...

— Чересчур?

— Во-во, чересчур. Умный ты. Это-то тебя вместе с воображением и привело не на ту линию. Я в сыске уже сорок лет с хвостиком. И вот что я тебе скажу: чересчур умный следователь не реже глупого впросак попадает. И знаешь почему? Потому, что поступки преступника своим разумом да своей логикой объяснить пытается. А преступник тот не только умницей, но и последним дураком оказаться может. А ты учти, не только сытый голодного не разумеет, но и умный глупого. Вот почему зачастую глупый умного в дураках оставляет... И еще. Когда кто на мокрое дело <sup>1</sup> идет, он не всегда с собой аптекарские весы захватывает. Один из ста с полным хладнокровием действует, а остальные девяносто девять нет-нет да и затрепещут душой. Глядишь, и трещинка в самом продуманном плане появилась или там фактик, который в логику никак не втискивается. На черта, думаешь, ему это нужно было? А он и сам не знает. Сделал так — и все. Вот тебя в университете учили: ставь себя на место преступника, воображай, как бы ты сам поступил в тех же обстоятельствах. Разумно будто бы, а? Но ведь ты со всем своим воображением никак поставить себя на его место не сможешь. И не только потому, что сам ты курицы не зарежешь, но и потому, что ты его состояние только разумом представляешь, извилинами свои-

---

<sup>1</sup> Мокрое дело — преступление, связанное с убийством (воровской жаргон).

ми мозговыми. А преступником в те минуты не один мозг руководит. Его мозг и страх, и злость, и бог знает что еще туманит.

— Значит, логику побоку?

— Зачем так строго? — усмехнулся Савельев. — Логика вроде коня. Сначала взнуздай, объезди, седло приспособь, уздечку, а потом и катайся себе на здоровье. Но если из седла вылететь не желаешь, начинай с шага да с мелкой рыси, а галопом не спеши...

— Это все, конечно, очень интересно, Федор Алексеевич, но ведь наша версия все-таки и на фактах построена, не на одной логике, — напомнил Илюша, который считал, что предисловие слишком затянулось.

— Не спорю, — охотно согласился Савельев. — Но факты фактам рознь. Те факты, что у вас, только под фундамент и годятся. Я на твоих фактах, мил-друг, все, что захочешь, построю. Хочешь — дом божий, а хочешь — балаган...

— Ну, например?

Савельев откинулся на спинку стула, глянул из-под приспущенных век на Фреймана. И Илюша понял: вот оно начинается, главное. Он весь подобрался.

— Давай-ка с тобой такую сценку вообразим. Ехал, скажем, наш Богоявленский по своим коммерческим делам за город. В вагоне ему на скамейке не сиделось, на площадку вышел, может, покурить, а может, так, проветриться. Ну а на площадке еще один гражданин стоял, курил, допустим...

— Богоявленский его не знал?

— Не знал. Тот гражданин ни к Николаю II никакого отношения не имел, ни к торговле. Из уголовников тот гражданин, к примеру, был. Ну а какое знакомство у антиквара с деловым парнем с Хитровки или со Смоленского? Впервой они встретились. Стоял Богоявленский на площадке и думу думал, а тот — свою. О чем Богоявленский думал, нам с тобой без разницы, а о думах делового парня — догадывайся. Глянул он на Богоявленского — видит, карась жирный. «Пофартило», — думает. А Богоявленский у самой дверцы стоит, и рядом никого нет, а из вагона их не видно. Соблазн, а?

Теперь Илюше уже было ясно, куда Савельев клонит: обычное убийство с целью грабежа.

— Почему же ваш деловой парень не снял с трупа пальто? — спросил он. — Пальто на убитом дорожное было. Его бы любой барыга с руками отхватил. Верно?

— Верно.

— Так в чем же дело? «Фактик», который сам преступник объяснить не сможет? — съехидничал Фрейман. — Или он был настолько глуп, что не догадался снять пальто?

— А ты сам посуди, зачем ему пальто в крови да в грязи? Его с таким пальто первый же милиционер задержит...



— Допустим,— сказал Илья.— Действительно, пальто было в крови. Улика. Но на платиновом кольце крови не было, а он тоже не взял. Почему?

Савельев протянул Фрейману свою короткопалую пухлую руку. На безымянном пальце тускло блестело золотое обручальное кольцо.

— Попробуй стащи. Разве только с пальцем сдернешь...

— А зачем он убитому разможил лицо?

— Откуда же он знал, что тот кончился? Врача-то у него под рукой не было, чтобы смерть констатировать, а вызвать из города не догадался или времени не было — торопился. Ну а лишняя гарантия в таких деликатных случаях никогда не помешает. Береженого, как говорится, и бог бережет.

— А кто был после убийства на квартире Богоявленского?

— Он же. Решил, что у караса и дома есть чем поживиться. И не ошибся.

— А как он узнал адрес?

— Из паспортной книжки. Вы же с Мотылевым паспорта Богоявленского не обнаружили, а приказчик сказал, что паспорт был всегда при хозяине.

— И, пробравшись в квартиру убитого, ваш жох, вместо того чтобы без всяких хлопот и забот взять деньги из бюро, начал трудиться над сейфом, в котором не было ничего, кроме личных бумаг убитого?

— Ах, Илюшенька, Илюшенька,— сказал Савельев,— и все ты хочешь на необъезженной лошадке без седла галопом проскакать! Где обычно-то деньги держат? В сейфе их, мил-друг, держат. И ты об этом знаешь, и я, и тот парень, с которым убитый на вагонной площадке время коротал. Откуда ему было привычки Богоявленского знать? Влез в квартиру, увидел сейф, ну, думает, вон где горы золотые...

— А почему он не забрал ценных вещей?

— Почему не забрал? Часть взял, как ты в акте собственноручно отметил. А остальные или не успел — спугнул кто-то, или не смог утащить. Работал-то он один, без напарника...

Сухоруков как-то говорил, что косвенные улики все равно что пушки: куда их повернешь — туда и стрелять будут. В одну сторону повернешь — врагу плохо, в другую — самому достанется. Присутствуя при разборе своих дел в суде, Фрейман неоднократно убеждался в точности этого сравнения. «У обвиняемого обнаружен нож. По мнению экспертизы, таким ножом убит пострадавший. Этот факт — косвенная улика против обвиняемого», — утверждал прокурор. «Если бы мой подзащитный был убийцей, он бы после совершения преступления выбросил нож. Но он не чувствовал за собой никакой вины. Поэтому-то следственные органы и обнаружили у него при личном обыске нож: ему нечего было скрывать. Приведен-

ный прокурором факт — доказательство невиновности моего подзащитного», — с той же категоричностью утверждал адвокат.

Каждый из них прав... Ничего не поделаешь, таково свойство косвенных улик, не объединенных в единое целое. И Савельев, хорошо зная это свойство косвенных доказательств, умело использовал его, трактуя со своих позиций все установленные факты. Но все же были и такие обстоятельства, которые плохо укладывались в предложенную им схему. Илья это прекрасно понимал.

Если убийца искал деньги — и только деньги, зачем он забрал личные бумаги Богоявленского? Всех ценных вещей он унести не смог, а ненужные ему документы взял. Или другое — вторичное посещение преступником квартиры убитого. В чем цель? Неужто убийца рассчитывал, что он после всего происшедшего обнаружит там деньги или золото? Нет, конечно. Тем не менее преступник, который, по версии Савельева, не знал Богоявленского, всю ночь провозился в его квартире, взламывал половицы, видимо разыскивая тайник.

Неизвестно, чем бы закончилась словесная дуэль между Фрейманом и Савельевым, если бы Федор Алексеевич не прибегнул к аргументу, против которого оказались бессильны все самые обоснованные рассуждения. Прервав Ильюшу на середине фразы, он спросил:

— Следы ног, которые ты обнаружил на месте преступления, можно идентифицировать?

— Эксперт считает, что нет. Но какое это имеет отношение к нашему спору?

Не отвечая, Савельев встал из-за стола, открыл дверцу шкафа и взял с верхней полки какой-то сверток. Не спеша развязал шпагат, снял газетную бумагу и поставил на стол пару ботинок фирмы «Анемир». Ильюше сразу же бросилось в глаза, что каблук на левом ботинке сбит немного больше, чем на правом.

С минуту они молчали.

— Похожи?

— Да, — подтвердил Фрейман, не отрывая глаз от этих громадных, побелевших на швах ботинок, которые возвышались в самом центре стола. — Можно их осмотреть?

— Смотри сколько душе угодно. Только следов крови нет, уже исследовали. Да и какие там следы — столько времени прошло... Да, жаль, что идентификация невозможна.

— Чьи это ботинки?

— Одного делового парня со Смоленского. Есть там такой Сердюков Иван Николаевич, он же Ваня Большой.

— Рецидивист?

— Рецидивист. Две судимости, три привода. То ли приказчиком, то ли чиновником до революции числился. А потом на что по-

шел? «Кокаин мой, кокаин. Любит девочка мужчин...» Его в прошлом году Мотылев накалывал. Помнишь то дело, когда в представительстве «Новой Баварии» из сейфа восемь тысяч взяли? Сперва думали на него. Несколько дней в ардоме продержали, а потом, когда Булаев Федьку Щербатого размотал, выпустили. Не помнишь? Ты же это дело заканчивал...

Продолжая вертеть в руках левый ботинок, Илюша охрипшим от волнения голосом сказал:

— На одном каблуке мазурку не станцуешь. Что против него еще есть?

— К сожалению, мало что есть. На ниточке висит, да и ниточка с паутинку... Вот, почитай.

На измятом и замусоленном листке коряво было написано: «Настоящим сообщая, что гражданин без определенного жительства Иван Сердюков, он же социально опасный элемент под кличкой Ванька Большой, при моих собственноручных глазах бесстыдно загонял Сергею Сергеевичу, коий для понта продает незапятнанным гражданам всякое барахло, бывшее в большом употреблении, а потайным образом торгует барахлом, нахально краденным у тех же невинных граждан, портсигар золотой в чехле с кистью из барахата. При сем Сергей Сергеевич шутку пошутил, что если вышепоименованный социально опасный элемент золотые россыпи открыл, что бы он, этот элемент, взял его в долю. На что ему Ванька Большой также шуткой ответил, что россыпи золотые он промывал на Малой Дмитровке и что там так сыро было, что опосля его ревматизм скрутил. На что ему Сергей Сергеевич опять же сказал, что было ли дело мокрым или сухим, ему по касательной, а за тот портсигар больше двух червонцев дать нет никакой возможности. Делая это высказывание, Сергей Сергеевич, уже безо всякой шутки, выругал матерно работников доблестного столичного уголовного розыска, нахально обозвав их лягашами и другими малоцензурными словами. И еще он сказал, что евовная торговля из-за доблестных работников столичного уголовного розыска завсегда пахнет домзаком, а что ему, Сергею Сергеевичу, кормить клопов в домзаке нет никакой большой охоты, а с двумя червонцами можно дернуть роскошной жизни на всю катушку. На что ему социально опасный элемент Ванька тоже безо всякой шутки сказал, что за дешевле трех червонцев он портсигара все одно не отдаст и что Сергей Сергеевич не порядочный исплотатор, а если глянуть в микроскоп, то и клоп вонючий. Сергей Сергеевич обиделся, но драться не стал и еще червонец за портсигар накинул. А опосля они вместиах алкоголизмом занимались, распивая водку самогонного производства. А будучи сильно выпивши, марафету<sup>1</sup> нюхали, и Ванька Большой

---

<sup>1</sup> Марафета — кокаин (воровской жаргон).

хвалился, что вскорости он, Ванька, таким богатым будет, что запросто весь Смоленский купит и продаст и доблестным работникам столичного уголовного розыска кукиш покажет».

— Кто писал?

— Тот, кому положено,— со смешочком ответил Савельев.

Илья понял, что вопрос следовало сформулировать несколько иначе.

— Надежный источник? — поправился он.

— Как тебе сказать... Рекомендательного письма я бы ему, конечно, не дал, а так ничего как будто... С годик от него разного рода информацию получаю. Пока не подводил. Думаю, и тут не врет: ни с Ваней, ни с Сергеем Сергеевичем ему делить нечего.

— А под протоколом он мне даст показания?

Савельев поморщился, недовольно покачал головой.

— Это, мил-друг, ни к чему, не надо стричь все, что растет. Да и грош цена его показаниям, на них ты никого не наматываешь. Сергея Сергеевича я не первый год знаю. Он еще на Хитровом рынке в паре с Севостьяновой работал. Барыга прижимистый, сок из деловых ребят выжимал, но чтоб своих клиентов выдавать — это за ним не водилось. Да и какой ему расчет? Тут же придушат. А он еще пожить хочет, любит широко пожить, старый хрен, в свои семьдесят еще с девочками балуется... Сердюкова тоже так не возьмешь: ему за убийство расстрел. Он не дурак, знает это. Вот и делай выводы. Оба они начисто весь этот разговор отрицать будут. Их ни воображением, ни логикой не прижмешь. Пустой номер. А своего человека на Смоленском я лишусь. Нет, я тебе его для официальных показаний не дам.

— Но в дальнейшем его по делу Богоявленского можно будет использовать?

— Конечно, никаких препятствий.

— Федор Алексеевич, а как бы нам на несколько часов раздобыть одежду Сердюкова?

— Опоздал, Илюша. Она уже у меня побывала: и ватник, и пиджак, и брюки... Нет следов. Может, он уничтожил ту одежду, в которой на мокрое дело ходил,— не знаю. Но следов нет.

— Следовательно, строго юридически никаких доказательств?

— Доказательств-то нет, зато человек живой,— сказал Савельев, намекая на нашу ошибку с Думанским.— А умно поработаете и «строго юридические» доказательства найдете.

— Но арестовывать бессмысленно.

— Это ты верно. Брать его теперь — только дело портить, тогда придется свои карты на стол выкладывать, а с козырями-то у нас худо. Брать нельзя. Мой совет — не спеши. Пусть пока на нашей веревочке поплавает да порезвится. А когда решит, что на деле крест поставлен, да осторожничать перестанет, мы его и застукаем на чем-нибудь... Хороший я тебе подарок сделал?

— Что и говорить, — почти искренне сказал Илюша.

— Вот придет Саша Белецкий, я ему все свои наметки передам. Пользуйтесь, не жалко!

Савельев считал, что ему удалось полностью разгромить наши позиции, и поэтому был как никогда щедр и великодушен. Но Илюша не чувствовал себя побежденным. По его мнению, этот разговор был не прощальным словом над могилой нашей безвременно скончавшейся версии, а всего-навсего небольшой поправкой, которую, безусловно, можно и нужно было учесть. Поправкой, и только. Но об этом он уже говорил не с Савельевым, а со мной...

## XXI

Если в Савельеве постоянно ссорились два совершенно непохожих друг на друга человека — брюзга и задорный мальчишка, то в Илюше мирно соседствовали и даже дружили следователь и артист. Артист дополнял следователя, а следователь артиста. Рассказывая мне о разговоре с Савельевым, Фрейман не только мастерски копировал голос своего собеседника, но и его интонации, жесты, выражение лица. Его подвижная физиономия то приобретала типичное для Савельева скучающее выражение, и тогда живые Илюшины глаза прикрывались веками, то его лицо становилось отечески благодушным и слегка снисходительным, а порой он вытягивал губы трубочкой и чмокал ими. Он настолько точно изображал Савельева, что я даже пожалел, что на этом импровизированном спектакле присутствует лишь один зритель. Но спектакль спектаклем, а дело делом. Точка зрения Савельева мне уже была достаточно ясна, а вот Илюшина не совсем. Поэтому, прервав один из наиболее удачных диалогов, я спросил:

— Так ты веришь или не веришь в то, что убил Сердюков? Илья удивился.

— Как же не верю? Конечно, верю. Но...

«Но» его сводилось к тому, что Сердюков действительно убил антиквара, но сделал это не по собственной инициативе. Уголовник был простым исполнителем, которому некто обещал награду за убийство Богоявленского. И этим «некто», наверняка, был человек, тесно связанный с Лохтиной и антикваром. «Большой хвалился, что вскорости он, Ванька, таким богатым будет, что запросто весь Смоленский купит и продаст...» Этим словам Илюша придавал большое значение. Если бы Сердюков просто убил и ограбил антиквара, он бы так не сказал. Почему он будет богатым? Ведь ценности при нем. Так сказать он мог только в том случае, если ему за убийство обещали определенную награду. Преступление замыслил другой, и он же был его организатором.

Я очень уважал Савельева как одного из опытнейших кримина-

листов Москвы. Но если Савельев любил подсмеиваться над Илюшиным воображением и его излишним «мудрованием» (любимое выражение Мотылева), то у самого Савельева были противоположные недостатки. Длительная практика, обогащая опытом, одновременно ведет и к определенной стереотипности мышления. И Савельев помимо своей воли пытался подогнать это дело под привычный для него трафарет. Нет, Илья прав, определенно прав...

— Сухоруков в курсе? — спросил я.

— Да, но он предпочитает занять нейтральную позицию.

— Ясно, Илюшенька, ясно... Значит, у нас с тобой сейчас две задачи: во-первых, доказать, что убил Сердюков, а во-вторых, выяснить, кто за ним скрывается. Следственным путем на первых порах тут много не сделаешь... В общем, хочешь сесть верхом на шею друга?

— Если она, конечно, выдержит, гладиолус...

— Должна выдержать.

— Я тебе еще не все сказал,— добавил Илюша.— Обстановка сейчас настолько осложнилась, что я, честно говоря, не знаю, с какой стороны подойти.

— А что такое?

— Сердюков-то арестован... Уже с неделю, как в домзак сидит...

— Подарочек, ничего не скажешь! Надеюсь, не ты до этого додумался?

— Не я. Но кому от этого легче? Очередная глупость нашего общего друга Мотылева. Савельев поручил ему наблюдение за Сердюковым. Ну а Мотылев, как ты сам знаешь, «мудровать» не любит. Сообщили ему, что Сердюков зашел на вокзал в буфет. Что тут голову ломать? Все ясно: смыться из Москвы хочет. Позвонил Савельеву — того на месте нет. Ну и проявил оперативность: взял его на свой страх и риск. Да это еще полбеды. Тут же, сукин сын, начал его колоть. Расколоть, разумеется, не расколол, а все наши карты на стол выложил... Вот такая ситуация.

Ситуация, конечно, была более чем неприятная. И зачем, спрашивается, нужно было Федору Алексеевичу поручать Мотылеву это деликатное дело? Неужто у него под рукой не было других, более умных оперативников? Недаром говорят, что и на старуху бывает проруха.

— Допрашивали Сердюкова? — спросил я.

— Допрашивал,— кисло сказал Илюша.— Чего не допросить? Терять-то уже все равно нечего...

— Ну?

— Детский разговор... «Убивал?» — «Не убивал». — «А если подумать?» — «Не убивал». — «А если хорошо подумать?» — «Все равно не убивал». Как я его прижму? Психологические подходы? Плевал он на психологию. Савельев тут прав: у него одна психо-

логия — от «вышки» уйти. Ну, на ботинках сыграть пытался, на продажу портсигара намекнул... Но для него все это детские погрешности. Нет доказательств, и он это лучше меня знает. Смотрит мне прямо в глаза и улыбается. Нагло так улыбается. Дескать, ты, рыжий, кажется, не дурак, так зачем из меня дурака сделать пытаешься? А он, гладиолус, не дурак. И виды видывал, и нервы из проволоки... Пообтерся на Смоленском рынке. Здоровый такой громила, шея, как у быка, кулаки пудовые... Щелчком человека прикончит. С ним в камере в первую ночь уголовники какую-то шутку сыграть пытались, так он там навел порядочек — двоих после того в больницу отправили...

— А может, дожмешь его все-таки? — неуверенно сказал я.

— Нет, не дожду. Пустая трата времени. Придется выпускать подлца.

— А барыгу допрашивал?

— Допрашивал,— безнадежно махнул рукой Илюша.— То же самое. Курить у тебя что-нибудь есть? — Он с наслаждением затянулся папиросой.— Хороший табак в Одессе.

Папиросы были куплены там же, где и подарок для Веры. Но стоит ли лишать Илюшу этого маленького удовольствия? Я промолчал.

Арест Сердюкова, казалось, наглухо захлопнул дверцу, которую приоткрыл Савельев. Убийца, еще неделю назад не подозревавший, что МУР активно интересуется его персоной, теперь был во всеоружии. Он знал все, в том числе и то, что следователь не располагает сколько-нибудь существенными доказательствами его вины. Положение было сложным, но из него нужно было найти приемлемый для нас выход. И мы пытались это сделать. Мы уже перебрали несколько вариантов плана дальнейших действий, когда зазвонил телефон.

— Тебя,— сказал Фрейман, передавая мне трубку.

Звонил начальник домзака Ворд. Вильгельма Яновича я знал давно, с 1919 года, когда он еще был комиссаром бандотдела МЧК. Виделись мы с ним от случая к случаю, но перезванивались часто. Человек он был добродушный, мягкий, с ровным, спокойным характером, который всегда располагал к нему людей. Ворд поздоровался и спросил, не за мной ли числится подозреваемый в убийстве Сердюков. Услышав этот вопрос, я почувствовал, как кровь отливает у меня от щек.

— Бежал?!

— Почему обязательно бежал? — сказал Ворд, мягко выговаривая букву «л». — Не надо волноваться. Не бежал, а только собирался бежать. Не надо быть таким волнуемым.

Ворд не спеша объяснил, что в передаче Сердюкову (два фунта колбасы, фунт провесной осетрины и десяток яиц), которую принес-

ла какая-то девица, обнаружена записка, наколотая на оберточной бумаге (в нее была завернута колбаса). Незвестный сообщал, что для побега уже все подготовлено и дело за Сердюковым.

— Видимо,— сказал Ворд,— предыдущую записку мы проморгали, потому что в этой о побеге пишется как о решенном, сообщается, где будет ждать лошадь с кучером.

— Девицу задержали?

— Задержали,— подтвердил Ворд.— С ней сейчас ваш товарищ имеет беседу...

— Кто?

— Мотыльков или Мотылев. Он меня и попросил тебя проинформировать...

Физиономия Илюши, напряженно прислушивавшегося к разговору, страдальчески сморщилась, и он так замотал головой, будто на него напал рой ос.

— Передай ему, чтобы он вместе с ней немедленно сюда приехал. У тебя есть машина?

— Так точно, товарищ субинспектор,— пошутил Ворд,— есть машина. Она как раз за дровами идет. Я прикажу, чтобы заодно их взяли и завезли в МУР. А за Сердюкова не волнуйся. Побег намечен через два дня, а я его сегодня же в одиночку посажу. Оттуда еще никто не бежал: решетки в два пальца толщиной...

Илюша отрицательно покачал головой. Наша мысль работала в одном направлении...

— Не надо в одиночку,— сказал я в трубку, чувствуя, что фортуна над нами, кажется, смиростивилась.— Пусть сидит, где сидит. Никаких изменений в режиме. Ладно? И передачу пусть ему отдадут.

— Вместе с запиской? — догадался Ворд.

— Обязательно. В общем, вы ничего не знаете и ни о чем не подозреваете, дураки дураками...

— А не получится, что мы такими и окажемся?

— Не получится, не получится. Завтра я у тебя с утра буду, тогда подробно обо всем поговорим.

Ворд хмыкнул и, растягивая слова, насмешливо сказал:

— В авантюру меня втягиваешь, товарищ субинспектор?

— Не в авантюру, а в оперативную работу, Вильгельм Янович. Расшевелить тебя немножко надо, а то отяжелел, привык у себя в домзаке к спокойной жизни...

Ворд, кажется, обиделся.

— Вот приедешь ко мне, увидишь мою «спокойную жизнь»,— проворчал он.— С шести утра и до двенадцати ночи ни минуты покоя. Людей перевоспитывать — не спокойная, а беспокойная жизнь. У меня уже полгода начальника воспитательной части нет. Все Ворд делать должен: и книги доставать, и концерты организо-



вывать, и стенгазеты читать, и на заседаниях культкомиссии присутствовать... Вот такая жизнь спокойная!

Приехал Мотылев. Он был радостно возбужден. Глаза его блестели.

— Расколос? — с мрачным юмором спросил Илюша.

— Расколос! — жизнерадостно подтвердил Мотылев, никогда не замечавший иронии.

— Гладиолус, — простонал Илюша, оборачиваясь ко мне. — Держи меня за руки, гладиолус! А то я его сейчас от пяти бортов в лузу!

Но на этот раз Мотылев не напортил. Правда, допустить здесь какую-либо ошибку было сложно. Задержанная ничего не пыталась скрыть. Она оказалась кассиршей оптово-розничного магазина Софьинского сельскохозяйственного товарищества, расположенного недалеко от Сухаревского рынка. Матрена Заболоцкая — так ее звали — сказала Мотылеву, что это третья передача, которую она отвозит Сердюкову по просьбе своей квартирантки. Самого Сердюкова она в глаза не видывала. Но квартирантка сказала ей, что он ее племянник и что его арестовали за какую-то мелкую растрату. Вот она и выполняла просьбы старухи — отвозила ее племяннику передачи. Что в этом плохого? Старуха несчастная, безобидная. Разве ей откажешь в такой мелочи? А ей, Матрене, в тюрьму после работы подъехать не трудно, да и любопытно, признаться. Там такого наслушаешься от родственников лишенцев, что за неделю не перескажешь. А преступлений она никаких не совершала: все по закону — закон передачи разрешает. Лишенцам можно и колбасу передавать, и яйца, и масло. Водку нельзя, так водку она не носила. Кто покупал продукты? Она и покупала. Квартирантка ей деньги давала, а она, Матрена, покупала. А запаковывала сама квартирантка. Почему? Да потому, что она знала, как нужно тюремные передачи завертывать, чтобы все без придирок было. И никогда никто не придирался, а вот сегодня придирались. Надзирателю, вишь, бумага или что другое не понравилось... Что еще она может сказать? Что знала, то и сказала. Ее дело сторона...

— А что за квартирантка у этой Матрены? — спросил Илюша у Мотылева, когда тот закончил свой рассказ. — Спрашивал у нее?

— Спрашивал...

— Не говорит?

— Почему не говорит? У меня она обо всем говорила. Я с ней по-простому, по-рабоче-крестьянскому, без всяких заходов, — сказал Мотылев и, по-петушину склонив набок голову, торжествующе посмотрел на Фреймана.

— Ладно, не тани, — усмехнулся Илюша. — Так кто квартирантка?

— А ты сам догадайся, — тянул Мотылев. — Ни в жисть не до-

гадаешься. Мозги наизнанку вывернешь, а все одно не догадаешься!

— Лохтина?

Мотылев был обескуражен: ничем не удивишь этого рыжего! Догадался все-таки! Что ты с ним будешь делать!

— А как ты допер? — с любопытством спросил он.

— У тебя, гладиолус, память плохая,— назидательно сказал Илюша.— Забыл, что я тебе говорил о своей маме? Я ж тебе говорил, что, когда она была мной беременна, она ни одного представления в цирке не пропускала.

— Ну?

— Вот тебе и «ну». А тогда, заметь, великий факир Хасан-Али-Вали-Сапоги выступал, мысли зрителей угадывал... Сам выводы делай. Сейчас, между прочим, смотрю на тебя и тоже твои мысли читаю. Глядишь ты и думаешь: «И как Фрейману трепаться не надоест, зря со мной время терять? Пора бы ему и со свидетельницей побеседовать...» Верно?

— Да почти что...

— Где она у тебя?

— Здесь, в коридоре дожидается,— сказал Мотылев, который так до конца и не понял, говорит ли Фрейман всерьез или, как обычно, дурит голову.— Позвать?

— И этот человек еще удивляется чужой догадливости! — всплеснул руками Илюша.— С налету мысли читает! Да тебе, гладиолус, великий факир Хасан-Али-Вали-Сапоги в подметки не годится! Хочешь, в цирк устрою?

— Иди к черту,— не выдержал Мотылев и, приоткрыв дверь кабинета, официальным голосом позвал: — Гражданка Заболоцкая! К следователю.

Я узнал ее сразу. Она была той самой девицей в красном платочке, которую мы с Кемберовским видели у Лохтиной.

Фрейман минут десять побеседовал с ней. Но кассирша мало что добавила к тому, что нам уже было известно от Мотылева.

Подписав протокол допроса, Заболоцкая собралась было уходить, но Фрейман счел за лучшее, чтобы она пока не встречалась с Лохтиной, и попросил ее часок подождать в коридоре.

— Если вы, конечно, не очень торопитесь,— добавил Илюша, который любил соблюдать соответствующий декорум.

— Да мне-то что, мне спешить некуда. Вот только боюсь, Ольга Владимировна волноваться будет,— сказала Заболоцкая, потрясенная галантностью следователя.— Очень она меня просила тотчас из тюрьмы домой ехать... Как повезу я туда передачу, так она и скажет: «Только не задерживайтесь, Машенька,— она меня Машенькой зовет,— отдадите и приезжайте, а то я себе места не нахожу, когда вас долго нет». Нервная она очень. Чуть что — припадок. Падучая у нее, что ли...

— Ничего, сейчас ее сюда привезут,— успокоил кассиршу Фрейман. Он проводил ее в коридор и приказал Кемберовскому немедленно доставить к нему Лохтину.

— Ну как, гладиолус,— сказал он мне,— воображение следователю, видно, не всегда мешает?

«Да, Ольге Владимировне теперь не выкрутиться,— подумал я.— Теперь ей придется иметь дело не с интуицией следователя, а с фактом. Любопытно, как она объяснит этот факт? Тут уж ей припадки не помогут... А Федору Алексеевичу хочешь не хочешь, а придется признать, что ошибаются не только другие...»

Кажется, о том же думал и Фрейман. Это была минута его торжества. Долгожданная минута...

— Что же дальше делать будем? — спросил Мотылев, который почувствовал себя вновь приобщенным к делу Богоявленского, расследование которого он так неудачно начал.

Илюша почесал переносицу, задумался.

— Что дальше делать будем? В бильярд, конечно, будем играть.

— Шутить все?

— Какие шутки, Хасан-Али-Вали-Сапоги? Я человек серьезный. И сейчас имею серьезное желание проиграть тебе одну партию в бильярд. Ты это заслужил. Фору дашь?

— Можно,— сказал польщенный Мотылев.— Это можно. Вообще я не против: давай погоняем шарики.

Кемберовский позвонил через полчаса после их ухода.

— Товарищ субинспектор? Докладывает агент третьего разряда Кемберовский. Доставить гражданку Лохтину в Московский уголовный розыск не представляется возможным.

— Уехала?

— Никак нет. Находится дома.

— Так в чем же дело? Вы можете мне толком объяснить?

— Так точно, могу. Гражданка Лохтина померла, руки на себя наложила.

— Самоубийство?

— Так точно. Самоубийство посредством удушения. Во дворе в отхожем месте повесилась.

— Записку какую-нибудь оставила?

— Так точно. Прикажете зачитать?

— Пожалуй, не надо. Приняли меры, чтобы удалить с места происшествия посторонних?

— Так точно. Посторонние удалены.

— Хорошо. Сейчас буду вместе с экспертом.

Фрейман был ошеломлен происшедшим, и в машине он засыпал меня вопросами. Мотылев и медицинский эксперт всю дорогу молчали.

К нашему приезду Лохтину уже успели перенести в ее комнату

и уложить на кушетку. Тело прикрыли куском рогожи, из-под которой были видны лишь ноги. Одна нога была в сапоге, другая в дырявом шерстяном носке. В комнате почему-то пахло лекарствами, а на полу валялся перевернутый ночной горшок, о который все спотыкались, но никто, как водится, не догадывался его убрать.

Кемберовский вручил мне предсмертную записку: «Ухожу к тебе, господи, с образом твоим в сердце и с именем сына твоего на устах. Нет у меня семьи, нет у меня родственников, нет у меня друзей. Только ты, господи, на небе, и сын твой, и перст сына твоего на земле. Самоубийство грех. Но не в грехе греховность, а в помыслах. А помыслы мои чисты. Свеча догоревшая гаснет, потому что фитиль кончился и воск растаял. И рада бы гореть, да гореть нечему... Живите, люди, выполняя заветы господа. И в муке, принятой для господа и сына его, радость есть. И в крике от той муки счастье есть...»

— Бред какой-то,— сказал я Фрейману, читавшему вместе со мной записку.

— Не совсем, гладиолус, не совсем...— покачал он головой.— Кое-что, по-моему, есть...

В конце записки Лохтина распределяла свое скудное имущество среди хозяев и указывала, где ее следует похоронить, если священник «по наущению дьявола не воспрепятствует тому». Больше ни слова.

Мы осмотрели уборную, веревку, на которой она повесилась, двор и вновь вернулись в квартиру.

Ко мне подошла мать Матрены, толстая старуха с закисшими глазами. Всклипывая, сказала:

— Вот, угадай... Конфеток поела, чайку попила и руки на себя наложила... А то все за Матрешу беспокоилась: «Чего нет ее, да не случилось ли с ней чего...» Тихая была, все молилась. Молилась, а грех совершила... Теперь туда ночью и ходить-то боязно.— И тем же тоном добавила: — Вот за квартиру задолжала. С кого теперь спрашивать? Говорят, у нее племянник есть, так в тюрьме сидит. Гол как сокол поди...

У трупа Лохтиной уже работал медицинский эксперт. Фрейман, сидя за столом, писал протокол.

— Самоубийство?

— Безусловно. Конечно, как положено проведем вскрытие; но неожиданности исключены. Вон полюбуйтесь, какая классическая странгуляционная борозда,— указал эксперт пальцем на шею мертвой.— Хоть студентам демонстрируй. На теле никаких прижизненных повреждений... Самоубийство, вне всяких сомнений самоубийство.

Почти вся одежда с Лохтиной была снята. «Юродивая Христа

ради» лежала, выставив вверх обтянутый кожей подбородок, смотря в потолок пятаками глаз.

— Пятаки-то снимите, мамаша,— сказал эксперт хозяйке.— Сейчас переворачивать покойницу будем, закатятся куда-нибудь...

— Бог с ними,— махнула рукой старуха.— Пятаков не жалко — человека жалко...— Но пятаки с глаз все-таки сняла и положила их на подоконник.

Ко мне подошел Мотылев.

— А верно, что Лохтина с императрицей дружила и с Гришкой Распутиным чаи пила?

— Верно.

— Ишь ты,— с уважением сказал Мотылев,— в самых, значит, придворных сферах вращалась. Здорово! А повесилась в сортире — не солидно...

Мне тоже почему-то казалось, что «святая мать Ольга» должна была умереть как-то иначе, красивей, что ли... А впрочем, чем ее смерть была хуже смерти Распутина или последней русской императрицы Александры Федоровны?

Труп Лохтиной подняли двое милиционеров. Дверь была узкая, и протолкнуть через нее мертвое тело было трудно.

— Ноги заноси, ноги! — кричал своему напарнику усатый милиционер.

Хозяйка крестилась. Закуривая папиросу, эксперт сказал:

— Да-с, любит природа парадоксы. Самый высокий процент самоубийства дает лучшее время года — весна. А почему? Парадокс.

## XXII

Савельев, часто навещавший в 1920 году «Бутырку», где обычно находились наши подследственные, называл ее тюрьмой-курортом. До курорта ей, конечно, было далеко, но зато она мало чем напоминала и тюрьму. Скорей всего, малокомфортабельный дом для приезжих. При поступлении арестованных в обязательном порядке учитывалось их желание, где они хотят поселиться: в коридоре (общеежитие) или в камере, и в какой именно. Группировались заключенные по партийной принадлежности — за исключением, разумеется, уголовников-профессионалов. Отдельно меньшевики, отдельно правые эсеры, отдельно левые эсеры. Каждая из этих групп образовывала фракцию со своим выборным руководством и представительством в тюремной канцелярии.

Коридор вечерами превращался в зрительный зал. Здесь по четвергам устраивались спектакли и концерты, а в остальные дни читались лекции и проходили дискуссии или заседания фрак-

ций, на которых обычно доставалось начальнику за низкий уровень воспитательной работы среди внутренней охраны и надзирателей. Камеры закрывались только на ночь, остальное время (с 6 утра и до 8 вечера) они были открыты, и заключенные свободно общались друг с другом.

В несколько более стесненном положении находились уголовники-рецидивисты и спекулянты. И то, прежде чем войти к ним в камеру, дежурный надзиратель обязательно стучался и деликатно спрашивал: «Можно?»

Еще более свободные порядки были в домзаке Ворда. Здесь, в отличие от Бутырской тюрьмы, процветал не столько демократизм, сколько анархизм, как осторожно выразились на одном из совещаний в народном комиссариате.

Но с двадцатого года многое изменилось не только в «Бутырке». Я это понял, обратив внимание на плакат, красовавшийся на воротах домзака: «Мы не наказываем, а перевоспитываем». Прежний плакат был иным: «Тыходишь сюда преступником, а выйдешь отсюда честным гражданином». Видимо, Ворд счел старую формулировку излишне категоричной. Опыт убедил его, что не все уголовники превращаются в честных людей даже при образцовой воспитательной работе, а необоснованных обещаний он давать не любил. Таким образом, тюремная администрация объясняла вновь поступающим свою основную задачу, но никаких гарантий не представляла. Дескать, кем ты отсюда выйдешь — не знаем, но будем стараться, чтобы ты вышел человеком. Это был первый, но не последний шаг от необоснованной романтики к трезвому реализму. Тюрьма должна быть тюрьмой. Кажется, эту аксиому здесь уже усвоили...

В отличие от недавнего прошлого, тюремный двор был пуст (раньше лишенцы играли здесь в городки и лапту). Только в самом углу, у здания тюремной больницы, толпились заключенные в ожидании приема. На крыльце больницы сидел бравый выводящий, одетый в новую синюю форму. Подперев ладонью голову, он шурился на солнце.

Один из заключенных окликнул меня.

Это был мой «крестный», известный в Москве налетчик по кличке Лешка Медведь. Он проходил по одному из дел, переданных нашей группе.

Лешка был большим, неуклюжим, с круглым благообразным лицом почтенного отца семейства. Его раскормленная физиономия выражала полное довольство жизнью. При первом знакомстве ни за что не поверишь, что за этим солидным дядей числится не одно дело.

— Жив?

— А как же? — осклабился Лешка, поднося два пальца к

козырьку сдвинутой набок кепки.— Вашими молитвами, гражданин начальник. Живу, хлеб жую, о водке мечтаю.

— Так тебя же к расстрелу приговорили!

— Было такое дело. Вполглаза на свет глядел, ан выскочил... Верхсуд заменил. Чистосердечное раскаяние, пролетарское происхождение, скромное обхождение, тупость, глупость... Ну и дали красненькую через испуг<sup>1</sup>: исправляйся, Лешка! А мне что? Исправлюсь... Гарочку<sup>2</sup> не соблагоизволите?

Я дал ему папиросу.

— Дешевые курите,— с сожалением сказал он.— Я на воле только «Герцеговину Флору» признавал. Аромат. Будто розу нюхаешь. Про амнистию по случаю первомайского праздника всех трудящихся ничего не слышать? Мое дело, знаю, крест, а вот ребята надежду имеют. Весна песни поет. Птички щебечут, травка зеленеет, опять же солнышко... Эх, гражданин начальник, гражданин начальник! Тоскует сердце, про амнистию настукивает... Не слышать, говорите? Обидно. Вот птички летают на воле. Птицы тюрьм не выдумали, а люди выдумали. Зверинец. Рычишь да прутья железными зубами хватаешь!

Лешка всхлипнул. Он вообще был легок на слезу...

В группе заключенных, ожидавшихся приема у врача, был и другой мой «крестник» — Анатолий Буркевич, студент, убивший из ревности свою сокурсницу. Буркевич был из интеллигентной семьи. Когда я вел его дело, ко мне часто заходила его мать. «До чего довела ребенка,— говорила она об убитой.— Ведь Толя мухи не обидит...»

Щуплый, черноволосый, с мечтательными темными глазами, Буркевич стоял в сторонке и что-то записывал в книжечку огрызком карандаша.

— Здравствуйте, Буркевич!

Он, кажется, мне обрадовался. Улыбнулся.

— Здравствуйте, тов... гражданин начальник!

— Как живете?

— Да как сказать... Тюрьма. Веселого, конечно, мало. Но везде люди. Я в столярной мастерской работаю. Мастер обещает, что я отсюда квалифицированным столяром выйду.

— А учебники есть?

— Некоторые имеются в библиотеке, а остальные мать принесла. Только я пока заниматься не могу...

— Тоскливый он,— вмешался в разговор Лешка, который, как я понял, сидел с Буркевичем в одной камере.— Все по той граж-

---

<sup>1</sup> Красненькая через испуг — замена расстрела десятилетним заключением (воровской жаргон).

<sup>2</sup> Гарочка — папироса (воровской жаргон).

данке убиенной тоскует. Письма ей в стихах пишет. А так ничего, обмялся. Мы его в камкоры<sup>1</sup> выбрали. Он и пошел в стихах всю нашу жизнь в газете описывать. Здорово пишет, собака! Как там? Ага... «В тюрьме обычаи простые: здесь карты стирками зовут, здесь хлеб-паек идет как пайка, на курево газеты рвут...» Все верно описал. Вот только с газетами перехлестнул. Рвать-то их, конечно, рвут, но не сразу. Сразу их рвать — расчета нет. Мы за текущим моментом всегда следим. Особо насчет международной буржуазии, какие она там, подлая, происки делает. А вот когда текущий момент проработаем, тогда и на курево пускаем. А без того — ни-ни. Верно я говорю, козявка? — обратился он к плюговому заключенному с гнилыми зубами.

Тот оскалил обломки зубов.

— А как же? Без текущего момента не завтракаем и не обедаем.

Я прошел мимо свежепобеленного корпуса следственного изолятора к главному входу, возле которого, как часовые, стояли два тощих, недавно посаженных тополька. Раньше кабинет Ворда находился на третьем этаже, но теперь там разместили культкомиссию, редколлегию стенной газеты «Лишенец» и художественный совет, а тюремную канцелярию перевели на первый, в самый конец коридора. Коридор был длинный, прямой, нигде ни пылинки. Такие идеально чистые коридоры я видел только в тюрьмах и больницах.

Начальник канцелярии сказал, что Вильгельм Янович находится сейчас в женском отделении, а потом будет принимать этап из Казани.

— Пройдите пока в его кабинет.

— А он скоро будет?

— Через полчаса.

— А не задержится?

Начальник канцелярии не удостоил меня ответом: сомневаться в точности Ворда здесь считалось дурным тоном. Если Ворд сказал, что будет через полчаса, значит, через полчаса и ни минутой позже.

Кабинет Вильгельма Яновича был своеобразным музеем тюремного быта. Одну из стен Ворд отвел под экспонаты, рассказывающие о старой тюрьме. Динамика смертности и заболеваемости в тюрьмах туберкулезом, ручные и ножные кандалы, эскиз тюрьмы в виде креста: от круглой центральной площадки лучами расходятся в разные стороны сквозные коридоры с одиночными камерами. Дагерротипы и фотографии. Снимки каторжных тюрем для испытуемых и исправляющихся, вольная каторжная команда на

---

<sup>1</sup> Камкор — камерный корреспондент.



работах, телесные наказания, кандалы, прикованный к тачке, общий вид карцера в Корсаковской тюрьме.

Экспозиция завершалась сентиментальным тюремным эпосом: «Тихо и мрачно в тюремной больнице, сумрачный день сквозь решетки глядит, а перед дочерью, бледной и хилой, громко рыдая, старушка стоит...» Безымянный автор давал понять, что дочка не всегда была хилой и бледной, что не так уж давно она была «веселая, как птичка, румяная, как заря» и обладала всеми добродетелями. И если бы не купец Сундуков, совративший ее, она бы стала сестрой милосердия или белошвейкой. Но из-за Сундукова девица оказалась на панели и стала марухой вора. Вместе с ним она пошла на мокруху и попалась. Затем несчастную допрашивал жандарм точно с такими же усами, как у совратителя Сундукова. Девица посоветовала жандарму обратиться к Сундукову, но ему было не до сентиментов. Он требовал сообщить, «с кем я в то время на деле была, а я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя».

По мнению Ворда, грустная история несчастной девицы должна была способствовать воспитанию классового самосознания у его питомцев, приобщению их к классовым битвам и воспитанию ненависти к эксплуататорам.

Эту же благородную цель преследовали расставленные на стеллажах воспоминания старых уголовников о царских тюрьмах, в которых к ним относились «не как к гражданам, а как к дефективным».

Фотографии и дагерротипы были в черных рамках, что придавало стене еще более зловещий вид. Зато соседняя стена, рассказывающая о жизни в домзаке, выглядела оптимистично.

Спектакль-концерт самодеятельности домзака в помещении театра «Тиволи» в Сокольниках; ликбез с ровными рядами новеньких парт и большой грифельной доской; снимок, сделанный в столярной мастерской; выборы камкора; заседание библиотечного совета; выдержки из писем освободившихся; фотопортрет небезызвестного в преступном мире Москвы Андрея Долгова (он же Рузский, он же Иван Иванович Ветров, он же Павел Куций, он же Петров, он же Семиоков), отбывавшего наказание за бандализм, а теперь ударно работающего десятником на Волховстрое; юбилейный номер журнала «На пути к исправлению» и, наконец, стихи местных поэтов, которые, с несколько излишним пафосом расписывая «мнимые прелести жизни блатной», призывали своих товарищей по тюрьме искупить трудом прежние ошибки и «приобщиться к великому классу».

Экспонатами были и расставленные вдоль стен стулья. Все они были сделаны в столярной мастерской домзака, и на каждом

висела табличка с фамилией мастера и с указанием, когда и за что он отбывал срок.

Никакого отношения к музею не имел только письменный стол, на котором аккуратными стопочками лежали «сводная ведомость наличности заключенных», рапорты дежурных надзирателей, папка переписки по обмену опытом с Башцентроисправдомом и Вятским исправтруддомом, изданный в Киеве словарь воровского и арестантского языка, несколько номеров журнала «Вестник права» за 1916 год и отобранные у заключенных самодельные тюремные карты — стирки. Любопытно, что тузов, королей, дам и валетов не было. Учитывая дух времени, тюремные художники заменили их цифрами...

Ровно через полчаса, словно специально демонстрируя свою пунктуальность, появился Ворд.

— Осмотрел наши экспонаты, товарищ субинспектор?

— Осмотрел, Вильгельм Янович.

— На «пять»?

Я похвалил музей, отметив качество фотографий. Снимки действительно были отменными.

— А Никольский говорит, что я вульгаризацией занимаюсь, — сказал Ворд. — Хотел, чтобы я песню «Тихо и мрачно в тюремной больнице...» снял. А я ему сказал, что вначале меня снять нужно. Зачем песню снимать? Такие песни изучать надо, учить на них людей, воспитывать. У этой песни классовые корни. А блатная лирика ближе заключенным, лучше ими усваивается. Правильно?

— Конечно.

Ворд лукаво посмотрел на меня. Он был не так прост, как казался.

— Что-то ты, товарищ субинспектор, сегодня во всем со мной соглашаешься, — сказал он. — Улещиваешь Ворда, а?

— Подозрительным ты стал, Вильгельм Янович.

— Не подозрительным, а наблюдательным. Один человек не может во всем с другим человеком соглашаться. А когда все-таки соглашается, я себя спрашиваю: а почему? Видел нашу картонажную мастерскую? — перевел он разговор на свою излюбленную тему. — Мы в этой мастерской настоящую революцию задумали сделать.

Ворд делился своими планами реорганизации мастерской, а я продумывал, с какой стороны к нему подступиться. Моей задачей было организовать Сердюкову безопасный побег. Фактически это был единственный приемлемый выход из создавшегося положения. Сердюков на свободе представлял для нас намного больший интерес, чем в заключении, причем Сердюков, бежавший из тюрьмы и скрывающийся у своих друзей, а не Сердюков, вы-

пущенный на свободу за отсутствием улик и стремящийся всем своим поведением показать, что он не причастен к убийству. Только побег мог исправить вред, нанесенный поспешным арестом. Это понимали и Сухоруков, и Фрейман, и Савельев, которого последние события заставили усомниться в его версии.

Но если для нас, работников уголовного розыска, удачный побег Сердюкова был очередным ходом в запутанной игре с неизвестным противником, операцией, которая сулила массу преимуществ при относительно небольшом риске, то для начальника тюрьмы Ворда побег был бы чрезвычайным происшествием, темным пятном в его послужном списке. Правда, Никольский, по моей просьбе, обещал все это наверху утрясти и переговорить с начальством Ворда, но обещание не официальное предписание с гербовой печатью.

— Послушай, товарищ субинспектор,— прервал мои мучительные размышления Ворд.— Ты знаешь, что может быть хуже преждевременных родов? Не знаешь? Так я тебе скажу: запоздание. Разродись наконец. Я вот говорю, а ты не слушаешь.

— Слушаю, Вильгельм Янович,— робко запротестовал я.

— Ну зачем врешь, зачем? — укоризненно сказал правдолюбец Ворд.— Я же не слепой, а зрячий двумя глазами. Ни мастерская, ни Ворд тебя не интересуют. Тебя Сердюков интересует. Вот и говори о Сердюкове, а я послушаю.

Мне не оставалось ничего другого, как изложить Ворду без всяких недомолвок план предполагаемой операции. Ворд слушал, посасывая свою трубочку с изгрызенным мундштуком. Когда я кончил, он спросил:

— Ты понимаешь, что значит для меня удачный побег?

Я сослался на обещание Никольского. Ворд поморщился.

— Я это не к тому тебе сказал. Я это тебе сказал к другому. Вы уверены, что это единственный выход? Может, ваш Сердюков через день, через два все честно расскажет следователю.

— Нет доказательств, Вильгельм Янович.

— А, доказательства, доказательства,— отмахнулся Ворд.— Нет доказательств, но есть совесть. У него же есть совесть?

В отличие от Ворда, который был убежден, что у каждого человека есть совесть, я никаких надежд на совесть Сердюкова не возлагал.

Ворд задумался, поковырял в трубке спичкой, выбил пепел.

— Согласен?

Ворд помолчал и наконец решился:

— Согласен.

Он объяснил мне, что побег возможен только из тюремной

больницы, окна которой выходят в переулок и плохо просматриваются со сторожевых вышек и с внешних работ.

— Но мы подследственных на внешние работы не выводим,— добавил он.

— Совсем?

— Нет, иногда делаем исключения.

— А ты как предполагаешь, Сердюков собирается бежать?..

— Я не предполагаю, я знаю,— почему-то рассердился Ворд.— У меня уже четыре дня лежит ходатайство старосты камеры об использовании Сердюкова на внешних работах. Что тут предполагать? Все без предположений ясно.

— Ты, надеюсь, не отказал?

— Пока нет.

— Значит?..

— Ну подпишу, подпишу,— сказал Ворд.— Обещал — значит, сделаю. У нас эти вопросы решает совет воспитателей, но, я уверен, он со мной согласится. Завтра же его включают в группу. Пускай бежит!

— А что из себя представляют внешние работы?

— Ремонт тюремной стены. Стена у нас совсем старая, разваливается, вот мы ее и ремонтируем. Тридцать — сорок человек ежедневно работают. Не видел, когда сюда ехал?

— Охрана большая?

— Три красноармейца и один надзиратель. Часовой с левой от ворот вышки тоже поглядывает. Много?

— Многовато.

— Если хочешь, могу уменьшить.

— Нет, это может вызвать подозрение,— сказал я и изложил ему свой план. Ворд не возражал:

— Твоя операция — ты и думай, как лучше организовать.

Затем он проводил меня на место, где шли строительные работы, и ознакомил с системами оцепления, сигнализации и расположением сторожевых вышек.

Теперь мне оставалось отыскать подходящий дом для наблюдательного пункта, где бы могли обосноваться работники оперативной группы, изучить переулок, а особенно проходные дворы, и определить возможные маршруты после того, как извозчик выйдет из переулочка.

Со всем этим я провозился часа три, а потом, набросав подробный план переулочка, отправился в МУР.

— Тебе привет от Азанчевского-Азанчеева,— встретил меня Фрейман.

— Заходил?

— Не только заходил, но и порадовал одним сообщением,— сказал Илюша.

Оказалось, что вчера вечером к Азанчевскому на квартиру явился некий молодой человек, который представился ему племянником Богоявленского, приехавшим в Москву из Омска. Молодой человек весьма скорбел по поводу трагической гибели своего любимого дяди, который был кумиром всей семьи, говорил, что дядя высоко отзывался о достоинствах своего друга Азанчевского-Азанчеева, и очень настойчиво интересовался, не передавал ли Богоявленский Азанчеву каких-либо документов из своих личных архивов. Эти бумаги для Азанчевского-Азанчеева, разумеется, никакой ценности не представляют, а для их семьи они реликвия, память о дяде. Поэтому мамочка наказывала их обязательно разыскать. Если бы Азанчевский-Азанчеев ему в этом деле помог, он был бы ему весьма благодарен, а все расходы по розыску взял бы на себя. Азанчевский-Азанчеев сказал молодому человеку, что никаких документов Богоявленского у него нет и единственная помощь, которую он в состоянии оказать, это порекомендовать ему обратиться в Московский уголовный розыск к следователю Фрейману. Он расследует дело об убийстве Богоявленского и, возможно, располагает какими-либо данными. Кроме того, Азанчевский дал ему с той же целью адрес своего дяди Стрельницкого, так как молодой человек сообщил ему, что собирается заехать на несколько дней в Петроград.

— О картинах Богоявленского этот визитер ничего не говорил? — спросил я у Фреймана.

— Даже не упомянул. Но, думаю, цель посещения — именно они. Видимо, убийцы не нашли нужного им в бумагах Богоявленского. Этим и объясняется и вторичный обыск, и это посещение. Нагло стали работать!

То, что посетитель Азанчевского самозванец, не вызывало никаких сомнений. Близких родственников у Богоявленского не было, а его двоюродный дядя, как нам сообщил в свое время Омский уголовный розыск, вместе со всей своей семьей эмигрировал в 1919 году в Харбин. Осведомленность неизвестного косвенно подтверждала нашу версию, против которой выступил Савельев. Неизвестный знал, что отец Богоявленского родом из Омска, что Богоявленский принимал участие в попытках освободить Николая II, что он вел дневник и хранил переписку (обо всем этом таинственный посетитель прямо говорил Азанчевскому-Азанчеву). Нет, убийство Богоявленского не обычное преступление делового парня! Визит неизвестного не только лишний раз подтверждал нашу версию, он мог дать нам еще одну ниточку в расследовании преступления.

— Как он назвался?

— Куликовым Борисом Севостьяновичем. Сказал Азанчевскому, что остановился в гостинице «Ливадия». Соврал, конечно.

Я уже туда, на всякий случай, звонил. Никакого Куликова там, разумеется, среди постояльцев нет и не было. Надо будет тебе связаться с Петроградским уголовным розыском, гладиолус: у меня впечатление, что он обязательно заявится к Стрельницкому.

— Попробуем,— сказал я.— Азанчевский описал его внешность?

— Говорит, ничего примечательного, кроме бакенбардов. Брюнет, среднего роста... Что можно требовать от светского человека? Он же у Савельева школы не проходил! Высказался в том смысле, что обычный шпак с приказчиными манерами, нахал: закурил, не спросив разрешения. Вот, пожалуй, и все... Как у тебя с Бордом?

— В порядке.

— Кстати, Медведев заинтересовался этой операцией. Ему Сухоруков докладывал. Говорит, у старика даже глаза зажглись. Видно, молодость вспомнил. Он, рассказывают, в восемнадцатом на Хитровке сам какой-то крупной операцией руководил...

— Не только руководил, но и участвовал в ней,— поправил я, удивляясь про себя, как быстро все забывается. Ведь с этой операцией и началась настоящая работа Московского уголовного розыска.— Мы же тогда всю верхушку Хитровки ликвидировали: Разумовского, Мишку Рябого. Невроцкого, Лягушку... Медведев тогда вошел в дело под видом Сашки Косого...

На Илюшу это произвело впечатление.

— А я про это не знал,— сказал он.— Вот бы о чем тебе написать надо — живая история. А то всякие статейки про бабыню кропаешь.

Вскоре меня, Фреймана, Сухорукова и Савельева вызвал к себе Медведев. Он резко расспрашивал про все детали предстоящей операции, дал несколько советов, в том числе организовать подстраховочное наблюдение за пролеткой, на которой будет ехать Сердюков. Таким оживленным я его давно не видел.

— Может, возьмете на себя руководство операцией? — спросил у него Виктор.

— Соблазнительно,— признался Медведев.— Но не буду перебегать дорогу молодым. Да и времени свободного нет — вот и сейчас надо на совещание в Моссовет ехать. Так что оставляю это дело вам. Думаю, Белецкий не подкачает. Как, Александр Семенович, не подкачаешь? Вы с Фрейманом и так уж слишком много ошибок с делом Богоявленского наделали. Пора их и исправлять...

Медведев уехал, а мы еще долго сидели в его кабинете, обсуждая предстоящую операцию.

Мне только раз пришлось видеть операцию уголовного розыска, в которой не было ни одной, даже мельчайшей шероховатости, а все развивалось по разработанному в тиши кабинета хитроумному плану. Многоопытный пожилой оперативник предусмотрел все: погоду в первую и во вторую половину дня, меняющееся настроение преступника, возможности его интеллекта, его аппетита и его мускулатуры, его жесты и мимику, количество прохожих на улице и высокий уровень их гражданственности. Да, один раз я такую операцию видел. В кино...

В жизни, к сожалению, иначе. В самой тщательной оперативной разработке всегда остается место для случайностей. Случайности — рифы житейского моря, их не обойти и самому опытному лоцману. И Скворцов ввел в обиход первой бригады Петроградского уголовного розыска такой термин: «Запланированная случайность». Это значило, что оперативник должен быть готов к неожиданностям, воспринимать их как должное и действовать в соответствии с планом, но с учетом сложившейся ситуации. Та же мысль была заложена и в любимом выражении Савельева «поправка на неожиданность». «Всего предусмотреть нельзя,— говорил он,— но если я не смогу предугадать главное — как поведет себя в той или иной ситуации мой сотрудник, то меня следует гнать с работы».

Поэтому, разрабатывая с Савельевым план, мы старались не столько все предугадать, сколько учесть возможности каждого из участников операции и правильно распределить между ними роль. Кажется, это удалось или, вернее, почти удалось. Что же касается неожиданностей, то они не заставили себя долго ждать...

Прежде всего, в переулке на условленном месте мы застали не одного извозчика, а сразу трех. И это в пять часов утра. И не на многолюдной, сверкающей стеклами витрин Мясницкой или шумной Лубянке, а в глухом, забытом богом и людьми переулочке, недалеко от вечно сонной Гороховой, где даже лавки и то открываются на два часа позже, чем в центре! Попробуй предугай! В обычное время тут пролетку днем с огнем не сыщешь, а сейчас, пожалуйста, на выбор. Глядишь, и еще подьдут!

Правда, один из извозчиков оказался ломовым, и было сомнительно, чтобы его выбрали для побега: на таком широченном и скрипучем полоке<sup>1</sup> с тяжелым битюгом далеко не ускачешь. Но чем черт не шутит? Поэтому все трое — раскормленные, толстозадые лихачи, напоминающие шахматных слонов, и хлипкий мужичок-ломовик,— несмотря на протесты, были доставлены в облю-

<sup>1</sup> Полок — телега с плоским настилом для перевозки грузов.

бованный мною домик, где в маленькой комнатке, обклеенной дешевыми и яркими обоями, чаевничал Савельев, наслаждаясь густо заваренным чаем и вареньем из поляники.

Опрос извозчиков много времени не занял. Оказалось, что для Сердюкова был нанят владелец роскошного экипажа лихач Пузырев, живший недалеко от дома, где покойная Лохтина снимала комнату.

Пузырев, еще молодой, богатырского сложения, был не на шутку перепуган случившимся, хотя и не понимал толком, в чем же он провинился.

— Я, ваше степенство, и ее не знаю, и делов ее не знаю,— говорил он Савельеву, то и дело приглаживая свои и без того аккуратно подстриженные волосы, от которых густо пахло вежелем.— Наняла — приехал. В наше время и рупь — деньги, а от «червячка» разве что полудурок откажется. У меня и в мыслях не было, что она меня впутать во что желает. Племянник, говорит, из тюрьмы освобождается, сделай милость, Петр Федорович, встретить. Я, говорит, самолично не могу, уезжаю. Ну и деньги на стол. Большие деньги. Ну и прикатил сюда... А меня — цап-царап. Вы, ваше степенство, гражданин милицейский, плохого про меня не думайте. И тятенька мой покойный делами темными не занимался, и я ими не занимаюсь. Наша стоянка завсегда на бирже у «Эрмитажа» была, мы за то по пятьдесят целковых городу платили. Только чистую публику возили. У кого хошь спросите, Пузыревых знают: на чужую копейку не польстятся. Знал бы, что дело не чисто, я бы ни в жисть... Да я ее, стерву старую, если зайтить ко мне еще раз осмелится, в три кнута выгоню!

— Ну, ну, не пузырься, Пузырев,— успокаивал его Савельев, допивая то ли пятый, то ли шестой стакан чаю и приходя от этого все в более и более благодушное настроение.— Чайку с вареньем не хочешь? Отменный чай. К нему бы еще ситничек — амброзия! Налить?

— Уж какой там чай, ваше степенство! Ноги бы унести!

— Ноги, ноги... Нервный ты больно. Все волнуешься, а волнения на печени сказываются. Не болит печень? А у меня побаливает. Только чаем и спасаюсь. А винить тебя ни в чем и не винят. Просто познакомиться хотели. Давай так договоримся: сейчас ты на нашей пролеточке в уголовный розыск проедешься, а лошадку свою пока нам оставишь. К вечеру мы ее тебе в целости и сохранности вернем. Не возражаешь?

Лихача это предложение не обрадовало. Он расстегнул свою сибирку, под которой оказался жилет с длинным воротом, и обтер ладонью пот с подбородка. Лицо его пошло красными пятнами.

— А лошадь-то вам зачем, ваше степенство? Лихач без лошади не лихач. Хлеб мой отбираете...



— Экий ты, Петр Федорович, несговорчивый. Конягу мы часа на два всего берем, а червонец ты получил... Может, мало?

— Да не мало...

— Тогда о чем разговор?

Расставаться с лошастью Пузыреву не хотелось. Но разве с сыскной поспоришь? Избави бог с сыскной ссориться! И он развел руками:

— Да разве я против? Я властям завсегда покорен. Только Стрелка моя чужих не подпускает, зубами хватается...

— Учтем,— строго сказал Мотылев, словно возлагая на лихача ответственность за строптивый нрав его кобылы.

— А торба с овсом у меня под сиденьем. Овес отборный...

— И это учтем,— так же строго сказал Мотылев.— Рабоче-крестьянская милиция все учитывает, гражданин извозчик. Можете быть спокойны: все будет по советскому закону и революционной целесообразности. Понятно? А теперь давайте от борта в лузу. Поехали.

В сопровождении Мотылева лихач, в последний раз взглянув на стройную лошадку и сверкающий лаком экипаж на дутых шинах, отправился в МУР. Одновременно из переулка, нахлестывая лошадей, вылетели его товарищи по стоянке. Они, кажется, считали, что легко отделались...

Из окошка я видел, как к красавице в белых чулках подошел с краюхой хлеба, посыпанного солью, Кемберовский, подпоясанный шитым шелком поясом, какой обычно носили лихачи. Ему сегодня предстояло быть извозчиком. С лошастью-то он справится, а вот справится ли он со своей ролью? Полной уверенности у меня на этот счет не было, хотя Кемберовского и рекомендовал Сухоруков. Трудно будет стойкому оловянному солдатику. Не его дело оперативная работа. Но все-таки лучшей кандидатуры у нас не было...

— Лихой кавалерист,— сказал Савельев, будто подслушав мои мысли, и отодвинул от себя пустой стакан, в котором жалобно звякнула ложечка.— Ему бы саблей махать да на коне красоваться. С одного взгляда лошадь его полюбила. А лошадиная любовь не людская, на всю конягину жизнь...

Кемберовский трепал кобылу за холку, а она преданно косила на него большим темным глазом и осторожно перебирала стройными ногами, словно приглашая его принять участие в каком-то неведомом людям лошадином танце.

Вошел недавно зачисленный в МУР по комсомольской путевке агент третьего разряда Басов. Он доложил, что оперативная группа в районе Елоховской церкви полностью готова к проведению операции, а у выезда из переулка уже стоит подстраховочная

пролетка, которая должна следовать за экипажем Кемберовского. Савельев задал ему несколько вопросов. Басов подчеркнуто кратко ответил на них, не преминув щегольнуть знанием наших терминов. Совсем еще мальчик (ему было не больше семнадцати), Басов, для которого Савельев был богом, а я его первым апостолом, из всех сил старался походить на того идеального «красного сыщика», каким он ему представлялся в воображении. «Проницательный взгляд», скупые, четкие движения, деловитость, сдвинутая на глаза кепочка. Точно таким же был и я в первые месяцы своей работы в уголовном розыске.

Одет Басов был легко. Я обратил внимание на его дырявые башмаки.

— Ботинки-то у вас худые, не простудитесь?

— Никак нет, товарищ субинспектор! Мама мне шерстяные носки дала, а подошвы у меня целые, только верх поистрепался,— быстро ответил он и тут же покраснел: слово «мама» в лексикон «красного сыщика» как-то не ложилось...

Савельев предложил ему чаю. Он долго отнекивался, но потом соблазнился.

— Сахарок, юноша, сыпьте,— улыбнулся Савельев, заметив, что он постеснялся протянуть руку за сахарницей, стоявшей на другом конце стола.— Чай без сахара не чай. Вам об этом небось мама не раз говорила...

Басов опять покраснел. Трудно все-таки быть идеальным сыщиком! Я отправился позвонить Ворду.

— Доброе утро, Вильгельм Янович. У тебя все в порядке?

Ворд помедлил с ответом. Я слышал в телефонную трубку его дыхание, ровное, спокойное, каким и должно быть дыхание каждого уважающего себя начальника домзака. Начальник домзака должен быть человеком спокойным, уравновешенным, иначе на этой должности он долго не продержится.

— Не совсем порядок,— сказал наконец Ворд таким голосом, как будто он сообщал мне радостную новость.

— Что-нибудь стряслось?

— Ничего не стряслось. Боюсь только, чтобы часовой на вышке не помешал.

— А что такое?

— Понимаешь, мой новый помощник по режиму очень старательным оказался. Этой ночью по его указанию как раз на левой вышке обзор улучшили. Теперь там круговой обзор.

Более неприятного известия он мне сообщить не мог.

— А ты можешь переговорить с часовым?

— Не могу. Не мой человек.

— Что же делать?

— Ничего не делать. Отложить операцию, и все.

— Я тебе через пять минут перезвоню,— сказал я и повесил трубку.

Откладывать сейчас, после самоубийства Лохтиной, было равносильно отказу от операции. Что же делать? Я передал свой неутешительный разговор с Вордом Савельеву.

Савельев чмокнул губами.

— Нельзя откладывать.

— Конечно, нельзя. Риск — благородное дело,— сказал Басов, прислушивавшийся к нашему разговору.

— А когда старшие говорят, младшим не грех и помолчать,— сказал куда-то в пространство Савельев и повторил: — Нельзя откладывать. Пусть Ворд найдет какой-нибудь повод вызвать в это время с вышки часового.

— Если бы это удалось, то и говорить было бы не о чем!

— Ничего сложного нет.

— Но если не удастся?

— Все равно операцию проводить надо.

— А если Сердюка подстрелят?

— Не подстрелят,— уверенно сказал Савельев.— Он не такой дурак, чтобы бежать по проезжей части, по краю побежит, к домам жаться будет, а там с вышки не простреливается.

— Не уверен.

— Зато я уверен. Я уже проверял.

Басов скрипнул стулом. Глаза его блестели. Савельев окончательно завоевал его сердце. Ничего не скажешь, у Федора Алексеевича было чему поучиться. Я такой проверки сделать не догадался, а должен был бы...

Я снова позвонил Ворду.

— Твои пять минут больше десяти моих,— недовольно сказал он.— Сиж, сиж, все твоего звонка дожидаясь. Что решил?

Я сообщил ему о нашем решении и попросил сразу после выезда за тюремные ворота заключенных удалить с вышки красноармейца.

— Морочишь ты мне голову, Белецкий!

— Сделаешь?

— Попытаюсь,— сказал Ворд.— Но гарантии дать не могу. Я тебе уже говорил: это люди не мои, из гарнизона. Учти это, Белецкий, никакой гарантии. Никакой!

Когда я вернулся в нашу комнату, Басова уже не было. На столе стоял так и недопитый им стакан чаю.

— Ну, как Ворд?

— Сказал, что попытается, но не уверен, что сможет.

— Ничего. Бог не выдаст — свинья не съест. Сколько на твоих часах?

Мы сверили часы. Было полседьмого. Со стороны тюрьмы

донеслись глухие звуки колокола. Это означало, что утренняя проверка окончена и сейчас дежурные по кухне начнут разносить по камерам громадные медные чайники с кипятком и подносы с ломтиками черного хлеба, по фунту с четвертью на каждого обитателя домзак.

Мимо наших окон прошла широкобедрая молочница с двумя бидонами молока. Приостановившись, она игриво бросила важно восседавшему на козлах Кемберовскому:

— Плеснуть молочка, дядя?

Кемберовский отвернулся, сделав вид, что не слышит. Он хорошо знал, как себя следует вести при исполнении служебных обязанностей.

— Сурьезный ты, дядя,— сказала обиженная молочница и не спеша пошла дальше вдоль переулка, покачивая своими мощными бедрами. Из домика напротив вышел, поеживаясь от утреннего холода, старик с клочьями пегой бороды, стал открывать ставни. Прошел разносчик булочек, затем старуха с кошелкой, двое мальчишек. Проехал ассенизационный обоз, распространяя вокруг себя зловоние.

Я не удержался и снова посмотрел на часы — без двадцати семь. Время шло черепашим шагом. Мне казалось, что, по меньшей мере, прошло полчаса. Сердюков сейчас, наверно, уже допил свой чай и доел свою пайку.

В переулок заглянуло солнце, мостовая зарябила светлыми бликами, засверкали стекла домов. Топтавшийся возле экипажа Кемберовский чиркнул о подошву спичку, но не закурил, а скомкал в кулаке папиросу и бросил ее в лужу. Он явно нервничал. Савельев стоял у окна и отсутствующим взглядом смотрел на противоположную сторону переулка, где старик с пегой бородой вытряхивал на крыльце половичок. Было без десяти минут семь.

— Скоро выводить будут,— сказал, не поворачивая ко мне головы, Савельев.

Внезапно ворота домзак распахнули. Я прижался лбом к оконному стеклу, а Кемберовский, поспешно сняв с морды лошади торбу с овсом, вскочил на козлы.

— Рано,— сказал Савельев.

Действительно, из ворот тюрьмы выехала телега с мусором, а ворота после этого опять закрыли. Кемберовский снова чиркнул спичкой о подошву и снова скомкал в кулаке папиросу. Новый способ успокаивать нервы, что ли?

Выводить заключенных на внешние работы начали только через двадцать минут.

Первым вышел рослый бравый надзиратель, за ним — трое красноармейцев с примкнутыми к винтовкам штыками. Надзиратель стал по правую сторону ворот, предоставив нам возможность

любоваться своей широченной, крест-накрест перехваченной ремнями спиной и спускающимся почти до колен малиновым шнуром от нагана, а красноармейцы — по левую, лицом к нам. Они стояли на расстоянии шести — восьми шагов друг от друга. Таким образом охрана образовала нечто вроде живого мешка, в который и должны были попасть заключенные.

Пока все было так, как я обговорил с Вордом.

— Выходи! — зычно крикнул надзиратель. — Давай, давай, быстро!

Лишенцы выходили по двое, через равные промежутки времени.

— Два, четыре, шесть, десять, двенадцать... — глухо доносился до нас голос выводящего.

— Пошевеливайся! — торопил надзиратель, каждый раз взмахивая рукой, когда из проходной появлялась очередная пара.

— Шестнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать шесть, двадцать восемь...

Лиц разобрать было нельзя. Слишком далеко. Совсем молодые, в возрасте, старики — они все были похожи друг на друга, как близнецы. Безликая, серая масса — одним словом, арестанты.

— Который из них Сердюков?

— По-моему, вот тот верзила, который поближе к надзирателю, — неуверенно сказал Савельев. — А впрочем, черт его знает.

С вышки высунулась голова часового в буденовке, тускло блеснула серая ниточка штыка. Значит, Ворду не удалось его убрать. Жаль! Очень жаль! Если Сердюков, вопреки логике, побежит по середине переулка, то вся эта затея может плохо кончиться. Но у Ворда еще есть время, будем надеяться.

— Часовой-то на вышке...

— Вижу, — коротко сказал Савельев.

У меня было такое ощущение, будто бежать предстоит не Сердюкову, а мне самому. Я весь подобрался, чувствуя, как у меня напряглись мускулы и перехватило дыхание. Мои ладони были мокрыми от пота.

— Граждане заключенные, стройсь!

Серая масса заколыхалась, стала приобретать форму прямоугольника, перегородившего поперек переулок. Этот прямоугольник скрыл от нас красноармейцев, оказавшихся по другую сторону заключенных. На этом основывался предложенный мною Ворду план. Молодец, Ворд! Если бы он сейчас еще снял часового!

Надзиратель опять взмахнул рукой.

— Граждане заключенные...

И вдруг голос его оборвался. Надзирателя не было. Он исчез. Странно. Как и когда сбил его с ног ударом по голове Сердюков, я не видел, хотя неотрывно наблюдал за происходящим.

Я заметил только, что надзирателя нет. Он словно растворился в воздухе, пропал. Передо мной больше не было его перехваченной ремнями спины, малинового шнура от нагана, бритого затылка. Передо мной была только колышущаяся серая масса заключенных и бегущий к нам человек. Он бежал, низко пригнувшись, почти касаясь своими длинными руками земли. Казалось, он скачет на четвереньках. Большое, сорвавшееся с цепи дикое животное.

— Стой!

Бегущий стремительно к нам приближался. Я уже различал его лицо, крупное, тяжелое.

— Стой, стрелять буду!

Грохнул выстрел. Это кто-то из красноармейцев выстрелил вверх.

Стрелять в Сердюкова они не могли: между ними и беглецом находились заключенные. Часового на вышке не было. Видимо, Ворд снял его в последнюю минуту.

— Ложись!

Это уже относилось к сбившимся в кучу посреди переулка заключенным. Правильное решение, но его следовало принять на мгновение раньше. В таких случаях необходима быстрая реакция.

— Ложись!

Один за другим люди стали падать на мостовую. Но уже было поздно: Сердюков вскочил в экипаж, и лошадь рванулась с места. Я видел, как над лежащими ничком заключенными выросли фигурки красноармейцев.

Р-р-ах! Р-ах! Р-р-ах! — зачастили выстрелы. Это уже была стрельба для очистки совести и для начальства: экипажа в переулке уже не было. Теперь он мчится по Гороховой...

Из тюрьмы доносились тревожные звонки, извещающие о побеге. Из проходной выскочило несколько человек внутренней охраны. Они подняли продолжавших лежать на мостовой перепуганных заключенных и, торопливо построив их, повели обратно к тюремным воротам. Шествие замыкали красноармейцы, один из них что-то говорил и кладал затвором винтовки. На сегодня внешние работы отменялись...

— Кажется, пронесло... — выдохнул Савельев.

Я побежал звонить в оперативную группу, обосновавшуюся у Елоховской церкви. Басов доложил, что экипажи еще не проезжали.

— У вас все благополучно, товарищ субинспектор?

— Полностью, — сказал я и, почувствовав, что ноги меня не держат, сел на стул. — Не вешайте трубку. Я буду ждать у телефона.

Я опасался, что Сердюков может выскочить из экипажа, не доезжая Елоховской, и, обманув наших агентов, скрыться в пере-

плетении бесчисленных переулков, переулочков и тупиков — «просквозить», как выражались бывшие работники сысской полиции. Правда, его сопровождали самые опытные оперативники, от которых оторваться было трудно, однако, учитывая количество проходных дворов и неповоротливость Кемберовского, это все-таки не исключалось. Но через несколько минут томительного ожидания Басов сообщил мне, что оба экипажа, соблюдая предписанную им дистанцию, проехали мимо Елоховской церкви.

— Направление? — спросил я.

— Земляной вал.

Лохтина договаривалась с Пузыревым, что он отвезет «племянника» на Покровку... Ну что ж, «племянник» ведет себя солидно, как и положено благонаправному юноше, никаких сюрпризов.

— На Покровке готовы к встрече?

— Так точно, товарищ субинспектор! Мотылев сообщил, что готовы.

Теперь как будто оснований для беспокойства больше не было: все люди на своих местах, маршрут не подвергся изменениям, Сердюков в экипаже. Но еще без одной случайности, которая чуть не сорвала всю операцию, все-таки не обошлось. Эту случайность даже Скорцов не назвал бы «запланированной». Когда у Покровских ворот наш подшефный вылез из пролетки, он после всех волнений захотел закурить. Папирос у него не было, денег на их покупку, видимо, тоже. Лихой извозчик услужливо полез в карман за своим портсигаром. И только достав его, Кемберовский понял, что этого делать не следовало. На крышке квадратного массивного портсигара было выгравировано: «Тов. Кемберовскому за активную борьбу с преступностью в день славной годовщины рабоче-крестьянской милиции». Такие портсигары представитель Центроорозыска вручил на торжественном вечере большой группе наших сотрудников. Лучшую визитную карточку не придумаешь!

Кемберовский потом рассказывал, что он так растерялся, что потерял дар речи. «Такое состояние, что хоть пулю в лоб себе пускай», — говорил он. Но ему всегда чертовски везло. Повезло и на этот раз. Его оплошность была тут же исправлена нашим безымянным доброжелателем. Не успел он мигнуть глазом, как пробежавший мимо беспризорник выхватил у него портсигар и вскочил на подножку бешено мчащегося трамвая. Это произошло настолько быстро, что Сердюков не заметил весьма небезынтересной для него надписи на портсигаре извозчика. Он только выругался, обозвав своего застывшего, как на параде, недолгого спутника словами, приводить которые в книге нет особой необходимости, и быстро зашагал в сторону Покровского бульвара.

Через полчаса я уже знал, что бежавший находится на квартире у эпмана Злотникова в доме № 14 по Казарменному переулку.

За домом было установлено наблюдение, а Мотылев получил задание собрать о покровителе Сердюкова все необходимые сведения.

Что же касается злополучного портсигара, то он, разумеется, исчез бесследно. И наверно, удачливый беспризорник немало гордился им.

## XXIV

Приближались первомайские праздники. Не покладая рук работали дворники, расчищая улицы. Мальчишки дневали и ночевали на Ходынке, где готовились к параду войска, а в воздухе, тяжело и неуклюже переваливаясь с крыла на крыло, ревели тяжеловесные аэропланы.

Задрав кверху головы, мальчишки кричали:

Аэроплан, аэроплан, залети ко мне в карман!  
Там на небе пусто,  
Не растет капуста!

В учреждениях, на заводах и фабриках готовились к празднику. Руководитель кружка художественной самодеятельности, он же штатный поэт МУРа и делопроизводитель нашей канцелярии Сережка Петров суматошно носился по коридорам и, хватая за грудки встречных и поперечных, спрашивал: «Станцуешь? Как это не танцуешь? Ты же комсомолец!»

В актовом зале репетировал духовой оркестр. Самодеятельных музыкантов консультировал привлеченный к уголовной ответственности за мошенничество дирижер румынского оркестра «Пролетарский Бухарест» Лео Рабинович, которого по этому случаю перевели в отдельную, почти комфортабельную камеру нашего ардома и стали выдавать за счет средств профкома повышенный паек (полфунта шоколадных конфет «Наковальня» + ростовский рыбец + пачка папирос «Волоокая красавица»). Лео быстро освоился со своим новым положением, он яростно стучал по пюпитру, хватался в отчаянии за волосы и пронзительно кричал: «Вы сейчас не милиционеры, а музыканты! Музыканты! Мне не нужен темперамент! Мне нужен музыкальный слух!»

Мимо дверей моего кабинета с грохотом таскали какие-то декорации, каркасы для транспарантов, а через стенку доносились голоса членов редколлегии стенной газеты: «Ты меня на левый уклон не тяни!.. Юмор, братцы, сыпьте юмор!»

По другую сторону коридора заседало правление кооператива «Советский милиционер». Бесперывно хлопала дверь. Это уставшие от дебатов члены правления выходили покурить. Курили они, разумеется, не молча. В коридоре обсуждались жгучие проблемы предпраздничного снижения цен на яйца в нашей кооперативной лавке. «На Смоленском рынке 30 копеек десяток. Так?



В Госсельсиндикате — 35. Так? А у нас 40. А почему? Накладные расходы снижать надо. Так?»

В довершение ко всему кабинет Мотылева временно заняли, кажется, под столярную мастерскую и его переселили ко мне. Когда Мотылев был свободен, я вынужден был слушать его, а когда занят — его подследственного, который, спекулируя самогонкой, видимо, никак не мог дожидаться того момента, когда его наконец арестуют и дадут возможность высказаться. Говорил он без умолку. Мотылев, не страдавший от избытка грамотности, еле успевал записывать показания. Иногда он пытался передохнуть, но это ему не удавалось. «Записали? — спрашивал самогонщик. — Теперь я хочу осветить экономическую подоплеку этого явления». — «Как?» — переспрашивал Мотылев. «Экономическую подоплеку». — «Завтра ее осветите», — с тихой яростью говорил Мотылев, засовывая в стол протокол допроса. «На завтра нам с вами и так дел хватит, — кротко возражал подследственный. — На завтра я наметил осветить моральную сторону вопроса». — «Ладно, давайте подоплеку», — соглашался Мотылев и вновь доставал из стола протокол. А его мучитель занудливо начинал: «Приготовились? Записывайте. Сiju я на данном историческом отрезке времени в камере ардома со всякими дефективными мазуриками и думаю: почему я, человек достаточно интеллигентный, сознательный, можно сказать, идеалист по натуре, стал на скользкий путь пренебрежения советскими законами? Думаю и переживаю. Записали? Только слово «переживаю» не так пишется: два «е», а потом «и»... Совершенно верно. Значит, думаю и переживаю. И чем больше я думаю, тем ясней для меня становится экономическая подоплека моего преступления. Человек — раб экономики...» — «Гражданин, не зарывайтесь! — грозно обрывал Мотылев. — Рабов нынче нет». — «Простите, но я в фигуральном смысле этого слова». — «И в фигуральном смысле нет», — непримиримо отвечал Мотылев, только вчера получивший «хор» на занятиях по политграмоте. «Я с вами согласен, гражданин начальник, — поправлялся подследственный. — Я просто имел в виду влияние на индивидуума экономики. Человеком, как совершенно правильно говорили товарищ Маркс и его друг товарищ Энгельс, руководит экономика. Она направо — он направо, она налево — он налево...»

А тем временем мимо дверей кабинета что-то протаскивали, что никак не протаскивалось в узком коридоре; ревел, словно взбунтовавшийся тигр, окончательно вышедший из-под контроля Лео Рабиновича оркестр, а неутомимые члены правления, запутавшись в путях снижения цен на яйца, с тем же энтузиазмом обсуждали, почему в нашей кооперативной лавке мясо тоже дороже, чем следовало бы: «Накладные расходы снижать надо. Так? Так...»

Единственное, чего не хватало, это появления Вал. Индустриаль-

ного. Но и оно не заставило себя долго ждать. Вал, Индустриального, готовившего статью в праздничный номер, на этот раз интересовало мнение «красных милиционеров» о коммунистическом воспитании детей: где их следует воспитывать — в семье или в коллективе?

Попробуй в таких условиях работать! Нет, предпраздничные дни созданы не для работы, а для подготовки к праздникам. Только для этого. А я, признаться, возлагал на них большие надежды. Я собирался написать наконец свой раздел в докладной о борьбе со спекуляцией контрабандными товарами, вплотную заняться делом об убийстве в «Аквариуме», а главное — осуществить вторую часть операции, начало которой было положено побегом Сердюкова. Мы считали, что необходимо ввести к Злотникову, у которого продолжал скрываться бежавший, нашего человека. Сведения о Злотникове, собранные Мотылевым, практически ничего не дали, так же, впрочем, как и наблюдение за самим Злотниковым. Правда, особых надежд мы не питали, но все-таки рассчитывали, что будет какая-нибудь зацепка, а ее не оказалось. Судя по полученным данным, Злотников был обычным, средней руки нэпманом, занимавшимся коммерцией и до революции. Ни его сделки, ни его знакомства особого интереса не представляли. К монархистам до 1919 года он никакого отношения не имел (это проверялось весьма тщательно) и с Богоявленским, видимо, знаком не был, во всяком случае, приказчик убитого заявил, что он ни разу не видел Злотникова и не слышал о нем. И все же Злотников сыграл в происшедшем определенную роль. Но какую? Может, Злотников имеет прямое или косвенное отношение к убийству? А может быть, он даже инициатор убийства, его вдохновитель?

В общем, вопросов хватало. Чтобы разобраться во всем или хотя бы получить общую ориентировку, надо было довести начатую операцию до конца, тем более что из Петрограда не поступало никаких сведений о неизвестном, который расспрашивал Азанчевско-го-Азанчеева об архиве Богоявленского. У Стрельницкого этот человек не появлялся, а если и был, то агенты Носицына его упустили, хотя Носицын, когда я с ним разговаривал в Москве (за неделю до праздников он приезжал в Центроорозыск), начисто отвергал такую возможность: «Мимо моих ребят и муха не пролетит».

Но как бы то ни было, а Злотников в любом варианте представлял для нас особый интерес, хотя бы потому, что Сердюков решил укрыться именно у него, а не в одной из хаз на Смоленском рынке, Сухаревке или Грачевке.

Близкий друг убийцы Богоявленского заслуживал внимания. Мы с Фрейманом склонялись к тому, что Злотников может стать ключом ко всему делу.

Необходимость ввести к Злотникову нашего агента была очевидна. И также почему-то для всех было очевидно, что организовать

это должен не начальник секретной части МУРа Сухоруков, который, по его собственному выражению, «обслуживал нэп во всех его проявлениях», не бог сыска Савельев, с головой, заменявшей любую картотеку, а ничем не примечательный субинспектор Белецкий. И разуверить в этом мне никого не удалось, даже Илюшу, который возлагал на меня излишне радужные надежды.

Моя попытка привлечь к операции Савельева успехом не увенчалась. Федор Алексеевич заканчивал очередную главу своей монографии о жизни насекомых и очень дорожил свободным временем. Поэтому он и отказался, не забыв, разумеется, облечь свой отказ в дипломатическую форму. Он намекнул на то, что его участие в операции может быть воспринято как желание разделить с нами наш успех.

Дескать, и так некоторые сотрудники превратно истолковывают его вмешательство в расследование этого убийства. Кроме того, как он убедился, версия его оказалась ошибочной, дел у него много, а в наших способностях он не сомневается. Если нам понадобится его совет, он, конечно, не откажет, но его участие в разработке совершенно ни к чему.

Виктор вообще обошелся без дипломатии. Он показал мне лежащие на столе папки.

— Видишь?

— Вижу.

— Знаешь, сколько их?

— Ну?

— Сорок семь. Неужто у тебя хватит совести положить мне на стол сорок восьмую?

У меня, конечно, совести не хватало, и он этим воспользовался, пообещав, правда, заняться моим Злотниковым после праздников.

— Не сразу, понятно, а этак через недельку, полторы.

Короче говоря, я оказался перед необходимостью полагаться только на себя. Между тем предстоящая операция была не только сложной, но и весьма для меня необычной. Я по работе не сталкивался с нэпманами, не знал этой среды, не имел среди нэпманов знакомых, а коммерция всегда была для меня тайной за семью печатями.

Легко сказать: ввести человека. А как его «ввести»?

Ведь не подойдешь к Злотникову на улице и не скажешь: «Гражданин Злотников, у Московского уголовного розыска имеется необходимость прошу вас. Поэтому очень прошу вас познакомиться с нашим сотрудником, на которого возложена данная миссия, и в интересах установления истины по делу об убийстве Богоявленского всемерно облегчить его работу».

Наш сотрудник, видимо, должен быть представлен Злотникову несколько иначе. Ну, например, рекомендован ему кем-то из друзей.

Но для этого нужно их знать, найти к ним подход, каким-то образом склонить их к задуманному. Для всего этого требовалось время, а его как раз и не было. Требовались нормальные условия для работы, а их тоже не было. Как только я пытался ухватиться за какую-то мысль, из коридора доносилось: «На попа, на попа ставь! Ну, куда прешь?!» А затем, как журчание ручейка: «Масло в Госмолоке 85 копеек. Так? В Северосоюзе — 65. Так? А у нас 86. Почему? Накладные расходы снижать надо. Так?..» И снова занудливый голос спекулянта. И снова всесокрушающий грохот барабана и хриплые стоны Лео Рабиновича, окончательно сорвавшего свой голос...

Но предпраздничные дни рано или поздно сменяются праздником, а затем и буднями, которые особенно начинаешь ценить за то, что все входит в свою привычную колею.

Праздники, кажется впервые за все годы работы в уголовном розыске, я провел дома. Я не дежурил, не патрулировал, не следил за порядком, а просто валялся на тахте, перелистывал томик Фенимора Купера. Я отдыхал, вернее, пытался отдыхать, так как рядом со Следопытом незримо присутствовали другие, менее приятные персонажи: Сердюков, Злотников и неизвестный с бакенбардами, а из головы никак не выходила мысль о предстоящей операции. Это было нечто вроде постоянной зубной боли, от которой можно отвлечься, но о которой нельзя забыть.

Соседи наши уехали куда-то на дачу к знакомым, и Вера наслаждалась необычным для нее положением полновластной хозяйки. Накануне она убрала комнату и теперь готовила праздничный обед, бегая между двумя керосинками. На одной из них варилась овсяная каша (та самая легендарная каша, которой в Англии завтракают все, начиная с пастуха и кончая королем), а на другой жарилась, захлебываясь в масле (цену на масло наши кооператоры все-таки снизили!), не менее легендарная телячья вырезка. По семейным преданиям, искусным приготовлением этого блюда Вера в свои гимназические годы поразила до глубины души какого-то папиного приятеля, тонкого гурмана с изысканным вкусом. Его я не помнил, но он мне представлялся звероподобным мужчиной с идеально здоровыми зубами, так как я лично разжевать эту вырезку никогда не мог...

Гостей мы не ждали: к Илюше приехал отец из Гомеля, а Виктор на праздники собирался заняться ремонтом своей комнаты. Но к вечеру пришла Верина подруга, тихая, забитая женщина, на всю жизнь травмированная дружкой с моей сестрой. Достаточно было Вере сказать слово, как она поспешно кивала головой, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не подумал, что у нее может быть иное мнение. Впрочем, все Верины подруги были вышколены на славу и никогда не пытались бунтовать. Недаром отец говорил, что, если бы Вера

родилась пораньше, Пугачев не сложил бы свою голову на плахе: она бы подавила бунт его соратников в самом зародыше.

Как и многие тираны, Вера была искренне убеждена, что осуществляет власть в интересах своих подданных, а эти интересы она, разумеется, знает лучше их. Поэтому ее деспотизм, овеянный благородством побуждений, не знал границ: она контролировала все, а вдоль дороги, проложенной ею к счастью, везде стояли соответствующие указатели. Так вырабатывался определенный стандарт подруг. У всех у них были одни и те же вкусы, привычки и выражения, не говоря уже о взглядах и мыслях, которые в готовом виде вкладывала в них Вера. Все они были более или менее удачными копиями с оригинала, который именовался моей старшей сестрой. А так как с Верой за время нашей совместной жизни мы уже успели обо всем переговорить, беседовать с Лидией Павловной — так звали ее подругу — было для меня сущим мучением, тем более что Вера слишком серьезно относилась к своим кулинарным обязанностям и все время вертелась на кухне, оставив подругу на мое попечение. Я уже успел высказаться о сегодняшней и завтрашней погоде, почти дословно пересказать последний номер газеты и изложить свои не особенно оригинальные мысли о предполагаемых автогонках, когда в передней зазвенел звонок. Гостем, который так вовремя подоспел, оказался не кто иной, как Сеня Булаев. Легко представить радость, которую доставило мне его появление: ведь в чем, в чем, а в замкнутости и молчаливости упрекнуть его было нельзя.

Сеня был в чудесном настроении. В середине апреля его утвердили начальником уездного уголовного розыска, и он еще не успел расплескать накопившиеся в связи с этим запасы гордости. Уже с первых слов я понял, что ему позарез необходимы слушатели. А поддакивать я умел лучше многих. В общем, наши интересы полностью совпадали. Сеня мог блистать, ни на кого не оглядываясь.

Даже его внешность и та произвела на Веру, а следовательно, и на Лидию Павловну самое благоприятное впечатление. У Сени был вид лихого комэкса времен гражданской войны. Вьющиеся волосы, в меру длинный чуб, серые с прищуром глаза, ремни, гимнастерка, высокие желтые сапоги и, разумеется, галифе, широкие, синие. Вместе с ним в нашу квартиру ворвался пропавший полынью ветер степей, свист пуль, скрежет сабель и цокот копыт. Правда, Сеня никогда не участвовал в конных рейдах, а на лошади, по отзыву Кемберовского, сидел, как собака на заборе, но какое это имело значение? Сеня был символом. И не безмолвным символом. Кроме того, он напоминал Вере ее мужа, зарубленного белыми в Ростове. Этого было вполне достаточно, чтобы наша тахта стала приобретать контуры тачанки, а Сене положили двойную порцию «королевского завтрака» и жареной вырезки.

— Минуточку! — торжественно сказал Булаев и движением фокусника извлек из своего пузатого портфеля бутылку самогона (в Москве в связи с призывом в армию была запрещена торговля водкой, и предусмотрительный Сеня это учел).

Я ужаснулся. Ведь Вера была принципиальным врагом алкоголя, который «неизбежно ведет к нравственной и политической деградации человека».

Но пусть мне кто-нибудь скажет, что чудес не бывает. Бывают.

Вера ни словом не обмолвилась об антисоциальной сущности алкоголя, о пагубности этой гнусной привычки, о том, что алкоголизм и порочность несовместимы. Она только встала... и отправилась за стаканами (рюмок у нас не было).

Без малейших усилий со своей стороны Сеня стал гвоздем вечера. Он поддерживал, а затем и овладевал любым разговором, любой темой.

Переговоры в Лондоне? Пожалуйста. У Сени об этом имелись сведения из первых рук. Невольно создавалось впечатление, что если он и не знаком лично с Макдональдом, то у них наверняка есть общие знакомые. Оказывается, Макдональд нажимает на наших, чтобы они согласились выплатить долги царской России, но у него, конечно, ничего не получится. Плакали денежки!

Вере нужна бочка для засолки огурцов? Нет ничего проще. На прошлой неделе открылось бондарное производство Белова на Семеновской заставе. Цены вне конкуренции. И пивные бочки, и винные, и олифные, и ушаты, и чаны, и сухотарки...

Французская борьба и английский бокс? У Сени было мнение и на этот счет. Гублит бокс начисто запретил. И правильно сделал. За что деньги с публики брать? За мордобой? Мордобой у нас на улицах и бесплатно посмотреть можно. И опять же политические соображения. Кто боксирует? Нэпманы? Нет. Как же можно допустить, чтобы рабочий, к примеру, бил морду своему брату по классу?!

Кокосовые пуговицы? Пусть Вера Семеновна торопится. Скоро цены на них в два раза вырастут...

Но все это были только подступы к главной теме. Разве зря в нашей квартире завывал ветер, звенели сабли, а Вера расставляла в первый и в последний раз в своей жизни стаканы для самогона? И Сеня каким-то непонятным для меня образом, оттолкнувшись от новой кинокартины «Мистер Вест в стране большевиков» («Вся Германия и Америка рыдают от восторга!»), перескочил на «будничную, но героическую работу» сотрудника уголовного розыска С. Булаева.

В волости Сеня пробыл всего каких-нибудь два месяца. Но чего только за эти два месяца не произошло!

Погони за вооруженными до зубов конокрадами («Стреляют, гады, а у меня в нагане всего три патрона осталось!»).

Героическая схватка со стаей голодных волков («К горлу, гад, подбирается, а у меня всего два патрона...»).

Преследование в непроходимых болотах убийцы селькора («В голову, гад, целит, а у меня последний патрон!»).

И опять свист степного ветра и цокот копыт. Это Сеня мчится навстречу очередной опасности.

— Почему бы тебе не написать в газете о Семене Ивановиче? — спрашивает Вера.

Самое забавное не то, что она после той пресловутой заметки считает меня почти писателем, а то, что в ее голосе нет ни капли иронии. Я, разумеется, не возражаю. О Семене Ивановиче обязательно надо написать. Вера и Лидия Павловна одновременно одобительно кивают головами.

По мере опорожнения бутылки свист ветра усиливался, а количество патронов в Сенином нагане соответственно уменьшалось. В конце концов он его вообще оставил за ненадобностью и начал задерживать вооруженных до зубов бандитов голыми руками.

Вера как замороженная смотрела на него, подперев руками подбородок. Точно в такой же позе сидела и ее копия. Ахали они почти одновременно. И после каждого «аха» в рассказе Сени появлялась новая красочная деталь.

Мне казалось, что сам Сеня тоже потрясен своими подвигами и даже поверил в их достоверность. Правда, это не мешало ему время от времени поглядывать на меня. Но я был само доброжелательство.

К разговору за столом я почти не прислушивался, тем более что Сеня стал повторяться.

Но когда рассказчик упомянул знакомую фамилию, я насторожился.

— Как ты сказал?

Сеня был недоволен.

— Что «как»? Слушать надо! Вынимаю я, значит, наган...

— А в нагане ни одного патрона, — досказал я. — Это я слышал. Я тебя о другом спрашиваю. Как ты назвал владельца конторы «Техническая помощь»?

— Злотников...

— Он случайно не в Казарменном переулке живет?

— Кажется. А что?

— С кем, ты говорил, он у вас связан?

— С Ивановым, директором завода металлоизделий.

— А что там приключилось?

— Совместная афера. Завод купил у Злотникова 1000 gross шурупов, 30 тысяч пудов подготовленного по габариту металла

и 500 gross винтов, а я выяснил, что все это всегда было собственностью завода, на складах лежало, только учтено не было. Ну, они на этой афере и заработали...

— Понятно.

— Саша,— сказала Вера,— что у тебя за дурная привычка перебивать людей? Надо внимательней слушать, тогда тебе все будет ясно. Продолжайте, Семен Иванович.

Сеня допил самогон и сказал:

— Вынимаю я, значит, браунинг...

— Наган,— все-таки не удержался я.

— Да, наган. Вынимаю я, значит, наган, а в нем ни одного патрона. Стреляю — осечка, опять — опять осечка...

Булаев просидел у нас до двенадцати ночи, но, когда он собрался уходить, Вера его удерживала. Я был растроган. Вечер прошел чудесно и главное — не без пользы. Все были довольны: Сеня, Вера, ее подруга, а больше всех я. В голове у меня была готовая схема операции. Кое-что, конечно, еще требовалось уточнить, кое-что продумать, но фундамент, кажется, уже имелся. Золотой все-таки человек этот Сеня. Прощаясь, мы договорились с ним встретиться завтра утром в МУРе.

— Дело? — многозначительно спросил Сеня.

— Дело. Не подведешь?

— Ты Булаева знаешь?

— Знаю.

— Буду у тебя в восемь ноль-ноль. Все. Точка.

— Не забывайте нас,— сказала Вера.— Всегда будем вам рады.

И Лидия Павловна кивнула головой, словно ставя на этом приглашении официальный штамп.

Так закончился этот праздничный вечер, о котором Вера потом часто вспоминала.

А я-то думал, что хорошо знаю свою сестру!

## XXV

В «Вечерней Москве» из номера в номер велась рубрика «Кто вчера умер». И прежде чем развернуть газету, я всегда просматривал последнюю страницу, где в уголке мелким кеглем было набрано: «С. Ф. Хромов, 46 лет, член ВКП(б), директор гастрономического магазина, самоубийство, причины: недовостача в магазине; Н. С. Бурова, 50 лет, беспартийная, безработная, общее ослабление организма на почве недоедания; Н. Н. Павлов, 35 лет, беспартийный, рабочий, воспаление легких...»

Каждый вечер приносил все новые и новые фамилии. Иногда среди них попадались знакомые.

Погиб от бандитской пули помощник Медведева Яша Габер;



умер от туберкулеза и плохого питания инспектор Хамовнического района многосемейный Гуляев; застрелился чистый и наивный мальчик Володя Семенов, который никак не мог примириться с нэпом и накануне самоубийства положил на стол секретаря райкома свой комсомольский билет. «Сгорел на работе», как выразился в своей речи на кладбище Медведев, старейший сотрудник активной части розыска Забозлаев; в Проточном переулке зарезали шестнадцатилетнего Петю Политкина из «резерва назначения». Этот «резерв» мы создали по просьбе районной биржи труда. В Москве свирепствовала безработица, а пособие в размере 5 — 6 рублей в месяц выдавалось немногим. «Резерв назначения» комплектовался из безработных комсомольцев, которым платили по 6 рублей в месяц. Они каждый день утром приходили в МУР, выполняли различные поручения и дожидались вакансий: может, кого убьют или уволят. Петя не дождался...

Измотанные, уставшие, истощенные люди уходили из жизни. Их смерть мало чем отличалась от смерти на фронтах гражданской войны. В некрологах так и писали: «Погиб на фронте коммунистического строительства...»

Война продолжалась. С голодом, с разрухой, со старым, застенелым бытом. А войн, как известно, без смертей не бывает...

Люди гибли не только физически, но и морально. И эти потери для нас были, пожалуй, еще более болезненными, еще более ощутимыми.

О том, как относились коммунисты и комсомольцы тех лет к нэпманам — мы их презрительно называли нэпмачами, — писалось немало. Мы и они — это были два враждующих лагеря. Мы жили на одной земле, но дышали разным воздухом.

Это общеизвестно. А вот о том, как нэп влиял на некоторых коммунистов и комсомольцев, пишут реже. А оно было, это влияние. Жизнь складывается не из одной романтики. И двадцатые годы были не только годами становления Советской власти, ликвидации разрухи, индустриализации и учебы. Это были голодные годы. Я уже не говорю о безработных, но и многие из тех, кто работал, не в состоянии были прокормить себя и семью. Зарплата в советских учреждениях была минимальной. Достаточно сказать, что после денежной реформы 1924 года, когда была введена твердая валюта, а совзнаки ликвидированы, оклад младшего милиционера составлял всего 8 рублей, а участкового надзирателя 10. На такие деньги трудно было свести концы с концами.

Кем бы ни был коммунист — председателем правления банка, управляющим трестом, начальником крупнейшего строительства или наркомом, — его зарплата строго ограничивалась партмаксимумом. Ему платили в два-три, а то и в шесть раз меньше, чем его подчиненному, беспартийному инженеру, получающему спецставку.

Более чем скромная, а то и голодная жизнь. А совсем рядом иная, ничуть на нее не похожая, сытая до избыточности, хмельная и безудержная. Ночные рестораны, шампанское, танцы, прокатные автомобили. Мир довольства и роскоши. Он вызывал и ненависть и любопытство, раздражал и зачаровывал, отталкивал и притягивал. Преходящими и мишурными были его ценности. Но они отличались наглядностью, осязательностью и — может быть, самое главное — предназначались не далеким потомкам, а современникам того чахоточного партийца, который ворочал громадным трестом и ходил в латаных ботинках. И далеко не каждый мог устоять перед соблазном и швырнуть в лицо совбуру ловко сунутый им на стол под бумаги конверт с деньгами, отказаться от дорогого подарка, отвергнуть выгодное и почти безобидное предложение...

Расстратчик, взяточник, расхититель — это тоже были наши потери, потому что мы теряли наших товарищей, теряли навсегда.

Через меня прошло много таких дел. И каждое из них было историей гибели человека.

Среди подсудимых были, конечно, и примазавшиеся, и откровенные подлецы, которые рассматривали партийный или комсомольский билет только как ширму, как путь к власти. Но были и просто слабые, изголодавшиеся люди, уставшие от борьбы и аскетизма, изломанные и обработанные тяжелой жизнью, требующей постоянного умственного, морального и физического напряжения. Они крайне тяжело переживали случившееся, свою измену общему делу.

Одним из таких людей и оказался директор завода металлоизделий Георгий Николаевич Иванов, пожилой человек с изможденным лицом и запавшими глазами, к которому меня привел Сеня.

Партиец с дореволюционным стажем, Иванов прожил тяжелую жизнь. В ней были и тюрьмы, и ссылки, и недоедание, и неизлечимая болезнь почек, и трагическая смерть горячо любимой жены. В 1921 году Иванов, страдающий от депрессии и одиночества (близких у него не было, а с людьми он сходилась очень тяжело), женился на своей секретарше, пухленькой, смешливой барышне, которая на лету угадывала его желания и хорошо изучила все его привычки. Молодая жена мало чем напоминала недавнюю секретаршу. Но исправлять ошибку было поздно: Иванов привык к ней и не представлял себе, как сможет без нее обходиться. Несколько раз она уходила от мужа к родителям, и тогда Иванов униженно умолял ее вернуться.

Видимо, Злотников достаточно точно оценил ситуацию: он начал с молодой жены.

Такая красавица, такая молодая и обаятельная, нет, она не должна губить свою жизнь! И как только Георгий Николаевич не оценит по достоинству это сокровище?

Семена падали на благодатную почву. Затем Злотников, приезжая из Москвы, стал привозить ей мелкие подарки, которые всегда столь приятны женщинам, — цветы, конфеты, духи. Потом он предложил ей колючку с изумрудом. Он, конечно, знает, что денег у нее пока нет, но ему не к спеху, он может подождать. Знакомство домами. Молодая женщина хочет оказать Злотникову взаимную услугу. Вскоре такая возможность ей представляется: заводу требуется подрядчик, почему бы этим подрядчиком не стать предупредительному и милому другу дома? После нескольких семейных сцен Иванов уступает жене. Злотников без торгов получает подряд. Затем вторая уступка, третья, и Иванов попадает в полную зависимость от эппмана...

Сколько раз мне приходилось сталкиваться с подобными историями, и всегда они вызывали у меня боль и недоумение. Мне жаль было этих людей, хотя я в этом не признавался даже себе.

Булаев только приступил к расследованию. Иванов пока не был привлечен к ответственности, и считалось, что он по-прежнему руководит заводом. К нему в кабинет поминутно входили инженеры, мастера, бухгалтеры. Он выслушивал их, давал указания, распоряжения, одобрял одно решение, порицал другое, расписывался на каких-то документах. Он делал все, что полагается делать директору завода, но во всем этом было что-то неестественное, какая-то неуловимая фальшь, которая часто ощущается на любительских спектаклях, когда делопроизводитель Петров играет герцога Альбу, а милейшая Мария Ивановна — королеву Испании. И осанка, и жесты, и кружева, и костюмы, и слова — все тщательно скопировано, но... только скопировано. И эту копию не примет за оригинал даже самый простодушный и благожелательный зритель. Молодец, Мария Ивановна, старается! Но и только...

На двери кабинета Иванова висела табличка: «Директор». Но он уже не был директором. В кармане его пиджака лежал партбилет, но он уже не был партийцем. Сегодняшний Иванов лишь играл роль вчерашнего Иванова, играл добросовестно, но бездарно. Его заученные жесты, слова, манера держаться — все это производило гнетущее впечатление.

Когда мы вошли в кабинет, Иванов встал из-за стола и окинул нас взглядом своих безжизненных, запавших глаз.

— Здравствуйте, товарищи, садитесь, — заученно сказал он.

Наш приход не произвел на него никакого впечатления. Самое страшное и самое для него главное он уже пережил. Теперь его нельзя было ни огорчить, ни обрадовать.

— Слушаю вас, товарищи.

Я стал осторожно излагать цель своего посещения, не касаясь, разумеется, дела об убийстве в полосе отчуждения железной дороги. Иванов смотрел сквозь меня в какую-то только ему известную

точку. В его застывшей руке с длинными нервными пальцами потомственного интеллигента дымилась папироса. Потом она погасла, но он не изменил положения руки. Я был уверен, что он не слышит меня, и старался, незаметно для себя, говорить погромче, будто передо мной сидел глухой. Но он все слышал. Когда я кончил, Иванов сказал:

— Я сделаю все, что от меня требуется.

— Мне нужно рекомендательное письмо для одного человека.

Он смотрел все в ту же точку и по-прежнему сжимал двумя пальцами мундштук погасшей папиросы. Я зажег спичку, но он ее не заметил.

— Вы имеете в виду письмо к Злотникову?

— Да.

— Письмо к Злотникову...— для чего-то повторил он.— Письмо к Злотникову...

Иванов вспомнил о недокуренной папиросе. Заученным жестом достал из стола коробок фосфорных спичек «Факел», долго рассматривал наклейку, словно пытаясь понять, что у него оказалось в руках. Закурил. В дверь заглянула какая-то пишбарышня.

— Георгий Николаевич, к вам Велипольский.

— Кто?

— Велипольский.

— Велипольский, Велипольский... Попросите его, пожалуйста, подождать. Так о чем мы с вами говорили?

— О письме.

— Да, да, о письме. Ну что ж, подготовьте текст, я перепишу.

В соседней комнате я набросал письмо, и Иванов тщательно его переписал, кое-что добавив от себя, и расписался.

— Так?

— Да.

— Что вам еще от меня потребуется?

— Вам придется недели на две куда-нибудь с женой уехать.

— Уехать? Да, действительно, я, кажется, написал ему, что мы уезжаем. Но куда уехать?

— Можете поехать в отпуск отдохнуть,— сказал я, сам чувствуя, как глупо звучит мое предложение.— А то возьмите командировку в любой город, где у вас могут быть дела.

— Дела, дела...

Он усмехнулся, и по его глазам я понял, что сейчас он, кажется, впервые увидел меня. Несколько секунд он с любопытством разглядывал меня и неожиданно спросил:

— Хотите чаю?

— Нет, благодарю.

— С аферистами чай не распиваете?

— Просто не хочется.

— Когда мне надо уехать?

— Завтра.

— Хорошо.

— И еще. Никто не должен знать о нашем разговоре и об этом письме, в том числе и жена...

На его впалых щеках вспыхнул румянец.

— Можете не беспокоиться.

— Сами понимаете,— вмешался в разговор изнемогавший от молчания Булаев,— что ваша услуга будет следствием учтена.

Иванов снова усмехнулся и почти весело сказал:

— Вот это уже, Булаев, ни к чему. Я, конечно, мерзавец, но это ни к чему. Мой отъезд не затянет следствия? — спросил он.

— Нет.

Иванов удовлетворенно кивнул головой.

— Тогда хорошо. А то я очень устал, очень...

Я покидал его кабинет с таким чувством, будто только что похоронил товарища. Нет, хоронить умершего, пожалуй, все-таки легче! Вернувшись в Москву, я первым делом зашел к Сухорукову.

— Договорился с Ивановым?

— Да. А откуда ты знаешь, что я решил его использовать?

— Слухами земля полнится.

— А точнее?

— А точнее — по земле ходит Сеня Булаев. Ясно?

— К сожалению.

— Ничего, можешь не беспокоиться: дальше меня это не пошло.

Я Булаева предупредил.

— Да, тяжело с Сеней иметь дело! И когда он только успел встретиться с Сухоруковым?

— А ты рискнул,— сказал Виктор.— Это, Саша, методы восемнадцатого года, мы сейчас такими не пользуемся. Если бы Иванов не согласился, представляешь, что бы могло произойти? Он же не дурак, сообразил что к чему. Но победителей не судят, рад, что все благополучно. Зацепка, кажется, надежная. Рассказывай.

Я доложил ему о своем плане, о беседе с Ивановым, показал письмо Иванова Злотникову, под конец съехидничал:

— Ну как, место на столе для очередной папки освободилось?

— А ты злопамятный,— сказал Виктор.

— Нет, просто памятный. От рождения. Так как, можно на тебя рассчитывать?

— Думаю, что смогу тебе помочь. Но прежде всего давай уточним, что тебе требуется. «Легенда», подкладка под нее, материал о коммерческой деятельности Злотникова, его деловых и личных знакомствах и схема связи и взаимной информации, так?

— Так. Только добавь к этому консультанта по торговле. А то я до сих пор дебет с кредитом путаю.

- Нашел чем хвастаться.
- А я не хвастаюсь. Практики не было.
- А в Петрограде?
- Я же почти все время был в первой бригаде у Скворцова.

Убийства, налеты...

- Понятно. Сроки?
- Два дня, от силы — три.
- Жестковатые.
- Время не терпит. И так слишком затянули.

— Ладно. Будет сделано. Я уже с Медведевым все предварительно обговорил и дал людям задания. Уложимся. Кстати, Александр Максимович тобой доволен, считает, что побег организован неплохо, хотя ты недостаточно проинструктировал Кемберовского.

— Ну, случай с портсигаром только бог мог предусмотреть.

— Инструктировал-то его не бог, а ты. С тебя и спрос. Но это между прочим. Меня интересует другое: Иванов не подведет?

— Нет.

— Почему ты так уверен?

Виктор не любил «интеллигентских копаний». Поэтому я не стал делиться с ним своими впечатлениями, а сказал, что Иванов, по моему мнению, человек честный и в аферу попал совершенно случайно, из-за неудачно сложившихся обстоятельств.

— Ну, та честность, что от обстоятельств зависит, — товар дешевый, — сказал Виктор. — Я в такую честность не верю. Но за его отъездом я прослежу, так что сюрпризов не будет. Его бывшую жену видел?

— Нет. Но почему она бывшая? Они не разводились.

— Не развелись, так разведутся. Что ей теперь с него взять? Он ей теперь ни к чему.

У Виктора я пробыл около часа, а когда пришел к себе, меня уже ожидал Фрейман. Последовал тот же вопрос:

— Договорился с Ивановым?

— Договорился.

Илюша с облегчением вздохнул.

— Камень с души снял, — сказал он. — Я тут себе места не находил. Кого думаешь к Злотникову отправить?

— Одного парня.

— Хорошего?

— Разумеется.

— Кого же?

— Себя.

— Послушай, гладиолус, — сказал Фрейман, — тебе еще никто в любви не объяснялся? Нет? Тогда я буду первым.

— Только ты меня не переоценивай.

— А я и не переоцениваю, — сказал Илюша. — Но мой папа

говорил, что даже собственный чирий и тот лучше чужого кабриолета.

— Спасибо,— сказал я.

— Надеюсь, ты на меня не обиделся?

— Нет.

— Ну а на моего папу даже я не обижаюсь,— заключил Илюша.

Вечером мы были на октябринах. Торжественное заседание с участием представителей райкома РКП(б), пионерской организации, РКСМ и губотдела профсоюза совработников было посвящено новорожденному сыну субинспектора Федорова. Гремел «Интернационал», произносились речи, у отца новорожденного были ошалело счастливые глаза. А я, вглядываясь в сморщенное личико нового гражданина республики, нареченного Октябрем, вспоминал разговор с Ивановым, его глухой, безжизненный голос, его впавшие щеки, обесцвеченные бедой губы. Что ж, смерть и жизнь всегда идут рядом, а сегодняшний день неизменно превращается в историю: в страницы учебников, в цитаты, в экспонаты музеев. Пройдет и нэп. И когда-нибудь его будут так же изучать, как мы изучали в гимназии крестовые походы...

— Я уверен, что мой сын, Октябрь Сергеевич Федоров, станет достойным членом нашего общества, настоящим борцом за мировую революцию,— говорил Федоров.

Маленький сверток бережно передавали с рук на руки. У людей были растроганные лица. Секретарша Медведева Шурочка комкала в руке носовой платок. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»

Слушай, Октябрь Сергеевич, слушай внимательно. Эта песня имеет к тебе прямое отношение. Ты станешь всем в том мире, который мы для тебя строим. У тебя будет большая счастливая жизнь. Но знай, что счастье не только смех, но и слезы. Без слез счастья не бывает. Поэтому у тебя будут и горести, но не те, что у нас,— другие. У тебя, наверно, все будет другое — красивее и чище.

Фрейман заглянул мне в лицо и сказал:

— А ты становишься сентиментальным, гладиолус...

— Видно, старею, Илюша.

## XXVI

Во время операции на Хитровом рынке в 1918 году мне пришлось на неделю превратиться в жителя «вольного города Хивы» — так называли рынок его обитатели — в некоего Константина Баташова, золоторотца, уклоняющегося от мобилизации в Красную Армию. Особой подготовки мне тогда не требовалось. Все было сделано с помощью мастерства нашего гримера Леонида Исааковича, зала-

танных штанов, куртки с оборванными пуговицами, соответствующей паспортной книжки и некоторых других мелких, но красноречивых доказательств моей «подлинности», заботливо подготовленных Савельевым. Не берусь судить, какой хитроумец из меня получился, но операция прошла благополучно, я не вызвал подозрений ни у кого из обитателей ночлежки. Теперь мне предстояла другая, более сложная и еще менее симпатичная роль молодого, но уже поднаторевшего в махинациях нэпмача, Георгия Валерьяновича Баранца, провинциального деятеля, владельца подпольного самогонного завода («Железный паровик — 100 ведер, три чана с бардой по 200 ведер, бардовик — 100 ведер. Немного купороса, немного мыльного камня, малость табаку да перца для крепости. Вот и все»). Баранца сковывали масштабы провинции, и он решил развернуться в столице, где с помощью рекомендательного письма рассчитывал получить необходимые советы и поддержку Злотникова и его друзей.

Георгий Валерьянович, или «милый Жорж», как он именовался в подготовленном мною письме, приходился Иванову дальним родственником (на что-либо иное моей фантазии не хватило). Последний раз Иванов видел его в 1916 году, когда тот учился в коммерческом училище. И вот они снова встретились. Теперь мальчик стал мужчиной. Иванов, разумеется, предпочел бы, чтобы милый Жорж, которого он помнит с трехлетнего возраста (сиропа я не пожалел), избрал другой путь в жизни, но каждому свое. Для него воспоминания об этом молодом человеке — это воспоминания о далекой юности. Поэтому он надеется, что Злотников проявит к Георгию Валерьяновичу доброжелательность, уберет его от соблазнов московской жизни и поможет ему обрести себя в коммерческой деятельности. Сам Иванов на некоторое время уезжает вместе с женой (которая передает Злотникову привет и присоединяется к просьбе мужа), поэтому не имеет возможности лично представить своего родственника. Но, вернувшись, он непременно заедет на несколько дней в Москву, чтобы поблагодарить Злотникова, в обязанности которого он не сомневается, и так далее.

Таким образом, уже в самом рекомендательном письме излагались контуры выбранной мною «легенды»: молодой нэпман, окончивший коммерческое училище, родственник Иванова, владелец подпольного заводика и прочее. «Легенда» как «легенда». Я ее не переоценивал, но и не считал хуже других. Тем не менее в ней вскоре выявились ошибки, которые в дальнейшем чуть не стоили мне жизни. На одну из них обратил внимание Виктор.

— Коммерческое училище — это ты зря, — сказал он.

— Почему?

— Да потому, что ты кончал гимназию, а не коммерческое. Зачем выдумывать без необходимости? Меньше выдумки — больше



толку. Ты хоть знаешь, какие дисциплины в коммерческом преподавались?

— Знаю. Борька Чуб в коммерческом учился, приятель мой...

— Все ж письмо переделай,— посоветовал Сухоруков.— Вместе обмозгуем, как лучше. А то всяко повернуться может...

Сухоруков был прав. Но переделка письма была связана с поездкой в городок, где жил Иванов, с затяжкой всей операции, а мне этого не хотелось. Да и само замечание казалось настолько малозначительным, что им вполне можно было пренебречь. В конце концов, никто мне специально устраивать экзамена не будет. А если паче чаяния зайдет разговор о коммерческом училище, то его легко замять или перевести на другую тему.

Единственное, что по-настоящему смущало,— это моя коммерческая малограмотность. В беседе с Виктором я сказал, что путаю дебет с кредитом. Это, конечно, не совсем соответствовало истине. Полным профаном я не был и дела по хищениям и аферам в Петрограде, хотя и редко, вел. Но пусть меня все же поднатаскают. Вреда не будет, одна польза. Молодой преуспевающий нэпман должен знать итальянскую бухгалтерию.

И я не раскаялся в своей невинной хитрости. Виктор отнесся к своей задаче более чем добросовестно. Сведения, которые я получил от него и его сотрудников, в значительной степени восполнили досадный пробел в моем образовании. Коммерческим волком я не стал, но все же получил общее представление о товароведении, конъюнктуре, биржевых и внебиржевых сделках, порядке оформления и учета векселей, выборке патентов, уравнительном сборе, кредите («Запомни: частника кредитуют только общества взаимного кредита, Роскомбанк и Московская контора Госбанка. А то ляпнешь несусветное!»). Я узнал, как получают беспроцентные краткосрочные ссуды, узнал о каверзных для частника условиях в договорах с государственными организациями относительно гарантий на случай изменения цен, о том, как опытные нэпманы обходят эти гарантии. В общем, хоть сейчас снимай помещение и приколачивай вывеску: «Белецкий и К<sup>0</sup>».

Сухоруков посвящал меня в такие тонкости торговой и финансовой деятельности, что могло показаться, будто всю свою жизнь он только и делал, что занимался коммерцией, а не вылавливал бандитов. Да, его бы Злотников наверняка принял за своего.

Но больше всего Виктор поразил меня теми сведениями, которые он успел собрать о Злотникове. Я убедился, что секретная часть МУРа работать умеет.

Оказалось, что Злотников, который до апреля 1921 года числился на бирже труда в качестве безработного, начал свою карьеру со скромной должности агента для поручений при бывшем председателе правления Мосодежды («Нет, не жулик, хуже — дурак»).

Когда наступил нэп, шеф Злотникова, у которого была склонность к масштабности, решил на страх внутренним и внешним врагам молодой республики сразу же в десять раз увеличить оборотный капитал Мосодежды. По его мнению, сделать это было просто: достаточно было немедленно реализовать пылящиеся на складе беличьи шкурки и воротники, а затем на вырученные деньги купить в десять раз больше товара. Потом снова реализовать и снова приобрести. Что нам торговля, когда Перекоп и тот штурмом брали! Нажмем пролетарской пятерней на горло совбуру!

В разгоряченной этой идеей голове председателя десятки тысяч рублей мгновенно превращались в сотни, сотни — в миллионы, а миллионы — в миллиарды. Даешь стране золото! Но осуществить задуманное оказалось не так-то просто: пушнина через государственных магазины сбывалась медленно. Рабочим она была ни к чему, а те, кто имел деньги, не особо верили большевикам: сегодня нэп, а завтра — вертеп... Подождем, торопиться некуда...

Председатель правления вызвал на совещание спецов — молчат. Намекнул насчет саботажа — все равно молчат. В армии все было бы, конечно, проще. А тут что будешь делать? Ни особого отдела, ни трибунала... Но среди спецов-саботажников все-таки нашелся один сочувствующий. Этим сочувствующим оказался агент для поручений Злотников. Хотя сам он был из бывших, он тоже хотел, чтобы пролетарская пятерня добралась до горла совбура, и всей душой стремился помочь начальнику. Проект Злотникова председатель правления одобрил, и буквально за два дня вся пушнина была распродана частникам, правда, по несколько заниженным ценам. Но какое это имеет значение, когда время решает все? Однако оказалось, что этот пустяковый факт некоторое значение все-таки имел... Так как совзнаки в то время с каждым днем катастрофически падали в цене, то вырученная от сделки сумма, не успев вторично обернуться и привести за собой миллион, превратилась в ничто вместе с грандиозными проектами мрачного энтузиаста. Председатель правления был снят и переброшен на махорку, а позднее, во время партчистки 1922 года, исключен из партии. Уволили за недомыслие и агента для поручений. Но Злотников не печалился: за комиссией он получил неплохой процент от частников. Кроме того, на подотчетные суммы он тогда же приобрел через подставных лиц у Мосодежды полторы сотни шкурок, которые, в отличие от своего бывшего шефа, продавать не торопился...

— В общем, под идиота сыграл,— прокомментировал Виктор начало карьеры моего «будущего друга».

— Ну а дальше?

— В том же роде. Спрятал получше шкурки, передохнул малость и в представительство «Донугля» устроился...

В то время, о котором я пишу, пожалуй, не было ни одного треста, синдиката или торгова, не имеющего в столице своего представительства. Всего таких «посольств» в Москве было что-то около тысячи. Штаты некоторых из них достигали ста человек, а функции были неопределенными, а порой и туманными. Но зато каждое представительство обязательно снимало особняк, имело авто или, на худой конец, выезд, телефоны и, как положено, соответствующую обстановку. Одно «посольство» закупало мебель красного дерева, другое — орехового, в стиле Людовика XIV, а третье, чтобы переплюнуть конкурентов, доставало гарнитуры с мрамором работы Мельцера и с зеркальными стеклами.

Представительства эти были почти бесконтрольны, и во многих из них окопались темные дельцы, уже давно состоявшие на учете в уголовном розыске. Некоторые представительства конкурировали друг с другом, давали взятки, спекулировали. Числящиеся в их штатах дельцы занимались чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Например, представительство «Азнефти» арендовало у Военведа помещения и затем сдавало их в подаренду нэпманам для складов и контор. Московское представительство Тульского ГСНХ и Тулторга закупало для частных фирм на их деньги крупные партии ровницы и получало за это с частников проценты. (После приказа Ф. Э. Дзержинского от 17 июля 1925 года число «посольств» значительно уменьшилось, а окончательный удар им нанес апрельский Пленум ЦК РКП(б) 1926 года.)

Таким образом, предприимчивому человеку, работающему в «посольстве» на процентах, можно было неплохо подзаработать. И судя по тому, что Злотников через четыре месяца, непосредственно перед очередной ревизией, ушел из «посольства» с блестящей характеристикой и целиком занялся частнопредпринимательской деятельностью, он, видимо, успел основательно округлить свой капитал. Ревизия зафиксировала в представительстве значительные убытки, но не нашла ничего противозаконного.

— А ты сам занимался представительством «Донугля»? — спросил я у Сухорукова, когда он осветил очередной этап в карьере Злотникова. Виктор прищурился:

— Занимался. Ревизия, бухгалтерская экспертиза — все было... Но где влезли, там и слезли.

— Впустую?

— Как положено. Убытков на десятки тысяч рублей, а виновных нет. Недоучли, недоглядели, недосмотрели, недодумали. Кругом — шестнадцать. Бесхозяйственность. А какой с дурака спрос? Вот через этот кабинет двенадцать человек прошло, и все круглые — не ущипнешь. Умные жулики, Саша, в наше время всегда рядом с дураками работают, а очень умные и сами дураками прикидываются: мы люди темные, из-под станка да из-под сохи, университетов не

кончали, всю жизнь лишь щи с тараканами хлебали, а пятак за миллион считали... Вон как! Знают, что дурака не наказывают. Дураку сочувствуют — свой дурак, привычный, из-за классового беспартия одурился. Быть дураком — почти что капитал иметь: пустил в оборот и жди себе процентов. С обычной дурусти — пять годовых. С дремучей, глядишь, и все десять накапает...

Я был ошеломлен неожиданным для Сухорукова взрывом эмоций. Верь после этого в спокойные и уравновешенные характеры!

— В гражданскую, — продолжал Виктор, — мы за саботаж в ставку Духонина отправляли <sup>1</sup>, не церемонились, а на дурусть и тогда сквозь пальцы смотрели... А почему? Не знаешь? Вот и я не знаю... А чем кончилось — известно: до сих пор то кислое яблочко жамкаем. Вот гляди. Колчака укокали, панов порубили, Деникина и Врангеля — в море, а дурак как был, так и остался. А от него, если хочешь знать, вреда побольше, чем от всех генералов, вместе взятых. А цацкаемся. И что обидно — кормят-то нашего дурака не из-за кордона, а мы сами, хлебушком российским. И кормим, и одеваем, и обуваем, и должности даем, а придется — то и награды. Живи, дурак, плодись, веселись! Почет тебе и уважение! Низко кланяется тебе земля русская! Уважает она тебя. Да и как не уважать? Татар изгнала, Наполеона разгромила, а от тебя не избавилась. И по сей день тебе дань платит: и деньгами, и рогами, и головами...

Голос Виктора звенел от злости. Ненавидеть он умел, это я знал. А тема для него была больная. На эту тему он мог говорить часами. По-моему, он искренне был убежден, что если бы всех дураков своевременно ликвидировали, то мировая революция давно бы уже завершилась и над земным шаром развевалось бы красное знамя с серпом и молотом.

Перебивать Виктора, когда его «понесло», не рекомендовалось, но все же я вновь перевел разговор на Злотникова.

— После «Донугля» он торговлей занялся? — спросил я.

— Торговлей, — подтвердил Виктор. Потом после паузы сказал: — Оптовой торговлей мануфактурой. Самое милое дело: затраты минимальные, а цены максимальные, как-никак, а раза в два выше довоенных. Ну а о торговых накидках и говорить нечего — до 70 процентов. Такого сумасшедшего процента в торговле больше нигде нет. Ну и оборачиваемость капитала в среднем один раз в полтора месяца. Золотое дно — черпай пригоршнями!

— Большие суммы в оборот пустил?

— Не очень. Начал он тысяч с десяти. Да и то на бумаге. Наличными у него тысячи полторы-две было. Остальные — кредит. За счет госорганизаций, отпускающих товар, за счет кредита банков да краткосрочных ссуд друзей. На том восемь тысяч и добрал. Так

---

<sup>1</sup> Отправить в ставку Духонина — расстрелять.

они все делают. Сколько с частными фирмами ни сталкивался — одна и та же история. Деньги у них зазря не лежат, вертятся. Ну и пошел в гору. Деньга деньгу делать начала. Легкий хлеб. Правда, сейчас, когда оптовика прижимать начали, потрудней стало...

Стремясь выжать из Сухорукова все возможное, я поинтересовался, к чему сводятся ограничения оптовика. Виктор усмехнулся.

— Недаром говорят, что ученье свет, а? — Он немного остыл после своей недавней вспышки, и в его голосе вновь появились профессорские нотки. — Ограничения, значит? Ну что тебе сказать? Перво-наперво, с кредитом теперь не разгуляешься. Кожсиндикат в этом году так полностью частного оптовика кредита лишил: хочешь товар — гони наличные. Ну, ограничения в выборе товаров. Московское отделение Всероссийского текстильного синдиката, к примеру, отпускает в нагрузку к ходким товарам неходкие. Хочешь хлопчатобумажные товары — тогда бери и камвольные и сукно. А не хочешь нагрузки — ничего не получишь, разве только кукиш с маслом.

И все же прибыль Злотникова если и снизилась, то не намного, в копейках потерял. Он живуч, Злотников. Не достал мануфактуру в ВТС — достанет ее через акционерные общества, рабкоопы, скупит у розничника, а то и хвостовиков наймет...

— Это еще что?

— Ну безработных. Выбросят в госмагазине ходкий товар, а они тут как тут. Очередь. Какой-нибудь час — и на прилавках хоть шаром покати: нет товара. А он тем временем уже у оптовика на складе. Он его на следующий день втридорога загонит. Почитай, у каждого опытного оптовика по несколько десятков хвостовиков на содержании. Мало-много, а на хлеб они у него заработают, а он и на шампанское иметь будет... Милое дело!

— Что же он тогда это «милое дело» оставил и контору завел?

Сухоруков рассмеялся и даже хлопнул меня по плечу. Он был доволен, что я попал впросак.

— Темень ты, Сашка, несусветная, бычок на веревочке, — почти нежно сказал он. — Всему веришь! Торговлю мануфактурой он и не думал бросать. У него теперь в торговлю тысяч пятьдесят, если не больше, вложено. А контора — одна вывеска. — Виктор pokrutil головой и повторил понравившееся ему сравнение: — Ей-ей, бычок на веревочке. Контора! А ты слышал про такую контору «Лакокраска»? Так вот, ее владелец гражданин Козловский не в состоянии отличить лака от мака. А ничего, не прогорал. И знаешь почему? Потому, что он не занимался ни лаком, ни краской, а получал в «Жиркости» в кредит парфюмерию и парафин, а в Мосодежде — кредитные боны на одежду и обувь и загонял все это на рынке. Вот тебе и лакокраска! А Инжбюро Эллисона и Евзерова? Инженерные расчеты? Черта лысого! Спекуляция кровельным железом. Между

прочим, когда мы это дело разматывали, то выяснили, что этот Эллисон раньше цирковым актером был. Он еще в 1919 году в Юзовке под именем мистера Сама выступал, «обладателя тибетской тайны ясновидения». Контора, Саша, прикрытие.

Мне оставалось лишь согласиться с Виктором, что мой «будущий друг» порядочная сволочь. Это мнение о нем еще более укрепилось, когда Виктор познакомил меня с некоторыми другими данными своего досе на Злотникова. Но в данном случае выбирать друзей мне не приходилось. Несмотря на все его отрицательные качества, я готов был полюбить своего «будущего друга» всей душой. Задача сводилась только к тому, чтобы он ответил мне взаимностью, а главное — проникся к Георгию Валерьевичу доверием, тем самым доверием, в котором так нуждался не столько «милый Жорж», сколько субинспектор Московского уголовного розыска Белецкий.

За три дня я до предела был напигован всеми нужными сведениями. И Сухоруков, устроивший мне нечто вроде экзамена, остался доволен. Действительно, я многое узнал и многое запомнил. Видимо, польза от учебы определяется не столько временем, сколько взаимным энтузиазмом учителя и учащегося. Во всяком случае, я никогда не усваивал столь многого в такие сжатые сроки.

Одежда моя теперь соответствовала эзпмановскому стандарту: узконосые «джимми», реглан, фетровая шляпа («Ты же шляпу надел, а не картуз. Понимаешь? Шля-пу!») и излишне броский (провинция!) галстук, который ошарашенная Вера, высказывая самые фантастические предположения, долго и мучительно учила меня завязывать.

Но мне по-прежнему не хватало уверенности.

Перед тем как покинуть стены Московского уголовного розыска, я зашел к Фрейману. Илья, словно подоброщенный невидимой пружиной, вскочил из-за стола и, оглядев меня во всем моем великолепии, шаркнул ножкой.

— Простите, сэр, вы не ошиблись дверью?

— Нет, зато мне кажется, что я ошибся в выборе профессии, — довольно кисло отшутился я.

— Паршиво на душе? — сочувственно спросил Илюша.

— Очень, — признался я.

— Веселого, конечно, мало...

Он почесал переносицу и наморщил лоб.

— Ничего не поделаешь, Саша. Единственное, чем я тебе могу помочь, это советом. Тебе нужно почувствовать себя настоящим эзпманом, тогда все будет в порядке.

— Да, но как это сделать?

— Очень просто. При виде любого человека ты должен думать только об одном: как бы получше снять с него скальп.

— Все?

— Все,— убежденно сказал Илюша.— Остальное само приложится. Вот увидишь.

На отсутствие внимания к операции, а следовательно и ко мне, я пожаловаться не мог. Когда я сидел у Фреймана, в кабинет заглянул Сухоруков и сказал, что меня хочет видеть Медведев. Александр Максимович уделил мне не менее часа — срок для него почти рекордный. В разговоре с ним я старался держаться по возможности бодро, но он все-таки что-то почувствовал и, желая успехов, со своей обычной жесткой усмешкой сказал:

— На фронте говорят, что пуля летит только к тому, кто ждет ее. Учи.

В коридоре мне встретился Мотылев, нагловатый, уверенный, поблескивающий в улыбке новыми металлическими коронками.

— Здорово, Белецкий. Покатаем шарики?

Кажется, именно в этот момент я почувствовал себя наконец нэпманом: у меня впервые мелькнула мысль о скальпе...

Когда я выходил из МУРа, вахтер более тщательно, чем обычно, проверил мое удостоверение. Он был прав: из здания выходил уже не субинспектор Московского уголовного розыска Белецкий, а молодой, но подающий надежды нэпман Георгий Валерьянович Баранец.

Вид у Георгия Валерьяновича был озабоченный: завтра ему предстояло важное деловое свидание, от которого зависело многое.

Георгий Валерьянович шел по ночным улицам, тускло освещенным рожками газовых фонарей, крепко прижимал к боку легкий портфель. Временами он оглядывался. Был нэп, и он был нэпманом. Но он не чувствовал себя хозяином в этом странном городе, где деньги давали все, кроме реальной власти, а перед набравшим силу нэпом, как перед разъяренным быком, ветер революции, дразнясь и наступая, играл красным полотнищем. Георгий Валерьянович испуганно оглядывался. Он вынужден был опасаться всего: жуликов, пьяных, будущего... Прогремел запоздалый трамвай. В желтых квадратах его окон промелькнули островерхая буденовка, бородастое лицо рабочего со сдвинутым на лоб картузом, темные глаза девушки-работницы. «Ночная смена», — подумал Баранец и, достав портсигар, закурил.

Неохотно, будто в раздумье закапал дождь. Перестал. Снова закапал. Георгий Валерьянович снял шляпу и завернул ее в газету: как-никак, а шляпа была казенная...

## XXVII

В 1917 и даже в 1918 году в Москве было много гостиниц. Военный коммунизм значительно сократил их число: частные гостиницы закрыли, а властям было не до гостиниц. Но с наступлением нэпа вновь засверкали подновленные вывески: «Савой», «Тула», «Мар-

сель», «Эльдорадо», «Ливорно», «Ориант», «Эльбрус», «Новая страна», «Канада», «Эдем»...

Я не придавал значения, в какой из гостиниц следует остановиться Баранцу, полагаясь на его личный вкус и случайность. Но основательный Сухоруков, привыкший все и всегда учитывать, посоветовал снять номер с телефоном в респектабельном «Марселе», гостинице достаточно дорогой, но без излишней роскоши, расположенной в самом центре города.

— Во-первых, проще со связью, — сказал он. — А во-вторых, там деликатная прислуга: особо к твоим гостям присматриваться не будет. Есть там и свои люди...

Я не возражал. «Марсель» так «Марсель». И Георгий Валерьевич прямо с вокзала направился в эту гостиницу, пользующуюся у приезжих измамном доброй славой.

Лихач подкатил меня к самому подъезду.

— С прибытием, ваше здоровье! — сказал он и тут же отъехал: стоянка экипажей была несколько подальше, а здесь было место для прокатных автомобилей, символизирующих богатство, роскошь и технический прогресс, — как-никак, а одной ногой в Европе стоим. Да-с.

Автомобилей было не больше десятка. Черные, как жуки, «ситроены», «оппели», «стейры», «бенцы». Они вызывали любопытство мальчишек и нездоровый интерес извозчиков: «А если, к примеру, бянзину лишить, потянет?»

Но владельцы чудо-техники в ответ только загадочно усмехались и небрежным жестом отгоняли излишне назойливых. Они были как близнецы: мужественные, сдержанные лица, кожаные костюмы, в зубах трубки, очки-консервы сдвинуты на лоб... Не подступишься!

Блестели стекла витрин, гудели моторы, базили гудки, рожки, завывали сирены. Чем не Париж или Лондон? Вот разве что крикливые лоточницы, беспризорики да кроющие друг друга матом ваньки... А то бы... И у сверкающего золотом европейского швейцара на бульдожьей физиономии застыло обиженное выражение: «Какое уж там «хау ду ю ду» или опять же «бонжур», когда всех родичей до пятого колена поминают?! И все необразованность наша, дикость расейская... Далеко нам до Европы, ох далеко!»

Швейцар с достоинством поклонился и величественно распахнул передо мной массивную, в медных шишечках резную дверь: «Пожалуйте». Так и не решив, давать ему на чай или нет, я оказался в вестибюле «Марселя», где, словно солдаты в строю, стояли вдоль стен кадки с пальмами. Здесь было шумно илюдно. В глубине холла переговаривалась группа молодых людей артистического вида в длинных блузах, среди них две-три миловидные девицы с подведенными глазами, из тех «тонколицых красавиц», которые, по мнению «Вечерней Москвы», «ароматом своих духов усыпляют бдитель-



ность». Сидела в кресле круглолицая пожилая дама; она зорко поглядывала на стоящие рядом с ней чемоданы и баулы: жулик народ! Не присмотришь — из-под носа уведут!

Старичок в пенсне, в светлых узких панталонах и цветных носках «ажур», видно из адвокатов — по-новому «правозаступник», — шуршал газетой. Рядом с ним — компания черноволосях и усатых людей. Они говорили о Бакинской ярмарке, провожая горящими глазами каждую проходящую мимо женщину, и при этом громко цокали языками. Двое эзпманов спорили о платежеспособности какого-то Варварина, а из-за пальмы-гренадера до меня доносился чей-то ехидный голос. «Если до двадцать второго года, батенька, мы вообще отчетностью не занимались, то теперь только одна макушка из бумажной кучи виднеется. Отчет 26 железных дорог за год на 770 пудов потянул, а вся переписка НКПС с местами и на все 420 тысяч пудиков. Это, мой кормилец, одна четверть всей годовой продукции Центробумтреста. При таких темпах ни Эстония, ни Финляндия нас бумагой не обеспечат...»

Ко мне подошел женственный юноша, осторожно тронув за локоть, шеннул на ухо:

— Месье не интересуется валютой? Могу предложить франки, английский фунты... Цена сходная: 10 рублей фунт. Интересуетесь?

— Только Нарымским краем.

— Фрайер, — сказал юноша и растворился в воздухе.

Пальмы, кожаные чемоданы с цветными наклейками, изящные, словно взятые напрокат из далекого прошлого, дорогие саквояжи, аромат духов, запах хорошего табака, калейдоскоп холеных лиц, напомаженных голов — все это было для меня странным, непривычным. Мне казались неестественными громкий смех уютно расположившихся в креслах эзпманов, ужимки накрашенных девиц, небрежно дымящих тонкими соломинками папирос, подобострастие услужливого старика портье в пенсне, сползшем на кончик запотелого носа, белоснежные фартучки красавиц горничных, устланная ковром широкая лестница. На всем был налет какой-то иллюзорности, шаткости, лихорадочности. Да существует ли все это? Может быть, весь «Марсель» — это только игра разгоряченного воображения, сносшибательный трюк ловкого иллюзиониста в блестящем цилиндре с тросточкой, одного из тех заезжих гастролеров, о которых, захлебываясь, писали некогда газеты? Несколько павсов, несколько магических слов, а потом... Потом иллюзия исчезнет, как исчезают все иллюзии. Айн, цвай, драй — и нет роскошного холла. Фир, фюнф, зекс — исчезли пальмы, ушли в небытие адвокат в носках «ажур», восточные люди с гортанными голосами, юноши в блузах, молодой человек, спекулирующий валютой, девицы с папиросами... И перед зачарованной «важаемой публик» — одна только арена, засыпанная опилками, посреди которой раскланивается во

все стороны, приподняв свой цилиндр, заезжий иллюзионист. Гремят аплодисменты, и на смену иллюционисту выбегают клоуны. Айн, цвай, драй...

— Разрешите прикурить?

Передо мной стоял молодой человек точно в таком же реглане, как и я.

— Разрешите прикурить? — настойчиво повторил он, глядя мне в глаза и слегка улыбаясь кончиками своих по-юношески пухлых губ. Его лицо показалось мне знакомым. Еще бы, это был не кто иной, как агент третьего разряда Басов, парнишка, который принимал участие в операции по организации побега Сердюкова. Ну конечно, теперь он занимается валютчиками. Вот так встреча! Я протянул ему свою папиросу.

— Благодарю вас.

Больше мы не обменялись ни словом, и все же у меня было такое чувство, какое испытал Робинзон, встретившись с Пятницей. А впрочем, куда там Робинзону: ведь он никогда в жизни не занимался оперативной работой и не имел никакого представления о «Марселе»! До чего же молодец этот Басов!

Мой «Пятница» сел неподалеку от зоркой дамы, которая по-прежнему не спускала глаз со своих чемоданов, и развернул газету. Я почему-то посмотрел на часы и решительно направился к окошку, возле которого как дань времени висел рифмованный призыв: «Запомни заповедь одну: с собою в клуб бери жену». Эта «заповедь» явно не гармонировала со всей атмосферой гостиничного холла. И возможно, поэтому какой-то шутник дописал к ней карандашом совершенно неожиданную концовку: «Не подражай буржую — свою, а не чужую».

У мужчины в окошке были голодные заискивающие глаза и доброжелательная улыбка, видимо такая же неизменная принадлежность этого холла, как кадки с пальмами.

— Какой номер прикажете приготовить, Георгий Валерьевич? Люкс? — спросил он, мельком заглянув в мой паспорт.

— Нет, первой категории, с телефоном.

— Как пожелаете. Надеюсь, вам у нас понравится...

Я заполнил опросную карту, состоящую из доброй полусотни вопросов (женат ли, а если да, то каким браком сошелся — церковным или гражданским, являюсь ли членом профсоюза и какого именно, чем занимался до октября 1917 года и после революции и т. п.), сдал ее. После этого меня провели на второй этаж в предназначенный мне номер, который, как я с удовлетворением отметил, находился в самом конце коридора. Кажется, в обязанности мужчины в окошке входило также угадывание всех желаний клиентов, даже невысказанных.

Номер, признаться, произвел на меня впечатление. Он безмолвно

призывал к неге и наслаждениям. На это намекало все: белые с золотом обои, матовые рожки интимных плафонов, двуспальная кровать под балдахином, кактусы, мраморная ванна и малахитовый клозет.

Кокетливая горничная с аккуратно выложенной по последней моде прической (волосы закрывают уши, образуя вокруг лица «овальную рамку»), играя глазами, сказала, что, если месье желает с дороги отдохнуть, она расстелит постель. «Месье» отдохнуть было некогда, а игривых женщин он опасался всю свою жизнь. Девушка извинилась и, постукивая каблукчиками, ушла, одарив «месье» многообещающим взглядом. Несколько минут я наслаждался роскошью, одновременно подсчитывая, во сколько она обойдется МУРу. Совесть моя была чиста: на таком номере настоял Сухо-руков.

Злотникова в конторе не оказалось, но мне дали его домашний телефон. Женский голос дважды переспросил мою фамилию:

— Баранец? От Петра Николаевича Иванова? Подождите у аппарата, Никита Захарович сейчас подойдет.

Я до мельчайших деталей продумывал все возможные варианты своего телефонного разговора со Злотниковым. Но все получилось более чем просто: Злотников предложил мне подъехать к нему.

— Когда? — спросил я.

— Да хоть сейчас, если вы уже успели отдохнуть с дороги и у вас нет других неотложных дел. Приедете?

— Да, через часок.

— Адрес знаете?

Он подробно рассказал, как к нему добираться от «Марселя», и повесил трубку. Я, конечно, знал, что Сердюков еще позавчера перебрался от него на Смоленский рынок. Мне об этом тотчас же доложил наш агент, которому было поручено наблюдение. Но все-таки на подобное приглашение я не рассчитывал. Ловушкой здесь не пахло. Видимо, я недоучел того значения, которое Злотников придает Иванову. А может быть, приглашая меня, он руководствуется какими-то другими соображениями? Возможно. Но как бы то ни было, а начало положено, и неплохое. Чем быстрее состоится встреча двух «будущих друзей», тем лучше. И Георгий Баранец и Александр Белецкий оба в одинаковой степени были уже к ней готовы.

— Только не зарывайся, — предупредил меня Виктор, которому я позвонил сразу же после разговора со Злотниковым. — Понатуральней, без излишнего нажима. Не переигрывай... Номер хороший?

— Мечта изпмана.

Виктор хохотнул.

— Ванна, картины, ковры?

— Все есть. Даже малахитовый клозет.

Малахитовый клозет, кажется, его добил. Он длинно и затейливо выругался и сказал:

— Давай свой телефон.

Я сообщил ему номер комнаты и свой телефон.

— Между двенадцатью и часом перезвоню тебе. Привет от Фреймана. Интересуется, как со скальпами.

Побрившись, я отправился на квартиру к Злотникову.

Басова в вестибюле уже не было. Не было и дамы в окружении чемоданов, компании восточных людей, девиц с папиросами и юношей в блузах. Вестибюль опустел. Только по-прежнему стояли в кадках, растопырив широкие пальцы, приземистые пальмы и улыбался своей неизменно доброжелательной улыбкой мужчина в окошке. Клиенты отсутствовали. Он улыбался, выполняя свой служебный долг, сам себе, а может быть, и забавлявшей его надписи: «Запомни заповедь одну: с собою в клуб бери жену». Интересно, есть ли у него жена, которую он водит в клуб? Если есть, то улыбающимся она его, наверно, не видит: тот, для кого улыбка — заработок, бесплатно не улыбается. Недаром говорят, что самые мрачные люди — это клоуны. Я встретился с ним взглядом, и он кивнул мне, как старому доброму знакомому. Потом, все так же продолжая улыбаться, он повернулся ко мне боком, словно демонстрируя свой резко очерченный профиль с крупным носом. Теперь он походил на старого, нахохлившегося ворона, и его улыбка только усугубляла это неожиданное сходство.

От гостиницы до Казарменного переулка было не более получаса ходьбы, но я не торопился, наслаждаясь предвечерней весенней прохладой и веселой суетней улиц. Я останавливался возле витрин магазинов, театральных афиш, глазел на броские вывески кинотеатров. Мне нужно было, как говорят спортсмены, привести себя в соответствующую форму и наметить линию поведения при разговоре со Злотниковым.

Каким должен быть провинциал? Видимо, наивным, но в меру, переигрывать здесь опасно. Наивность Баранца не должна затуманивать основное — коммерческую сметку, неумное желание получить от столичной жизни все удовольствия. Баранец стремится вылезти в миллионеры. И Злотников для него только ступенька. Итак, немного непосредственности, немного наглости и видимость уважения. Разговор только о делах и развлечениях. Так-то, уважаемый!

Память вновь и вновь перелистывала страницы пухлого тома, посвященного убийству в полосе отчуждения железной дороги. Странное все-таки дело. В нем сплелись в клубок судьбы самых различных людей: самодержца Николая II и купеческого сына Николая Богоявленского, большевистского комиссара Яковлева и потомственного дворянина Стрельницкого, гвардейского офицера

Азанчевского-Азанчеева и полусумасшедшей поклонницы Григория Распутина «богоматери» Лохтиной. А потом в этот клубок внесли свою лепту уголовник Сердюков, Иванов и, наконец, нэпман Злотников... Не дело, а ноев ковчег! Но почему бы Злотникову не стать ключом к разгадке происшедшего, а Александру Белецкому — тем человеком, который повернет этот ключ?

Свернув у кинотеатра «Сплендит-палас» в знакомый проходной двор, я вышел на Покровский бульвар и вскоре оказался в темном и гулком переулке. Вот и нужный номер дома. В густой тени арки стоял, скрестив на груди могучие руки, широкоплечий дворник.

— Гражданин Злотников здесь живет? — спросил я.

Не торопясь с ответом, дворник внимательно осмотрел меня. Делал он это не исподтишка, а в открытую, как полномочный представитель власти. Видно, недаром Медведев все время настаивал на переводе дворников из профсоюза коммунальщиков в союз совработников, утверждая, что «домовый дворник — глаз милиции, ее младший брат и ближайший помощник».

Изучив лицо и одежду неизвестного, мой «младший брат и ближайший помощник» с помощью двух пальцев трубно высморкался и неохотно буркнул:

— Направо. Первый подъезд, третий этаж. Там табличка на двери.

Представляя себе, как завтра Сухоруков будет читать рапорт-тичку моей внешности, я развеселился. Любопытно все-таки, как я выгляжу в глазах своего «младшего брата». Как я успел убедиться, Мустафаев — так звали дворника — литературным талантом не блистал, но обладал наблюдательностью. Оперативник из него получился бы неплохой, во всяком случае, получше Мотылева.

На лестничной площадке третьего этажа желтел затянутый паутиной фонарь в металлической сетке. Он освещал небольшую медную табличку на обитой кожей двери: «Злотников Никита Захарович, инженер». Скромно, внушительно и почти правдоподобно. Почему бы владельцу технической конторы и не быть инженером?

Я нажал кнопку звонка.

— Кто там?

— Свои.

— Георгий Валерьянович?

Щелкнул замок, зазвенела цепочка. И в освещенном квадрате дверного проема я увидел пожилого мужчину в халате и домашних туфлях. За его спиной застыли в выжидательной позе два черных бульдога. Низкорослые, кривоногие, широкогрудые, словно вырезанные из черного дерева, они не лаяли. Они только оценивали меня и ситуацию.

— На место! — крикнул им Злотников и широко распахнул

дверь. Лицо его лучилось гостеприимством.— Заходите, Георгий Валерьянович, заходите. Надеюсь, не плутали? Сразу нашли? Ну и слава богу! А то Москва, она город путаный: всё переулки да закоулки. Всю жизнь в Москве прожил, а, признаться, не люблю. Да и вообще городов не люблю. Какая в них благодать? Ни воздуха, ни простора. То ли дело деревня! Там люди к богу ближе и душой чище и телом. Я-то знаю, сам из мужиков...—Чего ж вы не раздеваетесь? — он помог мне снять пальто и, не переставая сорить словами, будто подсолнечной шелухой, провел в гостиную — большую комнату с тюлевыми занавесками, фаянсовыми и фарфоровыми статуэтками, с аквариумом и затянутыми в белые чехлы худосочными креслами.

При виде меня сидевшая на оттоманке седоватая женщина отложила вязанье и встала.

— Знакомьтесь, Георгий Валерьянович, моя супруга Аглая Степановна. Можно даже сказать, подруга жизни. Тридцать лет душа в душу прожили, и в счастье и в горе вместе были. Не жалуюсь. Вот только детишек бог не послал. Так собачек в утешение завели.— Лежащие по краям оттоманки бульдоги, как по команде, насторожили уши и шевельнули обрубками хвостов. Ничего не скажешь, милые собачки!

— Вы еще не женаты, Георгий Валерьянович? Молодой да холостой? — спросил Злотников и тут же, не дожидаясь ответа, опять посыпал скороговорочкой: — Не женаты, не женаты, по лицу вижу. У холостых в лице задор да мечтательность, а у женатых — заботы: то надо сделать, это надо сделать. Женатая жизнь без хлопот не бывает. Петушком не походишь!

— Да хватит уж тебе,— брюзгливо сказала Злотникова,— вонец человека заговорил.— Протянула мне ручку лодочкой.— Верьте — нет, а все тридцать лет проговорил, да еще один год, когда в женихах обхаживал...

— Полюбил — заговорил — тридцать лет проговорил,— подхватил Злотников и раскатился смешком, будто медь на пол посыпал.— Все за болтовню меня винит, а того понять не желает, что женатый не холостой, удовольствий у него мало. Какие у женатого удовольствия? Поговорить да за пульткой посидеть. Уважаете картишки, Георгий Валерьянович? Нет? Правильно делаете. Стариковское занятие. А в молодости карты к добру не приводят. Ох, сколько бед от карт в молодости! Азарт. Руки дрожат, глазки горят... Страсть!

— Ты бы хоть посадил человека,— недовольно сказала Злотникова, которую, кажется, раздражал весь этот спектакль.

Злотников, будто изумленный мудростью этих слов, склонил к плечу свою яйцевидную, сильно облысевшую на темени голову и обрадованно закричал:

— А ведь верно говорит Аглая Степановна! Чего стоять-то зря? Вы уж извините старика за забывчивость, Георгий Валерьянович! Присаживайтесь, голубчик. Вон то креслице берите — да к столу. Жадный я до свежих людей. Гости-то у нас редко бывают: молодым недосуг, а у стариков свои заботы и хворости. Вот я и накинусь на вас, аки лев, даже стула не предложил. Простите великодушно. Сейчас Аглая Степановна на стол соберет. Верно, проголодались с дороги?..

Я сказал, что поужинал в ресторане при гостинице. Злотников не настаивал. Кажется, мой отказ от ужина его обрадовал.

— Тогда вместе чай пить будем,— сказал он.— Аглая Степановна у меня на все руки мастерица, а варенье варит — ни в одном ресторане такого не отведаете. Уж вы не отказывайтесь — обидите. Почаевничаем да побеседуем. Расскажите мне про своего дядюшку, как его здоровье да дела, свои заботы выскажите.

Обрушившийся на меня словесный поток совершенно выбил из моих рук инициативу. Видимо, это был обычный прием Злотникова: прежде всего оглушить, смять собеседника. Если так, то он мог торжествовать. Но ведь наше знакомство только начинается, Никита Захарович! Только начинается, уважаемый!

Дочитав письмо Иванова, Злотников, будто испугавшись, что дал мне слишком длинную передышку, неожиданно спросил:

— Вы верующий, Георгий Валерьянович?

— Конечно.

— Вот за это хвалю. Человек без веры — комок глины, грязь, прах под ногами дьявола. Только вера человека человека делает. Ведь бог человека из глины создал, но по образу и подобию своему, душу в него вдохнул. А душа верой питается, аки тело хлебом. Веруйте, Георгий Валерьянович! — Он поднял вверх указательный палец с обломанным ногтем, и его немолодое, одутловатое лицо стало торжественным и ликующим.— Веруйте! В вере пища духовная и спасение наше! Вот сейчас мода на неверие пошла. Молодежь кресты срывает нательные, церкви святые громит. А к чему это ведет? К пустоте душевной. Вот к чему! Если всевышнего не признавать — да простит мне господь! — то и к жизни благостной стремиться ни к чему. Грабь, убивай, режь, прелюбодействуй, распинай... Что человека сдерживает, когда лекторы во всех клубах трезвонят, что загробной жизни нет? Все возможно, все позволено. А раньше святые заповеди вместо цепочек были: почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую господь твой дает тебе; не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего... Вон как! А нарушишь заповедь — тут тебе и кара: отправляйся, раб божий, в геенну огненную! Боязнь перед карой людей держала, страх перед всевидящим господом праведниками делал...

Прислуга давно уже подала чай, а Злотников, не обращая внимания на косые взгляды жены и на то, что я ерзаю на стуле, продолжал без умолку говорить о боге, вере, честности — обо всем том, что, судя по его биографии, не имело к нему никакого отношения.

Неведомыми мне путями он добрался до Каина («И ныне прокляты от земли, которая отверзла уста свои принять брата твоего от руки твоей»).

У лежащих на оттоманке бульдогов были постно-благочестивые морды прилежных прихожан, уже в сотый раз слушающих одну и ту же проповедь. Им было скучно, но они хорошо знали, что хозяина не выбирают: какой есть. И они ханжески изображали внимание. Однако, когда Злотников, цитируя «Исход», заговорил о восхождении Моисея на гору Синайскую, один из бульдогов, подняв вверх тупорылую морду, жалобно заскулил. Не выдержал и я:

— Никита Захарович! Вы, кажется, собирались поговорить о делах?

— О делах? — удивился он и скорбно опустил глаза в успевший остыть чай.

Наступила неловкая пауза. Воспользовавшись удобным случаем, бульдоги мгновенно сбросили с себя маску благочестия и одновременно шевельнули куцыми хвостами. Хозяйка зевнула, прикрыв рот ладонью.

— Эх, Георгий Валерьянович, Георгий Валерьянович! — вздохнул Злотников. — Дойдет черед и до дел. Вам, молодым, только бы о делах да развлечениях, а нам, старикам, и о душе не грех подумать. Не уйдут от нас с вами дела. На недельке обо всем потолкуем. Куда спешить? Все успеем... — Он поднял на меня глаза, ясные, голубые, невинные. В них была укоризна и святость.

Уже через полчаса, проклиная Злотникова, бульдогов и свою неумелость, я входил в вестибюль гостиницы. Человека в окошке не было, но улыбка его осталась. Вместе с журналом регистрации приезжих он передал ее своей сменщице, рыжеволосой даме...

## XXVIII

Вечер, проведенный у Злотникова, отнюдь не способствовал вере в успех задуманной операции. Смущало многое. Почему Злотников ушел от делового разговора с приезжим эппманом, в то время как, по сведениям секретной части, нуждался в привлечении дополнительного капитала? Казалось бы, ему следовало ухватиться за эту возможность обеими руками, а он не проявил к делам никакого интереса, проболтав весь вечер... Почему? Может быть, я допустил какую-то оплошность?

Все это меня тревожило.



Но Сухоруков отнесся к рассказанному как к чему-то само собой разумеющемуся.

— Пуганая ворона куста боится,— сказал он, когда я поделился своими опасениями.

— А как ты это расцениваешь?

Виктор покрутил головой.

— Простая арифметика. Все как положено: два плюс два всегда четыре. На что ты рассчитывал? На то, что он откроет первому встречному все свои карты?

— При чем здесь «все карты». Баранец ни на какую откровенность не претендовал, и он для него не первый встречный, а родственник Иванова...

Виктор улыбнулся и снисходительным тоном, каким он со мной обычно разговаривал в гимназии, сказал:

— Не деловой ты человек, Саша! «Родственник Иванова...» А кто такой Иванов? Финансовый туз, крупный оптовик? «Родственник Иванова...» Ну и что из этого? Ничего. Ты пойми, что рекомендация Иванова — «бронзовый вексель», пустая бумажка, ничем не обеспеченная. Кто учтет этот вексель? Кто его всерьез принимать будет? Иванов для них всех чужак, овца приبلудная... Состригли шерсть — и на шашлык. Понял?

— Ну допустим. Ладно, рекомендация Иванова — «бронзовый вексель». Не спорю. Но деньги Злотникову нужны?

— Нужны.

— Почему же он от них отказывается?

— А он не отказывается. Он просто боится. И хочется ему, и колется. Дела у него темные, подпольные... Как незнакомому довериться? Возьмет и продаст. А чего ему за решетку торопиться? Ему и на воле неплохо...

— Но зачем ему откровенничать с Баранцом?

— Да потому, что ни один коммерсант, даже самый придурковатый, ему вслепую денег не даст: И Баранец не даст,— усмехнулся он.— А если даст, то выговор в приказе по МУРу получит, а еще того хуже — сам себя провалит... Уразумел?

— Значит, ты считаешь, что Злотников будет наводить о Баранце справки?

— А как же? — удивился Виктор.— Обязательно тебя «взвесит». Иначе ему нельзя...

Перспектива была не из приятных.

— И чем же это «взвешивание» окончится?

— Само собой, полным доверием,— сказал Сухоруков.— Тут можешь быть спокоен, пусть «взвешивает». Подкладка у тебя под «легенду» прочная, не прорвется, я уж постарался. Отзывы о Баранце будут хорошими.

— Но время-то идет...

— А оно зря идти не должно. Пусть Злотников выжидает. Тебе-то чего ждать?

— Но если Злотников мне не доверяет...

— Что не доверяет? Свои дела торговые? Ну и черт с ними. Тебе это не помеха. Злотников же из кожи вон вылезет, чтобы Баранца конкуренты не перехватили. Баранца упускать никакого расчета нет. Вот и будет тебя, словно красну девицу, задаривать да обхаживать, чтобы ты с другими не заигрывал. А ты этим и воспользуйся: и развлечений требуй от кавалера своего, и духов, и пряников, и разговоров сладких... А нет — тут же другим подмигивать начинай. Девица ты вольная, смазливая, бойкая, а свет не на одном Злотникове клином сошелся.

Не скажу, что сравнение с «бойкой девицей» мне польстило, а рассуждения Виктора показались убедительными. Но разговор с ним все-таки успокоил.

По совету Виктора я решил Злотникову на следующий день не звонить, чтобы не проявлять излишней заинтересованности. У Баранца были все основания обидеться: он возлагал на Злотникова такие надежды, а тот увильнул в разговоре от самого главного! Позвонит Злотников провинциалу или нет? Злотников позвонил...

В половине десятого утра, когда, позавтракав, я просматривал у себя в номере газеты (они входили в стоимость номера), раздался телефонный звонок. По моим расчетам, звонить в это время мог только Злотников. Я решил выдержать характер и трубку не снял, хотя меня подмывало любопытство. Через десять минут снова звонок.

А вам, Никита Захарович, видно, не терпится поговорить с вашим гостем, уж больно настойчиво вы этого добиваетесь? Ладно, Баранец готов вас выслушать.

— Георгий Валерьянович? — раздалось в трубке. — Доброе утро, дорогой вы мой! Не разбудил? Все сны досмотрели? Небось грешные снились?.. Нет? Тогда все по науке. Уж так, видать, заведено: грешникам праведные сны снятся, а праведникам — грешные. Кому чего недостает... Я, между нами говоря, Аглае Степановне уже с сотой изменяю. И духом грешен перед ней, и телом. А все во сне. Наяву — ни-ни... — Он захихикал, захлебываясь смехом и повизгивая.

Говорил он со мной ласково и настороженно, словно незнакомую собаку ласкал: погладит остороженько и тут же руку отдернет — а не укусит? И опять с опаской за ухом чешет: давай, Жучка или — как там тебя? — Полкан, друзьями будем. Хорошая ты моя, умная... Небось мясо любишь, а? Ну чего рычать, чего?

Чувствовалось, что Злотников старается сгладить неприятное впечатление от вчерашней встречи. Кажется, он действительно опасался, как бы «красна девица» не отдала предпочтение другому.

И Георгий Валерьянович, уловив заискивающие нотки в его голосе, разговаривал с ним подчеркнуто сухо. Но Злотников этого не замечал. Он заботливо расспрашивал, доволен ли я гостиницей, как я вчера добрался, а в заключение предложил вместе пообедать.

— В былые времена у «Яра» бы закусили, а теперь вот не знаю, куда и повести. Разве что в «Загородный»? — сказал он. — Заодно покажу, что от «Яра» да ипподрома осталось... Не возражаете? Так я пополудни заеду за вами, Георгий Валерьянович. Прокатимся с вами по Тверской-Ямской...

Второразрядный ресторанчик «Загородный» находился по тем временам довольно далеко от центра города и ничем не отличался — ни кухней, ни оркестром — от множества других заведений того же рода, созданных в годы нэпа предприимчивыми хозяевами. Почему Злотников решил пригласить провинциала, на которого явно хотел произвести впечатление, не в фешенебельный «Медведь» или, допустим, в «Эрмитаж», где собирался цвет нэпманской публики, а именно в «Загородный»? Скупится? Вряд ли... Скорей всего, у него какие-то другие соображения. Какие?..

В дверь постучали. Тихо, но настойчиво. Такой стук нельзя было не услышать, и в то же время он не раздражал клиентов.

— Разрешите?

— Пожалуйста.

Вошла вчерашняя кокетливая горничная. Извинилась. Поздоровалась. Стрельнув глазками, спросила, когда можно будет убрать у меня в номере. Я ответил, что хоть сейчас.

— Месье уходит?

— Да.

Горничная одобрила мое решение. Зачем сидеть в душной комнате, когда так хорошо на улице? Сейчас тепло, очень тепло. Можно гулять даже без пальто. А на Москву в воскресенье посмотреть стоит. Месье еще не был на Красной площади? Пусть обязательно сходит. Здесь рядом.

Может быть, месье нужно что-либо купить? Она готова посоветовать, где достать дамские шелковые чулки телесного цвета (мода!), французские туфли, духи... Ах, месье еще не женат? Что ж, холостым мужчинам в Москве не скучно... Здесь так много развлечений! Впрочем, все приезжие выдают себя за неженатых и, подъезжая к Москве, прячут в жилетный карман обручальное кольцо. Она, конечно, девица скромная и ничего себе не позволяет, но недавно с ней произошел такой пассаж, что она до сих пор краснеет... Месье уже уходит? Она от души желает ему приятной прогулки.

Интересно, где такие вот девицы находились в эпоху военного коммунизма? Пересыпанные нафталином, лежали по сундукам вместе со старорежимными сюртуками и лисьими ротондами? Или, замураванные и жалкие, стояли в очередях за хлебом? «Месье»... Это слово она произносила в нос, с французским прононсом. Парижанка, да и только!

День был теплый, солнечный, почти по-летнему светлый. Какое там пальто! В рубашке и то не замерзнешь. На улицах все было настоящее, московское, без подделки: и сутолока, и шум, и запах перележавших зиму прелых листьев, и дурашливая суматошность лоточников, и плотно прижатые к толстым бокам локти — защита от карманников («На-ка, выкуси!»), переборы гармошки, нахально-деловитые воробы, пыль вперемешку с бумажками от конфет, перебранка грачей, дорожки перламутровых пуговичек на «кавказских рубашках» совслужащих и басовитый окрик: «Куда прешь, гражданин? Ныне все равные...»

Палаточники и разносчики, жмурясь от солнца, торговали сластями, орехами, цветами, разными куклами, жетонами. Подбрасывали и ловили свои щетки в воздухе чистильщики обуви. В сквере у Театральной площади в окружении ребятишек скалил крупные и желтые, как у старой лошади, зубы увешанный разноцветными бумажными шариками, лентами и «тещиными языками» плосколицый китаец. Худой, почти прозрачный подросток продавал стеклянных чертиков в пробирке: «Буржуй носатый — черт полосатый!» А немного поодаль, в подворотне, безногий и пьяный инвалид с прилипшим к нижней губе окурком и с гирляндами воздушных шаров в обеих руках, подпрыгивая на своих деревяшках — вот-вот взлетит в воздух! — надрывно и сипло кричал: «Мамаши и папаши! Дедки и бабки! Деньги не зажимайте, шары покупайте! Красный — революция! Желтый — контрибуция! Хватай, граждане!»

Мимо Верхних торговых рядов, где торговали и мясом и галантереей, катились пролетки, ландо, коляски. Распространяя запах бензина и пугая еще не привыкших к подобному соседству лошадей, проехал яично-желтый прокатный автомобиль. У сидящего на задних подушках гражданина с длинными остроконечными усами был гордый и в то же время настороженный вид: так же, как и лошади, он не до конца доверял новому виду транспорта.

У киоска с газированной водой я лицом к лицу столкнулся со знакомым парнем из административного отдела Моссовета. Он оглядел меня ошалелыми глазами и, не подавая руки, подозрительно спросил:

— Ты чего это вырядился? Галстук нацепил, шляпу...

Я представил себе на секунду, что бы произошло, если бы сейчас со мной был Злотников, и решил больше судьбу не искушать. Прогулка и так затянулась.

Когда я вернулся в гостиницу, Злотников уже ожидал меня в вестибюле.

— Гулять изволили, Георгий Валерьянович? Красавиц-то сколько, а? Глаза избегают! Мой совет — в Москве невесту ищите.

Злотников, не торгуясь, взял лихача, и мы поехали в «Загородный». По пути он любезно показывал мне московские достопримечательности, расспрашивал об Иванове, о его жене («Тетенька у вас, Георгий Валерьянович, дама прелестная. Петр Николаевич не промах, по плечу себе деревцо выбрал...»), сетовал на свою занятость («Давно вашего дядюшку навестить собираюсь, да все недосуг. Дела! С одним разделаешься — другое подкатывается»).

Я решил во что бы то ни стало использовать сегодняшнюю встречу. И продумывая, как бы поосторожней подойти к интересующим меня вопросам, мало прислушивался к болтовне Злотникова. Несколько раз я ему отвечал невпопад. Но Злотников, кажется, не обратил на это внимание.

Ресторанчик «Загородный» находился в помещении, которое раньше занимал известный среди «тотошников» трактир «Перепутье». В этом трактире бывали жокеи, наездники, конюхи и тренеры. Здесь можно было обменяться мнениями о дерби, поспорить о лошадях, подпоив жокея, выведать шансы на победу того или иного фаворита, краешком приобщиться к роскошной жизни владельцев лошадей, кутящих по соседству в сказочном «Яре». «Яр», конечно, был не чета «Перепутью». Гордые лакеи во фраках, хрусталь, серебро, цыгане, венские хористки в розовых юбках и белых перчатках. Там подавались зернистая икра в серебряных ведрах, руанские утки, выписанные из Франции, красные куропатки из Швейцарии, котлеты Помпадур, Мари-Луиз, Валларуэ... Вина: коньяк «Трианон», мадера «Серцеаль», портвейн Лева. От одних названий могла закружиться голова. И, глуша смирновку, постоянные посетители «Перепутья» завистливо вздыхали: «Живут же люди!» Каждый из них, комкая в потной руке афишку, мечтал сорвать банк в тотализаторе, за один день стать всевластным богачом, одним из тех, перед кем гостеприимно раскрываются двери «Яра».

Давно это было. Исчез «Яр», исчезли «тотошники», цыгане, венские хористки и даже замысловатый герб Императорского дворянского скакового общества. Не повезло и ипподрому. В октябре 1917 года, когда артиллерийские батареи, расположившиеся на Ходынском поле, выкуривали из Кремля засевших там юнкеров, несколько снарядов разорвалось на территории ипподрома, превратив в щебень немало построек. А в 1918 году вспыхнули факелом ряды пятиэтажных трибун. Со всех концов Москвы был виден этот зловещий факел. Причину пожара тогда пытались выяснить и МЧК и Московский уголовный розыск, но напрасно.

Посетителей в «Загородном» было мало. Метрдотель, суетливый, нескладный, одетый с претензией на шик, но в несвежей сорочке, размахивая руками, проводил нас в маленький зал, примыкающий к веранде. Злотникова он называл по имени-отчеству. Видно, тот был здесь постоянным посетителем. Мы сели за столик у окна. Не посмотрев в карточку, Злотников сделал заказ официанту.

— Померанцевая здесь знаменитая. Опробуем, Георгий Валерьянович? — спросил Злотников, подмигивая мне.

— Как желаете.

Он захихикал.

— Деликатный гость пошел, деликатный.

Перед нами поставили графинчик померанцевой, бутылку вина и закусу.

— Поехали, Георгий Валерьянович?

Поглядывая в окно на высокий, поросший травой и обсыпавшийся вал — бывший «Ирландский банкет», возле которого теперь притулилась мужская уборная, Злотников вспоминал про бега. После второй рюмки глазки его мечтательно затуманились.

— Красивое зрелище, Георгий Валерьянович, — говорил он, — словами и не выскажешь, посмотреть надо. Жокеи, будто цветы на поле, лошадки, «американки»... Ах какие лошадки! Картинки! Как за детками малыми, уход за ними был. И завтрак, и полдник, и обед — все по часам. У меня конюх знакомый имелся, так он рассказывал: кашка из отрубей и льняного семени, в овес — яйца, морковь, яблоки... А сено не наше, особое, из Эстляндии. И боржомчик. Вот как! Ну а об остальном не говорю: резиновые башмачки для копыт, в стойлах вода горячая, кафель... И человеки — хе, хе — такой жизни позавидуют, если, конечно, к лошадиному пайку чего веселящего добавить... Еще по рюмочке не желаете?... Зато и лошадки были сказочные: хвост, грива, сама вся лоснится — зеркало, хоть смотрись. Мчится — по воздуху летит, ковер-самолет, да и только! Любил я бега. Да разве один я? Кого здесь, бывало, не встретишь: и купцов, и аристократов, и отцов святых!

— Говорят, и Распутин сюда заезжал?

— А как же! — сказал Злотников, прожевав ломтик семги и вытирая рот салфеткой. — Заезжал. Как приедет в Москву, первым делом сюда. Не обойдет. Ведь Гришка у «Яра» свой кабинет любимый имел. Так и называли его «распутинский» или еще — «лампадный». Там ему хористки и матчиш и кекуок выплясывали. Протоирей Александр Васильевич, законоучитель детей царских, обер-полицмейстер Трепов, Митька Рубинштейн, и он. Гулял так, что чертям тошно было. Вот здесь, где мы с вами обитаем, раньше трактирчик был. Ну, я и забрел сюда. Дважды при том присутствовал, как его волоком из «Яра» выволакивали. Крепкий мужик был, косая сажень в плечах, а в глаза глянет — жуть берет,

дьявольские у него глаза были. А одевался он просто, по-мужичьи. И в «Яр» в таком обличье закатывался, и на бега. Только он в лошадях мало понимал, хотя и конокрадом был в молодости. Сидит себе в партере, бороду венником выставит, глазами хлопает и на дам поглядывает. А те, понятное дело, вывертываются, позы покрасивше принимают...

Злотников много и подробно говорил о связях Распутина с женщинами. Как я успел заметить, он вообще охотней всего говорил о женщинах и о боге. От Распутина было уже легко перейти к Лохтиной. И я рискнул. Почему, в конце концов, провинциал Баранец не мог поинтересоваться «святой матерью Ольгой», о которой так много писали газеты? Это было вполне естественно. Реакция Злотникова оказалась неожиданной. Я предполагал, что он постарается уклониться от этой скользкой для него темы. Но его как будто даже обрадовали мои вопросы. Он отвечал на них с покровительственной и радостной готовностью старого учителя, которому льстит интерес учеников.

— Знал Ольгу Владимировну, знал, — говорил он, морща в озорной усмешечке губы. — Можно даже сказать, благодетельница моя, с ее заступничеством я у монастыря во времена оны хлебушко покупал...

По словам Злотникова, он познакомился с Лохтиной, когда работал вторым приказчиком у мукомола Чубайса. Чубайс послал его в Поволжье для закупки зерна. Поездка оказалась неудачной: цены на зерно намного превышали предполагаемые хозяином. Но Злотникову повезло.

— В Царицыне тогда монастырь был, — говорил он. — Не знаю, сохранился ли сейчас. Верно, разграбили. Илиодор им заправлял, дружок распутинский. Большую власть имел, губернатор и тот его побаивался. Ну и вот, когда я, не солоно хлебавши, восвояси собрался, слухок прошел, что приезд Распутина ожидается. В молодости, признаться, я не очень монастыри уважал. Не по характеру они мне были. А тут любопытство взяло на царского лампадника взглянуть. Дай, думаю, съезжу на праздник монастырский. Поехал. Народу — не пробьешься. Пролез я во внутренний двор, рядом с какой-то дамой пристроился. Строгая такая дама, гордая. Но сами понимаете, к даме интереса у меня нет. Только Гришку вижу. А он речь держит. Так и так, дескать, насадил здесь батюшка Илиодор виноградник, а я, как опытный садовник, приехал его подрезать. А потом стал подарки раздавать. «Получайте, — говорит, — подарки. И знайте, что подарки эти со значением: кто что получит, тот то и в жизни испытает». Кому платочек достался — плакать. Кому сахар — радоваться, жизнь сладкая. А иконка — значит, в монастырь идти, в монахини, грехи замаливать. Подарки — грош цена, да дармовщинка. Девицы молодые и кинулись, чуть мужиков не затоп-

тали. Меня так к стене притиснули, что ребра трещат. Гляжу: а дама моя от тесноты да духоты — в обморок. Подхватил я ее, а тут монахи набежали: «Ольга Владимировна! Ольга Владимировна!» Оказывается, жена действительного статского советника Лохтина. А я — вроде спасителя. Вот она мне в благодарность и помогла с Илиодором мирские дела уладить. Я тогда четыре тысячи пудов за полцены купил. Дорого Илиодору тот обморок обошелся! — Злотников довольно захихикал и встряхнул пустой графинчик из-под померанцевой. — Еще по одной, Георгий Валерьянович?

— Хватит, пожалуй. А знакомство интересное...

— Не столь интересное, сколь полезительное, — уточнил он. — Только я им больше не пользовался: на разных орбитах мы с ней жили. Примечательная дама была эта Лохтина...

— Умерла?

— Будто бы нет. Говорили мне, что ее недавно в Москве видели. Только уже не та дама, старуха дряхлая...

Какой-то новый трюк? Нет, Злотников не хитрил. Я это чувствовал. Но чем тогда объяснить эту странную словоохотливость? В голову приходили разные мысли. Но среди них не было одной, казалось бы, самой естественной: что Злотникову скрывать нечего, что он не имеет никакого отношения к убийству Богоявленского, а его знакомство с Лохтиной началось и закончилось много лет назад в Царицыне. Это предположение было слишком простым для того, чтобы я мог в него тогда поверить. Подобное часто бывает в нашей работе. Кроме того, меня гипнотизировало, что Сердюков после побега скрывался у Злотникова. Раз он жил у Злотникова, а побег Сердюкову организовывала Лохтина, значит, они были связаны друг с другом. Во всяком случае, так мы с Фрейманом думали.

К нашему столику подошел лощеный человек — старомодном, хорошо сшитом сюртуке. Старомодным был не только сюртук, но и седая бородка лопаточкой, перстень с крупным бриллиантом, бутоньерка. У него было тонкое, брезгливое лицо с бледной, нездоровой кожей и тяжелый, вязкий взгляд.

— Надеюсь, не помешал? — сказал он, обращаясь куда-то в пространство, будто к нашему невидимому собеседнику.

Злотников вскинул, засуетился, запрыгал. Я даже не ожидал от него такой прыти.

— Вот так встреча, вот так встреча! — проговорил он, семена ногами и раскачивая в такт словам своей лысой головой. Он весь излучал радость. — Прошу вас, Борис Арнольдович, прошу. Будем счастливы. Какими судьбами?

Несмотря на радостное удивление Злотникова, мне показалось, что встреча не случайна, что они о ней договорились заранее.

Будто не замечая суетящегося Злотникова, человек с брезгливым лицом отодвинул стул, сел, словно оказывая нам этим великую



милость, ловким щелчком холеных пальцев сбросил со скатерти какую-то крошку. Потом, откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу, он с тем же безразличным выражением лица взглянул на меня. Его глаза задержались на моем лице чуть дольше того, чем это допускали правила приличия. Белецкий бы оскорбился и сказал какую-либо резкость. Но Баранец был подавлен этой самоуверенностью, граничащей с наглостью, и промолчал. Он понимал, что перед ним светило первой величины.

— Если не ошибаюсь, гражданин Баранов? — спросил Борис Арнольдович.

— Баранец. Георгий Валерьянович Баранец, — поправил Злотников.

— Пардон, — сказал тот, совершенно не испытывая неловкости. — У меня, к сожалению, плохая память на фамилии. — Не подавая руки и даже не делая вида, что собирается приподняться, он коротко кивнул мне: — Будем знакомы. Борис Арнольдович Левит. — И тут же, не оборачиваясь, через плечо бросил официанту: — Мне то, что обычно.

Когда официант отошел, Злотников подобострастно спросил:

— Какие-нибудь новости имеются, Борис Арнольдович?

— Вас, конечно, интересуют международные?

Злотников с готовностью захихикал, а Левит снисходительно усмехнулся и сказал:

— Видимо, на днях будет решение совдепа о восстановлении ипподрома.

— А как с подрядами?

— Одно связано с другим.

Больше о делах не было сказано ни слова. Но и сказанного было вполне достаточно, чтобы понять, почему Злотников пригласил меня именно в «Загородный».

Разговаривая со Злотниковым, Левит, казалось, совершенно не обращал на меня внимания, но все же временами я чувствовал на себе его тяжелый взгляд.

Левит... Знакома меня с деловыми связями Злотникова, Сухоруков такой фамилии не упоминал. Это я помнил точно.

## XXIX

Как была организована проверка Баранца, не знаю. Но Злотников справился с ней довольно быстро, за каких-нибудь три-четыре дня, и кончилась она для меня благополучно: ее результатами нэпман был удовлетворен. На душе стало полегче.

О том, что меня уже «взвесили», я узнал совершенно случайно, из брошенной вскользь Злотниковым фразы, что, продавая заводик, я продешевил.

К тому времени у меня установились со Злотниковым хорошие отношения, которые обещали перерасти в тесные деловые связи. Баранец ему подходил. Провинциал, конечно, звезд с неба не хватал, у него не было ни опыта, ни размаха, ни стоящих идей, но зато он оказался покладистым парнем без особых претензий и, в отличие от столичных дельцов, не пытался укунить руку, которая подносила к его рту ложку. Кроме того, по наведенным справкам, у Баранца имелись деньги, реальные деньги, а не сомнительные бумаги. Злотников учел все. Баранец его полностью устраивал. Подряды на восстановление ипподрома обещали крупные барыши. Если Баранец даст тысяч десять или, на худой конец, семь, его старший компаньон гарантирует ему 20 процентов прибыли. Для начала совсем не плохо. А потом... Потом можно будет предложить и 30 и 35 процентов. Не все сразу. И, оберегая от соблазнов, Злотников старался держать меня поближе к себе.

Отношение хозяина дома передавалось и его домочадцам. Когда я появлялся у Злотниковых на квартире, Аглая Степановна откладывала вязанье и приглашала меня к столу, на котором тотчас же выстраивались вазочки с вареньем, а бульдоги, приветствуя в моем лице частное предпринимательство, доброжелательно скалили свои саблеобразные клыки и махали обрубками хвостов. Баранец ценил это радушие, оказывая хозяйке дома различные мелкие услуги.

Развлекая гостя, Злотников теперь говорил с ним не столько о боге, сколько о сугубо земных делах, в которых он разбирался, пожалуй, лучше, чем в библии.

Злотников высоко оценивал возможности, предоставленные непом деловым людям. Когда я как-то посетовал на то, что коммерсанту теперь на каждом шагу ставят препоны, Злотников, покровительственно похлопав меня по плечу, сказал:

— Не гневите бога, Георгий Валерьянович! Это молодость в вас говорит. Сейчас, если хотите знать, имея хорошую голову на плечах, большие дела делать можно, из воздуха миллионы лепить. Про Пляцкого небось слышали?

Торговец металлом Семен Пляцкий подвизался в Петрограде на заводе «Большевик» (бывший Обуховский). В 1921 году его знали там как старьевщика, который скупал обрезки ванадиевой стали. Казалось, на этом много не заработаешь. Но уже к концу двадцать первого года Пляцкий превратился в крупного поставщика. А в двадцать втором году, используя свои старые связи со спецами, Пляцкий заказал заводу прокатать для себя ни больше ни меньше, как 25 тысяч пудов стали, оплатив прокат ниже себестоимости. Из-за этой работы, кстати говоря, «Большевик» задержал выполнение заказов Волховстроя. За какой-нибудь год, уделяя своим людям на заводе незначительную долю прибылей, Пляцкий превратился в миллионера.

Про Пляцкого я не только слышал. Пляцкого мне привелось и допрашивать... Но Баранец мог Пляцкого и не знать...

— Не слыхали про Пляцкого? А про Леву Брегина? Я его по старой памятиевой зову. Теперь он Лев Маркович, кинотеатром «Отрада» владеет да в прибылях еще пяти кинотеатров участвует. А с чего начинал? И пятака ломаного за душой не было, один только кусок кожи, из которой он печать себе сделал. А печать в наше время многого стоит. Раньше власти в бога да в государя императора верили, а теперь только в печать да в мировую революцию. Он это и сообразил, за уполномоченного детской колонии себя выдал. Ну и получил под свой кусок кожи 20 пудов обмундирования от Московского Совета, 8000 рублей от Наркомфина да еще бесплатные билеты со скоростью и мягкостью... По золотым россыпям ходим мы, Георгий Валерьянович! а вы говорите: препоны. Какие уж там препоны, только под ноги смотреть надо да нагибаться почаще.

Я себе представил выражение лица Сухорукова, если бы он мог присутствовать при этом разговоре, и невольно улыбнулся. Злотников истолковал мою улыбку по-своему.

— В старину, Георгий Валерьянович, говаривали: беда, коль пироги начнет печи сапожник. А что мы сейчас с вами наблюдаем? Как сапожник пироги печет. Сам их печет — сам и кушает. От того всяческие несурезицы в Совдепии и проистекают. Был я наемни в губисполкоме — страх. На каждой двери табличка: комиссия по ликвидации неграмотности, комиссия по опеке за несовершеннолетними, экспертная комиссия по видам на урожай, примирительная комиссия, комиссия по восстановленческим кредитам, кооперативная, лесная, школьная, санитарная, волполитпросветная... Всех и не упомнишь. Одну дверь открываю — лишбарышня носик пудрит, другую — гражданин чайник кипятит, третью — в шахматы играют... А каждый из них, Георгий Валерьянович, зарплату, поимейте в виду, получает. Был в Госсельсиндикате — то же самое. Спрашиваю: какие прибыли? А прибылей, говорят, нет, одни убытки — за три года более миллиона рублей. Да и какие уж тут прибыли быть могут? Торговля — дело тонкое, а главное — закон в ней есть: вложи рубль — получи два. А иначе не пирог получится, а слезы одни. Не получилась у них пирог, Георгий Валерьянович, сами они это поняли. Раньше на Русь святую варягов звали, а теперь к нам с вами, к деловым людям, с поклоном пришли — новую экономическую политику объявили: пекуте пирог, люди добрые, у самих у нас не выходит. Вот мы и печем пирог. Только большевикам его не пробовать — сами съедим. Много коммерсантов сейчас обогатилось.

— И все с помощью жульничества? — сделал наивное лицо Баранец:

Злотников сморщился, будто лимон откусил.

— Почему жульничество? — сказал он. — Коммерческая хитрость не жульничество.

— Но все-таки подделку печати и при царе преступлением считали...

Самое забавное, что Злотникова это удивило. Но он тут же нашелся.

— В законах всего не напишешь, Георгий Валерьянович. Всех случаев жизненных не предусмотреть, — сказал он. — Закон — он мертвый, из букв состоит. Как их расставишь, так и получится. А в жизни все зависит, с какой стороны смотреть: с одной посмотришь — подлость, с другой — благодеяние. Мне Борис Арнольдович про мудреца греческого рассказывал, как он с другим мудрецом беседу вел. Спрашивает он у того: врать хорошо? Нет, говорит, плохо. А если на войне главнокомандующий врагов обманывает, это тоже плохо? Нет, хорошо, плохо только друзей обманывать. А если, спрашивает тот мудрец, сыну лекарство требуется, без лекарства он умереть может, а принимать лекарство сын не хочет, глупый. Отец его и обманул, сказал, что не лекарство дает, а еду. Плохо отец сделал или хорошо? Хорошо, отвечает.

Злотников рассмеялся и с ехидцей посмотрел на меня. Он был доволен.

— Вот, Георгий Валерьянович, дорогой вы мой, как греческие язычники все это понимали. Тут сплеча рубить нельзя. Никак нельзя!

Злотников даже не представлял себе, как он меня озадачил, пересказав диалог Сократа с Евфидемом о справедливости. Много позднее, когда, лежа в больнице, я анализировал на досуге свою работу по делу об убийстве Богоявленского, мне казалось, что тот разговор открыл мне глаза и я стал догадываться, в каком направлении станут развиваться дальнейшие события. Видимо, я ошибся и невольно выдавал желаемое за действительное. Ведь человек порой хитрит даже сам с собой. Может, на этом и основано самоуважение... Но сейчас дело Богоявленского уже история, а летописцу положено быть беспристрастным. Поэтому, отбрасывая ложное самолюбие (когда говорят о самолюбии, его всегда почему-то называют ложным), должен сказать, что тогда я, скорей всего, даже не подозревал, какую роль в убийстве Богоявленского сыграл Левит. А заинтересовался я им еще раньше, как только нас познакомил Злотников. И дело тут, разумеется, было не в моей интуиции или какой-то особой прозорливости. Левитом на моем месте интересовался бы каждый. Уж слишком он выделялся на фоне других эппманов, среди которых Злотников и то казался незаурядной личностью. Его манера одеваться, разговаривать с людьми, его ничем не прикрытое презрение к тем, с кем он постоянно общался, — все это не могло

не привлечь внимания. Левит был белой вороной, а белой вороне, как известно, трудно потеряться в стае.

В оперативной работе я уже был не новичок, а оперативник всегда, в силу сложившейся привычки, замечает в людях особенности, то, что отличает их от других. И не только особенности лица, походки, жестов, фигуры, но и характера. Отбрасывая сходство, оперативник фиксирует различия. А в этом отношении Левит был благодатным материалом: его нельзя было не заметить. И я его сразу же выделил из числа своих новых знакомых. Что же касается моего разговора со Злотниковым, то упоминание о диалоге Сократа с Евфидемом только подогрело мой интерес к этому странному человеку, с которым Злотников, насколько я успел заметить, весьма считался, ссылаясь на него как на высший авторитет.

Нэпман, имеющий представление о древних греках и рассуждающий об относительности понятий добра и зла, делец, который старается оставаться в тени, используя для махинаций людей типа Злотникова, — к такому человеку стоило присмотреться. И я стал присматриваться, осторожно расспрашивая Злотникова о Левите. Странно было, что обычно болтливый Злотников, который теперь со мной был достаточно откровенен, настолько откровенен, что даже упомянул как-то о Сердюкове («Жил у меня несколько дней один гражданин сомнительный»), о Левите говорить не любил. А когда я надоедал ему вопросами, отделялся ничего не значащими фразами: «Ну что Борис Арнольдович? Мудростью его господь не обидел, богатством тоже, а так человек как человек: две руки, две ноги, одна голова». И тут же переводил разговор на предполагаемые поставки и подряды, подсчитывая наши будущие доходы от восстановления ипподрома.

— На одних лопатах да кирках тысяч десять заработаем, — говорил он, мечтательно щуря глазки. — Сразу с вами за дело возьмемся, пусть только они решение вынесут. За Борисом Арнольдовичем, как за каменной стеной...

— Но стена-то эта нам небось в копеечку обойдется, Никита Захарович? — сомневался Баранец.

— А что жалеть хорошему человеку, особо если та копеечка для нас с вами рублем обернется? — ласково возражал Злотников. — Всего все равно не проглотить, только желудок испортить можно. А где барыши, там и затраты — издавна так повелось.

— А как же миллионы из воздуха?

— Воздух тоже даром не дается. И воздух и кожа, из коей Лева Брегин себе кинотеатр выкроил, — ухмылялся Злотников.

Я рассчитывал получить сведения о Левите в секретной части МУРа. Но оказалось, что всезнающий Сухоруков материалами о нем не располагает.

В куцом досье значилось, что Борис Арнольдович Левит, владе-

лец мануфактурного магазина на Арбате, прибыл в Москву из Саратова полтора года назад и с тех пор безвыездно проживает в Москве, снимая на Арбате квартиру. Составитель досье отмечал, что Левит, обладающий, по непроверенным данным, значительными денежными средствами (магазинчик на Арбате, скорей всего, ширма), пользуется большим весом в деловых кругах Москвы, но сам пассивен и крайне осторожен, предпочитает финансировать других, в частности Злотникова, и действовать через подставных лиц. Непосредственного участия в крупных финансовых операциях Левит не принимает, в знакомствах разборчив, ничем себя не скомпрометировал. В ресторанах бывает, но относительно редко, образ жизни замкнутый, хорошо информирован (источники информации не установлены). Вот и все, больше ни строчки. Составитель досье не предполагал, что Левитом может заинтересоваться уголовный розыск. В аферах как будто не участвовал, мошеннических операций не организовывал, чего зря тратить на него время? В этом была своя логика.

Таким образом, ознакомление с досье мало что дало. Я должен был рассчитывать лишь на самого себя. Это я окончательно понял после очередной встречи с Сухоруковым, с которым я поддерживал постоянную двустороннюю связь. На время операции Виктор стал для меня и непосредственным начальником, и советчиком, и единственным товарищем по работе, с кем я мог разговаривать.

По настоянию Сухорукова, который педантично придерживался всех параграфов инструкции, мы с ним виделись не в МУРе; куда дорога мне строго-настрого была заказана, а на так называемой конспиративной квартире, где сотрудники розыска встречались со своими людьми. Занимаясь раскрытием убийств, этой квартирой раньше частенько пользовался и я, хотя она мне крайне не нравилась. Находилась она в большом, многонаселенном доме, в котором жильцы не имели друг о друге никакого понятия, что само по себе было для нас большим удобством: посетители квартиры не привлекали внимания. Но на этом, пожалуй, все преимущества ее и заканчивались. Квартира явно была недостойна нашего солидного учреждения. Комнатка, в которой убирали от праздника к празднику (и то не всегда), была грязной, неудобной, больше похожей на чулан, чем на комнату. Дряхлый диван, пузыри обоев на стенах, скрипящие стулья, и на всем — слой пыли. Очень неуютная комната. Но за эти дни я успел проникнуться к ней симпатией. И однажды, придя на полчаса раньше Виктора, даже занялся уборкой: подмел огрызком веника заплеванный пол, вытер носовым платком стулья, стол, спинку дивана, раскрыл окно. Как-никак, а это было единственное во всей Москве место, где Баранец мог наконец на час или два вновь превратиться в Белецкого, сбросив с себя опостылевшую маску. Я здесь отдыхал от своего роскошного номера с мраморной ванной и малахитовым клозетом, от Злотникова, от его жены, бульдогов.

бесконечных разговоров о выгодных и невыгодных сделках, от нэпа. Сдергивая петлю галстука и забрасывая на антресоли шляпу, пиджак и лакированные полуботинки, я вновь чувствовал себя полноправным гражданином республики, которому нечего бояться ревизий, фининспекторов, а тем паче милиции. Здесь я не должен был контролировать свои слова, жесты, выражение лица. Здесь я мог быть самим собой, а это, наверно, самое главное в жизни каждого. Великое право — право быть самим собой! Находясь в этой квартире, я получал возможность приобщаться к своей прежней жизни.

Раньше, занятый работой, я мало интересовался тем, что происходит за стенами моего кабинета. Более того, меня раздражали Сенья Булаев, всегда не вовремя появляющийся Вал. Индустриальный, шум в коридоре, вызовы к Медведеву, телефонные звонки. А сейчас, когда всего этого не было, недавнее прошлое казалось исключительно привлекательным, почти идиллическим. Я жаждал все знать: как ведет себя печень Савельева, что слышно у Илюши Фреймана, кого и за что распекал на оперативке Медведев, не нашелся ли портсигар Кемберовского, когда в последний раз был в Москве Сенья Булаев.

Не успевал Виктор ответить на один вопрос, как я задавал уже следующий.

— С чего ты таким любопытным стал? — недоумевал он. — Все как положено. Савельев хандрит и своих тараканов на булавки нализывает. Илья, как всегда, язык чешет... Да, Индустриальный вчера заходил, тебя разыскивал...

— Что ему нужно было?

— А черт его знает, какое-то задание от редакции. Я сказал, что ты в командировке.

В отличие от меня, Виктор чувствовал себя здесь неуютно. Виной этому была, конечно, не пыль и не вид комнаты, а сам характер Сухорукова. Виктор всегда и во всем любил определенность, и прежде всего в отношениях с людьми, начисто отделяя высокой стеной службу от дружбы. А комната-чуланчик этой определенности как раз и не давала: не официальная обстановка и в то же время не домашняя, непонятная какая-то. С одной стороны, он, начальник секретной части, встречается здесь по служебным делам с субинспектором, выполняющим секретное задание, в котором заинтересован не только уголовный розыск, но и ГПУ. Таким образом, ему, как уполномоченному, надлежит придерживаться строго официального стиля. Но это с одной стороны. А с другой — какая, к чертовой матери, официальность, если чуланчик не имеет ничего общего с его служебным кабинетом — ни письменного стола с папками, ни сейфа, — а субинспектор, с которым он не так уж давно вместе гонял голубей, бегаёт без сорочки, а то и в одних трусах по комнате и называет его Витькой!

Я чувствовал, что обстановка наших встреч тяготит Сухорукова.

Подобно Архимеду, он мучился в поисках точки опоры. Но ее не было. И Виктор, избрав среднюю линию, одну встречу проводил в официальном стиле, а другую — в дружеском.

На этот раз в его голосе сквозили начальнические нотки. Начальник секретной части был недоволен работой субинспектора. По его мнению, сведения о Левите, предоставленные мне секретной частью, достаточно убедительно свидетельствовали о том, что не следует тратить напрасно времени на этого нэпмана. Более того, приказчик Богоявленского показал, что ни Богоявленский, ни Лохтина никогда этой фамилии не упоминали. Казалось бы, вопрос исчерпан, а Белецкий продолжает самовольничать. Именно самовольничать — иначе его поведение не назовешь. Задание было сформулировано достаточно четко: разработка Злотникова. Выполнено это задание до конца? Нет. Какое же Белецкий имеет право отвлекаться?

— Ты долго еще собираешься бегать по комнате? — раздраженно спросил Виктор.

— А что?

— Попрошу тебя сесть. Я не могу так с тобой разговаривать. Я сел против него и невинно спросил:

— Брюки надеть?

— Если тебе так уж нравится, можешь сидеть без брюк.

— Спасибо. Галстук тоже не нужен?

Виктор промолчал. Наступила пауза. Кажется, я слегка перегнул палку. Я исподтишка взглянул на Сухорукова и понял, что не ошибся. Многое бы он сейчас отдал за свой кабинет! Но что подедаешь, если кабинет остался там, в уголовном розыске. Крепись, Витька!

— Не устал? — участливо спросил Виктор. — Может, хочешь минут пять на голове постоять? Валяй, не возражаю.

— Попозже, — сказал я.

— Серьезно с тобой говорить можно?

— Попробуй.

— Попробую, — вздохнул Виктор. — Я не понимаю твоей позиции, Белецкий, — сказал он. — Несколько дел сразу делать нельзя.

— А я и не делаю.

— Делаешь. Разработка Злотникова и разработка Левита — два разных дела. Ты мне докладывал, что Злотников был знаком с Лохтиной. Докладывал ты мне об этом?

— Докладывал.

— Дальше. Ты знаешь, что Сердюков скрывался у Злотникова, который участвовал в организации его побега...

— Насчет побега — не установлено.

— Допустим.. Но цель операции — разработка Злотникова. Так? А ты разбрасываешься, гонишься за двумя зайцами. Сегодня



ты заинтересовался Левитом, завтра — Пушкаревым, послезавтра — Барбургом... Серьезно это?

— А если Левит имеет отношение к убийству Богоявленского?

— А если не имеет? — в тон мне ответил Сухоруков. — На кофейной гуще гадать прикажешь? Ветерок у тебя в голове, Белецкий. Ты и Фрейман — два сапога пара. Сначала Думанского выдумали, теперь Левита. Никольский до сих пор про вашего Думанского вспоминает. Вчера у него был — смеется: что там еще ребята нафантазировали? Каждый день какие-нибудь новости... У тебя есть данные против Левита? Нет. А против Злотникова имеются, и веские: Лохтина — Сердюков — Злотников. Прямая линия. Вот и иди по ней.

— А если она в тупик ведет?

— Тогда и будем думать, что дальше делать. А сейчас надо Злотниковым заниматься. Нечего зря время тратить. То, что ты делаешь, — не работа, забава детская.

Сухоруков говорил строго и веско. А когда он кончил, перед ним уже сидел не субинспектор, а Саша Белецкий. И этот Белецкий совсем не служебным голосом сказал:

— Лизу Тимофееву помнишь?

— Что?

— Лизу Тимофееву, говорю, помнишь?

— Какую Лизу?

— Ну ту, которую у тебя Тарунтаев из седьмого класса отбил. Ее в гимназии сиреной называли, отец ее в судебном ведомстве служил. Они на Земляном валу жили.

У начальника секретной части Московского уголовного розыска сузились глаза, а на скулах заиграли желваки. Таким он обычно был в гимназии перед дракой, а в МУРе, когда отчитывал проштрафившегося сотрудника. Но я не желал ничего замечать и как ни в чем не бывало продолжал:

— Я ее месяц назад в центре встретил. Все забывал тебе рассказать. Располнела, похорошела. Ребенок у нее, муж. Такая же болтушка. О тебе расспрашивала, просила позвонить...

Виктор вздохнул. Он уже не злился. Он просто устал от меня.

— Ты когда-нибудь станешь солидным человеком?

— Нет, — сказал я. — Скучно быть солидным.

— Ох, Сашка, Сашка! Бить тебя некому.

— Займись.

— Поздно уже, — с сожалением сказал Виктор и расправил свои внушительные плечи. — А относительно Левита учти: пустое занятие. И еще учти: за разработку Злотникова мы с тебя спросим. Строго спросим. Ясно?

— Так точно, товарищ Сухоруков. Прикажете надеть штаны?

— Оставляю это на ваше усмотрение, товарищ Белецкий. Вам лучше знать нравы постояльцев «Марселя».

Расстались мы дружески, но взаимно недовольные друг другом. Я ему представлялся фантазером и болтуном, а он мне — формалистом. Видимо, каждый из нас частично был прав...

### XXX

Когда мы возвращались из «Загородного» (Левит остался в ресторане), Злотников говорил мне, что Борис Арнольдович увлекается нумизматикой и у него большая коллекция старинных монет. Я тогда сказал, что, наверно, смог бы раздобыть для него «константиновский рубль». Коллекционеры знают, какая это редкость. Константин был прямым наследником Александра I. Еще при жизни царя министр финансов тайно распорядился отчеканить на Петроградском монетном дворе пробные монеты с изображением Константина по «штампе» медальера Рейхеля. Всего было изготовлено шесть или восемь рублей. Константин императором так и не стал. И рубли с его изображением были недостижимой мечтой каждого нумизмата. Я рассчитывал, что Злотников передаст мое предложение Левиту и я стану у того самым желанным гостем. Но шли дни, а Левит с приглашением не торопился...

Может быть, Злотников просто забыл о нашем разговоре?

Как бы то ни было, но установить контакт с Левитом мне не удалось. И самое главное — я не был до конца уверен, что этот контакт мне нужен... Сухоруков был из числа тех людей, которые всегда оказываются правыми. А что, если он прав и на этот раз? Какие у меня, в конце концов, основания предполагать, что разработка Левита не пустая трата времени?

В нарушение существующих правил, я пошел в уголовный розыск. К счастью для меня, Виктора с утра не было. В секретной части я переговорил с составителем досье на Левита, а затем занялся изучением материалов по убийству в полосе отчуждения железной дороги. Мне казалось, что это дело я знаю почти наизусть. И все же я обнаружил в нем документ, который навел меня на некоторые размышления. Этот документ я знал и раньше, но как-то не придавал ему особого значения, считая его несущественным, мало что дающим следствию. Теперь же я прочел его совсем по-новому. И мысль, на которую он меня натолкнул, показалась мне настолько дикой и несуразной, что я не решился ее высказать даже Илюше.

Мой кабинет был занят одним из сотрудников активной части, и я штудировал дело в кабинете Фреймана. Илюша, чтобы не мешать мне, приютился у Савельева. Он всегда отличался деликатностью. К концу рабочего дня он позвонил мне.

— Принимаешь визитеров?

— Только рыжих.

Через минуту он уже был в кабинете. Закрыв на ключ дверь

(«От соблазна»), он по своей старой привычке оседлал стул и спросил:

— Нашел что-нибудь интересное?

— Да нет, пожалуй, ничего...

— Так...

Илья слез со стула, прошелся по комнате. У него было какое-то странное лицо.

— Значит, ничего интересного? — повторил он и, помявшись, сказал:— А на предсмертную записку Лохтиной не обратил внимания?

Я уставился на Фреймана. Под моим взглядом он покраснел. Вначале щеки его покрылись легким румянцем, потом стали пунцовыми.

— Можешь назвать меня идиотом, но...

— Мы, кажется, оба идиоты,— сказал я.

Илюша был поражен.

— Значит, ты тоже считаешь?..— пробормотал он.

— Тоже. Недаром же мы с тобой в фантазерах ходим...

— Ну и дела, гладиолус,— сказал он, потирая переносицу.— Ну и дела... Удивил ты меня. А я никак не решился сказать тебе об этом: думал, в психиатрическую звонить начнешь.

Фрейман взял в руки второй том дела об убийстве Богоявленского и отыскал в нем записку Лохтиной.

— «Ухожу к тебе, господи, с образом твоим в сердце и с именем сына твоего на устах. Нет у меня семьи, нет у меня родственников, нет у меня друзей. Только ты, господи, на небе, и сын твой, и перст сына твоего на земле».

Фрейман прочел эти строки тихо, приглушенно, произвольно подражая голосу Лохтиной. И передо мной, как живая, встала «святая мать Ольга» — полубезумная озлобленная старуха в грязной юбке и тяжелых сапогах с подковами. Такой я ее впервые увидел, когда приехал в сопровождении Кемберовского в Марьину рощу. Такой я ее запомнил. Я видел, как Лохтина ела ириски, как она билась в припадке. «Не в ярости твоей, господи, обличай меня! И не во гневе твоём, господи, наказывай меня! Помилуй меня, господи, ибо я немощна! Обратись, господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей. Ибо в смерти нет памятования о тебе...»

«Нет памятования о тебе...» И все-таки она покончила жизнь самоубийством, унеся с собой в могилу разгадку этого преступления.

— Да,— сказал Фрейман, словно читая мои мысли,— Ольга Владимировна сейчас бы здорово нам пригодилась. Не вовремя решила повеситься, совсем не вовремя. Спасибо, хоть записку оставила...

— А Илиодора не забыла, дважды упомянула.

— Ну как же, «сын божий»!

— В Америке живет?

— Кажется. Спился «сын божий». То ли маркером, то ли вышибалой при кабаке подвизается. Проторговался он на письмах царицы к Распутину<sup>1</sup>. Не в цене этот товар...

Зазвонил телефон. Илья снял трубку и снова повесил ее на рычаг.

— Еще разок дело посмотрим?

— Давай.

Мы вновь перелистали дневник Богоявленского, и протокол допроса Азанчевского-Азанчеева, и справки ГПУ, пытаюсь домыслить недосказанное, заполнить недостающие звенья в разорванной и искореженной временем цепочке. Как будто все сходилась. И все же мы не могли до конца поверить в то, что одновременно казалось и очевидным и невероятным. Ко многим предположениям прибавилось еще одно, которое выдвигало на первый план Бориса Арнольдовича Левита.

Я рассказал Фрейману о своем последнем разговоре с Сухоруквым.

— Неприятно,— сказал Илюша.— Но я с ним побеседую, думаю, до чего-нибудь договоримся. Дело все-таки за мной числится...

— Итак?

— Итак, занимайся Левитом, гладиолус.

Фрейман проводил меня до трамвайной остановки. Это, конечно, тоже было нарушением инструкции.

— Сегодняшний день я отмечу в календаре крестиком,— сказал Илюша.

— Красным или черным?

— Вот этого я пока не решил...

Когда Баранец, вернувшись в гостиницу, взял у коридорной ключ от своего номера, она передала ему записку. Оказывается, Злотников днем заезжал в гостиницу. Он выражал сожаление, что не застал меня, и писал, что будет звонить в восемь вечера. Было без десяти восемь.

Злотников позвонил ровно в восемь. Минута в минуту. Спросил, какие у меня планы на вечер. Я сказал, что ничего определенного.

— Вот и чудненько,— обрадовался он.— А я собираюсь навестить Бориса Арнольдовича. Может, составите компанию?

Это предложение наверняка исходило от Левита. «Значит, «константиновский рубль» оказался не такой уж плохой приманкой»,— подумал я и равнодушно сказал:

— Даже не знаю, что вам ответить, Никита Захарович... устал я сегодня. Пожалуй, лучше все-таки отдохну, поезжайте сами.

---

<sup>1</sup> Бежав за границу, Илиодор (Сергей Труфанов) издал там компрометирующие царицу документы, в том числе ее письма к Распутину.

Злотников всполошился.

— Георгий Валерьянович! Милый вы мой! — зачастил он. — В ваши годы и отдыхать? Побойтесь бога! Не дам я вам отдыхать! Жизнь у вас долгая, отдохнете еще в старости. А сейчас развлекаться надо. Молоды вы отдыхать, молоды...

— Да и скучновато, наверно, у Бориса Арнольдовича...

Злотников засмеялся:

— Ишь хитрец какой! «Скучновато»... Небось какой блондиночке randevу назначили? Угадал, а? Ох, хитрец! Ну и хитрец! Никуда не денется красотка ваша! А Борисом Арнольдовичем пренебрегать не следует. Полезный человек, не раз пригодится. Так что ожидайте, сейчас заеду за вами.

Едва я успел переодеться, как Злотников уже был у меня.

— Роскошь, ах роскошь! — говорил он, бегая по комнате и цепляясь ногами за ковер. — Чертоги сказочные! Но дороговато, а, Георгий Валерьянович? Кусаются отели, кусаются! Наизнаночку карман вывертывают, а? Пора нам с вами о квартирке подумать. Я уж кое-что присмотрел, даже председателю жакта словечко закинул. Квартирка маленькая, да уютная. А большая вам и ни к чему. И удобства коммунальные, и пансион — все как положено. Не пожалеете, что с чертогами своими расстались... Днями туда и подъедем. А не понравится — другую найдем...

Как и при нашем знакомстве, он говорил не переставая, не давая мне вставить слова, перескакивая с одной темы на другую. Без всякой связи с предыдущим заговорил о рекламе.

— Младенцы мы в рекламном деле, Георгий Валерьянович, — истинные младенцы. Американец, тот в рекламе собаку съел, а русский только чешется да разминается. Нет, мы в Нижнем рекламу с вами настоящую организуем, на заграничный манер, такую рекламу, что только ахать будут!

Злотников возлагал на ярмарку в Нижнем Новгороде большие надежды, тем более что восстановление ипподрома откладывалось на неопределенный срок.

Участие в этой ярмарке обещало большую прибыль. Наркомфин освободил ярмарку от государственного промыслового налога и от всякого рода местных сборов, а Тарифный комитет НКПС предоставил участникам ярмарки пятнадцатипроцентную скидку со стоимости перевозок грузов. Поэтому Злотников заблаговременно закупил по весьма сходной цене крупную партию супоней, лемехов, точильных камней и других предметов деревенского ширпотреба, собираясь вскоре выехать в Нижний, чтобы на месте разнюхать обстановку. Кажется, в этой операции принимал деньгами участие и Левит.

Я подумал, что Злотников, отправляясь к нему вместе со мной, решил по возможности совместить приятное с полезным. Впрочем,

это мало меня трогало. Главным было то, что сегодняшний визит к Левиту, видимо, будет иметь свое продолжение.

Когда мы поднимались по лестнице, Злотников поправил галстук и пригладил волосы. Он напоминал маленького чиновника, который с трепетом готовился войти в кабинет высокого начальства. Поднося руку к кнопке, он помедлил и вопросительно взглянул на меня: приготовились? Можно звонить?

Дверь тотчас отворили. Левит нас ждал. Он был в том же сюртуке, в котором я его впервые увидел в «Загородном». Такой же элегантный, холодный и высокомерный — великан среди пигмеев.

— Привезли молодого человека? Весьма рад.

На этот раз я был удостоен чести пожать его костлявую старческую руку.

— Прошу.

Отступив на шаг в сторону, он пропустил нас в небольшую, тесно заставленную мебелью комнату, которая, видимо, была и гостиной и кабинетом. Обернувшись, я увидел, как хозяин тщательно вытирает после рукопожатий носовым платком свою руку. Делал он это по-деловому, спокойно, не обращая на нас внимания.

— Рекомендую карболку, — сказал я. — Дезинфицирует.

Сказав это, я тут же себя выругал: Баранцу следовало бы держаться скромнее.

Злотников не понял, к чему относятся мои слова, но на всякий случай захихикал. Он всегда терялся в присутствии «дорогого Бориса Арнольдовича», который подавлял его своим холодным величием, а возможно, и немного подыгрывал ему, изображая трепет. Левит усмехнулся. Происходящее, кажется, забавляло его.

— Карболкой? — лениво переспросил он. — Я бы лично предпочел одеколон. А вы, как я вижу, Георгий Валентинович, противник гигиены?

— Во-первых, не Георгий Валентинович, а Георгий Валерьянович, — сказал я, напрасно пытаюсь остановить себя. — А во-вторых, во всем должна быть мера.

Если бы Сухоруков в эту минуту увидел меня, он тут же бы написал Медведеву докладную записку. Но, к счастью, его здесь не было.

Злотников наконец понял, что происходит что-то странное и неприятное. Но что? Он посмотрел сначала на меня, потом на Левита. Левит улыбался. Заулыбался и Злотников.

— А вы обидчивый человек, Георгий Валерьянович, — с удовольствием сказал Левит, на этот раз уже не искажая отчества Баранца. — Обидчивый, но приятный...

— Совершенно точно выразились, Борис Арнольдович! — радостно подхватил Злотников с таким видом, будто сказанное было для него откровением. — Обидчивый, но приятный.

— Вот видите, Никита Захарович со мной согласен. Он тоже считает вас приятным человеком. Я вас правильно понял, Никита Захарович? — Злотников сделал вид, что не почувствовал в его голосе издевательских ноток, и закивал головой. — Зачем же ссориться с приятными людьми? Уж лучше с ними коньяк пить. А на меня не обижайтесь. Живу один, как медведь в берлоге. Никого, кроме прислуги, не вижу, да и та приходящая — только днем бывает. По-неволе огрубеешь...

Вскоре и обидчивый провинциал, и не в меру суетливый нэпман Левиту надоели. Его лицо вновь приняло безгловое выражение. Коньяк пили молча, маленькими рюмками, без закуски. Злотников заговорил было о закупке товаров для Нижегородской ярмарки, но Левит грубо его прервал:

— Завтра, завтра, уважаемый. Сегодня я отдыхаю. Отдых в кругу друзей.

Допив рюмку, он предложил мне осмотреть коллекцию старинных монет.

В нумизматике я почти полный профан («константиновский рубль» был, конечно, только приманкой). Но коллекция Левита произвела на меня впечатление, особенно монеты времен Дмитрия Донского и Василия III. Здесь были серебряные деньги самых различных форм и медные «пулы» с причудливыми изображениями петушков, лисиц, собак и дерущихся на мечах витязей.

Поставив на место ящички с монетами, Левит спросил, действительно ли я могу достать «константиновский рубль». Я ответил, что мне его недавно предлагал товарищ.

— Вы его хорошо знаете?

— Да, мы вместе с ним учились в коммерческом училище.

— А вы какое училище и когда окончили?

Я ответил.

— Тогда вы должны знать Глумакова, — сказал Левит. Я почувствовал на своем лице его неприятный, вязкий взгляд.

Самым простым было, конечно, кивнуть головой: а как же, знаю, милейший человек! Ну а если меня завтра с этим Глумаковым сведут? А может быть, никакого Глумакова вообще не существует? Может быть, вопрос Левита только проверка, обычный зондаж человека, в биографии которого сомневаются?

Выручил меня Злотников.

— Глумаков? — сказал он. — Да нет, Георгий Валерьянович его не может знать...

— Почему?

— Он же в Перми учился, исконный пермяк.

— Разве? — немного ненатурально удивился Левит. И я понял, что вопрос задан не случайно и он не хуже Злотникова знает, какое коммерческое училище окончил Глумаков. Значит, зондаж. Я чув-

ствовал себя канатоходцем, не уверенным в прочности каната, на котором ему приходится плясать перед «почтеннейшей публикой».

Да, товарищ Белецкий, к разработке своей «легенды» вы отнеслись легкомысленно. Теперь я был все время в напряжении.

— Ну, если нет у нас общих знакомых, то вернемся к нашим общим делам,— сказал Левит.

Мы договорились, что к следующему воскресенью я выясню, не продан ли еще «константиновский рубль» и сколько за него хочет владелец.

— Если это не подделка,— сказал Левит,— то за деньгами я не постою. Но я, признаться, сомневаюсь в его подлинности.

«Хорошо еще, что только в подлинности, а не в самом существовании»,— подумал я.

— Изготовление фальшивых антиков стало промыслом,— продолжал Левит.— Я, разумеется, не ставлю под сомнение добросовестность вашего приятеля. У меня нет оснований сомневаться в его порядочности. Но сейчас дошло до того, что фармазоны прикрываются даже рясой. Недавно один монах пытался всучить мне образок слоновой кости. Клялся, что шестнадцатый век...

— Фальшивка? — спросил Злотников.

— Конечно, сухаревское произведение. Говорю: «Сухаревки. милейший, в шестнадцатом веке не существовало, а фармазоны тогда монашеских ряс не носили». Оскорбился...

— И это служитель бога! — вздохнул Злотников.— До чего дожили! И церкви и монастыри — все прахом пошло. Ни стыда, ни совести не осталось. Говорят, на предсоборном совещании, где священнослужители и миряне от всех епархий были, митрополит Евдоким многие лета Калинину и Смидовичу<sup>1</sup> провозгласил. Митрополит, глава святейшего синода! Кошунство!

— Да служители господа ныне не только подделками, но и именем бога торгуют,— равнодушно согласился Левит и, усмехнувшись, сказал:— А торговля богом бойко идет. Прибыльное дело, по-чисте мануфактуры. Займитесь, Никита Захарович, а? Не меньше 60 процентов прибыли. А то и оглянуться не успеешь, как распродадут все.

Цинизм Левита Злотникова покорибил, но он заставил себя улыбнуться.

Левит посмотрел на часы. Этот жест нельзя было не заметить, и Злотников поспешно встал.

— И вам спать пора, Борис Арнольдович, и нам. Благодарствуйте.

Левит проводил нас до двери.

---

<sup>1</sup> Смидович — заместитель председателя ВЦИК, заведующий отделом церковных дел при ВЦИК.



Когда мы выходили из подъезда, я заметил на противоположной стороне улицы высокого человека, который, видимо, кого-то ожидал. Пройдя несколько шагов, я остановился и в растерянности стал рыться в карманах пиджака.

— Потеряли что-нибудь? — участливо спросил Злотников.

— Да, зажигалку...

К дому Левита я вернулся вовремя, как раз в тот момент, когда заинтересовавший меня человек уже перешел дорогу и направился к подъезду, из которого мы только что вышли. Увидев меня, он поспешно свернул во двор. Но в тусклом свете газового фонаря я успел рассмотреть его лицо. Это был Сердюков.

— Нашли зажигалку? — спросил Злотников.

— Нашел, — сказал я и закурил.

— Чувствую, недовольны вечером, Георгий Валерьянович? О randеву с блондинкой жалеете. Ругаете меня, а?

— Что вы, Никита Захарович! Вечер прошел совсем неплохо, — искренне сказал я. — Очень приятный вечер.

— Шутите небось?

— Нет, вполне серьезно. Я вам очень признателен.

— Помилуйте, — расцвел Злотников, — за что?

Вот как раз на этот вопрос я ему при всем своем желании ответить не мог...

### XXXI

Назавтра я обо всем доложил Сухорукову.

— Ты уверен, что это был Сердюков?

— Абсолютно.

— Тогда Левитом стоит заняться, — сказал Виктор.

— Значит, ты не возражаешь против его разработки? — не без ехидства спросил я.

Виктор разозлился:

— Я, Саша, могу спорить с тобой, но не с фактами. Для меня прежде всего интересы дела.

Действительно, в отличие от меня, Виктор всегда мог поступить ся самолюбием. Это следовало признать. Сухоруков был объективен или, по крайней мере, старался быть объективным. Но все же я не решился поделиться с ним нашей новой версией, которая никак не укладывалась в привычные рамки и совершенно не была подкреплена фактами. Виктор слишком трезво смотрел на вещи, а тут требовалось воображение. Но как бы то ни было, а официальное указание о разработке Левита я получил. Это радовало. Мне совершенно не улыбалось портить отношения с руководством розыска. Ведь теперь, как никогда, требовалась полная согласованность и координация наших действий.

Я чувствовал, что развязка не за горами. Встреча с Сердюковым была, по существу, первой уликой против покровителя Злотникова. А через день к этой улике прибавилась новая, более веская, исключающая последние сомнения в том, что Левит имеет отношение к убийству в полосе отчуждения железной дороги. Таинственный посетитель Азанчевского-Азанчеева, который выдавал себя за племянника Богоявленского, наконец объявился в Петрограде, где посетил Стрельницкого. Стрельницкому он тоже представился племянником убитого и интересовался у того бумагами антиквара. На наше счастье, Носицын не снял наблюдения за квартирой и о появлении «племянника» агент тут же сообщил в угрозыск по телефону. Дальнейшее было делом техники. В гостинице, где оставился «племянник», сотрудник Петрогуброзыска без труда установил, что его настоящая фамилия Гончарук и он прописан в Москве, в доме 37 по 2-й Мещанской улице. Носицын позвонил в МУР.

Когда «племянник» не солоно хлебавши прибыл в Москву, его встретил на вокзале наш агент, который проводил его до самого дома и убедился, что Гончарук действительно проживает по месту своей прописки. Одновременно он выяснил, что «племянник» Богоявленского, в прошлом колчаковский офицер, работает в магазине у Левита ответственным приказчиком и является доверенным лицом хозяина. Приказчик Богоявленского, которому предъявили фотоснимок Гончарука, сказал, что он не знает этого человека. Зато полным успехом кончилось другое оперативное мероприятие, осуществление которого было поручено Кемберовскому. Когда Кемберовский показал дворнику дома 37 фотографии, среди которых были снимки Лохтиной, Богоявленского, его приказчика, Сердюкова, Злотникова и Левита, тот, за исключением Злотникова и приказчика, опознал всех. По его словам, Богоявленского он видел приблизительно год назад, когда тот пришел сюда вместе с Лохтиной поздно вечером. Был ли тогда у Гончарука и Левит, он не помнит. Что же касается Сердюкова и Левита, то они бывают у Гончарука часто. Одно время к нему чуть ли не ежедневно заходила и Лохтина. Сомневаться в достоверности опознания не приходилось: по отзывам, у дворника была великолепная память.

Таким образом, круг сужался. И в центре этого круга находился Левит.

Приблизительно через неделю после моей встречи с Сердюковым возле дома Левита мы располагали такими данными, что уже могли переходить к активным действиям. Но, памятуя наш прошлый печальный опыт, я не торопился форсировать события. В этом со мной были согласны и Сухоруков и Фрейман. Но форсировать все-таки пришлось...

За день до отъезда в Нижний Новгород Злотников пригласил меня, Левита и еще одного своего знакомого, администратора теат-

ра «Комедия» Фукса, в ресторан «Эрмитаж», который до революции считался одним из самых дорогих и роскошных.

В пору расцвета «Эрмитажа» мне, скромному гимназисту, оканчивающему гимназию за казенный счет, бывать там, конечно, не приходилось. Впервые я познакомился с этим храмом обжорства уже в качестве сотрудника Московского уголовного розыска в конце 1917 года, когда мы брали здесь небезызвестного на Хитровке налетчика Лягушку, с шиком пропивавшего в одном из кабинетов награбленные деньги. К этому времени «Эрмитаж» уже не был прежним «Эрмитажем». Ресторан доживал свои последние дни. В стеклянной галерее и в летнем саду полновластным хозяином гулял холодный ветер. В роскошных номерах для свиданий валялись бомбы и бушлаты: номера были заняты под штаб какой-то анархистской группы. Бравые «братишки» в клешах с перламутровыми пуговичками вывесили кругом черные флаги и время от времени «для устрашения мировой буржуазии» стреляли в потолок из маузеров.

Затем «Эрмитаж» прикрыли. В голодные годы в нем помещалась благотворительная американская организация — АРА.

Восстановленный и отремонтированный в 1922 году, он сразу же вошел в моду, хотя и утратил свой прежний блеск. Теперь он мало чем отличался от других пышных и безвкусных нэпманских ресторанов, рожденных неустойчивым временем и скудной фантазией.

Лицо Злотникова, который встречал нас в вестибюле «Эрмитажа», было преисполнено самоуважением. Злотников наслаждался. Еще бы!

Здесь он был не подозрительным дельцом, вынужденным перед всеми заискивать, не терпимым до поры до времени совбуром, а полномочным представителем КАПИТАЛА, хозяином жизни, дорогим гостем знаменитого «Эрмитажа». Это для него, Злотникова, бегали расторопные официанты с подносами, для него играл без усталости оркестр и обливались потом на жаркой кухне повара в белых колпаках. В сознании своей значительности Злотников даже похорошел. А припомаженные пряди волос, прикрывающие лысый череп, новая тройка и бабочка придавали ему почти светский вид.

В глазах бесцеремонно оглядевшего его с ног до головы Левита мелькнула ирония.

— А вы комильфо, Никита Захарович,— сказал он.

Фукс, толстенький, упругий, на коротких ножках, явился с дамой. Его спутница была сильно нарумянена, с томными подведенными глазами, которые она так закатывала кверху, что почти не было видно зрачков.

— Прошу любить и жаловать,— представил ее Фукс,— Вероника Харкевич, талантливая актриса и очаровательная женщина.

Злотников неумело поцеловал «талантливой актрисе и очаровательной женщине» руку, а Левит только взмахнул своей серебристой бородкой.

— Я так много слышала о вас, Борис Арнольдович,— протянула Харкевич, даря Левита улыбкой и закатывая глаза.

— Польщен. Сожалею, что не могу вам ответить тем же,— сухо сказал Левит.

Фукс обиделся за свою даму.

— Вы много потеряли,— сказал он.— Вероника на сцене еще более божественна, чем в жизни. Фамилию Харкевич знает не только провинция...

— Я не меломан,— прервал администратора Левит. Но того не так-то легко было остановить...

— Жаль, очень жаль,— разглагольствовал он.— Театр — это целый мир. И какой божественный, волшебный мир! Увы, Россия никогда не ценила своих актеров. Для них она была не матерью, а мачехой, могилой, склепом. Кстати, о склепах,— прервал он сам себя.— Новый анекдот. Прибывает на Ваганьковское комиссар. Из прежних — весь в коже. С особыми полномочиями: рассортировать всех покойников согласно классовой принадлежности.

Анекдот оказался настолько глупым, что даже Злотников и тот не улыбнулся. А Харкевич, шлепнула рассказчика ладонью по губам и сказала:

— Фу, папочка! Ты глупеешь.

Меня начало поташнивать от всей этой компании. Левита, кажется, тоже. Лицо его стало еще более сумрачным. По-моему, его здесь раздражало все: и аляповатая роскошь, и не в меру развязный Фукс, специально приглашенный Злотниковым для увеселения общества, и его раскрашенная подруга, которая, как вскоре выяснилось, «из-за интриг завистников вынуждена была покинуть сцену и устроиться на службу в подотдел пассивных операций госбанка».

Злотников заранее заказал столик. Он находился в общем зале, недалеко от эстрады, на которой извивалась полуголая и безголовая девица с худыми, как у ребенка, руками. Певицу никто не слушал, но хлопали ей охотно. Все было насыщено запахом табака и винными парами. У эстрады, пытаясь танцевать, толклось несколько пьяных пар. Какой-то лоснящийся от пота гражданин без пиджака, сжимая в одной руке бокал, а другой поддерживая сползающие брюки, переходил от одного столика к другому, предлагая выпить на брудершфат.

Брезгливо поглядывая на шумную компанию за соседним столиком, Левит подозвал официанта и что-то шепнул ему на ухо.

— Спрошу у метра. Но, сами понимаете, полный разгар-с...

— А ты постарайся, любезный. Ты постарайся — и мы постараемся.

Официант, которому Злотников сунул в руку несколько рублей, «постарался»: нас провели в отдельный кабинет. Харкевич была довольна.

— Вы душка, Борис Арнольдович,— сказала она, располагаясь в кресле.— Палочка никогда бы не додумался.

А Фукс сказал:

— Кстати, по этому поводу есть чудеснейший анекдот...

В кабинет бесшумно вошел молодой официант, испытующе оглядел присутствующих: кто из них будет заказывать? Злотников поманил его пальцем.

— Ну, дорогой мой, что у вас имеется хорошего?

— Акромя птичьего молока, все, что душа пожелает.

— Ах, вон как! — приподнял брови Левит, и все заулыбались в предвкушении дальнейшего.— Это чудесно, что у вас все есть. А то я уже и забыл, когда ел в последний раз седло английского барашка и эстому из дупелей...

— Как?

— Эстому из дупелей, любезный.

— Не имеем-с,— вздохнул официант.

— Жаль. Но тогда у вас наверняка есть спаржа ан Бранш и Пом Диверс, не правда ли?

Лоб официанта покрылся испариной. Он был вконец уничтожен.

— Спаржи не держим-с,— пробормотал он.— Может, расстегайчиков желаете-с?

Злотников и Харкевич захихикали, а Фукс, включившись в игру, потребовал шампанское «Редерер» или «Клико». Когда официант, записав заказ, удалился, Фукс предался воспоминаниям. В них, как положено, присутствовали богатые меценаты, которые на коленях умоляли бедных, но гордых актрис принять от них деньги — скромную дань таланту, бенефисы, на которых не рыдали разве только стены театра, и, разумеется, пышные, изысканные банкеты. Банкеты в Петрограде, Москве, Туле, Воронеже, Орле, Рязани, Екатеринославе, Иркутске. Какие это были банкеты! Разве их можно описать словами?

Официант принес заказ. Принялись за еду. Фукс опрокидывал одну стопку за другой, подрагивая при этом толстыми плечами, словно танцуя-цыганочку. Без излишнего жеманства пила водку и Харкевич. Опьянела она быстро. Глаза ее замаслились, она громко, «по-театральному» смеялась и откровенно прижималась грудью то к Фуксу, то к Левиту, который в конце концов не выдержал и отодвинулся от нее. Она ему явно не импонировала. Злотников это заметил и теперь смотрел на Харкевич тоскливым взглядом, видимо подсчитывая в уме, сколько переплатит. Никита Захарович не любил бросать деньги на ветер, а приглашение Харкевич не оправдывало себя: на шефа она впечатления не произвела. В этом Злотников просчитался.

Почти не участвуя в беседе, я внимательно следил за тем, чтобы рюмка Левита не пустовала. У нас имелись некоторые основания подозревать, что документы Богоявленского — основное доказательство по делу — хранятся именно у него. Я хотел подпоить Левита и, вызвавшись его проводить, попытаться, по мере возможности, проверить наши предположения. Но он пил мало. А в довершение ко всему произошло то, чего я меньше всего ожидал...

Когда Фукс произносил какой-то длинный и замысловатый тост, который никто из присутствующих не только не понял, но и не попытался понять (все были достаточно пьяны), дверь кабинета приоткрылась и в образовавшуюся щель протиснулась взлохмаченная голова. Два горящих гражданским гневом глаза внимательно оглядели всю пьяную компанию и остановились на мне. После этого к гражданскому гневу прибавилось изумление. Затем дверь распахнулась, и все увидели в дверном проеме странного человека в заляпанных грязью (и где он ее только нашел!) солдатских ботинках и в суконных штанах с живописной бахромой. Мне не потребовалось напрягать память, чтобы узнать вошедшего. Вал. Индустриального я бы узнал среди тысячи... Сейчас Вал. Индустриальный был воплощением непримиримости, комсомольской совести и гражданского долга. Коммунист, сотрудник уголовного розыска, пьянствующий в компании нэпмачей! Вот оно где, разложение, во всей его неприглядности!

— Что вам угодно, гражданин? — спросил Злотников.

Но Валентин не слышал вопроса. Он весь был во власти обуревавших его эмоций. Эмоции рвали на части его молодое мускулистое сердце, они, как пар, клокотали в его комсомольской душе. Казалось, он потерял дар речи. Валентин, не могущий выразить своих чувств словами, — в это бы никто не поверил. Но в ту секунду я чувствовал не комизм, а только трагизм ситуации и как замороженный смотрел на Валентина, который судорожно пытался подобрать подходящие слова для обличительной речи. Эта речь рождалась в муках. Зато получилась она выразительной, а главное краткой.

— С кем пьешь? С кем пьешь, Белецкий? — охрипшим голосом начал Валентин. Затем он сделал паузу, подумал и коротко закончил: — Сволочь ты, Белецкий!

Вал. Индустриальный хорошо знал приемы классовой борьбы, но не имел представления о приемах французской борьбы, которые я освоил еще в гимназии. Поэтому выдворить его из кабинета и передать с рук на руки дежурному милиционеру оказалось для меня делом минуты. Появление Индустриального вполне могло сойти за выходку пьяного, который допиллся до такого состояния, что мог даже стул принять за собутельника. Но когда я вернулся в кабинет, Левита в нем не было.

Упившаяся Харкевич мирно дремала, положив голову на плечо Фукса, а Злотников тоскливо изучал счет и при моем появлении даже не шелохнулся.

— Где же Борис Арнольдович?

Злотников ничего не ответил, а Харкевич разлепила глаза и игриво погрозила мне пальчиком:

— Вы, Жоржик, нескромны. Если джентльмен покидает общество, о причинах не спрашивают...

Фукс пьяно засмеялся:

— Естественно, мой милый! Слышали анекдот про еврея, который разыскивал в Москве уборную?

В мужском туалете Левита не было. Не оказалось его и в вестибюле. Из кабинета распорядителя «Эрмитажа» я позвонил в МУР и Сухорукову на квартиру, а затем стремглав выскочил из ресторана. Извозчика мне, к счастью, искать не пришлось..

### XXXII

Я позвонил раз-другой, прислушался. За дверью не было никакого движения. Тишина. Если бы я со двора не увидел в окне полосы света между шторами, я бы решил, что в квартире никого нет. Но я не мог ошибиться: свет был, Левит дома. Из ресторана он поехал прямо к себе. И, может быть, сейчас, когда я толкусь на лестничной площадке, он сжигает документы — основное доказательство по делу об убийстве в полосе отчуждения железной дороги. Оперативная группа, которая, как мне сообщил ответственный дежурный по МУРу, выехала на место происшествия в Хамовнический район, будет здесь не раньше чем через полчаса, а Сухоруков, в лучшем случае, минут через двадцать. Что же делать? Взламывать дверь?

Я снова изо всей силы нажал на кнопку звонка, чувствуя, как немеет палец. Потом ударил в дверь ногой. Шагов Левита я не слышал. Я только слышал, как щелкнул замок и звякнула дверная цепочка. В то же мгновение я опустил руку в карман и почувствовал в ладони рубчатую рукоятку браунинга. Левит этого жеста не заметил или сделал вид, что не заметил. Помню, больше всего меня поразило то, что он держал в пальцах дымящуюся сигару. Он, конечно, рисовался своим хладнокровием. Позер по натуре, он не хотел лишиться себя этого удовольствия и сейчас, когда для него все рушилось, все летело в тартарары. Но все-таки в самообладании ему отказать было нельзя. Его ироническое лицо, как всегда, было холодно и безмятежно спокойно, разве только немного резче, чем обычно, обозначились поперечные складки в углах рта. Отечественное издание джентльмена с головы до ног. Джентльмен проиграл все свое состояние и казенные деньги. Джентльмен сегод-

няшной ночью застрелится. Но джентльмен до последней минуты должен оставаться джентльменом: спокойным, выдержанным, ровным, остроумным и в меру любезным. Но я джентльменом не был, и Левит это понимал.

— Поздний гость,— сказал он, поднося к губам сигару.

— Не только поздний, но и незванный.

— Совершенно верно,— усмехнулся он, продолжая стоять на пороге и бесцеремонно меня разглядывая (истинный джентльмен тем и отличается от поддельных, что не с каждым держится поджентльменски).— Но, поскольку вы все-таки пришли, мне не остается ничего иного, как вас выслушать. Думаю, у вас имеются серьезные основания для столь позднего вторжения.

— Безусловно,— подтвердил я, невольно включаясь в эту своеобразную игру.

— Привезли наконец «константиновский рубль»?

— К сожалению, нет.

— Чем же я тогда обязан визиту, Георгий Валентинович?

— Георгий Валерьянович,— весело поправил я.

— Пардон, Валерьянович. Все время забываю ваше отчество.

Но, по-моему, сейчас это не столь уж существенно. Если не ошибаюсь, у вас имеется и другое отчество?

— Конечно.

Я достал из кармана пиджака удостоверение личности. Левит взял его, повертел в руках, потом раскрыл.

— «Субинспектор Московского уголовного розыска Александр Семенович Белецкий...» — прочел он.— Да, кажется, так вас называл тот молодой человек в «Эрмитаже»... Счастлив с вами познакомиться, Александр Савельевич...

— Семенович.

— Простите великодушно. Никогда не отличался хорошей памятью.

Весь этот занянувшийся разговор происходил на пороге входной двери, которую Левит закрывал собой. Я предложил ему пройти в квартиру.

— Что ж, милости прошу,— он церемонно отступил в сторону, сделав рукой гостеприимный жест.

— Я бы предпочел, чтобы вы шли впереди. Во избежание случайностей...

— Понимаю. Опасаетесь удара в спину?

— Да, господин Думанский, опасаясь.

Левит дернул головой, будто я ударил его по щеке. Лицо его побелело. Он ожидал всего, но только не этого.

Позер уступил место человеку, оглушенному неожиданностью. Он поднял на меня расширившиеся глаза и тут же опустил их. Кажется, он хотел что-то сказать.



— Прошу, господин Думанский!

Сгорбившись и шаркая ногами, он прошел в уже знакомую мне комнату, где он не так давно принимал нас со Злотниковым. Здесь было полутемно. Горела только настольная лампа.

Дверь в смежную комнату, видимо спальню, была прикрыта. На полу возле каминной решетки были разбросаны клочки бумаг и валялась разорванная наполовину тетрадь в кожаном переплете. Несколько таких же тетрадей лежало на овальном столике красного дерева. Там же стояла раскрытая шкатулка, доверху набитая какими-то бумагами. На тахте груды книг: наверно, тайник, в котором хранились документы, находился в книжном шкафу или за ним.

Я зажег люстру. В комнате стало светло. При ярком свете люстры лицо Думанского казалось плоским, будто вырезанным из белой бумаги. И странно было видеть на этом лице мертвеца живые глаза, которые, словно ощупывая все, перебегали с одного предмета на другой. В комнате было душно. От начищенного до блеска паркетного пола пахло воском. К запаху воска примешивался другой, острый, напоминающий запах уксуса.

Я подошел к овальному столику.

— Это всё документы убитого?

Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом, пытаясь понять смысл вопроса.

— Я спрашиваю: это документы Богоявленского?

— Да,— безучастно сказал он, как будто и вопрос и ответ не имели к нему прямого отношения.

Я перелистал одну из тетрадей. Это было продолжение дневника Богоявленского. Записи были датированы 1920 годом. Несколько раз мелькнула фамилия Азанчевского-Азанчеева. «Азанчевский-Азанчеев осуждает генерала Шиллинга, все помыслы которого устремлены не к защите поруганного отечества, а к обогащению. Порицает его увлечение Верой Холодной. Он удивлен поведением Шиллинга. А я удивляться уже разучился...» Потом я развернул лежавшую сверху в шкатулке бумагу — копию письма бывшей царицы Распутину: «Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник. Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи...»

Кажется, я поспел вовремя. Все эти документы уже были подготовлены к уничтожению. Через несколько минут они бы превратились в груды пепла.

— Не ожидали, что вам помешают? — спросил я.

— Я рассчитывал, что вы приедете позднее, — устало сказал он. — Старикам трудно тягаться с молодыми.

Да, Думанский был стариком. Он состарился на моих глазах. И даже бывшая еще недавно атрибутом представительности и старомодной элегантности изящная серебристая борода теперь свидетельствовала только о старости.

— Я могу сесть? — спросил он.

— Пожалуйста.

Он тяжело опустился на стул у овального столика, привалившись к нему грудью. Думанский. Владимир Брониславович Думанский, организатор убийства антиквара...

В своем предположении, что Думанский жив, мы с Фрейманом в основном исходили из показаний Азанчевского-Азанчеева и записки Лохтиной. «Святая мать Ольга» считала бывшего друга Распутина Илиодора сыном божьим, а Думанского чем-то вроде представителя Илиодора в России, «перстом сына божьего». В своей предсмертной записке Лохтина писала: «Нет у меня семьи, нет у меня родственников, нет у меня друзей. Только ты, господи, на небе, и сын твой, и перст сына твоего на земле». Таким образом, получалось, что «перст сына божьего» находится все-таки на земле. Дальше. Приказчик Богоявленского рассказывал, что во время разговора хозяина с Лохтиной тот заявил: «Я шантажа не боюсь, и Таманскому меня не запугать». Работники ГПУ по заданию Никольского специально занимались поисками Таманского. Такового не оказалось. Оставалось предположить, что приказчик просто перепутал фамилию и Богоявленский говорил о Думанском. И в довершение ко всему фраза из дневника Богоявленского: «Высказав о картине несколько тривиальных замечаний и, как обычно, процитировав Сократа, Думанский спросил, не соглашусь ли я продать своего Пизано...» А ведь Левит тоже любил цитировать Сократа. Кроме того, в его облике и манере разговаривать было много схожего с тем Думанским, о котором рассказывали дневник Богоявленского и протоколы допросов Азанчевского-Азанчеева.

Предположение о том, что Левит и Думанский — одно и то же лицо, было не таким уж невероятным, каким оно нам самим казалось, тем более что в архиве ГПУ никаких документов, подтверждающих приведение в исполнение постановления ЧК о расстреле Думанского, обнаружено не было.

Но одно дело — предположение и совсем иное — установленный факт. Ведь Левит даже не пытался оспаривать мое утверждение, а его реакция на мое обращение говорила не меньше, чем собственноручные показания. Это была победа, коренной перелом во всем ходе расследования. Теперь дело об убийстве превращалось в дело по обвинению Думанского и его присных.

Между тем Думанский пришел в себя быстрее, чем я мог пред-

положить. К нему вернулось спокойствие, а затем и самоуверенность.

— Коньяку не желаете, господин Беляев?

— Белецкий,— хладнокровно поправил я.

— Да, Белецкий. У вас так много фамилий, что поневоле запутаешься...

— Всего две. Столько же, сколько у вас.

— Но у вас профессиональная память, господин Белецкий. Вы все помните, а я нет. Я уже многое забываю...

— Даже свои прогнозы о будущем России?

— Что вы имеете в виду? — не понял он.

— Ваши рассуждения в марте 1917 года о реставрации монархии. Вы тогда говорили, что верите в ее восстановление потому, что всегда верили в нелепости, а историю России сравнивали с детским волчком. Говорили, что она вращается вокруг одной оси — царя... Как вы выразились? Да. «В России испокон веков на все смотрят снизу вверх, а при такой диспозиции даже царские ягодицы и то двойным солнцем кажутся...»

— Разве?

— Так, по крайней мере, записано в дневнике Богоявленского.

— Покойный отличался немецкой педантичностью. Его записям можно верить.

— Не получилось из вас пророка, Владимир Брониславович! Думанский поставил на столик рюмку, вытер губы.

— У вас с покойным есть одна общая черта,— сказал он,— наивность. Кроме того, по молодости лет вы торопитесь с выводами, а ведь даже Сократ говорил, что он знает только то, что ничего не знает. Сегодня — это только сегодня. Существует еще и завтра...

— Монархическое завтра?

— Думаю, что да.

— Вернее, надеется.

— И надеюсь,— подтвердил он.— Я уважаю большевиков за решительность. Но они так же плохо знают историю и психологию русского человека, как и их предшественники. Уничтожить царскую семью и сдать в музей шапку Мономаха — не значит уничтожить идею царизма, которая была пронесена через века. Царь нужен России, и он будет. А назвать его можно будет по-всякому: и председателем кабинета министров, и президентом, и лидером. Это не существенно.

— И нэп, разумеется, конец Советской власти?

— Совершенно верно. И вы напрасно иронизируете. Начало конца.

Верил ли Думанский в то, что говорил? Не думаю. Он был доста-

точно умен, чтобы понять разницу между пугачевщиной и революцией. Не думаю также, что эта тема его волновала. В те минуты для него важным было только одно — он сам, Владимир Брониславович Думанский, его дальнейшая судьба, его жизнь. Все остальное казалось мелким, несущественным, не стоящим внимания. Революция, большевики, царь, нэп, история — все это сейчас не имело к нему прямого отношения. И, высказывая уже ставшие для него привычными и удобными мысли, он неуклонно приближался к самому для него главному.

— Я бы хотел задать вам один вопрос, — сказал он, когда я начал складывать в его портфель тетради дневника. — Что меня ждет?

Я пожал плечами. Этот вопрос не был для меня неожиданностью, но что я мог на него ответить?

— Меня расстреляют?

— Это решит суд.

Оперативная группа задерживалась, и я собирался доставить Думанского в уголовный розыск. Ждать было бессмысленно. Когда я звонил из кабинета распорядителя «Эрмитажа» ответственному дежурному, я ему сказал, что необходимо задержать Гончарука, Сердюкова, Левита и Злотникова и что сам я отправляюсь к Левиту. То же я сказал Сухорукову. Обговорить детали не было времени. Если они решили начать с Гончарука или Сердюкова, я мог их прождать и час и два. А телефон на квартире Думанского как назло был неисправен.

— Нам пора, господин Думанский.

Он встал, сделал два шага по направлению к прихожей и в нерешительности остановился.

— Во сколько бы вы оценили мою жизнь, господин Белецкий?

Он так и сказал: «оценили».

— Я жизнями не торгую.

— Видимо, я не точно выразился. Я вам предлагаю... — он замялся.

— Взятку?

— Я бы выразился иначе — небольшое соглашение. От вас требуется немного. И это «немного» совершенно не повредит вашей карьере. Ведь вы могли, допустим, приехать на полчаса позже и не обнаружить этих документов, — он кивнул на портфель. — Могли и не застать меня на квартире...

— Но ведь я вас застал?

— Об этом знаем только мы с вами. Я лично готов об этом забыть. У меня плохая память... Попробуйте забыть и вы. Я в состоянии щедро вознаградить эту забывчивость. Я богатый человек, господин Белецкий, и мне кажется, что это соглашение было бы обоюдно выгодным. Надеюсь, мы сможем с вами договориться...

Он не надеялся. Он был в этом уверен. Он был искренне убежден во всепобеждающей силе денег и считал, что вопрос сводится только к сумме: сколько я потребую за услугу — десять тысяч рублей, пятнадцать, а может, и все двадцать. Он готов был выслушать мои требования и, если бы они оказались не чрезмерными, полностью удовлетворить их. Торговая сделка джентльмена, который не скупится, но не собирается и переплачивать. Теперь он был в привычной для него сфере отношений купли-продажи. Поэтому к нему вернулись и прежний лоск, и прежняя элегантность, и прежнее безгловое выражение лица.

Это было забавно. Я не удержался от улыбки. Он понял ее по-своему и, усмехнувшись, спросил:

— Считаете, что сумму должен назвать я?

— Нет. Просто я подумал, что наивен все-таки не я, а вы, господин Думанский.

— Вот как?

Наши глаза встретились. Теперь он понял все. Понял до конца.

— Жаль, господин Белецкий, очень жаль. Думаю, что вы об этом пожалеете...

— Нам пора, — повторил я.

— С вашего разрешения я бы хотел взять с собой несессер.

Что-то в его голосе меня насторожило. Но у меня не было оснований отказывать ему в этой просьбе. Скорей про привычке, чем по необходимости, я спустил предохранитель у браунинга и стал за ним, наблюдая, как он разыскивает в одном из отделений платяного шкафа свой несессер. Наконец он его нашел.

— Больше вам ничего не потребуется?

— Нет, благодарю вас.

— Тогда пошли.

Думанский закашлялся. Кашлял он громко. Но этот кашель не заглушил легкого шума за моей спиной. Отскочить в сторону я не успел. Не удалось мне перехватить и занесенную над моей головой руку. Удар в висок сбил меня с ног. Падая, я ударился затылком о пол.

— Заберите у него оружие, — откуда-то издали послышался голос Думанского.

— Сейчас. Чисто сработано?

— Неплохо...

Последнее, что я видел, — это склонившегося надо мной человека в распахнутой на груди рубахе. Он обыскивал карманы. Заглянув мне в лицо, удивился:

— Живучая сволочь...

На груди обыскивающего была татуировка: царская корона, а под ней цифра — 1918.

Поручик Гаман, превратившийся в силу различных обстоятельств в Сердюкова, а затем и в уголовника по кличке Ванька Большой, умел убивать. Он научился этому еще в 1919 году, когда командовал в Екатеринбургской городской тюрьме комендантским взводом. Тогда там, в подвалах, были расстреляны сотни людей. И если я не разделил участи Богоявленского, в этом была не его вина: ему помешали. Как раз в тот момент, когда он собирался меня добить, на квартиру Думанского наконец прибыла оперативная группа, которую я напрасно ждал столько времени. Убийце стало не до меня, теперь ему нужно было спасти собственную жизнь... Добить он меня не успел, но зато успел искалечить. По его милости я пролежал в больнице три с половиной месяца, и одно время даже стоял вопрос о переводе меня на инвалидность. Правда, в конце концов все обошлось сравнительно благополучно, если, конечно, не считать оставшегося на всю жизнь шрама и сильных головных болей, которые мучают меня и по сей день.

Операцию мне сделали сразу же после того, как доставили в больницу, куда Виктор привез поднятого им с постели известного хирурга. Операция длилась час, и ровно час Сухоруков и Кемберовский сидели в приемном покое больницы. После операции Виктор отвез профессора домой. Уже много позднее он мне признался, что никак не решался спросить у профессора, останусь ли я жив. Так и не спросил...

По мнению врачей, мне здорово повезло: подобные операции тогда редко заканчивались удачно, в большинстве случаев люди умирали на операционном столе.

— Вот теперь могу вам наконец сказать с уверенностью, что будете жить,— констатировал профессор, осматривая меня через две недели после операции.— Считайте, что выиграли свою жизнь в лотерею. У вас был один шанс из ста.

— А сколько шансов из ста, что вы пропустите сейчас ко мне товарища? — спросил я, держа в руке под одеялом переданную мне контрабандой записку Фреймана.

— Ни одного,— отрезал он и с удивлением добавил: — А вы, Белецкий, нахал. Уникальный нахал!

— Но я вас очень прошу, профессор...

— Исключено. Совершенно противопоказано.

— А когда будет можно?

— Если все будет развиваться нормально — а я на это рассчитываю,— то дней этак через десять — двенадцать. А пока и не заикайтесь. Ни одного посетителя!

Тон, каким это было сказано, не располагал к спору. И я не спорил. Зачем? Я не сомневался, что кого-кого, а Илюшу я увижу

намного раньше. И я не ошибся. Одному ему ведомыми путями он проник ко мне уже на следующий день.

— Привет от Веры, Сухорукова, Булаева, Кемберовского, Мотылева, Савельева, Медведева... — быстро перечислял он, воровски поглядывая на дверь.

— Думанского взяли? — спросил я, когда длинный перечень фамилий был наконец закончен.

— Взяли. Жив, здоров, привет передавал... Не шучу: действительно твоим здоровьем интересовался. Джентльмен!

— А Гамана задержали?

— Ушел. На тот свет... Пытался бежать, отстреливался. Басова в руку ранил...

— Убили?

— Да он сам себя убил: хотел по водосточной трубе на крышу влезть, сорвался — ну и в лепешку...

На этом нашу беседу пришлось закончить. В палату заглянула сестра и испуганно сказала: — Обход.

— То есть сматывайся, пока не застукали, — уточнил Илюша. Он поспешно встал. — До завтра, гладиолус! Выздоровливай.

Но в следующий раз ему удалось попасть ко мне только через несколько дней. Зато он просидел в палате целый вечер и принес мне пачку хороших папирос — мечта, в осуществление которой я уже не верил.

Илюша говорил не переставая, и я с жадностью ловил каждое его слово. Центром разговора было, конечно, дело по обвинению Думанского и Гончарука (Злотникова вначале задержали, но через три дня выпустили). Пока я лежал в больнице, Илюша основательно поработал, хотя он и пытался меня убедить, что на его долю пришлось не много, что основная работа была уже выполнена мной и Сухоруковым. Фрейман, конечно, скромничал. Но с Думанским, вопреки моим опасениям, ему действительно много возиться не пришлось. Используя материалы дневника Богоявленского, Фрейман выжал из него все возможное. В частности, Думанский подтвердил, что Гаман, живший по подложному паспорту, был непосредственным исполнителем задуманного им, Думанским, убийства антиквара.

Искренность Думанского переоценивать, разумеется, не следовало. Он считал, что мы знаем если и не все, то почти все. И его откровенность была продуманной откровенностью, рассчитанной на смягчение наказания. Поэтому целый ряд эпизодов в его изложении приобрел совершенно иной характер и смысл. Думанский старался по возможности обелить себя, переложив основную часть вины на Гамана и Гончарука. Например, он утверждал, что не хотел моей смерти и что Гаман, оказавшийся случайно в тот вечер у него дома, действовал вопреки его воле. Зная характер отношений между ним

и Гаманом, в это трудно было поверить. Но показания Думанского опровергнуты не были, хотя я и сейчас убежден, что покушение на меня без его участия не обошлось и он, учитывая возможность моего приезда, специально вызвал своего подручного.

Сомнения вызывала и его трактовка убийства Богоявленского. Но как бы то ни было, а именно его показания и дневник Богоявленского дали возможность в общих чертах восстановить всю картину происшедшего.

Итак, прежде всего о мнимой смерти Думанского.

Думанский, как отмечал в своем дневнике Богоявленский, на все политические акции смотрел с финансовой точки зрения. С этой точки зрения Николай II в Екатеринбурге был уже бесперспективен. Внимание предприимчивого коммерсанта привлек другой Романов, муж сербской королевы великий князь Иван Константинович. Сын президента русской Академии наук великого князя Константина Константиновича, Иван никакими талантами не блистал. В отличие от своего отца, он даже не пытался писать стихов и играть в театре Гамлета. Более чем сомнительны были и его шансы на престол. Но за ним были сербские монархисты, Елена, а главное — сербское золото. На этой афере можно было разбогатеть. И Думанский потерял интерес к судьбе несчастного Ника. Человек осторожный, всегда предпочитавший загребать жар чужими руками, он на этот раз настолько увлекся, что позабыл про всякую предусмотрительность. В Екатеринбурге он поддерживал связь с Иваном Константиновичем не только через Лохтину и Гамана, но и непосредственную, что, конечно, не могло не обратить на себя внимания. Но, ослепленный блеском золота, Думанский ничего не замечал.

Всланные из Вятки великие князья Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Иван Константинович, князь Палей и сестра царицы, вдова бывшего московского генерал-губернатора великого князя Сергея, прозванного москвичами «князем Ходынским», великая княгиня Елизавета Федоровна пробыли в Екатеринбурге недолго. Родственники Николая II, группировавшие вокруг себя монархически настроенных офицеров, по существу, являлись центром притяжения заговорщиков в прифронтовом городе. Поэтому по решению Уралсовета они были переведены в Алапаевск, где их поместили в так называемой «Напольной школе» на окраине города. Охрана состояла всего из шести человек. И Думанский, дважды побывавший в Алапаевске, считал, что побег Ивана Константиновича вполне реален и при минимальном риске сулит большие выгоды. Тем не менее вся затея сорвалась, а Думанский буквально накануне отхода красных из Екатеринбурга был арестован (его выдали задержанные Екатеринбургской ЧК майор сербской службы Мигич и фельдфебель Божевич). В Перми, куда он был доставлен,



выяснилось еще одно немаловажное обстоятельство — причастность Думанского к подготовке террористического акта вместе с некоторыми слушателями переведенной в Екатеринбург Академии генерального штаба в Американской гостинице, где жили и работали многие сотрудники президиума Уралсовета и Екатеринбургской ЧК. Но в тот момент, когда Думанского приговорили к расстрелу за преступления против Советской власти, его уже в тюрьме не было: помещенный в тюремную больницу, он оттуда благополучно бежал. Избежать кары ему помог знакомый по Петербургу студент-белопокладочник Гончарук, служивший в военной канцелярии пермского гарнизона. Тот же Гончарук снабдил его документами на имя Левита и поместил его у своих приятелей. Когда белые захватили Пермь, Думанский-Левит предстал перед ними в ореоле мученика «большевистских застенков», отважного монархиста, бескорыстно жертвовавшего жизнью во имя царя и отечества. Еще больший блеск ему придало следствие по поводу расстрела Николая II. Монархист Соколов, которому адмирал Колчак поручил это дело, решил создать из него всероссийскую трагедию. Мученики и злодеи были налицо. Не хватало лишь героев-освободителей.

Кривошеин, Вырубова, Нейдгардт, Пуришкевич, Борис Соловьев и Лохтина мало подходили для этой цели. То ли дело Думанский. И в феврале 1919 года Богоявленский записал в своем дневнике: «У истории много общего с публичной девкой: чтобы пользоваться ее милостями, вполне достаточно маленькой толики денег и отсутствия брезгливости. Сегодня с меня снимал показания Соколов. Произвел впечатление человека весьма честного и весьма ограниченного. И у живых и у покойников он видит только мундир с регалиями. Смерть Николая Александровича для него лишь гибель государя. Соколов много нападал на Распутина, считая его предвестником гибели царской семьи. Я никогда не был почитателем старца, но такие разговоры меня будируют. Я ему сказал, что человек, дважды принявший смерть уже одним этим искупил свои грехи»<sup>1</sup>.

Соколов расспрашивал о Борисе Соловьеве, Панкратове, Гермогене, Кобылинском, Яковлеве. Он прямо не говорил, но давал понять, что трагедии способствовала наша нерешительность. Это было подло, но он, кажется, не понимал этой подлости. От него я узнал, что Яковлев перешел на сторону адмирала, но якобы по ошибке конвоира попал не к генерал-квартирмейстеру штаба верховного главнокомандующего, а к начальнику контрразведки полковнику Зайчеку, где бесследно исчез. Когда я подписал протокол допроса, Соколов сказал: «Если бы все русские монархисты вели себя подоб-

<sup>1</sup> После убийства Распутин был тайно похоронен царской семьей под иконостасом небольшой часовни недалеко от Царского Села. После Февральской революции прах «старца» был найден солдатами и сожжен в Парголово-м лесу вместе с гробом.

но господину Думанскому, государь был бы спасен». Я промолчал: переубедить его мне бы все равно не удалось. Да и ни к чему все это. Итак, Думанский — герой. Не так ли создавались герои и ранее?»

Между тем Думанский пожинал плоды своих мнимых заслуг. Он стал своим человеком у министра финансов омского правительства Михайлова, прозванного Ванькой-Каином, чешского генерала Гайды. Он занимался поставками в армию продовольствия и обмундирования.

Богоявленский, живший некоторое время в Екатеринбурге, а затем в Омске, все более и более разочаровывался в «освободителях». В его дневнике не без сочувствия приводилась фраза, сказанная Гайдой Колчаку: «Уметь управлять кораблем, господин адмирал, еще не значит уметь управлять Россией». В другом месте Богоявленский писал: «В списке виновных в убийстве царской семьи, составленном генералом Дитерихсом и Соколовым, — 164 человека. Это смертники. Сакович и Медведев<sup>1</sup> уже убиты. Такая же участь ждет остальных. В штабе верховного это называют «священной мстью». Мсть не может быть священной. Кровь, кровь. Кругом кровь. С ужасом думаю о юношах, превратившихся в палачей. Вчера был Гаман. Хвалился тем, что в одну ночь расстрелял тридцать семь человек, заподозренных в симпатиях к большевикам. Когда я попытался объяснить всю пагубность жестокости, он сказал: «Думанский совершенно прав: сейчас самое почетное звание — это звание палача. Сто тысяч голов, и Россия упадет на колени». Он так и сказал: Россия. Значит, борьба не против большевиков, а против России? Против мужиков, рабочих и мещан? Против народа? У него были безумные глаза профессионального убийцы. Спрашивал, нет ли у меня кокаина. Видно, мне недаром говорили о его связях с уголовниками. В нем ничего не осталось от прежнего юноши — ни чистоты, ни обаяния. Он палач. Совершенно не понимаю, что происходит...»

После того как Богоявленского вызвали в контрразведку и намеркнули, что пора передать хранящиеся у него иконы из царской коллекции в фонд белого движения, он, предварительно связавшись с Кривошеинным, который находился тогда в Париже, решил пробираться на юг. Предполагалось, что все эти ценности, которые хранились в Москве или под Москвой, после победоносного завершения войны будут возвращены дяде Николаю II, великому князю Николаю Николаевичу.

О пребывании Богоявленского в Одессе и Севастополе и о его но-

---

<sup>1</sup> Член областного Совета, левый эсер, врач Сакович и разводящий в «доме особого назначения» рабочий-большевик Медведев были замучены колчаковцами, один — в Омской тюрьме, другой — в Екатеринбургской.

вом отношении к белому движению читатель уже знает из показаний Азанчевского-Азанчеева: «Может быть, дело большевиков — дело антихриста, но дело Добровольческой армии тоже не дело бога». В Москву он приехал с теми же настроениями. Здесь его разыскал Гаман, который к тому времени окончательно опустился и обитал в одной из ночлежек на Смоленском рынке под фамилией Сердюкова. Вначале Гаман, по словам Думанского, бывал у Богоявленского довольно часто, и тот давал ему деньги. Затем Гаман стал его тяготить. После одной из ссор Богоявленский прервал с ним всякие отношения. Адрес Богоявленского Лохтина и «перст сына божьего» узнали от Гамана. Богоявленский всячески избегал встречи со своими прежними друзьями. Но она все-таки состоялась на квартире Гончарука: некогда спасшего Думанского от смерти, а затем превратившегося в его приказчика.

В дневнике Богоявленского имелась запись:

«Уступил настояниям Ольги Владимировны и жалею об этом. Гончарук и Думанский заставили меня вспомнить то, что мне бы хотелось забыть. Перед глазами опять Тобольск и Екатеринбург. Мерзость. Все мерзость. Говорили долго и на разных языках. Думанский ни на йоту не изменился. Эти люди неприятны мне даже физически, особенно Думанский, выдающий себя за монархиста. Смешно и стыдно. Его разглагольствования о белой идее — кощунство. Как я и предполагал, цель встречи — выманить у меня полотно. Выглядело это, разумеется, донельзя благородно. Высший монархический совет и его императорское высочество неустанно пекутся об освобождении исстрадавшейся России. Долг истинных патриотов — всеми силами способствовать общему делу. Он, Думанский, готов пожертвовать на алтарь отечества не только деньги, но и жизнь. А от меня требуется совсем немного: передать собрание полотен в надежные руки (то есть в руки Думанского). И эти «надежные руки» переправят их за границу. Все было очень возвышенно и... неубедительно. Я сказал, что, пока мне не будут представлены доказательства их полномочий, я отказываюсь вести какие-либо переговоры. Они были разочарованы».

Думанский и Гончарук таких доказательств не представили и не могли их представить, потому что никакого отношения ни к великому князю Николаю Николаевичу, ни к Высшему монархическому совету не имели. Это с исчерпывающей полнотой было установлено следствием. Но, думается, антиквар не отдал бы им картин в любом случае. И не только в силу своей старой неприязни к Думанскому, но и потому, что успел в значительной степени растерять свои монархические убеждения. Его монархизм, как мне кажется, носил личный характер, он основывался на его привязанности к Николаю II, к царской семье, причем эта привязанность не распространялась на других Романовых, с которыми его ничего не связывало. А

пребывание в Омске, Екатеринбурге, Одессе и Севастополе, где он воочию увидел белое движение во всей его неприглядности, заставило Богоявленского по-иному взглянуть на многие вещи, переоценить ценности, и он не случайно написал Стрельницкому: «У меня нет прошлого, и я не заинтересован в его воскрешении». Действительно, у Богоявленского не было прошлого. Но, видимо, у него не было и будущего. Он оказался между двумя линиями окопов, на ничейной земле, оглушенный и раздавленный происходящими событиями, даже не пытаясь определить свое место. Ему было совершенно ясно только одно: с белыми ему не по пути. Короче говоря, Богоявленский уже мало чем напоминал прежнего, с которым я впервые познакомился по дневнику, переданному мне Стрельницким.

— В результате беседы с ним, — заявил на допросе Думанский, — у меня создалось впечатление, что он стал не только терпимым, но и лояльным по отношению к Советской власти («Не знаю, от бога ли она, но зато знаю, что ее поддерживает большинство русских»).

Относительно «лояльности» судить не берусь. Но факт остается фактом: в дневнике имелась запись, из которой следовало, что Богоявленский не исключал возможности добровольной передачи коллекции государству. «Приобретенное в России должно навсегда в ней остаться», — писал он.

Картины западных художников и старинные русские иконы представляли слишком большую ценность для того, чтобы Думанский, потерявший почти все свое состояние, мог отказаться от соблазнительной мысли завладеть ими. Однако он не знал, где Богоявленский хранит их. За антикваром была установлена слежка. Но он оказался достаточно осторожным. Попытка выкрасть у него документы (Думанский был убежден, что в них имеется хотя бы упоминание о месте хранения холстов) тоже кончилась безуспешно. Думанский через Лохтину стал его шантажировать. Но Богоявленский не испугался. Тогда впервые возникла мысль об убийстве.

Думанский утверждал, что это предложение исходило от Гамана. Гончарук же указывал на Думанского. Но как бы то ни было, а именно Думанский — и он не отрицал этого — разработал все детали предстоящего преступления и проинструктировал Гамана, который должен был его осуществить. Не последнюю роль сыграла и «святая мать Ольга», хотя убитый хорошо к ней относился и неоднократно давал ей деньги. Правда, по версии Гончарука, Думанский не делился с ней своими замыслами. По поручению Думанского Лохтина передала антиквару, что Думанский, у которого есть основания опасаться напавших на его след агентов ГПУ, хочет встретиться с ним в Царицыне. При встрече он представит Богоявленскому письмо великого князя Николая Николаевича, ко-

торое рассеет всяческие сомнения в том, что он представляет Высший монархический совет и действует с его ведома и по его поручению. Словно предчувствуя несчастье, Богоявленский под разными предлогами несколько раз уклонялся от встречи. Но наконец он согласился. Сопровождал его Гаман...

После убийства тот же Гаман похитил весь личный архив Богоявленского и передал его Думанскому (о том, что одна тетрадь дневника находится у Стрельницкого, они не знали). Думанский изучил документы, но не обнаружил никаких упоминаний о месте хранения коллекции. Этим печальным для убийц обстоятельством и объяснялись вторичный обыск на квартире убитого и визит Гончарука к Азанчевскому-Азанчеву. Хотя Думанский прекрасно понимал, что дневник Богоявленского — улика, он все-таки не решился уничтожить его, надеясь найти в записях убитого зашифрованное указание о коллекции, какой-либо намек на то, где скрыты картины. Злотников, как показало следствие, отношения к убийству не имел и ничего не знал о прошлом своего патрона и его друзей. Гамана после побега он приютил по просьбе Думанского.

Вскоре после того, как Фрейман мне обо всем этом рассказал, дело по обвинению Думанского и Гончарука было передано ГПУ. Оба обвиняемых признались в совершенных преступлениях и понесли заслуженное наказание, но картин не нашли. Они словно в воду канули...

Прошло два года. Два года в беспокойной жизни сотрудника уголовного розыска — большой срок. Наша работа мало оставляет времени на воспоминания, уж слишком она заполнена событиями, которые нагромождаются одно на другое. Дело о бриллиантах Гохгарна, ликвидация банды Панаретова, поимка короля шмен-дефера Ренке и международного мастера по шнифферским делам Гусева, разгром шайки Зибарта и Кускова... Да мало ли что еще произошло за эти два года! И все же я не забывал об убийстве в полосе отчуждения железной дороги. Меня по-прежнему интересовала судьба картин, спрятанных Богоявленским. Однако все мои попытки найти их кончались безрезультатно. И я уже потерял всякую надежду. Но, видимо, тайное рано или поздно становится явным. И на день рождения мне был сделан своеобразный подарок. Я до сих пор храню папку, которую вручил мне Вал. Индустриальный (теперь уж просто В. Куций). В этой папке лежали две газетные вырезки: одна старая, протершаяся на сгибах, — мое первое и последнее выступление в газете — заметка о «барышне», а другая новая, еще пахнущая типографской краской.

— Прочти вслух, гладиолус! — торжественно произнес Фрейман, значительно поглядывая то на Валентина, то на Сухорукова. У всех троих были ликующие лица.

И я прочел:

— «Вчера в Бухарском Доме просвещения (бывший особняк Рябушинского) был обнаружен замаскированный подвал. Вход в него через бывший винный погреб, теперь превращенный в бельевую. Он замаскирован полками для хранения вин. На место прибыли полномочный представитель Бухарской республики Юсуд Саде, представитель НКВД Немченко и представитель административного отдела Моссовета Левитин. Подземелье 3,5 аршина вышины, 2,5 аршина ширины и 10—12 аршин в длину. Оно оказалось буквально заполненным музейными ценностями, преимущественно картинами...» Ну и что?

Фрейман ужаснулся.

— Держите меня, а то я его сейчас буду бить! — сказал он. — Ведь это картины Богоявленского!

— Очередное предположение?

— Факт.

— Тогда давай доказательства.

Сухоруков засмеялся, а Валентин солидно сказал:

— Можешь не сомневаться: мы с Фрейманом все картины свезли по списку. «Бичевание Христа» Пизано, «Святое семейство» Корреджо, «Христос»... Все тютелька в тютельку.

— Точно, — подтвердил Сухоруков, — могу поставить свою подпись.

— Ясно... — пробормотал я.

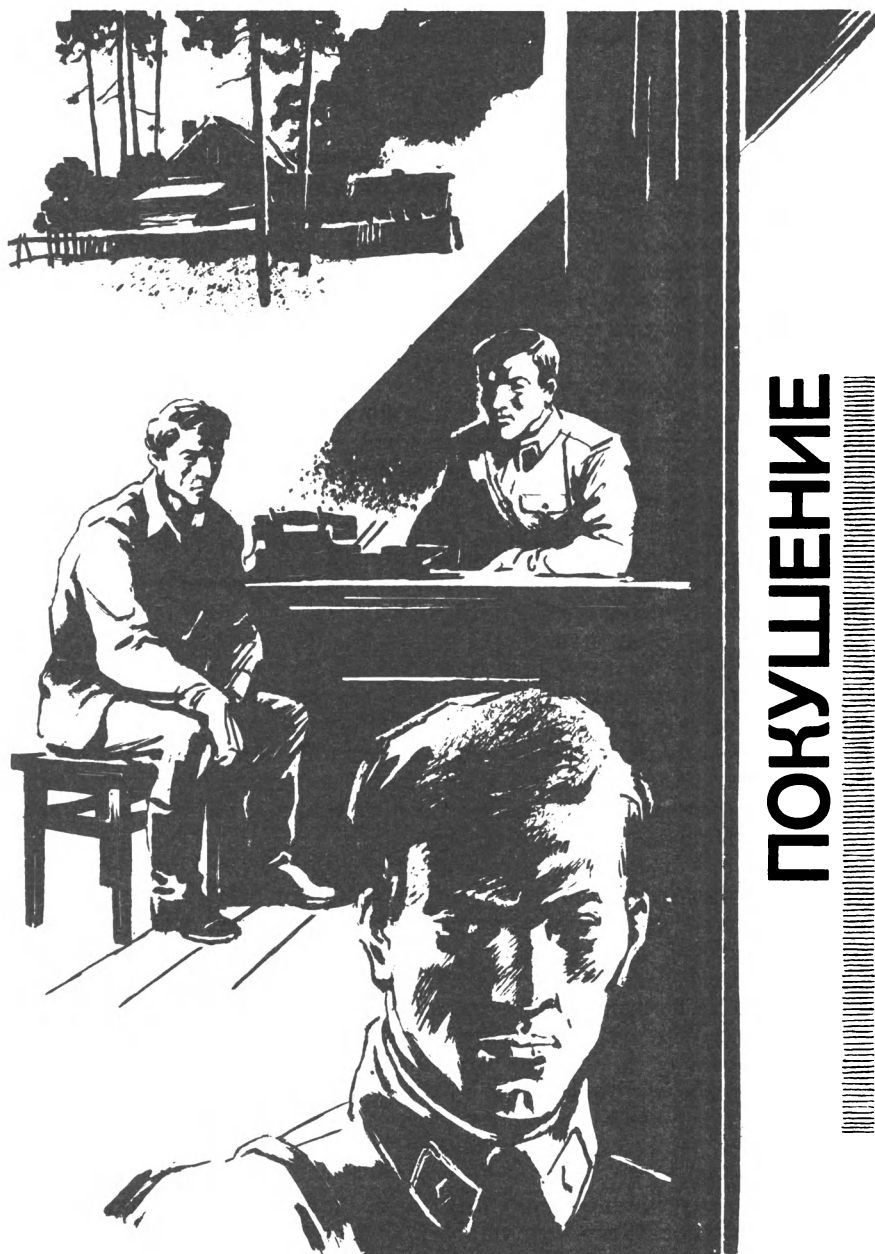
— Счастливый человек! — сказал Илюша. — Ему все ясно, а мне лично нет. По-моему, два вопроса по-прежнему остались открытыми...

— А именно?

— Собираешься ли ты нас кормить и справляют ли марсиане годовщину рабоче-крестьянской милиции?

Первый вопрос тут же был решен положительно. А второй до сих пор так и остался открытым...

За столом мы вновь и вновь перебирали все связанное с исследованием этого «мутного дела», и Валентин клялся, что обязательно напишет о нем. Но он так и не написал. Пришлось мне это сделать за него.



# ПОКУШЕНИЕ

## I

Словно повинуясь приказу, я заставил себя открыть глаза и понял, что проснулся от звуков включенного радио. Точно так же на меня действовал ночной телефонный звонок, даже тихий, едва слышимый из-под наваленных на аппарат подушек. Жену, спавшую очень чутко, он не будил, а я, умевший спать при любом шуме, мгновенно протягивал руку к трубке: «Белецкий слушает». Риту это всегда удивляло. Но ничего странного тут не было — условный рефлекс. Одна из привычек, выработанных службой в уголовном розыске. Их было много, этих привычек, может быть, даже слишком много... Постоянная настороженность, привычка к быстрым реакциям, привычка замечать особенности случайного прохожего, привычка запоминать все происходящее и разбирать на составные части мотивы любого поступка — не только чужого, но и своего... Эти привычки помогали в работе, но нередко затрудняли жизнь, ту жизнь, которую принято называть личной.

В комнате было темно. Темнота и приглушенный ею голос диктора, четко выговаривающий слова:

«...Еще не добит классовый враг. Мы будем охранять жизнь наших вождей, как знамя на поле битвы. Их жизнь принадлежит не только им, она принадлежит всей стране, рабочему классу Советского Союза и всего мира...»

Я зажмурил глаза, потом снова открыл. Теперь я хорошо видел вырезанный шторами синий треугольник замерзшего окна. В нем желтым светом вспыхнул один огонек, потом другой. Это начинали свой день жильцы в доме напротив.

Я нащупал на стуле пачку папирос. Закуривая при свете спички, посмотрел на часы: было десять минут седьмого. От первой глубокой затяжки голова слегка закружилась. И точно так же плавно закружилась, набегая друг на друга, слова диктора: «Карающая рука пролетарского правосудия разможит голову гадине, отнявшей у нас одного из лучших людей нашей эпохи».

Я сделал еще одну затяжку, загасил о сиденье стула недокуренную папиросу и, сбросив одеяло, сел на кровати.

В репродукторе щелкнуло.

«Мы передавали опубликованные сегодня в газете письма трудящихся. А сейчас послушайте программу наших вечерних радиопередач...»

Я распахнул окно. Морозный ветер зашуршал раскиданными по полу газетами. В комнате не мешало бы навести порядок. Кругом окурки, газеты, грязь... Но на уборку времени уже не оставалось.



Десять минут на гантели, пять минут на «водные процедуры», или, проще говоря, на то, чтобы умыться холодной водой по пояс, пять минут на завтрак, десять минут на бритье и одевание. Итого: полчаса. Полчаса на процесс омолаживания. Пожалуй, это было не так уж много.

Когда из оперативного гаража отдела связи за мной пришла машина, я уже надевал шинель.

Шофера Тесленко я застал за обычным занятием: он ходил вокруг автомобиля и пинал ногами баллоны. Тесленко был из бывших беспризорников и, видимо, в силу этого обстоятельства относился к сотрудникам розыска с особым почтением.

— Доброе утро, товарищ начальник,— бодро приветствовал он меня, открывая дверцу машины.

— Здравствуй. Только утро-то не очень доброе.

— Верно,— согласился Тесленко,— хорошего мало. Чего уж тут хорошего. Хоронить его когда будут, шестого?

— Шестого.

— В Кремлевской стене?

— В Кремлевской.

Я не был расположен к разговору, и Тесленко это понял: больше он вопросов не задавал. Только затормозил возле здания управления милиции Москвы, спросил:

— Подождать?

— Не стоит. Подъезжай к девяти. Раньше не освобожусь.

На улице почти вплитирку к железной решетке двора управления стояли грузовики, милицейские машины-линейки. Возле них толпились участники центрального оцепления: осназовцы и бойцы второго и пятого гордивизионов<sup>1</sup>. Подальше, недалеко от Петровских ворот, строились взводы ведомственной милиции.

С верхнего этажа здания управления свисали красно-черные флаги. Такие же полотнища виднелись вдоль улицы. По решению президиума Моссовета был объявлен траур. Все театральные представления и концерты отменялись.

Ответственного дежурного по нашему отделению старшего оперуполномоченного Русинова я встретил в коридоре. Долговязый и неуклюжий, он стоял возле дверей моего кабинета и носовым платком тщательно протирал стекла очков, которые почему-то всегда у него запотевают.

— Здравствуйте, Всеволод Феоктистович! Меня ждете?

Щуря близорукие воспаленные глаза, Русинов растерянно

---

<sup>1</sup> Осназовцы — бойцы милицейского дивизиона особого назначения, который нес патрульную службу и выполнял специальные задания руководства московской милиции.

Дивизионы — существовавшие в то время милицейские подразделения, которые состояли из взводов.

улыбнулся. Без очков он всегда смущался своей беспомощности. Видимо, мой приход застал его врасплох: он ожидал меня немного позднее. Он быстро и неловко водрузил очки на свой вислый, унылый нос и, пожимая мою руку, щелкнул каблуками.

— Здравия желаю, Александр Семенович! Опять не выпались?

— Как обычно.

— А я вот два часа под утро прихватил. Так что чувствую себя, как лев на мотоцикле.

— Бодро, но не весело?

— Точно.

Всеволод Феоктистович, несмотря на долгую службу в органах милиции, оставался сугубо штатским человеком. Его «штатскость» сказывалась во всем: в лексике, в привычках, в манере держаться и особенно в одежде. Гимнастерка на нем пузырилась, бриджи сзади висели мешком, а крупная голова на тонкой шее будто под тяжестью большого мясистого носа клонилась книзу. Если к этому прибавить неуверенную походку, сутулость и привычку постоянно поправлять сползающие очки, то легко понять инструктора командно-строевого отдела, который на учениях при одном только виде Русинова приходил в ярость.

«Вот оно, горе на мою голову,— говорил он.— Даже ходить по-человечески не умеет. В «Огоньке» писали: заслуженные артисты Елена Гоголева и Михаил Ленин норму на значок «Ворошиловский стрелок» сдали. А Русинов, между прочим, не в Малом театре, а в милиции службу проходит...»

Действительно, выправкой Русинов похвастаться не мог, и он был единственным сотрудником отделения, не сдавшим на значок «Ворошиловский стрелок» полевой квалификации. Но мне всегда казалось, что качества оперативного работника определяются не только этими показателями. И если поступало сложное, требующее глубокого анализа дело — а такие дела были не редкостью: отделение расследовало убийства, грабежи и бандитские нападения,— то я его чаще всего поручал Русинову или старшему оперуполномоченному Эрлиху. Оба они заслуженно считались «мозговым центром» отделения. От Русинова Эрлиха отличали напористость и воля. И все-таки предпочтение, в силу привычки, а может быть, и личной симпатии, я отдавал Русинову, хотя работать с ним было намного трудней, а в розыске его знали не только по крупным победам, но и по неожиданным срывам...

Достоинства Всеволода Феоктистовича одновременно являлись и его недостатками. Его ум нередко оказывался излишне гибким и критическим, а мысли развешивались на два враждебных лагеря, не желающих уступать друг другу своих позиций.

До сих пор помню его доклад о загадочном убийстве одной студентки. Блестяще разработав все улики, Русинов как дважды

два четыре доказал, что убийцей является некто Чичигин. Это было настолько очевидно, что приходилось лишь удивляться, почему над этим делом уже целых два месяца бьется группа опытных работников. И я, и присутствовавший при докладе Эрлих слушали его как завороченные. Но, когда я уже хотел было оформлять ордер на арест Чичигина, Русинов сказал: «Это, с одной стороны, а с другой...», — и с той же неопровержимой логикой обосновал, почему, несмотря на все улики, Чичигин никак не мог убить девушку. «Так убивал он или не убивал?» — «С одной стороны — да, а с другой — нет», — грустно сказал Всеволод Феоктистович и недоуменно развел руками. Дескать, сам не рад, но так уж получается.

Эта поразительная способность блестяще обосновывать взаимоисключающиеся точки зрения портила кровь не только мне, но и самому Русинову. Но он ничего не мог с собой поделать...

За ночь по городу, если не считать вооруженного нападения на сторожа продовольственного магазина в Измайлове, никаких ЧП не случилось.

Я спросил Русинова, выезжал ли он на место преступления.

— Нет, не было необходимости, — сказал он. — Улики налицо. Все три участника преступления задержаны сотрудниками ведмиллии. У одного изъят пистолет системы Борхарда, у другого — железный ломик. Рецидивисты прибыли из Калуги.

— Признались?

— Так точно.

Значит, это ЧП к нам непосредственного отношения не имело. Дело простое, поэтому оно пойдет через уголовный розыск РУМа<sup>1</sup> или оперативную часть соответствующего отделения милиции. Тем лучше.

— Что еще?

— Звонили из прокуратуры города.

— Кто?

Русинов назвал фамилию одного из помощников прокурора.

— Интересовался материалами о покушении на Шамрая. Но я сказал, что ему следует обратиться непосредственно к вам или к Сухорукову.

— А для чего ему потребовалось, не говорил?

— Никак нет, — щегольнул Русинов военной терминологией, к которой, как и все штатские, питал слабость.

Новость была не из приятных, и Всеволод Феоктистович понимал это прекрасно. Дознание по Шамраю вел он, и закончилось оно безуспешно: дело пришлось прекратить. Между тем мотивы нападения на ответственного работника (Шамрай руководил крупнейшим трестом) остались невыясненными. И в свете последних собы-

---

<sup>1</sup> РУМ — районное управление милиции.

тий прекращение подобного дела могло вызвать в прокуратуре определенную реакцию.

— Но ведь постановление о прекращении отменено и передано Эрлиху,— сказал Русинов, который в довершение ко всему обладал не всегда приятной для окружающих способностью читать чужие мысли.

— Это с одной стороны,— возразил я.

Всеволод Феоктистович покраснел, но все-таки спросил:

— А с другой?

— А с другой — то, что написано пером, не вырубишь топором. Постановление есть, и наши подписи на нем есть. Да и отменено оно всего неделю назад.

— Главное, что отменено. А Эрлих результатов добьется.

Тон, каким это было сказано, мне не понравился. Но обращать внимание на оттенки в тоне подчиненных в мои служебные обязанности не входило. И я промолчал, тем более что Русинов опять занялся своими очками, давая тем самым понять, что тема, по его мнению, полностью исчерпана.

В конце концов, отношение к Эрлиху, если оно не мешает работе, его личное дело. Но иронизировать не стоило: дознание в тупик завел он. В подобной ситуации я бы на его месте держался иначе. А впрочем, так обычно думают все, пока находятся на своем месте или на месте, которое им кажется своим.

Русинов положил на стол несколько папок. Я отсутствовал всего день. Но бумаг накопилось много, особенно по письменному розыску. Подписав с полсотни отдельных требований, ходатайств и напоминаний, я перешел к внушительной папке «входящих».

На большинстве покоящихся здесь документов имелась многозначительная пометка: «Для сведения». В переводе с канцелярского языка на обычный это означало, что их можно читать, а можно и не читать. Но я все-таки решил прочесть.

Я познакомился с разъяснением о порядке сдачи на хранение ценностей, изъятых при обысках; информацией о размерах хлебной надбавки и о заработной плате милиционеров первого разряда; с инструкцией о проведении аппаратной чистки в районных управлениях милиции и с циркуляром об орабочивании кадров...

Русинов, с иронической доброжелательностью наблюдавший за мной, извлек со дна папки несколько сколотых листов папиросной бумаги.

— Всего прочесть все равно не успеете, Александр Семенович...

— Что это?

— Очередной проект типового договора о соревновании между отделами уголовного розыска. Разослан для обсуждения.

— Кем подготовлен?

— Сотрудниками Главного управления милиции, а из наших участвовал Алеша Попович. Он-то больше всех и волнуется...

Проект мало чем отличался от предыдущих. Его авторы предлагали соревнующимся снизить сроки дознания, сократить возвращение дел на исследование и повысить общую раскрываемость до 80 процентов. Активный розыск обязан был раскрывать не менее 45 процентов преступлений. Безрезультатные обыски следовало сократить на 20 процентов. Дальше говорилось об увеличении партийно-комсомольской прослойки, о вовлечении всех сотрудников в общественную работу, о роли культармейцев и опять проценты. Слово «проценты» по нескольку раз попадалось в каждой строке, и весь проект напоминал бухгалтерскую ведомость.

— Просили письменно сообщить ваше мнение,— сказал Русинов.

— Ну какое тут может быть мнение? Розыскная работа — не бухгалтерский учет. Глупость, конечно.

— Так и писать?

— Так и напишите: «Новый проект типового договора о соревновании, безусловно, является большим шагом вперед по сравнению с предыдущими вариантами. Чувствуется, что его авторы добросовестно обобщили и глубоко проанализировали практику работы... Однако, учитывая отдельные и малосущественные недостатки, которые, разумеется, совершенно не сказались на высоких качествах проекта, но могут пустить под откос всю розыскную работу, мы категорически возражаем против его применения...» Что-нибудь в этом роде. Понятно?

— Так точно, товарищ начальник.

— Тогда действуйте. Алеша Попович у себя?

— У себя. Всю ночь сидел.

## II

Алексей Фуфаев числился в инспекторской группе управления около года. Я знал его и раньше. Познакомила нас Рита, которая работала с ним когда-то в Ленинграде то ли в подотделе искусств, то ли в редакции молодежного журнала «Юный пролетарий». По словам Риты, Фуфаев хорошо пел старую комсомольскую песню: «Нарвская застава, Путиловский завод — там работал мальчик двадцать один год...»

«В общем, ты с ним сойдешься,— сказала она тогда и для чего-то добавила: — Его у нас Алешей Поповичем называли...»

С Фуфаевым мы так и не сошлись, но в управлении встретились как старые знакомые. А прозвище «Алеша Попович» с моей легкой руки за ним закрепилось. Его называли так все, начиная от помощника оперуполномоченного и кончая начальником уголовного розыска Сухоруковым.

Широколобый, беловолосый, с наивно-хитроватым взглядом

почти прозрачных голубых глаз и мощными покатыми плечами, он действительно походил на Алешу Поповича, каким того изображали на лубочных картинках. В его густом и напевном голосе тоже было нечто былинное.

Работоспособности Фуфаева можно было лишь позавидовать. Не только одна, но даже две бессонные ночи подряд на нем не сказывались. Вот и сейчас он выглядел свежим и бодрым, как после длительного спокойного сна.

Когда я вошел, он взглянул на часы:

— Торопись, Белецкий. У нас с тобой еще десять минут в запасе. Сейчас допишу. А ты пока газетку почитай. Небось нерегулярно читаешь?

— Как придется.

— Ну, это не разговор. Твое счастье, что мы вдвоем: ты не говорил — я не слышал... Ну, присаживайся, присаживайся. Возьми то креслице, оно помягче, ублаготвори свои кости. А газетку все-таки почитай...

Фуфаев урезонивал меня в своей обычной манере, по-родственному. В таком же духе он разговаривал со всеми сотрудниками управления. С одними — по-отцовски, с другими — по-братски, а кое с кем и по-сыновнему. Со мной, как с начальником ведущего отделения уголовного розыска, он придерживался братского тона. Но сейчас в его голосе проскальзывали отцовские нотки. Из этого, учитывая, что структура инспекторской группы с нового года менялась, можно сделать некоторые выводы...

— Говорят, скоро будешь опекать уголовный розыск и наружную службу? — не удержался я.

— «Говорят, говорят...» — пропел Фуфаев, не поднимая глаз от лежащей перед ним бумаги. — Ну и пусть говорят. — Он протянул мне номер газеты: — Все. Минута молчания.

Я сел в большое кресло у окна и закурил.

— Ну вот, — недовольно сказал Фуфаев, который тщательно оберегал свое здоровье, — сразу дымить... В машине накуришься, успеешь...

Я выбросил папиросу в приоткрытую форточку и развернул газету.

Первая страница была заполнена письмами-откликами на убийство Кирова. Вверху — набранное жирным шрифтом обращение рабочих завода «Красный путиловец» к Центральному Комитету партии и к трудящимся Советского Союза. Немного ниже — сообщение об обстоятельствах смерти Кирова.

Я обратил внимание на отчеркнутую красным карандашом небольшую заметку. В ней сообщалось о смещении и предании суду «за преступно-халатное отношение к охране государственной безопасности» группы ленинградских чекистов.

— Прочел? — спросил Фуфаев, откладывая ручку.

— Прочел.

— То-то,— назидательно сказал он.— Ну, поехали.

Фуфаев быстро рассовал по ящикам письменного стола бумаги и, достав из сейфа браунинг, положил его в задний карман брюк.

— А это зачем?

— Не помешает, все может быть...

В машине он сел рядом с шофером, придавив его к дверке. Тесленко крикнул, но промолчал.

— Через центр поедем или по Садовому? — спросил Тесленко.

— По бульварам,— сказал Фуфаев таким решительным тоном, будто этот вопрос он обдумывал всю ночь.

До Сретенских ворот мы доехали благополучно, но там пришлось остановиться, пережидая, пока пройдут колонны рабочих.

Люди шли молча, в ногу, по шестеро в ряд. Застывшие, суровые лица. Высокий бородатый старик нес украшенный еловыми ветками большой портрет Кирова.

Киров смеялся. Смеялись губы, прищуренные глаза. По доброму душному круглому лицу разбегались веселые морщинки.

Где-то в хвосте колонны заиграл духовой оркестр. «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу...» Музыка так же неожиданно оборвалась, как и началась. И опять только приглушенный топот сотен ног.

— Древки-то знамен как блестят! Позолота...— сказал Фуфаев, с трудом повернувшись ко мне на тесном сиденье.— А моя заявка на бронзовую краску в отделе снабжения уже с полгода лежит. Ни тпру ни ну. Надо будет на них ребят из «легкой кавалерии» натравить. Дело грошовой, а вид богатый.

— Помолчи,— попросил я.

Из колонны вышел человек в ватнике и, подойдя к машине, попросил закурить. Я протянул ему пачку.

— Если три возьму, не обижу?

— Валяй.

Он вытащил из пачки задубевшими пальцами несколько папирос и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сказал:

— Вот, Мируныча встречать идем. Встречать и провожать... Такие дела... А вы тоже туда?

— Куда же еще? — сказал Тесленко.

— Небось в охрану? — усмехнулся рабочий.— Так надо было охранять раньше. Сейчас чего охранять? Мертвому пуль не бо-  
яться.

Колонна наконец прошла, и Тесленко рванул машину. От резкого толчка фуражка у меня съехала на лоб. Фуфаев выругался.

— Так ездить будешь, до места не довезешь...

— Ничего, довезу, — сказал Тесленко.

У шахты строящегося метрополитена Тесленко, не сбавляя скорости, свернул на Мясницкую. Она была пустынной. Ни извозчиков, ни машин, ни прохожих. Только вдоль тротуаров вытянулись двумя темно-серыми полосами шеренги осназовцев. Рослые, в суконных шлемах и шинелях, они были как близнецы.

Недалеко от Каланчевской площади, переименованной года полтора назад в Комсомольскую, нас остановил патруль: дальше проезд был запрещен.

— Приказ начальника центрального оцепления, — сказал милиционер из кавдивизиона, исполнявший обязанности старшего патрульного. — Если бы на десять минут раньше, я бы пропустил. А теперь нельзя. Вы попробуйте через переулки — прямо к Ленинградскому вокзалу выскочите...

Терять время на объезд смысла не имело. Мы вышли из машины и, отправив Тесленко в гараж, пошли пешком.

— Людей-то сколько! — поразился Фуфаев.

Действительно, громадная площадь до предела была заполнена рабочими и красноармейцами. И тем более странной казалась царившая здесь тишина. Ни шума голосов, ни звона трамваев. Только откуда-то издалека доносились гудки паровоза. Слабые, протяжные, робкие. У здания Казанского вокзала жгли костры. Черный, едкий дым стлался над низкими закопченными сугробами, щипал глаза, першил в горле. Пахло гарью и мазутом. Двое подростков обрывали с каменной тумбы афиши и охапками швыряли их в костер. У них были недовольные и сосредоточенные лица людей, делающих неприятную, но нужную работу.

Огромные часы на башне показывали половину десятого.

— Тютелька с тютельку прибыли, — довольно сказал Фуфаев. — Ты в управление на машине Сухорукова поедешь?

— Наверно.

— Ну, я потом вас разыщу. Счастливо! — Он махнул мне рукой и исчез в толпе.

Проверив свой участок наружного оцепления возле Ленинградского вокзала, я направился к главному входу, где стояла группа сотрудников НКВД.

Начальник московской милиции, его заместитель и Сухоруков, стоя в стороне, о чем-то разговаривали. Все трое были в форме: серые регланы, шапки типа «финок».

Когда я подошел, они замолчали.

Я коротко сообщил о результатах проверки.

— А внутреннее оцепление проверяли?

— Никак нет. В соответствии с инструктажем проверка внутреннего оцепления должна производиться в десять десять.

— Тем не менее потрудитесь проверить сейчас. Я отправляюсь



на перрон, так что доложите или Сухорукову, или начальнику наружной службы.

Когда я вышел из здания вокзала, ни начальника управления, ни его заместителя уже не было — один Сухоруков. Он стоял в своей излюбленной позе: слегка расставив ноги и заложив руки в карманы реглана. У него было бледное застывшее лицо и неподвижный взгляд.

— Все в порядке?

— Так точно.

— Хорошо... — Он зябко передернул плечами и поправил и без того ровно надетую фуражку. — Хорошо...

В проходе, образованном взявшимися за руки милиционерами, замелькали правительственные машины. Площадь всколыхнулась, загудела, взметнулась сотнями знамен и вновь стихла. Где-то вдали послышался слабый гул. Сперва едва слышный, потом погромче. Он все более и более нарастал. В окнах вокзала мелко задрожали стекла.

— Что это? — спросил я у Сухорукова.

— Аэропланы.

Вывавшись из-за домов Каланчевки, самолеты стремительно пронеслись над площадью. Они шли низко, почти касаясь спицей Казанского вокзала. Хорошо были видны звезды на крыльях, вихрь пропеллеров и черные, в несоразмерно больших очках головы летчиков. Четыре, восемь, десять, двенадцать... Самолеты шли нескончаемой лавиной, звено за звеном, волна за волной. Рев моторов то рвал барабанные перепонки, то протяжным, надрывным стоном затихал в отдалении. И тогда становились слышны крики испуганных птиц и тяжелое дыхание тысяч людей, запрокинувших вверх головы.

Сухоруков, жестикулируя, что-то говорил, но я его не слышал. Я только видел открывающийся и закрывающийся немой рот.

Через зал ожидания, в котором висело большое полотнище с надписью: «Не плачьте над трупами павших бойцов, несите их знамя вперед!» — мы прошли на платформу. Здесь стояли колонна знаменосцев, почетный караул, военный оркестр, соратники Кирова.

В сухой морозный воздух, заполненный гулом моторов, штурпом ввинтился тонкий и пронзительный свисток паровоза.

— Смирно! Равнение направо!

Качнулись и застыли штыки почетного караула, склонились древки знамен заводов и фабрик Москвы и Ленинграда. Военный оркестр заиграл траурный марш.

Лязгнули буфера. Из дверей вагонов один за другим выносили обвитые красными и черными лентами венки, привявшие за время пути белые и пурпурные розы. Шесть человек пронесли на черном бархате огромный, в полтора человеческого роста, венок из стальных

дубовых листьев. Живые и искусственные цветы, ленты и снова венки, сотни и сотни венков.

На высоко поднятых руках закачался красный гроб. Его передавали из рук в руки. Он то поднимался, то опускался среди моря голов. Потом куда-то исчез.

В воротах вокзала показалась колонна знаменосцев-ударников с «Динамо», «Калибра», «Станколита», «Манометра» и «Краснохолмской мануфактуры». Шествие замыкали двое пожилых рабочих с транспарантом: «Пусть враги помнят, что не только боль, но и гнев потрясает наши сердца». Такая же надпись была на транспарантах, когда мы хоронили жертвы взрыва в Леонтьевском переулке...

Затем я вновь увидел гроб. Он стоял на артиллерийском лафете. Резко прозвучала команда — почетный кавалерийский эскорт обнажил сабли.

Опять взревели моторы. Самолеты сделали над площадью последний прощальный круг и скрылись. Наступила гнетущая, томительная тишина. Тонко и жалобно заржала лошадь. Ей ответила другая, забила по булыжникам подковами.

Тускло блеснули клинки кавалеристов. В толпе плакали. Цокали копыта лошадей. Гудели на путях паровозы.

Траурная процессия, пересекая площадь, медленно удалялась в сторону Красных ворот...

Сухоруков достал из кармана брюк именной серебряный портсигар и жадно закурил.

— Ты сейчас в розыск? — спросил я.

— Нет, в наркомат. У меня машина за углом. Поехали. Забросишь меня — и в розыск.

— Надо бы Алешу Поповича отыскать.

— А это зачем?

— Просил захватить.

— Ничего, пешком дотопает, — сказал Сухоруков. — Ему полезно. Жиреть начал. А материалы по делу Шамрая мне к вечеру подбери, хочу посмотреть, что мы там накрутили...

### III

Приметы эпохи, пожалуй, можно подметить в любом учреждении. В тридцатые годы в вестибюле Московского управления милиции нетрудно было разглядеть характерные черточки не только быта, но даже психологии тех, кто стоял на страже советской законности, или, проще говоря, моих сослуживцев и современников.

«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...»

И паровоз стремительно мчался вперед. Его бег ощущался в лозунгах и плакатах, висевших у входа, в чернильницах, ими-

тирующих нагромождение шестеренок или парящие в небе самолеты, в резном деревянном барьере, где скрещивались в бесконечном повторе серп и молот, в фотографиях ударников милиции и доске объявлений. Кто только не обращался с этой доской к работникам милиции! Местком, правление кооператива, общества пролетарского туризма и друзей радио, юные авиамоделисты, школа партпроса и школа сочувствующих, ЦК союза эсперантистов и общество «Динамо».

Доска объявлений пользовалась успехом. И, явившись утром на работу, почти каждый сотрудник первым делом направлялся к ней. Постояв здесь минут пять, он обогащался разнообразными и необходимыми сведениями. Он узнавал о результатах очередного рейда «легкой кавалерии» нашей комсомольской ячейки по управлению буфетов кооператива НКВД, о льготных киноабонементов для ударников милиции, о новом порядке выдачи дров по талонам первого срока и о прикреплении спецталонных на получение мяса. Кружок по изучению иностранных языков (знание языка необходимо для обороны страны и укрепления интернациональной дружбы всех пролетариев) приглашал его заняться немецким. Партком призывал прийти на субботник по строительству метрополитена, а культкомиссия ставила в известность, что по ее инициативе районо заключил договор с зоопарком. Теперь «организованным» школьникам, приходящим по путевкам районо, будут выдаваться билеты для катания на двух животных из пяти по выбору: верблюд, олень, пони, ослик, собака.

Затем сотрудник управления, если у него еще оставалось время до начала рабочего дня, задерживался у стенгазеты «Милицейский пост», которая висела рядом со столиком вахтера, круглолицего, спортивного вида парня, счастливого владельца ордера месткома на шитье настоящих хромовых сапог и выданного тем же месткомом бесплатного абонемента в парк культуры и отдыха.

— Что-нибудь новенькое есть?

— Все новенькое, — отвечал вахтер.

И действительно, материалы газеты постоянно обновлялись. Милкоровские<sup>1</sup> заметки менялись почти ежедневно, проблемные статьи и большие корреспонденции — раз в три или четыре дня, а передовая — каждую неделю. На прошлой неделе передовая была посвящена итогам 1934 года. Теперь вместо нее были фотография Кирова в траурной рамке и правительственное сообщение об убийстве...

Мимо меня проходили сотрудники с портфелями. Провели группу задержанных в магазине карманников. Один из них размахивал руками и что-то доказывал сопровождающему милиционеру.

---

<sup>1</sup> Милкор — милицейский корреспондент.

Беспрерывно хлопала входная дверь. Управление жило обычной жизнью. Приезжали и уезжали оперативные машины, в кабинетах допрашивали подозреваемых и свидетелей, обсуждали новые правила уличного движения и маршруты гужевого транспорта от вокзала к центру, анализировали состав осужденных за хищение кооперативной собственности и спорили о порядке регистрации в дактилоскопической карточке.

В политотделе изучали документы о ходе соревнования, в отделе наружной службы занимались повышением квалификации постовых милиционеров, в уголовном розыске (как и во все времена его существования) были озабочены уровнем раскрываемости преступлений...

Когда я поднимался по лестнице, меня сверху окликнул Эрлих. Старший оперуполномоченный был ниже среднего роста, как говорила моя секретарша Галя, «карманный мужчина», но держался он прямо и поэтому издали казался высоким.

— Очень кстати, а то я договорился о встрече с Шамраем, — сказал Эрлих, пожав руку и подарив мне свои обычные полпорции улыбки. Улыбался он часто, но как-то неохотно, словно придерживался обязательного параграфа некоего устава. Короткая улыбка, легкий наклон головы, энергичное рукопожатие — все это делалось быстро, четко и рационально. Эрлих не любил ничего избыточного: ни эмоций, ни жестов.

— Вы в курсе того, что делом Шамрая интересовалась прокуратура? — спросил я. — Мне, видимо, придется сегодня докладывать Сухорукову. Какими-нибудь дополнительными данными вы располагаете?

— Пока нет, — ответил Эрлих. — Но дело, кажется, не столь уж сложное. Через два-три дня я вам представлю свои соображения.

— Что ж, три дня срок небольшой.

— Так вам я не потребуюсь?

— Нет, Август Иванович, не потребуетесь, можете отправиться к Шамраю. Попрошу только занести мне материалы по этому делу.

— Они уже у вас на столе, — сказал Эрлих.

Получив на прощание вторую половину недоданной мне при встрече улыбки, я направился в кабинет, где сразу же попал в привычное круговращение служебных и общественных дел, которое именовалось текушкой. Вырваться из нее было трудно, а то и невозможно. И чтобы выкроить час для ознакомления с документами, оставленными мне Эрлихом, пришлось прибегнуть к старому, но испытанному методу: уединиться в кабинете и предупредить секретаря Галю, что меня нет. Всем, кому я был необходим, Галя отвечала, что «начальник уехал в главк, будет позднее». При этом ее глаза становились такими правдивыми, какими они бывают

только у завзятых лгунов. Гале, конечно, не верили. Но сотрудники отделения знали, что такое текучка, и свято блюли правила игры: раз нет, значит, нет. Затем на очередном собрании партгруппы мне доставалось за бюрократизм и отрыв от масс. Я отдавал дань самокритике, и все опять шло по привычному кругу.

Я запер дверь и раскрыл уже порядком истрепанную обложку дела, которое официально именовалось «Дело о пожаре на служебной даче гр. Шамрая Ф. Г.».

Суть происшедшего подробно излагалась в заявлении потерпевшего и милицеском протоколе. Если отбросить различные второстепенные детали и имеющиеся в каждом деле ответвления, события развивались следующим образом.

Двадцать пятого октября в 7 часов вечера Шамрай отпустил домой своего шофера и секретаря, а сам продолжал работать в своем кабинете до половины двенадцатого ночи. Около двенадцати на машине отправился на дачу (он имел любительские права и часто сам водил автомобиль). С собой взял портфель, в котором находились бумаги комиссии по партийной чистке редакции одной из городских газет (Шамрай был членом этой комиссии), материалы для доклада, паспорт, партийный билет, деньги и ценные подарки, предназначенные для вручения сотрудникам треста в канун годовщины Великой Октябрьской революции (два серебряных портсигара и три пары именных часов). Оставить портфель на работе он не мог: замок сейфа испортился, а в секретариате уже никого не было. К даче Шамрай подъехал в половине первого. Жена с дочерью отдыхали у Крыму. Он заварил чай, так как привык перед сном выпивать стакан крепкого чая. Портфель Шамрай положил в средний ящик письменного стола, который стоял в соседней комнате, выходящей окнами в сад. Затем закрыл стол на ключ, а ключ спрятал под подушку. Уснул он приблизительно в половине второго и проснулся около четырех от шороха в смежной комнате. Почувствовав запах гари, Шамрай стал поспешно одеваться. Вначале ему показалось, что горит соседняя дача, но когда он приоткрыл входную дверь, в переднюю ворвалось пламя, которое опалило ему лицо и волосы. И только тогда он понял, что горит его дача и ему придется выбираться через окно. Он взял ключ из-под подушки и бросился к письменному столу, чтобы достать портфель. Замок в ящике оказался взломанным, портфеля не было... В ту же секунду на него сзади кинулся какой-то человек и стал душить... Шамрай с трудом оторвал от своей шеи пальцы неизвестного, отшвырнул его в сторону, выскочил в окно и побежал вдоль забора по тропинке к воротам. Вслед ему один за другим прогремели три выстрела, но ни одна пуля в него не попала. На соседней даче пострадавшему оказали первую медицинскую помощь: смазали ожоги раствором марганцовки и вызвали врача. Когда приехала пожарная команда,

коттедж уже догорал. Что касается неизвестного, то сторож с близлежащей дачи, некая Вахромеева, видела, как тот бежал в сторону железной дороги. Видела она его со спины и так же, как Шамрай, заявила, что опознать не сможет. По ее словам, убежавший был среднего роста, без шапки, темноволосый, в черном пальто. Ни оружия, ни портфеля в его руках она не заметила. Больше неизвестного никто не видел, но выстрелы слышали человек пять. Машина Шамрая от пожара не пострадала. В протоколе осмотра места происшествия указывалось, что передние дверцы ее были раскрыты, а подушка сиденья перевернута. Гаечный ключ, который, по словам Шамрая, лежал под сиденьем, был обнаружен среди головешек сгоревшей дачи. Пожарно-техническая экспертиза дала заключение, что очаг возникновения пожара находился на веранде. Причина пожара выяснена не была. Следями ног, разумеется, никто не занимался, так как на пожаре побывало слишком много людей.

И последнее. Через три часа после случившегося в один из уличных почтовых ящиков кто-то бросил обвязанный бечевкой газетный сверток, в котором были паспорт Шамрая, его партийный билет и часть материалов для доклада. Фотографические карточки с документов были содраны. Среди бумаг для доклада работник стола находок обнаружил лист из ученической тетрадки с весьма странными раешными стихами, которые начинались словами: «Здорово, избранная публика, наша особая республика!..»

Раздумывать о происхождении этих виршей не приходилось: нечто подобное я слышал на концерте в доме отдыха для лишенных свободы в Запорожской исправительно-трудовой колонии, где я был однажды по делам службы<sup>1</sup>. Но вот почему они оказались среди служебных бумаг управляющего трестом, было загадкой не только для нас, но и для Шамрая, который утверждал, что никогда этого листка раньше не видел. Любопытно, что стихи были написаны хорошо выработанным почерком, без единой грамматической или синтаксической ошибки.

После отмены постановления о прекращении дела производством новых документов почти не прибавилось. Несколько малоинтересных протоколов допросов, повторная пожарно-техническая экспертиза, давшая то же заключение, что и первая, криминалистическая экспертиза — вот почти и все.

Пожалуй, с Эрлихом стоило все-таки побеседовать. А впрочем... Ведь Сухорукова интересуется только суть дела, а не сомнительные прогнозы и перспективы, поэтому моя информация его должна удовлетворить. Русинова же я в обиду не дам. Пусть лучше все шишки сыплются на меня...

<sup>1</sup> Дом отдыха для заключенных в Запорожской исправительно-трудовой колонии был создан в виде эксперимента в 1932 г. В нем одновременно могло отдыхать и лечиться 22 человека. Путевки выдавались на 14 дней.

Когда я вошел в секретариат, Галя поспешно положила телефонную трубку (начальник пришел!), и тотчас же ее глаза приобрели «служебное выражение». На ее столике рядом с машинкой стояли в коробке, изображающей айсберг, духи «Герой Севера». Такие же духи были и у Риты... Галя перехватила мой взгляд и сказала:

— У меня сегодня день рождения.

— Поздравляю вас. От всей души желаю...

— ...обучиться слепому методу печатания на машинке и меньше болтать по телефону?

— Зачем же? Счастья желаю, успехов...

— Спасибо. А вы уже приехали из управления?

— Приехал.

— Окончательно?

— Окончательно.

— Тогда давайте я вам сейчас закреплю пуговичку на рукаве гимнастерки, а то она у вас оторвется. Видите, как болтается?

#### IV

Сухоруков позвонил мне после девяти.

— Ты еще здесь? Давай, заходи ко мне. Потолкуем.

В его приемной, большой неуютной комнате с дубовыми панелями и позеленевшей от времени то ли медной, то ли бронзовой люстрой, было пусто: секретарь и машинистка, видимо, уже ушли. Вдоль стен сиротливо жались рыжие мосдревовские шкафы с пломбами, хотя в них ничего, кроме чистой бумаги, копирки да бутылок с чернилами, не было. Густо пахло табаком, жужжал никому не нужный вентилятор. На длинном, покрытом зеленым сукном столе стояли пузатый графин с водой, стаканы и две круглые массивные пепельницы, заполненные окурками. По этим окуркам можно было легко определить, кто и в каком состоянии ожидал здесь приема. «Нашу марку» в отделе покупал начальник группы ночной охраны Двубабный. Обычно он докуривал папиросы до конца. А в пепельнице лежало три скомканных окурка, выкуренных лишь наполовину. Значит, Двубабный нервничал, ожидая разноса. Не в лучшем состоянии коротал здесь время и любитель «Зефира № 400», гроза аферистов и мошенников Москвы Ульман. А вот старший оперуполномоченный Цатуров, кутивший «Казбек», пребывал в самом радужном расположении духа. Об этом свидетельствовал едва примятый кончик мундштука, который Цатуров в возбужденном состоянии обычно превращал своими крепкими зубами в бумажную кашку.

Анализ окурков позабавил меня.

Выключив нагревшийся вентилятор, я прошел в кабинет, такой же большой и неуютный, как приемная. При виде меня Сухоруков насмешливо прищурился:

— Ну, ну, рассказывай, что там Русинов накуролесил.

— Насколько мне известно, ничего,— ответил я, садясь за столик, приставленный к столу Сухорукова.

— Дело Шамрая не в счет?

— По-моему, нет.

— Так, так... Выгораживаешь любимца?

— Во-первых, Русинова не нужно выгораживать: неудачи бывают у всех. А во-вторых, в своем отделении за все отвечаю я.

— Это верно, что за все отвечаешь ты,— согласился Сухоруков.— Поэтому я и спрашиваю не с Русинова, а с тебя. Что ни говори, а тут ты сорвался. Прокуратура мне с этим делом уже всю плешь проела. К ним, оказывается, поступило заявление от партбюро с места работы Шамрая. Ну и закрутилась машина: как, что, почему, зачем да куда милиция смотрит! Даже до наркомата докатилось. Я сегодня отдал представление о назначении тебя моим замом, но мне сказали: пусть сначала с делом Шамрая распутается, а там посмотрим...

— Ну, мне не к спеху.

— Зато мне к спеху. Работы много, а руки до всего не доходят. Кстати, тебе привет от Фреймана. Он как раз делал сообщение по Ленинграду.

— Что-нибудь прояснилось?

— Да. Но об этом потом. Сначала с твоим делом разберемся. Распутаете?

— Постараюсь.

— А уверенности нет?

— Нет.

— По крайней мере, честно.

У Сухорукова был еще более болезненный вид, чем утром. При свете настольки лампы его лицо отливало желтизной и напоминало стеариновую маску.

— Ты случайно не заболел?

— А что, не нравлюсь тебе?

— Не нравишься.

— Да нет, будто бы не заболел, вымотался,— сказал он.— Четвертый десяток. Это мы с тобой в 1918-м молоденькие были — все нипочем. А сейчас тридцать пятый на носу... Вот видишь, пилюли глотаю,— он постучал пальцем по коробочке с каким-то лекарством.— Ты еще до пилюль не дошел?

— Пока нет.

— Так скоро дойдешь,— уверенно пообещал он.— Ну, рассказывай.

Слушал он меня как будто внимательно, но с таким отсутствующим взглядом, что нетрудно было догадаться, как далеки в эту



минуту его мысли. Задал несколько уточняющих вопросов, просмотрел акты экспертиз.

— Значит, Эрлиху передал дело?

— Да.

— Разумно. Хватка у него бульдожья и голова светлая. Кстати, хотел узнать твое мнение. Если ему дать отделение, потянет?

— Видимо..

— Ну вот, когда тебя утвердят замом, выдвину его на отделение. Так ему и скажи. Думаю, это его подхлестнет.

— Наверняка.

Сухоруков поднял на меня глаза, усмехнулся:

— Честолюбив?

— Очень.

— Ну, это не беда. Честолюбие для человека — то же, что бензин для машины. Без него далеко не уедешь. А вот ты не честолюбив...

— Соблюдай технику безопасности,— пошутил я.— С бензином ведь сам знаешь как: одна спичка — и пожар...

— Выкрутился,— сказал Сухоруков.— Что же касается Шамрая, то искать, наверное, надо не в его тресте. Маловероятно, чтобы кто-нибудь из служащих треста такую штуку выкинул... Материалы комиссии по чистке партийной организации редакции восстановлены?

— Больше чем наполовину.

— Пусть Эрлих пройдет по всем исключенным и переведенным из членов партии в кандидаты.

— Думаешь, кто-то из них?

— Наиболее вероятно. Месть или что-нибудь похуже...

— А вирши?

— Скорей всего для того, чтобы запутать. А может, вдобавок кто из уголовников руку приложил. В общем, пусть Эрлих займется редакцией.

— Понятно.

— Сейчас, когда поприжали, всякая сволочь недобитая зашевелилась, ужалить норовит перед смертью: кто в пятку, а кто и в сердце метит. Почитаешь кое-какие документы — страшно становится.

С этим нельзя было не согласиться. Получаемые нами документы были заполнены тревожными сообщениями с разных концов страны.

В центральной черноземной области районный ветеринар Васильев привил сап 6000 лошадей. В Сталинградском крае кулаки зверски убили пионера. В одном колхозе, оказывается, действовал «полевой суд», который за нарушение трудовой дисциплины приговаривал колхозников к порке. Членами этого суда были бывшие кулаки, один из них регент церковного хора. Арестованные призна-

лись, что их целью было скомпрометировать колхозное строительство.

— А мы все благодушествуем да ушами хлопаем,— продолжал Сухоруков.

— Николаев дал показания?

— Да он, говорят, с первого дня молчаливостью не отличался. Только зайцем петлял. Крутил, вертел...

— Так его же на месте взяли.

— А он сам факт и не отрицал. Тут ему крутить нечего. Он в другом путал. Пытался убедить, что на преступление из личных мотивов пошел. Дескать, протест против несправедливого отношения... В общем, обиделся и пальнул. Он и документы в этом плане заготовил: дневник, заявления... Ну а на проверку все это, понятно, липой оказалось.

— Теракт? <sup>1</sup>

— Чистой воды. По заданию Ленинградского террористического центра. Постаралась оппозиция...

Наступило молчание. Потом, будто отвечая на не высказанную мною мысль, Сухоруков сказал:

— Наша беда в том, что мы уничтожали врагов рабочего класса с большим опозданием. Я историю не по учебнику знаю, на своем горбу ее прочувствовал. И ты не в стороне стоял. Возьми, к примеру, семнадцатый. Мы тогда Краснова и Мамонтова из тюрьмы освободили. Гуманность, скажешь?! За нее мы тысячами жизней расплатились. Так? Так. Дальше. Роман с эсерами закрутили. Речи да встречи, революционное братство. А они тем временем Урицкого и Володарского уложили, на Ленина покушение подготовили, Колчаку дорогу расчистили, а затем и антоновскую авантюру организовали, кулацкие мятежи... Мало тебе? Возьми анархистов. Уж как с ними цацкались! На дружбу с Махно и то пошли. А в результате? В результате взрыв в Леонтьевском переулке. Только тогда сообразили, что анархистскую сволочь пора ликвидировать. Вот и подсчитай, во что нам наша терпимость обошлась. Гуманность — штука сложная.

— Но почему не предположить, что убийство Кирова — трагическая случайность, ни с кем не согласованный акт десятка идиотов?

— Цека эсеров тоже доказывал, что покушение на Урицкого и Ленина им не санкционировано, что это сделано на свой страх и риск несколькими идиотами...

— Но почему все-таки ты исключаешь случайность?

— Ты же читаешь лекции по диалектике.— Сухоруков улыбнулся.— И объясняешь своим слушателям связь между случайно-

---

<sup>1</sup> Теракт — террористический акт.

стью и необходимостью. Надо быть последовательным. Вот тут есть чему поучиться у оппозиции. В последовательности им не откажешь. Все как положено. От дискуссий — к нелегальщине, от выступлений — к подпольным типографиям, от речей — к террору...

Он достал карманные часы, взглянул на циферблат.

— Однако мы с тобой засиделись...

— А сколько времени?

— Без пяти двенадцать. Надо будет вызвать машину.

Он позвонил дежурному по отделу, запер ящики письменного стола, встал, потянулся. Фигура у него, как и в былые годы, оставалась стройной, подтянутой. Сухоруков не потолстел, не потерял выправки. Постарело только лицо. Рябь морщин на лбу, залысины, седина в аккуратно зачесанных назад волосах.

— Так-то, Саша, про логику борьбы забывать нельзя,— сказал он.

Когда мы вышли из управления, у ворот уже стоял автомобиль. Легкий морозец приятно охлаждал разгоряченное лицо. Настоянный на морозе воздух был густой и чистый. Когда-то, в 1919 году мы с Виктором Сухоруковым в такую вот ночь вдвоем возвращались со свидания с девушкой, которая ждала третьего... Как давно это было!

— Садись,— сказал Сухоруков, открывая дверцу машины.

— Я; пожалуй, пройду пешком.

— Решил заняться здоровьем?

— Сам говорил, что пора.

— А меня возьмешь?

— Придется. Начальство все-таки.

Сухоруков отпустил шофера, глубоко вдохнул морозный воздух, полез было в карман за папиросами, но раздумал. Мы шли неторопливо. Жилые дома уже спали, а в учреждениях кое-где окна еще светились.

Мы дошли вместе до Мясницких ворот, там попрощались. Пожимая мне руку, Виктор, глядя в сторону, спросил:

— С Ритой ты больше не живешь?

— Нет, разошлись.

— Давно?

— С месяц.

— Не долго вы прожили...

— Как получилось.

— Послушай, Саша, пошли ко мне. Чайку попьем, а?

— Поздно уже, да и отоспаться хочу...

— Тогда на этих днях загляни. Посидим, старое вспомним... Маша о тебе как раз спрашивала вчера... Зайдешь?

— Спасибо.

Он еще раз пожал мне руку и свернул на бульвар.

В Мыльниковом переулке я родился. За прошедшее время в нашем доме сменилось много жильцов. Вскоре после революции в нашу квартиру вселили врача Тушнова с супругой, а когда они переехали — мрачного художника с веселой фамилией Разносмехов и очкастого толстяка, которого не могли вывести из состояния задумчивости ни жена, ни теща, ни трое резвых детей. Он отличался молчаливостью. Услышать его можно было только по утрам, когда, находясь в местах общего пользования, он угрюмым баском напевал одну и ту же песенку: «В нашем городе жила парочка, он был парень рабочий, простой, а она была пролетарочка, всех пленяла своей красотой». Затем в этой комнате около года жили два разбитных рабфаковца: Михаил и Рафаил. Их сменила семья рабочего Филимонова, а Разносмехов однажды привел в квартиру миловидную стриженную «под фокстрот» женщину. Она молчала, внимательно разглядывала принадлежащее Филимоновым последнее достижение техники — двухфитильную керосинку фабрики «Металлолампа», а художник сказал: «Вот. Моя жена, Светлана Николаевна.— И, чтобы ни у кого не осталось никаких неясностей, уточнил:— У нее еще есть сын от первого брака, Сережа. Так он тоже переедет». И Сережа переехал...

Таким образом, уже к тридцатому году плотность заселения квартиры была доведена до существующей санитарной нормы: три и восемь десятых квадратного метра на человека. Каждый новый жилец вместе с вещами вносил в квартиру свою индивидуальность. Тушновы увлекались мышеловками и разными старыми вещами. И поныне чулан был завален сконструированными доктором хитроумными приспособлениями для уничтожения мышей, а над дверью кухни висела голова горного барана, которого Михаил и Рафаил прозвали Керзоном.

Страстью задумчивого соседа были объявления. После его приезда на дверях кухни, ванной и уборной появились обращения: «Не забывай гасить свет. Если все граждане будут так относиться к расходованию электроэнергии, как ты, то и десяти Днепроэсов не хватит».

Филимонов был мотоциклистом, а приемный сын Разносмехова Сережа занимался усовершенствованием дверных ручек, электрической проводки, системы водоснабжения и авиамоделизмом.

Но при всем разнообразии вкусов и наклонностей каждый въезжающий в одном обязательно повторял своего предшественника: он врезал во входную дверь новый замок. За последние семнадцать лет мы обогатились добрым десятком замков, задвижек и цепочек.

В меру толстая и в меру демократическая стальная цепочка

знаменовала Февральскую революцию. Дескать, насчет братства все правильно, а цепочка не помешает... Массивный, грубо сделанный засов с металлическими заусеницами и такой же примитивный тяжелый пружинный замок напоминали о «попрыгунчиках», Хитровом рынке, банде Мишки Чумы, Невроцком и Якове Кошелькове.

А хитроумный замок со сложной механикой был поставлен в разгар нэпа, когда уголовник настолько освоил технику отпирания пружинных замков, что они вызывали у него лишь жалостливое сочувствие.

В конструкции замков, в выступах и вырезах на бородках ключей легко было заметить следы военного коммунизма, рассвета и заката нэпа, коллективизации, индустриализации, изгибов уголовно-судебной политики и уровня работы уголовного розыска. Производители замков и покупатели чутко реагировали на внутреннее и внешнее положение страны. Но все-таки историко-познавательное значение замков ни в коей мере не компенсировало создаваемых ими неудобств. И в конце прошлого года было решено ограничиться одним замком, по мнению большинства жильцов, наиболее надежным, так как ключом открыть его было сложно. Вот и сейчас я потратил на него несколько минут и выругал себя за то, что забываю взять у старшего оперуполномоченного Цатурова обещанную мне отмычку, которая мгновенно открывает замки подобной конструкции.

Видимо испугавшись моих крамольных мыслей, пружинка наконец щелкнула, и я отворил дверь.

Соседи уже спали. Через дверь, выходящую в переднюю, слышался переливчатый, с легким мелодичным присвистом храп Разномехова.

Итак, вы дома, товарищ Белецкий! Раздевайтесь! милости просим!

Рита ложилась около двенадцати. Перед тем как лечь спать, она оставляла мне в кухне кружку молока и ломоть ржаного хлеба. Ужинал я вместе с Керзоном, вернее, ел я, а он смотрел на меня своим единственным всепонимающим стеклянным глазом. Иногда мы с ним так же молча беседовали...

Споткнувшись, как обычно, о ящик с инструментами и вполголося выругавшись, я снял шинель и, продолжая тянуть время, причесался перед висевшим на стене овальным зеркалом. В отличие от Виктора лысеть я не начал, седых волос тоже не было. А вот морщины появились, особенно на лбу...

Я прошел в кухню. В ночной тишине сапоги громко скрипели. Казалось, этот скрип способен разбудить весь дом.

На столиках, как солдаты в строю, стояли керосинки, чернели чугунные сковороды. На одном лежал последний номер журнала «Радиофронт» и топорщилась оклеенными папиросной бумагой

крыльями недостроенная модель аэроплана («От модели — к плану, с планера — на самолет!»).

Я исподтишка взглянул на Керзона. На его рогах серебрилась пыль, а единственный стеклянный глаз глядел тускло и устало. Наши глаза встретились.

«Все надеешься, Белецкий?» — спросил он голосом Виктора Сухорукова.

«Да нет, просто так зашел...»

«Просто так» не бывает. Темнишь, Белецкий!»

«А чего мне тебе врать, Керзон? Зачем?»

«Так ты же не мне врешь, а себе. Каждую ночь врешь. Не надоело? Разве ты хуже меня понимаешь, что рассчитывать тебе не на что? Ушла и не вернется. Как говорил твой друг Груздь, научный факт. И вообще, если хочешь знать, вся эта мелодрама недостойна партийца. Даже смотреть на тебя и то противно. Ну чего ты сам с собой в жмурки играешь?»

«Отвяжись ты ради бога!»

«Как хочешь, могу и помолчать,— обиделся Керзон.— Мое дело маленькое. Висел себе и буду висеть. Мне что...»

Жизнь с ним, конечно, обошлась незаслуженно жестоко: бурная, наполненная приключениями молодость в горах, а затем — коммунальная кухня. Унылая, тягучая старость с запахом квашеной капусты, поджаренных на постном масле котлет и копотью керосинок — вот она, расплата за головокружительные прыжки с утеса на утес, поэтические горные туманы и снежный блеск стремящихся к солнцу вершин. Бедный барац! А смотреть на меня действительно противно... Что может быть противней человека, не умеющего взять себя в руки?

Выкурив папиросу, я пошел к себе.

За время моего отсутствия в комнате, конечно, ничего не изменилось. Все то же и на тех же местах. Небрежно застланная в утренней спешке полутораспальная кровать, приобретенная Ритой вместо дореволюционного дивана, большой трехстворчатый книжный шкаф, покачивающийся в задумчивости на своих разной длины ножках стол, три стула, на тумбочке — патефон «Электрола», на полу — окурки и газеты...

Я завел патефон и поставил первую попавшуюся пластинку. Потом взял веник и стал подметать. До приторности сладкий голос едва слышно пел:

Париж, мне будет жалко  
Забыть Парижа блеск.  
Париж, весна, фиалки,  
А девушку зовут Агнес.

В углу комнаты среди вороха старых газет я обнаружил блокнот. На первой странице было написано: «Как выглядит Баба-Яга в

1934 году?» Это была начатая, но так и не законченная рецензия Риты на спектакль в театре для детей. Пьеса называлась «Мик». Мне пьеса не понравилась, но Рита ею восторгалась. Она была убеждена, что при социализме старые, «политически инфантильные» сказки должны быть заменены социально направленными, воспитывающими в детях с раннего возраста классовое самосознание. Рецензия так и начиналась: «В чем назначение сказки? В том, чтобы уводить ребенка от проблем действительности, или в том, чтобы помочь ему осмыслить с передовых позиций рабочего класса первые жизненные впечатления, дать соответствующее направление его пока еще не осознанным мечтам и устремлениям? Ответ может быть только один...»

В отличие от Русинова, Рита всегда считала, что на любой вопрос возможен только один ответ. Это я понял уже при знакомстве, хотя в тот вечер мы разговаривали мало и я даже не был уверен, что она запомнила мою фамилию.

Тогда в Деловом клубе на встрече с создателями самолета «Максим Горький» былолюдно, и Рите слишком многим пришлось пожимать руки: летчикам, конструкторам, инженерам, радистам, полярникам. Мой давний приятель Валентин Куцый представил ей меня и Фреймана мимоходом.

— Знакомься, Ревина,— сказал он.— Мои товарищи: Белецкий из уголовного розыска и Фрейман из ОГПУ.

Рита, направлявшаяся в Готический зал, где уже шумно переговаривались газетчики, приостановилась и окинула нас оценивающим взглядом. Помимо журналистов такой оценивающий взгляд присущ, наверное, только гримерам, когда они прикидывают, как превратить вверенного им актера в Дон-Жуана, Ромео или Сирано де Бержерака. Основа, конечно, неважная, но если приподнять линию лба, облагородить глаза и подбородок, то, пожалуй, что-либо и выйдет...

— Не получится,— сказал я.

— Что не получится?

— Очерк о людях скромной, но героической профессии.

Она не смутилась. Ее губы дрогнули словно в нерешительности: стоит смеяться или нет? А потом она звонко расхохоталась, откинув назад голову, вокруг которой образовался золотистый нимб из разлетевшихся в стороны светлых волос. Смех вообще меняет лица. Но Риту он совершенно преображал, превращая ее суховатое сосредоточенное лицо в мягкое и по-детски беззащитное.

— Ну как, Ревина, получится? — спросил Валентин.

— Получится,— уверенно сказала она, протягивая руку.— У меня все получается.

— Кроме личной жизни,— вставил Валентин.

— Правильно,— без малейшего смущения подтвердила она.

— Тогда пишите очерк о Белецком,— посоветовал Фрейман.— Он холост.

— Вас это тяготит? — обращаясь ко мне, поинтересовалась Рита.

Она повернулась ко мне, и я увидел ее глаза, темные и грустные. Трудно было поверить, что эти глаза принадлежат женщине, которая минуту назад так смеялась.

Потом Риту окликнул какой-то военный летчик, и она подошла к нему.

— Как думаешь, сколько ей лет? — спросил у меня Фрейман, когда она исчезла в дверях Готического зала.

— Уголовный розыск такими сведениями не располагает, Илюша.

— А редакция? — обратился Фрейман к Валентину.

Но Куцый уже ничего не слышал. Он вцепился в парня с парашютным значком на лацкане пиджака и, придерживая его левой рукой за плечо, правой быстро записывал сведения о строящемся самолете-гиганте.

— Значит, так,— доносилось до нас,— имеет свою электростанцию, типографию, телефон-автомат, кинооборудование, кровати... Восемь моторов, размах крыльев — 63 метра, а полетный вес — две с половиной тысячи пудов. Две с половиной тысячи!

Потрясенный Валентин ослабил хватку, и его собеседник мгновенно исчез, растворившись в толпе.

— Валентин,— сказал Фрейман,— кто нас сюда приглашал? Ты приглашал. Кто нас обязан развлекать? Ты обязан развлекать. Так?

— Так,— согласился Куцый, продолжая искать глазами свою жертву.

— Тогда скажи, сколько ей лет?

— Кому?

— Ревинкой.

— А какое это имеет значение! — отмахнулся от него ошалевший Куцый.— Ты понимаешь, что такое две с половиной тысячи пудов?

— Понимаю.

— Ни черта ты не понимаешь. Это феноменально! Это летающий город!

— Конечно,— согласился Фрейман,— но...

— В июне полетит над Москвой. Просто феноменально! Пилотировать будет Громов.

В тот вечер с Валентином можно было говорить только о самолетах, планерах, дирижаблях и о проблеме «ликвидации авиационного бездорожья». Он обладал удивительной способностью каждый раз зажигаться новым и горел не спокойным ровным пламенем.



а как бенгальские огни, рассыпая вокруг себя звездочки искр.

Мы с Ильей знали его с двадцать второго года, когда он еще подписывал свои статьи и корреспонденции броским псевдонимом «Вал. Индустриальный». Тогда он ходил в истрепанных брюках, голодный и задиристый, не признавал личной собственности, из гигиенических соображений не подавал никому руки и до самозабвения спорил, в каком году грянет мировая революция. Прошедшие годы его основательно пообтесали. Теперь на нем были широкие пижонские брюки, модный пиджак и даже галстук. Судя по всему, он примирился и с рукопожатиями, и с личной собственностью. И все же в Валентине нет-нет да и проглядывал ершистый энтузиаст образца двадцатых годов — Вал. Индустриальный. А в тот вечер Вал. Индустриальный влюбился в авиацию, и с этим нельзя было не считаться...

Рита вновь подошла к нам, когда мы ели мороженое и, смирившись, слушали Валентина, развивавшего фантастические планы замены в больших городах трамваев и автобусов планерными поездами.

От мороженого она отказалась. Лениво пила лимонад и молча курила одну папиросу за другой, аккуратно раскладывая окурки по краю мраморного столика.

Раза два Валентин обращался к ней, но она отделялась односложными ответами. Теперь ей можно было дать и тридцать и тридцать пять лет.

Валентин ничего не замечал, но мы с Фрейманом ощущали неловкость. Когда я провожал ее до центра, Валентин говорил без умолку, а она не проронила ни слова.

Вечер был теплый, но Рита шла, зябко ссутулившись, засунув руки в карманы своей желтой кожаной куртки и смотря себе под ноги. На скамейках в сквере сидели парочки. Лихо покрикивали извозчики. Тяжелые грузовики везли песок. Город строился и днем и ночью. В гранит одевались набережные, возводились многоэтажные дома. На Краснопрудной улице НКПС<sup>1</sup> приступил к строительству второй очереди Дома ударника. На Пушкинской площади заканчивались отделочные работы в первом образцовом комсомольском магазине треста зеленого строительства. Прокладывалась трамвайная линия от Лубянки к Охотному ряду.

Мимо нас прошла группа строительных рабочих, видно ночная смена. Кто-то из них громко и весело сказал:

«Загрустила дивчина!»

Рита ничего не ответила. По-моему, она и не слышала. Наверное, тогда она и вошла в мою жизнь. Вошла и осталась, принеся с собой свою неустроенность и беспокойство.

---

<sup>1</sup> Народный комиссариат путей сообщения.

Возле строящегося Дома комитетов Совета Труда и Обороны нас догнал извозчик.

«Подвезти?»

«А сколько возьмешь до Арбата?»

«Да уж не обижу...»

Рита забралась в пролетку.

«Кстати,— сказал Валентин, мысли которого работали по неведомому никому из его друзей закону,— итальянский летчик Аджело собирается установить новый мировой рекорд скорости в семьсот километров с хвостиком. Феноменально?»

«Феноменально».

«А Фрейману передай, что Ревинкой тридцать лет».

Рита засмеялась.

«Днями приеду к вам,— пообещала она мне. Когда пролетка тронулась, добавила:— Очерк все-таки должен получиться».

Но очерк не получился так же, как и эта рецензия на спектакль. И вообще ничего у нас не получилось. Ничего. И все же я был благодарен ей за те недолгие месяцы, которые мы прожили вместе...

Кто-то сказал, что для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Если этот кто-то не ошибся, я был с ней очень счастлив, потому что счастья у нас было чуточку больше, чем несчастья. И оно навсегда осталось в памяти.

Я помнил теплоту ее плеч, вкус губ, перебегающие по моим щекам сильные и робкие пальцы, запрокинутое в смехе лицо, волосы... Мне казалось, что я вижу ее склоненную над столом голову, подсвеченную нашей лампочкой под абажуром из газеты, аккуратно выложенные вдоль края стола недокуренные папиросы и танцующее по бумаге перо. Танцующее... Перо в ее пальцах действительно танцевало, подчиняясь ритму мысли. То оно плавно несло по бумаге, то приостанавливалось, то выделявало замысловатые па. Я любил смотреть, как она пишет.

«А девушку зовут Агнес... девушку зовут Агнес»,— без устали и настойчиво повторял патефон. Я подошел к нему. Диск сделал последний оборот и остановился.

Быстро закончив уборку, я разделся и лег в постель. Мне казалось, что я мгновенно усну. Но сон не приходил. Я долго ворочался. Затем из темноты выплыло смеющееся лицо Риты. Его сменило бледно-желтое с синевой под глазами лицо Сухорукова. На путях гудели паровозы и качался красный гроб с телом Кирова. Комната заполнялась венками, цветами, траурными лентами. Ревели несущиеся над замершей площадью самолеты. Их было так много, что небо стало совсем черным...

Я хотел закурить, но никак не мог вытащить руку из-под одеяла. Она была тяжелая, как свинец.

1934 год подходил к концу.

На экранах кинотеатров мчался в развевающейся бурке Василий Иванович Чапаев. А в каждом московском дворе появился свой Чапаев, который лихо рубился с беляками, не моргнув глазом отражал психические атаки золотопогонников, наставлял верного Петьку и благополучно переплывал самые широкие реки...

У взрослых были свои развлечения, свои заботы и свои споры. Обсуждали дебаты в Лиге Наций, визит в Москву министра торговли Франции Маршандо, события на КВЖД и преимущества тульского четырехлампового радиоприемника.

Но чаще всего, пожалуй, говорили об отмене карточек на хлеб. Как-то не верилось, что уже 1 января можно будет просто зайти в булочную и купить сколько хочешь хлеба: хоть килограмм, хоть два, а если появится такая фантазия, то и целых три...

В магазинах царила предпраздничная суета. Продавцы едва успевали демонстрировать завезенные с баз товары. Большим спросом пользовались только входившие в моду дамские перчатки с крагами и мерлушковые кубанки с цветным фетровым верхом, нарядные и мужественные.

Уже к середине декабря в управлении стало известно, что решен вопрос о зачислении московской милиции в ряды знатных организаций Советского Союза: мы заняли одно из первых мест по шефской работе и реализации займа. Первого января, в День ударника предполагалось торжественное вручение нам переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомфина.

Новость была приятной, но среди других событий месяца она прошла почти незамеченной. Главное управление милиции дало указание об усилении отдельных взводов милиции по охране наркоматов, введении дополнительных патрулей и расширении сети милицеских постов. Одновременно было предложено проводить специальный еженедельный инструктаж с ответственными дежурными и поддежурными всех отделений милиции города. А на одной из оперативок Сухоруков сообщил, что прокуратура опротестовала пять приговоров по делам, в расследовании которых принимал участие уголовный розыск. Почти во всех протестах была однотипная формулировка: «Суд, следственные органы и органы дознания недостаточно выяснили мотивы противоправного деяния и таким образом безосновательно квалифицировали преступление, как обычное уголовное». Одним из этих дел — убийством участкового инспектора Чураева — занимался в свое время Русинов. Чураева действительно убили кулаки, которые после раскулачивания бежали в Москву и, просочившись каким-то образом через паспортный фильтр, устроились здесь на работу. Русинов вначале не исключал

возможности террористического акта и проверял эту версию, но она отпала. Оказалось, что Чураев, нарушая дисциплину, пьянствовал со своими будущими убийцами, один из которых работал дворником, а другой истопником. И убит он был не потому, что те боялись разоблачения — инспектор и не подозревал об их прошлом, это мы установили досконально, — а в обычной драке.

Тем не менее Фуфаев в беседе со мной долго выяснял, является ли это у Русинова только случайным срывом или нет. Вообще после отклонения Главным управлением проекта типового договора о соревновании между отделами уголовного розыска, в подготовке которого Алеша Попович принимал деятельное участие, Фуфаев относился ко мне и Русинову настороженно.

— Вот ты, Белецкий, все шуточками отделяешься, — назидательно говорил Фуфаев, — а отмена пяти приговоров не шуточка.

— Они, кстати говоря, не отменены, только опротестованы.

— Ну, будут отменены.

— В отношении Чураева сомневаюсь.

Через несколько дней после нашего разговора нас пригласили в НКВД на совещание. Речь шла об усилении бдительности.

Заместитель начальника Главного управления исправительно-трудовых лагерей, поселений и мест заключения НКВД рассказал о том, как чекистами Воркутлага было установлено, что группа осужденных за бандитизм в действительности являлась контрреволюционной группой, действовавшей по политическим мотивам, и подчеркнул, что это не единичный случай поверхностного расследования.

Выступая сразу же после заместителя начальника Главного управления, Фуфаев, правда вскользь, но все-таки упомянул об опротестованных прокуратурой делах. По его трактовке получалось, что Чураев пил со своими убийцами чуть ли не в служебных интересах для того, чтобы собрать необходимые разоблачительные данные. Это было таким передергиванием, что обычно спокойный Сухоруков и тот возмутился.

В перерыве я зашел в буфет купить папирос и увидел там за столиком Фуфаева. Он меня тоже заметил и махнул мне рукой. На лице его не было и тени смущения.

— Хочешь пива?

Я отказался.

— Зря. Хорошее пиво... Буфет не чета нашему. Выступать будешь?

— Нет. Лучше тебя все равно не скажешь.

Фуфаев засмеялся. Он, кажется, принял это за комплимент.

— Ничего получилось, хлестко. Только примеры слабоватые, я их на ходу подбирал.

— По делу Чураева протест-то отклонен...

— Точно?

— Точно.

— Вон как! — благодушно удивился Фуфаев, откупоривая очередную бутылку. Он был воплощением безмятежности. Сказанное мною не произвело на него никакого впечатления. — Значит, щелкнули по носу прокуратуру? Это хорошо, это очень хорошо... — говорил он, прихлебывая пиво. И трудно было понять, то ли это «хорошо» относится к делам, то ли к пиву. Мне лично показалось, что скорей к пиву...

Фуфаев пил с таким наслаждением, что я соблазнился и тоже налил себе стакан. Пиво было свежим и холодным.

— Пей, Белецкий, пей, — радушно угощал Фуфаев. — И соли подсыпь. Нектар. Сюда бы еще воблу — умирать не захочется. Давно такого пива не пробовал!

Неужто он действительно ничего не понял или просто валяет дурака? Фуфаев всё больше и больше удивлял меня. Наконец он допил бутылку, отдуваясь, вытер носовым платком губы и самодовольно сказал:

— А все же, несмотря на примеры, выступление удалось. Нутром чувствую, что в самую точку попал. Примеры примерами, суть не в них. Ведь завернул здорово. Верно?

Ошеломленный, я молчал.

— Нет, объективно скажи, хорошее выступление?

И только тогда до меня дошло, что удивляться, собственно, нечему. Все происходит так, как и должно было происходить. Что из того, что протесты отклонены? У Фуфаева нет и никогда не было никакого мнения по поводу этих дел, и его меньше всего волновала истина. Дела являлись лишь фактурой для выступления. Опротестованы — пример классовой близорукости сотрудников розыска. Протесты отклонены — пример перегибов прокуратуры. Не годятся для одного, годятся для другого. Главное, чтобы выступление удалось. В этом был весь Фуфаев. Весь без остатка. Видимо, под таким углом зрения он рассматривал и всех нас. Эрлих в некой ситуации мог стать примером чекистской непримиримости, а в другой — иллюстрировать отсутствие гибкости и бережного отношения к человеку. Русинов годился в качестве отрицательного примера мягкотелости и непоследовательности или, наоборот, как образец вдумчивости и гуманности. А Александр Семенович Белецкий... Любопытно, примером чего может являться Белецкий?

— Послушай, Фуфаев, ты не собираешься меня использовать в очередном выступлении?

— Как использовать? — не понял он.

— Ну, в качестве примера.

— Нет, а что?

— Как ты считаешь, примером чего являюсь я?

— То есть?

Я объяснил, и Фуфаев, кажется, обиделся. Во всяком случае, следующую бутылку пива он откупоривать не стал, а только повертел ее в своих ручищах и опять поставил на стол.

— Несерьезный ты человек, Белецкий,— с чувством сказал он. На этот раз у него был голос не отца, а отчима.— С Шамраем-то закругляешься?

— Нет, не «закругляюсь».

— Жаль. Броское дело!

Действительно, для Фуфаева дело Шамрая могло стать находкой.

К тому времени, когда происходил наш разговор, следствие по «горелому делу», как его называли в розыске, несколько продвинулось. Эрлих шел по пути, предложенному Сухоруковым. И встал он на этот путь еще до того, как Сухоруков высказал мне свою точку зрения.

В редакции было исключено из партии и переведено в кандидаты девять человек. Все девять были Эрлихом допрошены, и каждое слово в их показаниях тщательно проверено.

Вначале круг сузился до четырех подозреваемых, затем до двух, и наконец до одного — Явича-Юрченко.

Явич-Юрченко вступил в партию большевиков еще до революции. Занимался пропагандистской работой, участвовал в экспроприациях. После неудачной попытки нападения на тюрьму, во время которой был убит жандармский ротмистр, Явича-Юрченко арестовали. На каторге он пробыл около года, затем в связи с психическим заболеванием был помещен в лечебницу, откуда бежал и эмигрировал за границу. Вернулся в Россию в начале восемнадцатого года и осел в Сибири.

После контрреволюционного переворота находился на подпольной работе в Барнауле, Иркутске и Омске, где в тысяча девятьсот девятнадцатом году за грубое нарушение дисциплины был исключен из партии. Как явствовало из документов, он тогда примкнул к группе Бориса Шумяцкого (Червонного). Шумяцкий, вопреки твердой линии Сибирского подпольного комитета большевиков не вступать ни в какие блоки с меньшевиками и эсерами, отстаивал необходимость союза с ними в борьбе против Колчака.

Явич-Юрченко пошел даже дальше Шумяцкого. Используя свои личные отношения с некоторыми эсерами, он пытался создать «единый боевой центр» и активно участвовал в деятельности эсеровско-меньшевистского подполья, что привело к провалу большевистской подпольной ячейки на оружейном заводе в Омске.

В 1920 году Явич-Юрченко признал свои ошибки, и его восстановили в партии. Затем — журналистская работа в Петрограде и участие в качестве свидетеля в процессе по делу правых эсеров,

многих из которых он хорошо знал еще до революции. Из документов комиссии по партбистке было видно, что основанием ко вторичному исключению Явича-Юрченко из ВКП(б) являлось прежде всего «неискреннее поведение на судебном процессе по делу правых эсеров в 1922 году».

Когда «горелое дело» вел Русинов, он тоже заинтересовался этим человеком и дважды его допрашивал. Поводом послужили показания пострадавшего и его секретаря. Шамрай, когда зашла речь о работе комиссии, вспомнил, что Явич-Юрченко вел себя вызывающе. Вообще он производил впечатление человека неуравновешенного и излишне эмоционального. Такое же мнение о Явиче высказал секретарь Шамрая Гудынский. В его показаниях содержалась любопытная деталь. Гудынский утверждал, что накануне пожара Явич-Юрченко, на застав Шамрая, который был на совещании, спрашивал, где сейчас живет Шамрай: на квартире или на даче. На вопрос Гудынского, зачем ему это нужно, Явич-Юрченко сказал, что хочет объясниться с Шамраем, и если не дожидется его, то отправится к нему домой. Гудынский адреса не дал и посоветовал Явичу-Юрченко зайти после ноябрьских праздников, когда начальник будет более свободен.

Оба эти показания Русинов приобщил к делу и допросил Явича-Юрченко. Но и только...

В отличие от него Эрлих поставил сведения, сообщенные Шамраем и Гудынским, во главу следствия. Это был стержень, на который нанизывались остальные улики, и, нужно отдать Эрлиху должное, весьма удачно нанизывались.

Судя по протоколам, Явич-Юрченко, державшийся на первых допросах достаточно хладнокровно, стал потом нервничать, а поняв, что тучи над ним сгущаются, выдвинул алиби, которое тут же было опровергнуто. Допрошенная Эрлихом уборщица железнодорожной станции Гугаева опознала Явича-Юрченко. Она заявила, что видела этого человека на перроне в ту ночь, когда горела дача.

Алиби опровергалось и показаниями бывшего эсеровского боевика Дятлова, арестованного НКВД в Москве за организацию подпольной типографии. Дятлов, знавший Явича-Юрченко по эмиграции, после войны вступил в РКП(б) и примкнул к троцкистам. За оппозиционную деятельность Дятлова дважды исключали из партии, но после покаянных заявлений восстанавливали. Последние годы он жил в Ярославле, где работал управделами строительного треста. В Москву Дятлов приехал в служебную командировку и пытался достать здесь шрифт для нелегальной типографии. Остановился он у Явича-Юрченко, с которым поддерживал отношения. Дятлов показал, что с 25 на 26 октября Явич-Юрченко пришел домой только под утро. «Поздно гуляешь», — сказал ему проснувшийся Дятлов. «Боюсь, как бы это гулянье плохо не кончилось», — отве-

тил Явич-Юрченко и посоветовал Дятлову найти другую квартиру, что тот и сделал, перебравшись к сестре жены.

В Ярославле, на квартире у Дятлова были обнаружены два письма Явича-Юрченко, в которых содержались выпады против Шамрая.

Все это, разумеется, было только косвенными уликами. Но их становилось все больше, а количество, как известно, рано или поздно переходит в качество...

Да, дело это было для Фуфаева, по его выражению, «броским».

— Подозреваемый из троцкистов? — с надеждой спросил Фуфаев.

— Нет, — сказал я. — Не то?

— Конечно, — Фуфаев поморщился. — Но ничего, сойдет.

Прозвенел звонок, возвестивший об окончании перерыва, и мы поднялись.

— Делу — время, потехе — час. Пошли. А с этим Чуркиным...

— Чураевым, — поправил я.

— Ну Чураевым... Так ты должен правильно понять. Тут не ведомственные интересы. Тут политика. — Он поднял вверх указательный палец. — Большая политика! Понял?

— Понял. А ты хоть что-нибудь понял из того, что я сказал?

Фуфаев вздохнул и укоризненно заметил:

— Все смеешься, Белецкий?

— Да уж какой тут смех. Слезы...

— Странный ты человек, Белецкий, очень странный!

В голосе Фуфаева звучало искреннее недоумение. Кажется, он сам не мог понять, примером чего являюсь я...

## VII

Новый год по установившейся традиции я встречал у Сухоруковых. Остаться один на один с собой мне не хотелось, а Виктор просил, чтобы я пришел пораньше. Пораньше — понятие растяжимое. И, только увидев Сухорукова в переднике поверх коверкотовой гимнастерки и с закатанными по локоть рукавами, я понял, что перестарался.

— Пospешил?

— Ну что ты! — неуверенно сказал Сухоруков, подставляя мне локоть (руки у него были испачканы). — Раздевайся. Как говорит Цатуров, первый гость — первая радость.

В затруднительных случаях Сухоруков всегда обращался к восточной мудрости, которой Цатуров с кавказской щедростью снабжал в неограниченном количестве всех желающих.

— Насчет радости не знаю, но на улицу теперь уже не выго-



нишь,— сказал я, вешая шинель на крючок.— А передник тебе идет, одомашивает как-то.

Из кухни выглянула раскрасневшаяся у плиты жена Виктора Мария Дмитриевна, веселая, круглолицая.

— Александр Семенович? С наступающим вас. От всей души — счастья, здоровья, многих лет жизни... В общем — всего, чего сами желаете,— зачастила она.— А я все думаю, с кем там Виктор разговаривает...

— И не выдержала,— поддразнил Сухоруков.

— И не выдержала,— она засмеялась.— Что же вы в передней? Проходите в комнату.

Она взяла у меня из рук картонку с тортом, быстро распутала замысловатый узел и, взглянув на торт, ахнула:

— Красота-то какая! Даже есть жалко...

— А мы его есть и не будем, на стену повесим,— пошутил Виктор, рассматривая вместе с женой исполненные разноцветным кремом башни Кремля, дирижабль и усыпанные цукатами самолеты.

— Если я один цукат стащу, ничего? — спросила Мария Дмитриевна.

— Ничего,— сказал Сухоруков.

— Ну как там, помочь по хозяйству?

Мое предложение отвергли, а меня самого отправили в комнату, где мною должен был заняться по возвращении из магазина сын Сухорукова Октябрь. Октябрь Викторович Сухоруков...

В то время было немало странно звучащих теперь имен: Медера (международный день работницы), Одвар (Особая Дальневосточная армия), Лагшмира (лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (первый советский стратостат) и даже Оюшминальда (Отто Юльевич Шмидт на льдине). А один мой приятель, к ужасу жены и тещи, назвал сына Пятъвчетом, что означало: пятилетка в четыре года. Но среди этих имен Октябрь и Октябрина были наиболее распространенными.

Сейчас мало кто остался в живых из тех, кого нарекли Октябрем. Мальчики рождения 1918—1922 годов первыми приняли удар в 1941 году. Среди погибших в начале войны был и командир пехотного взвода Октябрь Викторович Сухоруков. Тот самый светловолосый Октябрь, который на вопрос анкеты «Комсомольской правды» об идеалах ответил: «По политической линии — Ворошилов и Буденный, в области физкультуры — Люлько, Денисов и братья Знаменские»,— а на выпускном вечере в школе читал гремевшие, как набат, стихи:

В Риме, в Париже, в Берлине, в Варшаве  
Слушай внимательно, недруг и друг:  
Порох сухой у нас, штык не заржавел,  
Крепче, чем прежде, и тело и дух!

Но это было позднее... А в канун тридцать пятого года Октябрь был еще только мальчишкой, которому поручили развлекать гостей старого друга отца, — обязанность почетная, но скучная. Поэтому на физиономии моего собеседника можно было одновременно прочесть и гордость и тоску.

Разговор у нас не клеился. Найти правильный тон в беседе с подростком — искусство, а я им не владел и больше всего опасался фальши, которая так часто присутствует в подобного рода разговорах, когда взрослый пытается подладиться под уровень своего собеседника. Октябрь чувствовал мою скованность, и это еще более осложняло и без того сложную ситуацию.

Он был очень похож на отца: такой же скуластый, узкоглазый, с крупным ртом и волевым подбородком.

Таким был Виктор перед войной четырнадцатого года, когда считался моим покровителем и признанным героем гимназии. Один из немногих сыновей рабочих, которым удалось попасть в это сравнительно привилегированное учебное заведение, он старался быть во всем первым — будь то латинский язык или драка с реалистами. Большой физической силой он не обладал. Сильней его были и неповоротливый богатырь Васька Мухин, и кокетничавший натренированными мускулами красавец Юханов. Но Виктора отличали от них не только ловкость, но и стойкость. И если уж он вступал в бой, то дрался до последнего, никогда не покидая поля сражения. Мухин мог струсить. Юханов, тщательно следивший за своей внешностью, мог, забыв про драку, отправиться делать примочку. Виктор был не таков. Поэтому реалисты и называли его одержимым. Это прозвище закрепилось за ним и в гимназии, а наши доморожденные пииты «обессмертили» его имя даже в старших классах, откуда к нам, вопреки неписаным гимназическим законам, несколько раз заходили великовозрастные юноши и со снисходительной небрежностью баском спрашивали: «Это который у вас тут Сухоруков?»

Но рассказывать сыну о детстве отца принято с поучительной интонацией, а Сухоруков не считал гимназические годы лучшей страницей своей биографии. Что и говорить, тяжелое положение!

Я посмотрел на узловатые пальцы Октября и деликатно спросил:

— Боксом занимаешься?

— Нет, некогда.

— А... дерешься?

Он удивленно посмотрел на меня:

— Ну что вы, дядя Саша! Ведь драки — это пережиток.

Я почувствовал, что краснею. Какие, к черту, драки, когда я знал, что Октябрь является вожатым звена в пионерском отряде имени Ляпидевского, членом старостата, ударником обороны, награжденным за особые успехи противопогазом.

Надо было спасать положение, а вместе с ним и свое доброе имя. Я заговорил об арктическом плавании ледореза «Литке». По загоревшимся глазам Октября я понял, что попал в точку. Оказалось, что он не только знает все детали этого рейса, но и является инициатором переписки отряда с начальником экспедиции Дуплицким.

Октябрь так красочно описывал гигантские айсберги, красоты северного сияния и белых медведей, что могло показаться, будто именно он выводил из ледового плена суда второй Ленской экспедиции.

Теперь я уже чувствовал себя свободней и, когда разговор о «Литке» стал затухать, подбросил ему ледокол «Красин», о котором тогда много писали газеты. От наших комсомольцев я уже знал, что ЦК ВЛКСМ по предложению секретаря ЦК Косарева готовится решение о комплектации команды ледокола исключительно из комсомольцев и что скоро в Ленинграде будет заседать специальная отборочная комиссия.

Октябрь на лету подхватил и эту тему. Мы с ним поговорили о спасении «Красным» участников экспедиции Нобиле, о кругосветном плавании ледокола. Октябрь так увлекся, что разложил на столе карту, на которой красным и желтым карандашами были вычерчены все маршруты «Красина» за последние шесть лет. Но когда я спросил, не собирается ли он после окончания школы стать полярником, Октябрь отрицательно покачал головой. Это меня удивило.

— А я думал, что тебя привлекают полярные исследования...

— Конечно, интересно,— откликнулся он.

— Так в чем же дело?

Октябрь наморщил лоб, продольные неглубокие морщинки резко пересекала вертикальная, составляющая с носом почти прямую линию, лицо стало напряженным. Такое лицо бывало у Сухокурова, когда он пытался найти доходчивые слова, чтобы убедительно изложить окружающим совершенно ясную для него самую мысль.

— Полярники особой нужды в кадрах не испытывают,— наконец сказал Октябрь рассудительным голосом, каким, должно быть, говорил на заседаниях старостата.— У нас в комсомольской ячейке считают, что главное внимание надо обратить на строительство и Красную Армию... Ну и на органы НКВД, учитывая обстановку...— добавил он после короткой паузы.— У нас позавчера была встреча с чекистами...

Октябрь опять меня поставил в тупик. В конце семнадцатого года я подал заявление в Московский уголовный розыск, меньше всего задумываясь над вопросом, кто больше нуждается в работниках: Наркомюст, Народный комиссариат социального призрения

или административный отдел Совдепа. Просто так сложились обстоятельства, в которых немалую роль сыграл отец сидящего передо мной светловолосого паренька. А ведь тогда я был года на два старше Октября... Удивительная все-таки штука время!

В комнату вошла Мария Дмитриевна. Она уже была не в домашнем, а в темном праздничном платье, на котором выделялись модные светлые пуговицы с рисунком.

Октябрь поспешно стал складывать карту. Эта поспешность была мне понятна: мужской разговор потому так и называется, что в нем нет места женщине. Меня в свое время тоже больше всего стесняли два самых близких человека — мать и сестра Вера. Правда, это было давно, но не настолько все же, чтобы я успел забыть...

— В полярники агитирует? — улыбнулась Мария Дмитриевна.

— Меня-то агитирует, а вот сам не хочет...

— Вот как? Что-то новое... Ты разве передумал? — спросила она.

Октябрь не ответил: он был человеком серьезным и не собирался говорить о важных вещах в шутилом тоне, который так нравился его матери. Кроме того, его обязанности по отношению к гостю были полностью выполнены, и он имел право заняться своими личными делами.

Он спрятал карту в ящик, пригладил ладонью прямые волосы.

— Мама, ты не будешь возражать, если я на часок зайду к Севке?

— Если на часок, то не буду, — с напускной серьезностью сказала Мария Дмитриевна и чмокнула его в щеку.

Октябрь покраснел и что-то смущенно буркнул, а Мария Дмитриевна выразительно посмотрела на меня: каков, а?

По выражению ее лица я понял, что мне предстоит сменить бушующие волны полярных морей на не менее зыбкую почву рассуждений о новом поколении, о его действительных и мнимых особенностях, преимуществах и недостатках — излюбленная тема людей, которым перевалило за тридцать...

И действительно, дождавшись, когда Октябрь закроет за собой дверь — а ждать этого пришлось, конечно, недолго, — Мария Дмитриевна доверительно сказала:

— Забавное поколение, правда?

Под словом «забавное» подразумевалось все, что подразумевается в подобных случаях отцами и матерями: умное, чистое, хорошее, но...

Мария Дмитриевна сразу же начала с «но».

— У них недавно была в школе дискуссия, — сказала она, — нужна ли интимная дружба. Октябрь отстаивал только коллек-

тивную. По его мнению, лишь она гарантирует от возможных ошибок...

Однако разговор о новом поколении пришлось прервать: приехал Фрейман с женой, а вслед за ним ввалился заряженный крупной и мелкой дробью впечатлений Валентин Куций, успевший за последние два месяца побывать на Магнитке, в Кузбассе и еще где-то. Валентин привел с собой находящегося в командировке в Москве работника Управления северных лагерей Арского, длинного, тощего человека с басом Шаляпина. Загнав Арского в закуток между буфетом и патефонным столиком, Валентин тут же, не теряя времени, затеял спор: является ли гениальный музыкант «природным феноменом» или при правильном музыкальном воспитании можно сделать таким «чудом» каждого советского ребенка. Судя по всему, Арскому это было глубоко безразлично, но Валентин настолько уже успел ему досадить, что он отвергал все доводы.

— Брось! Брось! — кричал Валентин. — Ты консерватор, Арский! Я тебе предлагаю эксперимент: дай мне на два года твоего сына, и я тебе верну его гением. Хочешь?

Арский не захотел...

После нескольких неудачных попыток Арскому наконец удалось прорвать блокаду, и он отправился в кухню разделять привезенную им с собой знаменитую соловецкую сельдь.

Не успевший растратить до конца свой полемический пыл, Валентин поискал глазами очередную жертву и за неимением лучшего подсел к снисходительно улыбающемуся Фрейману.

Многоопытный Илюша был мудр аки змий. Но его жена Соня знала Валентина только понаслышке. И ровно через минуту я уже слышал возбужденный голос Валентина, который доказывал, что преклонение перед модой всегда являлось первым признаком разложения общественно-экономической формации и Древний Рим погубили не варвары, а прежде всего мода... Соня, на платье которой были точно такие же пуговицы, как и у Марии Дмитриевны, делала жалкие попытки оправдаться, но Валентин был неумолим.

Потом приехал новый начальник политотдела управления Долматов, переведенный в Москву из Хабаровска, где до получения квартиры находилась пока его семья. За ним — патриарх Московского уголовного розыска, мой первый учитель, воспитавший не одно поколение оперативников, Федор Алексеевич Савельев. А потом, по выражению Сухорукова, гость пошел косяком: начальник 3-го отделения Ульман с женой, Фуфаев, Цатуров... Комната запылилась шумом голосов, смехом и клубами табачного дыма.

Сухоруков, пытавшийся дирижировать этим нестройным оркестром, завел патефон и поставил подаренную кем-то из приехавших пластинку.

Нам песня строить и жить помогает,  
Она, как друг, и зовет и ведет,  
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадет,—

пел молодой, мало еще кому известный Леонид Утесов.

Я никогда не отличался музыкальностью и безбожно перевираю мотивы всех известных мне песен. Но, когда я слышу эту полузабытую мелодию из фильма «Веселые ребята», я всегда вспоминаю тот новогодний вечер.

Песня напоминала о челюскинцах и о девочке Карине, родившейся в Карском море, о лыжных переходах Москва — Ленинград и о том, что Дальневосточная партия Эпрона решила приступить к подъему затонувшего в Татарском проливе почти столет назад фрегата «Паллада».

В ней были всепобеждающий веселый энтузиазм комсомольцев Магнитки, огненная, широкая, как Волга, река чугуна, диковинные планерные поезда, депутат Моссовета белозубый негр Роберт Робертсон, приехавший из Америки в первое в мире Советское государство, и московская девочка Рая, которая на предложение нарисовать, где бы она хотела быть, если бы могла путешествовать, нарисовала тюрьму и закованного в цепи Тельмана, а рядом — себя с красным флажком и пионерским галстуком...

Бежали по замкнутому кругу не знающие усталости секундные стрелки часов, вращались в неумолимом ритме зубчатые колесики. Они отсчитывали время подвигов, радости и горя. Секунды превращались в минуты, последние минуты 1934 года, навсегда уходящего из реальной, ощутимой действительности в то, что принято называть историей.

И любят песню деревни и села,  
И любят песню большие города...

Пришел Октябрь и сразу же направился к Фрейману, которого выделял из всех товарищей отца. Октябрь отсутствовал ровно час. Эта пунктуальность тоже была чертой Виктора...

— Приветствую члена старостата! — сказал Фрейман. — У меня к тебе серьезный разговор.

Но «серьезный разговор» не состоялся: Мария Дмитриевна пригласила всех в смежную комнату. Там был накрыт стол, уже сплошь заставленный тарелками с закусками. Фуфаев, который любил поесть, подмигнул мне.

— Прошу, товарищи! — сказал Сухоруков деловым тоном, каким он обычно говорил на оперативках.

Рассаживались долго и шумно. Выпили за старый год. Потом кто-то включил радио. Передавали обращение Шмидта к полярникам.

После выступления начальника Главсевморпути начался новогодний концерт.

Часовая и минутная стрелки были уже около двенадцати. Замедлившее свой ход время стремительно рванулось вперед, догоняя упущенное. Сухоруков взглянул на часы и встал:

— За страну и за нас! За успехи!

Все встали, стараясь не расплескать наполненные до краев рюмки, потянулись чокаться. Звон столкнувшихся над столом рюмок слился с боем часов Спасской башни. С их последним гулким ударом в комнату, где мы сидели, одну из многих комнат Москвы, вошел новый, 1935 год...

### VIII

От Сухорукова я ушел около трех, когда веселье еще не погасло, но уже стало затухать. Вместе со мной вышел «немного проветриться» Долматов. Шинели он не надел, — был в одной гимнастерке, обтягивающей его широкую грудь и плотные плечи.

— Простудитесь.

— Я же из Хабаровска, — улыбнулся он. — У нас там морозы, не то что здесь... Не бывал?

— Не пришлось.

— Побывай, — сказал он. — Охотник? Рыбак?

— Нет, москвич...

Долматов гулко рассмеялся:

— Клевещешь на москвичей. Я и то здесь с добрым десятком охотников познакомился. Заходи ко мне после праздника. О делах поговорим, а может, и охотника из тебя сделаю... — Он протянул мне руку. — Пить-то ты умеешь, как заправский охотник... — И уже входя в подъезд, посоветовал: — Возьми-ка ты все-таки извозчика. В лучшем виде домой доставит.

И когда он успел все заметить?

Обычно я пью редко и мало. Но в эту ночь мне хотелось привести себя в блаженно-бездумное состояние, и я пил много, во всяком случае, намного больше, чем обычно.

Сидевший со мной Фрейман, всегда умевший без слов понимать меня, внимательно следил за тем, чтобы моя рюмка не пустовала. При этом у него было лицо хирурга, делающего неприятную, но нужную операцию. Сам Илья не пил: у него было обострение язвы желудка.

Но водка на меня не действовала. Правда когда я встал из-за стола, мне показалось, что я своего добился. Во всем теле было ощущение непривычной легкости, а голова приятно кружилась. Но это состояние длилось недолго. К тому времени, когда мы с Долматовым вышли на улицу, я уже был трезв, более трезв, чем

когда бы то ни было... Но в наблюдательности новому начальнику политотдела не откажешь!

Я постоял немного у подъезда, прислушиваясь к четким шагам поднимавшегося по лестнице Долматова, закурил и неторопливо направился домой.

Было безветренно. В небе тускло желтел пятак луны. Вдоль бульваров с гиканьем и звоном бубенцов мчались сани последних извозчиков. Из домов доносилась приглушенная двойными рамами музыка. Мороз был несильный, но руки у меня почему-то зябли, и я засунул их в карманы шинели.

У Мясницких ворот девушка в распахнутой шубке лихо отплясывала русского в окружении хлопающей в ладони толпы. Время от времени она пронзительно взвизгивала и поправляла выбившиеся из-под шляпки влажные волосы.

— Давай, наяривай! — кричал пристроившийся на ступеньках магазина гармонист, дергая невпопад выдавшую виды трехрядку.

Наблюдавший за этой сценой постовой милиционер улыбался. Казалось, брови его подергиваются в такт хлопкам.

— Пляшет, товарищ начальник, — сказал он мне с той неопределенной интонацией, которую можно было, в зависимости от моей точки зрения на происходящее, воспринять и как сочувствие, и как осуждение. Но у меня своей точки зрения не было. И, поняв это, постовой, уже откровенно восхищаясь, продолжал: — Вот гляжу... Почитай, час без отдыха пляшет! Видать, из деревни... В городе — где уж там! Тверезый сам не пойдет, а хмельного ноги не удержат. Деревенская, как пить дать деревенская!

В переулке было меньше освещенных окон, чем на бульварах. У палисадника бывшего дома купца Пивоварова стоял, почесываясь под кургузым ватником, дежурный дворник; рядом с ним лежала деревянная, обитая жестью лопата. Промчалась через дорогу и юркнула в парадное кошка. Дворник неодобрительно посмотрел ей вслед, выругался и принялся расчищать снег.

В полутемном подъезде я споткнулся о лежащего на полу пьяного. Он заворчал, встал, придерживаясь за перила лестницы.

— Досыпай, чего там...

— А я уже доспал, — сказал человек, отдельно выговаривая каждую букву. — Теперь желаю веселиться...

Он всмотрелся в меня, и лицо его озарила улыбка.

— С Новым годом, товарищ милиционер!

— С Новым годом! — улыбнулся я, отстраняя его в сторону.

Но он не желал так быстро со мной расстаться...

— Вот выпил... — сказал он проникновенным тоном. — А почему выпил? А потому, что Новый год... Уловил? И опять же на свои... Верно?

У него было блаженное лицо человека, которому если в жизни



чего-нибудь не хватает, то только еще одной рюмки водки. Все проблемы, по крайней мере на сегодняшнюю ночь, для него были решены...

В квартире было тихо: Филимоновы уехали встречать Новый год за город, а Разносмехов спал.

Жена Разносмехова, Светлана Николаевна, мыла на кухне оставшуюся после ухода гостей посуду. Бодрствовал и Сережа. Он сидел за угловым столиком и, кляня носом, переделывал уже знакомую мне модель биплана.

— Спать не пора? — спросил я, входя на кухню и стараясь придать своему голосу новогоднее звучание.

Сережа боднул головой воздух:

— А я могу хоть целый день завтра спать...

— Каникулы, — объяснила Светлана Николаевна, опуская в кастрюлю с горячей водой очередную тарелку. — Хорошо встретили Новый год?

— Хорошо. А вы?

— Как видите...

Сережа посмотрел на меня слипающимися глазами и, вертя в пальцах бутылочку с клеем, сказал:

— Совсем забыл...

— О чем?

— Ведь вас Рита Георгиевна ждет...

Над дверью вспыхнул и погас глаз Керзона. Звякали тарелки, которые Разносмехова, вымыв, ставила одну на другую. Пирамида тарелок все увеличивалась и увеличивалась. Когда она достигла уровня стоящей рядом керосинки, Светлана Николаевна сняла верхнюю тарелку и стала протирать полотенцем. Поставила на стол, взялась за следующую... Звенели тарелки. Стопка сухих сравнялась со стопкой еще не протертых. Вновь вспыхнул и вновь погас глаз Керзона.

Я тихо придвинул табуретку и сел.

— Может быть, вам что-нибудь нужно на кухне? — в голосе Разносмеховой чувствовалось удивление.

— Пожалуй, нет... Нет, ничего не нужно. Спокойной вам ночи.

Я встал и вышел в темный коридор. Дверь в мою комнату была очерчена двумя светлыми полосами пробивающегося сквозь щели света. Нижняя была неровная, расплывшаяся, а вертикальная — прямая и четкая, словно проведенная по линейке...

Наверное, Рита не слышала, как я пришел, иначе бы она вышла на кухню.

Я взялся за ручку, повернул ее и, мгновение помедлив, потянул к себе. Скрипа двери я не слышал, и первое, что увидел в комнате, были разложенные по краю стола окурки.

Рита сидела на кровати, подогнув под себя ногу. На коленях лежала раскрытая книга.

Рита смотрела на меня со спокойной доброжелательностью. Потом встала, одернула смявшуюся юбку и сказала:

— А я думала, что ты придешь раньше...

— Давно... здесь?

— Около часа... Я тебе несколько раз звонила, но ты же знаешь, как тебя сложно застать. То ты на месте происшествия, то на совещании, то еще где-то... Ты был у Сухоруковых?

— Как обычно.

— У них все в порядке?

— Да.

Книга соскользнула с кровати на пол. Это было кстати. Я нагнул-ся, поднял ее, полистал, положил на стол.

— «Россия, кровью умытая»,— сказала Рита.— Читал?

— Нет.

Она села, задымила папирской. Лицо ее дернулось в болезненной гримасе. Мы оба понимали, что предисловие затянулось. Но предисловие к чему? Этого я не знал, это знала лишь она. Я мог только догадываться. И еще я мог надеяться, как надеялся все эти дни...

Почему люди, считающие себя интеллигентами, так умеют осложнять жизнь себе и близким? Кому и для чего нужно это странное умение?

Рита курила, часто и поспешно затягиваясь, словно опасаясь, что я отберу папиросу. Она была маленькой и незащищенной, представленной самой себе. И я решился...

— Послушай, Ри,— сказал я и тут же осекся: в глазах ее мелькнул испуг. Мне не нужно было называть ее «Ри» и вообще не нужно было ничего говорить. Первое слово за ней. И она им воспользовалась...

— Я к тебе пришла по делу, Саша.

Точка над *i* была наконец поставлена. Двусмысленная ситуация с помощью лишь одной, несколько запоздавшей фразы приобрела четкость и законченность: ничем не примечательная встреча, товарищ зашел к товарищу побеседовать или посоветоваться. По крайней мере, все ясно, никаких недомолвок и никаких надежд.

— Чаю выпьешь? — безразлично спросил я только для того, чтобы показать, что предложенная схема мною безоговорочно принята.

Рита облегченно вздохнула: самое трудное осталось позади.

— Спасибо, Саша. (Это у нее получилось очень искренне и относилось не только к чаю...) Попьем позже, я сама заварю... У тебя есть заварка?

— Кажется, есть.

— Ну и чудесно.

Мокрый от пота подворотничок гимнастерки обручем стягивал шею. Я расстегнул две пуговицы и сказал:

— Слушаю тебя.

Рита положила докуренную до мундштука папиросу на край стола, села против меня, хрустнула длинными пальцами:

— Я хотела с тобой поговорить относительно Явича-Юрченко...

Установившаяся было схема совершенно неожиданно приобрела новые и еще более неприятные для меня очертания. Рита это чувствовала.

— Я прекрасно понимаю, что не имею права вмешиваться в твои служебные дела. Да ты бы и не стал со мной говорить о них,— быстро сказала она.— Но тут другое...

— Он тебя просил об этом?

— Нет, он даже не знает, что я...— она замялась.

— Что мы были женаты?

— Да.

— Это правда?

Она пожала плечами, и я почувствовал себя подлецом из подлецов. В чем, в чем, а в правдивости Риты я мог бы и не сомневаться: лгать она не умела. В этом я убедился на собственном опыте. Если бы она умела лгать, мы были бы вместе и сейчас.

Явич-Юрченко... Никогда бы не подумал, что я буду говорить о нем с Ритой, что его судьба каким-то образом столкнется с моей. Все это казалось глупым, нелепым, усложняющим и без того сложную жизнь.

— Прежде всего, что ты знаешь об этой истории? — спросил я.

— Как тебе сказать? — Рита помедлила.— Ничего определенного я, разумеется, не знаю и не могу знать. Но последнее время в редакции только об этом и говорят.

— О чем «об этом»?

— Ну о том, что Явича подозревают в каком-то поджоге, что его беспрерывно вызывают в уголовный розыск, допрашивают, запутывают, пытаются сфабриковать обвинение...

Слово «сфабриковать» неприятно резануло слух.

— Ты что же, считаешь, что мы фабрикуем дела?

— Извини, я неудачно выразилась... Я только хотела сказать, что в отношении Явича вы заблуждаетесь. Здесь какая-то ошибка. Он не виновен.

— Как ты можешь об этом судить, не зная дела?

— Я не знаю дела, но зато знаю Явича. Я никогда не поверю, что Евгений Леонидович мог совершить преступление. Он, конечно, человек с неуравновешенной психикой, но с очень устойчивыми представлениями о морали.

«Не поверю», «не мог»...

Как и все, кому не приходится повседневно сталкиваться с человеческой подлостью, Рита не сомневалась в убедительности таких утверждений. Это была хорошо мне знакомая цепочка наивных силлогизмов: «Я считаю его честным. Честные не могут быть преступниками. Следовательно, он преступления не совершал...» При этом допускались ошибки органов познания, следователя, суда, но только не того, кто не мог поверить в очевидность... Сколько раз я слышал подобные рассуждения, и сколько раз они оказывались несостоятельными! И все же... И все же я никогда не мог их безоговорочно отбросить...

— Ты давно его знаешь?

— Тринадцать лет,— сказала Рита таким тоном, будто это был самый веский аргумент в пользу Явича-Юрченко.— Он-то меня и приобщил по-настоящему к журналистике... Я тебе о нем, кажется, рассказывала...

Да, Рита как-то говорила о Явиче-Юрченко. Теперь я припоминал. Они познакомились в двадцатых годах в Петрограде. Рита в то время работала в бюро переводчиц журнала «Интернационал молодежи», а по ночам писала стихи, рецензии, корреспонденции, которые через некоторое время возвращались из редакций обратно к ней.

Тогда она и познакомилась с Явичем-Юрченко, который считался одним из китов журналистики и работал в «Петроградской правде». В этой газете впервые была опубликована одна из ее рецензий.

— Не понимаю, ничего не понимаю! — говорила Рита.— Явич честнейший человек. Это не только мое мнение, а мнение всех, кто его хорошо знает. Возможно, следователя натолкнуло на подозрение его прошлое? Так это нелепость. Он уже давно искупил свою вину. Он же выступал тогда против эсеров, официально с ними порвал...

Рита говорила много и быстро. Мне казалось, что она не столько стремится убедить меня, сколько боится паузы, которую я мог бы заполнить коротким «нет». Рита не приводила ни веских аргументов, ни убедительных доказательств. Но то, что она говорила, бесследно не исчезало. Слова нагромождались одно на другое, образуя невидимый, но осязаемый барьер между мной и синей папкой с материалами о подозреваемом. Рита говорила не о том Явиче-Юрченко, который служил для Фуфаева примером отсутствия у нас бдительности, а для Эрлиха — благоприятной возможностью развернуть по всем блеске свои оперативные дарования, а о Явиче-Юрченко — человеке.

Наступила наконец пауза, которой Рита так боялась. Я почувствовал на себе ее напряженный и выжидающий взгляд.

— Могу обещать тебе только одно,— сказал я.— Все материалы будут тщательно проверены.

— Тобою?

— Да.

— Большого и не нужно. Спасибо тебе.

— За что? Это моя обязанность. Я бы это и так сделал, без твоего вмешательства.

Рита встала, положила в сумочку папиросы.

— А теперь...

— А теперь будем пить чай,— сказал я.

— Это обязательно? — Рита неуверенно улыбнулась.

— Безусловно.

Мне действительно хотелось чаю. Горячего и крепкого.

## IX

В начале двадцатых годов, когда мы с Фрейманом возглавляли группу по расследованию нераскрытых убийств, под моим началом служил агентом третьего разряда некто Кемберовский, в прошлом кавалерист. Хорошо вымуштрованный армией, он многословностью не отличался. «Разрешите доложить», «Да», «Нет», «Будет исполнено»,— вот, пожалуй, и все, что мне привелось от него услышать. Но однажды, когда мы двое суток сидели в засаде на Нижней Масловке, Кемберовский разговорился. Тогда-то он и высказал мысль, которая мне показалась смешной и, наверное, поэтому запомнилась. Он рассказывал о каком-то кавалерийском рейде, вконец измотавшем людей, и о своем товарище по эскадрону Еремееве, под которым пали одна за другой две лошади, причем вторая считалась лучшей во взводе. «Какого кабардинца загубил,— сокрушался Кемберовский.— Все плетью его охаживал...» — «Так и ты, верно, своего не лаской гнал»,— сказал кто-то из сотрудников. «А как же,— согласился Кемберовский.— Не лаской. Да только у меня конь не пал. А почему? А потому — подход разный. Он коня-то своего от злости полосовал, а я — от уважения. Понял? Отсюда и результат налицо: его конь шагом, а мой — в галоп... Конь, что человек,— нравоучительно закончил Кемберовский,— от одного тычка голову опустит, а от другого злости да резвости наберется, силу в себе почует новую...»

Сравнение с лошастью даже самых чистых кровей мне не льстило, а Кемберовского я не считал тонким психологом, но в его рассуждениях было что-то от истины... И, вспоминая неожиданный визит Риты, я подумал, что разговор с ней послужил для меня тем самым «благодетельным тычком», который прибавляет новых сил и придает злую резвость. Впрочем, так со мной случалось и раньше, когда барометр настроения, опустившись до предель-

ной черты, ниже которой опускаться уже было некуда, начинал медленно подниматься, а то и стремительно взлетал вверх, восстанавливая необходимое равновесие. И тогда неизвестно откуда появлялись энергия, оптимизм, работоспособность и удачливость.

Сразу же после Нового года нашим отделением были успешно проведены две операции. Одну из них — ликвидацию бандитской группы Сивого, которую разоружили без единого выстрела, — отметили в приказе по управлению как «образец творческого подхода к поставленным задачам, яркий пример находчивости, мужества» и т. п. Всех участников этой операции наградили — кого денежной премией, кого именными часами. А на следующий день у меня в кабинете появился стеснительный юноша, внештатный корреспондент молодежной газеты, который все допытывался, о чем я думал, когда Сивый наставил на меня наган. Честно говоря, в тот момент я ни о чем не думал. Но у юноши были такие восторженные глаза, что я посчитал себя не вправе хоть в чем-то стеснить его фантазию...

После ухода корреспондента (беседа с ним заняла не менее часа: тридцать минут — на восхищение, двадцать — на признательность за любезность и десять — на мой рассказ о самой операции) я пригласил к себе Эрлиха и, по любимому выражению Фуфаева, «вплотную занялся» делом о покушении. Информация Эрлиха о ходе расследования была в меру оптимистичной. Своих успехов он не переоценивал. Изучив представленные им материалы, я понял, что это объяснялось отнюдь не скромностью. С того дня, как я в последний раз заглядывал в «горелое дело», оно почти вдвое увеличилось в объеме, приобретя соответствующую весомость и солидность. Произошло это за счет новых протоколов допросов и очных ставок. Но они повторяли старые. Таким образом, обвинение основывалось на тех же доказательствах — более развернутых, но тех же. Следствие вращалось на одном месте. Эрлих это понимал лучше меня и видел выход только в одном — в аресте.

— Сейчас подозреваемый имеет возможность обрабатывать свидетелей, — говорил он.

— А кто-нибудь из свидетелей менял свои показания?

— Пока нет. Но это не исключено. Кроме того, учтите его психологию...

— Что вы имеете в виду?

— Естественное стремление преступника избежать кары. Оставляя Явича на свободе, мы тем самым даем надежду на то, что ему удастся выкрутиться, ускользнуть от ответственности. Ведь он как рассуждает? Раз не арестовывают, значит, не уверены...

— А вы уверены?

Кажется, Эрлих счел мой вопрос за неуместную шутку: он точно так же не сомневался в вине Явича-Юрченко, как Рита — в его невиновности.

— Я считаю, что арест необходим,— упрямо повторил Эрлих.

— Но я пока не вижу для этого оснований, Август Иванович, да и не думаю, чтобы предварительное заключение Явича нам что-либо дало. Нужны, видимо, другие пути...

— Какие?

— Пока не знаю.

Эрлих поджал губы, но промолчал, лицо его казалось еще более бесстрастным, чем обычно.

— Разрешите быть свободным? — официально спросил он.

— Пожалуйста. Кстати, вы с Русиновым не консультировались?

— Нет,— сказал Эрлих.— Но ведь и он со мной не консультировался, когда вносил предложение о прекращении этого дела, не так ли?

Эрлих ушел, оставив на моем столе пухлую папку с документами, которые, по его убеждению, должны были окончательно и бесповоротно решить судьбу Явича-Юрченко...

Позвонил Сухоруков. Оказывается, корреспондент, распрощавшись со мной, отправился к нему. Виктор был доволен операцией и вниманием к ней печати.

— Обещает статью на следующей неделе,— сказал он.— Ты его, кажется, поразил.

— Чем?

— Скромностью, понятно. Так что следи за газетой. Дело хорошее, надо популяризировать нашу работу.— И спросил: — Что с покушением на Шамрая?

— Популяризировать, к сожалению, рано...

— На той же точке?

— Приблизительно.

— Значит, Эрлих не вытянул? Жаль... Я рассчитывал, что днями будет передавать в прокуратуру. Вот тебе и «бульдог»! Может, кого подключить к Эрлиху?

— Видимо, придется.

— Не думал пока, кого именно?

— Думал...

Я помолчал и неожиданно для самого себя сказал:

— Как ты смотришь на кандидатуру Белецкого?

— Отрицательно, разумеется, но тебе видней,— ответил Сухоруков. Он во всем любил порядок и неодобрительно относился к тому, что начальники отделений берут на себя функции оперуполномоченных.

Вообще-то говоря, он был, конечно, совершенно прав. И тем не менее на следующий день я отправился к Эрлиху.

Обычно я избегаю появляться в кабинете следователя, когда он беседует с подозреваемым или свидетелем. Это — нарушение профессиональной этики. Кроме того, присутствие третьего, особенно если этот третий непосредственный начальник, нервирует следователя, нарушает установившуюся атмосферу допроса, выбивает из привычного ритма. Но для начала мне необходимо было получить непосредственное представление о Явиче-Юрченко. Что же касается Эрлиха, то он обладал таким хладнокровием и выдержкой, что мое присутствие вряд ли могло помешать его работе.

Открыв дверь комнаты, я сразу же понял, что мое вторжение для Эрлиха неожиданность, и скорее всего неприятная. Когда я вошел, он встал из-за стола и вопросительно посмотрел на меня, видно полагая, что допрос придется прервать, так как ему предстоит какое-то срочное задание.

— Продолжайте, Август Иванович, — сказал я.

В холодных серых глазах мелькнуло нечто похожее на иронию.

— Слушаюсь.

Он сел, и с этого момента я перестал для него существовать, превратившись в некий номер инвентарной описи имущества кабинета: один стол, один сейф, один диван, два стула и один Белецкий...

Тем лучше.

Я устроился на диване и развернул принесенную с собой газету, которая одновременно выполняла несколько функций: подчеркивала случайность моего присутствия, служила ширмой и могла, в случае необходимости, скрыть лицо.

Явич-Юрченко сидел вполоборота, так что я мог хорошо изучить его. Мне он представлялся несколько иным, более значительным, что ли. Между тем в его внешности не было ничего броского, обращающего на себя внимание. Патриарх Московского уголовного розыска Федор Алексеевич Савельев, славившийся уникальной памятью на лица, советовал молодым оперативникам отмечать в человеке не то, что делает его похожим на других, а «индивидуализирующие особенности». Вот таких-то особенностей у Явича-Юрченко почти не было. Обычное, разве только излишне нервное лицо дореволюционного интеллигента: традиционные усы и борода, пенсне, мясистый, неопределенной формы нос, который издавна принято называть русским, тембр голоса — все это было стандартным, примелькавшимся. Под категорию «типичного» не попадали только руки — широкие, короткопалые ладони свидетельствовали о недюжинной физической силе. Вскоре я отметил еще одну «индивидуализирующую особенность» — маленький, едва заметный шрам на верхнем веке левого глаза: память о брошенной почти тридцать лет назад бомбе.

Вот, пожалуй, и все, что можно было сказать о Явиче-Юрченко



при первом знакомстве. Внешность непримечательная. А что за ней скрывалось, мне предстояло только узнать.

Держался он спокойно. Но мне казалось, что это — мнимое спокойствие до предела натянутой струны. И если бы оно завершилось бурным истерическим припадком, меня бы это ничуть не удивило. Говоря о ком-то, Фрейман сказал: «герой-неврастеник». Видимо, это определение подходило и к Явичу-Юрченко. Впрочем, я мог, конечно, и ошибиться... С выводами спешить не следует.

Незаметно рассматривая Явича-Юрченко, я одновременно прислушивался к диалогу, который постепенно превратился в монолог Эрлиха.

Наиболее тяжелое положение у следователя не тогда, когда обвиняемый юлит и лжет, придумывая все новые и новые объяснения уже установленным фактам, а когда его ответы на десятом допросе в точности совпадают с тем, что он говорил на первом. Конечно, если удалось раздобыть дополнительные данные, следователь легко загонит своего противника в логический тупик, который рано или поздно, но приведет к признанию. Более того, в такой ситуации запирательство превращается в улику. Но если новых доказательств нет, а прежние в какой-то степени ослаблены объяснениями подследственного, который не менял и не собирается менять своих показаний, то следователь попадает в замкнутый круг, из которого ему не всегда удастся выбраться.

Как я понял из материалов дела, Эрлих, по меньшей мере, совершил две ошибки. Во-первых, переоценил значение первоначально собранных им косвенных улик, а во-вторых, поспешил выложить их перед подозреваемым на первых же допросах. Он, видно, рассчитывал полностью парализовать способность Явича-Юрченко к сопротивлению. Но психологический расчет Эрлиха не оправдался. Новыми уликами Эрлих не располагал, а подозреваемый упорно повторял свои прежние показания, не давая следователю возможности поймать его на противоречиях.

Теперь Эрлих пытался спасти положение и разорвать круг, в котором оказался. Основным его козырем была логика фактов, козырь, на мой взгляд, не из крупных, но других у него на руках почти не имелось.

После нескольких формальных и ничего не дающих вопросов Эрлих, отодвинув от себя папку и отложив в сторону ручку, спросил:

— Если не ошибаюсь, вы в свое время числились по юридическому факультету?

Эрлих, разумеется, не ошибался: эти сведения фигурировали во всех протоколах, подписанных подозреваемым. Вопрос был вступлением. Видимо, Явич-Юрченко его так и понял и поэтому промолчал.

— По юридическому,— на этот раз утвердительно сказал Эрлих.— И хотя вы в дальнейшем занялись журналистикой, я все-таки думаю, что теорию доказательств вы не забыли... Она обычно хорошо усваивается и запоминается надолго, не так ли? Поговорим, как два юриста...

Эрлих выпрямился на стуле, поджал губы, вопросительно посмотрел на Явича-Юрченко.

Веко с маленьким шрамом потемнело от прилившей крови, задергалось. «Конечно, неврастеник»,— подумал я. Явич-Юрченко полез в карман за папиросами...

— Вы не будете возражать, если один из юристов закурит? Это была шутка, и Эрлих натянуто улыбнулся.

— Курите,— сказал он и пододвинул Явичу-Юрченко пепельницу.

Тот долго мял подрагивающими пальцами папиросу, закурил.

— Слушаю вас, коллега.

И в интонации и в словах была злая издевка. Но Эрлих сделал вид, что ничего не произошло. По его убеждению, следователь не имел права на эмоции. Эмоции — привилегия обвиняемого. И привилегия, и утешение...

— Юристов, как нам обоим хорошо известно, интересуют только факты, не так ли? — сказал Эрлих.— Вот я вам и предлагаю объективно их проанализировать.

Явич-Юрченко провел рукой по бороде, словно вытряхивая из нее невидимые крошки, и пустил вверх струю дыма. Ни тот, ни другой моего присутствия не замечали. Стараясь не шуршать, я положил на диван газету.

— Проанализировать,— повторил Эрлих.— Когда происходит преступление, первый вопрос, который возникает у любого следователя: кому это выгодно? Такой вопрос, естественно, возник и у меня: кому были выгодны пожар на даче и убийство управляющего трестом товарища Шамрая? Я опросил десятки людей. Здесь,— Эрлих положил ладонь на папку,— материалы, которые свидетельствуют о том, что совершенное преступление было выгодно только вам. Я не хочу быть голословным. Давайте последовательно проследим за всей цепочкой фактов. Комиссия по чистке лишила вас партийного билета. В этом решающую роль сыграл член комиссии Шамрай. Он раскрыл вашу неискренность на процессе правых эсеров. Он же на примере ваших статей и личных связей с бывшими эсерами доказал, что билет члена ВКП (б) служил для вас лишь удобной ширмой.

— Только не доказал, а пытался доказать,— поперхнулся папиросным дымом Явич-Юрченко.

— Комиссия с ним согласилась.

— Не все члены комиссии.

— Во всяком случае, большинство. Но для нас сейчас главное не это. Главное то, что у Шамрая были компрометирующие документы, а вы добивались пересмотра решения. И эти документы, и сам Шамрай были для вас, согласитесь, помехой. С другой стороны, понятное чувство ненависти к Шамраю, стремление отомстить за пережитое. Это не домыслы, а факты. У нас с вами,— Эрлих так и сказал: «У нас с вами»,— имеются показания по этому поводу самого Шамрая, его секретаря и, наконец, ваши собственноручные письма Дятлову... Можем мы это игнорировать? Конечно, нет. Теперь пойдем дальше. На товарища Шамрая производится нападение, исчезают неприятные для вас бумаги. Одновременно выясняется, что накануне случившегося вы спрашивали Гудынского, где сейчас живет Шамрай — на квартире или на даче. Странное совпадение, не так ли? Но это еще не все. Ваш друг Дятлов заявляет, что в ночь с 25-го на 26-е вы являетесь домой только под утро и говорите ему: «Боюсь, как бы это гулянье плохо не кончилось», а служащая станции Гугаева видит вас ночью во время пожара на перроне...

Эрлих не торопился. Он не доказывал вину Явича-Юрченко, не уличал, не ловил на противоречиях. Он скорее размышлял вслух, анализируя и сопоставляя улики, которые можно было толковать только так, а не иначе. Временами в его сухом, бесстрастном голосе улавливались даже нотки сочувствия: дескать, понимаю, насколько все это неприятно, но, к сожалению, факты против вас, уважаемый коллега! Как видите, я предельно откровенен, ничего не скрываю, ничего не передергиваю... одни факты... Имеются возражения? Пожалуйста, я слушаю. Давайте их совместно разберем, взвесим, оценим... Я не против. Но, увы, что можно противопоставить материалам дела?

Явич-Юрченко все более и более нервничал. Он курил одну папиросу за другой. Когда пепельница заполнилась окурками, Эрлих высыпал их в стоящую под столом корзину и спросил:

— Так что вы можете на все это ответить, Явич-Юрченко?

— Как недоучившийся юрист или как обвиняемый?

Тон Явича-Юрченко настораживал: в нем был вызов.

— Не понимаю вас,— сказал Эрлих.

— В таком случае любезность за любезность. Как недоучившийся юрист я крайне вам благодарен за прочитанную лекцию...

— А как подозреваемый?

— Как подозреваемый... Готов отдать вам должное, но Васильев все-таки допрашивал меня талантливей...

— Какой Васильев?

— Не изволили знать? Обаятельнейший человек. Ротмистр. Из Санкт-Петербургского жандармского управления,— срывающимся голосом сказал Явич-Юрченко.

Обращенная ко мне щека Эрлиха побелела. Но он умел сдерживать себя и даже улыбнулся.

— А вы веселый человек, Явич...

— Только в приятном для меня обществе...

— Ну что ж, пока,— Эрлих подчеркнул слово «пока»,— вы свободны. Не смею задерживать. А впрочем...— Он повернулся ко мне: — У вас не будет вопросов к подозреваемому, Александр Семенович?

У меня был только один вопрос, но он не имел никакого отношения к делу о покушении.

— Нет, не будет.

Когда Явич-Юрченко вышел из кабинета, Эрлих спрятал папку в сейф и спросил:

— Убедились?

— В чем?

— В необходимости ареста.

— Нет, Август Иванович, не убедился.

— Вас трудно убедить.

— Почти как Явича,— пошутил я.

Но на этот раз Эрлих не улыбнулся: видимо, лимит улыбок был исчерпан. Кроме того, он считал, что я не заслужил права на спецпак его благожелательности. Он был недоволен и не скрывал этого. В его представлении начальник седьмого отделения Белецкий лишний раз доказывал, что он бюрократ и чинуша, который по исключительно формальным соображениям мешает закону обрушить меч правосудия на голову явного преступника и тем самым вписать в послужной список Августа Ивановича Эрлиха еще одну благодарность.

Эрлих копался в сейфе, и я видел только его спину. Но она была не менее, а может быть, и более выразительна, чем лицо старшего оперуполномоченного. Приподнятые в меру плечи подчеркивали недоумение, а прямая линия позвоночника — осуждение и досаду.

Да, Фуфаеву не везло. Хваленое седьмое отделение никак не могло дать ему для доклада яркого примера. Мало того, до сих пор не было ясно, примером чего является это дело — примером бдительности или притупления оной. Впрочем, в качестве примера беспомощности и волокиты оно уже вполне вписывалось и в доклад, и в служебную записку. А в довершение ко всему в папке, которую Эрлих положил в сейф, незримо присутствовала жена Белецкого — Рита. Бывшая жена...

Эрлих повернулся ко мне. В отличие от спины лицо его, как всегда, было бесстрастным.

— Ну, что скажете, Август Иванович?

— Я бы все-таки попросил вас, Александр Семенович, подумать относительно ареста подозреваемого.

— Это моя привычка.

— Что? — не понял Эрлих.

— Думать,— объяснил я.— И я стараюсь ее придерживаться даже тогда, когда меня об этом не просят.

Теперь Эрлих улыбнулся, но так, что у меня были все основания привлечь его к ответственности за обвешивание: вместо обычной полпорции улыбки я получил четверть. Ах, Август Иванович, Август Иванович!

— Значит, вы подумаете?

— Обязательно,— сказал я.

## Х

«Подключиться» — термин неопределенный. Действительно, что такое «подключиться»? Это может означать изъятие дела у следователя, помощь ему в каком-то вопросе, постоянную опеку, контроль — все что угодно. Из различных вариантов «подключения» я выбрал, пожалуй, самый неблагодарный и рискованный, но зато и самый интересный — параллельное расследование.

«Горелое дело» по-прежнему числилось за Эрлихом. Но теперь над ним работал и я. Это, конечно, был не самый лучший выход из положения, потому что «горелое дело» являлось одним из нескольких десятков дел, за которые я отвечал как руководитель отделения.

Итак, два следователя.

В положении каждого из них были свои плюсы и минусы. Существенным, хотя и временным преимуществом Эрлиха являлось то, что он непосредственно, а не по бумагам знал людей, каким-либо образом приобщенных к событиям той ночи. Мне же предстояло с ними только познакомиться. Но диалектика всегда остается диалектикой. И преимущество Эрлиха являлось одновременно и его слабой стороной. Дело в том, что вопроса «кто совершил преступление?» для него не существовало, вернее, уже не существовало. Он на него ответил месяц назад и теперь лишь обосновывал бесспорную, по его мнению, точку зрения. Он не сомневался в виновности Явича-Юрченко. По существу, его работа сводилась лишь к тому, чтобы сделать убеждение Эрлиха убеждениями Белецкого, Сухорукова и суда.

Само собой понятно, что такой подход связывал его по рукам и ногам. Меня же ничто не связывало. Я мог согласиться или не согласиться с его версией, принять или поставить под сомнение имеющиеся улики, произвести их переосмысление или попытаться найти новые; как обвиняющие Явича-Юрченко, так и оправдывающие его. Короче говоря, у меня не было и не могло быть той предвзятости, которая порой возникает у следователя, длительное время работающего над делом и занявшего определенную позицию.

Поэтому версия Эрлиха, кстати говоря достаточно убедительная, рассматривалась мною лишь как одна из возможных. А таких версий оказалось несколько. Причем одна из них основывалась на клочке бумаги, оказавшемся неизвестно какими путями в документах Шамрая. Ни Русинов, ни Эрлих не уделили этому клочку внимания. Возможно, он действительно его не заслуживал и оказался среди подброшенных бумаг совершенно случайно, например по небрежности сотрудника стола находок. От подобных случайностей никто не застрахован, они имеются в любом следственном деле. Правильно. Но... Маленькое «но», совсем маленькое. И тем не менее закрывать на него глаза не следует, уважаемые товарищи. Кто из вас доказал, что малоприметный клочок бумаги — случайность? Вы, старший оперуполномоченный Русинов? А может быть, вы, Эрлих? Нет? Вы не тратили на это своего времени? Считали бесполезным? Как знать...

Кто может гарантировать, что клочок бумаги с двумя строчками раешника не улика или хотя бы не намек на то, что произошло на даче Шамрая.

Об этом клочке бумаги я говорил Эрлиху, но, видимо, напрасно. Во всяком случае, в деле я не нашел никаких следов проверки. О клочке бумаги просто забыли. Он исчез под ворохом броских улик и очевидных гипотез. Не пора ли его оттуда извлечь?

Я считал, что пора.

Если будет установлено, что он не связан с покушением на Шамрая, тем лучше: число возможных версий уменьшится, а это уже шаг вперед. Но игнорировать его нельзя.

Каким же образом он мог попасть в подброшенные документы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было предварительно разобраться в двух других: что это за раешник и каково его происхождение?

Безусловно, строчки стихов имели непосредственное отношение к блатной поэзии. Но к какой именно? Блатная поэзия достаточно многообразна. В ней имеются свои школы, направления, свой классицизм («Не для фарту я родился, воспитался у родных, воровать я научился у товарищей своих»), сентиментализм («За что меня вы засудили? За что сослали в Соловки? Судьбой несчастной наградили. За что меня вы привлекли?») и, наконец, романтизм («Ты помнишь ли, мама, ту темную ночь, когда меня дома не стало? Красавец бандит увозил твою дочь, увез, я тебе не сказала...») и т. п.

Блатная песня — это, конечно, не отпечаток пальца, по которому безошибочно идентифицируют личность преступника. Тем не менее Савельев, переиначивая известный афоризм, говорил: «Скажи мне, что ты поешь, и я скажу, кто ты». Но, к сожалению, Савельев, ушедший в прошлом году на пенсию, сразу после Нового года уехал в Киев, где гостил у сына. Вернуться в Москву он должен был лишь

к концу января, а то и позже. Другой же знаток блатной поэзии — начальник домзака Вильгельм Янович Ворд, человек замечательный во многих отношениях, умер пять лет назад. Больше крупных специалистов в Москве не имелось, а может быть, я их просто не знал. Консультации же с дилетантами, к которым я относил и себя, потребовали бы много времени. Но иного выхода нет. А впрочем... Если хорошенько полистать записную книжку памяти, может, что и отыщется?

И, листая эту «книжку», я наткнулся на фамилию Куцего. Бывший Вал. Индустриальный, разумеется, тоже является дилетантом. Но дилетантом-энтузиастом... Уже свыше десяти лет он коллекционировал творчество «тюремной музыки», удивляя нас с Фрейманом своим постоянством, которое совершенно не согласовывалось с его характером.

Видимо, в его коллекцию стоит заглянуть.

Я позвонил в редакцию.

— Валентин Петрович будет к шести вечера, — сообщил мне милый женский голос. — Что ему передать?

— Передайте, пожалуйста, что звонил Белецкий и просил позвонить.

— Белецкий?

— Да.

— Из уголовного розыска?

— Так точно.

— Валентин Петрович мне о вас рассказывал...

— Очень приятно, — сказал я. И, как тут же выяснилось, несколько преждевременно...

— Он говорил, что вы исключительно тяжелый человек, — пояснила трубка.

— И больше ничего?

— И больше ничего...

— Мда... Сжатая характеристика.

— Значит, я ему передам.

— Пожалуйста.

Я положил трубку на рычаг и подумал, что у меня уже давно не было такого хорошего настроения.

Наверное, Кемберовский был все-таки прав и в отношении лошади, и в отношении своего бывшего начальника — субинспектора Белецкого. Впрочем, рассказывая о коне, он Белецкого в виду не имел.

«А ведь, если не ошибаюсь, вы были сейчас не прочь пококетничать, Александр Семенович?» — спросил ехидный голос.

«Не ошибаетесь», — признался я.

«Какие же из этого следует сделать выводы, Александр Семенович?»

«Я не привык торопиться с выводами...»

«Похвально, Александр Семенович, похвально. Но ваше желание можно расценивать как улику?»

«Да. Косвенную...»

«Значит?..»

«Боюсь, это значит только то, что Белецкий еще не достиг пенсионного возраста...»

«Только?»

«Только...»

«Мало, но сдвиг... Сдвиг, Александр Семенович».

«Если так, я рад...»

Разговор двух Белецких мог бы затянуться, но ему, как всегда, помешали дела — самое действенное лекарство от всех печалей и самокопаний.

Валентин позвонил мне, разумеется, не в шесть, не в семь и даже не в восемь. Точность никогда не была его отличительной чертой. Поэтому я успел:

а) выступить на совещании соцсовместителей уголовного розыска и членов групп содействия прокуратуре;

б) посетить милицееское общежитие и поругаться там с комендантом, который решил сэкономить на ремонте и не побелил потолков;

в) написать давно обещанную заметку для стенгазеты о формах и методах борьбы с «социальными аномалиями»;

г) зайти в центральное хранилище и еще раз покопаться во всем том, что могло стать, но не стало вещественными доказательствами нападения на Шамрая и поджога;

д) дать задание по этому делу Русинову;

е) договориться о встрече с Шамраем и Фрейманом;

ж) выслушать доклады трех своих оперативников, которые занимались весьма запутанным и мало перспективным делом об убийстве;

з) побеседовать с работниками 4-го отделения (борьба с кражами), которые могли бы оказать мне некоторую помощь по «горелому делу» (проверка еще одной версии!), и получить у Цатурова отмычку к собственному замку.

В общем, Валентин позвонил уже тогда, когда минутная стрелка, оставив часовую на девяти, приближалась к ней по новому кругу.

— Еще на работе? — спросил Валентин таким тоном, будто надеялся меня не застать и теперь обескуражен тем, что надежда не оправдалась.

— На работе,— подтвердил я.

— Просиживаешь кресло?

— Стул,— поправил я.— Государственный стул и личные штаны. Кресло мне еще не положено. А ты уже дома?



— Только что приехал,— сказал Валентин и со свойственной ему прямою поинтересовался: — Зачем я тебе нужен?

— Хочу полюбоваться твоей физиономией.

— Врешь.

— Почему?

— Потому что ты корыстный человек, Белецкий.

— Тяжелый и корыстный,— уточнил я.

— Тебе что-то надо,— продолжал резать правду-матку Валентин.— Угадал?

— Угадал.

— Что?

— Ты еще не растерял свою поэтическую коллекцию?

— Нет... А что?

— Хочу просмотреть некоторые экспонаты.

— Для дела?

— Для дела. Приглашаешь в гости?

— Вообще-то говоря, я хотел сегодня писать,— сказал польщенный Валентин.— Но если для дела, то, конечно, приезжай. Даже рад буду...

— Только учти: я голоден как волк. Накормишь?

— Ливерная колбаса, хлеб, масло, лук, чай,— добросовестно перечислял Валентин.

— Сахар?

— Есть.

— Ну что ж, устраивает.

— Когда будешь?

— Через полчаса.

И действительно, ровно через полчаса я уже помогал Валентину резать хлеб, колбасу и протирать пластмассовые стаканы, призванные в ближайшее время заменить устаревшую стеклянную посуду и «всякий там хрусталь, фарфор и прочую ветошь».

Комнатушка Валентина чем-то напоминала мою и в то же время резко от нее отличалась. Обставленная по-спартански — лишь самое необходимое,— она была не только прибрана, но и свидетельствовала, что где-то в мире, а возможно, и совсем рядом существуют упорядоченный домашний быт, уют, а некоторые граждане Советского Союза подметают полы в канун каждого революционного праздника и даже чаще.

Стол в отличие от моего не качался, а твердо стоял на полу всеми четырьмя деревянными лапами. Мосдревовский диванчик в стиле «физкульт-привет» умилял своей поджаростью и округлыми бицепсами пружин. Прилежно и тихо вели себя стулья: они не скрипели и не стонали даже в том случае, если на них садились. Что же касается скатерти, то я мог бы поклясться, что ее недавно стирали.

— Обуржуазиваешься,— грозно сказал я и постучал пальцем по столу.

— Что? — спросил Валентин, делая вид, что он меня не понимает.

— Обуржуазиваешься, говорю. Скатерть-то и выстирана, и выглажена, и накрахмалена, а?

— Товарищ один выстирал,— жеваным голосом сказал Валентин.

— Товарищ, значит?

— Товарищ...

— А в порядке какого поручения: партийного, профсоюзного?

Это была последняя фраза, которую мне удалось сказать в тот вечер. Валентин перехватил нить разговора и больше не выпускал ее из своих рук.

Опасаясь новых выпадов с моей стороны, он говорил без остановки. Затем, продолжая говорить, он вытащил из-под дивана два ящика с тетрадами, пожелал мне спокойной ночи и, растянувшись на диване, мгновенно уснул.

В ящиках было около сотни тетрадей. Если каждая тетрадь займет всего двадцать минут, это уже тридцать три часа с хвостиком... Ничего не скажешь, светлые перспективы!

Но мне повезло: нужный мне раешник я отыскал в третьей по счету тетради, озаглавленной: «Соловки. 1925 г. Репертуар Соловецкого театра».

Тетрадь открывалась перечнем поставленных в 1925 году спектаклей. Потом шла самая популярная на Соловках и хорошо мне известная песня «Соловки» («Там, где волны скачут от норд-оста, омывая с шумом маяки, я не сам приплыл на этот остров, я не сам пришел на Соловки...»). А на шестой странице характерным почерком Валентина был запечатлен для потомства интересующий меня раешник. К раешнику имелось примечание: «Характерен для творчества низов уголовного мира, еще не осознавших остроту классовых противоречий. Аморфен, показная бесшабашность и молодечество. Авторы не выяснены».

Тетрадь оставила на злосчастной скатерти идеально вычерченный квадрат пыли. Видно, в нее давно не заглядывали. Владелец тетради спал сном праведника, по-детски причмокивая губами. Что ему сейчас снилось? Магнитка? Или «товарищ», стирающий и крахмалящий скатерть? Этого я не знал. Не знал я, пригодится ли мне в дальнейшем соловецкий раешник. В каждом производстве неизбежны отходы, а в уголовном розыске они порой составляют 99 процентов. Скорее всего раешник попадет в эти 99. Но загадывать на будущее не стоит. Поживем — увидим.

Сжимаясь от холода, синий столбик в термометре все уменьшался в размерах и дошел наконец до черты, возле которой стояла цифра 31. Тридцать один градус мороза! Я уже давно не помнил в Москве таких холодов. Освобожденные от занятий школьники блаженствовали и, само собой понятно, заполнили все дворы и улицы. Мороз, мешавший учебе, ничуть не мешал играм, конькам и лыжам. Клубился густой пар, белые полосы изморози легли на стены домов, побелели деревья Садового кольца. Молочницы с бидонами неслись по улицам со скоростью пушечных ядер, а закутанные и перекутанные женские очереди у нефтелавок выбивали валенками чечетку под аккомпанемент жестянок для керосина. Во всю мочь лупили себя по бокам рукавицами, подпрыгивая возле заиндеветых лошадей, извозчики. Пряча носы в овчинные воротники и согнувшись вопросительным знаком, бежали тележники. Громко цокали в ледяном воздухе подковы и пронзительно скрипели полозья тянувшихся с вокзала обозов, простуженно хрипели гудки вертких «фордигов» и раздраженно сипели солидные клаксоны «бьюиков», перекрывая ржание лошадей. Еще недавно полновластные хозяева улиц, извозчики теснили свои сани к обочине, пропуская вперед воняющие бензином чудища. Улица Горького пахла теперь не конским потом, а заводским дымом и настоящим на морозе бензином — запахом третьего года второй пятилетки.

Сбавив скорость, Тесленко плавно проехал мимо Радиотеатра, над которым белели, словно вырезанные в кумаче, гигантские слова: «Свободу Тельману!»

У подъезда Радиотеатра стояла группа иностранцев, судя по одежде, рабочая делегация или коминтерновцы. В боковом окне машины проплыли широко раскрытые глаза закутанной в шерстяной платок девушки, наверно экскурсовода, и, словно покрытое черным лаком, лицо негра в ушанке, с белыми от инея бровями.

— Вот сволочи! — сказал Тесленко.

— Что?

— Сволочи, говорю, американские империалисты, — объяснил он. — Черный-то пролетарий не от хорошей жизни в такой мороз в Россию приехал. Террор, суд Линча и все прочее такое...

— Не исключено.

— Да, дела... — Тесленко сокрушенно чмокнул. Он чувствовал себя гостеприимным хозяином и сожалел, что не может обеспечить гостю привычную для того погоду. Но климат, к сожалению, от него не зависел.

На Советской площади, бывшей Скобелевской, которая в первые годы революции бурлила митингами, а во времена нэпа славилась своими ресторанами, было пустынно. Покоробившаяся на морозе

афиша Первого Московского ипподрома (второго, кажется, так и не было) сообщала, что проводятся рысистые испытания. Первый госцирк соблазнял продоргих москвичей «грандиозной водной пантомимой «Черный пират».

Через пятнадцать — двадцать минут мне предстояла встреча с Шамраем. Но, наблюдая за лежащими на обруче баранки руками Тесленко в черных кожаных перчатках с крагами (в ту зиму такие перчатки носило пол-Москвы), я думал о чем угодно, но только не о «горелом деле».

Память то с резвостью школьника мчалась по лестнице воспоминаний, перепрыгивая через ступеньки, то кружилась в ритме песенки нашего доморощенного поэта: «Голоснем, ребята, дружно, чтоб служили нам всегда, наши мышцы закаляя, воздух, солнце и вода. Развейся стяг «Динамо», трубачи, играйте марш. Пролетарского закона наш отряд надежный страж».

Мчалась карусель воспоминаний. Тридцать четвертый год; девятнадцатый, двадцать пятый, снова тридцать четвертый... Мелькали лица, обрывки событий, разговоров, мыслей... Появились и исчезли убитый кулаками во время коллективизации в Подмосковье Сенья Булаев, погибший на фронте Груздь, балтийский матрос и субинспектор Московского уголовного розыска Виктор Сухоруков, Рита, Вал. Индустриальный...

Но хотя я как будто и не вспоминал о «горелом деле», мысль о нем таилась где-то в глубине сознания вместе с другими подспудными тревожными мыслями, рожденными событиями последних недель.

Чем больше я углублялся в «горелое дело», тем сильнее оно меня раздражало какой-то своей зыбкостью и неопределенностью. Порой было такое ощущение, что оно засасывает, подобно болоту, сковывая и ограничивая движения. В нем не было точки опоры, во всяком случае, я не мог ее нащупать.

Суть здесь заключалась не в сложности, а в чем-то другом. Очевидных дел почти не бывает. Подавляющее большинство преступлений на первом этапе расследования — загадка, дающая простор для различных предположений, версий, гипотез. Перед следователем клубок фактов, показаний, объяснений, доводов. Он должен отыскать кончик нитки. Это нелегкое и кропотливое занятие. Но зато, найдя кончик, сравнительно просто распутать весь клубок. А из «горелого дела» торчало несколько хорошо различимых кончиков, но каждый из них не облегчал, а усложнял работу. Малейшее неосторожное движение — и нитка обрывалась или создавала новый узелок. Здесь все было противоречивым, неустойчивым, несобранным — версии, позиции участников происшедшего, логика их поведения и улики.

Странное дело, очень странное.

Взять хотя бы выстрелы. Были они? Безусловно. Выстрелы слышали сам пострадавший («Две пули пролетели рядом»), соседи по даче, очевидцы пожара — человек пятнадцать, если не больше. Нападавший стрелял в Шамрая. Факт. И в то же время... не факт. Самый тщательный осмотр сплошного дощатого забора, вдоль которого бежал Шамрай, ничего не дал. Оперативники не обнаружили ни самих пуль, ни их следов. Этих треклятых пуль не нашли и в стволах фруктовых деревьев, которые росли вокруг дачи. Не нашли, хотя обследовали буквально каждый сантиметр. Пули исчезли. Выстрелы были, а пуль не было. Тоже факт, и факт не менее достоверный, чем первый. Куда же, спрашивается, исчезли пули? Растапливались в воздухе? Расплавившись?

Можно было, конечно, предположить, что нападавший стрелял вверх, чтобы только напугать Шамрая. Но, во-первых, откуда тогда взялся свист пули у самого уха бегущего? Во-вторых, зачем пугать и без того перепуганного человека? А в-третьих, по словам Шамрая, преступник его чуть не задушил. Если так, — а, видимо, это происходило именно так, — то снова нельзя не отметить полнейшее отсутствие элементарной логики: после несостоявшегося из-за сопротивления жертвы убийства разозленный неудачей убийца ни с того ни с сего начинает забавляться пальбой в воздух вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией (хорошо освещенная пожаром цель) и осуществить свой, теперь уже близкий к завершению замысел.

Полнейшая бессмыслица!

Дальше. И Шамрай, и Русинов, и Эрлих исходили из того, что у неизвестного были две цели: убийство и похищение содержимого портфеля или самого портфеля. Допустим, что они правы. Но тогда мы снова сталкиваемся с полным отсутствием логики.

Шамрай категорически заявил еще Русинову, что никогда раньше ни домой, ни на дачу не возил в портфеле служебных документов, что тот случай был исключением, вызванным известными обстоятельствами. Как же об этом «исключении» узнал преступник и кто он, наконец, — провидец или сумасшедший? И ведь не только узнал, но и как-то догадался, что портфель окажется именно в среднем ящике письменного стола, а не в каком-нибудь другом месте, допустим в тумбочке, книжном шкафу или платяном, где замки, по свидетельству жены Шамрая, были куда надежнее. А зачем преступнику потребовалось сдирать фотографии с документов Шамрая? На память о ночном приключении? К тому же и клочок бумаги с поэтическим опусом соловецкого производства...

Если он принадлежал ночному гостю, то все запутывалось еще больше, а участие Явича-Юрченко в нападении на Шамрая становилось крайне сомнительным, а то и вовсе исключалось. Ведь, по наведенным справкам, Явич-Юрченко никакого отношения ни к

Соловкам, ни к блатной лирике не имел. Кстати, все сведения, собранные нами о Явиче-Юрченко, будто бы специально дополняли уже существующую неразбериху. Выяснилось, например, что он обладает недюжинной физической силой и считался в боевой организации лучшим стрелком из револьвера. Между тем Шамраю не только удалось вырваться из рук нападающего — а нападение было внезапным! — но и избежать смерти от пуль, хотя стреляли в него с расстояния четырех — шести метров...

А портфель?

Сторож Вахромеева утверждала, что у человека, бежавшего к железной дороге, не было в руках никакого портфеля. Не видела портфеля и опознавшая Явича-Юрченко Гугаева. Преступник спрятал портфель, а затем вернулся за ним? Малодостоверно, если учитывать конкретную ситуацию. Он не имел на это ни времени, ни возможностей. Забрал документы и тут же выбросил портфель? Еще сомнительней. Портфель бы наверняка нашли: Подмоскovie не тропические джунгли, а дача в центре дачного поселка не охотничья избушка.

У меня еще не было дел, которые бы состояли из такого количества несообразностей.

Десятки несообразностей...

Поможет ли Шамрай в них разобраться?

Опыт свидетельствовал, что на многое рассчитывать не приходится. Пострадавший, как правило, плохой свидетель. Он все воспринимает через призму пережитого. Это накладывает на его показания отпечаток субъективности, а субъективность — ненадежный помощник следователя. И все же... И все же на встречу с Шамраем я возлагал определенные надежды. Почему бы им не оправдаться? Для разнообразия, что ли...

Черные перчатки застыли на обруче баранки.

В ветровом стекле машины покачивались заиндевелые ветви дерева.

Машина стояла у фасада серого трехэтажного дома. На курносом лице шофера застыла скорбь. Тесленко, наверное, тоже находился во власти воспоминаний. Он думал о «черном пролетарии» возле Радиотеатра, который напоминал ему героя недавно прочитанной книжки «Хижина дяди Тома», и о заокеанских братьях по классу. Он, как всегда, мыслил в мировом масштабе, но это не мешало ему помнить об обязанностях шофера.

— Подождать?

— Подожди.

Тесленко кивнул.

— Только не в машине... Замерзнешь.

— Я-то не замерзну, — сказал Тесленко. — Я привычный.

Тем не менее он вылез из машины, свирепо ткнул носком валенка

переднее колесо ни в чем не повинного «фордика» и вошел вслед за мной в подъезд.

## ХП

Прищуренные глаза Шамрая сфотографировали мое лицо, петлицы, знак почетного чекиста на груди, скользнули по фигуре (я невольно одернул гимнастерку), снова не спеша поднялись к лицу, застыли. Теперь он смотрел прямо мне в глаза, спокойно и холодно.

— Прежде всего удостоверение личности.

— Разумеется...

Я протянул ему свою книжечку в сафьяновом переплете. Он, все так же не торопясь, взял ее, раскрыл.

— Белецкий Александр Семенович... Начальник седьмого отделения Московского уголовного розыска... Продлено до 31 декабря 1935 года... Так.— Он вернул мне удостоверение, спросил: — Эрлих у вас в подчинении?

— Да.

— Садитесь. Если курящий, то можете курить.— Шамрай достал из ящика письменного стола жестянку из-под консервов, заменявшую пепельницу, поставил передо мной.— Могу предложить махорку, но вы, видимо, курите папиросы... А я вот все по старинке...

Он оторвал клочок газетной бумаги, скрутил сигарку. Его прищуренные глаза снова поднялись до уровня моих.

— С какого года в партии?

— С тысяча девятьсот двадцать первого.

— А какого года рождения?

— Девятисотого.

— Следовательно, ты вступил двадцати одного года? — перешел Шамрай на «ты».

— Совершенно верно.

— Здесь, в Москве?

— Нет, в Петрограде.

— Ленинграде,— поправил он.

— Ну, тогда еще был Петроград...

Собственно, вопросы задавать полагалось мне. Однако для начала я готов был поменяться с ним ролями.

У Шамрая было худое, но без морщин лицо с туго натянутой грубой и, должно быть, шероховатой, как наждак, кожей. Узкий и высокий лоб с залысинами, выступающая вперед челюсть, крупный остроконечный кадык, вместо щек — выемы, еще более подчеркивающие почти неестественную худобу. Мимика полностью отсутствовала. Жили только прищуренные подвижные глаза и губы, точнее — кончики губ. Во время нашего разговора они то ирони-

чески приподнимались, то обвисали, и тогда лицо становилось недовольным и брезгливым.

Внешность, как говорится, не вызывающая симпатий. Но мне Шамрай нравился: подкупал своей старомодностью, что ли. Он сам, его манера держаться и разговаривать напоминали эпоху военного коммунизма или, пожалуй, времена нэпа. Да, скорее нэпа. Взять хотя бы эту нарочитую небрежность в одежде. Стоптанные и подшитые кожей валенки, застиранная серая косоворотка, пиджак с мятыми бортами, на левом рукаве которого синело чернильное пятно... Стиль двадцатых годов. Тогда Вал. Индустриальный считал, что к партийцу, нацепившему «гаврилку» — так презрительно называли галстук, — следует присмотреться, а партийца, следящего за своей внешностью, как «тургеневская барышня», надо направлять на завод, чтобы он приобщился к здоровой жизни пролетариата, а уж если и это не поможет, то безжалостно отбирать партбилет. Валентин, правда, любил крайности. Но его высказывания в какой-то мере отражали дух эпохи.

Я видел наркомов, подпоясанных солдатскими ремнями и в туфлях на босу ногу, директоров заводов, donaшивающих брюки, купленные в конце прошлого столетия, и приказчиков нэпмановских магазинов, выглядевших английскими лордами. Ничего парадоксального тут не было. Внимание к одежде считалось дурным тоном, отрывкой прошлого, приобщением к чужому для всех нас миру нэпманов, фикусов, канареек и обывателей. Этот ригоризм смягчился только к концу двадцатых годов. Но, судя по всему, новые веяния Шамрая не коснулись. Он дышал воздухом прежних лет.

Это чувствовалось не только в одежде. Стиль разговора и лексикон тоже не претерпели существенных изменений: лекпом (лекарский помощник) вместо фельдшера, «краснознаменец» (награжденный орденом Красного Знамени), «бузить». Слова из прошлого. Мне казалось, что, общаясь с ним, я молодею, хотя, если подумать, тридцать пять тоже не бог весть какой возраст.

Нет, Шамрай мне нравился, определенно нравился. Не упуская инициативы в разговоре, он сказал:

— А теперь давай перейдем к делу. Если не возражаешь, конечно...

Я не возражал. Уголки губ Шамрая в нерешительности приподнялись, затем оттянулись книзу.

— У меня вся эта штукавина — вот здесь! — он похлопал себя ладонью по шее. — Тебе, насколько разбираюсь, тоже осточертело. Оно и понятно, чего там говорить. И если начистоту, то у меня не раз мысль появлялась: нажать, где нужно, и закончить с этой историей. И поверь, если бы все это относилось только ко мне как к человеку, ты бы здесь сейчас не сидел, а машина бы ваша не крутилась. Но суть в том, что подождли не мою служебную дачу и



стреляли не в меня, Шамрай, а подожгли дачу члена комиссии по партчистке и стреляли в члена комиссии, и исчезнувший портфель принадлежал члену комиссии. Вот почему я той мысли не давал и не даю воли. И когда наши товарищи письмом написали о пассивности уголовного розыска, я не возражал. Все это я говорю для того, чтобы тебе была полностью ясна моя позиция. Хитрить нам с тобой нечего, мы не на дипломатическом рауте. И язык у нас один, и мысли, и дело общее, хотя ты ему в милиции служишь, а я здесь... Согласен?

— Согласен.

— Ну и хорошо, что согласен.

Он улыбнулся, показав кромку металлических зубов, раздавил в жестянке желтыми от махорки пальцами окурочек. Повторил:

— Это хорошо, что согласен.

Шамрай ни разу не упомянул Явича-Юрченко. Но его взгляд на происшедшее был уже мне достаточно ясен. Шамрай исходил из того, что если преступление совершил, паче чаяния, и не Явич-Юрченко, то кто-то другой, также исключенный из партии, то есть преступник действовал по политическим мотивам. Недаром он все время подчеркивал, что покушались на жизнь не управляющего трестом, а на жизнь члена комиссии по партчистке.

Интересно, кто кого убедил в этом: Эрлих его или он Эрлиха? А может быть, каждый из них самостоятельно пришел к такому предположению? Впрочем, какое там предположение — категорический вывод. Возможно, конечно, что вывод правильный. Но ведь пока под ним нет фундамента, а для здания обязательно нужен фундамент.

Да, пострадавший не самый объективный свидетель, что там и говорить. Но, к счастью, его точка зрения для следователя не обязательна. А вот позиция Эрлиха меня удивила. И если он высказал Шамраю свое мнение, с Эрлихом нужно будет серьезно поговорить. Он не имел права этого делать, тем более сейчас, когда все шатко и неопределенно...

Словно подслушав мои мысли, Шамрай сказал:

— Я не хочу вмешиваться в твою работу, но один вопрос все-таки задам. На правах пострадавшего... Кажется, так я у вас именуюсь? Не ошибся?

— Не ошибся.

— Так вот, скажи «пострадавшему»: ты Эрлиха отстраняешь от расследования?

— Нет. Пока нет...

— Значит, сам действуешь в порядке помощи, шефствуешь?

— Можно сказать и так.

— Ну что ж, это дело другое. А то твой звонок меня насторожил...

— Почему?

— Ну как тебе сказать? Я, понятно, в розыском деле не мастак. Профессий за свою жизнь перебрал порядком — и лекпомом был, и конторщиком, и продотрядовцем, а сыщиком не привелось. Обошла меня эта планида. Но в людях разбираюсь. Поэтому мне и не хотелось, чтобы Эрлиха отстраняли. Он хорошее впечатление произвел. Толков, серьезен, дело знает, не бужит понапрасну. Солиден, словом. На такого положиться можно. — Он выдержал паузу. — Это не только мое мнение, но и мнение наших товарищей...

— Да, Эрлих у нас не на плохом счету, — сдержанно сказал я.

— Вот видишь, не на плохом... Солидный работник. А вот Рубинов...

— Русинов, наверно?

— Да, Русинов... Вот о Русинове я бы так не отозвался...

— Хороший работник.

— Тебе, конечно, видней. Но впечатление не то. Из другого теста. Не тот замес и не те дрожжи. Я, признаться, был немного удивлен, что ему поручили на первых порах расследование. Но зато не удивился, когда дело кончилось ничем... Он член партии?

— Да.

— Вон как? Что ж, партиец партийцу рознь... Он с меня трижды, нет, четырежды допросы снимал. Странные допросы. Будто уличить меня в чем-то пытался. Поверишь или нет, но к концу я уже сам себя преступником почувствовал. Уж, думаю, не Шамрай ли поджег дачу и стрелял сам в себя? — Он усмехнулся, уголки губ изогнулись и обвисли. — Значит, говоришь, член партии? Ну, ну...

Его высказывание о Русинове меня покорило, хотя по-своему он был прав. Если работа Эрлиха по делу отличалась прямолинейностью и некоторой субъективностью, то деятельность Русинова тоже не являлась эталоном. В составленных им документах — а по документам можно определить стиль следователя и его подход к делу — ощущалась какая-то нервозность, непоследовательность, будто он и хотел и опасался определенности. Тут уж проявлялась не гибкость ума, а какая-то разболтанность. Вопросы, которые он задавал Шамраю, отличались, мягко говоря, нетактичностью. Человеку, чудом оставшемуся в живых, таких вопросов не задают даже в том случае, если некоторые его утверждения и не кажутся обоснованными или достаточно убедительными.

Знакомясь с делом, я сразу обратил на это внимание, так как Всеволод Феоктистович обычно отличался чувством меры и тактом. В деле Шамрая это чувство ему безусловно изменило.

Что ж, на месте Шамрая я бы тоже, пожалуй, не испытывал симпатии к такому следователю. Особенно после пережитого. Допрашивать его нужно было иначе. Тут Русинов дал, конечно, маху. И вот результат: недоверие и недоброжелательство.

По моей просьбе Шамрай подробно рассказал уже известные

мне обстоятельства происшедшего. Говорил он скучно, вяло, почти дословно цитируя свои предыдущие показания. Ночная работа, неисправный сейф, поездка на дачу, пожар, нападение, взломанный замок, выстрелы...

Шамрай не зря себя хлопал по шее, когда заговорил об этом деле. Оно ему действительно осточертело. Но что поделаешь?

— Дача за тобой давно закреплена? — спросил я.

— С августа прошлого года. Как только закончили строительство.

— Но это же конец сезона.

— Так получилось. Должны были сдать к апрелю, но затянули.

— Ты ею постоянно пользовался?

— Нет, конечно. По выходным, да и то не часто. Сам знаешь — работа. Так намытаришься за день, что не до дачи. То партдень, то совещание, то люди приходят, то в наркомат вызывают. Лишь бы ноги до дому дотащить.

— А семья?

— Да так же. Жена работает, общественные нагрузки. Жен-организатор. Дочка учится, в школе второй ступени... Вообще-то дача для дочки предназначалась: с легкими у нее не в порядке — наследственность. Воздух нужен. Но закрепили дачу за мной к концу школьных каникул, так что она там после пионерлагеря всего несколько раз побывала. Ну, а в октябре я в школе договорился и их обеих на юг отправил, в Крым. Море и все такое...

— В общем, не часто пользовались?

— Я там за все время дней шесть провел, ну а они от силы восемь — десять, не больше...

— Телефон на даче имелся?

— Нет. Хватит того, что мне по ночам домой звонят. Тебе, верно, тоже?

— Бывает. Значит, телефона не было?

— Нет. И ставить тоже не собирался.

— А знакомые, сослуживцы, школьные приятели дочери приезжали?

— Да нет. Кроме моего секретаря Гудынского, никто не бывал.

— А приглашал?

— Нет.

— Шофер в тресте один?

— Трое. Две машины, три шофера.

— Кто из шоферов приезжал на дачу?

— Никто. Я ведь сам машину вожу. К чему шоферов по личным делам беспокоить?..

— Сотрудники знали адрес дачи?

— Только Гудынский. Ведь я дачей, можно сказать, не пользовался, так что и адрес сообщать было вроде ни к чему.

— Где находится дачный поселок?

— Это, видно, знали. Там ведь с сотню коттеджей выстроили, а то и больше. Дачный поселок известный. Знали и о том, что там у меня дача. Могли, по крайней мере, знать.

— А почему ты решил именно 25 октября отправиться на дачу, когда тебе нужно было с собой документы брать?

— Вообще-то ты тут прав: притупление бдительности. Недоучел возможных последствий. Но взыскание за это я уже получил.

— Я не о том. Почему у тебя мысль о поездке в будний день возникла, да еще с документами?

— Да я уж и сам об этом думал. Ну как тебе объяснить? Устал чертовски, а тут соблазн за рулем посидеть, проветриться, да и свояченицу не хотелось ночью беспокоить. Она у нас рано ложится, а я засиделся на работе и ключ от квартиры дома забыл. Вот и решил на дачу махнуть...

— Кстати, Филимон Герасимович,— сказал я,— ты помнишь, в котором часу уехал тогда с работы?

— Ну а как же? На память не жалуюсь. Служит. Было тогда около двенадцати, а точней — без двадцати двенадцать.

— Это ты прикинул?

— Зачем прикинул? По часам.

— По этим? — я кивнул на стену, где висели прямоугольные часы с длинным и широким маятником.

— И по этим и по карманным. Отбыл без двадцати, прибыл минут в двадцать — двадцать пять первого. Дорога — сорок минут. Все, как в аптеке. Сторожиха же говорила, что свет у меня на даче в половине первого зажегся. Так?

— Так.

— Почему же спрашиваешь? Я об этом уже раз десять докладывал — и Русинову и Эрлиху...

— Понимаешь, один свидетель утверждает, будто ты уехал с работы около девяти вечера. Вот я и подумал: может быть, часы спешили или даже остановились?

— И у меня и у сторожихи?

Кончики губ выгнулись дугой. Шамрай положил на стол серебряные карманные часы с крышкой, нажал на кнопку, крышка отскочила. Время на обоих часах совпало до минуты.

— Убедился? Вот так, Александр Семенович! У меня все ходит не останавливаясь. И точно ходит. Я ведь часы сам завожу. Завожу и сверяю. Каждое утро в одно время. И старую привычку имею следить за временем. Так что ошибся не я, а вахтер. Ввел он вас в заблуждение...

А откуда, собственно говоря, ему известно, что я имел в виду вахтера? И вообще зачем его знакомили с показаниями этого вахтера и Вахромеевой? Какая в этом была необходимость? Шамрай все

же потерпевший, а не помощник старшего оперуполномоченного Эрлиха, и совсем не обязательно потерпевшему знать все материалы следственного дела.

— Я Эрлиху уже объяснил, — сказал Шамрай, — что вахтер Плесецкий — пропойца, алкоголик, человек классово чуждый. Он у нас с полгода работал, так я его ни разу трезвым не видел. Он не то что время — чужой карман со своим перепутает. У него, по-моему, даже приводы были.

— Вон как?

— Да. Окончательно разложившийся человек...

— Он у вас сейчас работает?

— Нет, конечно... Выгнали. Но если он тебе нужен, я дам команду — разыщут.

— Зачем?

— Тебе лучше знать.

— Ни к чему. Это я так, между прочим...

Потеплевшие было глаза Шамрая снова стали холодными, щеки втянулись, а подбородок заострился и выдвинулся вперед. На скулах розовели пятна. Разговор о времени отъезда на дачу его явно раздражал. По не совсем понятным для меня причинам этот пункт неожиданно оказался болевой точкой. Слишком долго нажимать на нее не следовало, и я отказался от соблазна задать Шамраю еще два-три уточняющих вопроса. Нам еще предстояло не раз встретиться. Если будет необходимость, после соответствующего обезболивания можно опять заняться этой точкой. А пока оставим ее. Не все сразу.

Закончив с часами, вахтером и сторожем, я плавно перевел разговор на работу комиссии по партийной чистке. Шамрай постепенно возвращался в состояние равновесия. Все видимые признаки раздражения исчезли. Его подбородок занял свое прежнее, предназначенное ему положение, а скулы приобрели обычный желтый цвет. Даже кончики губ и те вернулись в состояние покоя, вытянулись почти в прямую линию. Вот и чудесно!

Я ожидал, что он сам заговорит о Явиче-Юрченко, но ошибся: эта фамилия не упоминалась. Кажется, Шамрай решил, что инициатива должна исходить от меня. Что же, да будет так. В конце концов, у меня нет никаких существенных возражений. И я без всякого, разумеется, нажима упомянул о Явиче-Юрченко, сознательно поставив его в середину списка исключенных из партии. Однако Шамрай и тут не воспользовался предоставившейся ему возможностью. То ли Эрлих не посвятил его в курс дела, что было мало вероятно, если учесть только что удивившую меня осведомленность в отношении вахтера и сторожа, то ли настолько исчерпывающе посвятил, что Шамрай считал неудобным демонстрировать мне свои несколько излишние знания... Впрочем, когда я сам стал

задавать вопросы о Явиче-Юрченко, Шамрай отвечал сдержанно, но охотно. Кое-что в его ответах не могло не заинтересовать... К сожалению, нашу беседу, которая становилась все более и более любопытной, пришлось прервать. Позвонила Галя (я ей всегда сообщал, где меня можно найти) и сказала, что меня разыскивает Фрейман. Илюша просил передать, что через два часа он уезжает, поэтому я должен поторопиться.

Переносить встречу с Фрейманом мне не хотелось. Поймать Илью было трудно. Кроме того, у него сейчас находилось дело по обвинению Дятлова — знакомого Явича-Юрченко. Да и вообще я не любил менять своих планов без крайней на то необходимости.

— Девуца секретарь? — полюбопытствовал Шамрай, когда я положил трубку.

— Да, девушка.

Он засмеялся:

— Рискуешь, Александр Семенович.

— Я не понял.

— Сплетни,— объяснил он.— Я уже опыт имею. Теперь держу в секретарях только мужика. Спокойней. Учти опыт...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить,— отшутился я.

— А зачем тебе лес?

— Считаешь, что без леса лучше?

— Намного лучше! — засмеялся Шамрай.— Даже если в лесу у тебя дача...

Расстались мы друзьями. Провожая меня до дверей кабинета, Шамрай сказал:

— Если что, звони или заезжай.

— Обязательно,— заверил я.

Так в «горелом деле» появился еще один протокол допроса.

### XIII

В общем-то я не из числа удачливых. Но на друзей мне везло. Везло в детстве, везло в юности, везло в зрелом возрасте. Им я обязан теплом, которое согревало меня в холодные годы, подержкой в тяжелые минуты. Короче — всем. Поэтому мне трудно отделять свою биографию от биографий близких мне людей, среди которых был и Илья Фрейман, человек неистощимой жизнерадостности и обаяния.

С ним мы работали в уголовном розыске шесть лет, пока он не перешел в ОГПУ. Вначале его временно прикомандировали к группе, занимавшейся расследованием дел о кулацких восстаниях, а затем забрали совсем.

Сухоруков, который, несмотря на свое несколько ироническое отношение к Фрейману («Ветер не ветер, а сквознячок в голове

имеется»), очень ценил его как работника, категорически возражал против перевода. Виктор трепал нервы кадровикам, ответственным партийным работникам МГК партии и, конечно, руководству ОГПУ. Его выслушивали, иногда даже обещали помочь, но в итоге все его рейды закончились безуспешно: Фреймана нам не вернули. Способный и высококвалифицированный следователь (у Ильи было высшее образование, что по тем временам высоко ценилось) быстро продвинулся. К 1932 году он уже занимал должность заместителя начальника отдела центрального аппарата, намного опередив не только меня, но и Сухорукова.

Отношения, которые сложились у нас по совместной работе, полностью сохранились, но встречались мы реже. Это объяснялось рядом обстоятельств, среди которых не последнее место занимала семья. Сухуриков утверждал, что Фрейман-холостяк и Фрейман-муж — это два совершенно разных человека. Я так не считал. Но следовало признать, что Фрейман до женитьбы и Фрейман после регистрации брака, хотя и имели между собой много общего, все же отличались друг от друга. Когда-то я даже не мог себе представить его мужем, тем более — идеальным. А оказалось, что Фрейман просто создан для семейной жизни. Из него получился настолько образцовый семьянин (отец, муж и глава семейства), что времени на друзей у него оставалось мало, а когда мы все-таки встречались, он из всех возможных тем отдавал предпочтение разговору о детях, их поразительном уме («Верь не верь, а что-то исключительное!»), сообразительности («Ты бы тоже мог кое-что позаимствовать...»), шалостях и особенно болезнях (справочник детского врача он выучил назубок и, кажется, вполне мог защищать диплом). Когда я женился на Рите, мы стали встречаться чаще — «семьями». Но, как известно, моя семейная жизнь не затянулась...

Однако мы не отрывались друг от друга, тем более что наши дороги временами перекрещивались: то возникала необходимость в какой-то справке, то мы занимались, хотя и с разных позиций, одним и тем же человеком. Кроме того, ни сам Фрейман, ни старые сотрудники уголовного розыска никогда не забывали, что Илья некогда работал у нас. Он считался как бы полномочным представителем уголовного розыска в ОГПУ. Поэтому к нему обращались с различными просьбами. Когда московская милиция взяла шефство над колхозами Старожиловского района, Фрейман раздобывал керосин для «розыскных колхозов». Когда началось строительство домов для работников милиции, Фрейман «нажимал» на проектировщиков и строителей. А когда в 1935 году МГК партии принял решение, что милиция будет отчитываться в своей работе перед Моссоветом и райсоветах, а начальники отделений и командиры частей — на фабриках и заводах, Фрейман участвовал в разработке форм этих отчетов. В общем, он оставался «нашим», и в

ОГПУ шутили, что в лице Фреймана к ним просочилась агентура Московского уголовного розыска.

...Когда я оказался в вестибюле большого дома на углу Лубянки и Фуркасовского переулка, в нос мне ударил запах краски и сырости. Вокруг стояли ведра с известкой, стремянки, а на них — маляры в наполеоновских треуголках из газет. Шел ремонт. Для меня это не было неожиданностью. Если в остальных учреждениях СССР покраска и побелка обычно производятся весной, то в НКВД, прокуратуре, судах и милиции только зимой или осенью. За сорок пять лет работы в уголовном розыске мне так и не удалось раскрыть тайну этой закономерности. Впрочем, эта закономерность, кажется, продолжает действовать и до сих пор...

На мой вопрос, находится ли Фрейман в своем кабинете, дежурный ответил утвердительно. Но я уже был достаточно опытным работником и превосходно знал, что такое ремонт и каковы его последствия. Поэтому я попросил дежурного уточнить.

Моя назойливость ему явно не понравилась. Он неохотно снял телефонную трубку и позвонил дежурному коменданту, а затем с той же неохотой сообщил, что ошибся: в связи с ремонтом Фрейман временно находится в другом кабинете. Он назвал мне номер комнаты и уже в порядке личного одолжения объяснил:

— Это на самом верхнем этаже.

— Знаю.

Едва я поднялся на верхний этаж, как меня остановил оклик:

— Белецкий!

Я обернулся и увидел Сухорукова.

— С этим ремонтом никого не найдешь, — раздраженно сказал он. Сухоруков был не в духе. Это чувствовалось и по лицу и по тону. — Ты к Фрейману?

— Да.

— Не забудь напомнить о демобилизованных красноармейцах из войск НКВД, — сказал Сухоруков. — А то закончится тем, что все отделы разберут, а нашему, как обычно, ничего не достанется. Потом ходи свищи...

Как и все начальники отделов, Сухоруков был убежден, что его отдел всегда обходят, особенно в подборе кадров. Цатуров называл это «начпсихом» — начальственной психологией и, ссылаясь на восточную мудрость, которая безотказно выручала его во всех случаях жизни, говорил: «Лучше не надо мне коровы, только бы у соседа не было двух».

— Проси человек двадцать — двадцать пять, — посоветовал Сухоруков.

— А куда мы их денем? — попробовал возразить я. — У нас же не больше восьми вакансий...

— Это уж не твоя забота. Найдем куда деть, — ворчливо ото-



звался Виктор.— Пусть их нам сначала дадут.— И спросил: — Ты к Фрейману с «горелым делом»?

— С ним.

— Кажется, у тебя с этим делом тоже ремонт...

— Краской пахнет?

— Беспорядком,— с сердцем сказал Сухоруков.— Беспорядком и неразберихой.

— Ты долго здесь пробудешь?

— Часа полтора. Если освобожусь раньше, зайду. Фрейман сейчас тут сидит? — он кивнул в сторону двери.

— По непроверенным данным, здесь.

— Ладно... Обязательно напomini о демобилизованных.

— Хорошо.

Сухоруков направился вдоль коридора, продолжая разыскивать начальство, а я нажал на металлическую ручку двери. В отличие от Петровки, 38, двери здесь открывались без скрипа. Одно удовольствие открывать такие двери.

Печатавший на машинке молодой человек с кубиками в петлицах поспешно вскочил:

— Вы к начальнику?

— Да.

— Товарищ Белецкий?

— Совершенно верно.

— Начальник ждет вас.

Он указал мне на дверь, слегка напоминавшую дверь шкафа, но не такого, как у меня в комнате, мосдревовского, а солидного, уважающего себя шкафа из полированного орехового дерева.

По своей излюбленной привычке Фрейман сидел не за столом, а на столе. Он жевал бутерброд и одновременно делал пометки на страницах какого-то документа. Его шевелюра отливала бронзой.

— Здравия желаю, товарищ начальник!

— И тебе здравия,— сказал Фрейман, соскакивая со стола с легкостью завязанного физкультурника.— Хочешь бутерброд?

Я отказался.

— Ну и зря,— сказал Фрейман.— В старину говорили, что плох тот работник, который не умеет есть. А старые люди знали, что говорили.

— А у тебя завидный аппетит.

— Не жалуюсь. Но в основном с горя... Такая уж натура. Некоторые с горя пьют, а я ем. Чем больше горе, тем лучше аппетит.

Судя по объему пакета, у Фреймана были крупные неприятности.

Илья, как обычно, шутил, но что-то мне подсказывало, что настроение у него не безоблачное. На людей, мало его знающих, Фрейман производил впечатление беззаботного весельчака, ничего

в жизни не принимающего всерьез. Он действительно стремился казаться таким. Но это была хорошо подогнанная, а возможно, и приросшая к его лицу маска. Как и многие, он был в некотором отношении актером, раз и навсегда избравшим себе в жизни определенную роль. Фрейман выступал в амплуа балагура и души общества.

Бесшумно вошел секретарь, положил на край стола тисненую кожаную папку:

— Почта.

— Спасибо, Сережа.

Когда он вышел, я сказал:

— Ты, кажется, учитываешь опыт Шамрая.

— А именно?

— Он меня убеждал, что секретарем должен быть обязательно мужчина.

Я пересказал заключительную часть беседы с Шамраем.

— Ну, у него для этого есть определенные основания...

— Видимо, обжегшись на молоке, дуют на холодную воду. Он говорил, что из-за сплетен вынужден был уволить секретаршу...

— Ну не совсем из-за сплетен,— сказал Фрейман.— Тут он немножко смягчил. Во-первых, его секретарша была женой бывшего полковника из штаба атамана Дутова, а во-вторых... Во-вторых, сплетни имели некоторое основание...

— Он производит впечатление аскета.

— А он и есть аскет. Только новая разновидность — аскет-жизнелюб.

— Ты что, занимался этим?

— Аскетизмом? Это не по моей епархии. Да и заниматься там было нечем, но... В общем, не вздумай расставаться с Галкой, учти, что это не только моя кандидатура, но и моя любовь — после Сони, конечно,— а то я тебя, женоненавистника, знаю.— Он погрозил пальцем и спросил: — Хороша девушка?

— Ничего.

— Огонь, а не «ничего». А какая забота о начальнике!.. Мне бы такого секретаря! — И после паузы: — Пуговицу на рукаве не пришивала?

— А ты откуда знаешь?

Фрейман был доволен.

— Интуиция. Ну, еще немножко воображения и наблюдательности.

— Ты бы, Илюша, лучше свою наблюдательность по какому-нибудь другому поводу демонстрировал...

— Ого! — Фрейман выпятил нижнюю губу.— А ведь тебя заело. Ей-богу, заело! Любопытная деталь. Надо будет на досуге заняться.

— А ты не меняешься,— сказал я.

— Это хорошо или плохо?

— Наверное, хорошо...

Илья вкратце познакомил меня с делом по обвинению Дятлова. Оно уже было почти закончено.

— Как видишь, ничего для тебя интересного,— сказал он в заключение.— Разве только письма Явича-Юрченко... Но, если хочешь побеседовать с Дятловым, я это устрою. Он у нас пока во внутренней тюрьме. Но мое мнение — зря время потеряешь.

— Ладно, давай письма, а там посмотрим.

Фрейман достал из сейфа письма.

— Если я тебе не нужен, то я минут на сорок удалюсь. Не возражаешь?

— Нет. Только учти, что к тебе собирается Сухоруков.

— Он здесь?

— Здесь.

— Опять будет меня мытарить по поводу демобилизованных?

— Само собой.

Фрейман вздохнул:

— Железный человек!

— Вроде тебя.

— Куда мне! — сказал Фрейман.— Я не железный... Я золотой.

— Это твое мнение?

— Сонино. Но ты ведь знаешь, что я всегда и во всем считаюсь со своей женой... Знаешь?

— Знаю,— подтвердил я.

#### XIV

С письмами Явича-Юрченко знакомился в свое время еще Русинов. Он же сделал из них выписки, которые были приобщены к делу о нападении на Шамраю. Но, как я смог убедиться, эти выписки носили слишком утилитарный характер. Между тем оба письма оказались настолько любопытными, что заслуживали того, чтобы снять с них копии, что я тогда и сделал.

Эти копии много лет спустя я разыскал в архиве вместе с другими документами «горелого дела». Учтывая, что они сыграли определенную роль в распутывании всего клубка, дают представление о тех годах и Явiche-Юрченко, я хочу привести их, выбросив лишь то, что не имело никакого отношения к описываемым событиям. Первое письмо Явича-Юрченко, датированное 24 сентября 1934 года, являлось ответом Дятлову, который через двенадцать лет после их последней встречи — виделись они летом 1922 года на процессе по делу правых эсеров — разыскал Явича-Юрченко и

написал ему в Москву. Письмо Дятлова обнаружено не было. Явич-Юрченко заявил, что он вообще не хранит писем и уничтожает их сразу же после прочтения.

«Рад, Федор, что ты «жив и почти здоров», — писал Явич-Юрченко. — Пишу «рад» не для формы. Действительно, рад. Какие бы ни были у нас расхождения — а они есть и с годами не сгладились, а углубились, — ты был и останешься частью моей юности, ее осколком. Из осколков, разумеется, вазы не слепишь, но они, как выражаются юристы, являются вещественными доказательствами ее бывшего существования. Такого рода воспоминания приятны хотя бы тем, что вызывают на какое-то время мироощущение тех лет, щекочут нервы и память. Но между нами не должно быть недомолвок и недоговоренностей. Поэтому давай сразу поставим точку над *i*. Это тем более необходимо, что тон твоего письма вызвал у меня недоумение, а форма — протест.

Недавно в качестве внештатного корреспондента «ЗИ» («За индустрию») я был на Урале. Моя командировка совпала с посещением здешних предприятий Серго Орджоникидзе. Как мне рассказывали, в Березниках Орджоникидзе пожаловались на начальника ТЭЦ, который издал приказ, обязывающий инженеров являться на работу бритыми. Приказ являлся превышением власти, тем не менее Серго не поддерживал жалобщиков. Конечно, сказал он, лучше, чтобы инженеры брились добровольно, но, если они недогадливы, приходится действовать в директивном порядке.

В этом есть смысл. Наше время требует от людей чистоплотности — и телесной и духовной. Чистоплотности в мыслях и делах. Неряшливость нетерпима. Так я, по крайней мере, считаю. А твое письмо колет неопрятной и густой щетиной двенадцатилетней давности... Сильно колет. И первая мысль, которую оно вызвало, это была мысль о парикмахерской. Мы с тобой не в Березниках, я не начальник ТЭЦ, а ты не мой подчиненный, поэтому административный порядок отпадает. Ограничусь советом: избавься от щетины... А теперь по существу затронутых вопросов.

По моему глубокому убеждению, процесс 1922 года над эсерами являлся не «расправой с инакомыслящими революционерами», а судом победившей революции над реставраторами.

И я не могу разделить твоего восхищения поведением некоторых подсудимых. Ответ одного из них на вопрос председателя трибунала, что он признает себя виновным только в том, что в 1918 году «недостаточно работал для свержения власти большевиков», свидетельствовал не столько о мужестве «борца за правое дело», сколько о личной озлобленности неудавшегося претендента на власть, о его неспособности, отбросив субъективные напластования, взглянуть со стороны на свое, тогда недавнее, прошлое.

Удивительным же представляется лишь одно — мягкость приго-

вора, я бы сказал, поразительная мягкость. Посуди сам. Даже Семенов, начальник центрального боевого отряда, тот самый Семенов, который приказал убить Володарского, лично отравлял пули, укрывал убийцу, а затем руководил работой по организации июльского покушения на Ленина, и тот был по ходатайству трибунала полностью освобожден Президиумом ВЦИК от наказания вместе с Коноплевым, Ефимовым, Федоровым-Козловым и другими. Помнишь формулировку?

«Эти подсудимые добросовестно заблуждались при совершении ими тяжких преступлений, полагая, что они борются в интересах революции; поняв на деле контрреволюционную роль партии с.р., они вышли из нее и ушли из стана врагов рабочего класса, в какой они попали по трагической случайности. Названные подсудимые вполне осознали всю тяжесть содеянного ими преступления... они будут мужественно и самоотверженно бороться в рядах рабочего класса за Советскую власть, против всех ее врагов...»

Какая уж тут «расправа»? Это, Федор, не расправа, а высшее проявление гуманности. Когда социалисты-революционеры в годы гражданской войны приходили к власти, они, согласись, не были столь великодушны. Вспомни ту же Самару. Большевиков и сочувствующих им расстреливали пачками. Между чешской контрразведкой и эсеровской милицией было даже нечто вроде соревнования... А Омск? Да что там говорить!

Поэтому совершенно напрасно ты мне делаешь комплимент — комплимент, разумеется, с твоей точки зрения, — что я «по мере сил старался не усугублять и без того тяжелое положение жертв репрессии» (эти слова в тексте кем-то были подчеркнуты красным карандашом).

Не было ни одного вопроса, от которого я бы уклонился. Я не пытался и не хотел смягчать, вуалировать, а тем более извращать факты, уличающие обвиняемых. И если я не говорил о некоторых известных мне обстоятельствах (подчеркнуто красным карандашом), то только потому, что меня о них не спрашивали. Я являлся свидетелем, а не обвинителем и не считал себя вправе выходить за рамки отведенного мне в процессе места (подчеркнуто).

Это все дела давно минувших дней. Пишу о них так подробно для того, чтобы рассеять твое заблуждение на мой счет. Партбилет для меня не хлебная карточка и не средство для маскировки прежних заблуждений. Что же касается доверия, то этот вопрос достаточно сложен (подчеркнуто). Обо всем не напишешь. Встретимся — поговорим. Когда-то мы умели находить общий язык. Не уверен, что это нам удастся и сейчас, но попробуем. Попытка не пытка...

Теперь о тебе. В твоём письме слишком много намеков и недомолвок, чтобы я мог, наконец, разглядеть твоё сегодняшнее лицо.

Ты пишешь, что примирился с Советской властью, относишься к ней «совершенно лояльно», но все же продолжаешь помнить «о своих прежних идеалах». Очень противоречиво, Федор! Так и ощущаешь между строк дореволюционную щетину. А что под ней, под щетиной? Об этом можно лишь догадываться.

Затем следует твое высказывание о Троцком и «новой оппозиции». Снова щетина! Уж если на то пошло, то взгляды Троцкого и иже с ним диаметрально противоположны не только основным концепциям большевиков, но и эсеров. Троцкизм скорее уж какая-то крайняя, бесшабашная форма меньшевизма. Ведь недаром не кто иной, как меньшевик Дан, писал, что оппозиция «вращивает не только в рабочих массах, но и в среде рабочих-коммунистов ростки таких идей и настроений, которые при умелом уходе легко могут дать социал-демократические плоды». Старик Дан прав. Возьми хотя бы вопрос о крестьянстве. Троцкий всегда исходил из того, что крестьянство (все крестьянство, без дифференциации!) в силу своей инертности, отсталости и враждебности пролетариату не способно участвовать в социалистическом строительстве. А отсюда вывод: экспроприировать мужичка, как экспроприировали в свое время крупную буржуазию, отобрать у него землю, скот, соху, борону. И уж тогда, лишенный собственности на средства производства, превращенный в наемного рабочего, он за неимением иного выхода вынужден будет пойти по пути социализма. Причем путь этот предполагается сделать для мужика крайне тернистым... Помнишь выступление Троцкого на Десятом съезде РКП(б)? Он тогда предлагал формировать из крестьян трудовые части по образцу воинских. Насилие по отношению к крестьянству — краеугольный камень троцкизма, который вообще абсолютизирует насилие. До сих пор не могу забыть речь трокиста Гольцмана на Московской губернской и городской конференциях РКП(б) в ноябре двадцатого года, которая тогда шокировала многих делегатов. Он говорил, что способ принуждения — это способ реальной политики, поэтому нельзя останавливаться ни перед какими методами, в том числе перед методом «беспощадной палочной дисциплины... Мы не будем останавливаться перед тем, чтобы применять тюрьмы, ссылку и каторгу по отношению к людям, которые не способны понять наши тенденции».

Прибавь к этому сформулированный троцкистом Преображенским «основной закон социалистического накопления», согласно которому путь России, отсталой крестьянской страны, к социализму проходит через эксплуатацию досоциалистических форм хозяйства, т. е. крестьянства, и все приобретет достаточно четкие контуры. А ведь эсеры были или, по крайней мере, считали себя крестьянской партией и пытались опереться именно на мужика. Как же совместить трогательные воспоминания о «прежних идеалах» с

непонятым умилением по поводу последовательности Троцкого, Зиновьева и Каменева? Да и в чем, собственно, ты усматриваешь последовательность? Они последовательны только в борьбе с генеральной линией партии. А в остальном их путь достаточно зигзагообразен и уж никак не может служить эталоном принципиальности и устойчивости. Если до высылки за границу Троцкий нападал на ЦК за отсутствие в нем революционности, то теперь он совершил поворот на сто восемьдесят градусов и громит тот же ЦК за его «ультрареволюционность». В 1926—1927 годах он упрекал партию, что она недостаточно решительно проводит политику индустриализации, не ведет действенной борьбы с кулачеством и т. д. Сейчас же он приписывает большевикам авантюризм в индустриализации и коллективизации, доказывая, что темпы чрезмерны и непосильны, предлагает «в области промышленности приостановить призовую скачку индустрии, отбросив лозунг «Пятилетку — в четыре года», задержать дальнейшую коллективизацию сельского хозяйства, сосредоточив средства на наиболее обеспеченных колхозах, и прочее в таком же духе. По-моему, все это, точно так же как и озлобленность в выступлениях и методах внутрипартийной борьбы участников оппозиции, не может вызывать умиления. Когда начинают угрожать террором (а ты, видимо, так же, как и я, знаешь подобные факты), это значит, что аргументы исчерпаны. И я понимаю рабочих-металлистов сталинградского завода «Красный Октябрь», которые подарили XV съезду ВКП(б) стальную метлу, предназначенную для того, чтобы вымести оппозицию из партии».

На втором письме Явича-Юрченко даты не было. Но, по свидетельству Дятлова, он получил его в конце октября прошлого года, накануне отъезда в Москву. Это не расходилось с показаниями Явича-Юрченко, который сказал, что отправил письмо вскоре после заключительной беседы с Шамраем (19 или 20 октября 1934 года).

Между вторым и первым письмом Дятлов и Явич-Юрченко дважды виделись: сначала в Москве, а затем в Ярославле, куда Явич-Юрченко приезжал для организации газетной подборки.

Во время встреч, как показал Дятлов, он неоднократно заводил с Явичем-Юрченко разговор о деятельности оппозиции, но «то ли Хмурый (подпольная кличка Явича-Юрченко) не доверял мне, то ли он действительно не симпатизировал оппозиции,— говорил на допросе Дятлов,— мои высказывания поддержки у него не встречали даже тогда, когда встал вопрос о пребывании Явича-Юрченко в партии. Его личная неприязнь к Шамраю не сблизила наших позиций и не изменила его точки зрения на существующее положение, хотя к Шамраю он испытывал нечто похожее на ненависть...»

Действительно, в письме Явича-Юрченко содержалась весьма нелестная характеристика моего сегодняшнего собеседника. И, чи-

тая, я подумал, что наши представления слишком субъективны. Человек отражается в них, как в кривых зеркалах: то чересчур тонким, то чересчур толстым, похож и не похож. И все же, если бы я даже не знал, что Явич-Юрченко пишет именно о нем, я бы, наверно, все-таки догадался, о ком идет речь. Ведь и кривое зеркало остается зеркалом, сохраняя в окарикатуренном отражении наиболее характерные черты. Но вернемся к письму.

«...Положение мое, как ты совершенно верно отметил, шаткое,— писал Явич-Юрченко.— И в этом несомненная заслуга того человека. Однако я не вижу никаких оснований к поспешным обобщениям. С него все началось, но не им все закончится. Практически он не представляет даже первой инстанции.

А фигура он действительно характерная. Таких я встречал и раньше. Это тип фанатика, разум и эмоции которого, как скудное содержимое почтовой посылки, ограничено фанерными дощечками. Не вскрывая крышки, можно по стандартной описи узнать, что в ящике. Килограмма полтора веры в свою непогрешимость, кило жесткости, кило прямолинейности, три кило нетерпимости, нафталин традиций и немного превратившегося в пыль разума. Все это стянуто шпагатом чрезмерного усердия и скреплено сургучными печатями официальности. Разговор с ним мне почти физически неприятен, а вдвойне противно то, что я не могу себе позволить роскоши отказаться от общения с ним...»

В кабинете было совсем тихо. Казалось, что он не в большом здании в центре шумной Москвы, а где-то в глуши, на безлюдном пустыре. Мелкие буквы в строчке сливались, а сами строчки загибались книзу. В тексте было много описок. Явич-Юрченко, конечно, не перечитывал написанного. Желчное, взвинченное письмо взволнованного и озлобленного человека. Но поджог и покушение на убийство, похищение документов, которые легко восстановить?..

Наступили сумерки. Серые зимние сумерки. Я включил настольную лампу. Желтая дуга легла на зеленое сукно стола, осветила письменный прибор с многочисленными остро отточенными карандашами, обгрызанную на конце ученическую ручку-вставку, листы исписанной бумаги, модель многомоторного самолета «Максим Горький» и коробку спичек. Почему-то вспомнилась история, которую рассказывал Сухоруков о совещании директоров спичечных фабрик у Кирова. Перед каждым из участников совещания лежали спички, выпущенные его фабрикой. Открыв заседание, Киров сам закурил и предложил курить собравшимся. Однако его любезным приглашением никто не смог воспользоваться — спички не загорались... Подождав несколько минут, Киров якобы сказал: «Насколько я понял, тема нашего совещания полностью исчерпана. Вы свободны, товарищи!»



Когда я снимал копии с писем, позвонил Фрейман.

— Я, к сожалению, задерживаюсь. Буду приблизительно через час. Тебя еще застану?

— Застанешь. Только распорядись относительно Дятлова.

— Хочешь с ним поговорить?

— Обязательно.

— Ну что ж, доставлю тебе это сомнительное удовольствие. Я уже на всякий случай распорядился, и его сейчас к тебе доставят. Сухоруков не появлялся?

— Нет.

— Если появится, скажи, что насчет демобилизованных я договорился.

Фрейман повесил трубку.

По канонам классической криминалистики полагается составлять предварительный план допроса. Но я этого правила обычно не придерживался, особенно когда встречался с подозреваемым или свидетелем впервые. План допроса меня связывал, придавал всей беседе излишнюю целеустремленность, ограничивал ее заданными рамками. Я же предпочитал свободный диалог, который открывал возможности для маневрирования и экспромтов. Что же касается Дятлова, то мне вообще было пока неясно, что он может дать для следствия.

Дятлов оказался облысевшим человеком лет сорока пяти с квадратным подбородком и плечами боксера. Он поздоровался, уверенно прошел к столу, сел, закинул ногу на ногу, склонив голову к плечу, как-то сбоку посмотрел на меня. Собрав на лбу морщины, спросил:

— Надеюсь, традиций нарушать не будете?

— А именно?

Дятлов объяснил:

— Перед допросом обвиняемому принято предлагать закурить.

— Вы неплохо освоили традиции.

— Три годя ссылки, два каторги и четыре тюрьмы, — не без самодовольства перечислил он. — Как вы считаете, достаточно?

— Смотря для кого. Индивидуальный подход.

— Индивидуальный? — Он рассмеялся. — Чувствуется, что вы прошли школу у Фреймана. У него природное чувство юмора. Я ему как-то сказал, что, видимо, поэтому он и пошел на работу в ОГПУ. Согласны?

— У меня на этот счет еще не сложилось окончательного мнения.

— Э-э, да вы, оказывается, тугодум, — протянул Дятлов и потряхнул из лежащей на столе пачки папиросу. — Учитывая повыше-

ние зарплаты и хлебную надбавку, думаю, что не обижу. А то я сегодня целый день не курил: кажется, полагающуюся мне передачу уже неделю просвечивают рентгеном. Угадал?

— Не в курсе.

— Ну да, тайна следствия... Но можете быть спокойны: я не любопытен.

— Рад.

— Приятно иметь дело с интеллигентным человеком,— сказал Дятлов и спросил: — Итак, чем я обязан вашему вниманию? Ведь, насколько я понимаю, следствие окончено, а предварилка, признаться, мне порядочно надоела.

— Скучное общество?

— Не сказал бы. На компанию в камере не жалуюсь — сливки. Но режим и отсутствие приличной вентиляции... Хочется наконец подышать вольным воздухом колонии. Или меня отправят в лагерь?

— Скорей в лагерь.

— Тем более. Я уже давно не был на Севере.— Дятлов достал из пачки вторую папиросу.— Рассматривайте это как накладной расход: как-никак, а я числюсь за другим ведомством и беседую с вами из чистой любезности. Надеюсь, вы не считаете, что лишняя папираса — чрезмерная цена за мою покладистость?

Я заверил его, что за подобную «покладистость» не жалко и пачки.

— Значит, уголовный розыск...— Он усмехнулся, пустил вверх облачко дыма.— Это что же? Надо понимать так, что Льва Давыдовича Троцкого привлекают к ответственности за взлом пивного ларька или за карманную кражу?

Дятлов скоморошничал, а в его глазах была ненависть — холодная, острая, как заточенный для убийства нож. С такой силой ненависти мне еще не приходилось сталкиваться. Хотя нет, приходилось... Это было много лет назад, когда мы задерживали в Марьиной роще ревностную поклонницу Распутина и одну из подруг последней русской царицы — Ольгу Владимировну Лохтину.

И вот теперь передо мной другой человек, с иным голосом, но такими же глазами. Бывший революционер, заклятый враг монархии — и подруга расстрелянной в Екатеринбурге царицы, генеральша, придворная дама, соучастница убийцы антиквара Богоявленского...

Облачко папиросного дыма над моей головой растаяло.

— Троцкий сейчас за границей,— сказал я.

— Что же из этого следует?

— Алиби,— сказал я.— Так что пивной ларек отпадает.

— Вот как? — Дятлов поперхнулся дымом, рассмеялся.— Вот как! — повторил он.— Ну и слава богу, что так. Успокоили.

Постепенно между нами устанавливался необходимый при

допросе контакт, на который я вначале и не рассчитывал. Убедившись, что меня слишком трудно вывести из состояния равновесия, Дятлов несколько слиял. Первоначальный нагловато-иронический тон уступил место иронически-равнодушному, а затем почти меланхолическому. Беседа вошла в обычное русло подобных бесед. О Явиче-Юрченко Дятлов отозвался с нескрываемой недоброжелательностью.

— У него, видите ли, оптимистический взгляд на вещи,— говорил он.— Я бы сказал, ярко-розовый — нечто вроде младенческой попки под лучами восходящего солнца. А я не любитель розового.

Похоже было, что он до сих пор не мог простить Явичу-Юрченко то, что тот не принял троцкистской веры, или, точнее, безверия. Подобное отношение меня в какой-то мере устраивало, так как являлось своеобразной гарантией того, что Дятлов не будет выгораживать Явича-Юрченко. И он его не выгораживал.

Дятлов не лгал, не наговаривал, но так расставлял акценты, что, казалось бы, совсем безобидные факты приобретали многозначительность и зловещий смысл. Рассказывая о ночном возвращении Явича-Юрченко, он красочно описал его взволнованность, беспорядок в одежде. («Я обратил внимание, что на сорочке у него не хватало двух пуговиц, причем одна была вырвана с мясом»), кровоточащую ссадину на ладони, отрывистую речь.

— Вы не спрашивали, где он был?

Дятлов хмыкнул. Кажется, он считал, что и так уже с лихвой возместил мне выкуренные папиросы.

— Не забывайте все-таки, что я не сотрудник ОГПУ...

— Я помню об этом.

— Тогда зачем же такие вопросы? Мне вполне было достаточно своих дел.

— Да, вы раздобывали шрифт.

— Совершенно верно.

— Но ведь Явич-Юрченко был вашим другом?

— Ближайшим,— с ухмылкой подтвердил Дятлов.— Об этом более чем красноречиво свидетельствуют мои показания... Другом и соратником.

— Допустим,— сказал я.

— Допустим,— отозвался он.

— Ну, а если «друг и соратник» взволнован, приходит так поздно, было бы, видимо, естественно проявить какое-то участие, поинтересоваться причинами, предложить помощь. Разве не так?

— В наших отношениях мы избегали навязчивости.

— Странно.

— Что ж тут странного? — Дятлов пожал плечами.— У нас не было принято лезть в души друг к другу.

— Итак, вы молча встретили появление хозяина квартиры?

— Не совсем...

— Как это прикажете понимать? «Не совсем» — расплывчатая формулировка.

— А вы любитель чеканных?

— Послушайте, Дятлов. Давайте с вами договоримся так: вопросы буду задавать я. Рассматривайте это как дополнительную «любезность другому ведомству».

— Ну что ж... Поскольку я вас уже успел избаловать, придется согласиться...

— Тронут.

Он наклонил голову.

— Вы что-нибудь говорили Явичу, когда он пришел?

— Да.

— Что именно?

— Я сказал ему, что он поздно гуляет.

— Что вам ответил на это Явич?

— А что, по вашей версии, он должен был мне ответить? — спросил Дятлов. — Скажите. Возможно, я припомню... Вы мне нравитесь, и у меня хорошее настроение. Кроме того, бог, как известно, любит троицу, а две любезности я вам уже оказал. Пусть моим подарком будет и третья. Ведь я человек щедрый. Чего уж скучиться...

Дятлов издевался, но, кажется, эта издевка не помешала бы ему расписаться под любыми предложенными мною показаниями.

Привалившись грудью к столу, он смотрел на меня снизу вверх наглыми и испытующими глазами: «Ну, чего медлишь? Давай, выкладывай, что тебе требуется? Дуй, не робей. Доставь мне такое удовольствие. Не смущайся, ну? Долго мне ждать?»

Пальцы мои сжали подлокотники кресла. Секунда, другая, третья... Спокойно, Белецкий, спокойно! Вот так...

— Ошибочка, Дятлов, — сказал я.

Он с любопытством спросил:

— В чем ошибочка?

— В масштабах, Дятлов.

— Не понял.

— Нельзя всех мерить на свой аршин.

— Ах вот что! А вы моралист... — Дятлов улыбнулся. — Моралист из уголовного розыска. Забавно! Очень забавно, но... Быть моралистом невыгодно, хотя и приятно. Я вас, конечно, могу понять. Вы один из тех, кто жаждет истины. Это, разумеется, трогательно, красиво, но, увы, непрактично.

— Мы отошли от темы нашего разговора, Дятлов.

— Наоборот, мы к ней приблизились. Ведь мы с вами говорим об истине.

— Пока только об отношении к ней.

— Пусть так. Но ведь это тоже важно. Вы слишком лебезите перед истиной...

— А вы?

— Я нет. Я с ней на равной ноге. Разрешите продолжать?

— Продолжайте.

— Поверьте мне, что истина недостойна даже уважения. Она эфемерна и субъективна, а я вам предлагаю нечто вещественное и весомое...

— Сделку?

— Да, сделку. Взаимовыгодное соглашение. Вы меня снабжаете папиросами, а я вас — показаниями.

— Это я уже уяснил.

— Тогда взвесьте последствия. В дебете у вас будут блестяще законченное дело, благодарность начальства, продвижение по службе и прочее, а в кредите — всего десять пачек папирос и такое абстрактное понятие, как «совесть». Очень прибыльная для вас операция! Но если вам жалко десяти пачек, я согласен на пять. Чему вы смеетесь?

— Извините, у меня богатое воображение, и я представил себе вашу сделку с оппозицией. Она, наверное, была тоже прибыльной?

Лицо Дятлова покрылось розовыми пятнами, на скулах вздулись желваки.

— Ну... — сипло сказал он, — это... это уже не по вашему ведомству.

Он отвалился от стола, уперся плечами в спинку скрипнувшего кресла. Пятна на лице Дятлова исчезли так же внезапно, как и появились. После минутной паузы он уже совершенно спокойно сказал:

— Значит, сделка не состоялась?

— Не состоялась.

— Раз нет, так нет. Пеняйте на себя, моралист из уголовного розыска.

И снова наша беседа, миновав остроконечные вершины, плавно спустилась в долину. Снова вопросы и снова равнодушные ответы...

К сожалению, Фрейман, советовавший мне не терять с Дятловым времени, был прав: показания Дятлова ничем не могли дополнить материалы дела. Однако, когда я собирался заканчивать затянувшийся допрос, Дятлов обронил фразу, которая меня буквально ошеломила. Описывая ночное возвращение Явича-Юрченко, он с иронией упомянул, что тот не забыл все-таки прижечь ссадину на ладони одеколоном.

— Где стоял флакон? — спросил я.

— В нижнем ящике платяного шкафа.

— Что там еще было?

— Бритвенные принадлежности, носовые платки, револьвер...

— Револьвер?

— А что вас, собственно, удивляет? — Дятлов приподнял тяжелые плечи. — Насколько мне известно, «мой друг» имел разрешение на ношение оружия...

— Да, конечно...

Одна из задач следователя при допросе — не дать возможности собеседнику понять, что именно из сказанного им представляет особый интерес, какие сведения решающие, а какие — несущественны. Поэтому следователь должен следить за своими жестами, мимикой, интонацией голоса. Все это может выдать его. Скрыть своего удивления мне не удалось, но объяснить его я мог по-разному. И я воспользовался этой возможностью. Дятлов считал, будто меня поразило, что у Явича-Юрченко имелось оружие. Пусть так. Пусть уголовный розыск не располагал об этом никакими сведениями. Я согласен был выглядеть в глазах Дятлова идиотом, кретином, кем угодно. Это меня не смущало.

— Значит, у Явича был наган?

— Да, гражданин следователь, представьте себе, был...

— И он имел на него разрешение?

— Да, имел.

— А не помните, когда он получил разрешение?

Этого Дятлов, конечно, не помнил и не мог помнить. Этого он вообще не знал. Жаль, очень жаль, но что поделаешь? В конце концов, это можно выяснить и без него.

Затем, чтобы не слишком акцентировать внимание Дятлова на револьвере, я задал ему несколько нейтральных вопросов, не имевших для меня абсолютно никакого значения, и со скучающим видом человека, который безуспешно борется с дремотой, снова вернулся к содержимому шкафа...

Насторожившийся было Дятлов, уверовав в то, что я не знал о разрешении на ношение оружия, снисходительно и лениво отвечал на дурацкие, по его мнению, вопросы, даже не подозревая, какое они имели значение для судьбы Явича-Юрченко. Ведь изъятый наган являлся важной уликой обвинения. В его барабане отсутствовало три патрона, а в Шамрая, как известно, стреляли три раза... Кроме того, на стенках канала ствола был налет свежего нагара. Правда, Явич-Юрченко объяснял это тем, что накануне стрелял в тире. Но единственный очевидец, на которого он сослался, сказал, что не помнит точно даты посещения тира. Он же собственноручно записал в протоколе, что Явич-Юрченко имел обыкновение после стрельбы в тире, где бывал еженедельно, тщательно прочищать и смазывать оружие. Поэтому его показания не только не ослабили, но даже усилили весомость и убедительность этой улики, тем более что Явич-Юрченко, как выяснилось, стрелял по мишени не три раза, а не меньше восьми — десяти.

Но если Явич-Юрченко той ночью не брал с собой нагана, который мирно дожидался его возвращения в ящике шкафа рядом с одеколоном, бритвенными принадлежностями и носовыми платками, то доказательство обвинения закономерно превращалось в доказательство защиты. Явич-Юрченко не мог стрелять в Шамрая. В Шамрая стрелял кто-то другой. Кто именно — это уже иной вопрос. Нет, время с Дятловым не было потрачено зря. Малоприятное знакомство с лихвой окупило себя.

В кабинет вошел Фрейман. Кивнул мне:

— Продолжайте, я не помешаю.

— Да мы уж, пожалуй, закончили, — ответил за меня Дятлов. Почесывая щеку, вопросительно посмотрел на меня, снисходительно и немного покровительственно спросил: — Не ошибся?

— Не ошиблись.

— Вот и хорошо. Надоело.

Фрейман усмехнулся уголками губ, подмигнул: «Ну, как, Саша, хорош подарочек?»

Подарочек был не из сладких. И все же я не ошибся, когда настоял на его допросе. Ошибся ты, Илюша. Допрос дал много, намного больше, чем можно было предполагать.

Я дописал протокол и протянул Дятлову исписанные листы.

— Многовато написали...

— Не больше того, что было вами сказано.

— В этом я как раз не сомневаюсь.

— Вот и чудесно, — миролюбиво сказал я. — Вы разбираете мой почерк?

— За последнее время я научился разбирать любые почерки.

Он просмотрел протокол, расписался. Подпись у него была замысловатая, со сложным узором завитков и закорючек. Наверно, специально придумывал, а потом тренировался...

— Все?

— Да. Только попрошу вас поставить свою подпись на каждой странице протокола.

— Для порядка?

— Для порядка...

— Можно и так...

## XVI

Дятлова увели. Но у меня было такое ощущение, что он находится где-то здесь, в кабинете. Кажется, то же испытывал и Фрейман, а может быть, и нет. Такие, как Дятлов, здесь бывали частенько; у Фреймана, видимо, выработался профессиональный иммунитет. Человек ко всему привыкает. И все же с уголовниками легче, хотя они, конечно, тоже не лучшие представители рода человеческого.

— А ты его загонял,— сказал Фрейман.— Обычно самый сносшибательный фортель он приберегает к концу допроса, на закуску. А сегодня — ничего, пай-мальчиком отбыл.

— Ну, кто кого загонял — это еще вопрос.

— Досталось на орехи?

— Замучился.

— Тут уж ничего не поделаешь,— Фрейман развел руками.— Я всегда говорил, что наша работа ничуть не лучше, чем на ртутном руднике. Вот только молоко за вредность не дают... Хотя с толком?

— Более или менее.

— Ну да? — поразился Фрейман.

— Вот тебе и «ну да»!

— Тогда докладывай,— предложил он.— Любопытно. Я, признаться, считал, что итог будет равен нулю. Давай хвастайся.

Фрейман знал в общих чертах все перипетии «горелого дела», поэтому мне не нужно было обращаться к предыстории, а суть допроса Дятлова легко уложилась в несколько фраз.

Мне казалось, что Илья должен высоко оценить достигнутые результаты. Но он проявил несвойственный ему скептицизм.

— А не торопишься ли ты с выводами?

— Они достаточно ясны.

— Переоцениваешь.

— Что именно?

— Все,— сказал Фрейман.— Все без исключения.

Подобное заявление способно было обескуражить кого угодно. Но любой тезис нуждается в доказательстве, и я попросил Фреймана высказаться поподробней.

— Давай поподробней,— согласился он.— Только я сначала позвоню домой.

Переговорив по телефону с Соней — насколько я понял, на квартире у Фреймана тоже был ремонт,— Илья снова предложил мне бутерброд — на этот раз я не отказался — и вернулся к прерванному разговору:

— Значит, что ты, с моей точки зрения, переоцениваешь. Ну, прежде всего, сам источник доказательств.

— То есть Дятлова?

— Совершенно верно. Источник, прямо скажем, не родниковый. Пить из него рискованно. Что такое Дятлов? Мразь, ошметок троцкистской грязи. Такой и с врагом поцелуется, и товарища обгадит, и закадычного друга, если понадобится, придушит. Теперь он пригоден лишь для одного — для иллюстрации того, во что может при определенной ситуации выродиться оппозиция. А ты на его показаниях базируешься... Шаткая база. Ведь он может все, что угодно: соврать, умолчать, наговорить, извратить... Согласен?

— Согласен.



— Значит, перечеркиваем показания Дятлова?

— Нет. Я согласен с тобой только в одном: Дятлов безусловно не лесной родник...

— Это не так уж мало.

— Но и не так много. Ты упускаешь из вида конкретную ситуацию: Дятлов не знал, что меня интересует. Ведь о револьвере в ящике он упомянул совершенно случайно, не подозревая, как это важно. Он не придавал этому значения.

— А если это была разыгранная «случайность»? Если он все понимал? Маленький спектакль для следователя из уголовного розыска. Почему бы и нет? Дятлов незаурядный актер, втуне погибшее дарование. Уж тут можешь мне поверить: я с ним несколько раз встречался. Смотрел драмы, комедии, водевили. Актер на все ампула!

— И все же сомнительно.

— Почему?

— Хотя бы потому, что он слишком недоброжелательно настроен по отношению к Явичу.

— Доказательства?

— Письмо Явича...

— Ну, это, положим, обоюдоострое оружие.

— Характер их взаимоотношений, логика...

— То же самое.

— Протокол. — Я шлепнул ладонью по стопке исписанных мною листов.

— А если его недоброжелательность — тоже инсценировка? Что тогда?

— Послушай, друг мой, — сказал я, — а вот этот наш разговор не инсценировка, а?

Фрейман усмехнулся:

— Кусаешься.

— Только огрызаюсь.

— Ну ладно, — сказал он. — Оставим пока Дятлова в покое. Допустим, он говорит правду.

— Допустим.

— Что из этого следует? Только одно: в Шамрая стреляли из другого револьвера. Вот и все.

— А этого разве мало?

— Мало. Почему ты, например, исключаешь такой вариант: Явич стрелял в Шамрая из револьвера, взятого у кого-либо из товарищей?

— Мы опросили восемь человек...

— А он взял револьвер у девятого, десятого или одиннадцатого.

— Но зачем ему нужно было брать у кого-то оружие, если оно у него имелось?

— Хотя бы для того, чтобы лишить следователя доказательств и обогатить тебя показаниями Дятлова, заявившего, например, что Явич не брал с собой нагана.

— Слишком надуманно. Кроме того, круг его знакомых выявлен достаточно хорошо.

— Хорошо — это еще не исчерпывающе, — сказал Фрейман. — Но, допустим, я тут с тобой соглашусь: Явич в Шамрая не стрелял. Он не был исполнителем покушения.

— Спасибо, — иронически поблагодарил я.

— Не стоит, — так же любезно ответил Фрейман. — Итак, Явич в Шамрая не стрелял. Стрелял не он, а его сообщник.

Я опешил. Такого поворота я не ожидал.

— Кто стрелял?

— Соучастник Явича, которого тот уговорил расправиться с Шамраем. — Я молчал. — Вы все время исходите из того, — продолжал Фрейман, так и не дождавшись возражения, — что преступник был один. Верно?

— Верно...

— А какие у вас для этого основания? Да никаких! — сам ответил он на поставленный вопрос. — Вполне возможно, что их было двое, трое или четверо. Разве это исключается? Нет, не исключается.

Фрейман бил по самому незащищенному месту. Действительно, у нас как-то само собой получалось, что преступник действовал самостоятельно, на свой страх и риск. Но почему так? Только потому, что свидетельница видела на месте происшествия одного? Навивно. Но даже и это не доказано. Вполне возможно, что на Шамрая напал совсем не тот, кого Вахромеева заметила недалеко от линии железной дороги. А стрелял в Шамрая не взломщик, а третий. И стрелял этот третий не из окна горящей дачи, а из сада, навстречу бегущему или сбоку от него. Тогда, кстати говоря, становилось понятным, почему не обнаружили в стволах деревьев и в заборе пуль. Выстрелы были направлены в сторону дачи, а пепел от сгоревшего коттеджа не просеивался...

Тут трудно было что-либо возразить: Фрейман нащупал наиболее уязвимый пункт всего следственного и оперативного материала.

— В заключение же, — сказал он, — я тебе могу предложить версию, которая ничем не хуже других. Представь себе такую ситуацию. Когда Дятлов приехал в Москву, Явич-Юрченко в приливе откровенности рассказал ему о своих печальных делах и, само собой понятно, о Шамрае. Естественно?

— Вполне.

— И вот Дятлов, человек, для которого не существует ни совести, ни нравственности, предлагает ему свои услуги. Явич, понятно, негодует, возмущается, но... В конце концов, на карте его будущее, а Шамрай — враг. Судя по письму, Шамрай для него не столь

ко человек из плоти и крови, сколько некий символ того, что он привык ненавидеть,— воплощение «одноглазого мировоззрения». Короче говоря, Явич-Юрченко проявляет слабость, а Дятлов — настойчивость. Они вместе отправляются на дачу. Роли, допустим, распределяются так: совместный поджог, затем Явич пробирается в комнату, где хранятся документы, а Дятлов с его револьвером...

— Маленькая вставка: на револьвере обнаружены лишь отпечатки пальцев Явича.

— Какое это имеет значение? Отпечатки Дятлова могли стереться. Да и не все ли равно, как распределялись их обязанности? Пусть в помещение проник не Явич, а Дятлов. Дятлов взламывал ящик стола, а Явич, выбрав удобную позицию, залег где-то в кустах против окна...

— И, являясь отличным стрелком, промахнулся?

— А почему бы и нет?

— Учти, что в этом варианте он стрелял бы почти в упор...

— Сильно волновался, а может быть, просто не хотел убивать, стремился лишь отвлечь внимание жертвы от соучастника. Тут можно объяснить по-разному. Стержень в другом: в ситуации, которая сложилась после преступления. Описать ее?

— Опиши.

— Ну так вот. Преступление совершилось. Документы похищены, дача сгорела, жертва чудом спаслась от смерти. На место происшествия выезжают доблестные сотрудники уголовного розыска. Расследуют, ищут виновных и прочее. В результате их титанических усилий, поразительной прозорливости и находчивости Явичу приходится, как говорится, туго. Дятлов же привлекается по другому делу. На него не падает и тени подозрения в покушении на Шамарая. Тут он чист. Он только свидетель. Почему же не помочь своему соучастнику, тем более что такая помощь необременительна и совершенно безопасна? Делая вид, что не знает, в чем обвиняется Явич-Юрченко, Дятлов вначале демонстрирует следователю Белецкому свою мнимую антипатию к попавшему в беду другу, а затем, притупив бдительность одного Белецкого, будто невзначай упоминает о револьвере... Да, гражданин следователь, Явич револьвера с собой не брал, револьвер спокойненько лежал в ящике — только подумайте, рядом с оделоном! Разве не смешно: револьвер и оделонон! Вот такие пироги, гражданин следователь! А «гражданин следователь», заслуженный работник Московского уголовного розыска Александр Белецкий, с поспешностью проголодавшегося окуня не клюнул, а просто с налета проглотил наживку вместе с крючком...

— Чепуха,— сказал я.

— Что чепуха, наживка или крючок?

— Твоя версия.

— Может быть,— неожиданно и как-то слишком охотно согла-

сился Фрейман.— Как говорит один мой друг, чепуха на постном масле. Но...— он сделал паузу,— но ты занимаешься не постным маслом, а уголовным делом. И учти, не просто уголовным делом, а уголовным делом с очень сильным политическим привкусом. Чтобы его почувствовать, не нужно быть дегустатором... Поэтому «чепуха» не довод. Выдвинутая версия почти идеально вписывается во все установленные вами обстоятельства происшедшего. Опровергни ее. Какие у тебя контраргументы?

— Послушай, Илья,— сказал я,— ты действительно веришь в эту версию?

Губы Фреймана дрогнули в сдерживаемой улыбке, на подбородке образовалась еле заметная ямочка. Он с любопытством спросил:

— Разве я похож на идиота? Когда-то ты был обо мне лучшего мнения...

— Так зачем ты затеял весь этот разговор?

— Для того, чтобы ты знал, с какими возражениями тебе придется в дальнейшем встретиться. И подготовился бы к ним. А то сейчас, как я убедился, ты не готов.

— Ну, знаешь ли...

— Я много знаю, Саша,— серьезно сказал Фрейман.— А еще больше стараюсь предусмотреть.— Он помолчал. При неярком свете настольной лампы синие глаза Фреймана казались черными и, возможно, от этого лицо приобрело выражение жесткости. На мгновение мне даже показалось, что передо мной не Илюша, а другой, совершенно незнакомый мне человек.

— Почему ты взялся за это дело? — спросил он.

— Странный вопрос... С тем же основанием ты мог бы спросить, почему я занимаюсь десятком других дел, которые находятся в моем отделении.

— Не совсем... Ведь Рита приходила к тебе именно по этому делу.

Ах, вот что! Это злосчастное посещение. Ничего не скажешь, информация поставлена неплохо. Но неужто Илья придает этому такое значение? Ведь мы дружим не первый год и съели не один пуд соли. И обидно и неприятно. Чертовски неприятно.

— Сухоруков знает, что Рита просила за Явича?

— Нет.

— Почему?

— Встреча с Ритой — мое личное дело.

— Правильно. Но то, что она ходатайствовала за Явича-Юрченко, уже выходит за рамки личного.

— Она просила только проверить. А я бы проверил это дело и без ее просьбы.

— Но почему ты все-таки не рассказал Сухорукову?

Я встал, сложил в портфель документы.

— Считаю, что на этом мы можем вполне закончить наш разговор.

— Сядь.

— Мне пора.

— Сядь, дурак.— Фрейман встал, силком усадил меня. Не снимая ладоней с моих плеч, сказал: — Дурак, как есть дурак...

— Это все, что ты можешь сказать?

— Нет, не все... Я еще могу тебе сказать, что ты ведешь себя, как мальчишка.

— Ладно, хватит!

— Нет, не хватит, Саша. Мы живем с тобой в слишком серьезное время, чтобы проявлять мальчишество. Да и возраст у нас с тобой уже не тот, и положение не то.

— И дружба, видимо, не та...

Фрейман с укоризной сказал:

— Ну, зачем? По-моему, одна из обязанностей друга в том и заключается, чтобы вовремя предостеречь. Я ведь уверен, что просьба Риты не изменила твоего отношения к делу. Тебе нужна лишь истина. Уж в чем, а в твоей честности я не сомневаюсь. Так что ты зря обиделся. Если тон тебе показался неподходящим, извини. Но пойми меня правильно: мне не хочется, чтобы ты давал какой-то повод для кривотолков. А не поставив в известность Сухорукова, ты совершил ошибку...

Фрейман что-то недоговаривал. Я его слишком хорошо изучил для того, чтобы не заметить этого.

— Друзья должны быть до конца откровенны, Илюша...

— Это правильно, Саша...— Фрейман снял руки с моих плеч, обошел стол, сел на свое место. Повторил: — Это правильно... но если бы я был до конца уверен, Саша, что моя откровенность пойдет тебе на пользу...

— Откровенность, наверное, всегда на пользу.

Фрейман невесело усмехнулся:

— Мне бы твою уверенность, заслуженный сотрудник Московского уголовного розыска! — Он помолчал и спросил: — Рита тебе говорила о своих отношениях с Явичем-Юрченко?

— Конечно.

— Что именно?

— Ну, говорила, что вместе работали в журнале, хотя нет, в «Петроградской правде», кажется... Говорила, что многим ему обязана, что он ее сделал настоящей журналисткой...

— Понятно,— сказал Фрейман.— А она не говорила тебе, что одно время отношения у них были не только служебного характера?

— Ну да, дружеские...

По глазам Фреймана я понял все раньше, чем он успел произнес-

ти следующую, уже известную мне фразу: «Я имел в виду не это, Саша...»

Да, Фрейман подразумевал другие отношения — те, которые были у меня с Ритой. Как он сказал? Да, «одно время». «...Отношения одно время у них были не только служебного характера». Деликатная формулировка...

Фрейман, судя по движению губ, продолжал говорить, но я его уже не слышал: уши словно заложило ватой. И я тоскливо подумал, что мне сейчас недоставало только этого. «Это» было последствием полученной лет десять назад травмы и операции черепа. Перенесенное периодически напоминало о себе головными болями и такой вот дурацкой глухотой, которая настигала меня в самое неподходящее время. Сквозь невидимую вату каплями просачивались отдельные, не связанные между собой слова: «Значение... Петроград... связь...» Каждое из них сверлом буравило мозг, из глубины которого выплывала боль, тупая, нарастающая.

Фрейман внимательно посмотрел на меня, и губы его перестали шевелиться: понял.

Я стал считать про себя. Иногда это помогало. Когда я досчитал до ста, боль стала понемногу утихать. А может, показалось?

Я незаметно шаркнул под столом ногой и услышал звук, слабый, отдаленный, но звук.

— Закурить у тебя не найдется? А то Дятлов докурил всю мою пачку.

Каждое слово отдавалось в голове болью. Но я слышал, что говорю, а это — главное.

Фрейман пододвинул коробку, и я услышал, как она ширкнула по сукну стола. Он курил «Казбек», слишком слабые папиросы. Вместо удовольствия — кашель. Я с отвращением закурил.

— Как ты себя чувствуешь?

Я пожал плечами:

— Как обычно. Так что же ты советуешь, отдать «горелое дело» на откуп Эрлиху?

— Нет.

— Странно.

— Я привык, чтобы моими советами пользовались, — сказал Фрейман. — Зачем зря давать советы?

Что ж, он и тут прав. А Сухорукову, конечно, нужно было доложить. Но теперь переигрывать поздно.

Советы... Кто-то сравнивал советы с лекарством: их охотно дают, но неохотно принимают. А Фрейман, видимо, в такой ситуации отказался бы от «горелого дела». Это было самым разумным...

## XVII

«Горелое дело», Илья Фрейман, Явич-Юрченко, Рита и... статья о челюскинцах. Впрочем, если быть до конца точным, то не сама статья, а мой разговор с Ритой летом прошлого года. Тогда, наверное, не было ни одного журналиста, который не писал бы или не собирался написать о челюскинцах.

Тревога, охватившая страну в феврале 1934 года, когда стало известно, что льды Чукотского моря раздавили экспедиционное судно «Челюскин» и сто четыре человека высадились на лед, весной сменилась всенародным ликованием. В день прибытия в Москву челюскинцев и летчиков, принимавших участие в их спасении, город утопал в цветах.

Весь путь героев от Белорусско-Балтийского вокзала — так тогда именовался Белорусский вокзал — до Красной площади в буквальном смысле был устлан цветами. Улица Горького напоминала гигантский ковер из восточных сказок.

Спасение челюскинцев в преддверии неизбежной войны с капитализмом воспринималось в народе как демонстрация мощи Советского Союза.

Газеты были заполнены «челюскинскими» статьями, корреспонденциями и интервью с полярниками. Редакция «Правды», которой ЦК ВКП(б) поручил подготовить книгу воспоминаний челюскинцев, чтобы обезопасить подопечных от беспрерывных наскоков журналистов, поместила полярников в свой дом отдыха в Серебряном бору. Но хитрость была разгадана...

В Серебряном бору в числе других журналистов побывал не только вездесущий Вал. Индустриальный, способный в случае необходимости совершить воздушную прогулку в бомболюке аэроплана (это он однажды проделал, к ужасу обнаруживших его летчиков), но и Рита, которая никогда не отличалась подобной предприимчивостью. Она беседовала, если не ошибаюсь, с челюскинцами зоологом Стахановым, геодезистом Геккелем и чуть ли не с Отто Юльевичем Шмидтом, который время от времени навещал Серебряный бор. Записи ее заняли четыре толстые тетради, но «выход», с моей точки зрения, оказался незначительным.

Рита написала, пользуясь языком газетчиков, «трехколонник» — «Дрейфующий быт» и маленькую заметку «Зайцы», посвященную двум парням, мечтавшим попасть в Арктику и открыть там «хотя бы маленький островок». Они прокрались в ленинградском порту на «Челюскин», спрятались на корабле, но вскоре были обнаружены и, несмотря на отчаянные мольбы, высажены в Мурманске. Статья «Дрейфующий быт» начиналась с перечня тем лекций:

«О будущем социалистическом обществе», «О путях развития Советского Севера», «О теории психоанализа Фрейда», «О современ-

ной советской поэзии», «О творчестве Гейне и его жизни», «О фашистской теории белой расы», «Об атласе мира», «О музыке и композиторах», «Об истории дома Романовых», «Об истории монашества в России», «О задачах прикладной и теоретической биологии»...

Это были лекции, прочитанные начальником Главсевморпути на дрейфующей льдине слушателям, которым ежеминутно угрожала смерть...

Из Ритиной статьи читатель мог узнать, что челюскинец Баевский написал заметку «Задачи коммунистов», механик Матусевич — о работе машинной команды во время аварии, Геккель был озабочен изучением дрейфа остатков «Челюскина», а некто, скрывавшийся за инициалами «А. К.», поместил заметку о брезентовых рукавицах. Но в статье было очень мало о самих людях, об их взаимоотношениях, об их прошлом. Поэтому, несмотря на яркие, тщательно отобранные факты, статья показалась мне суховатой.

Рита, которой я откровенно высказал свое мнение, отнюдь не была обескуражена, а только констатировала:

«Еще одно расхождение во взглядах».

«При чем, тут взгляды?»

Оказалось, однако, что взгляды имеют к оценке статьи самое непосредственное отношение. По мнению жены, я был носителем традиционных и — пусть я не обижаюсь — несколько консервативных взглядов. Почему? Потому, что одни голые факты, в которых концентрированно проявлялась личность, меня, как и следовало ожидать, не волновали. Мне требовался беллетристический театральный антураж, тот самый антураж, который создавали безнадежно устаревшие, по ее мнению, классики, не способные понять поэзии фактов.

Выдвинутый тезис требовал доводов, и Рита спросила:

«Вот как ты считаешь? Укажи я биографию каждого, статья выиграла бы?»

«Безусловно», — сказал я, не подозревая подвоха.

Она снисходительно улыбнулась. И тогда я понял, что вопрос был ловушкой. Капкан щелкнул, и носитель консервативных взглядов мгновенно потерял способность к свободному передвижению. Стальная цепочка заблуждений крепко держала его на одном месте, навеки приковав к полюбившимся ему еще в гимназические годы писателям.

«Вот в этом и заключается мое с тобой расхождение во взглядах», — удовлетворенно и назидательно сказала Рита. Она, когда заходила речь о литературе, всегда говорила со мной назидательно. Таким тоном обычно учитель беседует после уроков со старательным, но неспособным учеником. — Я исхожу из того, — объяснила она, — что в наше время человек оценивается обществом не по свое-



му прошлому, не по словам и даже не по поступкам, а по результатам тех поступков, которые имеют социальную значимость».

«То есть?» — не понял я.

«Ну, по тем поступкам, которые объективно приносят пользу или вред рабочему классу или крестьянству. Только это важно в человеке, остальное несущественно. Возьми, например, Магнитку...»

«Постой, я же говорю о людях...»

«И я тоже. Те, кто построил Магнитку, — полезные для общества люди, герои. Не все ли нам равно, о чем они тогда думали, говорили, кем были до строительства Магнитки — буденновцами или контрощиками, колеблющимися середняками или членами комбедов? Главное — в плодах их трудовых усилий. Магнитка создана и работает на социализм. Это факт. И в этом факте — каждый из них».

«Странная концепция...»

«Просто непривычная для тебя, а не странная».

«И ты из нее исходила, когда писала статью?»

«Конечно. Социальная суть челюскинцев проявилась в их быте на льдине, в их деятельности... Короче говоря, в тех фактах, о которых я написала».

«Но ведь существуют еще и характеры, привычки, темпераменты, прошлое, наконец...»

«Ну уж прошлое совсем ни к чему, — сказала она. — Ведь если разобраться, то его и нет...»

«А что есть?»

«Настоящее и будущее. Не все ли мне равно, — продолжала она, убедившись, что я уже потерял всякую способность к сопротивлению, — каким ты был раньше, до того, как мы сошлись (слово «поженились» она считала устаревшим)? Я — да и не только я — воспринимаю тебя таким, каков ты есть».

«То есть я для тебя воплощен в кривой?»

«В какой «кривой»?»

«Кривой снижения преступности, разумеется...»

«Ну, это уже несерьезно», — поморщилась она.

При всем желании — а я не любил споров, потому что понимал, что каждый такой спор отдаляет нас друг от друга, — я не мог с ней согласиться. Но я понимал и другое: высказанные ею тогда мысли не были случайны, какими они нередко бывали у Вал. Индустриального, склонного к эксцентричности ради эксцентричности. Рита была убеждена в правильности своей концепции и всегда неуклонно ей следовала и в работе, и в личной жизни. Прошное действительно ее не интересовало. Характерно, что она почти никогда не рассказывала о себе и не проявляла любопытства к моей биографии, которая, по мнению Вал. Индустриального, являлась находкой для журналиста.

Такой была Рита... Обвинить ее в этом было бы так же глупо,

как упрекать ежа за иголки. И тогда, в кабинете Фреймана, и много позже у меня никогда не появлялось подозрение, что она пыталась что-то утаить. И если она не сказала о Явиче-Юрченко, то тут не было умысла.

Рита жила настоящим и будущим. Они воплощались в «общественно значимые факты». Прошлое являлось лишь архивом памяти, в котором не стоило да и не было времени копаться.

Близкий некогда Рите человек, Явич-Юрченко, остался в прошлом. Кроме того, их отношения не были «общественно значимым фактом». В настоящем же работал и жил другой Явич-Юрченко — коллега, квалифицированный журналист, который приносил стране пользу. Поэтому Рита считала своим гражданским долгом оградить его от безосновательных подозрений в преступлении. И пришла она не к бывшему мужу (факт, недостойный даже именоваться фактом), а к известному ей сотруднику уголовного розыска, в деловых качествах которого она более или менее была уверена.

Такова была психологическая схема ее ночного прихода и просьбы разобраться в «горелом деле». То обстоятельство, что некогда она была близка с подозреваемым и совсем недавно являлась моей женой, значения не имело: прошлого нет...

Но для Белецкого, Фреймана и Сухорукова все это имело громадное значение. Несущественное для Риты прошлое ставило меня в более чем скользкое положение, давая повод усомниться в каждом моем действии по расследованию «горелого дела». Оно наложило свой отпечаток на все, в том числе и на мой разговор с Эрлихом, которого я вызвал к себе вскоре после допроса Дятлова.

Должен сказать, что в отличие от начальника уголовного розыска первых лет Советской власти Александра Максимовича Медведева или, допустим, Сухорукова я никогда не ощущал в себе биения «руководящей жилки», хотя и занимал, относительно конечно, высокие должности в аппарате милиции. И Сухоруков, обронивший как-то, что я способен руководить только самим собой, и то не всегда, наверно, не ошибался. Мне не хватало многого, и прежде всего уверенности, что я все и всегда знаю лучше своих подчиненных. Особенно плохо обстояло дело с начальственным тоном. Мои указания, задания и приказы нередко воспринимались как советы и пожелания. О «разгонах» я уже не говорю.

И, вызывая к себе Эрлиха для объяснения по поводу «горелого дела», я предварительно прикинул, как подсластить горькую пилюлю. Я никогда не был уверен, что страсть к самокритике свойственна человеку, даже в том случае, когда этот человек начал свою сознательную жизнь после революции. Еще меньше я был убежден в том, что раны, нанесенные самолюбию, заживают бесследно. Поэтому, пригласив Эрлиха, я вначале сделал нечто вроде краткого обзора его последних достижений — к слову говоря, они действительно

были: два удачно завершенных дела, одно из которых числилось в безнадежных, — а уж затем перевел разговор к злосчастному происшествию.

В застывшем, словно на фотографии, лице Эрлиха ничто не дрогнуло: ни удовлетворения, ни настороженности.

— Мне пришлось приобщиться к оперативной работе в конце семнадцатого года, — говорил я, невольно подражая «отцовскому тону» Фуфаева. — В этом смысле у меня преимущество перед вами в семь лет. Начинать я зеленым мальчишкой. Но мне повезло со старшими товарищами и начальниками. Достаточно сказать, что некоторое время я находился в непосредственном подчинении у Федора Алексеевича Савельева. Вы, наверное, о нем слышали...

— Да, — подтвердил Эрлих, и чтобы у меня не осталось на этот счет никаких сомнений, добавил: — Бывший полицейский.

— Совершенно верно. Но главное в Савельеве не то, что он бывший полицейский. Он мастер своего дела, заслуженный работник красного уголовного розыска. Вам известно, что Савельев принимал участие в ликвидации Хитрова рынка, бандгрупп Кошелькова, Сабана, Мишки Чумы, Козули, Водопроводчика, Князя Серебряного, Лягушки?

— Это было, кажется, в восемнадцатом или девятнадцатом году? — не без умысла уточнил Эрлих.

— Да, в гражданскую войну. Но значительную работу он проводил и позднее. Даже сейчас, когда Савельев находится на пенсии, кстати говоря, персональной, к нему нередко обращаются за консультацией Сухоруков и другие старые сотрудники. Так вот, Савельев любил говорить, что нет ни одного свидетеля, достойного титула следователя. Этим он хотел сказать, что свидетель должен быть только свидетелем, что его нельзя наделять несвойственными ему функциями, следователь должен получать сведения от свидетеля, а не свидетель от следователя. Я это усвоил.

— И вам бы хотелось, — с едва заметной иронией заметил Эрлих, — чтобы это усвоил и я?

Эрлих, кажется, вступал в бой. Ну что ж...

— Да, мне бы хотелось, чтобы вы это усвоили, Август Иванович, — подтвердил я. — Допрашивая Шамрая, я убедился, что для свидетеля он слишком хорошо знает материалы дела. Я, разумеется, не сомневаюсь, что вы руководствовались благими намерениями, но факт остается фактом. Поэтому я вынужден сделать вам замечание. Вы не имели права знакомить его с делом.

— Шамрай — пострадавший, — сказал Эрлих. — На него было совершено покушение. Дознание, как и само преступление, имеет к нему непосредственное отношение. Почему же от него нужно что-то скрывать? — Эрлих изобразил недоумение.

— Хотя бы потому, что дознание и предварительное следствие

носят негласный характер, а Шамрай является свидетелем. Вы же не знакомили с материалами дела, а заодно и со своей версией, например, Гугаеву, вахтера и прочих свидетелей?

Эрлих поджал губы:

— Вы извините меня, Александр Семенович, но это неуместное сравнение, и я его не могу принять.

— Вот как?

— Да, не могу,— подтвердил он.— Шамрай не обычный свидетель. Он член партии, который, выполняя свой долг, едва не стал жертвой классового врага.

У меня к тому времени был уже несколько иной взгляд на роль Шамрая во всей этой истории. Но спорить с Эрлихом я не собирался.

— Закон не делает исключения ни для кого, в том числе и для членов партии,— сказал я.

Эрлих промолчал, но в его молчании явственно ощущалось несогласие и осуждение. В то же время в молчании, видимо, была и некоторая доля горького удовлетворения. Эрлих всегда относился настороженно к своему непосредственному начальнику. И вот Белецкий продемонстрировал наконец свое подлинное лицо.

— Вы странно рассуждаете, Александр Семенович, очень странно,— тоном врача у постели безнадежно больного сказал он.

Эти слова, а главное тон, каким они были сказаны, переполнили чашу моего терпения.

— Мне кажется, Август Иванович, что нам не стоит терять времени на дискуссии. Вы можете уважать или не уважать мое мнение, мнение Савельева. Но вы обязаны хорошо знать Уголовно-процессуальный кодекс и следовать его требованиям. В данном случае закон не дает Шамраю никаких преимуществ перед другими свидетелями. Он для нас с вами источник доказательств. А знакомя его с материалами дела и своей гипотезой, кстати говоря, весьма сомнительной, вы оказываете пагубное влияние на его восприятие происшедшего, а следовательно, на его показания. Ведь вы фактически навязываете ему свою версию...

— Я не могу с вами согласиться, Александр Семенович...

— Вы имеете право обжаловать мои действия по инстанции. А пока будьте любезны выслушать меня до конца.

Эрлих слегка побледнел, но сдержался.

— Обращаю ваше внимание на то, то вы допустили нарушение существующих правил допроса свидетелей. Это, помимо всего прочего, является служебным проступком. Попрошу учесть мои замечания и сделать на будущее соответствующие выводы.

Губы Эрлиха вытянулись в жесткую нитку.

— Вы меня поняли?

— Я вас хорошо понял,— подтвердил он и после паузы сказал: — Я прошу освободить меня от дальнейшей работы над этим делом.

Наиболее разумным со всех точек зрения было бы удовлетворить просьбу Эрлиха, тем более что за последние дни я настолько вработался в «горелое дело», что Эрлих стал для меня не столько помощью, сколько помехой. Но человек не всегда выбирает из возможных вариантов лучший. Мне казалось, что я и так уже чересчур обидел старшего оперуполномоченного и не имею морального права усугублять эту обиду. В конце концов, Эрлих получил положенное, а за один проступок два взыскания не налагают. И я сказал, что не собираюсь отстранять его от расследования.

— Но ведь фактически меня уже отстранили,— заметил Эрлих.

— Ошибаетесь, Август Иванович. Я вас не отстранял. Если вы имеете в виду мое участие, то это лишь помощь.

— Насколько я понял, мы избрали с вами разные пути.

— Разные пути?

— Ну, скажем так: разные версии.

— Что же из этого следует? Все версии, кроме одной, при проверке отпадут. Но проверить их надо. Тогда мы исключим возможность ошибки. Я не собираюсь в чем-то ограничивать ваши поиски. Но вы должны учесть то, что я вам сказал.

Эрлих наклонил голову и растянул губы в улыбке. На этот раз мне досталась четверть обычной порции. И поделом!

— Я учту все, что вы сказали, Александр Семенович.

Фраза мне показалась двусмысленной. Но я сделал вид, что не обратил на это внимания.

Когда Эрлих вышел, я достал из сейфа переданный мне накануне конверт. Я собирался вручить его Эрлиху, но к середине нашей беседы это желание значительно ослабело, а к концу и вовсе исчезло.

Содержимое конверта составляли исписанные с двух сторон крупным почерком листы серой бумаги. Безымянный автор («Свою фамилию называть не буду из-за безопасности и личной неприкосновенности») сообщал, что Василий Гаврилович Пружников, «известный в уголовно-бандитском обществе многих городов и поселков РСФСР, прикрывшись прозрачной личиной лживого раскаяния и высоких шоферских обязанностей, скрыто продолжает наносить неистребимый вред личностному имуществу честных граждан». Пружников обвинялся в многочисленных кражах по месту жительства (систематическое хищение картошки у соседей, тайный «отлив» керосина, кража продовольственных карточек), а также в хулиганстве и «кухонном бандитизме».

От анонимки за версту разило квартирной склокой. И если бы не абзац, на который обратил внимание Цатуров, ее похоронили бы в архиве.

Цатуров подчеркнул несколько фраз, посвященных обвинению Пружникова в краже у управляющего трестом товарища Шамрая

« часов и других невероятных ценностей ». Именно поэтому письмо и оказалось у меня.

Георгий Цатуров, прозванный в отделе « Дружба народов » — Фрейман как-то сказал, что у него армянский акцент, украинская веселость, еврейские глаза и грузинский темперамент, — умел внимательно читать почту. Впрочем, он хорошо умел и многое другое: поддерживать приятельские отношения со всеми сотрудниками, начиная от уборщицы и кончая начальником ГУРКМа, доставать дефицитные вещи для жен наших работников, острить, петь под гитару, уснащать свою речь « восточной мудростью » и наслаждаться жизнью. И Фуфаев относился к нему, как относится старая дева к легкомысленному, но горячо любимому младшему брату — надежде семьи и рода. Порой он не без доли умиления журил всеобщего баловня, но чаще снисходительно не замечал проступков Цатурова. А проступков, с точки зрения Фуфаева, у Георгия было мало...

Цатуров относился к весьма любопытному племени псевдобездельников. В отличие от « деловых бездельников », с которыми я частенько сталкивался в различных учреждениях, Цатуров как будто никогда не был загружен работой. Телефон в его кабинете не сотрясал звонками стен, здесь никогда не толпился народ, письменный стол не был завален бумагами, а самого Цатурова я чаще всего заставал за его любимым занятием — изучением объявлений в газете об изменении фамилий (« Послушай, свет очей моих: Сморгалов меняет фамилию на Южного, Кобелев — на Гарина, Жабина — на Ангелину, а Дураков — на Сократова... Почему и тебе не сменить? Белецкий — плохо. Не фамилия, а родимое пятно капитализма. Вот смотри: Пятилетников, Автостроев, Бригадмилов... Звучит? »).

Иногда Цатуров, к ужасу своего непосредственного начальника и Фуфаева, в разгар рабочего дня, когда другие сотрудники, словно загнанные лошади, носились в мыле по коридорам или, не разгибаясь, сидели в своих кабинетах, отправлялся в красный уголок потренироваться на бильярде (« Меткий глаз, твердая рука. Сегодня бильярдист — завтра артиллерист »).

Казалось, другого такого бездельника не найти.

Но странное дело: у Цатурова постоянно оказывались лучшие по отделению, а то и по отделу результаты в работе. Раскрываемость краж доходила у него до 96—98 процентов. Цифры, прямо скажем, небывалые. В тридцать втором году « Дружба народов » раскрыл нашумевшую кражу в универмаге на полтора миллиона рублей. В тридцать третьем вытянул два совершенно безнадежных дела. В 34-м после ликвидации шайки церковных воров его заслуги были отмечены в приказе наркома, а начальник ГУРКМа вручил ему именное оружие...

Нет, Цатуров не был бездельником. Но когда и как он ухитрился работать, для меня загадка до сих пор.

С декабря прошлого года, когда тяжело заболел начальник отделения, Георгий временно исполнял его обязанности. И, взявшись за «горелое дело», я решил прибегнуть для разработки некоторых вопросов к его помощи. Георгий, любивший чувствовать себя жертвой собственной доброты и не чуждый тщеславия («Раньше все дороги в Рим вели, а теперь к Цатурову»), согласился.

— Все правильно, душа моя,— одобрил он.— Как говорят на Кавказе, чтоб одна дверь открылась, надо в семь постучать. Помогу.

И он помог. Анонимка была уже вторым «подарком», полученным мной от Цатурова. За два дня до этого его сотрудники обнаружили в скучном магазине на Кузнецком мосту две пары часов и портсигар, на которых легко было заметить следы стертых надписей. Завхоз треста, которым руководил Шамрай, опознал вещи, предназначавшиеся для вручения служащим.

Совпали и номера часов. Допрошенный нами приемщик магазина сказал, что часы и портсигар продал рыжеволосый человек средних лет (паспорта у неизвестного он вопреки существующим правилам не потребовал).

Когда Цатуров, вручая мне конверт, вкратце пересказал содержимое письма, я закинул удочку насчет его дальнейшего сотрудничества. Георгий энтузиазма не выказал.

— Знаешь, как в таких случаях говорят на Кавказе?

— Знаю,— сказал я.— Стой позади кусающего, но впереди лягающего...

Цатуров был потрясен:

— Ты что, на Кавказе бывал?

— Никогда в жизни.

— Значит, так же, как и я,— ответил Георгий.— А откуда такая эрудиция?

— Из сборника пословиц и поговорок.

— Этого? — Цатуров показал мне книгу.

— Нет. У меня второе, расширенное издание. В два раза толще.

— Не может быть! — глаза Георгия зажглись завистью.— Ну, если бы ты меня раньше предупредил...

— Если бы у тетки росла борода, была бы тетка твоим дядей,— бодро выпалил я, понимая, что теперь Цатуров никуда от меня не денется.

— Давай так,— сказал Цатуров,— я тебе собираю сведения об анонимщике и «кухонном бандите», а ты мне даришь сборник и забираешь про пословицы.

— Когда сделаешь?

— Завтра утром.

На этом мы и расстались.

Сроки, конечно, были сжатыми, но я верил в оперативные способности Цатурова. Что же он выяснил за это время. Я отложил в сторону пакет с анонимкой и позвонил Цатурову.

— Навел справки?

— Навел,— откликнулся он.— Принес сборник?

— Принес.

— Тогда заходи. Гостем будешь...

— Дорогим?

— Какой может быть разговор?!

## XVIII

Цатуров был не один: у него сидел Долматов. Новый начальник политотдела знакомился с сотрудниками управления. В отличие от своего предшественника Долматов людей к себе не вызывал, а устраивал нечто вроде обхода кабинетов. Говорили, что, когда начальник управления предложил облегчить ему задачу, Долматов отшутился, сказав, что рыба лучше смотрится в воде, а человек на своем рабочем месте. И шутка и манера Долматова держаться с людьми понравились. По выражению Сухорукова, он пришелся ко двору. В декабре Долматов ознакомился с отделом наружной службы и ведомственной милицией. Теперь очередь была за нами.

Встреча с Долматовым была неприятна. Во-первых, она напоминала о новогодней ночи и обо всем, с ней связанном: прежде всего о разговоре с Ритой. А во-вторых, я знал, что начальник политотдела интересовался «горелым делом», которое успело стать притчей во языцех. Отвечать же на вопросы, на которые я пока не мог исчерпывающе ответить даже самому себе, мне не хотелось. Но, когда, поздоровавшись, я сказал Цатурову, что загляну к нему позднее, Долматов меня остановил:

— Садись, садись, мы уже кончаем.

Их беседа и в самом деле подходила к концу. Начальник политотдела расспрашивал Цатурова, который руководил школой партпроса для сочувствующих при политпрофкабинете, о составе преподавателей и их подготовке, об учебной литературе. Затем разговор перекинулся на возможность использовать бригадмильцев для борьбы с карманными и квартирными кражами. Тогда широко обсуждался вопрос о постепенной передаче всех функций милиции общественности, и в каждом отделении имелся инспектор по бригадмилу. Многие бригадмильцы работали у нас в качестве соцсовместителей, а затем зачислялись в штат.

Когда Долматов спросил, насколько хорошо, по моему мнению и мнению Цатурова, стенгазета уголовного розыска освещает деятельность бригадмила, Георгий ответил, что о стенгазете лучше всего судить Алеше Поповичу.



— Алеша Попович? Кто же это?

Узнав, что так называют Фуфаева, Долматов рассмеялся. Смеялся он по-мальчишески — громко и заразительно. Кажется, он не считал, что смех пагубно сказывается на авторитете политработника...

— Похож, ничего не скажешь! — И с любопытством спросил: — Это у вас всем прозвища дают?

— Некоторым, — слегка сконфузившись, сказал Георгий.

— А меня в кого определите? В Соловьи-разбойники?

Георгий весело сверкнул глазами:

— Будущее покажет, Григорий Ефимович.

— Ну что ж, подождем будущего...

Когда Долматов ушел, так и не упомянув вопреки моим опасениям о «горелом деле», я спросил у Цатурова, почему на прощание он не снабдил начальника восточной мудростью.

— Зачем ему восточная? У него своя есть, — нашелся Георгий. — Настоящий кавказец.

— Он же из Хабарововска, — напомнил я.

— А какое это имеет значение? Если хочешь знать, все настоящие кавказцы или из Хабарововска, или из Рязани. Хотя нет, есть еще и калужские.

Цатуров полистал сборник пословиц, сравнил его со своим и сказал, что моя книжка не в два, а всего в полтора раза толще его сборника. Но он «рязанский кавказец», а потому человек не мелочный и всегда расплачивается с лихвой.

«Лихва», надо признать, была достаточно интересной. Цатуров не только собрал некоторые сведения о Пружникове, но и установил автора анонимного письма. Им оказалась соседка Пружникова Зинаида Игошина, курьер районного Общества пролетарского туризма.

Через час-полтора Игошину доставили ко мне. Это была тощая гражданка с гнилыми зубами и скверным характером. В новой для себя обстановке она освоилась быстро и держалась слегка испуганно, но агрессивно.

Анонимка, в ее трактовке, являлась чем-то вроде акта гражданского мужества. Впрочем, слово «анонимка» она не употребляла, а заменяла его более многозначительным и веским — «сигнал». Ее обязанностью было сигнализировать, а моей — принимать меры.

Всего за каких-нибудь полчаса я досконально узнал, как Пружников саботировал решение жакта о порядке уборки мест общего пользования, как он в четырнадцать часов тридцать минут по московскому времени похитил лампочку в коридоре, как подливал воду в бидон с керосином младшему делопроизводителю стражкассы Марии Сократовне Певзнер и оскорблял неположнными сло-

вами всеми уважаемого пенсионера, жертву империалистической бойни Серафима Митрофановича Баскакова...

На мой вопрос, могут ли соседи подтвердить ее обвинения, она ответила неопределенно. Для этого, видимо, у нее были основания. И действительно, постепенно стало выясняться, что всеми уважаемая жертва империалистической бойни, строго между нами, тоже порядочный подлец, и на Новый год именно он, а не кто иной, смазал вазелином порог ее комнаты, чтобы она поскользнулась и сломала себе ногу. Поэтому, естественно, Баскаков не подтвердит ее слов: всем известно, что рука руку моет и обе остаются чистыми. Что же касается Марии Сократовны, то, посудите сами, дети уже взрослые, вот-вот бабушкой станет, а губы мажет, ногти на всех четырех конечностях лачит. И думаете, для чего?.. Вот то-то и оно! Одним словом, Сократовна падка на мужчин, ох, падка! В гроб одна и то не ляжет. А Васька, конечно, мужчина справный, в соку. Пятипудовые гири ворочает, шея, как у бугая. Ну и на морду ничего, вроде глиняного физкультурника, что в парке Бубнова на главной аллее с веслом стоит. И положение — личный шофер управляющего трестом. Вот вам и пропозиция: он ей — воду в керосин для смеха, а она ему всякие фигли-мигли, аханьки да хаханьки. Он, подлый человек, за ради издевательства по часу в уборной сидит — специально по часам замечала, — а она ласточкой-касаточкой по коридору попрыгивает: веселье изображает... Во всем его покрывает! Вот часы, к примеру... Спер, как пить дать спер, а она, Сократовна, врет, что начальник, которого он возит, ему за службу подарил, что сама она надпись на них видела. Ну совсем бесстыжая...

После беседы с Игошиной голова у меня гудела, но, действуя по принципу: куй железо, пока горячо, я сразу пригласил к себе Марию Сократовну — полнотелую и томную даму, которая и впрямь была излишне кокетлива для своего возраста.

Она заявила, что о Васе — она называла Пружникова только по имени — она сказать ничего, кроме хорошего, не может. И если он был когда-то судим за какие-то проступки, то это роковая случайность. А Зинаида... Мария Сократовна не собирается навязывать мне своей точки зрения. Но она уверена, что если бы Вася уступил домогательствам Зинаиды, чего, к счастью, никогда не случится, то та перестала бы писать на него клеветы. Вне всякого сомнения! Слышал ли я про Мессалину? Ну конечно же я произвожу впечатление вполне культурного человека. Недаром в газетах пишут, что общеобразовательный уровень милицейского кадра за годы пятилеток небывало вырос. Так вот. Зинаида — это Мессалина. А Мария Сократовна, если бы не ее природное целомудрие, могла многое бы рассказать о ней. Но Мария Сократовна не сплетница. Сплетничают люди, у которых больше ничего нет в жизни, а она, Мария Сократовна Певзнер, работает делопроизводителем в страх-

кассе, имеет общественные нагрузки, учится обращаться с противогазом и посещает лекции по международному положению. Она в курсе итало-абиссинского конфликта, плебисцита в Саарской области и ситуации в Астурии... Кстати, что я думаю относительно переговоров о КВЖД?

Я сказал, что самостоятельной точки зрения по этому вопросу у меня нет и я целиком солидаризируюсь с мнением Наркоминдела.

Массивный бюст Марии Сократовны навис над моим письменным столом, а глаза ее подернулись дымкой недоумения. Кажется, она предполагала, что за годы пятилеток общеобразовательный уровень столичной милиции мог бы достичь больших высот...

Воспользовавшись паузой, я напомнил Марии Сократовне, что она забыла ответить на поставленные вопросы. После этого разговор вновь завертелся вокруг мест общего пользования, бидонов с керосином, лампочки, таинственно исчезнувшей из коридора, и, само собой понятно, Василия Пружникова. Но при всей своей словоохотливости Певзнер ни словом не обмолвилась о часах. Когда же я сказал, что к Пружникову на работе хорошо относятся и, кажется, даже премировали часами, она насторожилась. Да, Васю товарищ Шамрай очень ценит, но разве я не знаю про эту кошмарную историю?

Я изобразил недоумение. Какую историю?

Ну как же! На управляющего трестом напали разбойники. Да, разбойники. И странно, что милиция не знает. Очень странно! Человека ограбили, чуть не убили, подожгли его дачу, а милиция даже не подозревает об этом и вместо того, чтобы ловить негодяев, которые завтра могут бросить бомбу в комнату Марии Сократовны, разбирают очередную клязу этой Мессалины... Мария Сократовна, конечно, не хочет сказать ничего плохого о милиции. Она ценит милицию, уважает ее работников, а ко мне успела проникнуться даже симпатией. Но я все-таки должен с ней согласиться: как говорили до революции старые интеллигенты, это — афронт. Мне, конечно, известно такое слово? Да? Так она и предполагала...

Васе не повезло. Он, к сожалению, не получил заслуженных им часов. Правда, управляющий трестом обещал, что он когда-нибудь компенсирует. Но что такое обещание?

Я процитировал показания Игошиной. Певзнер продолжала стоять на своем: никаких часов у Пружникова нет. Можно было, конечно, провести очную ставку. Однако, учитывая характер и взаимоотношения соседей, я решил пока от этого воздержаться и предварительно побеседовать с Пружниковым, который уже дожидался своей очереди в соседней комнате.

В отличие от допрошенных мною женщин Пружников не оказался словоохотливым. Он действительно напоминал гипсового физкультурника из парка культуры и отдыха: рельефная мус-

кулатура, развернутые плечи, мощный торс, длинные ноги. Для полного сходства ему не хватало радостной одухотворенности в лице, весла и постамента. Впрочем, неожиданный вызов в милицию редко у кого рождает радость. Тем более что Пружников некогда имел три привода и судимость, предстоящая беседа со мной его, разумеется, не вдохновляла.

— Зинка расстаралась? — спросил он.

У меня не было никаких оснований покрывать Игошину, и я подтвердил его предположение.

— Вот стерва! — с чувством сказал Пружников, и его мускулы взбугрились под косовороткой. — Пакостная баба, гражданка в смысле.

— Ну, если бы вы лучше себя вели, то на вас бы, наверное, не писали заявлений... Зачем вам, например, лампочку потребовалось выкручивать или на кухне безобразничать? Разве нельзя по-человечески жить — тихо, без скандалов?

— С Зинкой нельзя, — убежденно сказал Пружников. — С кем можно, а с ней нельзя. Это я вам точно и ответственно докладываю. Нельзя с ей без скандалов. Я со всякой божьей тварью уживусь — с мышом, с тараканом, с клопом каким, а с Зинкой неумогу. Не гражданка, а яд крысиный...

О своих взаимоотношениях с соседями и квартирных дразгах он говорил с ухмылкой, давая мне понять, что все это не стоит и выеденного яйца. Тон был грубоватый, однако Пружников вначале тщательно избегал блатных слов и выражений. Но когда мне стало все трудней придумывать вопросы и я начал повторяться, Пружников неожиданно сказал:

— Не надоело, гражданин начальник, арапа заправлять?

— А почему вы решили, что я арапа заправляю?

— Я же три года отбухал. Кой-чего понимаю.

— Что же вы поняли?

Пружников вздохнул, повел плечом, словно собирался пуститься в пляс.

— Все понял.

— Загадками говорите.

— Какие уж тут загадки, нет загадок. Чего глаза-то застилать? Коли есть что, так выкладывайте.

— Ну что ж, все правильно, — согласился я и спросил: — Где часы?

— Какие часы?

— Те, что Игошина у вас видела.

— Ах, вон что! Сильно! — Он отшатнулся от стола, тихо при- свистнул: — Ну и стерва! Пружникова, значит, заместо одеяла? Дело прикрыть требуется?

— Отвечайте по существу, Пружников.

— А где тут существо? Где? Не пойдет, гражданин начальник. Уважение уважением, а не пойдет. Хулиганство — туда-сюда, а это не пойдет: на червонец я не согласный. С меня тройка вот так хватит! Сыт, больше не требуется.

Лицо Пружникова побагровело, и я ему поверил, что с него вполне достаточно отбитого «тройка» и на «червонец» (десять лет) он совершенно не претендует.

— Вы отрицаете, что у вас есть часы?

— Начисто.

— А чем вы объясните показания Игошиной? Ведь она утверждает, что дважды видела у вас часы.

— А она намеренно утверждала, что трижды видела у вас царскую корону, кепку Мономаха в смысле,— огрызнулся Пружников.— Эта стерва что хошь наплетет..

— Выбирайте выражения,— посоветовал я.

— Да нешто дело в выражениях? — он рванул хорошо отработанным жестом косоворотку на груди. Градом посыпались на пол перламутровые пуговицы.

— Только давайте без этого,— попросил я.— Уже не модно. Устарело, знаете ли...

Он не без любопытства покосился на меня, немного подумав, собрал с пола пуговицы.

— Я, гражданин начальник, три года как свободой дышу...

— Неудивительно, что от тюремной моды отстали.

Он засунул в карман пуговицы, улыбнулся:

— На кой мне та мода, ежели я полноправный гражданин?

— И то верно. Так как же записывать будем относительно часов, полноправный гражданин?

— А так и записывайте: гражданин Пружников на допросе в уголовном розыске показал, что гражданка Игошина нахально оклеветала вышепоименованного честного гражданина. Гражданин Пружников не совершал бандитского акта на своего начальника гражданина Шамрая.

— Стоп,— сказал я.

— Чего «стоп»?

— При чем тут Шамрай?

— При том самом.

— Я не говорил о нем.

— Что с того, что не говорил? Слухами земля полнится...

— Какими слухами?

— Разными...

— А все же?

— Не тот крючок и не на ту рыбку забрасываете, гражданин начальник,— сказал Пружников.— Зря стараетесь. Невелик крючок, да тухлый червячок. Хотел бы шамать, да нечем амать...

- Складно,— одобрил я.
- Да уж стараемся...
- А если мы все-таки найдем часы?
- С обыском, значит?
- С обыском.
- Ищите. Коли найдете — ваша фортуна.

И фортуна оказалась нашей: тщательно обыскивая комнату Пружникова, мы обнаружили в матрасе часы, о которых говорила Игошина. На задней крышке часов имелись следы спиленной надписи: «тов. Пружникову...»

## XIX

«За три года и школьная собака научится стихами лаять», — сказал Цатуров, узнав про часы.

Очередная поговорка, почерпнутая Георгием из второго издания восточной мудрости, не имела абсолютно никакого отношения ни к «горелому делу», ни к Пружникову. Но она нравилась Цатурову. Настолько нравилась, что он ее беспрерывно повторял и, само собой разумеется, чаще всего не к месту. Его отношение к результатам обыска определялось не поговоркой, а интонацией, в которой чувствовалось авторское удовлетворение. Как-никак, а его «подарки» помогли подвести наконец черту под делом, которое набило всем оскомину. Дознание, понятно, не окончено, но, судя по всему, преступник найден, а это — главное. Что ни говори, а обнаруженные в матрасе часы не догадка, не предположение, а вещественное доказательство — весомое, осязаемое, оформленное протоколом и скрепленное подписями понятых. Часы — факт.

И, встретив меня в буфете, он спросил, у кого Пружников раздобыл револьвер.

- Нет револьвера.
- Нет, так будет,— сказал Цатуров.
- Не уверен.

— Почему не уверен? Обязательно найдешь,— утешил Георгий.— Нажми немного на Васю, и все будет в ажуре.

Но я не собирался «нажимать на Васю». Я вообще не любитель «нажимать», а в данном случае «нажим» представлялся бессмыслицей. В отличие от Цатурова, я не верил в виновность Пружникова. И дело было, конечно, не в интуиции, не в том, что новые обстоятельства не укладывались пока в мою версию, основанную на прощупывании «болевых точек» Шамрая и допросов его бывшей секретарши Юлии Сергеевны Зайковой, жены Ивана Николаевича Зайкова, отбывающего срок в лагере. Просто Пружников не мог совершить нападения на Шамрая.

Когда я вторично допрашивал Пружникова, он сказал:

— Вот вы все правды требуете... А правда-то теперь ни к чему...

— Правда всегда к чему, — возразил я.

— Это вы так, гражданин начальник, для форсу. Раз соврал — во второй не поверят. Сглотнул крючок, чего там... Да и правда-то больше на вранье похожа... Вот Зинке будет радость, когда за решетку уложу!

Действительно, его объяснение выглядело неправдоподобно. Пружников утверждал, что найденные нами часы кто-то опустил в почтовый ящик («Щель там, что не только часы — свиной окорок пролезет!»). Часы, упакованные в плоскую картонную коробочку, находились в синем конверте, на котором было написано: «Пружникову В. Г. Лично». Конверт достала из ящика Мария Сократовна и тут же ему отдала. Дату Пружников не помнил. Но случилось это через несколько дней после того, как по тресту поползли слухи о нападении на дачу управляющего. Поэтому Пружников, получив конверт, страшно перепугался и хотел вначале выбросить часы в мусорный ящик, но потом раздумал и оставил у себя. «Часы-то в премию, верно? — говорил он, ерзая на стуле. — За труды мои ударные после перековки. Обидно же — в мусорку. И Маша — гражданка Певзнер в смысле — отговаривала. Ты, говорит, Вася, и думать оставь сам себе пакостничать. Про парня одного, Геракл по кличке, рассказала, как тот из всяких переделок выходил. И ты, говорит, выйдешь... А я вот и вышел прямым ходом в угрозыск... Ежели бы я знал, что Зинка такое вытворит, я бы без жалости выкинул. Чего из-за часов жизнь молодую губить? Но я же не знал, что на червонец иду, что самолично шею в петлю просовываю...»

Рассказанное Пружниковым было фантастично, неправдоподобно, но... убедительно хотя бы потому, что придумать можно было что-либо и получше. Короче говоря, я занялся тщательной проверкой его показаний и убедился, что Пружников не врал.

Во-первых, все им рассказанное подтвердила Певзнер. Во-вторых, оказалось, что с 23 по 26 октября 1934 года Пружников находился в командировке под Калугой, в подшефном колхозе. Это засвидетельствовали не только документы, но и допрошенные по моей просьбе калужским уголовным розыском колхозники. А в-третьих, когда мы опрашивали жильцов дома, где жил Пружников, пенсионерка Грибанова сообщила сведения, которые не могли не привлечь внимания. Незадолго до октябрьских праздников, когда Грибанова возвращалась домой из коммерческого магазина (посещение такого магазина было для нее запомнившимся событием: она ждала в гости племянника из Ленинграда), к ней во дворе («Вот тут, рядом с клумбой...») подошел человек и спросил, где находится 29-я квартира. Грибанова не смогла ему ответить, так как проходило «упорядочение нумерации» и на дверях менялись таблички с номерами. Поэтому она спросила, кто именно ему нужен.

Гражданин сказал, что он разыскивает Василия Пружникова. Приметы незнакомца совпадали с приметами того, кто сдал в скупочную две пары часов и портсигар,— средних лет, рыжеватый («Одет не то чтобы уж очень хорошо, но и не оборвыш — чисто одет. А на голове шапка такая, круглая...»). По словам Грибановой, она проводила спрашивающего к бывшей 29-й квартире и видела, как тот опустил в почтовый ящик какой-то конверт.

Заподозрить Грибанову в том, что она, допустим, по просьбе Певзнер пыталась помочь Пружникову выпутаться из щекотливого положения, можно было только при излишне богатой фантазии. Не говоря уже о том, что пенсионерка недолюбливала Марию Сократовну, а Васю вообще терпеть не могла («Уж очень суматошные граждане!»), она, по единодушному мнению жильцов, являлась правдолюбицей. Да и откуда Грибанова могла знать, как выглядел клиент скупочного магазина?

Нет, любая подтасовка здесь исключалась. Фамилия Пружникова автоматически выпадала из списка подозреваемых. Его объяснение, как он стал владельцем часов, или полностью соответствовало истине, или было близко к ней.

Однако разочаровывать Цатурова я не стал. Среди многоцветия бриллиантов восточной мудрости второго издания я оценил один: «Когда у вороны спросили, какая из птиц самая красивая, она ответила: «Мой птенец». Цатуров тоже считал, что его «птенец» наилучший. Это было его законным правом. Посягать на него не стоило, тем более что среди пословиц имелась и такая: «Молчащему муха в рот не залетит»...

Но, не став универсальными отмычками ко всем обстоятельствам «горелого дела», «подарки» Цатурова сыграли немаловажную роль в дальнейшем расследовании, превратившись в ценные ориентиры. Видимо, клиент скупки знал Пружникова и между ними существовали какие-то отношения, по крайней мере в прошлом. Что-то их связывало. И, опуская часы, предназначавшиеся Пружникову, в почтовый ящик коммунальной квартиры, рыжеволосый преследовал какие-то цели. Но какие именно? Хотел скомпрометировать Пружникова? Сделать ему приятное?

Всем этим безусловно стоило заняться. Поэтому, установив, что Пружников не участвовал в нападении на дачу Шамрая, я не утратил к нему интереса. Наше вынужденное знакомство не только не прервалось, но и приобрело некоторую устойчивость. Но теперь постоянной темой наших бесед стало прошлое Пружникова: арест, суд и годы заключения. По некоторым моим предположениям, именно в прошлом следовало искать ответ на многие вопросы.

Из справки, составленной оперативниками Цатурова, и по сведениям, полученным из Главного управления лагерей, я знал, что Пружников был осужден на шесть лет за подделку торгсиновских



бонн, хранение огнестрельного оружия и сопротивление, оказанное при аресте. За хорошую работу и примерное поведение ему снизили срок до трех лет. Причем бюро лагеря по связи с бывшими заключенными,— такие бюро стали создаваться в 1933 году,— помогло Пружникову, как ударнику Беломорстроя, прописаться в Москве и устроиться на работу. Перед судом и некоторое время после выяснения приговора Пружников сидел в лефортовском изоляторе, откуда был направлен в Кемскую пересыльную тюрьму, а оттуда в СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения. На Соловках он пробыл два с половиной года, а затем написал заявление с просьбой перевести его в Белбалтлаг. Просьбу его удовлетворили.

Показывая мне почетный жетон каналармейца, Пружников говорил: «Горбом заработал, не как-нибудь... Я спервоначала в бригаде связистов был, в семнадцатой роте. Телеграфные провода вдоль трассы тянули. С совестью работал — день за два. Мозоли кровавые на руках, а все на Красной почетной доске. Ну, уважение, паек ударный — килограмм четыреста граммов и прочее. А потом из связистов, само собой, в шоферы, на службу «беломорских фордиков». Не выдали? Машина в две лошадиных силы... Вроде телеги, а вместо колес — кругляши, спилки с бревен. Камни возили... Ну и, само собой, по культлинии — заметки в стенгазету писал (я и на Соловках в лагкорах числился, даже в исполнительное бюро лагкоров входил). Потом шефом штрафного изолятора избрали...»

Насколько Пружников был раньше скуп на слова, настолько теперь он щедро сорил ими. Опасность нового ареста, который казался неотвратимым, миновала. Начальник с ромбами вопреки всему поверил в неправдоподобную правду, и Пружников говорил без умолку.

Направить этот словесный поток в соответствующее русло было нетрудно. А нужным для меня руслом являлись Соловки и все, связанное с ними.

Соловецкий лагерь особого назначения ГПУ был создан летом 1923 года, вскоре после пожара в Соловецком кремле, где размещались дирекция совхоза Архангельского губземуправления и склады.

В то время все места заключения — домзаки, фабричные, сельскохозяйственные и другие исправительно-трудовые колонии — были подведомственны Наркомюсту. СЛОН же находился в непосредственном ведении ГПУ. Тем не менее до начала тридцатых годов состав соловецких «лишенцев» отличался пестротой. Здесь можно было встретить «цветы асфальта», среди которых попадались такие «цветочки», как содержательница притона на Хитровом рынке для воровской аристократии Софья Губарева (Соня Марме-

лад, она же Соня Кливер), и бывшие врангелевские офицеры; различные батки отсиживавшегося в Румынии Нестора Махно и московские налетчики с Грачевки; «деревенские казры», осужденные за убийства сельских активистов, порчу скота или поджоги, и карманники высокой квалификации; хозяева «мельниц» — тайных игорных домов, шулера, чрезмерно увлекшиеся аферами нэпманы, шпионы, участники антоновщины, фальшивомонетчики, диверсанты, эсеровские боевики и просто бандиты. Арский, который в июне двадцать третьего сопровождал на Большой Соловецкий остров первую партию заключенных, сравнивал пароход «Печору» с новым ковчегом. Что же касается монахов, усеявших всю пристань, как только «Печора» вошла в бухту Благополучия, то они своего мнения не высказывали, а только осеняли себя крестным знамением. Впрочем, их мнением не интересовались ни руководители лагеря, ни разношерстные пассажиры «Печоры». Только Соня Мармелад, высадившись из баркаса на пристань и отряхнув мокрую юбку, потрепала по заросшей щеке черноглазого монаха и ласково спросила: «Небось до смерти рад, канашка? — И, наслаждаясь растерянностью остолбеневшего парня, игриво добавила: — Теперь вместе грехи замаливать будем... Аль разучился?»

Наследство, которое получил лагерь от монастыря и совхоза, оказалось более чем скудным. Во время пожара, бушевавшего трое суток (поджигателей так и не нашли, хотя на Соловки выезжали сотрудники Петроградского губрозыска и ГПУ), сгорели не только коллекции икон, церковной утвари, библиотека, монастырская литография, но и значительная часть совхозного имущества. Все, что хранилось в кремлевских складах, превратилось в пепел. Управлению лагеря достался лишь сельскохозяйственный инвентарь, находившийся в бывшей Макарьевской пустыни, небольшое стадо коров и здание молочной фермы на острове Большая Муксалма и кое-что на острове Анзер, где в церкви на горе Голгофе и в Троицком ските разместили на первое время «цветы асфальта».

Выступая на собрании заключенных в ризнице Успенского собора, превратившейся впоследствии в театр первого лаготделения с белой соловецкой чайкой на занавесе, начальник лагеря кратко обрисовал прошлое архипелага, похвалил его климат, природные богатства, а затем перешел непосредственно к делу.

«Граждане заключенные! — сказал он. — О вашей прежней жизни я говорить не буду, а о настоящей скажу. Советский закон исходит из принципа революционного утилитаризма. Что это значит? Это значит, что закон способствует скорейшему проведению коммунистического строительства и победе всемирной революции. Вы здесь не потому, что Советская власть полагается на старые заповеди: око за око, зуб за зуб. Соловки — не кара, не возмездие за совершенные вами преступления против пролетариата. Направ-

ляя вас сюда, вооруженный отряд рабочего класса — ГПУ преследовало две цели. Первая: изолировать вас от общества, чтобы вы не могли вредить ему. Вторая: превратить вас из паразитов в тружеников, приспособить к условиям социалистического общежития. Первая цель достигнута: бежать отсюда нельзя. Белое море вас охраняет лучше часовых. А осуществление второй цели, наиболее важной, зависит от наших общих усилий. Труд превратил обезьяну в человека. И тот же труд превратит вас из врагов Советской республики в ее полноправных граждан. Это произойдет тогда, когда труд из принудительного станет для вас добровольным. А это, я уверен, произойдет. Для одного из вас раньше, для другого — позже, но произойдет. Кисельных рек не обещаю. Но все, зависящее от нас, сделаем. Одеждой, обувью, пайками обеспечим. Организуем школы для неграмотных и малограмотных, кружки обществоведения, технические курсы, театр, кинематограф, библиотеки. Наладим выпуск газет и журналов. Будет и радио. Дадим каждому специальность по природной склонности. Рабочий класс великодушен, он не помнит зла, не мстит. Ну, а остальное зависит от ваших рук, разума и желания».

Кричали соловецкие чайки, шумел соловецкий лес в латках озер, набегали на соловецкий берег и отбегали холодные волны Белого моря.

Заключенные, слушавшие речь начальника, тоскливо смотрели на каменные стены ризницы в разводах жирной копоти, курили в кулак, почесывались (вошебойки, они же СП — соловецкие прачечные, еще только в проекте). Соня Мармелад огрызком губной помады подводила губы, ее товарки хихикали, кутаясь в ватники. А рябой с Сухаревки, успевший содрать в трюме «Печоры» полосатый пиджак и лакированные штиблеты с фрайера, горестно покачал квадратной в колтунах головой: «Воровать и здесь можно. А вот жить нельзя...»

Но начальник лагеря не привык бросать слов на ветер. Это вскоре поняли и Соня Мармелад, которая получила на Соловках профессию портнихи, а затем работала в Сызрани в швейной мастерской, и блатной в лакированных штиблетах, ставший то ли плотником, то ли механиком, и тысячи других «лишенцев».

К тому времени, как Пружников прибыл на Большой Соловецкий остров, весь архипелаг уже был обжит, а лагерь оброс солидным хозяйством.

— Меня, — рассказывал мне Пружников, — как карантин прошел, в леспромхоз направили на лесобиржу. Дело вроде нехитрое, а тоже наука. Дерево — оно ведь разные части имеет и годность разную. Одна часть — на строевой материал, другая — на крепеж, коротышки — на шпальник... Как начал, больше 60 процентов не выжимал. Сноровки не хватало. Но ребята в бригаде ничего подо-

брались, преподавали науку, особо бригадир Леха. Он меня и натаскал с пилой. А опосля мы с Лехой в «Общество самоуправляющихся» подались...

«Общество самоуправляющихся», возникшее еще в 1925 году, было весьма своеобразным объединением соловецких «лишенцев». Оно имело выборное руководство — президиум, коллективную кассу и устав.

Обязательным условием приема в Общество являлось «осознание своего проступка перед пролетариатом и желание перейти к новой трудовой жизни». А в пункте 5 устава указывалось: «Для того чтобы члены ОС привыкли к практическому участию в общественной жизни, необходимо их обязательное участие во всех культурно-просветительных общественных организациях лагеря».

Надо сказать, что этот пункт устава выполнялся ревностно. ОС было одним из инициаторов создания на Соловках ХЛАМа (художники, литераторы, артисты, музыканты), помогало культурно-воспитательной части наладить работу театра. И Пружников, вступив в «Общество самоуправляющихся», в свободное от работы время мастерил в театре декорации, обстругивал доски для скамей зрительного зала...

Рассказывая, Пружников жестикулировал, иногда вскакивал со стула и ходил по кабинету.

— Председатель ОС был Зайков? — прервал я Пружникова, когда он стал рассказывать о деятельности Общества.

— Какой Зайков? Иван Николаевич?

— Иван Николаевич, бывший полковник.

— Нет, Иван Николаевич был при мне только членом президиума, — ответил Пружников, недовольный тем, что я не дал ему договорить. — А вы откуда Ивана Николаевича знаете?

— Слышал о нем.

— Хороший мужик, — с чувством сказал Пружников. — Хоть и социально далекий, чуждый в смысле по классу, но мужик на ять, самостоятельный, строгий. Я с ним в одной казарме проживал. Очень культурный. Мне ребята рассказывали, что он раньше даже с поэтами водку пил. Он и сам-то вроде поэта: песни там, стихи всякие сочинял. Пьесы для актеров переписывал набело...

Во время обыска были изъяты не только злополучные часы, но и альбом со стихами. Я извлек его из сейфа и протянул Пружникову:

— Вот, кстати. Возьмите. Все забываю вернуть. Наверно, память об Иване Николаевиче?

— Нет, не память. Это я сам переписывал, ну и Леха. Здешя все коряво, посмотреть не на что. А Иван Николаевич писал, будто шелком шил: буква к буквке...

— Вот так? — Я положил перед Пружниковым лист из уче-

нической тетради, обнаруженной в материалах для доклада Шамрая.

— «Здорово, избранная публика, наша особая республика!» — прочел Пружников и ухмыльнулся. — Вроде; как он... Он, точно. Буковка к буковке. Мне бы так вырисовывать. Ишь завитушки какие!

Я заинтересовался у Пружникова, поддерживает ли он связь с Зайковым.

— Письма? Нет... На письма я не мастак.

— А в трест шофером вам Зайков помог устроиться?

Пружников удивленно вскинул на меня глаза:

— На работу? Так он же к нашему тресту никакого касательства не имеет. Он же при Советской власти до заключения по военнointендантской линии работал.

Кажется, Пружников действительно не подозревал, что жена его соловецкого знакомого служила секретарем у Шамрая.

Беседы наши проходили по вечерам, после работы. Именно беседы, а не допросы. Так по крайней мере они воспринимались Пружниковым, который никак не мог прийти в себя после пережитого. Да и не только им. Заглянувший ко мне в кабинет на огонек Фуфаев после ухода Пружникова с ехидцей сказал:

— Будто братья родные.

— Ну, мы все родственники... По Адаму.

— Это верно, — согласился Фуфаев. — А парень здоровый, одним пальцем раздавит. — И, глядя куда-то в сторону, сказал: — Что-то Ревинкой давно не видно...

Я ничего не ответил.

— Слышал, развелись?

— Если слышал, то чего спрашиваешь?

— Да так, к слову...

Тогда его вопросу я особого значения не придал.

## XX

Астрологи считали, что в зодиаке двенадцать знаков. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Цатуров придерживался на этот счет иного мнения. Он утверждал, что в зодиаке Московского управления милиции имеется и тринадцатый знак — Алексей Фуфаев.

— Девки гадают по воску, шулера по картам, а мудрецы только по Фуфаеву, — балагурил в бильярдной Цатуров. — Я по Фуфаеву судьбу каждого из вас предскажу. Двумя руками твою руку трясет? Обнимает? Улыбается? Значит, у тебя премия, повышение по службе и отдельная комната в общежитии. Не обнял? Общежития не жди — остальное будет. Только улыбка — благодарность

в приказе. Рукопожатие обычное — никаких изменений в судьбе. Кивнул? Даже стенгазета не похвалит. Не заметил? Жди неприятностей. А уж если засопел и брови нахмурил, то не теряй зря времени, ищи другую работу и пиши заявление: «Прошу по собственному...» Тринадцатый знак зодиака никогда не подведет, всю правду о твоём настоящем и будущем расскажет. Так что только на Фуфаева гадай. Не ошибёшься. Не человек — созвездие судьбы!

Как обычно, без преувеличений у Цатурова не обошлось. Но в его рассуждениях имелось, бесспорно, и рациональное зерно, если не горошина. По обращению Фуфаева с тем или иным сотрудником можно было делать некоторые выводы.

Поэтому, когда Фуфаев на очередной оперативке поздоровался со мной кивком, а по окончании совещания разговаривал тоном сварливой тещи, окончательно разочаровавшейся в своём непутевом забулдыге-зятё, я понял, что Тринадцатый знак зодиака не предвещал ничего хорошего.

Впрочем, и без гадания на Фуфаеве было ясно, что мною недовольны. Это ощущалось во всем. Правда, отделение продолжали хвалить, но за каждой похвалой обязательно следовало неприятное слово «однако», которое сводилось к «горелому делу». Не говоря уж о том, что Белецкий затянул сроки расследования, он еще занял странную, если не сказать больше, позицию. («Есть такое мнение», — заметил как-то Фуфаев.) Меня пока «наверх» не вызывали, не теребили, но давали понять, что всему есть предел, в том числе и терпению.

Подобное отношение являлось не столько следствием моих трений с Эрлихом, сколько той бурной деятельности, которую развил Шамрай.

После того как я приступил к прощупыванию его «болевых точек», он позвонил по телефону и предложил встретиться. Мы встретились, но оба остались неудовлетворёнными состоявшейся между нами беседой.

К концу беседы Шамрай сказал:

— Я тебе хотел помочь, но вижу, что ты в моей помощи не нуждаешься.

— Почему же? Помощь никогда не вредит. Но помощь помощи рознь...

Шамрай словно проглотил что-то: кадык на его жилистой шее прыгнул вверх, а затем так же стремительно опустился.

— Это ты уже Эрлиху разъяснял...

— Правильно, разъяснял.

— Ну, вот видишь... — Он усмехнулся и раздавил пальцами окурочек в жестяной банке, которая по-прежнему занимала почетное место на столе.

— Вижу.

— Ну, а я в тонкостях розыска не сведущ. Ни к чему мне это. Но в партийной этике разбираюсь. И откровенно тебе скажу: не блюдешь ты партийную этику. Не считаешься с ней. Ты уж извини, но я человек простой — от станка, от наковальни: заячьи петли делать не привык. Я все по-простому, без всяких эквивоков: что думаю, то и говорю.

— Тогда говори до конца, — предложил я.

— А я до конца и говорю. Не наших ты людей в помощники взял.

— Не понимаю тебя.

— А что тут понимать? Тут семи пядей во лбу не требуется. И с одной все ясно. Вот мне докладывали, что ты Плесецкого где-то разыскал, бывшего нашего вахтера. Я же тебе тогда еще говорил, при первом знакомстве: алкоголик, ворюга, классово чуждый... Говорил ведь?

— Говорил.

— То-то и оно. А ты его все-таки нашел где-то на помойке и в свидетели пригласил: милости просим, уважаемый — как его там? Допрашивал, слушал, как он грязь на всех льет... И уверен: не осадил, не поставил его на положенное место. Домработницу мою для чего-то вызвал, бабу неграмотную, которая рада-радешенька посплетничать да поболтать попусту. Ведь обоих вызывал?

— Обоих.

— Вот видишь, сам признаешь. Как же все это назвать, а?

— Обычным объективным исследованием.

— Вон как? Обычным? Ну, тогда у нас с тобой разные взгляды на общность.

— Возможно.

— Не возможно, а наверняка. Не в ту сторону ты дугу гнешь, не в ту. Враг, что убить меня хотел, на свободе, радуется безнаказанности, а ты неизвестно чем озабочен, руки Эрлиху вяжешь, инициативы ему не даешь, сам в моем грязном белье копаешься... Так ведь?

— Не так.

— Нет, так. Так, Белецкий. Ты меня удивляешь!

Разговор был исчерпан, и я сказал:

— Удивляться друг другу, наверно, не стоит. На удивление у нас с тобой времени нет: обоим работать надо. Так что до следующей встречи.

— Давай до следующей, — сказал Шамрай.

На этот раз до дверей своего кабинета он меня не провожал...

А дня через два, после того как я вызвал в уголовный розыск жену Шамрая и допросил его бывшую секретаршу, Шамрай вновь позвонил мне. О встрече он не просил, а в голосе его явственно чувствовался металл.

- Все ту же линию гнешь, Белецкий?
- Раз взялся, надо кончать.
- Ну, ну. Кончай...

Насколько я понял, Шамрай уже успел переговорить с Сухоруковым и с кем-то из сотрудников ГУРКМа.

О звонке Шамрая Сухоруков мне ничего не сказал. Но его секретарь взял у меня («Начальник просил») «горелое дело», которое Виктор продержал у себя два дня. В документе отразилась лишь незначительная часть проделанной за последнее время работы, и Сухоруков, видимо, пришел к выводу, что у Белецкого «очередное завихрение». Об этом, во всяком случае, свидетельствовали его пометки на листах дела, вопросительные и восклицательные знаки, выражавшие сомнения, удивленное пожатие плечами и недоумение. В подобных случаях Сухоруков предпочитал действовать окольными путями. Поэтому для объяснения, что являлось бы наиболее естественным, он меня не пригласил, зато долго беседовал с Эрлихом и Русиновым.

Что-то вроде игры в кошки-мышки, причем мне, как нетрудно было догадаться, отводилась отнюдь не роль Кота Котофеича...

С Сухоруковым мы дружили с детства, а вместе работали с 1917 года. Пожалуй, ближе Виктора у меня никого не было. Наша дружба перенесла все: и голод, и холод, и пули. Но, как это ни звучит парадоксально, именно дружба больше всего и затрудняла наши отношения, создавая различные сложности и конфликты. Являясь моим непосредственным начальником, Сухоруков сильнее всего опасался, что его дружеские чувства могут сказаться на работе. Поэтому мелкая оплошность, которая прошла бы незамеченной у любого сотрудника отдела, для меня почти всегда заканчивалась выговором. Самое трудное, рискованное, а главное, неблагодарное дело поручалось мне. Он тщательно выискивал огрехи в работе отделения, которым я руководил, придирался к сотрудникам («Ишь, пользуются тем, что за спиной Белецкого!»), устраивал им беспрерывные разносы. Особенно он преследовал Русинова, которого считал моим любимчиком, а потому спрашивал с него не вдвойне, а втройне. Дошло до того, что Русинов попросил перевод в другое отделение («Уж слишком вы близки, Александр Семенович, с начальником. Трудно у вас работать!»). В согласии на перевод я Русинову отказал, но посочувствовать посочувствовал. Ведь я и сам подумывал о переводе, о том, что для обоюдной пользы нам следовало бы с Сухоруковым расстаться: слишком горькие плоды росли на дереве нашей дружбы!

Вот и с просьбой Риты, и со звонком Шамрая. Окажись на месте Сухорукова Иванов, Петров или Сидоров, все было бы донельзя просто. Я, не задумываясь, пошел бы к начальнику отдела, откровенно поговорил, объяснил ситуацию, рассказал о своей версии,



о новых свидетелях, показания которых меняли ход дела. Но в знакомом мне кабинете сидел, к сожалению, не Иванов, Петров или Сидоров, а мой старый, проверенный друг. Поэтому я не пошел к нему. А он, дабы дружба не сказалась на деловых отношениях, не счит нужным пригласить меня для беседы. Он заранее знал, что позиция Белецкого — «очередное завихрение», поэтому действовал через его голову.

В ГУРКМе у меня личных друзей не имелось, поэтому там все было проще. И один ответственный товарищ, которому я докладывал данные о социальном положении осужденных в прошлом году за убийства, когда я закончил, спросил:

— Что у тебя там за петрушка с «горелым делом»?

— Никакой петрушки. Ведем дознание. А что?

— Да вот пострадавший здесь воду мутит. Имей это в виду. Он уже кое-кому из наших звонил, жаловался на тебя.

— Черт с ним.

— С ним-то черт, но с тобой тоже не бог...

Руководящий товарищ улыбнулся, покровительственно потрепал меня по плечу:

— Молодо-зелено! «Черт с ним»... Чудак! — Он снова улыбнулся и сказал: — Ситуацию надо учитывать. Понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— То-то и оно, что не понимаешь. А понимать надо. Сейчас вся страна бурлит, народ не желает всякую нечисть терпеть... Это-то ты понимаешь?

Это я понимал. Я хорошо помнил лица рабочих на Комсомольской площади, летящие над головами людей самолеты и кумачовые транспаранты: «Пусть враги знают...».

— Сложилась такая ситуация, что лучше перегнуть, чем недогнуть, — продолжал руководящий товарищ. — Так что мой тебе совет: не дразни гусей и во избежание кривотолков припрячь под замок подозреваемого. Явич, кажется?

— Явич-Юрченко.

— Так вот, посади его, пока суд да дело. И нам спокойней будет, и ему.

Мне показалось, что кто-то из нас двоих не в своем уме.

— А если он невиновен?

— Невиновен? — переспросил мой собеседник. Кажется, эта мысль раньше ему в голову не приходила. Он задумался. — Невиновен... Ну, если невиновен, так потом, когда все уляжется, выпустишь. Нет людей, которые бы никогда не делали ошибок. Ошибся — исправил... А польза прямая: и звонки прекратятся, и разговоры всякие... Если тебя ответственность пугает, то приходи ко мне с материалами, вместе прикинем что к чему, обмозгуем. Уж так и быть, разделю с тобой ответственность. По-братски: половина моя, половина твоя... Договорились?

- Нет.
- Почему?
- Не привык как-то.
- Что не привык?

— Ответственностью делиться,— сказал я.— Даже в голодные годы и то не приходилось. Хлебом делился, селедкой, а ответственностью — нет. А менять привычки поздно, возраст уже не тот.

Собеседник с сожалением посмотрел на меня:

— Чудак ты, Белецкий! — Вдохнул и добавил: — Будем, конечно, надеяться, что и так все как-нибудь обойдется. Только уж больно у тебя нервный пострадавший, а главное, все в одну точку бьет. И здорово бьет. Под политику тянет...

Все это, понятно, дергало, раздражало. И Галя, всегда угадывавшая мое настроение, в те дни вплотную приблизилась к непостижимому раньше для нее идеалу секретарши. Я ее не видел и не слышал, но к моему приходу на работу на письменном столе уже стоял поднос со стаканом чаю и лежали конфеты-подушечки. Все «входящие» и «исходящие» бумаги тщательно разбирались и занимали свое место в аккуратных папках с тесемками, а из целлулоидного стаканчика всегда торчали острые жала хорошо отточенных карандашей. Мои поручения выполнялись с таким рвением и стремительностью, что заглянувший ко мне Цатуров с завистью сказал:

— Куда пойдет дым и каким вырастет ребенок, догадаться нельзя.

— Восточная мудрость?

— Восточная мудрость.

— Второе издание?

— Дополненное и переработанное,— подтвердил он и задал ставший традиционным вопрос: — Как «горелое дело»?

— Близится к завершению.

— Серьезно?

— Вполне.

На этот раз я не кривил душой: действительно, дело о покушении на Шамрая приближалось к концу. И если бы Фрейман задал мне теперь свои вопросы, я бы смог на них исчерпывающе ответить. На все, без исключения. Снимки загадочных событий были получены. Требовалось лишь проявить их и зафиксировать. Для этого мне предстояла командировка на Соловки, где я намеревался допросить бывшего сподвижника атамана Дутова полковника генерального штаба Зайкова и, видимо, встретиться — в последнем я не был до конца уверен — с неизвестным пока клиентом скупочного магазина, с тем самым рыжеволосым, который помимо своего желания оказал Васе Пружникову медвежью услугу.

И командировка на Соловки состоялась. Но произошло это не при тех обстоятельствах, на которые я рассчитывал.

— Поставишь точку на «горелом деле» — поставишь мне коньяк,— сказал Цатуров.

— Восточная мудрость? — уточнил я.

— Какая восточная?! — возмутился Георгий.— Общечеловеческая.

## XXI

Обычно я стараюсь избегать слова «вдруг». Жизнь вообще богата неожиданностями, а у сотрудника уголовного розыска они встречаются настолько часто, что «вдруг» здесь не подходит. Но, вспоминая о том дне, когда в газете была опубликована корреспонденция, рассказывающая о ликвидации банды Сивого, я вынужден употребить это слово.

«Вдруг», конечно, относится не к корреспонденции и не к приходу Эрлиха, который ежедневно докладывал мне о своей работе над «делом», а к представленному им документу — признанию Явича-Юрченко.

Да, «вдруг». Иное слово не годится.

— Явич наконец признался, Александр Семенович.

— Признался?!

— Да, во всем,— своим обычным, бесцветным голосом подтвердил Эрлих и вежливо поздравил меня со статьей в газете.

— Протокол допроса при вас?

— Конечно.

Он неторопливо достал из портфеля протокол и с той же рассчитанной медлительностью положил его на стол.

«Явич-Юрченко... Евгений Леонидович... Проживающий по адресу...» Далее аккуратный прочерк и пояснительная надпись: «Установочные данные в деле имеются».

По каким-то соображениям, а может быть, и без всяких соображений Явич-Юрченко не сам изложил свои показания. Протокол был заполнен Эрлихом, но в конце каждой страницы, как положено, имелась подпись подозреваемого. Все помарки и перечеркивания оговорены: «Исправленному верить».

Я взял протокол, перелистал его.

Узкие поля, тщательно выделенные абзацы. У старшего оперуполномоченного был крупный и неторопливый почерк уверенного в своей правоте человека. В контурах букв чувствовалась солидность, бескомпромиссность и самоуважение.

На большом и указательном пальцах Эрлиха темнели так и не отмытые до конца чернильные пятна. Видимо, он слишком энергично макал перо в чернильницу-непроливайку.

Тихо скрипнул стул. Скрип являлся деликатным напоминанием. Но, не будучи уверен, что я понимаю «язык скрипов», Эрлих спросил:

— Вы сейчас прочтете протокол?

— Разумеется.

«...Не желая больше вводить в заблуждение следственные органы, хочу сообщить всю правду, ничего больше не утаивая... Признаю свою тяжкую вину перед законом и обществом... Поджог дачи гражданина Шамрая и покушение на его жизнь совершены мною... Оба акта осуществлены без чьего-либо влияния, по мотивам личной неприязни к вышеуказанному гражданину, возникшей на почве его несправедливого, по моему мнению, отношения ко мне во время разбора моего дела...»

В каждой фразе чувствовался стиль Эрлиха. Он никогда не отличался хорошим стилем. Концы с концами явно сведены не были, повсюду грубые швы. И все же факт оставался фактом: передо мной было письменное признание подозреваемым своей вины.

Когда-то очень давно признание называли царицей доказательств или еще более торжественно: доказательством доказательств. Считалось, что уж если человек сам признался в преступлении, то это неоспоримая истина. Разве невиновный будет на себя наговаривать? Конечно, нет. Это было бы противоестественным, противным человеческой натуре. А вот виновный, как правило, изворачивается, пытается выбраться сухим из воды, и если он все-таки признался, то другие доказательства излишни...

Но прошло время, и «царица» была свергнута со своего юридического трона. Жизнь показала, что среди признаний попадаются и ложные...

За время работы в уголовном розыске мне неоднократно приходилось сталкиваться с самооговорами. Мотивы их были самые различные: попытка уйти от ответственности за другое, более тяжкое преступление, желание выгородить сообщника, стечение неблагоприятных обстоятельств и связанное с этим чувство безнадежности, обреченности. Да мало ли что еще!

Один задержанный «взял на себя» грабеж, совершенный братом (самому ему терять было нечего: его привлекали к ответственности за вооруженный налет на ювелирный магазин, при котором погибло трое служащих). В 1922 году мы около месяца занимались явившимся в милицию с повинной Рудольфом Грейсом, зубным врачом. Грейс с мельчайшими и омерзительными подробностями рассказал на допросе о том, как в течение года убил и обобрал семь своих клиентов, которые принесли ему золотые пластинки для коронок. Трупы, по его словам, он расчленил и в посылках отправлял по вымышленным адресам в голодающие губернии Поволжья. А на поверку оказалось, что «человек-зверь» никогда и никого не убивал.

Грейс просто был психопатом и наркоманом. Два года спустя он тихо закончил свой жизненный путь в психиатрической больнице, откуда успел написать около ста заявлений, «раскрывающих тайны многочисленных преступлений», как совершенных им лично, так и с помощью «верных друзей», среди которых нашлось место всему персоналу больницы и соседям по палате.

В общем, как любил говорить известный в мое время криминалист, признание обвиняемого в теоретическом и практическом разрезе всего лишь одно из доказательств, равное среди равных. Оно может быть правдивым и ложным, обоснованным и сомнительным...

Всего два дня назад мой оперативник, который по рекомендации Пружникова устроился в трест на временную работу вместо ушедшего в отпуск шофера управляющего, пересказал мне беседу Шамрай и Зайковой. Разговор происходил в машине. Передняя кабина лимузина не была отделена от задней стеклом, и «новый шофер» мог расслышать каждое слово. Зайкова была сильно обеспокоена «въедливостью и бесцеремонностью этого наглеца Белецкого, который сует свой нос во все щели». Шамрай держался спокойно и утешал ее: «Сопляк (то есть я) действительно слишком много на себя берет, зарвался. Но его скоро поставят на место и прищемят нос. А на Эрлиха можно положиться. Он не из тех, кого легко оседлать. Еще неделя — и все утрясется...»

Неделя...

Шамрай недооценивал хватку Эрлиха. Тому потребовалась не неделя, а всего два дня для того, чтобы вырвать у Явича-Юрченко долгожданное признание. Но почему, собственно, «вырвать»? Явич-Юрченко находился не в тюрьме, а на свободе. Кроме того, Эрлиха при всех его недостатках нельзя заподозрить в передергивании, а тем более в применении незаконных методов допроса. Признание наверняка получено им в рамках закона (кстати, после завершения «горелого дела» приказом Сухорукова была назначена специальная комиссия, которая не нашла в действиях Эрлиха ничего противозаконного).

Нет, сваливать все на Эрлиха нельзя. Настойчивость чрезмерно ретивого оперуполномоченного ни к чему бы не привела, если бы Явич-Юрченко держался мужчиной. Как это именovala Рита? Срыв. Психологический срыв.

Я хорошо представлял себе Явича-Юрченко в те минуты. Меня, честного, благородного и хорошего, считают преступником? Вам нужно, чтобы я признался в несуществующих грехах? Ну что ж, если ваша грязная совесть такое выдержит... Чего вы хотите? Признания? Пожалуйста, готов признаться... Только будьте любезны и объясните в чем? В покушении? Пусть будет покушение. Пишите: покушался, давил, душил, стрелял, резал, отравлял... Ну

что же вы? Пишите, пишите, пишите... Можете не беспокоиться, все подмахну. Все, что вам угодно: даже кражу Царь-пушки и похищение строящегося метрополитена. Что вам еще требуется? Ну, ну, не скромничайте... Поджог? Пожалуйста. Закупил цистерну керосина, облил дачу и исполнял вокруг нее танец смерти... Пишите, пишите! Я под всем поставлю подпись... Ах вон как! Вам требуется правда? Вот и сочиняйте ее себе на здоровье. Я устал. Понимаете? Устал! Устал от всего: от ожидания, от бессонных ночей, от ваших идиотских вопросов и от вашей тупости.

Истерик. Самый обычный истерик.

Наверное, я был несправедлив к Явичу-Юрченко, хотя бы потому, что в отличие от Риты прошлое для меня всегда существовало. Я не мог ни забыть, ни перечеркнуть его. Между тем прошлое Явича-Юрченко было слишком тесно связано с прошлым Риты, а следовательно, и с моим. Явич-Юрченко не только не вызывал симпатии, он был мне неприятен. Крайне неприятен. Зачем кривить душой и обманывать самого себя? Прошлое определяло настоящее. Внешность Явича-Юрченко, его жесты, склонность к психопатии, какой-то постоянный надрыв — все это вызывало во мне внутренний протест, с которым трудно было сладить.

И чем больше я вчитывался в протокол допроса, тем больше во мне нарастало раздражение не только против Эрлиха, но и против этого человека, который, слегка побарахтавшись, благополучно отправился на дно, предоставив другим малопочетную обязанность вытаскивать его оттуда за волосы.

А может быть, это последствия давнего психического заболевания? Ведь, помнится, Явич-Юрченко некогда находился на лечении в больнице... Как бы там ни было, я не сомневался, что через день или два, когда его нервы успокоятся, он начисто откажется от признания, сделанного под влиянием минуты. Но это произойдет через день или два. Между тем показания уже приобщены к делу. Они стали официальным документом. А это означает новые сложности, новые тупики и новые барьеры, которые придется преодолевать не кому-нибудь, а мне.

Ох, Рита, Рита! Поверь мне, ты была достойна лучшего. А впрочем, ты же до сих пор считаешь, что прошлого не существует...

Я дочитал до конца протокол. Эрлих молча и спокойно следил за мной. Он все-таки молодец, этот Эрлих. Не каждый способен в минуту торжества сохранить на лице выражение бесстрастности. Неплохо, Август Иванович, совсем неплохо. Если бы Явич-Юрченко обладал вашими качествами, этого идиотского признания, конечно, не было бы. Но он, к сожалению, не обладает такими качествами. Однако пора перейти к делу...

— Вы задержали подозреваемого?

— Нет,— коротко ответил Эрлих.

— Почему?

— Зная вашу точку зрения, Александр Семенович, я не решился это сделать на свой страх и риск. А Сухоруков был тогда в наркомате.

Оказывается, у Эрлиха ко всему прочему еще и дипломатические способности. Не оперуполномоченный, а находка. Дипломат с бульдожьей хваткой — очень любопытная разновидность.

— Может быть, я ошибся?

— Нет, Август Иванович, вы не ошиблись. Уверен, что Явич-Юрченко никуда не скроется.

На этот раз в холодных и невыразительных глазах Эрлиха мелькнуло нечто похожее на любопытство. Кажется, моя реакция на происшедшее была для него такой же неожиданностью, как для меня этот протокол.

— Вы и сейчас против ареста? — спросил он.

— Прежде чем взять Явича-Юрченко под стражу, следует провести амбулаторную психиатрическую экспертизу и внести ясность в некоторые пункты признания. Он очень многое смазал. В протоколе есть логические неувязки.

— Вы хотите присутствовать при допросе? — поставил точку над і Эрлих.

— Конечно, — подтвердил я. — Надеюсь, мое участие облегчит вам решение этой задачи.

— Я тоже на это надеюсь.

— Явич-Юрченко сейчас дома?

— Видимо.

Я вызвал Галю, которая в тот день в основном была занята тем, что обзванивала всех знакомых («Читала статью «Мужество»? Нет? И разговаривать с тобой не хочу...»), и попросил ее пригласить ко мне Явича-Юрченко.

— Лучше, если бы за ним кто-нибудь подъехал, — сказал Эрлих.

Галя вопросительно посмотрела на меня.

— Да, пусть за ним поедут.

Галя не любила Эрлиха и явно была недовольна тем, что я согласился с «карманным мужчиной». Демонстративно не замечая его, она официально сказала:

— Слушаю, Александр Семенович, — и, не выдержав до конца роли идеальной секретарши, энергично захлопнула за собой дверь.

Эрлих едва заметно усмехнулся: он считал себя полностью подготовленным к предстоящему экзамену.

— Итак, вопросы, которые следует уточнить...

Эрлих достал из портфеля блокнот, карандаш и изобразил внимание:

— Слушаю, Александр Семенович.

— Первое, — сказал я. — Откуда Явич-Юрченко узнал адрес дачи Шамрая?

— Ну, о дачном поселке он мог слышать.

— Я говорю не о поселке, в котором, включая деревню, свыше трехсот домов, а о даче Шамрая.

— Понятно.

— Второй вопрос. Следует выяснить, был ли у Явича-Юрченко умысел на убийство пострадавшего.

— Конечно, был. Это отражено в протоколе.

— Тогда возникает сразу три вопроса. Вам известно, что, скрываясь от охраны, Явич-Юрченко был борцом в бродячем цирке, сгибал подковы, ломал пятаки и так далее?

Эрлиху это было известно.

— А то, что при аресте в Ярославле он одному полицейскому вывихнул руку, а другого вышвырнул в окно?

— Нет. Но я знаю, что он физически очень сильный.

— Чудесно. И то, что Явич-Юрченко из нагана попадает на расстоянии пятидесяти метров в лезвие ножа, вы тоже, разумеется, знаете. Поэтому, Август Иванович, нужно выяснить, почему, стремясь убить Шамрая, он дал ему возможность вырваться, трижды стреляя из окна, даже не ранил убежавшего, а заодно — куда могли деваться пули. Ведь их так и не обнаружили!

— Ну, знаете ли, Александр Семенович! — Эрлих выразительно пожал плечами. — Мало ли какие бывают случайности!

— Случайности с пулями?

Эрлих промолчал, что-то пометил в блокноте.

— Дальше, — невозмутимо продолжал я. — В протоколе записано, что Явич-Юрченко хотел похитить документы и именно для этого отправился на дачу. Так?

— Да.

— Очень хорошо. Но, насколько мне помнится, Шамрай неоднократно говорил — и вам и Русинову, — что никогда раньше не брал с собой документов, уезжая с работы... Я не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь, Александр Семенович.

— Тогда в протоколе крупный пробел. Обязательно надо выяснить, каким путем и через кого подозреваемый узнал, что в ту ночь интересующие его документы будут находиться на даче. Вы согласны со мной?

— Согласен, — процедил Эрлих и снова записал что-то в блокноте. — Все?

— Ну что вы, Август Иванович! — удивился я. — Мы с вами только начали. У нас впереди еще много вопросов. Необходимо, в частности, выяснить эту запутанную историю с портфелем. Подозреваемый явно неоткровенен и пытается ввести нас в заблуждение. Он несет какую-то ахинею. Да вы и сами, вне всякого сомнения, обратили на это внимание. Вот здесь, на пятой странице, указыва-



ется, что Явич-Юрченко якобы привез портфель к себе домой и тут же сжег его на керосинке. Нонсенс!

— Как?

— Нонсенс, бессмыслица. Во-первых, никто из свидетелей не видел портфеля в руках убежавшего. Так что или убежавший не был Явичем-Юрченко или тот лжет, что взял с собой портфель. Во-вторых, у Явича-Юрченко такая керосинка, что подогреть на ней чай и то проблема. А в-третьих, на кухне тогда ночевал после семейной ссоры муж соседки.

— Да, здесь какая-то неувязка,— признал Эрлих.

— Вот именно: неувязка. И такая же неувязка вышла с фотографиями.

— Фотографиями?

— Ну да, с фотографиями. Зачем Явич-Юрченко содрал с документов фотографии своего врага? Хулиганство?

— Не думаю,— с присвистом сказал Эрлих.

— Вот и я не думаю, чтобы это было хулиганством... А зачем тогда? Для фотоальбома? Тоже сомнительно... Что он с ними потом сделал?

— Я постараюсь уточнить.

— Пожалуйста, Август Иванович. Это очень любопытный вопрос. И заодно узнайте у Явича-Юрченко, почему он решил бросить в почтовый ящик материалы для доклада и эти блатные вирши...

С каждой моей фразой хладнокровие Эрлиха подвергалось все новым и новым испытаниям, а список вопросов непрерывно удлинялся. Когда мы добрались то ли до двадцать восьмого, то ли до двадцать девятого пункта, Галя сообщила, что Явич-Юрченко доставлен. В ту же минуту зазвонил телефон: меня срочно вызывал Сухоруков.

— Прикажете подождать? — спросил Эрлих.

— Пожалуй, ждать не стоит. Начните допрос без меня, а я подойду, как только освобожусь.

## XXII

В большом кабинете Сухорукова было холодно и неуютно. Стоял густой, никогда до конца не выветривавшийся запах табачного дыма. Им были пропитаны воздух, тяжелые шторы на окнах, обивка кресел, дивана, сукно стола, ковер. Казалось, дымом пахнет и сам хозяин кабинета с никотиново-желтым лицом, изрезанным морщинами, и проникающий в комнату сквозь открытую форточку морозный воздух.

— Можно?

Сухоруков поднял глаза от стола, на котором были разложены бумаги, пригладил ладонью и без того аккуратно зачесанные назад волосы.

— Входи.

Под тяжелым взглядом Сухорукова я прошел к столу. Я всегда себя чувствую неловко в больших комнатах. Они меня как-то сковывают, принижают. Я теряю естественность. Особенно неприятен путь от двери к столу, который почему-то обязательно находится где-то в глубине. Пройти это расстояние под чьим-то взглядом — сущая мука. Нет, я определенно за маленькие кабинеты.

— Здравствуй,— Виктор приподнялся, протянул через стол сухощавую холодную руку и снова опустился во вращающееся кресло. Это кресло — предмет зависти Фуфаева — появилось здесь недавно, в канун Нового года. Очень современное кресло. Начальник АХО, «вырвавший вместе с мясом» пять таких кресел из партии, предназначавшейся НКПС, ходил именинником.— Садись.

— Все вращаешься?

— А что поделаешь? Верчусь,— сказал Сухоруков.— Если заводишь, могу подарить. Говорят, кругозор расширяет. До трехсот шестидесяти градусов. Прикрыть форточку?

— Не стоит.

— А не прохватит?

Кажется, у Виктора до сих пор были живы воспоминания о хиле «докторенке-бельчонке», который в первом классе Шелапутинской гимназии успел переболеть всеми болезнями детского возраста, включая корь, скарлатину, коклюш, ветрянку и что-то еще.

— Тебя, кажется, поздравить можно? — спросил он, постукивая по столу спичечным коробком.— Эрлих докладывал мне, что Явич признался.

Значит, Эрлих в первую очередь сообщил о своих успехах не мне, а Сухорукову. Естественно, у Сухорукова он мог скорее рассчитывать на поддержку. Теперь мне была ясна цель этого неурочного вызова. Сухоруков выжидательно смотрел на меня.

— Да. Я только что читал протокол.

— Вот и хорошо.— сказал Сухоруков.— Я уже хотел передать дело в другое отделение. На этом настаивало руководство управления. А то ты и расследование затянул, и глупостей наделал: зачем-то наблюдение за квартирой Шамрая установил, оперативника ему подсунул. Шамрай целый скандал устроил. И он прав. Надо было, не мудрствуя лукаво, Явича сразу брать... Ты в какую тюрьму его пристроил, в нашу, внутреннюю?

— Явича?

— Не меня же.

— Он не арестован.

— Не арестован? — Сухоруков медленным, рассчитанным движением положил в карман галифе коробок спичек. Смотря куда-то в сторону, спросил: — Почему не арестован?

— Не за что.

Он вновь достал спички, повертел их в пальцах. Продолжая смотреть мимо меня, повторил:

— Почему не арестован?

— Потому, что липа... Признание липовое.

— Та-ак...

Щелчком Сухоруков выбил из пачки папиросу, на лету поймал ее, закурил. Лицо его стало тяжелым, невыразительным, сузились приплюснутые набрякшими веками глаза. Сильно Виктор постарел за последние годы, очень сильно. Да и достается ему порядком. Не даром кто-то сказал, что работник уголовного розыска за год проживает десять лет. А с 1917 прошло уже восемнадцать лет. Но сто восемьдесят, пожалуй, многовато...

Лицо Сухорукова скрылось за пеленой папиросного дыма, и голос его тоже казался дымным, зыбким.

— Липа, говоришь?

— Липа.

Сухоруков закурил новую папиросу, помолчал, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, спросил:

— Какие у тебя данные, что признание получено под физическим воздействием? — Вопрос был задан ровным, спокойным тоном, пожалуй, даже слишком спокойным. И это настораживало. — Явич сделал такое заявление? Кому? Тебе? Эрлиху? Русинову?

— Нет.

— Что нет?

— Явич никаких заявлений не делал.

— Значит, не делал, — тем же неестественно ровным голосом подвел черту Сухоруков и утвердительно сказал: — Следовательно, никаких компрометирующих Эрлиха заявлений не поступало?

— Нет.

Его лицо вновь растворилось в пелене папиросного дыма. Следующий вопрос уже прозвучал жестко, с напором:

— Почему же ты сомневаешься в том, что признание получено законными методами?

— В этом-то я как раз не сомневаюсь...

— Ну, если в этом не сомневаешься, то оформляй ордер на арест.

— Видишь ли...

— Нет, я ничего не вижу.

— Я тебе хочу объяснить суть вопроса.

— Она мне ясна, поэтому я тебя и спрашиваю, почему ты не берешь Явича под стражу?

— Потому, что для этого пока нет оснований.

— То есть как нет оснований?! — воскликнул Сухоруков. — Что-то я перестал тебя понимать. Преступник под тяжестью улик

признается в совершенном им преступлении, рассказывает, как все было. Признание надлежащим образом оформлено, все честь по чести... И вдруг — нет оснований! Ты уж просвети меня, дурака, объясни что к чему, сделай скидку на малограмотность!

— Ты выбрал очень странный тон для разговора.

— Тебе не нравится мой тон, а руководству и мне — твой подход к делу, — отрезал Сухоруков. — Поэтому будь любезен взять подозреваемого под стражу.

— Но само по себе признание ничего не значит.

Коробок упал на стол, спички рассыпались. Сухоруков сгреб их, засунул в коробок, буркнул:

— «Само по себе»... Какое, к черту, «само по себе»! Я дважды «горелое дело» изучал. Дважды! Там все улики против Явича, одна к одной. По-твоему получается, что и эти улики тоже липа?

— Тоже.

— Все липа?

— Все.

Сухоруков уже находился в том хорошо известном мне состоянии, когда аргументы воспринимаются лишь слухом, а не разумом. Впрочем, он, кажется, и не слышал, что я ему говорю. Что ему могут сказать значительного, важного? Переливание из пустого в порожнее, словоблудие, очередное завихрение Белецкого, который по старой гимназической привычке любит сложности там, где их нет. И, ощущая эту невидимую стену между собой и Сухоруковым, я говорил вяло и неубедительно...

Да, Шамрай не ошибся в своих прогнозах. Не ошибся и в отношении Эрлиха, и в том, что «сопляка» скоро поставят на место и прищемят ему нос. Но если бы дело было только в моем многострадальном носе!

— Все? — спросил Сухоруков, оборвав меня на полуслове.

— Пусть будет так. Все так все...

— Тогда выслушай меня, — сказал он. — И выслушай внимательно. Я всегда был за осторожность. Но осторожность и перестраховка не одно и то же. Это, кстати говоря, лишний раз доказало ленинградское убийство. Не перебивай меня, я тебя слушал, а теперь послушай ты. Сделай такую милость! Ты возился с «горелым делом» битых два месяца. За это время несколько таких дел можно было закончить. Но я тебя не теребил, не дергал, не торопил... Мешал я тебе или нет?

— Почти нет.

— Не «почти», а не мешал. С другого начальника отделения я бы три шкуры за такое спустил, а тебя не трогал. Доверял тебе и твоему опыту. Ты был как у Христа за пазухой. Все удары, которые тебе должны были достаться за волокиту, я на себя принимал. А таких ударов было немало. Мне, если хочешь знать, и в главке и в

наркомате доставалось. Голову мне морочили, куски с меня рвали: волокита, юридический кретинизм, перестраховка, притупление бдительности... Каких только собак не вешали. И за дело: мерзавец, политический двурушник на свободе гуляет и посмеивается, а мы бумажечки пописываем, доказательства подбираем. Но я тебе ни полслова не сказал. Трудись себе спокойно, доводи дело до ажюра, пусть все будет отшлифовано, отполировано, чтоб ни тени сомнения, чтоб все по закону. Ты у меня под стеклянным колпаком сидел, всякие умственные закавыки с Русиновым изобретал... Мне Фуфаев в души дует, Шамрай икру мечет — Белецкого это не касается. Он в сторонке. Знай себе допрашивает-передпрашивает и пострадавшему от нечего делать каверзы строит: наблюдение за его квартирой устанавливает, с домработницей и женой беседует, оперативника в шоферы зачисляет...

В кабинет вошел секретарь и сказал, что звонит заместитель начальника управления. Сухоруков взял трубку:

— Да... Признался. Конечно... Да... Считаю, что нет никаких оснований накладывать взыскания на Белецкого... Да, никаких... Конечно... Слушаюсь.

Он положил трубку.

— Все твои фокусы терпел. Все! И вот наконец признание обвиняемого. Ему и то надоело вола крутить. Добровольное признание, подкрепленное косвенными уликами. Все? Все... Так нет, у Белецкого, видите ли, очередное завихрение...

— Мне нужно закончить дело,— сказал я.

— Оно уже закончено.

— Требуется допросить двух-трех человек...

— Если будет необходимость, их допросят в прокуратуре или в суде.

Он позвонил Эрлиху и распорядился немедленно взять Явич-Юрченко под стражу.

— Я обжалую твои действия.

Сухоруков посмотрел на меня, нехотя усмехнулся:

— Кому? Заместителю начальника управления, который только что мне звонил? Не будь мальчишкой. Мы не в гимназии.

— Это не мальчишество.

— Мальчишество. Ты что, считаешь, что тебя кто-нибудь подержит с твоими фантазиями?

Нет, я не был настолько наивен. Я прекрасно понимал, что не поддержат. Нет, чтобы все перевернуть, поставить с головы на ноги, нужны были не доводы, не трактовка фактов, а сами факты. Но попробуй их теперь добыть!

Своим признанием Явич-Юрченко сыграл злую шутку не только с собой, но и с истиной. Признание, подкрепленное косвенными уликами... Это уже не подозрение, это доказательство, веское доказательство. Психология тут не помощник...

— И еще,— сказал Сухоруков.— Думаю, тебе надо проветриться. Ты слишком засиделся в Москве. Поездка недели на две тебе не повредит.

— Не хочешь, чтобы я мешал Эрлиху?

— Не хочу,— подтвердил Сухоруков.— Да и гусей не следует понапрасну дразнить. Положение у тебя, Саша, неважное...

— Отпуск для поправки здоровья?

— Зачем? Со здоровьем у тебя, кажется, и так неплохо. Поедешь в командировку. Сейчас наркомат сформировал несколько межведомственных бригад для проверки и доработки на месте в лагерях законченных дел. Политическая окраска, связи и так далее... Да ты ведь знаешь об этом.

— Знаю.

— Вот и поедешь. Я тебя уже включил в список.

— Куда, если не секрет?

— Какой там секрет! В Красноводск. Там сейчас тепло. Солнце, море... Заодно и отдохнешь.

— Спасибо за заботу. Когда выезжать?

— Самое позднее послезавтра.

— Понятно.

— Уж куда понятней. А форточку я все-таки прикрою. Тоже в порядке заботы...

Он закрыл форточку, прошелся, разминаясь, по комнате. Потом, искося взглянув на меня («Ну как, отошел?»), достал из стола газету.

— Для тебя сохранил. Поэма, а не статья. Прочел и уважением проникся. Лестно, что такие героические кадры у меня работают. Надо будет нашим сказать, чтоб в стенгазете перепечатали. Кстати, ты ведь когда-то в молодости тоже писал?

— Писал.

— А теперь не пишешь?

— Не пишу.

— Жаль. Зачем таланты в землю зарывать? — Сухоруков помолчал в ожидании ответа. Не дождавшись, вздохнул, проглотил какую-то таблетку, запил водой из графина.— Ну что ж, успешной тебе командировки.

— Спасибо.

— А на меня не дуйся. Не к чему превращать обвинение против Явича в обвинение против Белецкого. Не стоит того Явич...

В тот вечер я приехал домой раньше обычного. Из кухни доносились женские голоса. Там обсуждались моды весеннего сезона. Раздеваясь, я обратил внимание на вырезку из газеты со злополучной статьей, которая была наклеена на внутренней стороне входной двери,— работа Сережи. Этого еще не хватало!

Я попытался содрать вырезку, но безуспешно: клей был самого высокого качества, как его называл Сережа, «самолетный».

Я думал, что мой приход остался незамеченным, но ошибся. Ровно через пять минут ко мне осторожно постучали. Сначала робко, а затем довольно настойчиво. Это, разумеется, был Сережа. Он жаждал со мной пообщаться. И, несмотря на свое настроение, я ему не мог в этом отказать. Как-никак, а герой — сосед по коммунальной квартире — явление не совсем обычное. Правда, я не был ни Шмидтом, ни Ляпидевским, ни знаменитым шахтером Никитой Изотовым, который на Горловской шахте № 1 вырубал для страны в пять раз больше угля, чем любой его товарищ, но не о каждом же пишут в газетах. Да и одно слово «мужество» чего-нибудь да стоит!

И на флегматичном, сосредоточенном лице Сережи застыло благоговение. Впрочем, как выяснилось, Сережа был не столь уж флегматичен. Прочитав утром статью, он уже успел «согласовать» со старостатом мое выступление в школе на вечере «Герои пятилетки». Я сослался на командировку, но это его не обескуражило. Он уже хорошо знал, что основное качество всех без исключения героев — скромность, и на худой конец был готов взять интервью (согласовано с редакционной коллегией общешкольной газеты).

— Раз согласовано, давай,— согласился я.— Только в статье обо всем написано.

Как раз в этом Сережа уверен не был. Вопросы он задавал достаточно профессионально: прошлое (главным образом героическое), будни уголовного розыска (только героические) и подробности операции по ликвидации банды (самообладание, мужество, храбрость). Из своей роли многоопытного журналиста он выбился только тогда, когда я сказал, что опасность погибнуть не самое страшное в жизни. Тут он поразился:

— А что же может быть страшней?!

— Ну, мало ли что...

— А все же?

— Ну, например, когда не можешь доказать свою правоту или когда тебе не верят друзья...

Сережа улыбнулся: подобные ситуации никакого отношения к героике не имели. Конечно же я просто-напросто шутил: в промежутках между подвигами герои всегда шутят — это одно из проявлений их скромности. Кроме того, герои обязательно должны быть веселыми, уметь заразительно смеяться, плясать, петь. Правда, шутка у меня получилась не из удачных, но Сережа был тактичным мальчиком и поэтому сказал:

— Чудак вы, дядя Саша!

Такую же характеристику дал мне и Керзон.

«Самомнение-то, самомнение какое! — брюзжал он.— Эрлих,

видите ли, ошибается, Сухоруков ошибается, а он нет... Всегда и во всем прав, видите ли...»

«В данном случае прав».

«А откуда, интересно знать, такая уверенность? Фактов нет, доказательств нет...»

«Зато есть логика».

«Логика, логика,— продребезжал Керзон.—А признание Явича логично? Нет? Так о какой логике может идти речь?!»

«Я обязан проверить».

«А кто тебя обязал? И себе нервы треплешь, и другим... А зачем? Наверху люди не глупей тебя сидят. Если нужно будет, проверят, поправят... На них возложена ответственность, они за все отвечают...»

«Я тоже за все отвечаю».

«Опять себя переоцениваешь. И хоть было бы за кого сражаться. Ведь Явич-то того, а?»

«Что из себя представляет Явич — это не существенно».

«А что существенно?»

«Закон, справедливость, совесть, наконец...»

«Совесть...— запыленные стеклянные глаза Керзона вспыхнули и тут же погасли.— Совесть... А что такое совесть? — ехидно спросил он.— Абстракция, милый мой, голая абстракция...»

Спор с Керзоном затянулся надолго, но никто из нас не мог убедить другого в своей правоте. Так мы и расстались недовольные друг другом.

А когда я уже был в постели, позвонил Сухоруков. Мне вначале показалось, что сделал он это в «плане заботы о человеке». Виктор поинтересовался моим самочувствием, передал привет от жены, а затем сказал, что в наркомате предлагают направить меня не в Красноводск, а на Соловки, очень настойчиво предлагают...

— Там, правда, тоже море,— пошутил он.— Разве только с теплом неважно. Как, ты не возражаешь?

Учитывая, что замена была произведена Фрейманом по моей просьбе, я, конечно, не возражал.

— Вот и хорошо,— сказал Сухоруков.— А разговор наш близко к сердцу не принимай: дружба дружбой, а дело делом. Как говорит-ся, а на старуху бывает проруха. Думаю, что все будет в порядке.

— Я тоже так думаю.

— Значит, Соловки.

— Да.

— До завтра, Саша.

— До завтра.

Я положил трубку на рычаг, потянулся и почувствовал, как напряглись мышцы. Интересно, сколько езды до Архангельска? Наверное, около двух суток, если скорым поездом. Надо позвонить



в справочную Ярославского вокзала. Но это можно сделать и завтра. Успеется. А теперь спать.

Я погасил свет и подумал, что Керзон все-таки ошибся: совесть — понятие не абстрактное. Совесть — понятие конкретное. Может быть, самое конкретное из всех существующих на свете. И еще я подумал, что Фрейман прав: мне следовало рассказать Сухорукову о просьбе, с которой ко мне обратилась Рита. Ведь умалчивание — это предисловие ко лжи, если не сама ложь. Что же касается Соловков... Этот грех придется взять на душу: «горелое дело» должно быть доведено до конца. А без поездки на Соловки это неосуществимо.

### XXIII

И снова Комсомольская площадь с ее вокзалами, магазинами, киосками. Но теперь она была совсем не такой, какой я ее застал в декабре прошлого года.

Площадь бежала, перебрасываясь на ходу отрывистыми фразами, смеялась, курила, кричала, жевала пирожки и бутерброды, толкаясь локтями, продираясь через узкие двери в здания вокзалов, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, слушала сообщения о прибытии и отправлении поездов и, сгрудившись сотнями тел у громкоговорителей, слушала речь заместителя наркома обороны.

«...Со времен первого съезда Советов наша авиация выросла на триста тридцать процентов. ...Скоростные показатели истребителей и бомбардировщиков увеличились в полтора-два раза. ...Грузоподъемность и дальность полета бомбардировщиков возросли втрое. ...Число танкеток увеличилось на две тысячи четыреста семьдесят пять процентов. ...Скорость танков возросла от трех до шести раз...»

И, отхлынув от громкоговорителей, площадь снова срывалась с места, захлестывая людским потоком близлежащие улицы и переулки. У нее было энергичное и озабоченное лицо транзитного пассажира, который прикидывает, как за несколько отпущенных ему часов успеть «увязать и согласовать» бесчисленные вопросы, обежать все магазины в центре («Жена составила список, но куда же он девался?»), осмотреть музеи, побывать на Красной площади и в довершение ко всему закомпоновать билет в Свердловск, Вологду или Ленинград.

Спешат отъезжающие и приезжающие, торопятся носильщики в белых фартуках с большими металлическими бляхами, сигналият строгие и высокомерные шоферы прокатных автомобилей, с некоторых пор именующихся красиво и загадочно — «таксомоторы». Торопятся командированные в Москву хозяйственники, спецы, отпущники. Трезвонят вагоновожатые, нетерпеливо дожидаясь, когда

наконец переползут через трамвайную линию подводы с говяжьими тушами, чтобы, обогнув бывший Царский павильон, свернуть к мясокомбинату.

Казалось, вся Москва собралась в дальнее странствие или только что приехала и теперь, не успев передохнуть после дороги, спешит по своим неотложным делам. А может, так оно и есть? Ведь действительно дел много, а время торопит. И не только время... Еще в отчете ЦК ВКП(б) на XVII съезде партии прямо говорилось: «Дело явным образом идет к новой войне». Это значило, что недавно вошедшие в строй «Уралмаш», «Краммаш», домны Мариуполя, Липецка, Кривого Рога, Харьковский турбогенераторный завод должны работать на полную мощность, что Красная Армия должна получить новое вооружение — еще более грозное, чем то, о котором говорил замнаркома, — колхозы должны дать стране миллионы пудов хлеба.

«...Грузоподъемность и дальность полета бомбардировщиков возросли втрое... Число танкеток увеличилось на две тысячи четырехста семьдесят пять процентов...»

Конкретные, точно подсчитанные цифры. А с нашей оснащенностью, оснащенностью бойцов внутреннего фронта, сложней. Тут цифры не помогут. Как измерить процент принципиальности, прирост добросовестности и коэффициент бескомпромиссности?

Количеством месяцев, которые отделяют страну от войны? Накалом страстей? Соображениями внутренней безопасности? Требованиями заledenевшего в своей незыблемости закона или мудрой осторожностью многоопытного хирурга? Что следует избрать критерием, чтобы не допустить ошибки? А может быть, ошибки все равно неизбежны?

Я понимал и Эрлиха, и Сухорукова, и ту декабрьскую площадь с транспарантами, на которых чернели слова «Пусть враги помнят...». Но чем тяжелее меч закона, тем осторожней им надо пользоваться.

В зале ожидания вокзала висел плакат, напоминавший плакаты времен «военного коммунизма». Рабочий в кепке, пристально глядя на проходящих, спрашивал: «Что ты сделал для пятилетки?»

Итак, что же ты сделал для пятилетки, Александр Семенович? Трудно иной раз отвечать на прямо поставленные вопросы...

— Граждане пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд номер 82 Москва — Архангельск... Граждане пассажиры!..

Валентин, который внезапно загорелся желанием проводить меня, — впрочем, внезапностью отличались все его желания — выхватил из моих рук портфель и ринулся на перрон. Кажется, он на минуту забыл, что уезжаю все-таки я. Мне удалось догнать его лишь у двери вагона, где уса́тый проводник успокаивал нетерпеливых пассажиров:

— Спокойно, граждане, спокойно. Все уедут, никого в Москве не оставим... Приготовьте билетки, граждане... Вы до Архангельска? (Это уже ко мне.) Прошу, товарищ командир, четвертое купе, верхняя полочка по ходу поезда...

У вагона, не обращая внимания на перронную суету, целовались двое. Целовались поспешно, жадно, словно стремились нацеловаться на всю жизнь. Лиц я не видел. На ней была вязаная шапочка и узкое пальто. Она казалась маленькой и незащищенной.

— Поезд отправляется через две минуты. Просьба к провожающим освободить вагоны.

Те двое отшатнулись друг от друга. Девушке было лет восемнадцать, не больше, а юноше — года двадцать два. Уезжал он. Вязаная шапочка сбилась на затылок, заплаканные глаза глядели тоскливо и жалобно... А Риты на перроне не было. И плакать она не умела...

— Завидую тебе, — сказал Валентин, с явной неохотой расставаясь с моим портфелем. — Когда провожаю, всегда завидую...

Его беспокойная душа журналиста рвалась в степи Украины, на шахты Кузбасса, в пески Туркмении и еще черт те куда.

— А ты возьми творческую командировку в цыганский табор, — посоветовал я. — По всей России проедешься. Из конца в конец.

— Не пустят, — серьезно сказал Валентин. — Теперь не пустят. Не тот момент. Да и цыгане...

— Что цыгане?

Он скорбно чмокнул губами:

— Не те теперь цыгане. Не пушкинские. На оседлый образ жизни переходят...

— Неужто все?

— Все, — кивнул головой Валентин. — Поголовно. В колхозы вступают. Да ладно, чего уж там! Не забудь передать от меня привет Арскому. При всей узости своего мышления он все-таки неплохой человек. Не забудешь?

— Не забуду.

— Врешь, забудешь, — обреченно сказал Валентин.

— Не забуду, Валечка.

Я пошел в купе, положил на полку портфель. Валентин стоял против окна. Он отчаянно жестикулировал: то ли укорял меня за легкомыслие, то ли инструктировал, а может, просил пополнить коллекцию блатной лирики...

«Вязаная шапочка» стояла на прежнем месте и в той же позе.

Когда-то, до революции, отправление поезда сопровождалось сложной церемонией: звонок, свисток обер-кондуктора, гудок паровоза, рожок стрелочника, снова свисток обер-кондуктора и снова гудок паровоза — слаженный оркестр инструментов, играющих увертюру к дальней дороге. Теперь стремительный бег времени сократил эту длинную процедуру: деловой колокол, поспешный корот-

кий гудок — и уже плывут в окнах вагона фигуры провожающих. носильщиков, киоски, тележки мороженщиков, асфальт перрона...

Счастливого вам пути, Александр Семенович, а главное... Но вы и сами знаете, что для вас главное...

Двое моих попутчиков — одно место в купе оказалось не занятым — работники Наркомтяжпрома, ехали до Вологды. Они всю дорогу пили чай, курили, радуясь отсутствию женщин («В прошлый раз в дамском обществе ехал, попробовал закурить — чуть не задавили!»), играли в шахматы и спорили, следует или нет взрывать «козла». Вначале я никак не мог понять, в чем провинился несчастный «козел», которого хотят убить таким варварским способом. Но затем выяснилось, что «козлом» называют застывшую массу металла на дне доменной печи. Я не имел желания участвовать в обычном дорожном разговоре и был благодарен своим соседям, что они не делают никаких попыток вовлечь меня в беседу. Им хватало общества друг друга. Они с жаром обсуждали, кто виноват в срыве плана на каком-то сталеплавильном заводе — «объектовщики» или «совбюрократы», разбирали достоинства и недостатки станков «с высшим образованием»: немецкого «Линдера» и швейцарского «Сипа».

Тянулась расстеленная вдоль дороги подсиненная скатерть снега, мелькали тощие телеграфные столбы, пеньки в белых боярских шапках, деревья, дома. Бежало за поездом розовое солнце над самой кромкой зубчатого леса, то далекого, то близкого. Поскрипывали полки, звенели чайные ложки в расставленных на столике стаканах, прыгала, словно живая, мыльница в сетке.

Я лежал на верхней полке и, как в далеком детстве, смотрел в окно на сменяющие друг друга картины, рассеянно ловил отдельные фразы из жаркого и непонятного спора, в котором сложные технические термины перемежались с не менее сложными эмоциями. «Домна Ивановна...», «встречные графики...», «встречный промфинплан...», загадочные фурмы, которые, несмотря на старания моих соседей и вопреки всем профилактическим мероприятиям, время от времени все-таки прогорают.

Если Валентин завидовал мне, то я был полон зависти к моим соседям, хотя они и ничего не могли поделать с этими треклятыми фурмами. Они были участниками великого процесса созидания. Со-зи-да-ние... Само слово звучало горделиво и весомо. Очень красивое и полезное людям слово. В нем виделись трубы заводов, поток трехтонок, выезжающих из ворот завода АМО, корабли, поля пшеницы, дома, рулоны тканей. Приятно, когда твоя работа измеряется весомыми и объемными величинами: кубометрами, тоннами, пудами. Эти двое имели дело со зримыми и осязаемыми вещами: чугуном, сталью, станками, приборами, углем — бесспорными ценностями, которые бы никто не мог поставить под сомнение.

И на вопрос рабочего с плаката: «Что ты сделал для пятилетки?» — они могли ответить не задумываясь, четко, ясно, исчерпывающе.

А что осязаемого в работе сотрудника уголовного розыска? Поиски ускользающей истины? Законность? Протоколы допросов? Или тот документ, который вручил мне накануне отъезда Русинов?

Стук колес стал реже. Поезд замедлил ход и остановился. Какой-то полустанок. На перроне — два-три пассажира и закутанная в платок баба, продающая клюкву. У бабы горластый высокий голос, пробивающий даже двойные рамы окошка. Таких когда-то называли визгопряхами.

— По ягоду клюкву, подснежную крупну, по свежую, манежную, холодную, студеную, кислую, ядреную... Клюквы-бабашки брали Наташки, брали-побирали, по кочкам ступали, лапотки потоптали, саяны ободрали, в реку покидали...

Здорово у нее это получалось, аппетитно. Один из моих соседей соблазнился.

— Вам взять? — спросил он у меня, выскакивая из купе.

— Возьмите, буду благодарен.

Но отведать «холодной, студеной, кислой, ядреной» нам не пришлось: поезд дернулся, и снова началась монотонная песня колес. Теперь стена леса вплотную приблизилась к железной дороге. Лес был густой, стволы почти прижимались друг к другу. На снегу хорошо были видны крестики от птичьих лап и заячьи петли. Мелькнула и осталась далеко позади низенькая избушка с лихо сдвинутой набекрень шапкой снега.

Русинов, Всеволод Феокистович Русинов...

Почему я вдруг вспомнил о нем? Ну да, в связи с этим документом — выпиской из решения бюро райкома партии... Оказывается, Шамраю в 1928 году был объявлен выговор «за кратковременные троцкистские колебания». Эта выписка сейчас лежала в моем портфеле вместе с некоторыми другими документами, еще не подписанными в «горелое дело». Само дело осталось в Москве, в сейфе Эрлиха.

«Возьмите, Александр Семенович, — сказал Русинов, положив на стол эту бумажку. — Может быть, пригодится». — «А почему вы раньше мне ее не отдали?» — «Да как сказать? — он замялся. — Не придал значения. Да и не предполагал, что вы подключитесь к расследованию. Дело-то вел Эрлих...»

Странно, очень странно.

Тогда в предотъездной суматохе я не обратил внимания на слова Русинова, они прошли мимо сознания, но теперь они дремлю сверлили мозг.

Я не слышал, что говорят внизу мои соседи по купе, не замечал торопливого стука колес. Все это куда-то ушло, исчезло, вытесненное пришедшими на память словами Русинова.

Что же получается?

Конечно, для Эрлиха выписка из решения являлась обычным клочком бумаги, не имеющим никакого отношения к делу, а в моей версии она должна была занять важное место в цепи улик. Правильно, все правильно. Но, выходит, Русинов, которому я даже не намекал на свои предположения, откуда-то узнал о них. Откуда? Странная, крайне странная способность читать чужие мысли... А если это не чужие мысли, а его собственные? Как сказал Шамрай при нашем первом разговоре? «Русинов с меня трижды, нет, четырежды допросы снимал... Будто уличить меня в чем-то пытался...» И сами протоколы. Когда я их читал, то мне казалось, что Русинов пытался одновременно сидеть на нескольких стульях. И эта невозможность, непоследовательность, будто допрашивающий не столько хотел, сколько опасался определенности... Неужто Русинов уже тогда подозревал о том, что мне пришло в голову много позднее? Нет, конечно, чепуха. Он тогда бы ни за что не прекратил дела и рассказал бы мне о своих предположениях. Русинов не смог бы поступить иначе. Ведь он прекрасно понимал, насколько все это важно. Из-за чего бы он устраивал игру в молчанку? Чтобы выгородить подлеца и поставить под удар невиновного?

Нет, Русинов, разумеется, не догадывался и не мог догадываться о том, что произошло на даче. Нет. Но почему тогда он именно сегодня, узнав, что я уезжаю на Соловки, принес мне эту выписку? Судя по дате, он затребовал ее сразу же после возбуждения уголовного дела. Случайность? Подозрительная случайность.

И вообще, зачем ему потребовалась эта выписка? Зачем, спрашивается? Что за повышенный, ничем не мотивированный интерес к биографии пострадавшего? Пострадавшим с подобной дотошностью не занимаются. Пострадавший — объект преступного посягательства, жертва. Значит, Русинов не считал Шамраю жертвой? И эти убегающие за стеклами очков глаза, уклончивые ответы, смущение... Нет, Всеволод Феоктистович не способен на подлость. Не должен быть способен!

Я достал из портфеля бумагу, заверенную подписью и печатью. Может быть, она поможет разъяснить происшедшее? Но бумага, разумеется, ни в чем не могла помочь. На возникшие вопросы мне предстояло ответить самому. До чего же бывают неприятные вопросы! Но уклониться от ответа на них, к сожалению, нельзя. А если все же попробовать? Я натянул на себя одеяло, повернулся к стенке вагона, попытался уснуть. Но мне не спалось.

Дрянь, дрянь, дрянь,— стучали колеса. Но они, конечно, не имели в виду Русинова... Они его не знали и не хотели знать. Обязанностью колес было крутиться. И они крутились...

Когда мы прибыли в Вологду, началась метель, которой уже давно пугали синоптики. Усиливающийся с каждой минутой ветер

остервенело завывал в вентиляционных продушинах, бился в стены вагонов, залеплял снегом окна.

— Лютует-то как, а? — сказал проводник, расставляя на столике очередную партию стаканов с чаем. — Не зазимовать бы... Паровоз — он машина цивилизованная, норов с деликатностью. Не любит снега и всяких там природных явлений.

Мой новый сосед по купе, пожилой железнодорожник, был настроен более оптимистично.

— Зазимовать не зазимует, а в расписание не уложимся. Это точно.

— И намного опоздаем?

— Это только всевышнему известно. Кажется, метель по всей магистрали. От края до края. Мой кот Котофеевич не зря нос под хвостом держал. Коты почище барометра погоду чуют. Вы до Архангельска?

— Да.

— Москвич, наверно?

— Москвич.

— А я помор. Земляк Михаила Васильевича Ломоносова — того, что пешком в Москву добирался. В Архангельске уж двадцать лет обитаю, так что, можно считать, исконный архангелогородец. Даже верную приметку исконного архангелогородца приобрел. Видите? — он ладонью прижал нос. — Обе дырочки в небо. В Архангельске все курносые, как на подбор. Шутят, что оное из-за тротуаров деревянных. На один конец доски ступишь — другой по носу шлепает. — Он засмеялся. — В командировку в наши края?

— Да.

— Тогда чего торопиться? Поезд стоит — командировка идет. Давайте лучше спать. С Вологдой, думаю, не скоро расстанемся. Ишь как завывает!

Но вопреки его предположениям из Вологды мы выехали вовремя, но зато простояли два часа в Коноше и еще полтора в Няндоме. Несмотря на старания машиниста, пытавшегося нагнать упущенное из-за снежных заносов время, в Архангельск мы прибыли с солидным опозданием. Здесь метели не было. О ней лишь напоминали снежные барханы у реки да сугробы.

Темнело вросшее в лед неуклюжее тело паромы, рядом с которым примостилось несколько катеров и карбасов. По зимнику через Северную Двину редкой цепочкой двигались люди с чемоданами, мешками, баулами. Они шли туда, где мигал огоньками вытянувшийся на несколько километров вдоль реки город. Те, у кого было слишком много багажа, торговались с извозчиками, сани которых сгрудились на утопанной площадке у выхода с перрона. Но торговались как-то вяло и неохотно. По-настоящему торговаться умеют лишь на юге.

Пока я прикидывал, брать ли мне извозчика или добираться до

управления пешком, ко мне подошел человек в полушубке и валенках.

— Товарищ Белецкий?

— Он самый.

— А я Буркаев, заместитель начальника розыска. Заочно мы с вами уже знакомы. Ну а теперь будем очно.

— Давно дожидаетесь? — спросил я, пожимая протянутую руку.

— Порядком... Вас где падера накрыла?

— Метель? В Вологде.

— Вон что! Вологда — известная кружевница. А у нас тут побураило чуток и угомонилось. Тишь да гладь да божья благодать.

У Буркаева было продолговатое лицо с крупным орлиным носом. То ли он не был архангелогородцем, то ли очень осмотрительно ходил по деревянным мосткам.

— Нам вчера из Москвы звонили, — сказал он. — Номер в гостинице вам заказан. С самолетом тоже в порядке. Завтра утром вылетаете. А вон и наш транспорт на полозьях...

Он подвел меня к легким санкам, которые в Москве называли «голубчиками».

— Как, Гриша, прокатим с ветерком гостя?

Гриша, снимавший с морды лошади торбу с овсом, обнажил в улыбке крепкие зубы:

— А как же! Чего-чего, а ветерка и тряски нам не занимать. Этого добра сколько хочешь. И самим хватает, и гостям остается.

Насколько я понял, и легкие, изящные сани с оленьей полостью, и приземистая крепкая лошадка с красивой сбруей были гордостью уголовного розыска Северного края. «Настоящая обвинка<sup>1</sup>, — как бы невзначай сказал мне Буркаев, оглаживая кобылу по крупу. — Чистых кровей. И колокольчики, как положено, валдайские. Поглядите».

Действительно, колокольчики были валдайские, кустарной работы. На одном была надпись: «Купи — не скупися, ездí — веселися», а на другом: «Купи, денег не жале́й, со мной ездíть веселей!»

— Хороши колокольчики? — спросил Буркаев, когда я забрался в сани. — Малиновый звон! Когда по Павлина Виноградова катим, в Соломбале слышно.

— То-то у вас с раскрываемостью неважно, — пошутил я. Он усмехнулся:

— Чего зря колокольчики винить? Уж тут колокольчики не повинны. На операции мы ездим тихо. Но без звону, верно, не обходится... До стопроцентной раскрываемости не скоро докатим.

---

<sup>1</sup> Обвинка — лошадь обвинской породы.



Лошадка оказалась резвой: я не успел и оглянуться, как мы очутились на другом берегу Двины, стремительно пронесли мимо Дома Советов, перед которым на пятигранном постаменте возвышался помор с оленем, и лихо подъехали к гостинице.

Пужинав в ресторане, я немного побродил по улицам города, которые по примеру Ленинграда почти все именовались проспектами, и отправился к себе в номер.

На следующий день утром двухместным самолетом — в Архангельске такие самолеты почему-то называли «бельками» — я вылетел на Большой Соловецкий остров, где мне предстояло дописать заключительные страницы «горелого дела».

## XXIV

Я не люблю вторично, особенно после многолетнего перерыва, посещать памятные мне места и встречаться со старыми знакомыми. Это объясняется не страстью к новым впечатлениям, а естественной боязнью нанести ущерб воспоминаниям, которые становятся все дороже и дороже.

Годы учат ценить воспоминания, а они, как я неоднократно убеждался, чертовски хрупкая вещь, не любят толчков, ударов и редко выдерживают столкновение с действительностью.

С воспоминаниями следует обращаться бережно, холить их и лелеять, а главное — не испытывать на прочность...

К сожалению, это не всегда удается. Поэтому нестареющие красавицы юности превращаются в морщинистых старух с неразгибающейся поясницей и визгливым голосом, бесшабашные одноклассники, гроза садов и огородов, — в мнительных пенсионеров, а дикие прерии, по которым ты некогда мчался на необъезженном мустанге, — в пустырь, где одинокая коза с веревкой на тощей шее уныло щиплет траву...

Из четырех правил арифметики время благосклоннее всего относится к вычитанию, отнимая у воспоминаний их законченность, весомость, романтический флер и яркость красок. Если в конечном итоге воспоминание не превращается в нуль, то, во всяком случае, многое теряет. В общем, как утверждал один подследственный кладовщик, утруске, усушке и провесу подвергаются не только материальные ценности...

Я не могу сказать, что Соловки 1935 года оказались полной противоположностью тем, которые я застал в двадцатых. Нет, конечно. Но многое в них исчезло, поблекло, стало совершенно иным. Короче говоря, они уже не были Соловками моей памяти.

Функции нашей бригады, которая, включая меня, состояла из пяти человек, носили, я бы сказал, полуофициальный характер. Нам предстояла «доработка» нескольких уже завершенных дел. По све-

дениям администрации лагеря, на нас возлагалась проверка этих сведений: ряд осужденных за уголовные преступления действовал по сугубо политическим мотивам, преследуя явно контрреволюционные цели и выполняя задания антисоветских организаций. В частности, такие сомнения возникли в отношении участников банды Никиты Прохоренко, которая в течение нескольких лет терроризировала население различных городов Украины, а затем перебазировалась в центральную черноземную полосу. Социальный состав банды был весьма разнороден, но в ядро ее входили преимущественно кулацкие элементы. Они же составляли основу многочисленных, связанных с бандой групп. В многомном деле — судебное разбирательство продолжалось около трех месяцев — имелись страницы, написанные и моей рукой. Два года назад одна из групп прохоренковцев — «желтые селяне» — осела под Москвой, в Краскове. Бандиты пробыли здесь недолго, меньше месяца, но успели за это время вырезать семью работника МГК ВКП(б) и пытались, правда неудачно, ограбить сберегательную кассу.

Банда Прохоренко, по крайней мере ее основная часть, просуществовала до начала 1934 года. Зимой ее блокировали в лесу под Воронежем. Девять человек, в том числе и сам Прохоренко, были убиты в перестрелке, а остальные задержаны. Бандитов судили. Наиболее активных участников приговорили к высшей мере наказания, а остальных к различным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях.

И вот в конце прошлого года в руки оперативных работников СЛОНа попало письмо, адресованное третьестепенному участнику банды Прохоренко, некоему Базавлуку, который содержался на усиленном режиме в Анзерском лаготеделении. Письмо свидетельствовало о том, что не все участники банды Прохоренко выявлены и арестованы. Кроме того, некоторые фразы давали возможность предположить, что банда являлась не уголовным формированием, из чего исходили судебные органы, а имела связи с украинскими и русскими белоэмигрантскими организациями в Польше. За Базавлуком установили тщательное наблюдение. В результате в руки чекистов попало еще два письма, которые не только полностью подтвердили политический характер преступлений, но и дали некоторые ориентиры для более глубокого расследования деятельности банды, ее заграничных связей, каналов получения оружия, денег, инструкций. Кроме того, в кулацком поселении на Муксалме был обнаружен хорошо законспирированный «почтовый ящик». Кажется, им пользовались не только прохоренковцы...

Поэтому материалы проверки по прохоренковцам в первую очередь привлекли внимание руководителя нашей бригады. Это дело было наиболее перспективным. И трое членов бригады вместе с группой сотрудников лагеря почти безвылазно сидели в Анзерском

отделении. На долю прибывшего за неделю до меня следователя по особо важным делам прокуратуры выпал Кегостров. Мне же досталась проверка разработки по контрабандисту, содержащемуся на комендантском ОЛП (отдельном лагерном пункте). У оперативников имелись сведения, что контрабандист не только промышлял трикотажем и парфюмерией, но и провозил через границу антисоветскую литературу, а возможно, и инструкции для контрреволюционных групп на территории СССР. Подтверждение этих сведений не усугубляло его положения (ставить вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам было нецелесообразно), но зато позволило органам НКВД обезвредить приграничные антисоветские центры, перекрыть каналы связи или использовать их в своих целях.

Мой подопечный, жуликоватый и смысленый малый, один из тех одесситов, которых драматурги очень любят изображать в своих пьесах как неиссякаемый кладезь прибатненного юмора, поняв, что откровенность лично ему ничем не угрожает, потихоньку «разматывался». Поэтому работа с ним проходила сравнительно безболезненно и отнимала у меня не так уж много времени. Начальство меня не беспокоило: из всей бригады на Большом Соловецком острове находился лишь я один. Таким образом, у меня были все возможности довести до конца «горелое дело», тем более что в силу случайных обстоятельств я познакомился с Зайковым не в служебной обстановке, что обычно затрудняет контакты, а в домашней.

Накануне моего приезда, точнее, прилета, на Соловки мне заказали номер в гостинице. Эта гостиница при управлении лагеря была маленькой, достаточно комфортабельной. Однако, всю жизнь недолбливая гостиницы, я довольно охотно уступил настояниям Арского, работавшего тогда заместителем главного инженера, и остановился у него. Арский, занимавший в административном поселке большую трехкомнатную квартиру, был очень доволен. Летом прошлого года семья его переехала в Архангельск, где старший сын поступил в институт, и Арский, привыкший к шумному, гомонящему дому, тяжело переживал тишину одиночества. Круглосуточно включенный репродуктор не мог, конечно, заменить семью.

— Вот так и живем, если это можно назвать жизнью, — мрачно басил Арский, шаркая подошвами комнатных туфель и показывая мне развешанные по стенам фотографии в лакированных рамках. — Полюбуйся, Юрка — старший. Ничего парень? Усы уже пробиваются... Да куда ты смотришь? Вот, перед тобой. Карточка, верно, паршивая. В комнате снимал. Недоучел освещение. Выдержка маленькая, затемнил. В жизни он лучше: кровь с молоком, косая сажень в плечах. От меня, к счастью, только рост взял. Остальное — от жены. Аня пишет: все девицы на корню сохнут. И в голове кое-что есть... А это — Пашка, последний, маменькин сынок, понятно.

Аня в нем души не чает. А это — средняя. Люба-Любаша... Трое, и все трое разные. Любка — та книжница. Кроме книги, ничего не надо. Поверишь, даже «Бетонные конструкции» читать пыталась. Пашка — егоза, юла. Хотя к стулу привинчивай. А Юра — тот все вобрал: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Правду сказать, разбрасывается. Ко всему тянется: к музыке, литературе, спорту, живописи. Иконы даже собирал. Не из религиозных, конечно, соображений, а с точки зрения старинной живописи. Икон-то у нас здесь много осталось. Вот он и коллекционировал...

Раз в своей жизни я уже имел дело с иконами. Это было в 1921 году во время голода в Поволжье, когда меня включили в комиссию по изъятию драгоценностей из церквей и монастырей. Комиссия в основном отбирала золотые и серебряные вещи, деньги от продажи которых поступали на особый счет Центральной комиссии помощи голодающим для закупки семян и продовольствия. Но иногда изымались и «произведения живописи, представляющие бесспорную ценность». Поэтому через мои руки прошла не одна сотня икон (в первую очередь оценивались серебряные оклады). И хотя я не стал специалистом, но довольно сносно разбирался в «спасах нерукотворных», «еммануилах», «вседержителях», богородицах, святых с житиями и без оных, «праздниках» и т. д. Получил я кое-какое представление и об иконописных школах, во всяком случае, мог отличить новгородскую икону от московской, а старую от современной.

И чтобы доставить приятное Арскому, я попросил его показать коллекцию сына.

Иконы, собранные Юрой, были преимущественно северного письма, что легко было определить по зеленому фону, но попадались и другие. Две, судя по ковчегу — небольшому углублению в доске, относились к шестнадцатому или семнадцатому веку.

— Ну как? — спросил Арский, складывая иконы обратно в ящик.

— По-моему, хорошая коллекция, — сказал я и, решив, что кашу маслом не испортишь, щедро добавил: — Очень хорошая.

Арский просил: похвала коллекции была похвалой и сыну.

Когда мы, поужинав, сели за шахматы (в отличие от Москвы на Соловках не было принято работать по ночам), я поинтересовался у Арского, самостоятельно ли сын собирал коллекцию.

— Как тебе сказать? Без консультанта, конечно, не обошлось. Есть тут такой. В этом году его досрочно освободили. Сейчас на поселении, а до этого свободный пропуск из зоны имел. У нас, как тебе известно, отношения между заключенными и вольнонаемными не поощряются, но я Юрке не препятствовал.

— Консультант-то из художников? — спросил я.

Арский улыбнулся:

— Из парикмахеров.

— Нет, серьезно.

— А я серьезно и говорю: из парикмахеров. Король соловецких парикмахеров. Как там у Лескова? Тупейный художник.

Мне так часто не везло, что фортуна должна была хотя бы для разнообразия чем-то меня одарить.

— Уж не Зайков ли?

— Он самый. А ты откуда о нем знаешь?

— Слышал.

— Да, он старый соловчанин.

— Кажется, из «Общества самоисправляющихся»?

— Верно,— подтвердил Арский.— Память у тебя — позавидуешь. Вот этот тупейный художник и был у Юрки консультантом. Должен сказать: неплохо в иконописи разбирается, не хуже, чем в парикмахерском деле и шахматах.

— Так он еще и шахматист?

— Первоклассный. Я у него ни одной партии не выиграл, да и тебя обставит... Можешь, кстати, проверить. Он ко мне иногда заходит по старой памяти. Вот и завтра будет. Сыграй с ним, если, конечно, подобных знакомств не остерегаешься.

Я «подобных знакомств» не остерегался. Поэтому на следующий вечер, когда Зайков должен был зайти к Арскому, я отложил посещение концертной бригады, которой очень гордился начальник культурно-воспитательного отдела, и остался дома.

Какое же впечатление производил Зайков?

Тюрьма, исправительно-трудовая колония и лагерь обычно накладывают на внешность и манеры определенный отпечаток, который стирается только временем. Но Зайков не был похож на недавнего заключенного, точно так же как не был похож на парикмахера, дворянина или начальника штаба атамана Дутова. Он и его биография существовали как бы сами по себе, без связи друг с другом, не сближаясь и не перекрещиваясь. Сухощавый, стройный, с тонким лицом и картинной сединой в густых выющихся волосах, он выглядел значительно моложе своих лет. Легкая походка, которую старые романтисты называли «воздушной», быстрые, изящные жесты, поразительное внимание к своей внешности (казалось, он постоянно разглядывает себя в зеркале). Ему нельзя было дать не только его пятидесяти пяти, но даже сорока. Не почувствовал я и естественного, казалось бы, для его положения надлома. Нет, Зайков не производил впечатления озлобленного, раздавленного человека. Скорей ему присуща была жизнерадостность, которая, видимо, складывалась из умения довольствоваться малым.

Держался Зайков просто, с естественной доброжелательностью довольного судьбой человека, которому не обременительно доставить приятное ближнему. В его поведении не ощущалось ни поδοбострастия, ни развязности, ни приниженности. Непоканной интeрес к собеседнику, слегка подчеркнутая вежливость, благодушный тон, мягкий юмор, к месту сказанная острога.

Арский проиграл Зайкову одну партию в шахматы, я — три. Король соловецких парикмахеров оказался прекрасным шахматистом — вдумчивым, осторожным и в то же время напористым. Возможно, конечно, что я несколько переоценил его способности, потому что сам в тот вечер играл ниже своих возможностей. Ведь меня интересовали не столько шахматы, сколько партнер. Мне хотелось составить какое-то представление о нем: как-никак, а от его показаний во многом зависел исход «горелого дела».

Но я проиграл не только в шахматы... Зайков оказался для меня загадкой. Очень странным человеком был Иван Николаевич. Станным и непонятым. Обычно особенности людей при всем их многообразии и сложности укладываются в какую-то определенную схему. Мало-мальски зная человека, легко предугадать, как он будет вести себя в той или иной ситуации, на какие способен поступки, чего от него следует ожидать. Ошибки тут, разумеется, не исключены, но доля вероятности все-таки велика. А Зайков в схему не укладывался и предугадать его поведение было невозможно, во всяком случае, я бы за это не взялся. И мысли его и действия отличались какой-то парадоксальностью, в которой я не чувствовал логики. От него можно было ожидать всего: честности, подлости, бескорыстия, стяжательства, благородства, низости, смелости и трусости. Причем все это было в одинаковой степени возможно и вероятно.

Даже теперь, после его смерти — он умер в 1946 году, — мне трудно охарактеризовать его, хотя я знаю о нем все или почти все. Но что такое «все»? Я беседовал с ним, изучил его биографию, знаю, с кем он общался, на ком женился, круг его интересов, привычки... Но ведь это только оболочка, скрывавшая какой-то душевный костяк, стержень. А до него я так и не добрался. Но порой мне кажется, что никакого стержня у Зайкова не было, и сам он тоже не мог предугадать своих мыслей и поступков, которые были для него такой же неожиданностью, как и для окружающих.

Что же касается вечера, о котором я пишу, то из знакомства с королем соловецких парикмахеров я вынес только одно: прежде чем допрашивать Зайкова в качестве свидетеля, желательно получить дополнительные данные, потому что иначе ни за что ручаться нельзя. Зайков не был тем непоколебимым свидетелем, о котором мечтает каждый следователь, ведущий запутанное дело. Он мог оказать неоценимую помощь, но мог и сознательно завести дело в тупик.

Степень вероятности того и другого была почти одинакова, а мне не хотелось рисковать у самого финиша. Очень не хотелось!

Еще в первый день своего приезда я попросил начальника одного из отделов лагеря подготовить мне списки всех освобожденных из заключения в период с июля по октябрь прошлого года, а также перечень поселенцев, выезжавших на континент. Одновременно один из оперативников отдела занялся по моей просьбе списком тех, кто в разные годы входил в «Общество самоуправляющихся» или имел какое-либо отношение к лагерной художественной самодеятельности.

Я ни минуты не сомневался, что в этих списках обязательно окажется тот рыжеволосый незнакомец, приметы которого описали Грибанова и работник скупки.

Это был беспроектный путь, исключавший случайности. Отыскав рыжеволосого и допросив его, я бы уже не зависел от Зайкова, который автоматически превращался из главного свидетеля во второстепенного. Все преимущества этого пути не могли искупить один, но весьма существенный его недостаток...

В полученных мною списках были сотни и сотни фамилий. И даже если бы мне в помощь выделили двух или трех сотрудников отдела, проверка заняла бы не меньше двадцати, а то и тридцати дней — срок неимоверно большой. Это вынуждало меня идти на очевидный риск. Что поделаешь, выбора у меня не было. Сидеть на Соловках месяц я не мог.

И я предложил Зайкову после трех проигранных мною партий четвертую, самую ответственную и самую рискованную, которую я собирался во что бы то ни стало выиграть. Разыгрывал я ее вопреки всем правилам теории и практики. Именно в этом и заключалось мое преимущество.

## XXV

В забранное редкой железной решеткой окно смотрела коренастая Архангельская башня Соловецкого кремля. Чуть дальше — такая же массивная Поваренная, наполовину прикрывающая собой Квасоваренную, где теперь размещалась каптерка, а в двадцатые годы — образцовая «вошебойня», державшая устойчивое первенство среди всех санобъектов лагеря. Ею тогда заведовал бывший офицер врангелевской контрразведки, поборник чистоты, тонкий ценитель плакатов санпросвета и постоянный поклонник Сони Мармелада... Между башнями — глухая стена из серых валунов. Над ней — крыши внутренних построек и конусы Спас-Преображенского и Успенского соборов. Еще выше, у верхнего края окна, белесое, в тон снега, небо. По льду Святого озера тянулись волокуши с бревнами — топливо для паровозов узкоколейки.

В моем временном кабинете было тепло и тихо. Толстые бревенчатые стены и двойные двери с тамбуром не пропускали ни звука.

Зайков выжидательно посмотрел на меня. В его глазах не было настороженности — одно веселое любопытство. Точно с таким же любопытством он глядел на меня во время игры, сделав какой-нибудь заковыристый ход. Но теперь между нами шахматной доски не было.

Захлопал крышкой подогревавшийся на электроплитке чайник. Я выдернул штепсель, крышка поднялась в последний раз и нехотя опустилась. Через отверстие в крышке пробивалась тонкая струйка пара, по запотевшему никелю покатались капельки.

— Хотите чаю, Иван Николаевич?

— Не откажусь...

Я заварил чай, разлил по стаканам, достал из тумбочки сахарницу и привезенную из Москвы пачку печенья «Карина».

— Кажется, названо в честь девочки, родившейся в Карском море? — Зайков рассматривал обертку.

— Да, в честь самой юной из челюскинцев — Карины.

— Печенье хорошее, — похвалил он. — К нам сюда такое не возят. — И, посмотрев на меня, сказал: — Трудно поверить, что я только утром имел честь брить вас. Быстро зарастаете.

— Что поделаешь.

— Вам бы следовало бриться дважды в день, как это делают англичане. Жаль, что сие у нас не принято. У русаков вообще нет уважения к бритве. Исключение разве только Петр Первый: прежде чем повернуть лик матушки-России к западу, он благоразумно обрел ей бороду, дабы не испугать европейцев звероподобным образом восточной соседки. Флот и бритва — его заслуга. Думается, что для него символом прогресса был хорошо выбритый русак с голландской трубкой в зубах на палубе судна, построенного сынами туманного Альбиона.

— Вам еще налить чаю?

— Пожалуйста, если вас не затруднит. Вы, конечно, москвич? Я имею в виду — уроженец Москвы?

— Да.

— Это легко определить по способу приготовления чая. Вообще заварка чая — искусство сугубо русское, так же как иконопись. Англичанам оно не дается, им мешает рационализм, а чтобы хорошо приготовить чай, надо быть поэтом. Я иногда жалею, что мне не пришлось пить чай у Пушкина...

— Но у англичан были Байрон и Мильтон...

— Запомню! — Зайков развел руками. — Видно, эти двое тоже умели заваривать чай!

Зайков говорил легко, весело, со свойственной ему непринужденностью, а в глазах его было все то же любопытство: он хотел



знать, зачем его сюда пригласили. Естественное желание. Вполне естественное...

— Иван Николаевич, почему вы избрали профессию парикмахера?

— Я бы сказал: куафера. Парикмахер — почти синоним цирюльника.

— Ведь вам предлагали работу, связанную с геодезией.

— Некогда на красных знаменах было написано, что каждый труд почетен.

— Но там же было написано: от каждого по способностям. Вы образованный человек, знаете языки, разбираетесь в экономике, математике, картографии...

— Ошибаетесь, Александр Семенович, ошибаетесь. Зайков, о котором вы говорите, давно умер, да будет ему земля пухом! — он шутливо перекрестился. — Умер тот Зайков, почил в бозе. А я всего-навсего однофамилец. Зайков, как известно, распространенная фамилия, Зайковых в стране сотни тысяч, а Ивановых — миллионы, и Иванов Николаевичей миллионы. Мой однофамилец изучал различные науки, был сведущ в языках, проливал свою голубую кровь за белую идею, почитал батюшку-царя и трехцветное знамя. Разве у меня есть с ним что-либо общее, кроме фамилии? Я только куафер, Александр Семенович, труженик брадобрейного цеха, мастер усов и прически...

— Это сейчас.

— Не верьте анкетам, Александр Семенович. Я всегда был куафером. — Он отломил кусочек печенья, положил его в рот, огляделся, словно только сейчас обратил внимание на комнату, в которой мы сидим, на зарешеченное окно и глядящую в него монастырскую башню. — Некогда я открыл для себя великую истину. Это открытие я сделал в отрочестве. Правда, не самостоятельно. Мне помогла Диана...

— Я не настолько хорошо знаю вашу биографию.

— Простите, вы совершенно правы, тем более что в анкетах я ничего не писал о Диане. Диана — это сука, гончая отца. Мой отец, человек старой закалки, любил мифологию, поэтому у нас были Дианы, Афродиты, Гераклы, Посейдоны... И это, заметьте, в Рязанской губернии. А история, в которой роль героини принадлежала Диане, назидательна, будто специально для школьной хрестоматии. Но мне не хочется отнимать у вас время.

— Я с удовольствием послушаю.

— Из вежливости?

— Не только... Из профессионального любопытства тоже.

— А вы откровенны, — сказал Зайков. — Ну что ж... В конце концов, это очень маленькая история. Кроме того, может быть, она вам действительно пригодится, кто знает... Мой отец, вернее отец

усопшего однофамильца, как вам, конечно, известно, был помещиком. — Он усмехнулся. — И помимо того, как вам, возможно, и неизвестно, страстным охотником. Впрочем, землевладельцы тогда почти все были охотниками, недаром говорили, что без борзого кобеля — не помещик. Псарня была гордостью и утехой отца. Он уделял ей много внимания, намного больше, чем моему однофамильцу, единственному сыну и наследнику. Странного в этом ничего не было: в отличие от детей собаки привязчивы, послушны и преданны. Лучшие щенки жили не на псарне, а в нашем доме, в комнатах. Диана считалась лучшей. Она была сообразительным кутенком с незаурядными цирковыми способностями. Я довольно быстро выучил ее разным кунштукам. А когда она подросла, отец взял ее на охоту. И тут, увы, оказалось, что Диана не унаследовала от своих чистопородных родителей ни порыска, коим те славились, ни их страсти к этому благородному занятию. Отец лично занялся ее натаской, но безуспешно. Он промучился с ней месяц и, убедившись в бесплодности всех своих попыток, приказал ее повесить. На осине. Это было, разумеется, не гуманно, но соответствовало обычаям. Осина считалась проклятым богом деревом. Существовало поверье, что на ней удавился Иуда, и с тех пор лист на осине дрожит, а под корой цвета пресловутых сребреников застыла иудина кровь. Склонные же к суевериям охотники считали, что не повесить на осине негодную борзую или гончую — значит искушать судьбу и навсегда лишиться удачи в охоте. В отсталой аграрно-феодальной стране, каковой тогда являлась Россия, предрассудками были заражены и эксплуататоры и эксплуатируемые, а антирелигиозная пропаганда преследовалась законом. И Диану повесили на осине. Вбили в осину крюк и повесили... Однако эта печальная дореволюционная история имеет счастливый конец. Некий благородный егерь, человек из народа, кстати говоря мой тезка, перерезал веревку и таким образом спас несчастную собаку от смерти. Он взял ее к себе. Отец, конечно, узнал об этом, но предпочел закрыть на случившееся глаза...

Зайков замолчал, и я спросил:

— Это все?

— Почти.

— А где же нравоучение?

— Нравоучение? Как и во всех хрестоматийных историях, соль здесь в послесловии.

— Вы меня заинтриговали.

— Итак, Диану спасли, — сказал Зайков. — Так мне, по крайней мере, казалось. А через год, уже будучи кадетом, я, или, точнее, мой однофамилец, навестил егеря и Диану, но... Но, представьте себе, Александр Семенович, что Дианы как таковой уже не было. Диана приказала долго жить. Собака егеря, хотя и была похожа на Диану, отзывалась лишь на кличку «Машка». А Машка не знала ни хозяина

Дианы, ни меня, ни кунштюков, ни осины, на которой повесили Диану... Вначале меня это удивило: ведь в кадетском корпусе не преподавали философии. Но после некоторых размышлений я кое-что понял. Я понял, что и животные и люди умирают не единожды, а многократно. И умирают и рождаются...

— В этом заключается ваше открытие?

— Да, его упрощенная схема, — Зайков улыбнулся. — Я понял, что после того, как удавившегося на осине Иуду вынули из петли, он мог воскреснуть Авелем, генералом Скобелевым или Борисом Савинковым.

— Вы не лишены воображения, Иван Николаевич...

— Свойство профессии. Куафер без воображения — ремесленник. И филировка волос, и силуэтная стрижка, и тушевка, и окантовка — все это требует фантазии.

— Возможно. Я плохо в этом разбираюсь. Итак, осина, выполняющая функции мертвой и живой воды?

— Я бы сказал иначе: дающая новую жизнь, ничем не связанную, кроме анкеты, с предыдущей. Цепочка смертей и рождений, чудесных превращений мертвых иуд в живых скобелевых, повешенных диан в машек...

— А полковников генерального штаба в куаферов?

— Я прожил несколько жизней, — сказал Зайков. — Полковник генерального штаба не сразу превратился в куафера. Первая моя осина была в октябре семнадцатого, вторая — в двадцатом, в Гурьеве, где мне привелось беседовать с одним очаровательным матросом из губчека. Потом третья, когда я стал интендантом, потом четвертая... Все в полном соответствии с законами диалектики развивалось по спирали, от низшего к высшему, от простого к сложному... Теперь я на вершине спирали, хотя у спирали, кажется, и не должно быть вершины. Теперь я куафер. Я родился куафером, Александр Семенович.

— Уничуждение паче гордости?

— Что вы, призвание! Чувствую, что вы должным образом не оценили моего открытия. И, смею вас уверить, напрасно. Скептицизм здесь неуместен. Куаферство действительно сейчас мое призвание. Скажу больше: кажется, оно было моим предназначением и раньше, в прошлых жизнях, только я не сразу понял это. Для многих подобная непонятливость закончилась трагически.

— Почему же? Согласно вашей теории, они могли воскреснуть и возродиться в любом образе. Вполне возможно, что они где-то здесь среди контрабандистов, казровцев или налетчиков.

— Вы правы, хотя я и подразумевал духовное воскресение, — согласился Зайков. — На такое предположение мне не хватило фантазии. Куафер — только куафер. Не больше.

— Кстати, когда произошло это чудесное превращение?

- Что вы имеете в виду?
- Воскресение вашего однофамильца куафером.
- Давно, очень давно...
- А все же?
- Вскоре после ареста, Александр Семенович.
- К тому времени, если не ошибаюсь, он уже был вторично женат? Ведь первая жена погибла в Омске в двадцать втором.
- И жена и сын...
- Простите. И жена и сын... Значит, он был вторично женат?
- Да.
- И жену звали Юлией Сергеевной?

Протянувший было руку за печеньем Зайков замер. Быстро взглянул на меня. Сделал глоток из стакана, скривил губы:

- А чай-то остыл, Александр Семенович...
- Я подогрею.
- Не утруждайтесь. С вашего разрешения я это сделаю сам.

Он включил электроплитку. Темные витки спирали порозовели, затем стали красными.

— Быстро накаляется... Хорошая плитка. Вы ее тоже из белокаменной привезли?

- Нет, не из белокаменной.

Зайков бесшумно поставил чайник, посмотрел в окно, где заходящее солнце окрасило охрой остроконечный колпак Архангельской башни, а густая тень монастырской стены легла на лед Святого озера.

И я подумал, что он, наверно, очень любит Юлию Сергеевну, эту хрупкую женщину со злыми глазами, которая совсем неплохо приспособилась к жизни. Мне она не показалась ни красивой, ни умной. Мещанка, мелкая хищница.

Юлия Сергеевна, Шамрай, Зайков и неизвестный — треугольник, обогатившийся четвертым углом...

Зайков молчал. Вокруг глаз темнели тени. Дряблая кожа под подбородком, жилистая худая шея, обвислые брыли щек...

Почему мне раньше казалось, что он выглядит моложе своих лет? Куда там моложе — старше! Изжеванный, измусоленный жизнью человек. Старик, полюбивший молодую женщину. Древняя, как мир, история, которой куплетисты посвящают веселые песенки, хотя смешного здесь не так уж и много. Увы, Иван Николаевич, осина вам не помогла: Диана в Машку не превратилась. Еще никому не удавалось прожить вместо одной жизни десять. Годы, судьбу и историю не обманешь. Да и самого себя тоже трудно обмануть, хотя вы довольно искусно пытаетесь это сделать.

Зайков снял закипевший чайник, разлил чай, поставил передо мной стакан.

- Мне бы не хотелось говорить о Юлии Сергеевне...

— Знаю, Иван Николаевич.  
— Если бы вы больше не упоминали ее имени, я был бы вам очень благодарен. Более неприятную для меня тему трудно из-брать...

— Это я тоже знаю.

— И тем не менее хотите продолжить разговор?

— У меня нет иного выхода, Иван Николаевич.

— Вот как!

— К сожалению. Для этого разговора, собственно, я и приехал на Соловки.

— Даже так?

— И это, кстати говоря, для вас не тайна.

— Я вас не понимаю, Александр Семенович.

— Понимаете, Иван Николаевич, прекрасно понимаете.

— Вы уверены?

— Разумеется.

— Откуда такая уверенность, позвольте полюбопытствовать?

— Вы получили письмо от Пружникова? — Он молчал, словно не слышал моего вопроса. А может быть, он действительно не слышал.— Получили или нет?

— Получил...

— Вот видите.

— Выходит, он писал под вашу диктовку? — обронил Зайков.

— Нет, письмо им написано самостоятельно,— сказал я,— по собственному желанию, точно так же, как и письмо Юлии Сергеевны.

— Но вы, конечно, знакомы с содержанием письма Пружникова? — Зайков ждал ответа.

— Тоже нет. Я не люблю читать чужих писем. Кроме того, Пружников не говорил, что собирается писать вам.

— Вы сами себе противоречите.

— Нисколько. Разве воображение — привилегия только куафиров? Зная ситуацию и Пружникова, нетрудно предугадать дальнейшее развитие событий, а следовательно, и содержание письма. Значит, я не ошибся?

— Не ошиблись.

— И как же вы отнеслись к моему возможному приезду?

— Откровенно?

— По возможности, если вас, конечно, это не затруднит.

— С полнейшим равнодушием, Александр Семенович. Ведь вы не в состоянии ни улучшить, ни ухудшить моего положения.

— Справедливо. Да я, признаться, к этому и не стремлюсь.

— И все же...

— И все же я обещаю не копаться в ваших отношениях с Юлией Сергеевной, или, если вас так больше устраивает, в семейных отношениях вашего однофамильца.

— Милость к павшим? — с иронией спросил Зайков.

— Нет, рационализм и целесообразность. У меня нет необходимости расспрашивать вас о Юлии Сергеевне: я с ней в Москве беседовал. Что же касается ее личной жизни, то это сугубо ваше дело.

— Только ее,— поправил Зайков.

— Пусть так. В любом варианте меня интересует лишь один случай, который произошел 25 октября прошлого года. Но прежде я попрошу вас взглянуть на эти стихи.

Зайков взял из рук стихи, вслух прочел:

— «Здорово, избранная публика, наша особая республика...»

— Кем это написано?

— Вы же прекрасно знаете, что мною,— сказал он...— А если бы не знали, то легко могли установить с помощью графологической экспертизы.

— Графической.

— Графической. Я в сыске профан.

— Это ваше сочинение?

— Нет.

— А чье?

Он развел руками:

— Фольклор. Репертуар раешников. В конце двадцатых годов это исполнялось во всех отделениях и пользовалось у публики неизменным успехом. Это и еще: «Бросая темным братьям свет, нас освещает и просвещает наш Соловецкий культпросвет...»

— А почему раешник написан вашим почерком?

— Потому, что он одна из ста или ста пятидесяти копий, сделанных мною для поклонников жанра... Тогда я еще курил, а каждый экземпляр стоил пять папирос или полстакана махорки первого разбора. Самые светлые годы в моей новой жизни — признание, популярность, непоколебимый авторитет, вес в обществе. Я был принят в высшем свете, и даже Павел Нифонтович Брудастый, по кличке «Утюг», и тот удостаивал меня рукопожатием... Успех, слава, махорка... О чем можно еще мечтать? От одних воспоминаний голова кружится!

— Вы знаете, как попала ко мне эта бумажка?

— Нет, конечно.

— Странно, что Юлия Сергеевна не написала вам.

— Извините за тривиальность, Александр Семенович, но в жизни вообще много странного.

— Эта бумага оказалась среди документов, брошенных в почтовый ящик. Перед этим документы находились в портфеле, который пропал у ответственного работника, управляющего московским трестом...

— Любопытно.

— Очень.

— Как же раешник попал туда?

— Видимо, новый обладатель портфеля, ценитель соловецкого фольклора, был рассеянным человеком.

— Вероятно.

— И еще одна деталь. На личных документах пострадавшего, брошенных в почтовый ящик, не оказалось фотографий владельца.

— Ценитель соловецкого фольклора сорвал их?

— Не сорвал. Снял. Очень аккуратно, как будто боялся повредить их...

— Вот как?

— Такое впечатление, что фотокарточки были для чего-то нужны.

— Зачем же они ему потребовались?

— А почему, собственно, «ему»? Не исключено, что они предназначались для кого-то другого...

— Например?

— Например, для товарища по лагерю, с которым он вместе был в «Обществе самоисправляющихся»...

— Смелое предположение,— Зайков усмехнулся.— Чересчур смелое... Но все-таки какое отношение ко всему этому имеет Юлия Сергеевна?

— Если не возражаете, я поделюсь еще одним «чересчур смелым» предположением.

— Ну что ж...

— Допустим — я повторяю: допустим — 25 октября 1934 года к Юлии Сергеевне в девять вечера приехал на квартиру ее старый знакомый, управляющий трестом, в котором она раньше работала, а затем вынуждена была уволиться. По собственному желанию, разумеется... Жена и дочь знакомого находились на юге, в санатории, поэтому...

— Если можно обойтись без подробностей,— прервал меня Зайков.— я буду вам очень благодарен.

— Извините, Иван Николаевич. Я могу обойтись без подробностей. Они не столь уже необходимы. В общем, через час или полтора уединение нарушил неожиданный гость — рыжеватый человек средних лет, приехавший в Москву с дальнего Севера. Муж Юлии Сергеевны, Иван Николаевич Зайков, отбывший наказание в Соловецком лагере особого назначения и живущий теперь на поселении, попросил навестить жену, передать ей письмо и маленькую посылку. Судя по всему, рыжеволосый симпатизировал товарищу по «Обществу самоисправляющихся» и принимал близко к сердцу его интересы. Застав у Юлии Сергеевны мужчину, он несколько превысил свои полномочия...

Зайков сидел, опустив голову. Я не видел его лица, только отли-

вающие серебром волосы. Врачи, оперируя, пользуются анестезией. Мы же, рассекая скальпелем чужую душу, не прибегаем к наркозу. Обезболить душу, к сожалению, нельзя. Ни масок, ни наркоза. Один скальпель...

— Что же было дальше? — глухо спросил Зайков, не поднимая головы.

— Скандал. Настолько шумный, что его слышали соседи. Знакомый Юлии Сергеевны вынужден был спасаться бегством, благо его машина стояла у подъезда.

— Все? — Зайков сидел в прежней позе, но в голосе его я почувствовал какую-то новую нотку. Кажется, самое неприятное уже осталось позади. Последний надрез, и пусть этот треклятый скальпель летит ко всем чертям! — Все?

— Почти все, Иван Николаевич. Но соль здесь, так же как и в вашей назидательной истории, в самом конце. Учítывая, что рыжеволосый был не только благородным мстителем, носителем справедливости и так далее, но и человеком с определенным прошлым, а возможно, и настоящим, портфель Шамрая оказался у него. И распорядился он содержимым портфеля в полном соответствии со своими взглядами: часы и портсигар отнес в скупку, документы бросил в почтовый ящик, а фотографии как вещественное доказательство представил мужу Юлии Сергеевны, то есть вам... Что к этому можно добавить? Разве только то, что, изучая надписи на часах, он обратил внимание на фамилию Пружникова, бывшего заключенного и члена «Общества самоисправляющихся». О Пружникове он слышал, а возможно (это менее вероятно), знал его лично. Во всяком случае, часы, предназначавшиеся Пружникову, в скупку сданы не были. Пружников получил их, что едва не закончилось для него трагически. На этот раз все, Иван Николаевич.

Зайков молчал, и я не спешил прервать это молчание. Прежде чем принять решение, ему нужно было собраться с мыслями. Это было его право, и я не собирался на него покушаться.

Минута, вторая, третья...

— Разрешите вопрос, Александр Семенович?

— Конечно.

— Вы здесь для того, чтобы привлечь к ответственности предполагаемого похитителя портфеля?

— Разумеется, нет. Он мне нужен только как свидетель. Происшедшее на квартире Юлии Сергеевны имело далеко идущие последствия.

— Понимаю. И еще один вопрос, хотя я заранее знаю ваш ответ... То, что вы сейчас рассказали, конечно, полностью доказано?

— Нет. Далеко не полностью.

Он удивленно посмотрел на меня:

— Не думал, что вы в этом признаетесь.



— Почему?

— Да как-то в этом не принято признаваться... — Зайков помолчал. — А ведь ваше предположение может не подтвердиться.

— Думаю, что оно все-таки подтвердится.

— С моей помощью?

— Да.

— Вы рассчитываете на то, что отдам вам якобы находящиеся у меня фотографии, письма Юлии Сергеевны, письмо Пружникова и назову фамилию того незнакомца?

— Да.

Зайков усмехнулся и, словно разговаривая сам с собой, тихо сказал:

— Станный вы человек, Александр Семенович. Или слишком хитрый, или слишком наивный — не пойму. И игра, которую вы со мной затеяли, тоже очень странная: ведь вы играете в «поддавки», а мы так не договаривались. Нет, Александр Семенович, не договаривались. Такого уговора не было...

— Но почему игра?

— А что же? Охота «на писк»?

— Как охота «на писк»?

— Забыл, что вы не охотник, Александр Семенович. «На писк» — это когда притаившийся стрелок приманивает лису мышинным писком. Сытый охотник, голодная лиса и взведенный курок... Старинный вид охоты, требующий выдержки и умения подражать мыши.

«Пятьдесят против пятидесяти, — подумал я, но тут же усомнился: — Хотя нет, теперь уже не пятьдесят против пятидесяти. Соотношение «за» и «против», пожалуй, изменилось. Семьдесят против тридцати, а может быть, и девяносто против десяти... Равновесия уже нет: Зайков приблизился вплотную к какому-то решению».

В этом я был почти уверен. Но к какому? Куда переместился центр тяжести? Спокойно, Белецкий, не торопитесь. Все будет хорошо. Должно быть хорошо. Итак...

— Игра, охота, — сказал я. — А если это не то и не другое?

— А что же?

— Естественная попытка искреннего разговора.

— Естественная?

— Да. Вас это удивляет?

— Меня сегодня все удивляет. Но... — Зайков выдержал паузу. — Допустим, вы не кривите душой. Допустим, это действительно естественная, — он выделил интонацией слово «естественная», — попытка искреннего разговора. Допустим... Но разговора с кем? С бывшим дворянином? С совслужащим? С заключенным? С обманутым мужем?

— Нет, просто с Зайковым, Иваном Николаевичем Зайковым,

который выдумал себе осинку и несколько жизней, а ведь каждый живет всего одну жизнь, но зато долгую, очень долгую... Так-то, Иван Николаевич!

Он испытующе посмотрел мне в глаза, улыбнулся:

— Забавно.

— Нет, тоже естественно.

— Очень забавно, — повторил он.

Теперь я, пожалуй, безошибочно знал, куда переместился центр тяжести.

— Я предлагаю Ивану Николаевичу Зайкову ответить откровенностью на откровенность.

— Но вы все же ошибаетесь, Александр Семенович, просто Зайкова не существует.

— Он передо мной.

— Нет, перед вами куафер. А какой спрос с куафера? Стрижка, бритье, прическа... Он не должен вмешиваться в дела, которые не имеют прямого отношения к его призванию. Но в ваших доводах есть прелесть если не новизны, то некой соблазнительности. И если бы я был тем, о ком вы говорите, то...

— То?..

— То я бы ответил вам откровенностью на откровенность...

— А именно?

— Я бы, например, признал, что вы почти ни в чем не ошиблись в своих предположениях. Действительно, портфель, забытый ответственным работником, оказался в руках рыжеволосого, но забытый, заметьте, а не похищенный. Я бы сказал, что фотографии, как вы догадались, попали к мужу Юлии Сергеевны и до сих пор хранятся в его чемодане вместе с письмами жены. Я бы назвал и фамилию рыжеволосого, Гордея Анисимовича Чипилева, который находится на поселении и работает на молочной ферме в Муксалме. Но...— Он беспомощно развел руками:— Я только куафер, Александр Семенович. Поэтому не обессудьте, я не могу вам ответить откровенностью на откровенность. Вы завтра у меня бреетесь?

— Если не возражаете.

— Буду рад снова встретиться с вами. А над моим советом все-таки подумайте.

— Каким советом? — спросил я, еще не понимая до конца, что сейчас была дописана последняя страница «горелого дела».

— Над советом бриться два раза в день, как это делают англичане, — напомнил Зайков и постучал ложечкой о край стакана.

— Обязательно подумаю, Иван Николаевич. Очень вам благодарен.

— За совет? Пустое! Куафер обязан заботиться о внешности своих клиентов, даже если это случайные клиенты. Выражаясь ва-

шим языком, это естественно. А теперь разрешите мне откланяться. До завтра, Александр Семенович!

— До завтра, Иван Николаевич.

## XXVI

Из-за внезапной оттепели я вылетел с Соловков на два дня позже, чем рассчитывал. Оттепель была и в Архангельске. Зато Москва встретила меня снегом и довольно крепким морозом, который принято называть бодрящим.

Заснеженные крыши, заиндевшие ветви деревьев на бульварах, боты, валенки, красные носы и отбивающие чечетку мороженщицы... И все же в московском воздухе чувствовался запах весны. Она возвещала о себе вороньим граем, пучками вербы, которую продавали на всех углах, оживленной суетней юрких воробьев и оживленными лицами прохожих. Ничего удивительного здесь не было: март...

На Кузнецком мосту в зеркальной витрине Центрального универмага Наркомвнуторга сверкал улыбкой манекен очаровательной девушки в купальном костюме. Выпивтив широкую грудь в динамовской майке, готовился прыгнуть с вышки светло-русый физкультурник. На них с доброжелательной снисходительностью взирал манекен худосочного кавалера в костюме восемнадцатого века. На нем было все, что полагалось: короткие штанишки ученика первой ступени, еще не сдавшего норм на значок ПВХО<sup>1</sup>, женские чулки с кокетливыми подвязками, плащ, камзол и самая настоящая шпага — предмет зависти столпившейся у витрины детворы. Имея такую шпагу, легко стать героем двора. Да что там двора — переулка, школы, улицы!

Кавалер, точно так же как и его сосед по витрине — моложавый древний грек в легкомысленных сандалиях, — уже обжился на Кузнецком мосту и если иногда поругивает русский климат (снег и мороз в марте), то внешне ничем не проявляет своего недовольства. А может быть, для всех них витрина универмага то же самое, что для Ивана Николаевича Зайкова Соловецкие острова?

Но Архангельск и Соловки позади. О них лишь напоминают хранящиеся в пакете фотокарточки Шамрая, два письма Юлии Сергеевны, протоколы допросов ее мужа, а также Гордея Чипилева (он же Ярош, он же Дунайский, он же Балавин) и докладная, которую я сегодня передам Сухорукову... Вчера я этого сделать не смог: Виктор целый день был в наркомате.

Отсутствовал я немногим больше двух недель — срок небольшой, но для Москвы и немалый. Это могли засвидетельствовать

---

<sup>1</sup> ПВХО — противовоздушная и химическая оборона.

газеты, на которые я с жадностью набросился в первый же день приезда. Пестрела новостями и наша стенгазета «Милицейский пост» — любимое детище Фуфаева.

Появившиеся здесь за время моей командировки материалы сообщали о лыжном переходе Москва — Ленинград, в котором участвовали бойцы, командиры и политработники ОРУДа, об обязательстве отделения выполнить на сто процентов план участия бригадмильцев в центральном и районном оцеплениях, о приближающемся празднике Первое мая и о подготовке помещений для летних лагерей милицмейских подразделений. В статье секретаря комсомольского бюро «Как выполняются решения IX съезда ВЛКСМ» подводились итоги первого тура военно-технического экзамена — сдачи комплексов норм на «военно-грамотного человека» (знание автомотора, уход за конем, санитарная оборона и стрельба из винтовки).

Под рубрикой «Наши ударники» мое внимание привлекла маленькая заметка, посвященная Эрлиху, который, «проявив волю и настойчивость, несмотря на все препоны, выявил затаившегося в подполье врага...». Фамилии автора под заметкой не было, стояла лишь одна буква Ф.

Выявленным врагом, разумеется, был Явич-Юрченко, что же касается «препон», то они только упоминались. Но недоговоренности недоговоренностями, а смысл достаточно ясен: несмотря на противодействие начальника, Эрлих все-таки добрался до истины. Ура, Август Иванович!

Да, с заметкой поспешили. Явно поспешили. И автор и редколлегия. Можно было дождаться моего приезда. Хотя... Раз Белецкий отстранен от расследования, то сие ни к чему. Тоже верно. И все же жаль, что заметку поместили и поставили Эрлиха в дурацкое положение. Прав все-таки не он, а Белецкий. Белецкий и... Русинов. Да, Всеволод Феоктистович, хотя он и умолчал о своей гипотезе...

Мысль о только что состоявшемся объяснении с Русиновым была неприятна.

Еще на Соловках, сопоставляя различные факты, я пришел к заключению, что Русинов с самого начала обо всем догадывался и только трусость помешала ему довести дело до конца. Но в моем убеждении, где-то в дальнем уголке притаилось спасительное «а вдруг»... Мне чертовски хотелось, чтобы это «а вдруг» оказалось спасительной правдой, чтобы Русинов с возмущением отверг все и вся, чтобы он остался для меня прежним Русиновым, человеком, в честности и порядочности которого я никогда не сомневался. Но «а вдруг» не произошло. Я, к сожалению, не ошибся. А ведь порой ошибка — что-то вроде спасительного якоря. Так приятно иногда ошибаться!

И вновь перед моим мысленным взором Русинов. На его очки

падают косые лучи света. Стекла нестерпимо блестят, скрывая глаза. И мне кажется, что у Русинова вообще нет глаз.

«Я вас не понимаю, Александр Семенович...»

«Вы же знали, что в действительности произошло на даче Шамрая».

«Нет...»

«Знали!»

«Я только подозревал. Я ничего точно не знал. Была лишь гипотеза...»

«Почему же вы ее не проверили?»

Молчание. На подбородке Русинова капельки пота.

«Я не в состоянии был проверить эту версию... Я не мог ее обосновать, она представлялась слишком надуманной... Ну и ситуация, естественно...»

«Ситуация?... Что вы подразумеваете под словом «ситуация»?»

«Ну как что? — недоумевает Русинов. — Обстановку в стране, накал страстей, всеобщую настороженность...»

«И вы считали это достаточным основанием для того, чтобы отдать под суд невиновного и выгородить мерзавца?»

«Я только прекратил дело производством... От этого никто не пострадал...»

«Правду, закон, справедливость и прочие «абстрактные понятия» вы, конечно, в расчет не принимаете?»

«Вы забываете, Александр Семенович, что Явича привлек к ответственности все-таки Эрлих, а не я...»

«Заслуга?»

«Нет, конечно, но...»

«Эрлих заблуждался, Всеволод Феоктистович. Он верил в виновность Явича и не кривил душой, не лгал. А вы лгали...»

«Я не лгал...»

«Лгать не обязательно словами. Лгать можно и молчанием».

Пауза.

«С одной стороны, Александр Семенович, вы, конечно, правы, но, с другой стороны...»

«Совесть имеет лишь одну сторону — лицевую», — обрываю я. А потом... Что было потом? Ну да, этот дурацкий вопрос:

«Что же будет дальше, Александр Семенович?»

Я ему посоветовал сделать две вещи: положить на стол свой партбилет и написать заявление об увольнении из уголовного розыска.

Русинов, конечно, не сделает ни того, ни другого. У него слишком гибкий ум. С помощью такого ума легко оправдать очередную сделку с совестью. Из партии его тоже не исключают: формально он не совершил никакого проступка. Что его порочит? Мои предположения, которые он вчера косвенно признал правильными при разговоре

с глаза на глаз? Но ведь у меня нет никаких доказательств, а он при случае от всего откажется. И этому он тоже найдет оправдание: «обстановка», «ложь в интересах семьи»... Да мало ли что еще! «Ситуация», словом.

Человек со своим характером, моралью, мировоззрением, волей — ничто. От него ничего не зависит и не может зависеть. Все определяет обстановка, она же — ситуация. Все без исключения в ее власти. Она, дескать, делает и героев и подлецов. В одной ситуации подлецы становятся героями, в другой — герои подлецами... Просто и удобно.

Но разве все удобное справедливо?

Ведь вы и сами, Всеволод Феоктистович, не верили в то, что говорили. К чему вранье? Вы не хуже меня знаете, что ситуации лишь выявляют скрытые человеческие качества, помогают превратить тайное в явное. Я мог всю жизнь заблуждаться на ваш счет, а теперь не заблуждаюсь, нет. И помогла ситуация. Она что-то вроде проявителя в фотографии, Всеволод Феоктистович...

— Все газету изучаешь? — спросил подошедший Цатуров.

— Как видишь... Кстати, кто заметку об Эрлихе написал?

— Редакционная тайна, — сказал он и посоветовал: — Даже если в груди бушует пламя, дым через нос все равно выпускай.

— Второе издание?

— Второе, дополненное, — уточнил Георгий. — А автора, честное слово, не знаю. У Алеши Поповича спроси.

Но проходивший через вестибюль Фуфаев сделал вид, что не заметил нас.

Цатуров с комическим ужасом посмотрел на меня:

— Ну, Белецкий, я тебе не завидую! Если Тринадцатый знак зодиака даже не посмотрел на тебя да еще брови нахмурил — жди несчастья.

— А ты что, в стороне? Ведь он на тебя тоже не посмотрел.

— Это брось, — возразил Цатуров. — Мы с ним перед началом рабочего дня дважды обнимались. Не вру, все подтвердят. Это, Белецкий, паек по особому списку на целый квартал. А ты с ним сегодня не виделся. Не виделся?

— Нет.

— То-то. Не иначе, как с работы снимать будут...

Цатуров, как всегда, шутил, между тем его пророчество было не так уж далеко от истины.

## XXVII

Виктор осторожно, словно боясь замарать руки, вынул двумя пальцами из папки несколько листов сколотой бумаги:

— Вот... Прочти...

Это было заявление Фуфаева, адресованное сразу двоим: Сухорукову и Долматову.

Уже из первых строк было видно, что Фуфаев наконец решил для себя вопрос, примером чего является Белецкий.

Белецкий был ярким примером человека, случайно попавшего в органы милиции. Он использовал свой высокий пост в личных целях, не имеющих ничего общего с правосудием. При этом он отличался моральной нечистоплотностью, политической незрелостью, неразборчивостью в личной жизни, что в конечном счете и привело его к серьезному проступку, если не преступлению...

Написано заявление было коряво, но с пафосом и фактами. Начиналось оно с моего отрицательного отзыва на проект «типового договора о соревновании между отделами уголовного розыска». На первый взгляд могло показаться, что подобный отзыв свидетельствует лишь о недооценке такого мощного рычага борьбы с преступностью, как ударничество. Но, увы, дальнейшее показывает, что это не случайный срыв, не недомыслие, а нечто хуже.

Когда расследовалось дело о покушении на ответственного работника и преступник благодаря настойчивости и принципиальности старшего оперуполномоченного Эрлиха был найден, Белецкий не только не помог своему подчиненному полностью изобличить Явича-Юрченко, а, наоборот, всячески затруднял работу уполномоченного, пытался подтасовывать улики и выгораживал обвиняемого.

Чем же объясняется пагубное вмешательство Белецкого в расследование?

Ответить на этот вопрос совсем нетрудно. Надо лишь обратиться к некоторым фактам биографии Белецкого. Белецкий женат на бывшей любовнице преступника гражданке Ревинной. Именно под ее влиянием он изменил своему партийному и служебному долгу...

— Закуришь? — спросил Виктор. Он всегда считал, что курево успокаивает нервную систему, и спешил выполнить свои дружеские обязанности.

— Закурю.

Виктор зажег спичку, предупредительно поднес ее к моей папиросе.

— Мерзость?

— А ты в этом не уверен?

— У тебя выработалась очень своеобразная манера разговора со мной...

— Извини.

— Чего уж тут извиняться... — Сухоруков нахмурился. — Ну, что скажешь?

— Скажу, что очень странно.

— Что именно? Что Фуфаев написал заявление?

— Нет, странно, что под ним лишь одна подпись. Здесь вполне достаточно места для двух... Или Эрлих написал отдельно?

— Это ты зря.

— Фуфаев разве не предлагал ему? — поинтересовался я.

— Предлагал. Но Эрлих отказался. Он у меня был по этому поводу. Говорит, никаких претензий к тебе у него нет, ошибиться может каждый.

— Вон как? Приятно слышать. А что касается заявления Фуфаева, лет двадцать назад я бы знал, что делать...

Виктор скрипнул своим вращающимся креслом, усмехнулся:

— Ну, лет двадцать назад ты бы, допустим, побил ему морду. Но, учитывая, что ты не гимназист и тебе уже тридцать пять, метод для установления истины не самый подходящий.

— Истина тут ни при чем.

— Хоть крупица правды есть в заявлении?

— Крупица? Почему же крупица? Все правда. От начала и до конца. Действительно, я недооценил роль ударничества в борьбе с преступностью. И Эрлиху мешал, и Рита приходила ко мне с просьбой разобраться в обоснованности обвинения. Факты, товарищ Сухоруков, голые факты...

Видимо, Сухоруков решил, что моя нервная система в дальнейшем укреплении не нуждается: не предложив мне очередной папиросы, он закурил сам.

— Тебе не кажется, что время для шуток неподходящее?

— Кажется.

— Долматов предложил это заявление вынести на обсуждение партбюро, но предварительно он хочет с тобой побеседовать.

— Разумно.

Сухоруков скомкал пустую пачку от папирос, швырнул ее в корзину для бумаг. Достал новую. Едва сдерживая себя, сказал:

— Я тебя пригласил не для оценки действий Долматова. И не для оценки моих действий.

— Для чего же тогда?

— Ты понимаешь, что все это может стоить тебе партийного билета?

— Нет, не понимаю. Не понимаю и, наверное, никогда не пойму, почему заявление мерзавца должно сказаться на мнении честных людей.

— Не все знают тебя двадцать пять лет, а я только один из членов партбюро.

— Зато все знают Фуфаева.

— Пустой разговор, — сказал Виктор. — Заявление будут разбирать и проверять. Таков порядок, и от него никуда не денешься. Кроме того...

— Ну-но, слушаю.



- Ты же сам говоришь, что Рита просила за Явича. Верно?
- Верно.
- А ты мне об этом не рассказывал... Тут ты тоже прав?
- Нет.

— Вот видишь. Я-то тебя, конечно, могу понять. Я знаю тебя, Риту, ваши взаимоотношения...

- А все-таки для чего ты меня вызвал?

— Тебе придется представить письменное объяснение. Я хотел вместе с тобой обсудить его.

- Тронут, но оно уже составлено.

- Хватит, Саша.

- Я говорю вполне серьезно. Вот мое письменное объяснение.

Он взял докладную, удивленно посмотрел на меня:

- Что это?

- Письменное объяснение. Прочти.

— Тяжелый ты человек. Крученный...— Сухоруков полистал докладную, заглянул в конец, скрипнул стулом.— Ты что же... занимался в командировке «горелым делом»?

- Заканчивал его.

- Ну знаешь ли!

- Прочти все-таки.

- Прочту, конечно.

Он глубоко и безнадежно вздохнул, как человек, окончательно убедившийся в том, что имеет дело не просто с рядовым дураком, а с законченным идиотом. Еще раз вздохнул и начал читать.

Прочитав первую страницу, Сухоруков коротко исподлобья взглянул на меня:

— У тебя что-нибудь есть под этим? — он постучал пальцем по докладной.

- Все есть.

- А поконкретней?

- Все, что требуется: показания свидетелей, акты, протоколы...

— Та-ак,— протянул он и снова склонился над докладной. Я видел, как на его скулах набухают желваки и сереет лицо.— Та-ак...

- Тебе дать протоколы?

- Успеется.

Теперь он читал вторую страницу. Я ее помнил наизусть, впрочем, как и всю докладную.

«...Таким образом, оставив у Зайковой портфель, Шамрай никак не мог привезти его к себе на дачу и положить в ящик письменного стола. Не мог он и закрыть этот ящик на ключ. Как показал слесарь Грызюк, замка в ящике не было. Накануне пожара Грызюк по просьбе Шамрая вынул старый, давно испорченный замок, а новый не врезал, ибо не имел тогда подходящего (замки производства

артели «Металлоизделия» ему доставили лишь через день после пожара).

Следовательно, показания Шамрая в этой части — ложь, вызванная стремлением обвиняемого уйти от ответственности за проявленную им халатность...

— Шамрай еще не обвиняемый,— сказал Сухоруков.

— Да, там описка. Он еще не обвиняемый...

Виктор прикурил от своей папиросы.

— Явич все-таки был в ту ночь на станции или нет?

— Был. Гугаева не ошиблась. Но на перроне он оказался уже после начала пожара, около четырех утра.

— А до этого?

— Выдвинутое им алиби подтвердилось. Ночь он провел на даче своих приятелей.

— Борисоглебских?

— Да. Их дача вот здесь, по другую сторону железнодорожной линии,— я показал Сухорукову помеченное крестиком место на плане.— В трех километрах от станции и в четырех от коттеджа Шамрая. Явич засиделся у них до трех, и они провожали его на станцию.

— Но Борисоглебский же опроверг алиби Явича.

— Да, после того как Шамрай посоветовал «не вмешиваться в эту грязную историю»...

— Показания Борисоглебского?

— И его и ее. Я их допрашивал перед отъездом в командировку.

— Явич во время пожара находился на станции?

— Нет. Увидев зарево, он решил оказать помощь в тушении и отправился в поселок, но, выяснив по пути, что горит дача Шамрая, и опасаясь навлечь на себя подозрения, вернулся на станцию. Там он вскочил в проходивший товарный поезд и уехал в Москву. Этим, кстати, объясняются царапина и отсутствие пуговиц на сорочке.

Вторая страница прочитана. Теперь третья:

«...Как видно из последнего протокола допроса Зайковой и ряда оперативных данных, явной ложью является также утверждение Шамрая о поджоге и нападении неизвестного, покушавшегося якобы на убийство. Причина пожара скорее всего — неосторожное обращение с электронагревательным прибором. При опросе жена Шамрая сказала, что ее муж отличается рассеянностью и неоднократно забывал выключать электроплитку, что дважды чуть было не привело к пожару. Кроме того, на месте происшествия старшим оперуполномоченным Русиновым был обнаружен не приобретенный по неизвестным мне мотивам к делу обгоревший обрывок электропровода с розеткой, в которую вставлен штепсель...»

— Выстрелы? — спросил Сухоруков.— Ведь многие свидетели слышали выстрелы...

— Шамрай хранил на даче охотничьи припасы, в том числе

порох. По этому поводу имеется заключение специалистов по баллистике.

— Взрывы под воздействием высокой температуры?

— Совершенно верно. Поэтому мы и не обнаружили ни пуль, ни следов от них.

Четвертая страница:

«...Вымышленная от начала и до конца версия о покушении служила далеко идущим целям.

Выговор за троцкистские колебания не только препятствовал продвижению Шамрая по службе, но и вызывал у некоторых членов партии, работающих под его началом, сомнения в возможности дальнейшего пребывания Шамрая на посту управляющего трестом и члена комиссии (см. копии протокола партийного собрания в тресте от 3/X 1934 г. и заявлений в райком партии тт. Якобса и Хабарова). Между тем вымышленная версия о покушении не только оправдывала потерю документов, но и способствовала упрочению положения Шамрая, создавала вокруг его имени определенный ореол, позволяла нажить политический капитал. В этом смысле очень характерны заметка «Пожар» в стенгазете треста (см. копию), которую Шамрай не постеснялся отредактировать в нужном для него духе, выступления Шамрая на торжественном вечере служащих треста и встрече с профсоюзным активом...

Шамрай, умело используя естественную реакцию общественности своего учреждения и сотрудников милиции на заявление о покушении, всеми силами препятствовал установлению истины, оказывал давление на свидетелей и руководящих работников вышестоящих органов дознания, спекулируя на таких понятиях, как бдительность, классовая борьба».

Пятая страница, шестая, седьмая и, наконец, восьмая:

«...В связи со всем вышеизложенным считаю:

а) поведение Шамрая компрометирует высокое звание члена партии;

б) оно несовместимо с дальнейшим пребыванием в партии;

в) действия Шамрая, выразившиеся в даче ложных показаний и обработке свидетелей, уголовно наказуемы.

Поэтому прошу:

1. Проинформировать о происшедшем парторганизацию треста и райком ВКП(б).

2. Направить представление об освобождении Шамрая от занимаемой должности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

4. Назначить комиссию для проверки работы старшего оперуполномоченного т. Эрлиха по расследованию указанного дела...»

Сухоруков дочитал докладную до конца. Отложил ее в сторону.

Потер ладонью лоб. Под куцыми бровями лезвиями бритвы тускло блестели сузившиеся глаза.

Я достал из портфеля протоколы — толстую стопку бумаг. Сухоруков просмотрел лежащий сверху протокол. Скрипнув креслом, встал, отнес документы в сейф, дважды повернул ключ. Все это без единого слова, молча. Но мне его молчание говорило больше, чем любые слова. Уж как-то так у нас сложилось, что молча мы всегда лучше понимали друг друга, чем когда пытались объясниться.

Виктор снял телефонную трубку:

— Говорит Сухоруков. Соедините меня с Долматовым... Здравствуй еще раз. Мне с тобой нужно срочно переговорить. По «горелому делу». Совершенно новые обстоятельства. Да, срочно... Очень срочно... Ты угадал: почти пожар... Хорошо, через десять минут...

Он повесил трубку.

— А все-таки ты мальчишка, Сашка. Совсем пацан. Тебя в детстве часто секли?

— Ни разу.

Виктор удивленно посмотрел на меня:

— Врешь!

— Честное слово, нет.

— Все равно врешь.

— Да нет же...

— Ну, нет так нет, — примирительно сказал он и, помолчав, добавил: — А меня в пацаньи годы частенько секли... Чуть ли не каждый день. И мать и отец. Только у матери рука была женская, легкая. У отца — потяжелей... Помнишь моего отца?

— Помню...

— Хороший мужик был. Разумный... Значит, говоришь, не секли? Ну, ну... — Он налил в стакан воду из графина, сделал два глотка, поставил стакан на стол. — А заседание партбюро, наверно, будет в середине следующей недели...

## XXVIII

Мой дневник заканчивается словами: «Заседание партбюро». Такой же краткой записью следовало бы, видимо, завершить и книгу, где читателю уже почти все ясно из предыдущей главы, а оставшееся «почти» совсем нетрудно домыслить. Но разбежавшееся перо останавливается не сразу, а память не желает подчиняться требованиям логики. Она восстанавливает передо мной большую, давно уже переделанную после очередного или внеочередного ремонта комнату в доме 38, где теперь надстроен еще один этаж, клубы табачного дыма, стакан и карандаш вместо председательского колокольчика, разгоряченные лица членов партбюро и растерянность в глазах Фуфаева.

Я хорошо помню вопросы, выступления, реплики Долматова и составленный им проект решения, по определению Цатурова, самого длинного решения, которое когда-либо выносило партбюро за всю историю своего существования. Партбюро не только поддержало мои предложения, которые я перечислил в докладной. В решении нашлось место и для Фуфаева, и для Сухорукова, и для Белецкого. Отметив мою настойчивость, принципиальность и другие похвальные качества, проявленные при расследовании «горелого дела», бюро — надо признать, что вполне справедливо, — осудило некоторые мои поступки, в частности то, что я не сообщил руководству о просьбе Риты. Лишь один участник всей этой истории не был упомянут — Русинов. Он остался в стороне. Не приобщенный к делу кусок провода? Оплошность, конечно. Но он, точно так же как и Эрлих, не предполагал, что в дальнейшем это будет иметь значение. С кем не бывает? В работе каждого можно отыскать погрешности. Все мы далеки от идеала. А в остальном... Его не за что было ни ругать, ни хвалить. Партбюро в отношении его не располагало никакими вескими данными: ни «с одной стороны», ни «с другой стороны».

Бурным было это заседание, на котором говорили о честности, принципиальности, законности, об ответственности коммуниста за порученное дело, о тех, кто пытается использовать обстановку в своих грязных и мелких целях, не останавливаясь перед наветами, клеветой и преступлениями...

Заседание закончилось далеко за полночь.

И снова мы с Виктором, как в памятную декабрьскую ночь прошлого года, вместе возвращались домой.

И снова была безлюдная ночная улица.

Похрустывал под сапогами тонкий, как бумага, ледок на прихваченных ночным морозцем лужах. Отсвечивали неярким светом уличных фонарей зеркальные витрины магазинов, вывески, темные окна жилых домов.

Москва спала. Спала спокойно, но чутко. Спали люди, станки, деревья с набухающими почками.

Но час-другой, и в предзвездных сумерках одно за другим засветятся окна. Они возвестят о начале трудового дня — одного из трехсот шестидесяти пяти дней третьего, решающего года второй пятилетки...

Загудят заводские гудки, застучат двери проходных.

Даешь пятилетку в четыре года!

Чугун, сталь, хитроумные приборы, самолеты, тракторы, ткани и... истина — наш вклад в общественное производство, наша продукция. Она нужна людям не меньше, чем одежда и обувь. Какая уж тут абстракция! Трудно отыскать что-либо более конкретное и весомое, чем законность, справедливость и принципиальность. Правда, их нельзя измерить тоннами, пудами или метрами. Но они

стоят и споров, и мучительных поисков, и бессонных ночей. Они необходимы, и это главное.

«Горновые, выплавляющие истину», — подумал я.

— Чего улыбаешься? — спросил Сухоруков.

— Да так, пришло в голову забавное сравнение...

— Забавное?

— Неожиданное.

Так же, как и в прошлый раз, расстались мы у Мясницких ворот, которые теперь уже назывались Кировскими. Виктор предложил зайти к нему, а я отказался:

— Поздно.

Он взглянул на часы.

— Пожалуй, ты прав. Ну, тогда загляни на этих днях. Посидим, старое вспомняем... Выберешь вечер?

— Конечно.

Я долго провожал его глазами. Виктор сутулился. Раньше он всегда ходил прямо, четкой походкой военного.

На бульваре снег еще сохранился, но был он уже ноздреватый, тяжелый и серый. Легкий ветерок покачивал над моей головой толстую паутину черных ветвей...

Только подходя к дому, я вспомнил, что оставил на работе подаренную мне Цатуровым отмычку. Опять мучиться с этим капризным приспособлением! Но замок на этот раз открылся без сопротивления.

Уснул я мгновенно, как только добрался до постели. В эту ночь мне ничего не снилось. Я спал как убитый. А утром меня разбудил телефон. Звонила Рита. Впрочем, этот звонок уже никакого отношения к «горелому делу» не имел...

## ОБ АВТОРАХ

### ИСПОВЕДУЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Когда с ним идешь по городу, то невольно ловишь взгляды прохожих, с любопытством разглядывающих твоего спутника. Так смотрят обычно на актеров и спортивных звезд. Но человек, о котором я пишу, не играет в кино, не умеет применять силовые приемы на ледяном поле. Он ученый, доктор юридических наук, профессор.

Но все же его знают. Миллионы телезрителей несколько лет подряд видели Анатолия Алексеевича Безуглова на голубых экранах в качестве ведущего одной из самых популярных передач «Человек и закон». Два раза в месяц с экрана телевизора со зрителями разговаривал умный, интересный собеседник, разъяснявший людям их конституционные права и обязанности.

Много лет назад, в 1962 году, мне попала в руки маленькая книжечка «Неожиданное доказательство» из серии Юриздата «Записки следователя». Я прочитал ее залпом, прочитал и удивился, как автору, Анатолию Безуглову, удалось так хорошо изучить предмет. Я сам в те годы был журналистом, много писал. Выполняя задания редакции, я бывал в колхозах, на стройке, у рыбаков в Находке, у полярников на Диксоне. Приходилось мне писать и о работниках прокуратуры, милиции, пограничниках. Но все это были очерки-однодневки, задача их — рассказать о сегодняшних труде и жизни наших людей, потому что газета живет один день.

В книжке Анатолия Безуглова я увидел нечто иное. Безусловное знание предмета позволяло автору показать работу следователя не внешне, а проникнуть в его труд изнутри. Отказавшись от присущей многим начинающим авторам излишней детективности, Анатолий Безуглов сконцентрировал свое внимание на нравственной основе взаимоотношений своего героя. Поэтому столкновения следователя и преступника становились столкновением двух полярных идеологий. В этом и была удача первой книги молодого автора.

Молодого! А так ли уж был молод он? Пожалуй, что нет, потому что в нашем деле возраст исчисляется не количеством прожитых лет, а той суммой опыта и жизненных наблюдений, которые сумел приобрести писатель.

Анатолию Безуглову тогда было всего тридцать четыре года. Четырнадцать лет назад он заканчивает Московский юридический институт и назначается прокурором уголовного судебного отдела

Прокуратуры СССР. Там он проходит путь от юриста второго класса до советника юстиции. В те годы работники прокуратуры носили погоны. На мундире Анатолия Безуглова были погоны с двумя большими звездами на двух просветах.

Итак, молодой растущий юрист. Сама специфика работы позволяет ему увидеть то, что в дальнейшем ляжет в основу будущих книг. Но пока их нет. Есть факт нарушения закона, и ведется расследование. Этим и занят следователь Безуглов.

Много позже в одном из разговоров он скажет мне: «Ты знаешь, почему я решил написать свою первую статью? Мне хотелось предостеречь людей от ошибок».

В 1956 году в газете «Труд» появилась первая статья советника юстиции Безуглова «Это касается всех». С той поры подпись «А. Безуглов» можно было увидеть на страницах: «Труда», «Советской России», журнала «Социалистическая законность».

Журналистика — это не просто профессия, это склонность характера. За более чем двадцатилетнюю работу в печати я не видел ни одного человека, не заболевшего нашим делом на многие годы. То же случилось и с Анатолием Безугловым. Он решает уйти из прокуратуры. Многие не понимали этого шага. Человек, добившийся многого по службе, юрист от бога, и вдруг все начинать сначала! Ломать жизнь! Он не испугался.

Итак, китель с погонами советника повешен в шкаф, начинается новая жизнь. Анатолий Безуглов — заместитель заведующего отделом в газете «Советская Россия». Потом учеба на факультете журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС, направление на ответственную работу в АПН. Журналистика позволила юристу Безуглову расширить жизненный кругозор, приобрести необходимый опыт и знание. Но все же Анатолий оставался юристом. Тема права, нравственного воспитания человека была темой его журналистского творчества. Так появились его книги «Неожиданное доказательство», «Пришедшие из мрака», «Чудак? Влюбленный...», «Кто виноват?». В них Анатолий Безуглов выступает как интересный публицист. Предмет изучения — нравственные отношения людей.

Опубликовав в 1973 году в «Подвиге» повесть А. Безуглова и Ю. Кларова «Покушение», редакция получила много читательских писем. В одном из них нас спрашивали, как началось творческое сотрудничество двух этих писателей.

Как, сказать трудно, а вот где — об этом, получив разрешение авторов, я расскажу. Юрий Кларов и Анатолий Безуглов вместе учились, вместе работали в органах советской юстиции, почти одновременно стали профессиональными журналистами. Даже книги у них выходили почти одновременно. Теперь, чтобы



усилить фактор одновременности, я скажу, что в тот день они одновременно обедали в столовой Прокуратуры СССР.

Дальше действие разворачивалось как в приключенческом романе. К ним подошел заведующий столовой Фатеев. Он знал, что двое друзей — хорошие юристы и журналисты с именем. Разговор был предметный. Человеку нужно помочь. А это святая обязанность журналиста.

Фатееву нужно было пересмотреть пенсию. Оказывается, много лет назад, с первых дней образования Московской уголовной розыскной милиции, он работал там оперативником. Когда журналисты прочли документы, они поняли, что стоят на пороге интереснейшей работы.

Заслуженный человек получил пенсию. Но документы помогли им найти нужное дело в архивах, встретиться с непосредственными участниками событий. Большую помощь в работе оказал Ю. Кларову и А. Безуглову ныне покойный полковник Тылнер, человек большого мужества и интереснейшей судьбы.

Так появилась повесть «Конец Хитрова рынка». О ней много писали, ее отметили премией МВД СССР. Так началось творческое сотрудничество писателей Анатолия Безуглова и Юрия Кларова. Авторы повести показывали мне письмо одного из ветеранов уголовного розыска, обращенное к герою книги Александру Белецкому. Старый работник вспомнил его. Он пишет, что даже помнит, в чем был одет Саша в тот день, когда они брали банду Комелькова. Мне кажется, что это лучшая оценка писательского труда, значит, герой их настолько правдив, что очевидцы того далекого времени находят в нем реальные черты реальных людей.

О повести «В полосе отчуждения» тоже много писали, она вызвала в свое время очень острый читательский интерес, привлекла внимание критики. Но и с ней связана одна весьма любопытная история. В повести есть дневник Богоявленского, очень интересное, аргументированное, опирающееся на факты авторское исследование последних лет царствования Николая II. После выхода в свет книги Анатолию Безуглову позвонил ученый-историк из Ленинграда и попросил дать ему познакомиться с дневником. Большого труда стоило убедить его, что никакого подлинного дневника нет, а это всего лишь литературный прием.

Чем же особенно интересна повесть «В полосе отчуждения»? Прежде всего тем, что в действие втянуты различные люди, представляющие самые разные социальные и политические устремления: типичные обыватели российские, напманы, уголовники, бывшие так называемые «обломки империи». Аргументированно и интересно разоблачается в романе сама «белая идея». Удивительно точно выписан образ Думанского, человека, кутающегося в ризы

монархизма, а на самом деле убийцы, авантюриста, стяжателя. Интересно и точно рисуют писатели обстановку, сложившуюся в придворных кругах в преддверии революции, последние дни последнего русского императора, разгул колчаковщины, обстановку во врангелевском тылу.

Создав трилогию о становлении Московского уголовного розыска, писатели вновь начали работать раздельно.

Анатолий Безуглов выпускает книги «Инспектор милиции», «Змееловы», «Закон есть закон», «Записки прокурора», «Презумпция невиновности», «Хищники», «Прокурор», «Преступники», «Следователь по особо важным делам».

Нелегко совмещать работу ученого-юриста с литературой, но, видимо, литература есть продолжение этой работы. Видимо, многое из того, что не вмещается в строгие канонические рамки науки, находит свою жизнь на страницах книг.

Несколько лет назад, выступая в дискуссии, проводимой «Литературной газетой», Анатолий Безуглов сказал: «Для меня очевидно, что сюжет детектива не может ограничиться действиями следователя, как бы талантлив он ни был. Если следствие, судебный процесс являются в детективе лишь фоном, на котором разворачивается история человеческих судеб, если писатель исследует какое-то общественное явление, отражает социальные процессы, происходящие в обществе, то, вероятно, это настоящая литература».

А. А. Безуглов — лауреат премии Н. И. Кузнецова и первой премии Всесоюзного конкурса Союза писателей и МВД СССР.

*Эдуард Хруцкий*

## ГОЛОС ВРЕМЕНИ

У каждого писателя свой путь в литературу. Но каждый так или иначе опирается в своем творчестве на личный жизненный опыт. Особенно (и это, очевидно, закономерно) на начальном этапе своей работы. Уже впоследствии, по мере овладения писательским мастерством, приобретая необходимые профессиональные навыки, он получает ту свободу и возможность распоряжаться жизненным материалом, не имеющим к нему, казалось бы, непосредственного отношения, которая вызывает у неискушенного читателя обманчивую легкость освоения писателем тех или иных событий, состояний, явлений. Именно «казалось бы», потому что так или иначе, но личность автора непременно присутствует в любом его произведении, проявляясь в растворенном виде и в

характерах его персонажей, и в психологических наблюдениях, в размышлениях, оценках и многом другом. Масштабом личности самого писателя, глубиной и серьезностью его раздумий определяется значимость его творчества, место, которое он занимает в рядах литературы.

Сергей Диковский писал: «Сила художника проявляется прежде всего не в описании, а в осмысливании жизни». И разумеется, это относится к любому роду и жанру литературы.

В нашем конкретном случае мы имеем дело с писателем, который занял свое прочное место среди мастеров жанра остросюжетной прозы, имеющей, без всякого преувеличения, самый широкий круг читателей на сегодняшний день. Мы говорим «жанр остросюжетной прозы», так как детектива в чистом его виде (Эдгар По, Честертон, Конан Дойль, Агата Кристи и др.) наша советская литература практически не имеет. В «чистом детективе» есть свои сложившиеся каноны, традиционные условия задачи — он, если можно так выразиться, математичен: дана задача, есть и ее решение. Мастерство писателя заключается, по сути дела, в том, чтобы по возможности усложнить это решение, отдалить разгадку тайны, ибо тайна — и есть главная составляющая «чистого детектива». Чаще всего герои разгадывают ее умозрительным путем. Но такой жанр еще и игра, у нее есть свои условия, читатель также может включиться в нее: ему даются те же наводящие нити, что и герою, так что он и сам может разгадать тайну путем логического рассуждения.

Это небольшое отступление в область уточнения жанровых границ потребовалось нам, чтобы четче определить ту область литературы, в которой работают А. Адамов, братья Вайнеры, А. Безуглов, Ю. Кларов и многие другие.

Прежде всего интерес к романам и повестям, в сюжетной основе которых лежит приключение, острый социальный или политический конфликт, динамичная и драматическая борьба правой и неправой силы, вызван у широкого читателя (и особенно молодого) тем, что он ищет героя, образ, который мог бы привести в формирующийся характер черты, достойные заимствования. И это всегда зависит от того, как действует положительный герой того или иного произведения. Другими словами, главной составляющей нашей остросюжетной прозы является поступок, действие в ситуации исключительной, в поединке добра со злом. Борьба мировоззрений, столкновение нравственности с безнравственностью, правды с ложью — именно это лежит в основе приключенческого жанра нашей советской литературы. Герои произведений, написанных в этом жанре, близки и понятны читателю, они взяты из той реальной жизни, которая окружает его.

Лауреат премии Н. И. Кузнецова и первой премии Всесоюз-

ного конкурса Союза писателей и МВД СССР Юрий Кларов родился в 1929 году. Он уроженец Киева. По образованию — юрист, в 1951 году Ю. Кларов закончил Московский юридический институт и стал работать в органах юстиции. А с 1957 года в таких изданиях, как «Литературная газета», «Литературная Россия», «Известия», «Советская Россия», журналах «Октябрь», «Знамя», «Нева» и ряде других, начинают появляться его первые журналистские и литературные работы, статьи, очерки, рассказы. Профессия, которую он избрал, давала ему в руки богатый и обширный материал.

Вскоре появляется и первая книга молодого писателя — повесть «Вторая судимость». Адвокатская практика во многом способствовала обогащению его жизненного и творческого опыта, и по мере накопления этого опыта укреплялось желание отдать себя литературе целиком. Уже была задумана книга о следователе, собирался материал к ней, но работа над повестью затянулась, хотя, по признанию самого Ю. Кларова, «материал оказался обширным. В ящиках моего письменного стола не хватало места для блокнотов с выписками из различных уголовных дел, записями бесед с работниками прокуратуры и МВД, а садиться за книгу я не решался. У будущей повести пока еще не было стержня. Он обозначился только в 1966 году, когда во Владивостоке я познакомился со следователем по особо важным делам...».

Для понимания дальнейшего творчества Ю. Кларова слова «а садиться за книгу я не решался» важны, хотя материала для нее было более чем достаточно. Не было стержня, не было героя, человека, который бы оживил этот материал. Сравнительно небольшая по объему повесть потребовала около пяти лет кропотливой работы. Точнее — и это самое главное — потребовал от себя сам автор, по сути дела, еще в самом начале своего творческого пути. Эти основательность и добросовестность в подходе к литературному материалу, к изучению и осмыслению его станут впоследствии отличительными чертами стиля работы писателя, придадут его произведениям точность и убедительность, детальное знание предмета и конкретной обстановки, которая увлекает и покоряет читателя, убеждает его и воспитывает, заинтересовывает и обогащает.

Параллельно с работой над «Повестью о следователе» в соавторстве с Анатолием Безугловым идет работа над другой вещью — повестью «Конец Хитрова рынка», которая положила начало известной трилогии, написанной Кларовым и Безугловым, затем последовали вторая часть — «В полосе отчуждения» и заключительная — «Покушение». Эти произведения разрабатывались в историческом аспекте: за основу их была взята деятельность Московского уголовного розыска с 1918 по 1935 год. Это позво-

лило авторам живо и колоритно воссоздать уже далекую от нас эпоху, рассказать о первых шагах становления нашего государства, о рождении и укреплении нового, социалистического правопорядка. Со страниц этой трилогии ушедшее в историю время говорило с нами своим неповторимым голосом.

Если попытаться выделить в каждой из трех частей какую-то одну черту, которая эмоционально окрашивает повествование, то в «Конце Хитрова рынка» мы назвали бы приметы быта тех лет, характерный облик Москвы восемнадцатого года на стыке времен военного коммунизма и первого периода нэпа. В повести «В полосе отчуждения» это социальные типы различных политических устремлений и взглядов — российские обыватели, нэпманы, уголовники, «бывшие» — монархисты, эсеры, анархисты. И наконец, в «Покушении» исключительно точно и тонко передана внутриполитическая атмосфера страны, подъем и патриотизм первых пятилеток и борьба с теми, кто мешает утвердаться социалистическому строю, кто, подобно Шамраю, примазался к партии, а на деле являлся ее принципиальным врагом.

Очевидно, работа с А. Безугловым над трилогией явилась для Юрия Кларова не только, так сказать, локальной творческой удачей, но и послужила мощным стимулом для дальнейшей — уже самостоятельной — работы над повестью «Допрос в Иркутске», романом «Черный треугольник» и повестями «Станция назначения — Харьков», «Пять экспонатов из музея уголовного розыска».

Естественно, что когда два писателя пишут вместе одно произведение, то ни один литературовед не в состоянии определить, кто есть кто. Об этом, кстати, не без сарказма говорили Ильф и Петров: «Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегаёт по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые». Но нас в данном случае занимает не «химический анализ» стилей и не «сумма вкладов». Важно другое.

Несомненно, что прикосновение в повести «В полосе отчуждения» к той странице истории, которая отмечена пребыванием на посту «верховного правителя» адмирала Колчака, вызвало к жизни появление книги Юрия Кларова «Допрос в Иркутске», подзаголовок которой гласит: «Факты, документы, авторские домыслы». Любопытно, что столкновение двух мировоззрений происходит между людьми, принадлежащими к одному классу: и большевик, бывший морской офицер Стрижак-Васильев, и «верховный правитель» России адмирал Колчак — дворяне, они оба окончили привилегированный Морской корпус и стали офицерами царского флота. Но Стрижак-Васильев избрал путь революционера, защитника угнетенного народа, а адмирал Колчак — его палача. В социально-философском осмысливании этого столкновения и

видит писатель главную цель своего произведения. Они оба гибнут. Но большевик Стрижак-Васильев гибнет как герой, в борьбе за правое дело, которое не может не победить, а Колчака расстреливают на берегу Ангары, приводя в исполнение справедливый приговор революции. Немалый интерес в этой книге вызывает ее историко-событийная канва, подтверждаемая и скрепляемая документами, точными историческими фактами. Писатель позволяет себе беллетризацию только там, где она не может повредить исторической правде, либо там, где она вытекает из логики происходящего (скажем, разговоры между Стрижаком-Васильевым и Гриничевым, выступление матроса на митинге в Севастополе и т. п.).

Несомненно также и то, что изучая материалы в работе над трилогией, Юрий Кларов заинтересовался темой, еще, в сущности, мало освещенной в нашей литературе, — анархистским движением, явлением достаточно сложным и противоречивым. Следствием этого интереса стал роман «Черный треугольник», опубликованный вначале на страницах «Сельской молодежи», а затем в приложении «Подвиг». Хронологически он предшествует «Концу Хитрова рынка», литературно — знаменует собой новый этап в творчестве писателя. Отчетливо определяется интерес Юрия Кларова к прошлому нашей страны, к истории России. И уголовное, и в гораздо большей степени объективно политическое преступление служит для автора прекрасным средством показать сложную внешнюю и внутреннюю политическую обстановку: напомним, что именно в те дни, когда идет розыск сокровищ из ризницы, начали наступление немцы, отечество было в опасности. Деятельность Московской федерации анархистов на этом фоне выглядит, по существу, контрреволюционной, хотя формально анархисты солидаризируются с большевиками.

Особое место в романе занимает описание похищенных из патриаршей ризницы сокровищ. Казалось бы, простой перечень ценностей, реестр — назовем это как угодно. Но комментарий к этой описи сразу же выводит ее далеко за границы простого протокола. Краткая характеристика той или иной вещи создает ощущение прочной и неразрывной исторической связи бывшего и сущего, прошлого и происходящего. История России через митры, панации, ковчеги, дарохранительницы, драгоценные камни врывается в суровые, тревожные и тяжелые дни восемнадцатого года. Это не просто тридцать миллионов золотых рублей, это бесценное достояние республики, память народа о замечательных мастерах, создавших уникальные произведения ювелирного искусства. Разумеется, автор, движимый любовью и уважением к историческому наследию прошлого, вправе был преобразить сухой, протокольный язык документов, зафиксировавших то, что относи-

лось к ценностям. От этого они только выиграли. Выиграли и читатели, потому что теперь эти документы приобрели красочность и выразительность, позволяющие увидеть за описанием шедевры искусства.

И очевидно, совсем неслучайно возник у Юрия Кларова замысел новой книги «Пять экспонатов из музея уголовного розыска». Это значит, что снова писатель ведет углубленный исторический поиск, изучая архивные материалы. Герои книги — предметы, вещи: перстень Пушкина, медальон Марата, портрет первого русского солдата и ряд других редкостей. Но эти вещи принадлежали людям, поэтому история вещей — суть история людей, рассказы об этих людях, а следовательно, о времени, в котором они жили. Путешествуя от человека к человеку, вещи связывают их, знакомых и незнакомых, современников и живших в разные эпохи. И это значит, что прошлое снова приблизится к нам и заговорит своим неповторимым голосом.

Книги А. Безуглова и Ю. Кларова переводились в Англии, Болгарии, Венгрии, ГДР, на Кубе, в Румынии, ФРГ, Чехословакии.

*Вс. Лессиг*

## СОДЕРЖАНИЕ

КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА	3
В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ	139
ПОКУШЕНИЕ	375
ОБ АВТОРАХ	551
<i>Эдвард Хруцкий. Исповедую нравственность</i>	551
<i>Вс. Лессиг. Голос времени</i>	554

**Анатолий Алексеевич Безуглов**

**Юрий Михайлович Кларов**

## КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *Н. Буденная*

Художники *В. Корольков, К. Фадин*

Художественный редактор *Ф. Барбышев*

Технические редакторы *Н. Привезенцева, И. Лукашова*

Корректоры *Е. Ишаева, Е. Коротаева*

**ИБ № 3478**

Сдано в набор 23.04.87. Подписано к печати 31.08.87. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Бодони». Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,67.  
Усл. кр.-отт. 36,24. Уч.-изд. л. 37,39. Тираж 100 000 экз. Заказ 2800.  
Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий»,  
101854, ГСП, Москва, Центр. Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва И-473,  
Краснопролетарская, 16.





2 р. 50 к.